



СКВОЗЬ МАГИЧЕСКИЙ КРИСТАЛЛ

ЧАСТЬ 2

Составитель: Сергей Митюрёв

ОТКРЫВАЯ МИР, ОТКРЫВАЕШЬ СЕБЯ..... 5

<i>М. ГОРЬКИЙ</i> В людях	5
Глава I	5
Глава II	16
Глава III	25
Глава IV	31
Глава VI	48
Глава VII	54
Глава VIII	63
Глава IX	72
Глава X	82
Глава XI (окончание)	94
Глава XII	98
Глава XIII	111
Глава XIV	119
Глава XV	129
Глава XVI	136
Глава XVII	145
Глава XVIII	154
Глава XIX	162
<i>А. И. КУПРИН</i> ЮНКЕРА	170
Глава II. Прощание	170
Глава III. Юлия	173
Глава IV. Бесконечный день	178
Глава V. Фараон	181
Глава VI. Танталовы муки	184
Глава VII. П од знамя!	190
Глава VIII. Торжество	195
Глава IX. Свой дом	198
Глава X. Вторая любовь	203
Глава XI. Свадьба	207
Глава XII. Господин писатель	211
Глава XIII. Слава	216
Глава XV. Господин обер-офицер	222
Глава XVI. Дрозд	226
Глава XVII. Фотоген Павлыч	232
Глава XVIII. Екатерининский зал	236
Глава XIX. Стрела	239
Глава XX. Полонез	243
Глава XXI. Вальс	246
Глава XXII. Ссора	249
Глава XXIV. Дружки	255
Глава XXV. Rendez-Vous	259
Глава XXVI. Чистые Пруды	265
Часть III	274
Глава XXVII. Топография	274
Глава XXVIII. Последние дни	280
Глава XXIX. Травля	286
Глава XXX. Производство	293

АЛЬБЕРТ ЛИХАНОВ ОБМАН	300
Часть первая. Оранжевый самолет.....	300
Глава 1	300
Глава 2	301
Глава 3	302
Глава 4	303
Глава 5	304
Глава 6	306
Глава 7	308
Глава 8	310
Глава 9	311
Глава 10.....	312
Глава 11.....	314
Глава 12.....	315
Часть вторая. Свадебное путешествие.....	316
Глава 1	316
Глава 2	319
Глава 3	321
Глава 4	324
Глава 5	327
Глава 6	330
Глава 7	333
Глава 8	335
Часть третья. Родственные чувства	338
Глава 1	338
Глава 2	340
Глава 3	344
Глава 4	347
Глава 5	353
Глава 6	355
Глава 7	358
Глава 8	360
Часть четвертая. Побег	362
Глава 1	362
Глава 2	365
Глава 3	367
Глава 4	369
Глава 5	372
Глава 6	374
Глава 7	376
Глава 8	378
Глава 9	381
Глава 10.....	384
Глава 11.....	386
Глава 12.....	388
Глава 13.....	389
«СОТРИ СЛУЧАЙНЫЕ ЧЕРТЫ...»	391
<i>В. В. БРЮСОВ</i> ЮНОША БЛЕДНЫЙ СО ВЗОРОМ ГОРЯЩИМ...	391
<i>В. В. МАЯКОВСКИЙ</i> ВОТ ТАК Я СДЕЛАЛСЯ СОБАКОЙ	392
ЧЕЛОВЕК СРЕДИ ЛЮДЕЙ	394
<i>АВГУСТ КИЦБЕРГ</i> ОБОРОТЕНЬ.....	394

Действие первое	394
Действие третье.....	400
Игра первая	403
Игра вторая.....	405
<i>И. А. БУНИН</i> Б РАТЬЯ.....	409
<i>В. В. НАБОКОВ</i> ОБЛАКО, ОЗЕРО, БАШНЯ	423

Открывая мир, открываешь себя

М. Горький

В людях

Глава I

Я – в людях, служу «мальчиком» при магазине «модной обуви», на главной улице города.

Мой хозяин – маленький, круглый человек; у него бурое, стертное лицо, зеленые зубы, водянисто-грязные глаза. Он кажется мне слепым, и, желая убедиться в этом, я делаю гримасы.

– Не криви рожу, – тихонько, но строго говорит он.

Неприятно, что эти мутные глаза видят меня, и не верится, что они видят, – может быть, хозяин только догадывается, что я гримасничаю?

– Я сказал – не криви рожу, – еще тише внушает он, почти не шевеля толстыми губами.

– Не чеши рук, – ползет ко мне его сухой шепот. – Ты служишь в первоклассном магазине на главной улице города, это надо помнить! Мальчик должен стоять при двери, как статуя...

Я не знаю, что такое статуя, и не могу не чесать рук, – обе они до локтей покрыты красными пятнами и язвами, их нестерпимо разъедает чесоточный клещ.

– Ты чем занимался дома? – спрашивает хозяин, рассматривая руки.

Я рассказываю, он качает круглой головой, плотно оклеенной серыми волосами, и обидно говорит:

– Ветошничество¹ – это хуже нищенства, хуже воровства.

Не без гордости я заявляю:

– Я ведь и воровал тоже.

Тогда, положив руки на конторку, точно кот лапы, он испуганно упирается пустыми глазами в лицо мне и шипит:

– Что-о? Как это воровал?

Я объясняю – как и что.

– Ну, это сочтем за пустяки. А если ты у меня украдешь ботинки али деньги, я тебя устрою в тюрьму до твоих совершенных лет...

Он сказал это спокойно, я испугался и еще больше невзлюбил его.

Кроме хозяина, в магазине торговал мой брат, Саша Яковов, и старший приказчик – ловкий, липкий и румяный человек. Саша носил рыженький сюртучок, манишку, галстук, брюки навывпуск, был горд и не замечал меня.

Когда дед привел меня к хозяину и просил Сашу помочь мне, поучить меня, – Саша важно нахмурился, предупреждая:

– Нужно, чтоб он меня слушался!

Положив руку на голову мою, дед согнул мне шею.

– Слушай его, он тебя старше и по годам и по должности...

А Саша, выкатив глаза, внушил мне:

– Помни, что дедушка сказал!

И с первого же дня начал усердно пользоваться своим старшинством.

– Каширин, не вытаращивай зенки, – советовал ему хозяин.

¹ Ветошничать – торговать поношеною одеждой, либо тряпкой, ветошью.

– Я – ничего-с, – отвечал Саша, наклоняя голову, но хозяин не отставал:

– Не бычись, покупатели подумают, что ты козел...

Приказчик почтительно смеялся, хозяин уродливо растягивал губы, Саша, багрово налившись кровью, скрывался за прилавком.

Мне не нравились эти речи, я не понимал множества слов, иногда казалось, что эти люди говорят на чужом языке.

Когда входила покупательница, хозяин вынимал из кармана руку, касался усов и приклеивал на лицо свое сладостную улыбку; она, покрывая щеки его морщинами, не изменяла слепых глаз. Приказчик вытягивался, плотно приложив локти к бокам, а кисти их почтительно развешивал в воздухе, Саша пугливо мигал, стараясь спрятать выпученные глаза, я стоял у двери, незаметно почесывая руки, и следил за церемонией продажи.

Стоя перед покупательницей на коленях, приказчик примеряет башмак, удивительно растопырив пальцы. Руки у него трепещут, он дотрагивается до ноги женщины так осторожно, точно он боится сломать ногу, а нога – толстая, похожа на бутылку с покатыми плечиками, горлышком вниз.

Однажды какая-то дама сказала, дрыгая ногой и поеживаясь:

– Ах, как вы щекочете...

– Это-с – из вежливости, – быстро и горячо объяснил приказчик.

Было смешно смотреть, как он липнет к покупательнице, и чтобы не смеяться, я отворачивался к стеклу двери. Но неодолимо тянуло наблюдать за продажей, – уж очень забавляли меня приемы приказчика, и в то же время я думал, что никогда не сумею так вежливо растопыривать пальцы, так ловко насаживать башмаки на чужие ноги.

Часто, бывало, хозяин уходил из магазина в маленькую комнатку за прилавком и звал туда Сашу; приказчик оставался глаз на глаз с покупательницей. Раз, коснувшись ноги рыжей женщины, он сложил пальцы щепотью и поцеловал их.

– Ах, – вздохнула женщина, – какой вы шалунишка!

А он надул щеки и тяжело произнес:

– Мм – ух!

Тут я расхохотался до того, что, боясь свалиться с ног, повис на ручке двери, дверь отворилась, я угодил головой в стекло и вышиб его. Приказчик топал на меня ногами, хозяин стучал по голове моей тяжелым золотым перстнем, Саша пытался трепать мои уши, а вечером, когда мы шли домой, строго внушал мне:

– Прогонят тебя за эти штуки! Ну, что тут смешного?

И объяснил: если приказчик нравится дамам – торговля идет лучше.

– Даме и не нужно башмаков, а она придет да лишние купит, только бы поглядеть на приятного приказчика. А ты – не понимаешь! Возись с тобой...

Это меня обидело, – никто не возился со мной, а он тем более.

По утрам кухарка, женщина больная и сердитая, будила меня на час раньше, чем его; я чистил обувь и платье хозяев, приказчика, Саши, ставил самовар, приносил дров для всех печей, чистил судки для обеда. Придя в магазин, подметал пол, стирал пыль, готовил чай, разносил покупателям товар, ходил домой за обедом; мою должность у двери в это время исполнял Саша и, находя, что это унижает его достоинство, ругал меня:

– Увалень! Работай вот за тебя...

Мне было тягостно и скучно, я привык жить самостоятельно, с утра до ночи на песчаных улицах Кунавина, на берегу мутной Оки, в поле, и в лесу. Не хватало бабушки, товарищей, не с кем было говорить, а жизнь раздражала, показывая мне свою неказистую, лживую изнанку.

Нередко случалось, что покупательница уходила, ничего не купив, – тогда они, трое, чувствовали себя обиженными. Хозяин прятал в карман свою сладкую улыбку, командовал:

– Каширин, прибери товар!

И ругался:

– Ишь нарыла, свинья! Скушно дома сидеть дуре, так она по магазинам шляется. Была бы ты моей женой – я б тебя...

Его жена, сухая, черноглазая, с большим носом, топала на него ногами и кричала, как на слугу.

Часто, проводив знакомую покупательницу вежливыми поклонами и любезными словами, они говорили о ней грязно и бесстыдно, вызывая у меня желание выбежать на улицу и, догнав женщину, рассказать, как говорят о ней.

Я, конечно, знал, что люди вообще плохо говорят друг о друге за глаза, но эти говорили обо всех особенно возмутительно, как будто они были кем-то признаны за самых лучших людей и назначены в судьбы миру. Многим завидуя, они никогда никого не хвалили и о каждом человеке знали что – нибудь скверное.

Как-то раз в магазин пришла молодая женщина, с ярким румянцем на щеках и сверкающими глазами, она была одета в бархатную ротонду² с воротником черного меха, – лицо ее возвышалось над мехом, как удивительный цветок. Сбросив с плеч ротонду на руки Саши, она стала еще красивее: стройная фигура была туго обтянута голубовато-серым шелком, в ушах сверкали брильянты, – она напоминала мне Василису Прекрасную, и я был уверен, что это сама губернаторша. Ее приняли особенно почтительно, изгибаясь перед нею, как перед огнем, захлебываясь любезными словами. Все трое метались по магазину, точно бесы; на стеклах шкапов скользили их отражения, казалось, что все кругом загорелось, тает и вот сейчас примет иной вид, иные формы.

А когда она, быстро выбрав дорогие ботинки, ушла, хозяин, причмокнув, сказал со свистом:

– С-сука...

– Одно слово – актриса, – с презрением молвил приказчик.

И они стали рассказывать друг другу о любовниках дамы, о ее кутежах.

После обеда хозяин лег спать в комнате за магазином, а я, открыв золотые его часы, накапал в механизм уксуса. Мне было очень приятно видеть, как он, проснувшись, вышел в магазин с часами в руках и растерянно бормотал:

– Что за оказия? Вдруг часы вспотели! Никогда этого не бывало вспотели! Уж не к худу ли?

Несмотря на обилие суеты в магазине и работы дома, я словно засыпал в тяжелой скуке, и все чаще думалось мне: что бы такое сделать, чтоб меня прогнали из магазина?

Снежные люди молча мелькают мимо двери магазина, – кажется, что они кого-то хоронят, провожают на кладбище, но опоздали к выносу и торопятся догнать гроб. Трясутся лошади, с трудом одолевая сугробы. На колокольне церкви за магазином каждый день уныло звонят – великий пост; удары колокола бьют по голове, как подушкой: не больно, а глупеешь и глохнешь от этого.

Однажды, когда я разбирал на дворе, у двери в магазин ящик только что полученного товара, ко мне подошел церковный сторож, кособокий старичок, мягкий, точно из тряпок сделан, и растрепанный, как будто его собаки рвали.

– Ты бы, человеке божий, украл мне калошки, а? – предложил он.

Я промолчал. Присев на пустой ящик, он зевнул, перекрестил рот и снова:

² Ротонда – женская одежда типа накидки без рукавов, длинная, широкая.

- Украдь, а?
- Воровать нельзя! – сообщил я ему.
- А воруют, однако. Уважь старость!

Он был приятно не похож на людей, среди которых я жил; я почувствовал, что он вполне уверен в моей готовности украсть, и согласился подать ему калоши в форточку окна.

– Вот и ладно, – не радуясь, спокойно сказал он. – Не оманешь? Ну, ну, уж я вижу, что не оманешь...

Посидел с минуту молча, растирая грязный, мокрый снег подошвой сапога, потом закурил глиняную трубку и вдруг испугал меня:

– А ежели я тебя оману? Возьму эти самые калоши, да к хозяину отнесу, да и скажу, что продал ты мне их за полтину? А? Цена им свыше двух целковых, а ты – за полтину! На гостинцы, а?

Я немотно смотрел на него, как будто он уже сделал то, что обещал, а он все говорил тихонько, гнусаво, глядя на свой сапог и попыхивая голубым дымом.

– Если окажется, напримерно, что это хозяин же и научил меня: иди испытай мне мальчика – насколько он вор? Как тогда будет?

- Не дам я тебе калоши, – сказал я сердито.
- Теперь уж нельзя не дать, коли обещал!

Он взял меня за руку, привлек к себе и, стучая холодным пальцем по лбу моему, лениво продолжал:

- Как же это ты ни с того, ни с сего, – на, возьми?!
- Ты сам просил.

– Мало ли чего я могу попросить! Я тебя попрошу церкву ограбить, как же ты – ограбишь? Разве можно человеку верить? Ах ты, дурачок...

И, оттолкнув меня, он встал.

– Калошев мне не надо краденых, я не барин, калошей не ношу. Это я пошутил только... А за простоту твою, когда пасха придет, я те на колокольню пушу, звонить будешь, город поглядишь...

- Я знаю город.
- С колокольни он краше...

Зарывая носки сапог в снег, он медленно ушел за угол церкви, а я, глядя вслед ему, уныло, испуганно думал: действительно пошутил старичок или подослан был хозяином проверить меня? Идти в магазин было боязно.

На двор выскочил Саша и закричал:

– Какого черта ты возишься!

Я замахнулся на него клещами, вдруг взбесившись.

Я знал, что он и приказчик обкрадывают хозяина: они прятали пару ботинок или туфель в трубу печи, потом, уходя из магазина, скрывали их в рукавах пальто. Это не нравилось мне и пугало меня, – я помнил угрозу хозяина.

– Ты воруеть? – спросил я Сашу.

– Не я, а старший приказчик, – объяснил он мне строго, – я только помогаю ему. Он говорит – услуги! Я должен слушаться, а то он мне пакость устроит. Хозяин! Он сам вчерашний приказчик, он все понимает. А ты молчи!

Говоря, он смотрел в зеркало и поправлял галстук теми же движениями неестественно растопыренных пальцев, как это делал старший приказчик. Он неумоимо показывал мне свое старшинство и власть надо мною, кричал на меня басом, а приказывая мне, вытягивал руку вперед отталкивающим жестом. Я был выше его и сильнее, но костляв и неуклюж, а он – плотненький, мягкий и масляный. В сюртуке и брюках навыпуск он казался мне важным, солидным, но было в нем что – то

неприятное, смешное. Он ненавидел кухарку, бабу странную, – нельзя было понять, добрая она или злая.

– Лучше всего на свете люблю я бои, – говорила она, широко открыв черные, горячие глаза. – Мне все едино, какой бой: петухи ли дерутся, собаки ли, мужики – мне это все едино!

И если на дворе дрались петухи или голуби, она, бросив работу, наблюдала за дракою до конца ее, глядя в окно, глухая, немая. По вечерам она говорила мне и Саше:

– Что вы, ребяташки, зря сидите, подрались бы лучше!

Саша сердится:

– Я тебе, дуре, не ребяташка, а второй приказчик!

– Ну, этого я не вижу. Для меня, покуда не женат, ребенок!

– Дура, дурья голова...

– Бес умен, да его бог не любит.

Ее поговорки особенно раздражали Сашу, он дразнил ее, а она, презрительно скосив на него глаза, говорила:

– Эх ты, таракан, богова ошибка!

Не однажды он уговаривал меня намазать ей, сонной, лицо ваксой или сажей, натывать в ее подушку булавок или как-нибудь иначе «подшутить» над ней, но я боялся кухарки, да и спала она чутко, часто просыпаясь; проснется, зажжет лампу и сидит на кровати, глядя куда-то в угол. Иногда она приходила ко мне за печку и, разбудив меня, просила хрипло:

– Не спится мне, Лексейка, боязно чего-то, поговори-ка ты со мной.

Сквозь сон я что-то рассказывал ей, а она сидела молча и покачивалась. Мне казалось, что горячее тело ее пахнет воском и ладаном и что она скоро умрет. Может быть, даже сейчас вот ткнется лицом в пол и умрет. Со страха я начинал говорить громко, но она останавливала меня:

– Шш! А то сволочи проснутся, подумают про тебя, что ты любовник мой...

Сидела она около меня всегда в одной позе: согнувшись, сунув кисти рук между колен, сжимая их острыми костями ног. Грудей у нее не было, и даже сквозь толстую холстину рубахи проступали ребра, точно обручи на разохшейся бочке. Сидит долго молча и вдруг прошепчет:

– Хоть умереть бы, что ли, такая все тоска...

Или спросит кого-то:

– Вот и дожила – ну?

– Спи! – говорила она, прерывая меня на полуслове, разгибалась и, серая, таяла бесшумно в темноте кухни.

– Ведьма! – звал ее Саша за глаза.

Я предложил ему:

– А ты в глаза скажи ей это!

– Думаешь, побоюсь?

Но тотчас же сморщился, говоря:

– Нет, в глаза не скажу! Может, она вправду ведьма...

Относясь ко всем пренебрежительно и сердито, она и мне ни в чем не мирволила, – дернет меня за ногу в шесть часов утра и кричит:

– Буде дрыхнуть-то! Тащи дров! Ставь самовар! Чисти картошку!..

Просыпался Саша и ныл:

– Что ты орешь? Я хозяину скажу, спать нельзя...

Быстро передвигая по кухне свои сухие кости, она сверкала в его сторону воспаленными бессонницей глазами:

– У, богова ошибка! Был бы ты мне пасынок, я бы тебя ощипала.

– Проклятая, – ругался Саша и по дороге в магазин внушал мне: – Надо сделать, чтоб ее прогнали. Надо, незаметно, соли во все подбавлять, – если у нее все будет пересолено, прогонят ее. А то керосину! Ты чего зеваешь?

– А ты?

Он сердито фыркнул:

– Трус!

Кухарка умерла на наших глазах: наклонилась, чтобы поднять самовар, и вдруг села на пол, точно кто-то толкнул ее в грудь, потом молча свалилась на бок, вытягивая руки вперед, а изо рта у нее потекла кровь.

Мы оба тотчас поняли, что она умерла, но, стиснутые испугом, долго смотрели на нее, не в силах слова сказать. Наконец Саша стремглав бросился вон из кухни, а я, не зная, что делать, прижался у окна, на свету. Пришел хозяин, озабоченно присел на корточки, пощупал лицо кухарки пальцем, сказал:

– Действительно умерла... Что такое?

И стал креститься в угол, на маленький образок Николы Чудотворца, а помолвившись, скомандовал в сени:

– Каширин, беги, объяви полиции!

Пришел полицейский, потоптался, получил на чай, ушел; потом снова явился, а с ним – ломовой извозчик³; они взяли кухарку за ноги, за голову и унесли ее на улицу. Заглянула из сеней хозяйка, приказала мне:

– Вымой пол!

А хозяин сказал:

– Хорошо, что она вечером померла...

Я не понял, почему это хорошо. Когда ложились спать, Саша сказал мне необычно кротко:

– Не гаси лампу!

– Боишься?

Он закутал голову одеялом и долго лежал молча. Ночь была тихая, словно прислушивалась к чему-то, чего-то ждала, а мне казалось, что вот в следующую секунду ударят в колокол и вдруг все в городе забегают, закричат в великом смятении страха.

Саша высунул нос из-под одеяла и предложил тихонько:

– Давай ляжем на печи, рядом?

– Жарко на печи.

Помолчав, он сказал:

– Как она – сразу, а? Вот тебе и ведьма... Не могу уснуть...

– И я не могу.

Он стал рассказывать о покойниках, как они, выходя из могил, бродят до полуночи по городу, ищут, где жили, где у них остались родные.

– Покойники помнят только город, – тихонько говорил он, – а улицы и дома не помнят уж...

Становилось все тише, как будто темнее. Саша приподнял голову и спросил:

– Хочешь, посмотрим мой сундук?

Мне давно хотелось узнать, что он прячет в сундуке. Он запирает его всяким замком, а открывал всегда с какими-то особенными предосторожностями и, если я пытался заглянуть в сундук, грубо спрашивал:

– Чего тебе надо? Ну?

Когда я согласился, он сел на постели, не спуская ноги на пол, и уже тоном

³ Ломовой извозчик – извозчик, занимавшийся перевозкой тяжестей.

приказания велел мне поставить сундук на постель, к его ногам. Ключ висел у него на гайтане⁴, вместе с нательным крестом. Оглянув темные углы кухни, он важно нахмурился, отпер замок, подул на крышку сундука, точно она была горячая, и, наконец приподняв ее, вынул несколько пар белья.

Сундук был до половины наполнен аптечными коробками, свертками разноцветной чайной бумаги, жестянками из-под ваксы и сардин.

– Это что?

– А вот увидишь...

Он обнял сундук ногами и склонился над ним, напевая тихонько:

– Царю небесный...

Я ожидал увидеть игрушки: я никогда не имел игрушек и относился к ним с наружным презрением, но не без зависти к тому, у кого они были. Мне очень понравилось, что у Саши, такого солидного, есть игрушки; хотя он и скрывает их стыдливо, но мне понятен был этот стыд.

Открыв первую коробку, он вынул из нее оправу от очков, надел ее на нос и, строго глядя на меня, сказал:

– Это ничего не значит, что стекол нет, это уж такие очки!

– Дай мне посмотреть!

– Тебе они не по глазам. Это для темных глаз, а у тебя какие-то светлые, – объяснил он и по-хозяйски крякнул, но тотчас же испуганно осмотрел всю кухню.

В коробке из-под ваксы лежало много разнообразных пуговиц, – он объяснил мне с гордостью:

– Это я все на улице собрал! Сам. Тридцать семь уж...

В третьей коробке оказались большие медные булавки, тоже собранные на улице, потом – сапожные подковки, стертые, сломанные и цельные, пряжки от башмаков и туфель, медная дверная ручка, сломанный костяной набалдашник трости, девичья головная гребенка, «Сонник и оракул»⁵ и еще множество вещей такой же ценности.

В моих поисках тряпок и костей я легко мог бы собрать таких пустяковых штучек за один месяц в десять раз больше. Сашины вещи вызвали у меня чувство разочарования, смущения и томительной жалости к нему. А он разглядывал каждую штучку внимательно, любовно гладил ее пальцами, его толстые губы важно оттопырились, выпуклые глаза смотрели умиленно и озабоченно, но очки делали его детское лицо смешным.

– Зачем это тебе?

Он мельком взглянул на меня сквозь оправу очков и спросил ломким дискантом⁶:

– Хочешь, подарю что-нибудь?

– Нет, не надо...

Видимо, обиженный отказом и недостатком внимания к богатству его, он помолчал минуту, потом тихонько предложил:

– Возьми полотенце, перетрем все, а то запылилось...

Когда вещи были перетерты и уложены, он кувырнулся в постель, лицом к стене. Дождь пошел, капало с крыши, в окна торкался ветер.

Не оборачиваясь ко мне, Саша сказал:

– погоди, когда в саду станет суше, я тебе покажу такую штуку ахнешь!

Я промолчал, укладываясь спать.

Прошло еще несколько секунд, он вдруг вскочил и, царапая руками стену, с

⁴ Гайтан – любой плетёный шнурок или тесьма для различного предназначения.

⁵ «Сонник и оракул»: сонник – толкователь снов, оракул – предсказания будущего; речь идет, по-видимому, о массовом дешевом издании

⁶ Дискант – самый высокий человеческий голос.

потрясающей убедительностью заговорил:

– Я боюсь... Господи, я боюсь! Господи помилуй! Что же это?

Тут и я испугался до онемения: мне показалось, что у окна во двор, спиной ко мне, стоит кухарка, наклонив голову, упираясь лбом в стекло, как стояла она живая, глядя на петушиный бой.

Саша рыдал, царапая стену, дрыгая ногами. Я с трудом, точно по горячим углям, не оглядываясь, перешел кухню и лег рядом с ним.

Наревевшись до утомления, мы заснули.

Через несколько дней после этого был какой-то праздник, торговали до полудня, обедали дома, и, когда хозяйева после обеда легли спать, Саша таинственно сказал мне:

– Идем!

Я догадался, что сейчас увижу штуку, которая заставит меня ахнуть.

Вышли в сад. На узкой полосе земли, между двух домов, стояло десятка полтора старых лип, могучие стволы были покрыты зеленой ватой лишаяев, черные голые сучья торчали мертво. И ни одного вороньего гнезда среди них. Деревья – точно памятники на кладбище, кроме этих лип, в саду ничего не было, ни куста, ни травы; земля на дорожках плотно утоптана и черна, точно чугунная; там, где из-под жухлой прошлогодней листвы видны ее лысины, она тоже подернута плесенью, как стоячая вода ряской.

Саша прошел за угол, к забору с улицы, остановился под липой и, выкатив глаза, поглядел в мутные окна соседнего дома. Присел на корточки, разгреб руками кучу листьев, – обнаружился толстый корень и около него два кирпича, глубоко вдавленные в землю. Он приподнял их – под ними оказался кусок кровельного железа, под железом – квадратная дощечка, наконец предо мною открылась большая дыра, уходя под корень.

Саша зажег спичку, потом огарок восковой свечи, сунул его в эту дырку и сказал мне:

– Гляди! Не бойся только...

Сам он, видимо, боялся: огарок в руке его дрожал, он побледнел, неприятно распустил губы, глаза его стали влажны, он тихонько отводил свободную руку за спину. Страх его передался мне, я очень осторожно заглянул в углубление под корнем, – корень служил пещере сводом, – в глубине ее Саша зажег три огонька, они наполнили пещеру синим светом. Она была довольно обширна, глубиной как внутренность ведра, но шире, бока ее были сплошь выложены кусками разноцветных стекол и черепков чайной посуды. Посредине, на возвышении, покрытом куском кумача, стоял маленький гроб, оклеенный свинцовой бумагой, до половины прикрытый лоскутом чего-то похожего на парчовый покров, из – под покрова высовывались серенькие птичьи лапки и остроносая головка воробья. За гробом возвышался аналой⁷, на нем лежал медный нательный крест, а вокруг аналая горели три восковые огарка, укрепленные в подсвечниках, обвитых серебряной и золотой бумагой от конфет.

Острия огней наклонялись к отверстию пещеры; внутри ее тускло блестели разноцветные искры, пятна. Запах воска, теплой гнили и земли бил мне в лицо, в глазах переливалась, прыгала раздробленная радуга. Все это вызвало у меня тягостное удивление и подавило мой страх.

– Хорошо? – спросил Саша.

– Это зачем?

– Часовня, – объяснил он. – Похоже?

– Не знаю.

⁷ Аналой – употребляемый при богослужении высокий четырехугольный столик с покатым верхом.

– А воробей – покойник! Может, мощи будут из него, потому что он невинно пострадавший мученик...

– Ты его мертвым нашел?

– Нет, он залетел в сарай, а я накрыл его шапкой и задушил.

– Зачем?

– Так...

Он заглянул мне в глаза и снова спросил:

– Хорошо?

– Нет!

Тогда он наклонился к пещере, быстро прикрыл ее доской, железом, втиснул в землю кирпичи, встал на ноги и, очищая с колен грязь, строго спросил:

– Почему не нравится?

– Воробья жалко.

Он посмотрел на меня неподвижными глазами, точно слепой, и толкнул в грудь, крикнув:

– Дурак! Это ты от зависти говоришь, что не нравится! Думаешь, у тебя в саду, на Канатной улице, лучше было сделано?

Я вспомнил свою беседку и уверенно ответил:

– Конечно, лучше!

Саша сбросил с плеч на землю свой сюртучок и, засучивая рукава, поплевав на ладони, предложил:

– Когда так, давай драться!

Драться мне не хотелось, я был подавлен ослабляющей скукой, мне неловко было смотреть на озлобленное лицо брата.

Он наскочил на меня, ударил головой в грудь, опрокинул, уселся верхом на меня и закричал:

– Жизни али смерти?

Но я был сильнее его и очень рассердился; через минуту он лежал вниз лицом, протянув руки за голову, и хрипел. Испугавшись, я стал поднимать его, но он отбивался руками и ногами, все более пугая меня. Я отошел в сторону, не зная, что делать, а он, приподняв голову, говорил:

– Что, взял? Вот буду так валяться, куда хозяева не увидят, а тогда пожалуюсь на тебя, тебя и прогонят!

Он ругался, угрожал; его слова рассердили меня, я бросился к пещере, вынул камни, гроб с воробьем перебросил через забор на улицу, изрыл все внутри пещеры и затоптал ее ногами.

– Вот тебе, видел?

Саша отнесся к моему буйству странно: сидя на земле, он, приоткрыв немножко рот и сдвинув брови, следил за мною, ничего не говоря, а когда я кончил, он, не торопясь, встал, отряхнулся и, набросив сюртучок на плечи, спокойно и зловеще сказал:

– Теперь увидишь, что будет, погоди немножко! Это ведь я нарочно сделал для тебя, это – колдовство! Ага?..

Я так и присел, точно ушибленный его словами, все внутри у меня облилось холодом. А он ушел, не оглянувшись, еще более подавив спокойствием своим.

Я решил завтра же убежать из города, от хозяина, от Саши с его колдовством, от всей этой нудной, дурацкой жизни.

На другой день утром новая кухарка, разбудив меня, закричала:

– Батюшки! Что у тебя с рожей-то?..

«Началось колдовство!» – подумал я угнетенно.

Но кухарка так заливчато хохотала, что я тоже улыбнулся невольно и взглянул в ее зеркало: лицо у меня было густо вымазано сажей.

– Это – Саша?

– А то я! – смешливо кричала кухарка.

Я начал чистить обувь, сунул руку в башмак, – в палец мне впиалась булавка. «Вот оно – колдовство!»

Во всех сапогах оказались булавки и иголки, пристроенные так ловко, что они впивались мне в ладонь. Тогда я взял ковш холодной воды и с великим удовольствием вылил ее на голову еще не проснувшегося или притворно спавшего колдуна.

Но все-таки я чувствовал себя плохо: мне все мерещился гроб с воробьем, серые, скрюченные лапки и жалобно торчавший вверх восковой его нос, а вокруг – неустанное мелькание разноцветных искр, как будто хочет вспыхнуть радуга – и не может. Гроб расширился, когти птицы росли, тянулись вверх и дрожали, оживая.

Бежать я решил вечером этого дня, но перед обедом, разогревая на керосинке судок со щами, я, задумавшись, вскипятил их, а когда стал гасить огонь, опрокинул судок себе на руки, и меня отправили в больницу.

Помню тягостный кошмар больницы: в желтой, зыбкой пустоте слепо копошились, урчали и стонали серые и белые фигуры в саванах, ходил на костылях длинный человек с бровями, точно усы, тряс большой черной бородой и рычал, присвистывая:

– Пре-освященному донесу!

Койки напоминали гробы, больные, лежа кверху носами, были похожи на мертвых воробьев. Качались желтые стены, парусом выгибался потолок, пол зыбился, сдвигая и раздвигая ряды коек, все было ненадежно, жутко, а за окнами торчали сучья деревьев, точно розги, и кто-то тряс ими.

В двери приплясывал рыжий, тоненький покойник, дергал коротенькими руками саван свой и визжал:

– Мне не надо сумасшедших!

А человек на костылях орал в голову ему:

– Пре-освящен-ному-с...

Дед, бабушка да и все люди всегда говорили, что в больнице морят людей, – я считал свою жизнь поконченной. Подошла ко мне женщина в очках и тоже в саване, написала что-то на черной доске в моем изголовье, – мел сломался, крошки его посыпались на голову мне.

– Тебя как зовут? – спросила она.

– Никак.

– У тебя же есть имя?

– Нет.

– Не дури, а то высекут!

Я и до нее был уверен, что высекут, а потому не стал отвечать ей. Она фыркнула, точно кошка, и кошкой, бесшумно, ушла.

Зажгли две лампы, их желтые огни повисли под потолком, точно чьи-то потерянные глаза, висят и мигают, досадно ослепляя, стремясь сблизиться друг с другом.

В углу кто-то сказал:

– Давай в карты играть?

– Как же я без руки-то?

– Ага, отрезали тебе руку!

Я тотчас сообразил: вот – руку отрезали за то, что человек играл в карты. А что сделают со мной перед тем, как уморить меня?

Руки мне жгло и рвало, словно кто-то вытаскивал кости из них. Я тихонько заплакал от страха и боли, а чтобы не видно было слез, закрыл глаза, но слезы приподнимали веки и текли по вискам, попадая в уши.

Пришла ночь, все люди повалились на койки, спрятавшись под серые одеяла, с каждой минутой становилось все тише, только в углу кто-то бормотал:

– Ничего не выйдет, и он – дрянь, и она – дрянь...

Написать бы письмо бабушке, чтобы она пришла и выкрала меня из больницы, пока я еще жив, но писать нельзя: руки не действуют и не на чем. Попробовать – не удастся ли улизнуть отсюда?

Ночь становилась все мертвее, точно утверждаясь навсегда. Тихонько спустив ноги на пол, я подошел к двери, половинка ее была открыта, – в коридоре, под лампой, на деревянной скамье со спинкой, торчала и дымилась седая ежовая голова, глядя на меня темными впадинами глаз. Я не успел спрятаться.

– Кто бродит? Подь сюда!

Голос не страшный, тихий. Я подошел, посмотрел на круглое лицо, утыканное короткими волосами, – на голове они были длиннее и торчали во все стороны, окружая ее серебряными лучиками, а на поясе человека висела связка ключей. Будь у него борода и волосы длиннее, он был бы похож на апостола Петра.

– Это – варены руки? Ты чего же шлендаешь ночью? По какому закону?

Он выдул в грудь и лицо мне много дыма, обнял меня теплой рукой за шею и привлек к себе.

– Боишься?

– Боюсь!

– Здесь все боятся вначале. А бояться нечего. Особенно со мной – я никого в обиду не дам... Курить желаешь? Ну, не кури. Это тебе рано, погоди года два... А отец – мать где? Нету отца – матери! Ну, и не надо – без них проживем, только не трусь! Понял?

Я давно уже не видал людей, которые умеют говорить просто и дружески, понятными словами, – мне было невыразимо приятно слушать его.

Когда он отвел меня к моей койке, я попросил:

– Посиди со мной!

– Можно, – согласился он.

– Ты – кто?

– Я? Солдат, самый настоящий солдат, кавказский. И на войне был, а как же иначе? Солдат для войны живет. Я с венграми воевал, с черкесом, поляком – сколько угодно! Война, брат, бо-ольшое озорство!

Я на минуту закрыл глаза, а когда открыл их, на месте солдата сидела бабушка в темном платье, а он стоял около нее и говорил:

– Поди-ка померли все, а?

В палате играло солнце, – позолотит в ней все и спрячется, а потом снова ярко взглянет на всех, точно ребенок шалит.

Бабушка наклонилась ко мне, спрашивая:

– Что, голубок? Изувечили? Говорила я ему, рыжему бесу...

– Сейчас я все сделаю по закону, – сказал солдат, уходя, а бабушка, стирая слезы с лица, говорила:

– Наш солдат, балахонский, оказался...

Я все еще думал, что сон вижу, и молчал. Пришел доктор, перевязал мне ожоги, и вот я с бабушкой еду на извозчике по улицам города. Она рассказывает:

– А дед у нас – вовсе с ума сходит, так жаден стал – глядеть тошно! Да еще у него

недавно сторублевую из псалтиря⁸ скорняк Хлыст вытащил, новый приятель его. Что было – и-и!

Ярко светит солнце, белыми птицами плывут в небе облака, мы идем по мосткам через Волгу, гудит, вздувается лед, хлюпает вода под тесинами мостков, на мясисто-красном соборе ярмарки горят золотые кресты. Встретилась ширококорая баба с охапкой атласных веток вербы в руках – весна идет, скоро пасха!

Сердце затрепетало жаворонком.

– Люблю я тебя очень, бабушка!

Это ее не удивило, спокойным голосом она сказала мне:

– Родной потому что, а меня, не хвастаясь скажу, и чужие любят, слава тебе, богородица!

Улыбаясь, она добавила:

– Вот – обрадуется она скоро, сын воскреснет! А Варюша, дочь моя...

И замолчала...

Глава II

Дед встретил меня на дворе, – тесал топором какой-то клин, стоя на коленях. Приподнял топор, точно собираясь швырнуть его в голову мне, и, сняв шапку, насмешливо сказал:

– Здравствуйте, преподобное лицо, ваше благородие! Отслужили? Ну, уж теперь как хотите живите, да! Эх вы-и...

– Знаем, знаем, – торопливо проговорила бабушка, отмахиваясь от него, а войдя в комнату и ставя самовар, рассказывала:

– Теперь – начисто разорился дедушка-то; какие деньги были, все отдавал крестнику Николаю в рост, а расписок, видно, не брал с него, – уж не знаю, как это у них случилось, только – разорился, пропали деньги. А все за то, что бедным не помогли мы, несчастных не жалели, господь-то и подумал про нас: для чего же я Кашириных⁹ добром оделил? Подумал да и лишил всего...

Оглянувшись, она сообщила:

– Уж я все стараюсь господу задобрить немножко, чтобы не больно он старика-то пригнетал, – стала теперь от трудов своих тихую милостыню подавать по ночам. Вот, хошь, пойдем сегодня – у меня деньги есть...

Пришел дед, сощурился и спросил:

– Жрать нацелились?

– Не твое, – сказала бабушка. – А коли хочешь, садись с нами, и на тебя хватит.

Он сел к столу, молвив тихонько:

– Налей...

Все в комнате было на своем месте, только угол матери печально пустовал, да на стене, над постелью деда, висел лист бумаги с крупной подписью печатными буквами:

«Исусе Спасе едино живый! Да пребудет святое имя твое со мною по вся дни и часы живота моего».

– Это кто писал?

Дед не ответил, бабушка, подождав, сказала с улыбкой:

– Этой бумаге сто рублей цена!

– Не твое дело! – крикнул дед. – Все чужим людям раздам!

– Раздавать – то нечего, а когда было – не раздавал, – спокойно сказала бабушка.

– Молчать! – взвизгнул дед.

⁸ Псалтырь – книга молитв на все случаи жизни.

⁹ Каширины – родственники писателя по материнской линии, в доме деда Каширина прошли детские годы Горького

Здесь все в порядке, все по-старому.

В углу на сундуке, в бельевой корзинке, проснулся Коля и смотрел оттуда; синие полоски глаз едва видны из-под век. Он стал еще более серым, вялым, тающим; он не узнал меня, отвернулся молча и закрыл глаза.

На улице меня ждали печальные вести: Вяхирь помер – его на страстной неделе «ветряк задушил»; Хаби – ушел жить в город, у Язя отнялись ноги, он не гулял¹⁰. Сообщив мне все это, черноглазый Кострома сердито сказал:

– Уж очень скоро мрут мальчишки!

– Да ведь помер только Вяхирь?

– Все равно: кто ушел с улицы, тоже будто помер. Только подружишься, привыкнешь, а товарища либо в работу отдадут, либо умрет. Тут на вашем дворе, у Чеснокова, новые живут – Евсеенки; парнишка – Нюшка, ничего, ловкий! Две сестры у него; одна еще маленькая, а другая хромая, с костылем ходит, красивая.

Подумав, он добавил:

– Мы, брат, с Чуркой влюбились в нее, все ссоримся!

– С ней?

– Зачем? Промежду себя. С ней – редко!

Я, конечно, знал, что большие парни и даже мужики влюбляются, знал и грубый смысл этого. Мне стало неприятно, жалко Кострому, неловко смотреть на его угловатое тело, в черные сердитые глаза.

Хромую девушку я увидел вечером, в тот же день. Сходя с крыльца на двор, она уронила костыль и беспомощно остановилась на ступенях, вцепившись в струну перил прозрачными руками, тонкая, слабенькая. Я хотел поднять костыль, но забинтованные руки действовали плохо, я долго возился и досадовал, а она, стоя выше меня, тихонько смеялась:

– Что это с руками у тебя?

– Сварил.

– А вот я – хромаю. Ты с этого двора? Долго в больнице лежал? А я лежала там до-олго!

Вздыхнув, она прибавила:

– Очень долго!

На ней было белое платье с голубыми подковками, старенькое, но чистое, гладко причесанные волосы лежали на груди толстой, короткой косой. Глаза у нее – большие, серьезные, в их спокойной глубине горел голубой огонек, освещающий худенькое, остроносое лицо. Она приятно улыбалась, но – не понравилась мне. Вся ее болезненная фигурка как будто говорила:

«Не трогайте меня, пожалуйста!»

Как могли товарищи влюбиться в нее?

– Я – давно хвораю, – рассказывала она охотно и словно хвастаясь. Меня соседка заколдовала, поругалась с мамой и заколдовала меня, назло ей... В больнице страшно?

– Да...

С нею было неловко, я ушел в комнату.

Около полуночи бабушка ласково разбудила меня.

– Пойдем, что ли? Потрудишься людям – руки-то скорее заживут...

Взяла меня за руку и повела во тьме, как слепого. Ночь была черная, сырая, непрерывно дул ветер, точно река быстро текла, холодный песок хватал за ноги. Бабушка осторожно подходила к темным окнам мещанских домишек, перекрестясь трижды, оставляла на подоконниках по пятаку и по три кренделя, снова крестилась,

¹⁰ Речь идет о персонажах, выведенных в первой повести трилогии – «Детство».

глядя в небо без звезд, и шептала:

– Пресвятая царица небесная, помоги людям! Все – грешники пред тобою, матушка!

Чем дальше уходили мы от дома, тем глуше и мертвее становилось вокруг. Ночное небо, бездонно углубленное тьмой, словно навсегда спрятало месяц и звезды. Выкатилась откуда-то собака, остановилась против нас и зарычала, во тьме блестят ее глаза; я трусливо прижался к бабушке.

– Ничего, – сказала она, – это просто собака, бесу – не время, ему поздно, петухи-то ведь уже пропели!

Подманила собаку, погладила ее и советует:

– Ты смотри, собачонка, не пугай мово внучонка!

Собака потерлась о мои ноги, и дальше пошли втроем. Двенадцать раз подходила бабушка под окна, оставляя на подоконниках «тихую милостыню»; начало светать, из тьмы вырастали серые дома, поднималась белая, как сахар, колокольня Напольной церкви; кирпичная ограда кладбища поредела, точно худая рогожа.

– Устала старуха, – говорила бабушка, – домой пора! Проснутся завтра бабы, а ребятишкам-то их припасла богородица немножко! Когда всего не хватает, так и немножко – годится! Охо-хо, Олеша, бедно живет народ, и никому нет о нем заботы!

Богатому о господе не думается,
О Страшном суде не мерещится,
Бедный-то ему ни друг, ни брат,
Ему бы все только золото собирать
А быть тому злату в аду угольями!

Вот оно как! Жить надо – друг о дружке, а бог – обо всех! А рада я, что ты опять со мной...

Я тоже спокойно рад, смутно чувствуя, что приобщился чему-то, о чем не забуду никогда. Около меня тряслась рыжая собака с лисьей мордой и добрыми виноватыми глазами.

– Она будет с нами жить?

– А что ж? Пускай живет, коли хочет. Вот я ей крендель дам, у меня два осталось. Давай сядем на лавочку, что-то я устала...

Сели у ворот на лавку, собака легла к ногам нашим, разгрызая сухой крендель, а бабушка рассказывала:

– Тут одна еврейка живет, так у ней – девять человек, мал мала меньше.

Спрашиваю я ее: «Как же ты живешь, Мосевна?» А она говорит: «Живу с богом со своим – с кем иначе жить?»

Я прислонился к теплому боку бабушки и заснул.

Жизнь снова потекла быстро и густо, широкий поток впечатлений каждый день приносил душе что-то новое, что восхищало и тревожило, обижало, заставляло думать.

Вскоре я тоже всеми силами стремился как можно чаще видеть хромую девочку, говорить с нею или молча сидеть рядом, на лавочке у ворот, – с нею и молчать было приятно. Была она чистенькая, точно птица пеночка, и прекрасно рассказывала о том, как живут казаки на Дону: там она долго жила у дяди, машиниста маслобойни, потом отец ее, слесарь, переехал в Нижний.

– А еще дядя, второй, так тот служит при самом царе.

Вечерами, по праздникам, все население улицы выходило «за ворота», парни и девушки отправлялись на кладбище водить хороводы, мужики расходились по трактирам, на улице оставались бабы и ребятишки. Бабы рассаживались у ворот прямо на песке или на лавочках и поднимали громкий галдеж, ссорясь и судача; ребятишки

начинали играть в лапту, в городки, в «шар – мазло»¹¹, – матери следили за играми, поощряя ловких, осмеивая плохих игроков. Было оглушительно шумно и незабвенно весело; присутствие и внимание «больших», возбуждая нас, мелочь, вносило во все игры особенное оживление, страстное соперничество. Но как бы сильно ни увлекались игрою мы трое – Кострома, Чурка и я, – все-таки нет – нет да тот или другой бежит похвастаться перед хроменькой девушкой.

– Видела, Людмила, как я все пять чушек из города вышиб?

Она ласково улыбалась, кивая головой несколько раз кряду.

Раньше наша компания старалась держаться во всех играх вместе, а теперь я видел, что Чурка и Кострома играют всегда в разных партиях, всячески соперничая друг с другом в ловкости и силе, часто – до слез и драки. Однажды они подрались так бешено, что должны были вмешаться большие, и врагов разливали водой, как собак.

Людмила, сидя на лавочке, топала о землю здоровой ногой, а когда бойцы подкатывались к ней, отталкивала их костылем, боязливо вскрикивая:

– Перестаньте!

Лицо у нее было досия бледное, глаза погасли и закатились, точно у кликуши.

Другой раз Кострома, позорно проиграв Чурке партию в городки, спрятался за ларь с овсом у бакалейной лавки, сел там на корточки и молча заплакал, – это было почти страшно: он крепко стиснул зубы, скулы его высунулись, костлявое лицо окаменело, а из черных, угрюмых глаз выкатываются тяжелые, крупные слезы. Когда я стал утешать его, он прошептал, захлебываясь слезами:

– Погоди... я его кирпичом по башке... увидит!

Чурка стал заносчив, ходил посредине улицы, как ходят парни-женихи, заломив картуз набекрень, засунув руки в карманы; он выучился ухарски сплевывать сквозь зубы и обещал:

– Скоро курить выучусь. Уж я два раза пробовал, да тошнит.

Все это не нравилось мне. Я видел, что теряю товарища, и мне казалось, что виною этому Людмила.

Как-то раз вечером, когда я разбирал на дворе собранные кости, тряпки и всякий хлам, ко мне подошла Людмила, покачиваясь, размахивая правой рукой.

– Здравствуй, – сказала она, трижды кивнув головой. – Кострома с тобой ходил?

– Да.

– А Чурка?

– Чурка с нами не дружится. Это все ты виновата, влюбились они в тебя и – дерутся...

Она покраснела, но ответила насмешливо:

– Вот еще! Чем же я виновата?

– А зачем влюбляешь?

– Я их не просила влюбляться! – сказала она сердито и пошла прочь, говоря: – Глупости все это! Я старше их, мне четырнадцать лет. В старших девочек не влюбляются...

– Много ты знаешь! – желая обидеть ее, крикнул я. – Вон лавочница, Хлыстова сестра, совсем старая, а как путается с парнями-то!

Людмила воротилась ко мне, глубоко всаживая свой костыль в песок двора.

– Ты сам ничего не знаешь, – заговорила она торопливо, со слезами в голосе, и милые глаза ее красиво разгорелись. – Лавочница – распутная, а я – такая, что ли? Я еще маленькая, меня нельзя трогать и щипать, и все... ты бы вот прочитал роман «Камчадалка»¹², часть вторая, да и говорил бы!

¹¹ Шар-мазло – известная на Руси с давних времен игра, напоминающая современный хоккей.

¹² Роман писателя-романтика И. Т. Калашникова (1834).

Она ушла, всхлипывая. Мне стало жаль ее – в словах ее звучала какая-то неведомая мне правда. Зачем щиплют ее товарищи мои? А еще говорят влюблены...

На другой день, желая загладить вину свою перед Людмилой, я купил на семишник леденцов «ячменного сахара», любимого ею, как я уже знал.

– Хочешь?

Она насильно сердито сказала:

– Уйди, я с тобой не дружусь!

Но тотчас взяла леденцы, заметив мне:

– Хоть бы в бумажку завернул, – руки-то грязные какие.

– Я мыл, да уж не отмываются.

Она взяла мою руку своей, сухой и горячей, посмотрела.

– Как испортил...

– А у тебя пальцы истыканы...

– Это – иголкой, я шью много...

Через несколько минут она предложила мне, оглядываясь:

– Слушай, давай спрячемся куда-нибудь и станем читать «Камчадалку» хочешь?

Долго искали, куда спрятаться, везде было неудобно. Наконец решили, что лучше всего забраться в предбанник: там – темно, но можно сесть у окна – оно выходит в грязный угол между сараем и соседней бойней, люди редко заглядывают туда.

И вот она сидит, боком к окну, вытянув больную ногу на скамье, опустив здоровую на пол, сидит и, закрыв лицо растрепанной книжкой, взволнованно произносит множество непонятных и скучных слов. Но я – волнуясь. Сидя на полу, я вижу, как серьезные глаза двумя голубыми огоньками двигаются по страницам книжки, иногда их увлажняет слеза, голос девочки дрожит, торопливо произносятся незнакомые слова в непонятных соединениях. Однако я хватаю эти слова и, стараясь уложить их в стихи, перевертываю всячески, это уж окончательно мешает мне понять, о чем рассказывает книга.

На коленях у меня дремлет собака, я зову ее – Ветер, потому что она мохнатая, длинная, быстро бегаёт и ворчит, как осенний ветер в трубе.

– Ты слушаешь? – спрашивает девочка. Я молча киваю головой. Сумятица слов все более возбуждает меня, все беспокойнее мое желание расставить их иначе, как они стоят в песнях, где каждое слово живет и горит звездой в небе.

Когда стало темно, Людмила, опустив побелевшую руку с книгой, спросила:

– Хорошо ведь? Вот видишь...

С этого вечера мы часто сживали в предбаннике. Людмила, к моему удовольствию, скоро отказалась читать «Камчадалку». Я не мог ответить ей, о чем идет речь в этой бесконечной книге, – бесконечной потому, что за второй частью, с которой мы начали чтение, явилась третья; и девочка говорила мне, что есть четвертая.

Особенно хорошо было нам в ненастные дни, если ненастье не падало на субботу, когда топили баню.

На дворе льет дождь, – никто не выйдет на двор, не заглянет к нам, в темный наш угол. Людмила очень боялась, что нас «застанут».

– Знаешь, что тогда подумают? – тихонько спрашивала она.

Я знал и тоже опасался, как бы не «застали». Мы просиживали целые часы, разговаривая о чем-то, иногда я рассказывал бабушкины сказки, Людмила же – о жизни казаков на реке Медведице.

– Ой, как там хорошо! – вздыхала она. – Здесь – что? Здесь только нищим жить...

Я решил, что, когда вырасту, непременно схожу посмотреть реку Медведицу.

Скоро мы перестали нуждаться в предбаннике: мать Людмилы нашла работу у скорняка и с утра уходила из дому, сестренка училась в школе, брат работал на заводе

изразцов. В ненастные дни я приходил к девочке, помогая ей стряпать, убирать комнату и кухню, она смеялась:

– Мы с тобой живем, как муж с женой, только спим порознь. Мы даже лучше живем – мужья женам не помогают...

Если у меня были деньги, я покупал сластей, мы пили чай, потом охлаждали самовар холодной водой, чтобы крикливая мать Людмилы не догадалась, что его грели. Иногда к нам приходила бабушка, сидела, плетя кружева или вышивая, рассказывала чудесные сказки, а когда дед уходил в город, Людмила пробиралась к нам, и мы пиروвали беззаботно.

Бабушка говорила:

– Ой, хорошо мы живем! Свой грош – строй что хошь!

Она поощряла нашу дружбу.

– Мальчику с девочкой дружить – это хорошее дело! Только баловать не надо...

И простейшими словами объясняла, что значит «баловать». Говорила она красиво, одухотворенно, и я хорошо понял, что не следует трогать цветы, пока они не распустились, а то не быть от них ни запаху, ни ягод.

«Баловать» не хотелось, но это не мешало мне и Людмиле говорить о том, о чем принято молчать. Говорили, конечно, по необходимости, ибо отношения полов в их грубой форме слишком часто и назойливо лезли в глаза, слишком обижали нас.

Отец Людмилы, красивый мужчина лет сорока, был кудряв, усат и как-то особенно победно шевелил густыми бровями. Он был странно молчалив, – я не помню ни одного слова, сказанного им. Лаская детей, он мычал, как немой, и даже жену бил молча.

Вечерами, по праздникам, одев голубую рубаху, плисовые шаровары и ярко начищенные сапоги, он выходил к воротам с большой гармоникой, закинутой на ремне за спину, и становился точно солдат в позиции «на караул». Тотчас же мимо наших ворот начиналось «гулянье»: уточками шли одна за другой девицы и бабы, поглядывая на Евсеенку прикрито, из-под ресниц, и открыто, жадными глазами, а он стоит, оттопырив нижнюю губу, и тоже смотрит на всех выбирающим взглядом темных глаз. Было что-то неприятно-собачье в этой безмолвной беседе глазами, в медленном, обреченном движении женщин мимо мужчины, – казалось, что любая из них, если только мужчина повелительно мигнет ей, покорно свалится на сорный песок улицы, как убитая.

– Выпялился козел, бесстыжая харя! – ворчит мать Людмилы. Тонкая и высокая, с длинным, нечистым лицом, с коротко остриженными – после тифа волосами, она была похожа на изработанную метлу.

Рядом с нею сидит Людмила и безуспешно старается отвлечь внимание ее от улицы, упрямо спрашивает о чем-нибудь.

– Отстань, назола, урод несчастный! – бормочет мать, беспокойно мигая; ее узкие монгольские глаза светлы и неподвижны, – задели за что-то и навсегда остановились.

– Ты не сердись, мамочка, все равно уж, – говорит Людмила. – Ты погляди-ка, как рогожница разоделась!

– Я бы получше оделась, кабы вас троих не было, сожрали вы меня, слопали, – безжалостно и точно сквозь слезы отвечает мать, вцепившись глазами в большую, широкую вдову рогожника.

Она похожа на маленький дом, грудь у нее выпятилась, подобно крыльцу; красное лицо, прикрытое и срезанное зеленым платком, напоминает слуховое окно, в час, когда стекла его отражают солнце.

Евсеенко, перекинув гармонию на грудь, играет. На гармонии множество ладов, звуки ее неотразимо тянут куда-то, со всей улицы катятся ребяташки, падают к ногам

гармониста и замирают в песке, восхищенные.

– погоди, свернут тебе башку, – обещает Евсеенко мужу.

Он молча косится на нее.

А рогожница камнем села неподалеку, на скамью у Хлыстовой лавки, и, склонив голову на плечо, слушает, пылая.

В поле, за кладбищем, рдеет вечерняя заря, по улице, как по реке, плывут ярко одетые большие куски тела, вихрем вьются дети, теплый воздух ласков и пьян. Чем-то острым дышит нагретый за день песок, особенно слышен жирный, сладковатый запах боен – запах крови; а со дворов, где живут скорняки, солоно и едко пахнет мездрой. Бабий говор, пьяный рев мужиков, звонкие крики детей, пение басовитой гармоники – все сливается густым гулом, мощно вздыхает неумоимо творящая земля. Все – грубо, обнаженно и внушает большое, крепкое чувство доверия к этой черной жизни, бесстыдно-животной. Хвастаясь своими силами, она тоскливо и напряженно ищет, куда излить их.

И сквозь шум порою доходят до сердца, навсегда укрепляясь в памяти, какие-то особенно жуткие слова:

– Одного всем сразу нельзя бить – надо по очереди...

– Кто нас пожалеет, коли сами себя не жалеем...

– Али бог бабу на смех родил?..

Ночь близко; свежее воздух, тише гул, деревянные дома пухнут, растут, одеваются тенями. Детей растащили по дворам – спать, иные заснули тут же под заборами, у ног и на коленях матерей. Ребятишки побольше становятся к ночи смирнее, мягче. Евсеенко незаметно исчез, точно растаял, рогожницы тоже нет, басовитая гармоника играет где-то далеко, за кладбищем. Мать Людмила сидит на лавке, скорчившись, выгнув спину, точно кошка. Бабушка моя ушла пить чай к соседке, повитухе и сводне, большой, жилистой бабе с утиным носом и золотой медалью «за спасение погибавших» на плоской, мужской груди. Вся улица боится ее, считая колдуньей; про нее говорят, что она вынесла из огня, во время пожара, троих детей какого-то полковника и его больную жену.

У бабушки с нею – дружба; встречаясь на улице, обе они еще издали улыбаются друг другу как-то особенно хорошо.

Кострома, Людмила и я сидим у ворот на лавке; Чурка вызвал брата Людмилы бороться, – обнявшись, они топчутся на песке и пылят.

– Перестаньте! – боязливо просит Людмила.

Скосив на нее черные глаза, Кострома рассказывает про охотника Калинина, седенького старичка с хитрыми глазами, человека дурной славы, знакомого всей слободе. Он недавно помер, но его не зарыли в песке кладбища, а поставили гроб поверх земли, в стороне от других могил. Гроб черный, на высоких ножках, крышка его расписана белой краской, – изображены крест, копье, трость и две кости.

Каждую ночь, как только стемнеет, старик встает из гроба и ходит по кладбищу, все чего-то ищет вплоть до первых петухов.

– Не говори о страшном! – просит Людмила.

– Пусти! – кричит Чурка, освобождаясь от объятий брата ее, и насмешливо говорит Костроме: – Что врешь? Я сам видел, как зарывали гроб, а сверху – пустой, для памятника... А что ходит покойник – это пьяные кузнецы выдумали...

Кострома, не глядя на него, сердито предложил:

– Поди переспи на кладбище, коли так!

Они начали спорить, а Людмила, скучно покачивая головой, спрашивала:

– Мапочка, покойники по ночам встают?

– Встают, – повторила мать, точно издали отозвалось эхо.

Подошел сын лавочницы, Валек, толстый, румяный парень лет двадцати, послушал наш спор и сказал:

– Кто из трех до света пролежит на гробу – двугривенный дам и десяток папирос, а кто струсит – уши надеру, сколько хочю, ну?

Все замолчали, смутясь, а мать Людмилы сказала:

– Глупости какие! Разве можно детей подбивать на этакое...

– Давай рубль – пойду! – угрюмо предложил Чурка. Кострома тотчас же ехидно спросил:

– А за двугривенный – трусишь? – И сказал Вальку: – Дай ему рубль, все равно не пойдет, форсит только...

– Ну, бери рубль!

Чурка встал с земли и молча, не торопясь, пошел прочь, держась близко к забору. Кострома, сунув пальцы в рот, пронзительно свистнул вслед ему, а Людмила тревожно заговорила:

– Ах, господи, хвастунишка какой... что же это!

– Куда вам, трусы! – издевался Валек. – А еще первые бойцы улицы считаетесь, котята...

Было обидно слушать его издевки; этот сытый парень не нравился нам, он всегда подстрекал ребятшек на злые выходки, сообщал им пакостные сплетни о девицах и женщинах; учил дразнить их; ребятшки слушались его и больно платились за это. Он почему-то ненавидел мою собаку, бросал в нее камнями; однажды он дал ей в хлебе иглу.

Но еще обиднее было видеть, как уходит Чурка, съезжившись, пристыженный.

Я сказал Вальку:

– Давай рубль, я пойду...

Он, посмеиваясь и пугая меня, отдал рубль Евсеенковой, но женщина строго сказала:

– Не хочю, не возьму!

И сердито ушла. Людмила тоже не решилась взять бумажку; это еще более усилило насмешки Валька. Я уже хотел идти, не требуя денег, но подошла бабушка и, узнав, в чем дело, взяла рубль, а мне спокойно сказала:

– Пальтишко надень да одеяло возьми, а то к утру холодно станет...

Ее слова внушили мне надежду, что ничего страшного не случится со мною.

Валек поставил условием, что я должен до света лежать или сидеть на гробе, не сходя с него, что бы ни случилось, если даже гроб закачается, когда старик Калинин начнет вылезать из могилы. Спрыгнув на землю, я проиграю.

– Глади же, – предупредил Валек, – я за тобой всю ночь следить буду!

Когда я пошел на кладбище, бабушка, перекрестив меня, посоветовала:

– Ежели что померещится – не шевелись, а только читай богородицу дево радуйся...

Я шел быстро, хотелось поскорее начать и кончить все это. Меня сопровождали Валек, Кострома и еще какие-то парни. Перелезая через кирпичную ограду, я запутался в одеяле, упал и тотчас вскочил на ноги, словно подброшенный песком. За оградой хохотали. Что-то екнуло в груди, по коже спины пробежал неприятный холодок.

Спотыкаясь, я дошел до черного гроба. С одной стороны он был занесен песком, с другой – его коротенькие, толстые ножки обнажились, точно кто-то пытался приподнять его и пошатнул. Я сел на край гроба, в ногах его, оглянулся: бугроватое кладбище тесно заставлено серыми крестами, тени, размахнувшись, легли на могилы, обняли их щетинистые холмы. Кое-где, заплутавшись среди крестов, торчат тонкие, тощие березки, связывая ветвями разъединенные могилы; сквозь кружево их теней

торчат былинки – эта серая щетина самое жуткое! Снежным сугробом поднялась в небо церковь, среди неподвижных облаков светит маленькая, истаявшая луна.

Язев отец – Дрянной Мужик – лениво бьет в сторожевой колокол; каждый раз, когда он дергает веревку, она, задевая за железный лист крыши, жалобно поскрипывает, потом раздается сухой удар маленького колокола, – он звучит кратко, скучно.

«Не дай господь бессонницу», – вспоминается мне поговорка сторожа.

Жутко. И почему-то – душно, я обливаюсь потом, хотя ночь свежая. Успею ли я добежать до сторожки, в случае если старик Калинин начнет вылезать из могилы?

Кладбище хорошо знакомо мне, десятки раз я играл среди могил с Язем и другими товарищами. Вон там, около Церкви, похоронена мать...

Еще не все уснуло, со слободы доносятся всплески смеха, обрывки песен. На буграх, в железнодорожном карьере, где берут песок, или где-то в деревне Катывовке верещит, захлебываясь, гармоника, за оградой идет всегда пьяный кузнец Мячов и поет – я узнаю его по песне:

А у нашей маменьки
И грехи-то маленькие,
Она не любя никого,
Только тятю одного...

Приятно слышать последние вздохи жизни, но после каждого удара колокола становится тише, тишина разливается, как река по лугам, все топит, скрывает. Душа плавает в бескрайней, бездонной пустоте и гаснет, подобно огню спички во тьме, растворяясь бесследно среди океана этой пустоты, где живут, сверкая, только недостижимые звезды, а все на земле исчезло, ненужно и мертво.

Закутавшись в одеяло, я сидел, подобрав ноги, на гробнице лицом к церкви, и, когда шевелился, гробница поскрипывала, песок под нею хрустел.

Что-то ударило о землю сзади меня раз и два, потом близко упал кусок кирпича, – это было страшно, но я тотчас догадался, что швыряют из-за ограды Валека и его компания – хотят испугать меня. Но от близости людей мне стало лучше.

Невольно думалось о матери... Однажды, застав меня, когда я пробовал курить папиросы, она начала бить меня, а я сказал:

– Не трогай, и без того уж мне плохо, тошнит очень...

Потом, наказанный, я сидел за печью, а она говорила бабушке:

– Бесчувственный мальчишка, никого не любит...

Обидно было слушать это. Когда мать наказывала меня, мне было жалко ее, неловко за нее: редко она наказывала справедливо и по заслугам.

И вообще – очень много обидного в жизни, вот хотя бы эти люди за оградой, – ведь они хорошо знают, что мне боязно одному на кладбище, а хотят напугать еще больше. Зачем?

Хотелось крикнуть им:

«Подите к черту!»

Но это было опасно, – кто знает, как отнесется к этому черт? Он, наверное, где-нибудь близко.

В песке много кусочков слюды, она тускло блестела в лунном свете, и это напоминало мне, как однажды я, лежа на плотках на Оке, смотрел в воду, вдруг, почти к самому лицу моему всплыл подлещик, повернулся боком и стал похож на человеческую щеку, потом взглянул на меня круглым птичьим глазом, нырнул и пошел в глубину, колеблясь, как падающий лист клена.

Память работала все напряженнее, воскрешая различные случаи жизни, точно защищаясь ими против воображения, упрямо создававшего страшное.

Вот катится еж, стуча по песку твердыми лапками: он напоминает домашнего – такой же маленький, встрепанный.

Вспоминаю, как бабушка, сидя на корточках перед подпечком, приговаривала:
– Ласковый хозяин, выведи тараканов...

Далеко за городом – не видным мне – становилось светлее, утренний холодок сжимал щеки, слипались глаза.

Я свернулся калачиком, окутав голову одеялом, – будь что будет!

Разбудила меня бабушка – стоит рядом со мной и, стаскивая одеяло, говорит:

– Вставай! Не озяб ли? Ну, что – страшно?

– Страшно, только ты не говори никому про это, ребятишкам не говори!

– А почто молчать? – удивилась она. – Коли не страшно, так и хвалиться нечем...

Пошли домой, и дорогой она ласково говорила:

– Все надо самому испытать, голуба душа, все надо самому знать... Сам не поучишься – никто не научит...

К вечеру я стал «героем» улицы, все спрашивали меня:

– Да неужто не страшно?

И когда я говорил: «Страшно!» – качая головами, восклицали:

– Ага! Вот видишь?

Лавочница же громко и убежденно заявила:

– Стало быть, вдали, что Калинин встает. Кабы вставал, – разве испугался бы мальчишки? Да он бы его смахнул с кладбища и не видать куда.

Людмила смотрела на меня с ласковым удивлением, даже дед был, видимо, доволен мною, все ухмылялся. Только Чурка сказал угрюмо:

– Ему – легко, у него бабушка – ведьма!

Глава III

Незаметно, как маленькая звезда на утренней заре, погас брат Коля. Бабушка, он и я спали в маленьком сарайчике, на дровах, прикрытых разным тряпьем; рядом с нами, за щелявой стеной из горбушин, был хозяйский курятник; с вечера мы слышали, как встряхивались и клохтали, засыпая, сытые куры; утром нас будил золотой горластый петух.

– О, чтоб тебя рóзорвало! – ворчала бабушка, просыпаясь.

Я уже не спал, наблюдая, как сквозь щели дровяника пробиваются ко мне на постель лучи солнца, а в них пляшет какая-то серебряная пыль, – эти пылинки – точно слова в сказке. В дровах шуршат мыши, бегают красненькие букашки с черными точками на крыльях.

Иногда, уходя от душных испарений куриного помета, я вылезал из дровяника, забирался на крышу его и следил, как в доме просыпались безглазые люди, огромные, распухшие во сне.

Вот высунулась из окна волосатая башка лодочника Ферманова, угрюмого пьяницы; он смотрит на солнце крошечными щелками заплывших глаз и хрюкает, точно кабан. Выбежал на двор дед, обеими руками приглаживая рыженькие волосенки, – спешит в баню обливаться холодной водой. Болтливая кухарка домохозяйина, остроносая, густо обрызганная веснушками, похожа на кукушку, сам хозяин – на старого, ожиревшего голубя, и все люди напоминают птиц, животных, зверей.

Утро такое милое, ясное, но мне немножко грустно и хочется уйти в поле, где никого нет, – я уж знаю, что люди, как всегда, запачкают светлый день.

Однажды, когда я лежал на крыше, бабушка позвала меня и негромко сказала, кивнув головой на свою постель:

– Помер Коля-то...

Мальчик съехал с кумача подушки и лежал на войлоке, синеватый, голенький, рубашка сбилась к шее, обнажив вздутый живот и кривые ножки в язвах, руки странно подложены под поясицу, точно он хотел приподнять себя. Голова чуть склонилась набок.

– Слава богу, отошел, – говорила бабушка, расчесывая волосы свои. Что бы он жил, убогонький-то?

Притопывая, точно танцую, явился дед, осторожно потрогал пальцем закрытые глаза ребенка; бабушка сердито сказала:

– Что трогаешь немытыми-то руками?

Он забормотал:

– Вот – родили... жил, ел... ни то ни се...

– Проснись, – остановила его бабушка.

Он слепо взглянул на нее и пошел на двор, говоря:

– Мне хоронить не на что, как хошь сама...

– Тьфу ты, несчастный!

Я ушел и вплоть до вечера не возвращался домой.

Хоронили Колю утром другого дня; я не пошел в церковь и всю обедню сидел у разрытой могилы матери, вместе с собакой и Язевым отцом. Он вырыл могилу дешево и все хвастался этим передо мной.

– Это я только по знакомству, а то бы – рубль...

Заглядывая в желтую яму, откуда исходил тяжелый запах, я видел в боку ее черные, влажные доски. При малейшем движении моем бугорки песку вокруг могилы осыпались, тонкие струйки текли на дно, оставляя по бокам морщины. Я нарочно двигался, чтобы песок скрыл эти доски.

– Не балуй, – сказал Язев отец, покуривая. Бабушка принесла на руках белый гробик, Дрянной Мужик прыгнул в яму, принял гроб, поставил его рядом с черными досками и, выскочив из могилы, стал толкать туда песок и ногами и лопатой. Трубка его дымилась, точно кадило. Дед и бабушка тоже молча помогали ему. Не было ни попов, ни нищих, только мы четверо в густой толпе крестов.

Отдавая деньги сторожу, бабушка сказала с укором:

– А ты все-таки потревожил Варину-то домовину...

– Как иначе! И то я чужой земли прихватил. Это – ничего!

Бабушка поклонилась могиле до земли, всхлипнула, взвыла и пошла, а за нею – дед, скрыв глаза под козырьком фуражки, одергивая потертый сюртук.

– Сеяли семя в непахану землю, – сказал он вдруг, убегая вперед, точно ворон по пашне.

Я спросил бабушку:

– Чего он?

– Бог с ним! У него свои мысли, – ответила она.

Было жарко, бабушка шла тяжело, ноги ее тонули в теплом песке, она часто останавливалась, отирая потное лицо платком.

Я спросил ее, понатужась:

– Черное-то в могиле – это материн гроб?

– Да, – сказала она сердито. – Пес неумный... Года еще нет, а сгнила Варя-то! Это все от песку, – он воду пропускает. Кабы глина была, лучше бы...

– Все гниют?

– Все. Только святых минует это...

– Ты – не сгниешь!

Она остановилась, поправила картуз на моей голове и серьезно посоветовала:

– Не думай-ка про это, не надо. Слышишь?

Но я думал: «Как это обидно и противно – смерть. Вот гадость!»

Мне было очень плохо.

Когда пришли домой, дед уже приготовил самовар, накрыл на стол.

– Попьем чайку, а то – жарко, – сказал он. – Я уж своего заварю. На всех.

Подошел к бабушке и похлопал ее по плечу.

– Что, мать, а?

Бабушка махнула рукой.

– Что уж тут!

– То-то вот! Прогневался на нас господь, отрывает кусок за куском... Кабы семьи-то крепко жили, как пальцы на руке...

Давно не говорил он так мягко и миролюбиво. Я слушал его и ждал, что старик погасит мою обиду, поможет мне забыть о желтой яме и черных, влажных клочьях в боку ее.

Но бабушка сурово остановила его:

– Перестань-ка, отец! всю жизнь говоришь ты эти слова, а кому от них легче?

Всю жизнь ел ты всех, как ржа железо...

Дед крикнул, взглянул на нее и замолчал.

Вечером, у ворот я с тоскою поведал Людмиле о том, что увидел утром, но это не произвело на нее заметного впечатления.

– Сиротой жить лучше. Умри-ка у меня отец с матерью, я бы сестру оставила на брата, а сама – в монастырь на всю жизнь. Куда мне еще? Замуж я не гожусь, хромая – не работница. Да еще детей тоже хромых нарожаешь...

Она говорила разумно, как все бабы нашей улицы, и, должно быть, с этого вечера я потерял интерес к ней; да и жизнь пошла так, что я все реже встречал подругу.

Через несколько дней после смерти брата дед сказал мне:

– Ложись сегодня раньше, на свету разбуду, в лес пойдем за дровами...

– А я – травок пособираю, – заявила бабушка.

Лес, еловый и березовый, стоял на болоте, верстах в трех от слободы. Обилен сухостоем и валежником, он размахнулся в одну сторону до Оки, в другую – шел до шоссеиной дороги на Москву, и дальше, за дорогу. Над его мягкой щетиной черным шатром высоко поднималась сосновая чаща – «Савелова Грива».

Все это богатство принадлежало графу Шувалову и охранялось плохо; кунавинское мещанство смотрело на него как на свое, собирало валежник, рубило сухостой, не брезгуя при случае и живым деревом. По осени, запасая дрова на зиму, в лес снаряжались десятки людей с топорами и веревками за поясом.

Вот и мы трое идем на рассвете по зелено-серебряному росному полю; слева от нас, за Окою, над рыжими боками Дятловых гор, над белым Нижним Новгородом, в холмах зеленых садов, в золотых главах церковей, встает не торопясь русское ленивенькое солнце. Тихий ветер сонно веет с тихой, мутной Оки, качаются золотые лютики, отягченные росой, лиловые колокольчики немотно опустились к земле, разноцветные бессмертники сухо торчат на малопродуктивном дерне, раскрывает алые звезды «ночная красавица» – гвоздика...

Темною ратью двигается лес навстречу нам. Крылатые ели – как большие птицы; березы – точно девушки. Кислый запах болота течет по полю. Рядом со мною идет собака, высунув розовый язык, останавливается и, приняв хавшись, недоуменно качает лисьей головой.

Дед, в бабушкиной кацавейке, в старом картузе без козырька, щурится, чему-то улыбается, шагает тонкими ногами осторожно, точно крадется. Бабушка, в синей кофте, в черной юбке и белом платке на голове, катится по земле споро – за нею трудно

поспеть.

Чем ближе лес, тем оживленнее дед; потягивая воздух носом, побрякивая, он говорит вначале отрывисто, невнятно, потом, словно пьянея, весело и красиво:

– Леса – господни сады. Никто их не сеял, один ветер божий, святое дыхание уст его... Бывало, в молодости, в Жигулях, когда я бурлаком ходил... Эх, Алексей, не доведется тебе видеть-испытать, что мною испытано! На Оке леса – от Касимова до Мурома, али – за Волгой лес, до Урала идет, да! Все это безмерно и пречудесно...

Бабушка смотрит на него искоса и подмигивает мне, а он, спотыкаясь о кочки, дробно сыплет сухонькие слова, засевая ими мою память.

– Вели мы из Саратова расшиву с маслом к Макарию на ярмарку, и был у нас приказчик Кирилло, из Пуреха, а водоливом – татарин касимовский, Асаф, что ли... Дошли до Жигуля, а хватил ветер верховой в глаза нам – выбились из силушки, встали на мертвую, закачались, – сошли на берег кашу варить. А – май на земле, Волга-то морем лежит, и волна по ней стайно гуляет, будто лебеди, тысячами, в Каспий плывут. Горы-то Жигули, зеленые по-вешнему, в небо взмахнули, в небушке облака белые пасутся, солнце тает на землю золотом. Отдыхаем, любуемся, подобрали все друг ко другу; на реке-то сиверко, холодно, а на берегу – тепло, душисто! Под вечер Кирилло наш суровый был мужчина и в летах – встал на ноги, шапку снял, да и говорит: «Ну, ребята, я вам боле не начальник, не слуга, идите – сами, а я в леса отойду!» Мы все встрянулись – как да что? Нам ведь без ответного перед хозяином человека нельзя – без головы люди не ходят! Оно хоть и Волга, а и на прямом пути сбиться можно. Народ – зверь безумный, ему – чего жалко? Испугались. А он – свое: «Не хочу боле этак жить, пастухом вашим, уйду в леса!» Мы было – которые – собрались бить его да вязать, а – которые задумались о нем, кричат: «Стойте!» А водолив-татарин тоже кричит: «И я ухожу!» Совсем беда. Ему, татарину, за две путины хозяином не плачено, да полпути в трети сделал – большие деньги по той поре! Кричали, кричали до самой ночи, а к ночи семеро ушло от нас, остались мы – не то шестнадцать, не то – четырнадцать. Вот те и лес!

– Они – в разбойники ушли?

– Может – в разбойники, а может – в отшельники, – в ту пору не очень разбирали эти дела...

Бабушка крестится.

– Пресвятая мать божия! Как подумаешь про людей – то, так станет жалко всех.

– Всем дан один разум, – знай, куда бес тянет...

Входим в лес по мокрой тропе, среди болотных кочек и хилого ельника. Мне кажется, что это очень хорошо – навсегда уйти в лес, как ушел Кирилло из Пуреха. В лесу нет болтливых людей, драк, пьянства, там забудешь о противной жадности деда, о песчаной могиле матери, обо всем, что, обижая, давит сердце тяжелой скукой. На сухом месте бабушка говорит:

– Надо закусить, сядемте-ка!

В лукошке у нее ржаной хлеб, зеленый лук, огурцы, соль и творог в тряпицах; дед смотрит на все это конфузливо и мигает.

– А я ничего не взял еды-то, ох, мать честная...

– Хватит на всех...

Сидим, прислонясь к медному стволу мачтовой сосны; воздух насыщен смолистым запахом, с поля веет тихий ветер, качаются хвощи; темной рукой бабушка срывает травы и рассказывает мне о целебных свойствах зверобоя, буквицы, подорожника, о таинственной силе папоротника, клейкого иван-чая, пыльной травы-плавуна.

Дед рубит валежник, а я должен сносить нарубленное в одно место, но я

незаметно ухожу в чащу, вслед за бабушкой, – она тихонько плавает среди могучих стволов и, точно ныряя, все склоняется к земле, осыпанной хвоей. Ходит и говорит сама с собою:

– Рано опять пошли – мало будет гриба! Плохо ты, господи, о бедных заботишься, бедному и гриб – лакомство!

Я иду за нею молча, осторожно, заботясь, чтобы она не замечала меня: мне не хочется мешать ее беседе с богом, травами, лягушками...

Но она видит меня.

– Сбежал от деда-то?

И, кланяясь черной земле, пышно одетой в узорчатую ризу трав, она говорит о том, как однажды бог, во гневе на людей, залил землю водою и потопил все живое.

– А премилая мать его собрала заранее все семена в лукошко, да и спрятала, а после просит солнышко: осуши землю из конца в конец, за то люди тебе славу споют! Солнышко землю высушило, а она ее спрятанным зерном и засеяла. Смотрит господь: опять обрастает земля живым – и травами, и скотом, и людьми!.. Кто это, говорит, надделал против моей воли? Тут она ему покаялась, а господину-то уж и самому жалко было видеть землю пустой, и говорит он ей: это хорошо ты сделала!

Мне нравится рассказ, но я удивлен и пресерьезно говорю:

– Разве так было? Божья-то мать родилась долго спустя после потопа.

Теперь бабушка удивлена.

– Это кто тебе сказал?

– В училище, в книжках написано...

Это ее успокаивает, она советует мне:

– А ты брось-ка, забудь это, книжки все; врут они, книжки-то!

И смеется тихонько, весело.

– Придумали, дурачки! Бог – был, а матери у него не было, эго! От кого же он родился?

– Не знаю.

– Вот хорошо! До «не знаю» доучился!

– Поп говорил, что божья мать родилась от Иоакима и Анны.

– Марья Якимовна, значит?

Бабушка уже сердится, – стоит против меня и строго смотрит прямо в глаза мне:

– Если ты эдак будешь думать, я тебя так-то ли отшлепаю!

Но через минуту объясняет мне:

– Богородица всегда была, раньше всего! От нее родился бог, а потом...

– А Христос – как же?

Бабушка молчит, смущенно закрыв глаза.

– А Христос... да, да, да?

Я вижу, что победил, запутал ее в тайнах божьих, и это мне неприятно.

Уходим все дальше в лес, в синеватую мглу, изрезанную золотыми лучами солнца. В тепле и уюте леса тихонько дышит какой-то особенный шум, мечтательный и возбуждающий мечты. Скрипят клесты, звенят синицы, смеется кукушка, свистит иволга, немолчно звучит ревнивая песня зяблика, задумчиво поет странная птица – щур. Изумрудные лягушата прыгают под ногами между корней; подняв золотую головку, лежит уж и стережет их. Щелкает белка, в лапах сосен мелькает ее пушистый хвост; видишь невероятно много, хочется видеть все больше, идти все дальше.

Между стволов сосен являются прозрачные, воздушные фигуры огромных людей и исчезают в зеленой густоте; сквозь нее просвечивает голубое, в серебре, небо. Под ногами пыльным ковром лежит мох, расшитый брусничником и сухими нитями клюквы, костяника сверкает в траве каплями крови, грибы дразнят крепким запахом.

– Пресвятая богородица, ясный свет земной, – вздыхая, молится бабушка.

Она в лесу – точно хозяйка и родная всему вокруг, – она ходит медведицей, все видит, все хвалит и благодарит. От нее – точно тепло течет по лесу, и когда мох, примятый ее ногами, расправляется и встает – мне особенно приятно это видеть.

Идешь и думаешь: хорошо быть разбойником, грабить жадных, богатых, отдавать награбленное бедным, – пусть все будут сыты, веселы, не завистливы и не лаются друг с другом, как злые псы. Хорошо также дойти до бабушкина бога, до ее богородицы и сказать им всю правду о том, как плохо живут люди, как нехорошо, обидно хоронят они друг друга в дрянном песке. И сколько вообще обидного на земле, чего вовсе не нужно. Если богородица поверит мне, пусть даст такой ум, чтоб я мог все устроить иначе, получше как-нибудь. Пусть бы люди слушали меня с доверием, – уж я бы поискал, как жить лучше! Это ничего, что я маленький, – Христос был всего на год старше меня, а уж в то время мудрецы его слушали...

Однажды, ослепленный думами, я провалился в глубокую яму, распоров себе сучком бок и разорвав кожу на затылке. Сидел на дне, в холодной грязи, липкой, как смола, и с великим стыдом чувствовал, что сам я не вылезу, а пугать криком бабушку было неловко. Однако я позвал ее.

Она живо вытащила меня и, крестясь, говорила:

– Слава те господи! Ну, ладно что пустая берлога, а кабы там да хозяин лежал?

И заплакала сквозь смех. Потом повела меня к ручью, вымыла, перевязала раны своей рубашкой, приложив каких-то листьев, утоливших боль, и отвела в железнодорожную будку, – до дому я не мог дойти, сильно ослабев.

Я стал почти каждый день просить бабушку:

– Пойдем в лес!

Она охотно соглашалась, и так мы прожили все лето, до поздней осени, собирая травы, ягоды, грибы и орехи. Собранное бабушка продавала, и этим кормились.

– Дармоеды! – скрипел дед, хотя мы совершенно не пользовались его хлебом.

Лес вызывал у меня чувство душевного покоя и уюта; в этом чувстве исчезали все мои огорчения, забывалось неприятное, и в то же время у меня росла особенная настороженность ощущений: слух и зрение становились острее, память – более чуткой,местилище впечатлений – глубже.

И все более удивляла меня бабушка, я привык считать ее существом высшим всех людей, самым добрым и мудрым на земле, а она неустанно укрепляла это убеждение. Как-то вечером, набрав белых грибов, мы, по дороге домой, вышли на опушку леса; бабушка присела отдохнуть, а я зашел за деревья – нет ли еще гриба?

Вдруг слышу ее голос и вижу: сидя на тропе, она спокойно срезает корни грибов, а около нее, вывесив язык, стоит серая, поджарая собака.

– А ты иди, иди прочь! – говорит бабушка. – Иди с богом!

Незадолго перед этим Валек отравил мою собаку; мне очень захотелось приманить эту, новую. Я выбежал на тропу, собака странно изогнулась, не ворочая шеей, взглянула на меня зеленым взглядом голодных глаз и прыгнула в лес, поджав хвост. Осанка у нее была не собачья, и, когда я свистнул, она дико бросилась в кусты.

– Видал? – улыбаясь, спросила бабушка. – А я вначале опозналась, думала – собака, гляжу – ан клыки-то волчьи, да и шея тоже! Испугалась даже: ну, говорю, коли ты волк, так иди прочь! Хорошо, что летом волки смиренны...

Она никогда не плутала в лесу, безошибочно определяя дорогу к дому. По запахам трав она знала, какие грибы должны быть в этом месте, какие – в ином, и часто экзаменовала меня.

– А какое дерево рыжик любит? А как ты отличишь хорошую сыроежку от ядовитой? А какой гриб любит папоротник?

По незаметным царапинам на коре дерева она указывала мне беличьи дупла, я влезал на дерево и опустошал гнездо зверька, выбирая из него запасы орехов на зиму; иногда в гнездах их было фунтов до десяти...

И однажды, когда я занимался этим делом, какой-то охотник всадил мне в правую сторону тела двадцать семь штук бекасиной дроби; одиннадцать бабушка выковыряла иглой, а остальные сидели в моей коже долгие годы, постепенно выходя.

Бабушке нравилось, что я терпеливо отношусь к боли.

– Молодец, – хвалила она, – есть терпение, будет и уменье!

Каждый раз, когда у нее скопилось немножко денег от продажи грибов и орехов, она раскладывала их под окнами «тихой милостыней», а сама даже по праздникам ходила в отрепье, в заплатках.

– Хуже нищей ходишь, срамишь меня, – ворчал дед.

– Ничего, я тебе – не дочь, я ведь не в невестах...

Их ссоры становились все более частыми.

– Я не более других грешен, – обиженно кричал дед, – а наказан больше!

Бабушка поддразнивала его:

– Черти знают, кто чего стоит. И говорила мне с глазу на глаз:

– Бойтесь старик мой чертушек-то! Вон как стареет быстро, со страху-то... Эх, бедный человек...

Я очень окреп за лето и одичал в лесу, утратив интерес к жизни сверстников, к Людмиле, – она казалась мне скучно-умной...

Однажды дед пришел из города мокрый весь – была осень, и шли дожди встряхнулся у порога, как воробей, и торжественно сказал:

– Ну, шалыган, завтра сбирайся на место!

– Куда еще? – сердито спросила бабушка.

– К сестре твоей Матрене, к сыну ее...

– Ох, отец, худо ты выдумал!

– Молчи, дура! Может, его чертежником сделают.

Бабушка молча опустила голову. Вечером я сказал Людмиле, что ухожу в город, там буду жить.

– И меня скоро повезут туда, – сообщила она задумчиво. – Папа хочет, чтобы мне вовсе отрезали ногу, без ноги я буду здоровая.

За лето она похудела, кожа лица ее стала голубоватой, а глаза выросли.

– Боишься? – спросил я.

– Боюсь, – сказала она, беззвучно заплакав. Нечем было утешить ее – я сам боялся жизни в городе. Мы долго сидели в унылом молчании, прижавшись друг к другу.

Будь лето, я уговорил бы бабушку пойти по миру, как она ходила, будучи девочкой. Можно бы и Людмилу взять с собой, – я бы возил ее в тележке...

Но была осень, по улице летел сырой ветер, небо окутано неиссякаемыми облаками, земля сморщилась, стала грязной и несчастной...

Глава IV

Я снова в городе, в двухэтажном белом доме, похожем на гроб, общий для множества людей. Дом – новый, но какой-то худосочный, вспухший, точно нищий, который внезапно разбогател и тотчас объелся до ожирения. Он стоит боком на улице, в каждом этаже его по восемь окон, а там, где должно бы находиться лицо дома, – по четыре окна; нижние смотрят в узенький проезд, на двор, верхние – через забор, на маленький домик прачки и в грязный овраг.

Улицы, как я привык понимать ее, – нет; перед домом распластался грязный

овраг, в двух местах его перерезали узкие дамбы. Налево овраг выходит к арестантским ротам, в него сваливают мусор со дворов и на дне его стоит лужа густой, темно-зеленой грязи; направо, в конце оврага, киснет илистый Звездин пруд, а центр оврага – как раз против дома; половина засыпана сором, заросла крапивой, лопухами, конским щавелем, в другой половине священник Доримедонт Покровский развел сад; в саду – беседка из тонких дранок, окрашенных зеленою краской. Если в эту беседку бросать камни – дранки с треском лопаются.

Место донельзя скучное, нахально грязное; осень жестоко изуродовала сорную глинистую землю, претворив ее в рыжую смолу, цепко хватающую за ноги. Я никогда еще не видал так много грязи на пространстве столь небольшом, и, после привычки к чистоте поля, леса, этот угол города возбуждал у меня тоску.

За оврагом тянутся серые, ветхие заборы, и далеко среди них я вижу бурый домишко, в котором жил зимою, будучи мальчиком в магазине. Близость этого дома еще более угнетает меня. Почему мне снова пришлось жить на этой улице?

Хозяина моего я знаю, он бывал в гостях у матери моей вместе с братом своим, который смешно пищал:

– Андрей – папа!, Андрей – папа!

Они оба такие же, как были: старший, горбоносый, с длинными волосами, приятен и, кажется, добрый; младший, Виктор, остался с тем же лошадиным лицом и в таких же веснушках. Их мать – сестра моей бабушки – очень сердита и криклива. Старший – женат, жена у него пышная, белая, как пшеничный хлеб, у нее большие глаза, очень темные.

В первые же дни она раза два сказала мне:

– Я подарила матери твоей шелковую тальму¹³, со стеклярусом¹⁴...

Мне почему-то не хотелось верить, что она подарила, а мать приняла подарок. Когда же она напомнила мне об этой тальме еще раз, я посоветовал ей:

– Подарила, так уж не хвастайся.

Она испуганно отскочила от меня.

– Что-о? Ты с кем говоришь?

Лицо ее покрылось красными пятнами, глаза выкатились, она позвала мужа.

Он пришел в кухню с циркулем в руках, с карандашом за ухом, выслушал жену и сказал мне:

– Ей и всем надо говорит – вы. А дерзостей не надо говорить!

Потом нетерпеливо сказал жене:

– Не беспокой ты меня пустяками!

– Как – пустяки! Если твоя родня...

– Черт ее возьми, родню! – закричал хозяин и убежал.

Мне тоже не нравилось, что эти люди – родня бабушке; по моим наблюдениям, родственники относятся друг к другу хуже чужих: больше чужих зная друг о друге худого и смешного, они злее сплетничают, чаще ссорятся и дерутся.

Хозяин понравился мне, он красиво встряхивал волосами, заправляя их за уши, и напоминал мне чем-то Хорошее Дело. Часто, с удовольствием смеялся, серые глаза смотрели добродушно, около ястребиного носа забавно играли смешные морщинки.

– Довольно вам ругаться, звери-курицы! – говорил он жене и матери, обнажая мягкой улыбкой мелкие, плотные зубы.

Свекровь и сноха ругались каждый день; меня очень удивляло, как легко и быстро они ссорятся. С утра, обе нечесанные, расстегнутые, они начинали метаться по

¹³ Тальма – в России XIX в. – предмет мужской и женской одежды – просторная длинная плащ-накидка без рукавов.

¹⁴ Стеклярус – стеклянные цилиндрики удлиненной формы с продольным отверстием для нити.

комнатам, точно в доме случился пожар: сутились целый день, отдыхая только за столом во время обеда, вечернего чая и ужина. Пили и ели много, до опьянения, до усталости, за обедом говорили о кушаньях и ленивенько переругивались, готовясь к большой ссоре. Что бы ни изготовила свекровь, сноха непременно говорила:

– А моя мамаша делает это не так.

– Не так, значит – хуже!

– Нет – лучше!

– Ну, и ступай к своей мамаше.

– Я здесь – хозяйка!

– А я кто?

Вмешивался хозяин:

– Довольно, звери-курицы! Что вы – с ума сошли?

В доме все было необъяснимо странно и смешно: ход из кухни в столовую лежал через единственный в квартире маленький, узкий клозет; через него вносили в столовую самовары и кушанье, он был предметом веселых шуток и часто – источником смешных недоразумений. На моей обязанности лежало наливать воду в бак клозета, а спал я в кухне, против его двери и у двери на парадное крыльцо: голове было жарко от кухонной печи, в ноги дуло с крыльца; ложась спать, я собирал все половики и складывал их на ноги себе.

В большой зале, с двумя зеркалами в простенках, картинами – премиями «Нивы»¹⁵ в золотом багете, с парой карточных столов и дюжиной венских стульев, было пустынно и скучно. Маленькая гостиная тесно набита пестрой мягкой мебелью, горками с «приданным», серебром и чайной посудой; ее украшали три лампы, одна другой больше. В темной, без окон, спальне, кроме широкой кровати, стояли сундуки, шкапы, от них исходил запах листового табаку и персидской ромашки. Эти три комнаты всегда были пусты, а хозяева теснились в маленькой столовой, мешая друг другу. Тотчас после утреннего чая, в восемь часов, хозяин с братом раздвигали стол, раскладывали на нем листы белой бумаги, готовальни, карандаши, блюдца с тушью и принимались за работу, один на конце стола, другой против него. Стол качался. Он загромождал всю комнату, и когда из детской выходила нянька с хозяйкой, они задевали углы стола.

– Да не шляйтесь вы тут! – кричал Виктор.

Хозяйка обиженно просила мужа:

– Вася, скажи ему, чтоб он на меня не орал!

– А ты не тряси стол, – миролюбиво советовал хозяин.

– Я – беременная, тут – тесно...

– Ну, мы уйдем работать в залу.

Но хозяйка кричала, негодуя:

– Господи, кто же в зале работает?

Из двери клозета высовывается злое, раскаленное огнем печи лицо старухи Матрены Ивановны, она кричит:

– Вот, Вася, гляди: ты работаешь, а она в четырех комнатах отелиться не может. Дворянка с Гребешка, умишка ни вершка!.

¹⁵ «Нива» – русский еженедельный иллюстрированный журнал для семейного чтения, выходивший в Петербурге в 1870–1918 в издательстве А. Ф. Маркса. В «Ниве» печатались писатели разных направлений, в том числе Л. Н. Толстой, А. П. Чехов, И. А. Бунин, А. А. Блок и др. Общественно-политическая жизнь освещалась в «благонамеренном» духе. В 1894–1916 выходили «Ежемесячные литературные приложения к журналу «Нива»». С 1891 в качестве бесплатного приложения к «Н.» издавались собрания сочинений многих русских и иностранных писателей, что обеспечило журналу большие тиражи и популярность.

Виктор ехидно смеется, а хозяин кричит:

– Довольно!

Но сноха, облив свекровь ручьями ядовитейшего красноречия, валится на стул и стонет:

– Уйду! Умру!

– Не мешайте мне работать, черт вас возьми! – орет хозяин, бледный от натуги. – Сумасшедший дом – ведь для вас же спину ломаю, вам на корм! О, звери-курицы...

Сначала эти ссоры пугали меня, особенно я был испуган, когда хозяйка, схватив столовый нож, убежала в клозет и, заперев обе двери, начала дико рычать там. На минуту в доме стало тихо, потом хозяин уперся руками в дверь, согнулся и крикнул мне:

– Лезь, разбей стекло, сними крючок с пробоя!

Я живо вскочил на спину его, вышиб стекло над дверью, но когда нагнулся вниз – хозяйка усердно начала колотить меня по голове черенком ножа. Я все-таки успел отпереть дверь, и хозяин, с боем вытащив супругу в столовую, отнял у нее нож. Сидя в кухне и потирая избитую голову, я быстро догадался, что пострадал зря: нож был тупой, им даже хлеба кусок трудно отрезать, а уж кожу – никак не прорежешь; мне не нужно было влезать на спину хозяина, я мог бы разбить стекло со стула и, наконец, удобнее было снять крючок взрослому – руки у него длиннее. После этой истории – ссоры в доме больше уже не пугали меня.

Братья пели в церковном хоре; случалось, что они начинали тихонько напевать за работой, старший пел баритоном:

Кольцо души девицы

Я в мо-ре ур-ронил...

Младший вступал тенором:

И с тем кольцом я счастье

Земное погубил.

Из детской раздавался тихий возглас хозяйки:

– Вы с ума сошли? Ребенок спит...

Или:

– Ты, Вася, женат, можно и не петь о девицах, к чему это? Да скоро и ко всеношной ударят...

– Ну, так мы – церковное...

Но хозяйка внушала, что церковное вообще неуместно петь где-либо, а тут еще... – и она красноречиво показала рукой на маленькую дверь.

– Надо будет переменить квартиру, а то – черт знает что! – говорил хозяин.

Не менее часто он говорил, что надо переменить стол, но он говорил это на протяжении трех лет.

Слушая беседы хозяев о людях, я всегда вспоминал магазин обуви – там говорили так же. Мне было ясно, что хозяева тоже считают себя лучшими в городе, они знают самые точные правила поведения и, опираясь на эти правила, неясные мне, судят всех людей безжалостно и беспощадно. Суд этот вызывал у меня лютую тоску и досаду против законов хозяев, нарушать законы – стало источником удовольствия для меня.

Работы у меня было много: я исполнял обязанности горничной, по средам мыл пол в кухне, чистил самовар и медную посуду, по субботам – мыл полы всей квартиры и обе лестницы. Колол и носил дрова для печей, мыл посуду, чистил овощи, ходил с хозяйкой по базару, таская за нею корзину с покупками, бегал в лавочку, в аптеку.

Мое ближайшее начальство – сестра бабушки, шумная, неукротимо гневная старуха, вставала рано, часов в шесть утра; наскоро умывшись, она, в одной рубашке, становилась на колени перед образом и долго жаловалась богу на свою жизнь, на детей,

на сноху.

– Господи! – со слезами в голосе восклицает она, прижав ко лбу пальцы, сложенные щепотью. – Господи, ничего я не прошу, ничего мне не надо, – дай только отдохнуть, успокой меня, господи, силой твоею!

Ее вопли будили меня; проснувшись, я смотрел из-под одеяла и со страхом слушал жаркую молитву. Осеннее утро смутно заглядывает в окно кухни, сквозь стекла, облитые дождем; на полу, в холодном сумраке, качается серая фигура, тревожно размахивая рукою; с ее маленькой головы из-под сбитого платка осыпались на шею и плечи жиденькие светлые волосы, платок все время спадал с головы; старуха, резко поправляя его левой рукой, бормочет:

– А, чтоб те розорвало!

С размаху бьет себя по лбу, по животу, плечам и шипит:

– А сноху – накажи, господи, меня ради; зачти ей все, все обиды мои! И открой глаза сыну моему, – на нее открой и на Викторушку! Господи, помоги Викторушке, подай ему милостей твоих...

Викторушка спит тут же в кухне, на полатях; разбуженный стонами матери, он кричит сонным голосом:

– Мамаша, опять вы орете спозаранку! Это просто беда! – Ну, ну, спи себе, – виновато шепчет старуха. Минуту, две качается молча и вдруг снова мстительно возглашает: – И чтоб постреляло их в кости, и ни дна бы им ни покрышки, господи...

Так страшно даже дедушка мой не молился.

Помолясь, она будила меня:

– Вставай, будет дрыхнуть, не затем живешь!.. Ставь самовар, дров неси, – лучины-то не приготовил с вечера? У!

Я стараюсь делать все быстро, только бы не слышать шипучего шепота старухи, но угодить ей – невозможно; она носится по кухне, как зимняя вьюга, и шипит, завывая:

– Тише, бес! Викторушку разбудишь, я те задам! Беги в лавочку...

По будням к утреннему чаю покупали два фунта пшеничного хлеба и на две копейки грошовых булочек для молодой хозяйки. Когда я приносил хлеб, женщины подозрительно осматривали его и, взвешивая на ладони, спрашивали:

– А привеска не было? Нет? Ну-ка, открой рот! – и торжествующе кричали: – Сожрал привесок, вон крошки-то в зубах!

...Работал я охотно, – мне нравилось уничтожать грязь в доме, мыть полы, чистить медную посуду, отдушники, ручки дверей; я не однажды слышал, как в мирные часы женщины говорили про меня:

– Усердный.

– Чистоплотен.

– Только дерзок очень.

– Ну, матушка, кто ж его воспитывал!

И обе старались воспитывать во мне почтение к ним, но я считал их полоумными, не любил, не слушал и разговаривал с ними зуб за зуб. Молодая хозяйка, должно быть, замечала, как плохо действуют на меня некоторые речи, и поэтому все чаще говорила:

– Ты должен помнить, что взят из нищей семьи! Я твоей матери шелковую тальму подарила. Со стеклярусом!

Однажды я сказал ей:

– Что же, мне за эту тальму шкуру снять с себя для вас?

– Батюшки, да он поджечь может! – испуганно вскричала хозяйка.

Я был крайне удивлен: почему – поджечь?

Они обе то и дело жаловались на меня хозяину, а хозяин говорил мне строго:

– Ты, брат, смотри у меня!
Но однажды он равнодушно сказал жене и матери:
– Тоже и вы хороши! Ездите на мальчишке, как на мерине, – другой бы давно убежал али издох от такой работы...
Это рассердило женщин до слез; жена, топая ногою, кричала иступленно:
– Да разве можно при нем так говорить, дурак ты длинноволосый! Что же я для него, после этих слов? Я женщина беременная.
Мать выла плачевно:
– Бог тебя прости, Василий, только – помяни мое слово – испортишь ты мальчишку!
Когда они ушли, в гневе, – хозяин строго сказал:
– Видишь, чертушка, какой шум из-за тебя? Вот я отправлю тебя к дедушке, и будешь снова тряпичником!
Не стерпев обиды, я сказал:
– Тряпичником-то лучше жить, чем у вас! Приняли в ученики, а чему учите? Помои выносить...
Хозяин взял меня за волосы, без боли, осторожно и, заглядывая в глаза мне, сказал удивленно:
– Однако ты ерш! Это, брат, мне не годится, не-ет...
Я думал – меня прогонят, но через день он пришел в кухню с трубкой толстой бумаги в руках, с карандашом, угольником и линейкой.
– Кончишь чистить ножи – нарисуй вот это!
На листе бумаги был изображен фасад двухэтажного дома со множеством окон и лепных украшений.
– Вот тебе циркуль! Смеряй все линии, нанеси концы их на бумагу точками, потом проведи по линейке карандашом от точки до точки. Сначала вдоль – это будут горизонтальные, потом поперек – это вертикальные. Валяй! Я очень обрадовался чистой работе и началу учения, но смотрел на бумагу и инструменты с благоговейным страхом, ничего не понимая.
Однако тотчас же, вымыв руки, сел учиться. Провел на листе все горизонтальные, сверил – хорошо! Хотя три оказались лишними. Провел все вертикальные и с изумлением увидел, что лицо дома нелепо исказилось: окна перебрались на места простенков, а одно, выехав за стену, висело в воздухе, по соседству с домом. Парадное крыльцо тоже поднялось на воздух до высоты второго этажа, карниз очутился посередине крыши, слуховое окно – на трубе.
Я долго, чуть не со слезами, смотрел на эти непоправимые чудеса, пытаюсь понять, как они совершились. И, не поняв, решил исправить дело помощью фантазии: нарисовал по фасаду дома на всех карнизах и на гребне крыши ворон, голубей, воробьев, а на земле перед окном – кривоногих людей, под зонтиками, не совсем прикрывшими их уродства. Затем исчертил все это наискось полосками и отнес работу учителю.
Он высоко поднял брови, взбил волосы и угрюмо осведомился:
– Это что же такое?
– Дождик идет, – объяснил я. – При дожде все дома кажутся кривыми, потому что дождик сам – кривой всегда. Птицы – вот это все птицы спрятались на карнизах. Так всегда бывает в дождь. А это – люди бегут домой, вот – барыня упала, а это разносчик с лимонами...
– Покорно благодарю, – сказал хозяин и, склонясь над столом, сметая бумагу волосами, захохотал, закричал: – Ох, чтоб тебя вдребезги разнесло, зверь-воробей!
Пришла хозяйка, покачивая животом, как бочонком, посмотрела на мой труд и

сказала мужу:

– Ты его выпори!

Но хозяин миролюбиво заметил:

– Ничего, я сам начинал не лучше...

Отметив красным карандашом разрушения фасада, он дал мне еще бумаги.

– Валяй еще раз! Будешь чертить это, пока не добьешься толку.

Вторая копия у меня вышла лучше, только окно оказалось на двери крыльца. Но мне не понравилось, что дом пустой, и я населил его разными жителями: в окнах сидели барыни с веерами в руках, кавалеры с папиросами, а один из них, некурящий, показывал всем длинный нос. У крыльца стоял извозчик и лежала собака.

– Зачем же ты опять напачкал? – сердито спросил хозяин.

Я объяснил ему, что без людей – скучно очень, но он стал ругаться.

– К черту все это! Если хочешь учиться – учись! А это – озорство...

Когда мне наконец удалось сделать копию фасада похожей на оригинал, это ему понравилось.

– Вот видишь, сумел же! Этак, пожалуй, мы с тобой дойдем до дела скоро...

И задал мне урок:

– Сделай план квартиры: как расположены комнаты, где двери, окна, где что стоит. Я указывать ничего не буду – делай сам!

Я пошел в кухню и задумался – с чего начать?

Но на этой точке и остановилось мое изучение чертежного искусства.

Подошла ко мне старуха хозяйка и зловеще спросила:

– Чертить хочешь?

Схватив за волосы, она ткнула меня лицом в стол так, что я разбил себе нос и губы, а она, подпрыгивая, изорвала чертеж, сошвырнула со стола инструменты и, уперев руки в бока, победоносно закричала:

– На, черти! Нет, это не сойдется! Чтобы чужой работал, а брата единого, родную кровь – прочь?

Прибежал хозяин, приплыла его жена, и начался дикий скандал: все трое насакивали друг на друга, плевались, выли, а кончилось это тем, что, когда бабы разошлись плакать, хозяин сказал мне:

– Ты покуда брось все это, не учись – сам видишь, вон что выходит!

Мне было жалко его – такой он измятый, беззащитный и навеки оглушен криками баб.

Я и раньше понимал, что старуха не хочет, чтобы я учился, нарочно мешает мне в этом. Прежде чем сесть за чертеж, я всегда спрашивал ее:

– Делать нечего?

Она хмуро отвечала:

– Когда будет – скажу, торчи знай за столом, балуйся...

И через некоторое время посылала меня куда-нибудь или говорила:

– Как у тебя парадная лестница выметена? В углах – сорье, пыль! Иди мети...

Я шел, смотрел – пыли не было.

– Ты спорить против меня? – кричала она.

Однажды она облила мне все чертежи квасом, другой раз опрокинула на них лампаду масла от икон, – она озорничала, точно девчонка, с детской хитростью и с детским неумением скрыть хитрости. Ни прежде, ни после я не видал человека, который раздражался бы так быстро и легко, как она, и так страстно любил бы жаловаться на всех и на все. Люди вообще и все любят жаловаться, но она делала это с наслаждением особенным, точно песню пела.

Ее любовь к сыну была подобна безумию, смешила и пугала меня своей силой,

которую я не могу назвать иначе, как яростной силой. Бывало, после утренней молитвы, она встанет на приступок печи и, положив локти на крайнюю доску полатей, горячо шипит:

– Случайный ты мой, божий, кровинушка моя горячая, чистая, алмазная, ангельское перо легкое! Спит, – спи, робенок, одень твою душеньку веселый сон, приснишь тебе невестушка, первая раскрасавица, королевишна, богачка, купецкая дочь! А недругам твоим – не родясь издохнуть, а дружкам – жить им до ста лет, а девицы бы за тобой – стаями, как утки за селезнем!

Мне нестерпимо смешно: грубый и ленивый Виктор похож на дятла – такой же пестрый, большеносый, такой же упрямый и тупой.

Шепот матери иногда будил его, и он бормотал сонно:

– Подите вы к чорту, мамаша, что вы тут фыркаете прямо в рожу мне!.. Жить нельзя!

Иногда она покорно слезала с приступка, усмехаясь:

– Ну, спи, спи... грубиян!

Но бывало и так: ноги ее подгибались, шлепнувшись на край печи, она, открыв рот, громко дышала, точно обожгла язык, и клекотали жгучие слова:

– Та-ак? Это ты мать к чорту послал, сукин сын? Ах ты, стыд мой полуночный, заноза проклятая, дьявол тебя в душу мою засадил, сгнить бы тебе до рождения!

Она говорила слова грязные, слова пьяной улицы – было жутко слышать их.

Спала она мало, беспокойно, вскакивая с печи иногда по нескольку раз в ночь, валялась на диван ко мне и будила меня.

– Что вы?

– Молчи, – шептала она, крестясь, присматриваясь к чему-то в темноте. – Господи... Илья пророк... Великомученица Варвара... сохрани нечаянные смерти...

Дрожащей рукой она зажигала свечу. Ее круглое носатое лицо напряженно надувалось, серые глаза, тревожно мигая, присматривались к вещам, измененным сумраком. Кухня – большая, но загромождена шкафами, сундуками; ночью она кажется маленькой. В ней тихонько живут лунные лучи, дрожит огонек неугасимой лампы пред образами, на стене сверкают ножи, как ледяные сосульки, на полках – черные сковородки, чьи-то безглазые рожи.

Старуха слезала с печи осторожно, точно с берега реки в воду, и, шлепая босыми ногами, шла в угол, где над лоханью для помоев висел ушастый рукомоиник, напоминая отрубленную голову; там же стояла кадка с водой.

Захлебываясь и вздыхая, она пила воду, потом смотрела в окно, сквозь голубой узор инея на стеклах.

– Помилуй мя, боже, помилуй мя, – просит она шепотом.

Иногда, погасив свечу, опускалась на колени и обиженно шипела:

– Кто меня любит, господи, кому я нужна?

Влезая на печь и перекрестив дверцу в трубе, она щупала, плотно ли лежат вьюшки; выпачкав руки сажей, отчаянно ругалась и как-то сразу засыпала, точно ее пришибла невидимая сила. Когда я был обижен ею, я думал: жаль, что не на ней женился дедушка, – вот бы грызла она его!. Да и ей доставалось бы на орехи. Обижала она меня часто, но бывали дни, когда пухлое, ватное лицо ее становилось грустным, глаза тонули в слезах и она очень убедительно говорила:

– Ты думаешь – легко мне? Родила детей, нянчила, на ноги ставила – для чего? Вот – живу кухаркой у них, сладко это мне? Привел сын чужую бабу и променял на нее свою кровь – хорошо это? Ну?

– Нехорошо, – искренне говорил я.

– Ага? То-то...

И она начинала бесстыдно говорить о снохе:

– Бывала я с нею в бане, видела ее! На что польстился? Такие ли красавицами зовутся?..

Об отношениях мужчин к женщинам она говорила всегда изумительно грязно; сначала ее речи вызвали у меня отвращение, но скоро я привык слушать их внимательно, с большим интересом, чувствуя за этими речами какую-то тяжкую правду.

– Баба – сила, она самого бога обманула, вот как! – жужжала она, пристукивая ладонью по столу. – Из-за Евы все люди в ад идут, на-ка вот!

О силе женщины она могла говорить без конца, и мне всегда казалось, что этими разговорами она хочет кого-то напугать. Я особенно запомнил, что «Ева – бога обманула».

На дворе нашем стоял флигель, такой же большой, как дом; из восьми квартир двух зданий в четырех жили офицеры, в пятой – полковой священник. Весь двор был полон денщиками, вестовыми, к ним ходили прачки, горничные, кухарки; во всех кухнях постоянно разыгрывались романы и драмы, со слезами, бранью, дракой. Дрались солдаты друг с другом, с землекопами, рабочими домохозяина; били женщин. На дворе постоянно кипело то, что называется развратом, распутством, – звериный, неукротимый голод здоровых парней. Эта жизнь, насыщенная жестокой чувственностью, бессмысленным мучительством, грязной хвастливостью победителей, подробно и цинично обсуждалась моими хозяевами за обедом, вечерним чаем и ужином. Старуха всегда знала все истории на дворе и рассказывала их горячо, злорадно.

Молодая слушала эти рассказы, молча улыбаясь пухлыми губами. Виктор хохотал, а хозяин, морщась, говорил:

– Довольно, мамаша...

– Господи, уж и слова мне нельзя сказать! – жаловалась рассказчица.

Виктор поощрял ее:

– Валяйте, мамаша, чего стесняться! Все свои ведь...

Старший сын относился к матери с брезгливым сожалением, избегал оставаться с нею один на один, а если это случалось, мать закидывала его жалобами на жену и обязательно просила денег. Он торопливо совал ей в руку рубль, три, несколько серебряных монет.

– Напрасно вы, мамаша, берете деньги, не жалко мне их, а – напрасно!

– Я ведь для нищих, я – на свечи, в церковь...

– Ну, какие там нищие! Испортите вы Виктора вконец.

– Не любишь ты брата, великий грех на тебе!

Он уходил, отмахиваясь от нее.

Виктор обращался с матерью грубо, насмешливо. Он был очень прожорлив, всегда голодал. По воскресеньям мать пекла оладьи и всегда прятала несколько штук в горшок, ставя его под диван, на котором я спал; приходя от обедни, Виктор доставал горшок и ворчал:

– Не могла больше-то, гвозди-козыри!

– А ты жри скорее, чтобы не увидели...

– Я нарочно скажу, как ты для меня оладьи воруеть, вилки в затылке!

Однажды я достал горшок и съел пару оладей, – Виктор избил меня за это. Он не любил меня так же, как и я его, издевался надо мною, заставлял по три раза в день чистить его сапоги, а ложась спать на полати, раздвигал доски и плевал в щели, стараясь попасть мне на голову.

Должно быть, подражая брату, который часто говорил «звери-курицы», Виктор

тоже употреблял поговорки, но все они были удивительно нелепы и бессмысленны.

– Мамаша – кругом направо! – где мои носки?

Он преследовал меня глупыми вопросами:

– Алешка, отвечай: почему пишется – синенький, а говорится – финики? Почему говорят – колокола, а не – около кола? Почему – к дереву, а не где пл'ачу?

Мне не нравилось, как все они говорят; воспитанный на красивом языке бабушки и деда, я вначале не понимал такие соединения несоединимых слов, как «ужасно смешно», «до смерти хочу есть», «страшно весело»; мне казалось, что смешное не может быть ужасным, веселое – не страшно и все люди едят вплоть до дня смерти.

Я спрашивал их:

– Разве можно так говорить?

Они ругались:

– Какой учитель, скажите? Вот – нарвать уши...

Но и «нарвать уши» казалось мне неправильным: нарвать можно травы, цветов, орехов.

Они пытались доказать мне, что уши тоже можно рвать, но это не убеждало меня, и я с торжеством говорил:

– А все-таки уши-то не оторваны!

Крутом было так много жестокого озорства, грязного бесстыдства неизмеримо больше, чем на улицах Кунавина, обильного «публичными домами», «гулящими» девицами. В Кунавине за грязью и озорством чувствовалось нечто, объяснявшее неизбежность озорства и грязи: трудная, полуголодная жизнь, тяжелая работа. Здесь жили сытно и легко, работу заменяла непонятная, ненужная суতোлка, суета. И на всем здесь лежала какая-то едкая, раздражающая скука.

Плохо мне жилось, но еще хуже чувствовал я себя, когда приходила в гости ко мне бабушка. Она являлась с черного крыльца, входя в кухню, крестилась на образа, потом в пояс кланялась младшей сестре, и этот поклон, точно многопудовая тяжесть, сгибал меня, душил.

– А, это ты, Акулина, – небрежно и холодно встречала бабушку моя хозяйка.

Я не узнавал бабушки: скромно поджав губы, незнакомо изменив все лицо, она тихонько садилась на скамью у двери, около лохани с помоями, и молчала, как виноватая, отвечая на вопросы сестры тихо, покорно.

Это мучило меня, и я сердито говорил:

– Что ты где села?

Ласково подмигнув мне, она отзывалась внушительно:

– А ты помалкивай, ты здесь не хозяин!

– Он всегда суется не в свое дело, хоть бей его, хоть ругай, – начинала хозяйка свои жалобы.

Нередко она злорадно спрашивала сестру:

– Что, Акулина, нищенкой живешь?

– Эка беда...

– И все – не беда, коли нет стыда.

– Говорят – Христос тоже милостыней жил...

– Болваны это говорят, еретики, а ты, старая дура, слушаешь! Христос не нищий, а сын божий, он придет, сказано, со славою судить живых и мертвых – и мертвых, помни! От него не спрячешься, матушка, хоть в пепел сожгись... Он тебе с Василием оплатит за гордость вашу, за меня, как я, бывало, помощи просила у вас, богатых!

– Я ведь посильно помогала тебе, – равнодушно говорила бабушка. – А господь нам оплатил, ты знаешь...

– Мало вам! Мало...

Сестра долго пилила и скребла бабушку своим неутомимым языком, а я слушал ее злой визг и тоскливо недоумевал: как может бабушка терпеть это? И не любил ее в такие минуты.

Выходила из комнат молодая хозяйка, благосклонно кивала головою бабушке.

– Идите в столовую, ничего, идите!

Сестра кричала вослед бабушке:

– Ноги оботри, деревня еловая, на болоте строена!

Хозяин встречал бабушку весело:

– А, премудрая Акулина, как живешь? Старичок Каширин дышит?

Бабушка улыбалась ему своей улыбкой из души.

– Все гнешься, работаешь?

– Все работаю! Как арестант.

С ним бабушка говорила ласково и хорошо, но – как старшая. Иногда он вспоминал мою мать:

– Да-а, Варвара Васильевна... Какая женщина была – богатырь, а?

Жена его обращалась к бабушке и вставляла слово:

– Помните, я ей тальму подарила, черную, шелковую, со стеклярусом?

– Как же...

– Совсем еще хорошая тальма была...

– Да-да, – бормотал хозяин, – тальма, пальма, а жизнь – шельма!

– Что это ты говоришь? – подозрительно спрашивала его жена.

– Я? Так себе... Дни веселые проходят, люди хорошие проходят...

– Не понимаю я, к чему это у тебя? – беспокоилась хозяйка.

Потом бабушку уводят смотреть новорожденного, я собираю со стола грязную чайную посуду, а хозяин говорит мне негромко и задумчиво:

– Хороша старуха, бабушка твоя...

Я глубоко благодарен ему за эти слова, а оставшись глаз на глаз с бабушкой, говорю ей, с болью в душе:

– Зачем ты ходишь сюда, зачем? Ведь ты видишь, какие они...

– Эх, Олеша, я все вижу, – отвечает она, глядя на меня с доброй усмешкой на чудесном лице, и мне становится совестно: ну, разумеется, она все видит, все знает, знает и то, что живет в моей душе этой минутой.

Осторожно оглянувшись, не идет ли кто, она обнимает меня, задушевно говоря:

– Не пришла бы я сюда, кабы не ты здесь, – зачем они мне? Да дедушка захворал, провозилась я с ним, не работала, денег нету у меня... А сын, Михаила, Сашу прогнал, поить – кормить надо его. Они обещали за тебя шесть рублей в год давать, вот я и думаю – не дадут ли хоть целковый? Ты ведь около полугода прожил уж... – И шепчет на ухо мне: – Они велели пожурить тебя, поругать, не слушаешься никого, говорят. Уж ты бы, голуба душа, пожил у них, потерпел годочка два, пока окрепнешь! Потерпи, а?

Я обещал терпеть. Это очень трудно. Меня давит эта жизнь, нищая, скучная, вся в суете, ради еды, и я живу, как во сне.

Иногда мне думается: надо убежать! Но стоит окаянная зима, по ночам воют вьюги, на чердаке возится ветер, трещат стропила, сжатые морозом, куда убежишь?

Гулять меня не пускали, да и времени не было гулять: короткий зимний день истлевал в суете домашней работы неуловимо быстро.

Но я обязан был ходить в церковь; по субботам – ко всенощной, по праздникам – к поздней обедне.

Мне нравилось бывать в церквях; стоя где-нибудь в углу, где просторнее и темней, я любил смотреть издали на иконостас – он точно плавится в огнях свеч, стекая густозолотыми ручьями на серый каменный пол амвона; тихонько шевелятся темные

фигуры икон; весело трепещет золотое кружево царских врат, огни свеч повисли в синеватом воздухе, точно золотые пчелы, а головы женщин и девушек похожи на цветы.

Все вокруг гармонично слито с пением хора, все живет странною жизнью сказки, вся церковь медленно покачивается, точно люлька, – качается в густой, как смола, темной пустоте.

Иногда мне казалось, что церковь погружена глубоко в воду озера, спряталась от земли, чтобы жить особенною, ни на что не похожею жизнью. Вероятно, это ощущение было вызвано у меня рассказом бабушки о граде Китеже¹⁶, и часто я, дремотно покачиваясь вместе со всем окружающим, убаюканный пением хора, шорохом молитв, вздохами людей, твердил про себя певучий, грустный рассказ:

Обложили окаянные татарове
Да своей поганой силищей,
Обложили они славен Китеж-град
Да во светлый час, заутренний...
Ой ли, господи, боже наш,
Пресвятая богородица!
Ой, сподобьте вы рабей своих
Достоять им службу утренню,
Дослушать святое писание!
Ой, не дайте татарину
Святу церкву на глумление,
Жен, девиц – на посрамление,
Малых детушек – на игрище,
Старых старцев на смерть лютую!
А услышал господь Саваоф¹⁷,
Услыхала богородица
Те людские воздыхания,
Христианские жалости.
И сказал господь Саваоф.
Свет архангеле Михаиле:
– А поди-ка ты, Михайло,
Сотряхни землю под Китежем,
Погрузи Китеж во озеро;
Ин пускай там люди молятся
Без отдыху да без устали
От заутрени до всенощной
Все святы службы церковные
Во веки и века веков!

В те годы я был наполнен стихами бабушки, как улей медом: кажется, я и думал в форме ее стихов.

В церкви я не молился, – было неловко пред богом бабушки повторять сердитые дедовы молитвы и плачевные псалмы; я был уверен, что бабушкину богу это не может нравиться, так же как не нравилось мне, да к тому же они напечатаны в книгах, – значит, бог знает их на память, как и все грамотные люди.

Поэтому в церкви, в те минуты, когда сердце сжималось сладкой печалью о чем-то или когда его кусали и царапали маленькие обиды истекшего дня, я старался

¹⁶ Китеж – мифологический город, находившийся, по легенде, в северной части Нижегородской губернии и ставший невидимым, по другой версии – скрывшийся под водой.

¹⁷ Саваоф – наименование Бога в Ветхом Завете.

сочинять свои молитвы; стоило мне задуматься о невеселой доле моей – сами собою, без усилий, слова слагались в жалобы:

Господи, господи – скушно мне!
Хоть бы уж скорее вырасти!
А то – жить терпенья нет,
Хоть удавись, – господи прости!
Из ученья – не выходит толку.
Чертова кукла, бабушка Матрена,
Рычит на меня волком,
И жить мне – очень солоно!

Много «молитв» моих я и до сего дня помню, – работа ума в детстве ложится на душу слишком глубокими шрамами – часто они не зарастают всю жизнь.

В церкви было хорошо, я отдыхал там так же, как в лесу и поле. Маленькое сердце, уже знакомое со множеством обид, выпачканное злой грубостью жизни, омывалось в неясных, горячих мечтах.

Но я ходил в церковь только в большие морозы или когда вьюга бешено металась по городу, когда кажется, что небо замерзло, а ветер распылил его в облака снега, и земля, тоже замерзая под сугробами, никогда уже не воскреснет, не оживет.

Тихими ночами мне больше нравилось ходить по городу, из улицы в улицу, забираясь в самые глухие углы. Бывало, идешь – точно на крыльях несешься; один, как луна в небе; перед тобою ползет твоя тень, гасит искры света на снегу, смешно тычется в тумбы, в заборы. Посредине улицы шагает ночной сторож, с трещоткой в руках, в тяжелом тулупе, рядом с ним – трясется собака.

Неуклюжий человек похож на собачью конуру, – она ушла со двора и двигается по улице, неизвестно куда, а огорченная собака – за нею.

Иногда встретятся веселые барышни и кавалеры – я думаю, что и они тоже убежали от всенощной.

Порою, сквозь форточки освещенных окон, в чистый воздух прольются какие-то особенные запахи – тонкие, незнакомые, намекающие на иную жизнь, неведомую мне; стоишь под окном и, принюхиваясь, прислушиваясь, догадываешься: какая это жизнь, что за люди живут в этом доме? Всенощная, а они – весело шумят, смеются, играют на каких-то особенных гитарах, из форточки густо течет меднострунный звон.

Особенно интересовал меня одноэтажный, приземистый дом на углу безлюдных улиц – Тихоновской и Мартыновской. Я наткнулся на него лунною ночью, в ростепель, перед масленицей; из квадратной форточки окна, вместе с теплым паром, струился на улицу необыкновенный звук, точно кто-то очень сильный и добрый пел, закрыв рот; слов не слышно было, но песня показалась мне удивительно знакомой и понятной, хотя слушать ее мешал струнный звон, надоедливо перебивая течение песни. Я сел на тумбу, сообразив, что это играют на какой-то скрипке, чудесной мощности и невыносимой – потому что слушать ее был почти больно. Иногда она пела с такой силой, что – казалось – весь дом дрожит и гудят стекла в окне. Капало с крыши, из глаз у меня тоже закапали слезы.

Незаметно подошел ночной сторож и столкнул меня с тумбы, спрашивая:

– Ты чего тут торчишь?
– Музыка, – объяснил я.
– Мало ли что! Пошел...

Я быстро обежал кругом квартала, снова воротился по окну, но в доме уже не играли, из форточки бурно вытекал на улицу веселый шум, и это было так не похоже на печальную музыку, точно я слышал ее во сне.

Почти каждую субботу я стал бегать к этому дому, но только однажды, весной,

снова услышал там виолончель – она играла почти непрерывно до полуночи; когда я воротился домой, меня отколотили.

Ночные прогулки под зимними звездами, среди пустынных улиц города, очень обогащали меня. Я нарочно выбирал улицы подальше от центра: на центральных было много фонарей, меня могли заметить знакомые хозяев, тогда хозяева узнали бы, что я прогуливаю всеобщие. Мешали пьяные, городские и «гулящие» девицы; а на дальних улицах можно было смотреть в окна нижних этажей, если они не очень замерзли и не занавешены изнутри.

Много разных картин показали мне эти окна: видел я, как люди молятся, целуются, дерутся, играют в карты, озабоченно и беззвучно беседуют, – предо мною, точно в панораме за копейку, тянулась немая, рыба жизнь.

Видел я в подвале, за столом, двух женщин, – молодую и постарше; против них сидел длинноволосый гимназист и, размахивая рукой, читал им книгу. Молодая слушала, сурово нахмутив брови, откинувшись на спинку стула; а постарше – тоненькая и пышноволосая – вдруг закрыла лицо ладонями, плечи у нее задрожали, гимназист отшвырнул книгу, а когда молоденькая, вскочив на ноги, убежала – он упал на колени перед той, пышноволосой, и стал целовать руки ее.

В другом окне я подсмотрел, как большой бородатый человек, посадив на колени себе женщину в красной кофте, качал ее, как дитя, и, видимо, что-то пел, широко открывая рот, выкатив глаза. Она вся дрожала от смеха, запрокидывалась на спину, болтая ногами, он выпрямлял ее и снова пел, и снова она смеялась. Я смотрел на них долго и ушел, когда понял, что они запаслись весельем на всю ночь.

Много подобных картин навсегда осталось в памяти моей, и часто, увлеченный ими, я опаздывал домой. Это возбуждало подозрения хозяев, и они допрашивали меня:

– В какой церкви был? Какой поп служил?

Они знали всех попов города, знали, когда какое евангелие читают, знали все – им было легко поймать меня во лжи.

Обе женщины поклонялись сердитому богу моего деда, – богу, который требовал, чтобы к нему приступали со страхом; имя его постоянно было на устах женщин, – даже ругаясь, они грозили друг другу:

– погоди! Господь тебя накажет, он те скрючит, подлую!..

В воскресенье первой недели поста старуха пекла оладьи, а они все подгорали у нее; красная от огня, она гневно кричала:

– А, черти бы вас взяли...

И вдруг, понюхав сковороду, потемнела, швырнула сковородник на пол и завывала:

– Ба-атюшки, сковорода-то скромная, поганая, не выжгла ведь я ее в чистый-то понедельник, го-осподи! Встала на колени и просила со слезами:

– Господи-батюшка, прости меня, окаянную, ради страстей твоих! Не покарай, господи, дуру старую...

Выпеченные оладьи отдали собакам, сковородку выжгли, а невестка стала в ссорах упрекать свекровь:

– Вы даже в посте на скромных сковородах печете...

Они вовлекали бога своего во все дела дома, во все углы своей маленькой жизни – от этого нищая жизнь приобретала внешнюю значительность и важность, казалась ежечасным служением высшей силе. Это вовлечение бога в скучные пустяки подавляло меня, и невольно я все оглядывался по углам, чувствуя себя под чьим-то невидимым надзором, а ночами меня окутывал холодным облаком страх, – он исходил из угла кухни, где перед темными образами горела неугасимая лампада.

Рядом с полкой – большое окно, две рамы, разъединенные стойкой; бездонная синяя пустота смотрит в окно, кажется, что дом, кухня, я – все висит на самом краю

этой пустоты и, если сделать резкое движение, все сорвется в синюю, холодную дыру и полетит куда-то мимо звезд, в мертвой тишине, без шума, как тонет камень, брошенный в воду. Долго я лежал неподвижно, боясь перевернуться с боку на бок, ожидая страшного конца жизни.

Не помню, как я вылез из этого страха, но я вылез скоро; разумеется, мне помог в этом добрый бог бабушки, и я думаю, что уже тогда почувствовал простую истину: мною ничего плохого еще не сделано, без вины наказывать меня – не закон, а за чужие грехи я не ответчик.

Прогуливал я и обедни, особенно весною, – непоборимые силы ее решительно не пускали меня в церковь. Если же мне давали семишник на свечку – это окончательно губило меня: я покупал бабок, всю обедню играл и неизбежно опаздывал домой. А однажды ухитрился проиграть целый гривенник, данный мне на поминание и просфору, так что уж пришлось стащить чужую просфору с блюда, которое дьячок вынес из алтаря.

Играть хотелось страстно, и я увлекался играми до неистовства. Был достаточно ловок, силен и скоро заслужил славу игрока в бабки, в шар и в городки в ближних улицах.

Великим постом меня заставили говеть, и вот я иду исповедоваться к нашему соседу, отцу Доримедонту Покровскому. Я считал его человеком суровым и был во многом грешен лично перед ним; разбивал камнями беседку в его саду, враждовал с его детьми, и вообще он мог напомнить мне немало разных поступков, неприятных ему. Это меня очень смущало, и, когда я стоял в беденькой церкви, ожидая очереди исповедоваться, сердце мое билось трепетно.

Но отец Доримедонт встретил меня добродушно ворчливым восклицанием:

– А, сосед... Ну, вставай на колени! В чем грешен?

Он накрыл голову мою тяжелым бархатом, я задыхался в запахе воска и ладана, говорить было трудно и не хотелось.

– Старших слушаешься?

– Нет.

– Говори – грешен!

Неожиданно для себя я выпалил:

– Просвиры своровал.

– Это – как же? Где? – спросил священник, подумав и не спеша.

– У Трех Святителей, у Покрова, у Николы...

– Ну-ну, по всем церквам! Это, брат, нехорошо, грех, – понимаешь?

– Понимаю.

– Говори – грешен! Несуразный. Воровал-то, чтобы есть?

– Когда ел, а то – проиграю деньги в бабки, а просвиру домой надо принести, я и украду...

Отец Доримедонт начал что-то шептать, невнятно и устало, потом задал еще несколько вопросов и вдруг строго спросил:

– Не читал ли книг подпольного издания?

Я, конечно, не понял вопроса и переспросил:

– Чего?

– Запрещенных книжек не читал ли?

– Нет, никаких...

– Отпускаются тебе грехи твои... Встань!

Я удивленно взглянул в лицо ему – оно казалось задумчивым и добрым. Мне было неловко, совестно: отправляя меня на исповедь, хозяева наговорили о ней страхов и ужасов, убедив каяться честно во всех прегрешениях моих.

– Я в вашу беседку камнями кидал, – заявил я.

Священник поднял голову и сказал:

– И это нехорошо! Ступай...

– И в собаку кидал...

– Следующий! – позвал отец Доримедонт, глядя мимо меня.

Я ушел, чувствуя себя обманутым и обиженным: так напряглся в страхе исповеди, а все вышло не страшно и даже не интересно! Интересен был только вопрос о книгах, неведомых мне; я вспомнил гимназиста, читавшего в подвале книгу женщинам, и вспомнил Хорошее Дело, – у него тоже было много черных книг, толстых, с непонятными рисунками.

На другой день мне дали пятиалтынный и отправили меня причащаться. Пасха была поздняя, уже давно стаял снег, улицы просохли, по дорогам курилась пыль; день был солнечный, радостный.

Около церковной ограды азартно играла в бабки большая компания мастеровых; я решил, что успею причаститься, и попросил игроков:

– Примите меня!

– Копейку за вход в игру, – гордо заявил рябой и рыжий человек.

Но я не менее гордо сказал:

– Три под вторую пару слева!

– Деньги на кон!

И началась игра!

Я разменял пятиалтынный, положил три копейки под пару бабок в длинный кон; кто собьет эту пару – получает деньги, промахнется – я получу с него три копейки. Мне посчастливилось: двое целились в мои деньги, и оба не попали, – я выиграл шесть копеек со взрослых, с мужиков. Это очень подняло дух мой...

Но кто-то из игроков сказал:

– Гляди за ним, ребята, а то убежит с выигрышем...

Тут я обиделся и объявил сгоряча, как в бубен ударил:

– Девять копеек под левой крайней парой!

Однако это не вызвало у игроков заметного впечатления, только какой-то мальчуган моих лет крикнул, предупреждая:

– Смотрите, – он счастливый, это чертежник со Звездинки, я его знаю!

Худощавый мастеровой, по запаху скорняк, сказал ехидно:

– Чертенок? Хар-рошо...

Прицелившись налитком, он метко сбил мою ставку и спросил, нагибаясь ко мне:

– Ревешь?

Я ответил:

– Под крайней правой – три!

– И сотру, – похвастался скорняк, но проиграл.

Больше трех раз кряду нельзя ставить деньги на кон, – я стал бить чужие ставки и выиграл еще копейки четыре да кучу бабок. Но когда снова дошла очередь до меня, я поставил трижды и проиграл все деньги, как раз вовремя обедня кончилась, звонили колокола, народ выходил из церкви.

– Женат? – спросил скорняк, намереваясь схватить меня за волосы, но я вывернулся, убежал и, догнав какого то празднично одетого паренька, вежливо осведомился:

– Вы причащались?

– Ну, так что? – ответил он, осматривая меня подозрительно.

Я попросил его рассказать мне, как причащают, что говорит в это время священник и что должен был делать я.

Парень сурово избычился и устрашающим голосом зарычал:

– Прогулял причастье, еретик? Ну, а я тебе ничего не скажу – пускай отец шкуру спустит с тебя!

Я побежал домой, уверенный, что начнут расспрашивать и неизбежно узнают, что я не причащался.

Но, поздравив меня, старуха спросила только об одном:

– Дьячку за теплоту – много ли дал?

– Пятачок, – наобум сказал я.

– И три копейки за глаза ему, а семишник себе оставил бы, чучело!

...Весна. Каждый день одет в новое, каждый новый день ярче и милей; хмельно пахнет молодыми травами, свежей зеленью берез, нестерпимо тянет в поле слушать жаворонка, лежа на теплой земле вверх лицом. А я – чищу зимнее платье, помогаю укладывать его в сундук, крошу листовой табак, выбиваю пыль из мебели, с утра до ночи вожусь с неприятными, ненужными мне вещами.

В свободные часы мне совершенно нечем жить; на убогой нашей улице пусто, дальше – не позволено уходить; на дворе сердитые, усталые землекопы, растрепанные кухарки и прачки, каждый вечер – собачьи свадьбы, – это противно мне и обижает до того, что хочется ослепнуть.

Я иду на чердак, взяв с собою ножницы и разноцветной бумаги, вырезаю из нее кружевные рисунки и украшаю ими стропила... Все-таки пища моей тоске. Мне тревожно хочется идти куда-то, где меньше спят, меньше ссорятся, не так назойливо одолевают бога жалобами, не так часто обижают людей сердитым судом.

...В субботу на пасхе приносят в город из Оранского монастыря чудотворную икону Владимирской божией матери; она гостит в городе до половины июня и посещает все дома, все квартиры каждого церковного прихода.

К моим хозяевам она явилась в будни утром; я чистил в кухне медную посуду, когда молодая хозяйка пугливо закричала из комнаты:

– Отпирай парадную – Оранскую несут!

Я бросился вниз, грязный, с руками в сале и тертом кирпиче, отпер дверь, – молодой монах с фонарем в одной руке и кадилом в другой тихонько проворчал:

– Дрыхнете? Помогай...

Двое обывателей вносили по узкой лестнице тяжелый киот, я помогал им, поддерживая грязными руками и плечом край киота, сзади топали тяжелые монахи, неохотно распевая густыми голосами:

– «Пресвятая богородице, моли бога о на-ас...»

Я подумал с печальной уверенностью:

«Обидится на меня она за то, что я, грязный, несу ее, и отсохнут у меня руки...»

Икону поставили в передний угол на два стула, прикрытые чистой простыней, по бокам киота встали, поддерживая его, два монаха, молодые и красивые, подобно ангелам – ясноглазые, радостные, с пышными волосами.

Служили молебн.

– «О, всепетая мати», – высоким голосом выводил большой поп и все щупал багровыми пальцами припухшую мочку уха, спрятанного в пышных волосах.

– «Пресвятая богородице, помилуй на-ас», – устало пели монахи. Я любил богородицу; по рассказам бабушки, это она сеет на земле для утешения бедных людей все цветы, все радости – все благое и прекрасное. И, когда нужно было приложиться к ручке ее, не заметив, как прикладываются взрослые, я трепетно поцеловал икону в лицо, в губы.

Кто-то могучей рукой швырнул меня к порогу, в угол. Непамятно, как ушли монахи, унося икону, но очень помню: хозяева, окружив меня, сидевшего на полу, с

великим страхом и заботою рассуждали – что же теперь будет со мной?

– Надо поговорить со священником, который поученее, – говорил хозяин и беззлобно ругал меня:

– Невежа, как же ты не понимаешь, что в губы нельзя целовать? А еще... в школе учился...

Несколько дней я обреченно ждал – что же будет? Хватался за киот грязными руками, приложился незаконно, – уж не пройдет мне даром это, не пройдет!

Но, видимо, богородица простила невольный грех, вызванный искреннею любовью. Или же наказание ее было так легко, что я не заметил его среди частых наказаний, испытанных мною от добрых людей.

Иногда, чтобы позлить старую хозяйку, я сокрушенно говорил ей:

– А богородица-то, видно, забыла наказать меня...

– А ты погоди, – ехидно обещала старуха. – Еще поглядим...

...Украшая стропила чердака узорами из розовой чайной бумаги, листиками свинца, листьями деревьев и всякой всячиной, я распевал на церковные мотивы все, что приходило в голову, как это делают калмыки в дороге:

Сижу я на чердаке,

С ножницами в руке.

Режу бумагу, режу...

Скушно мне, невеже!

Был бы я собакой

Бегал бы где хотел,

А теперь орет на меня всякой:

Сиди да молчи, пострел,

Молчи, пока цел!

Старуха, разглядывая мою работу, усмехалась, качала головой.

– Ты бы вот этак-то кухню украсил...

Однажды на чердак пришел хозяин, осмотрел содеянное мною, вздохнул и сказал:

– Забавен ты, Пешков, черт тебя возьми... Фокусник, что ли, выйдет из тебя? Не догадаешься даже...

Он дал мне большой николаевский пятак.

Я укрепил монету лапками из тонкой проволоки и повесил ее, как медаль, на самом видном месте среди моих пестрых работ.

Но через день монета исчезла, вместе с лапками, – я уверен, что это старуха стащила ее!

Глава VI

В Сарапуле Максим ушел с парохода, – ушел молча, ни с кем не простясь, серьезный и спокойный. За ним, усмехаясь, сошла веселая баба, а за нею девица, измятая, с опухшими глазами. Сергей же долго стоял на коленях перед каютой капитана, целовал филенку двери, стучался в нее лбом и зывал:

– Простите меня, я не виноват! Это – Максимка...

Матросы, буфетная прислуга, даже некоторые пассажиры знали, что он врет, но поощрительно советовали:

– Валяй, валяй – простит!

Капитан гнал его прочь, даже толкнул ногой, так что Сергей опрокинулся, но все-таки простил. И Сергей тотчас же забегал по палубе, разнося подносы с посудой для чая, по-собачьи искательно заглядывая людям в глаза.

На место Максима взяли с берега вятского солдата, костлявого, с маленькой

головкой и рыжими глазами. Помощник повара тотчас послал его резать кур; солдатик зарезал пару, а остальных распустил по палубе; пассажиры начали ловить их, – три курицы перелетели за борт. Тогда солдатик сел на дрова около кухни и горько заплакал.

– Ты что, дурак? – изумленно спросил его Смурый. – Разве солдаты плачут?

– Я – нестроевой роты, – тихонько сказал солдат.

Это погубило его, через полчаса все люди на пароходе хохотали над ним; подойдут вплоть к нему, уставятся глазами прямо в лицо, спросят:

– Этот?

И затрясутся в судорогах обидного, нелепого смеха. Солдат сначала не видел людей, не слышал смеха; собирая слезы с лица рукавом ситцевой старенькой рубахи, он словно прятал их в рукав. Но скоро его рыжие глазки гневно разгорелись, и он заговорил вятской сорочьей скороговоркой:

– Што вылупили шары-то на меня? Ой, да чтобы вас розорвало на кусочки...

Это еще более развеселило публику, солдата начали тыкать пальцами, дергать за рубаху, за фартук, играя с ним, точно с козлом, и так травили его до обеда, а пообедав, кто-то надел на ручку деревянной ложки кусок выжатого лимона и привязал за спиной солдата к тесемкам его фартука; солдат идет, ложка болтается сзади него, все хохочут, а он – суетится, как пойманный мышонок, не понимая, что вызывает смех.

Смурый следит за ним молча, серьезно, лицо у повара сделалось бабьим.

Мне стало жалко солдата, я спросил повара:

– Можно сказать ему про ложку?

Он молча кивнул головой.

Когда я объяснил солдату, над чем смеются, он быстро нащупал ложку, оторвал ее, бросил на пол, раздавил ногой и – вцепился в мои волосы обеими руками; мы начали драться, к великому удовольствию публики, тотчас окружившей нас.

Смурый расшвырял зрителей, рознял нас и, натрепав уши сначала мне, схватил за ухо солдата. Когда публика увидала, как этот маленький человек трясет головой и танцует под рукою повара, она неистово заорала, засвистала, затопала ногами, раскалываясь от хохота.

– Ура, гарнизон! Дай повару головой в брюхо!

Эта дикая радость стада людей возбуждала у меня желание броситься на них и колотить по грязным башкам поленом.

Смурый выпустил солдата и, спрятав руки за спину, пошел на публику кабаном, ошетилившись, страшно оскалив зубы.

– По местам – марш! Аз-зияты...

Солдат снова бросился на меня, но Смурый одной рукой схватил его в охапку, снес на отвод и начал качать воду, поливая голову солдата, повертывая его тщедушное тело, точно куклу из тряпок.

Прибежали матросы, боцман, помощник капитана, снова собралась толпа людей; на голову выше всех стоял буфетчик, тихий и немой, как всегда.

Солдат, присев на дрова около кухни, дрожащими руками снял сапоги и начал отжимать онучи, но они были сухи, а с его жиденьких волос капала вода, – это снова рассмешило публику.

– Все едино, – сказал солдат тонко и высоко, – убью мальчишку!

Придерживая меня за плечо, Смурый что-то говорил помощнику капитана, матросы разгоняли публику, и, когда все разошлись, повар спросил солдата:

– Что же с тобой делать?

Тот промолчал, глядя на меня дикими глазами и весь странно дергаясь.

– Смир-рно, кликуша¹⁸! – сказал Смурый.

Солдат ответил:

– Дудочки, это тебе не в роте.

Я видел, что повар сконфузился, его надутые щеки дрябло опустились, он плюнул и пошел прочь, уводя меня с собою; ошалевший, я шагал за ним и все оглядывался на солдата, а Смурый недоуменно бормотал:

– Эт, цаца какая, а? Извольте вам...

Нас догнал Сергей и почему-то шепотом сказал:

– Он зарезаться хочет!

– Где? – рывкнул Смурый и побежал.

Солдат стоял в двери каюты для прислуги, с большим ножом в руках, этим ножом отрубали головы курам, кололи дрова на растопку, он был тупой и выщерблен, как пила. Перед каютой стояла публика, разглядывая маленького смешного человечка с мокрой головой; курносое лицо его дрожало, как студень, рот устало открылся, губы прыгали. Он мычал:

– Мучители... му-учители...

Вскочив на что-то, я смотрел через головы людей в их лица – люди улыбались, хихикали, говорили друг другу:

– Гляди, гляди...

Когда он стал сухонькой детской ручкой заправлять в штаны выбившуюся рубаху, благообразный мужчина рядом со мною сказал, вздохнув:

– Умирать собрался, а штаны поправляет...

Публика смеялась громче. Было ясно: никто не верит, что солдат может зарезаться, – не верил и я, а Смурый, мельком взглянув на него, стал толкать людей своим животом, приговаривая:

– Пошел прочь, дурак!

Он называл дураком многих сразу, – подойдет к целой кучке людей и кричит на них:

– По местам, дурак!

Это было тоже смешно, однако казалось верным: сегодня с утра все люди – один большой дурак.

Разогнав публику, он подошел к солдату, протянул руку.

– Дай сюда нож...

– Все едино, – сказал солдат, протягивая нож острием; повар сунул нож мне и толкнул солдата в каюту.

– Ляг и спи! Ты что такое, а?

Солдат молча сел на койку.

– Он тебе есть принесет и водки, – пьешь водку?

– Немножко пью...

– Ты смотри, не трогай его – это не он посмеялся над тобой, слышишь? Я говорю – не он...

– А зачем меня мучили? – тихонько спросил солдат.

Смурый не сразу и угрюмо отозвался:

– Ну, а я знаю?

Идя со мною в кухню, он бормотал:

– Н-на... действительно, привязались к убогому! Видишь – как? То-то! Люди, брат, могут с ума свести, могут... Привяжутся, как клопы, и – шабаш! Даже куда там – клопы! Злее клопов...

¹⁸ Кликуша – женщина, подверженная истерическим припадкам, во время которых она издает неистовые крики.

Когда я принес солдату хлеба, мяса и водки, он сидел на койке, покачивался взад и вперед и плакал тихонько всхлипывая, как баба. Поставив тарелку на столик, я сказал:

– Ешь...

– Затвори дверь.

– Темно будет.

– Затвори, а то они опять прилезут...

Я ушел. Солдат был неприятен мне, он не возбуждал сострадания и жалости у меня. Это было неловко, – бабушка многократно поучала меня: «Людей надо жалеть, все несчастны, всем трудно...»

– Отнес? – спросил меня повар. – Ну, что он там?

– Плачет...

– Эт... мешок! Какой он солдат?

– Мне его жалко.

– Ну? Что такое?

– Людей – надо жалеть...

Смурый взял меня за руку, подтянул к себе и внушительно сказал:

– Насильно не пожалеешь, а врать не годится, – понял? Ты не привыкай кисели разводить, знай сам себя...

И, оттолкнув, прибавил угрюмо:

– Не место тебе здесь! На, покури...

Я был глубоко взволнован, весь измят поведением пассажиров, чувствуя нечто невыразимо оскорбительное и подавляющее в том, как они травили солдата, как радостно хохотали, когда Смурый трепал его за ухо. Как могло нравиться им все это противное, жалкое, что тут смешило их столь радостно?

Вот они снова расселись, разлеглись под низким тентом, – пьют, жуют, играют в карты, мирно и солидно беседуя, смотрят на реку, точно это не они свистели и улюлюкали час тому назад. Все они такие же тихие, ленивые, как всегда; с утра до вечера они медленно толкутся на пароходе, как мошки или пылинки в лучах солнца. Вот десяток людей, толкаясь у сходен и крестясь, уходит с парохода на пристань, а с пристани прямо на них лезут еще такие же люди, так же согнули спины под тяжестью котомок и сундуков, так же одеты...

Эта постоянная смена людей ничего не изменяет в жизни парохода, новые пассажиры будут говорить о том же, о чем говорили ушедшие: о земле, о работе, о боге, о бабах, и теми же словами.

– Положено господом богом терпеть, и – терпи, человек! Ничего не поделаешь, такая наша судьба...

Эти слова скучно слушать, и они раздражают: я не терплю грязи, я не хочу терпеть злое, несправедливое, обидное отношение ко мне; я твердо знаю, чувствую, что не заслужил такого отношения. И солдат не заслужил. Может быть – он сам хочет быть смешным...

Прогнали с парохода Максима – это был серьезный, добрый парень, а Сергея, человека подлого, оставили. Все это – не так. А почему эти люди, способные затравить человека, довести его почти до безумия, всегда покорно подчиняются сердитым окрикам матросов, безобидно выслушивают ругательства?

– Чего навалились на борт? – кричит боцман, прищурив красивые, но злые глаза. – Пароход накренили, разойдись, черти драповые...

Черти смиренно переваливаются на другой борт, а оттуда их снова гонят, как баранов.

– А, окаянные...

Жаркими ночами, под раскаленным за день железным тентом, – душно; пассажиры тараканами расплозаются по всей палубе, ложатся где попало; перед пристанью матросы будят их пинками.

– Эй, чего растянулись на дороге! Пошли прочь, на места...

Они встают и сонно двигаются туда, куда их толкают.

Матросы такие же, как они, только иначе одеты, но командуют ими, как полицейские. Тихое, робкое и грустно – покорное заметно в людях прежде всего, и так странно, страшно, когда сквозь эту кору покорности вдруг прорвется жестокое, бессмысленное и почти всегда невеселое озорство. Мне кажется, что люди не знают, куда их везут, им все равно, где их высадят с парохода. Где бы они ни сошли на берег, посидев на нем недолго, они снова придут на этот или другой пароход, снова куда-то поедут. Все они какие-то заплутавшиеся, безродные, вся земля чужая для них. И все они до безумия трусливы.

Однажды за полночь что-то лопнуло в машине, выстрелив, как из пушки. Палуба сразу заволочлась белым облаком пара, он густо поднимался из машинного трюма, курился во всех щелях; кто-то невидимый кричал оглушительно:

– Гаврило, сурик, войлок...

Я спал около машинного трюма, на столе, на котором мыл посуду, и когда проснулся от выстрела и сотрясения, на палубе было тихо, в машине горячо шипел пар, часто стучали молотки. Но через минуту все палубные пассажиры разногласно завывали, заорали, и сразу стало жутко.

В белом тумане – он быстро редел – метались, сшибая друг друга с ног, простоволосые бабы, встрепанные мужики с круглыми рыбьими глазами, все тащили куда – то узлы, мешки, сундуки, спотыкаясь и падая, призывая бога, Николу Угодника, били друг друга; это было очень страшно, но в то же время интересно; я бегал за людьми и все смотрел – что они делают?

Первый раз я видел ночную тревогу и как-то сразу понял, что люди делали ее по ошибке: пароход шел не замедляя движения, за правым бортом, очень близко, горели костры косарей, ночь была светлая, высоко стояла полная луна.

А люди носились по палубе все быстрее, выскочили классные пассажиры, кто-то прыгнул за борт, за ним – другой, и еще; двое мужиков и монах отбивали поленьями скамью, привинченную к палубе; с кормы бросили в воду большую клетку с курами; среди палубы, около лестницы на капитанский мостик, стоял на коленях мужик и, кланяясь бежавшим мимо него, выл волком:

– Православные, грешен...

– Лодку, дьяволы! – кричал толстый барин, в одних брюках, без рубашки, и бил себя в грудь кулаком.

Бегали матросы, хватая людей за шиворот, колотили их по головам, бросали на палубу. Тяжело ходил Смурый, в пальто, надетом на ночное белье, и гулким голосом уговаривал всех:

– Да постыдитесь! Чего вы, рехнулись? Пароход же стоит, встал, ну! Вот – берег! Дураков, что попрыгали в воду, косари переловили, повытаскивали, вон они, – видите две лодки?

А людей третьего класса он бил кулаками по головам, сверху вниз, и они мешками, молча, валились на палубу.

Еще суматоха не утихла, как на Смурого налетела дама в тальме, со столовой ложкой в руке, и, размахивая ложкой под носом у него, закричала:

– Как ты смеешь?

Мокрый господин, удерживая ее, обсасывал усы и с досадой говорил:

– Оставь его, болвана...

Смурый, разводя руками, сконфуженно мигал и спрашивал меня:

– Что такое, а? За что она меня? Здравствуйте! Да я же ее в первый раз вижу!..

А какой – то мужичок, сморкаясь кровью, вскрикивал:

– Ну, люди! Ну, разбойники!..

За лето я дважды видел панику на пароходе, и оба раза она была вызвана не прямой опасностью, а страхом перед возможностью ее. Третий раз пассажиры поймали двух воров, – один из них был одет странником, – били их почти целый час потихоньку от матросов, а когда матросы отняли воров, публика стала ругать их:

– Вор вора кроет, известно!

– Сами вы жулье, вот и мирволите жуликам...

Жулики были забиты до бесчувствия, они не могли стоять на ногах, когда их сдавали полиции на какой-то пристани...

И много было такого, что, горячо волнуя, не позволяло понять людей злые они или добрые? смирные или озорники? И почему именно так жестоко, жадно злы, так постыдно смирны?

Я спрашивал об этом повара, но он, окружая лицо свое дымом папиросы, говорил нередко с досадой:

– Эх, что тебя щекотит! Люди, ну, и люди... Один – умный, другой дурак. Ты читай книжки, а не бормочи. В книжках, когда они правильные, должно быть все сказано...

Церковных книг и житий он не любил.

– Ну, это для попов, для поповых сынов...

Мне захотелось сделать ему приятное – подарить книгу. В Казани на пристани я купил за пятак «Предание о том, как солдат спас Петра Великого», но в тот час повар был пьян, сердит, и я не решился отдать ему подарок и сначала сам прочитал «Предание». Оно мне очень понравилось, – все так просто, понятно, интересно и кратко. Я был уверен, что эта книга доставит удовольствие моему учителю.

Но, когда я поднес ему книгу, он молча смял ее ладонями в круглый ком и швырнул за борт.

– Вот как твою книгу, дурень! – сказал он угрюмо. – Я ж тебя учу, как собаку, а ты все хочешь дичь жрать, а?

Топнул ногой и заорал:

– Это – какая книга? Я глупости все уж читал! Что в ней написано правда? Ну, говори!

– Не знаю.

– Так я знаю! Когда человеку отрубить голову, он упадет с лестницы вниз, и другие уж не полезут на сеновал – солдаты не дураки! Они бы подожгли сено и – шабаш! Понял?

– Понял.

– То-то ж! Я знаю про царя Петра – этого с ним не было! Пошел прочь...

Я понимал, что повар прав, но книжка все-таки нравилась мне: купив еще раз «Предание», я прочитал его вторично и с удивлением убедился, что книжка действительно плохая. Это смутило меня, и я стал относиться к повару еще более внимательно и доверчиво, а он почему-то все чаще, с большей досадой говорил:

– Эх, как бы надо учить тебя! Не место тебе здесь...

Я тоже чувствовал – не место. Сергей относился ко мне отвратительно; я несколько раз замечал, что он таскает у меня со стола чайные приборы и продает их пассажирам потихоньку от буфетчика. Я знал, что это считается воровством, – Смурый не однажды предупреждал меня:

– Смотри, не давай официантам чайной посуды со своего стола!

Было и еще много плохого для меня, часто мне хотелось убежать с парохода на первой же пристани, уйти в лес. Но удерживал Смурый: он относился ко мне все мягче, – и меня страшно пленяло непрерывное движение парохода. Было неприятно, когда он останавливался у пристани, и я все ждал – вот случится что-то, и мы поплывем из Камы в Белую, в Вятку, а то – по Волге, я увижу новые берега, города, новых людей.

Но этого не случилось – моя жизнь на пароходе оборвалась неожиданно и постыдно для меня. Вечером, когда мы ехали из Казани к Нижнему, буфетчик позвал меня к себе, я вошел, он притворил дверь за мною и сказал Смурому, который угрюмо сидел на ковровой табуретке:

– Вот.

Смурый грубо спросил меня:

– Ты даешь Сережке приборы?

– Он сам берет, когда я не вижу.

Буфетчик тихонько сказал:

– Не видит, а – знает.

Смурый ударил себя по колену кулаком, потом почесал колено, говоря:

– Пойдите, успеете...

И задумался. Я смотрел на буфетчика, он – на меня, но казалось, что за очками у него нет глаз.

Он жил тихо, ходил бесшумно, говорил пониженным голосом. Иногда его выцветшая борода и пустые глаза высывались откуда-то из-за угла и тотчас исчезали. Перед сном он долго стоял в буфете на коленях у образа с неугасимой лампадой, – я видел его сквозь глазок двери, похожей на червонного туза, но мне не удалось видеть, как молится буфетчик: он просто стоял и смотрел на икону и лампаду, вздыхая, поглаживая бороду.

Помолчав, Смурый спросил:

– Сережка давал тебе денег?

– Нет.

– Никогда?

– Никогда.

– Он не соврет, – сказал Смурый буфетчику, а тот негромко ответил:

– Все равно. Пожалуйста.

– Идем! – крикнул мне повар, подошел к моему столу и легонько щелкнул меня пальцем в темя. – Дурак! И я – дурак! Мне надо было следить за тобой...

В Нижнем буфетчик рассчитал меня: я получил около восьми рублей первые крупные деньги, заработанные мною.

Смурый, прощаясь со мною, угрюмо говорил:

– Н-ну, вот... Теперь гляди в оба – понимаешь? Рот разевать нельзя...

Он сунул мне в руку пестрый бисерный кисет.

– На-ка, вот тебе! Это хорошее рукоделье, это мне крестница вышила... Ну, прощай! Читай книги – это самое лучшее!

Взял меня под мышки, приподнял, поцеловал и крепко поставил на палубу пристани. Мне было жалко и его и себя; я едва не заревел, глядя, как он возвращается на пароход, расталкивая крючников, большой, тяжелый, одинокий...

Сколько потом встретил я подобных ему добрых, одиноких, отломившихся от жизни людей!..

Глава VII

Дед и бабушка снова переехали в город. Я пришел к ним, настроенный сердито и

воинственно, на сердце было тяжело, – за что меня сочли вором?

Бабушка встретила меня ласково и тотчас ушла ставить самовар; дед насмешливо, как всегда, спросил:

– Много ли золота накопил?

– Сколько есть – все мое, – ответил я, садясь у окна. Торжественно вынул из кармана коробку папирос и важно закурил.

– Та-ак, – сказал дед, пристально всматриваясь в мои действия, – вот оно что. Чертово зелье куришь? Не рано ли?

– Мне вот даже кiset подарили, – похвастал я.

– Кiset! – завизжал дедушка. – Ты что, дразнишь меня?

Он бросился ко мне, вытянув тонкие, крепкие руки, сверкая зелеными глазами; я вскочил, ткнул ему головой в живот, – старик сел на пол и несколько тяжелых секунд смотрел на меня, изумленно мигая, открыв темный рот, потом спросил спокойно:

– Это ты меня толкнул, деда? Матери твоей родного отца?

– Довольно уж вы меня били, – пробормотал я, поняв, что сделал отвратительно.

Сухонький и легкий, дед встал с пола, сел рядом со мною, ловко вырвал папиросу у меня, бросил ее за окно и сказал испуганным голосом:

– Дикая башка, понимаешь ли ты, что это тебе никогда богом не простится, во всю твою жизнь? Мать, – обратился он к бабушке, – ты гляди-ка, он меня ударил ведь? Он! Ударил. Спроси-ка его!

Она не стала спрашивать, а просто подошла ко мне и схватила за волосы, начала трепать, приговаривая.

– А за это – вот как его, вот как...

Было не больно, но нестерпимо обидно, и особенно обижал ехидный смех деда, – он подпрыгивал на стуле, хлопая себя ладонями по коленям, и каркал сквозь смех:

– Та-ак, та-ак...

Я вырвался, выскочил в сени, лег там в углу, подавленный, опустошенный, слушая, как гудит самовар.

Подошла бабушка, наклонилась надо мной и чуть слышно шепнула:

– Ты меня прости, ведь я не больно потрепала тебя, я ведь нарочно! Иначе нельзя, – дедушка-то старик, его надо уважить, у него тоже косточки наломаны, ведь он тоже горя хлебнул полным сердцем, – обижать его не надо. Ты не маленький, ты поймешь это... Надо понимать, Олеша! Он – тот же ребенок, не боле того...

Слова ее омывали меня, точно горячей водой, от этого дружеского шепота становилось и стыдно и легко, я крепко обнял ее, мы поцеловались.

– Иди к нему, иди, ничего! Только не кури при нем сразу-то, дай привыкнуть...

Я вошел в комнату, взглянул на деда и едва удержался от смеха – он действительно был доволен, как ребенок, весь сиял, сучил ногами и колотил лапками в рыжей шерсти по столу.

– Что, козел? Опять бодаться пришел? Ах ты, разбойник! Весь в отца! Фармазон¹⁹, вошел в дом – не перекрестился, сейчас табак курить, ах ты, Бонапарт, цена – копейка!

Я молчал. Он истек словами и тоже замолчал устало, но за чаем начал поучать меня:

– Страх перед богом человеку нужен, как узда коню. Нет у нас друга, кроме господ! Человек человеку – лютый враг!

Что люди – враги, в этом я чувствовал какую-то правду, а все остальное не трогало меня.

¹⁹ Фармазон – искаженное *франк-масон*, часто употреблялось в ругательном значении в обиходной речи.

– Теперь опять иди к тетке Матрене, а весной – на пароход. Зиму-то проживи у них. А не сказывай, что весной уйдешь от них...

– Ну, зачем же обманывать людей? – сказала бабушка, только что обманув деда притворной трепкой, данной мне.

– Без обмана не проживешь, – настаивал дед, – ну-ка скажи – кто живет без обмана?

Вечером, когда дед сел читать псалтырь, я с бабушкой вышел за ворота, в поле; маленькая, в два окна, хибарка, в которой жил дед, стояла на окраине города, «на задах» Канатной улицы, где когда-то у деда был свой дом.

– Вот куда заехали! – посмеиваясь, говорила бабушка. – Не может старик места по душе себе найти, все переезжает. И здесь нехорошо ему, а мне хорошо!

Перед нами раскинулось версты на три скудное дерновое поле, изрезанное оврагами, ограниченное гребнем леса, линией берез казанского тракта. Из оврагов высунулись розгами ветки кустарника, лучи холодного заката окрасили их кровью. Тихий вечерний ветер качал серые былинки; за ближним оврагом тоже, как былинки, – маячили темные фигуры мещанских парней и девиц. Вдали, направо, стояла красная стена старообрядческого кладбища, его звали «Бугровский скит», налево, над оврагом, поднималась с поля темная группа деревьев, там – еврейское кладбище. Все вокруг бедно, все безмолвно прижималось к израненной земле. Маленькие домики окраины города робко смотрели окнами на пыльную дорогу, по дороге бродят мелкие, плохо кормленные куры. У Девичьего монастыря идет стадо, мычат коровы; из лагеря доносится военная музыка – ревут и ухают медные трубы.

Идет пьяный, жестоко растягивая гармонику, спотыкается и бормочет:

– Я дойду до тебя... обязательно...

– Дурачок, – шурясь на красное солнце, говорит бабушка, – куда тебе дойти? Упадешь скоро, уснешь, а во сне тебя оберут... И гармония, утеха твоя, пропадет...

Я рассказываю ей, как жил на пароходе, и смотрю вокруг. После того, что я видел, здесь мне грустно, я чувствую себя ершом на сковороде. Бабушка слушает молча и внимательно, так же, как я люблю слушать ее, и, когда я рассказал о Смуром, она, истово перекрестясь, говорит:

– Хороший человек, помоги ему богородица, хороший! Ты, гляди, не забывай про него! Ты всегда хорошее крепко помни, а что плохо – просто забывай...

Мне очень трудно было рассказать ей, почему меня рассчитали, но, скрепя сердце, я рассказал. Это не произвело на нее никакого впечатления, она только заметила равнодушно:

– Мал ты еще, не умеешь жить...

– Вот все говорят друг другу: не умеешь жить, – мужики, матросы, тетка Матрена – сыну, а что надо уметь?

Поджав губы, она покачала головой.

– Уж этого я не знаю!

– А тоже говоришь!

– Отчего не сказать? – спокойно молвила бабушка. – Ты не обижайся, ты еще маленький, тебе и не должно уметь. Да и кто умеет? Одни жулики. Вон дедушка-то и умен и грамотен, а тоже ничего не сумел...

– Ты сама-то хорошо жила?..

– Я? Хорошо. И плохо жила – всяко...

Мимо нас не спеша проходили люди, влача за собою длинные тени, дымом вставала пыль из-под ног, хороня эти тени. Вечерняя грусть становилась все тяжелей, из окон изливался ворчливый голос деда:

– «Господи, да не яростию твоею обличиши мене, ниже гневом твоим накажеши

мене...»

Бабушка сказала, улыбаясь:

– Надоел же он богу-то, поди! Каждый вечер скулит, а о чем? Ведь уж старенький, ничего не надо, а все жалуется, все топорщится... Бог-от, чай, прислушается к вечерним голосам да и усмехнется: опять Василий Каширин бубнит!.. Пойдем-ка спать...

Я решил заняться ловлей певчих птиц; мне казалось, что это хорошо прокормит: я буду ловить, а бабушка – продавать. Купил сеть, круг, западни, наделал клеток, и вот, на рассвете, я сижу в овраге, в кустах, а бабушка с корзиной и мешком ходит по лесу, собирая последние грибы, калину, орехи.

Только что поднялось усталое сентябрьское солнце; его белые лучи то гаснут в облаках, то серебряным веером падают в овраг ко мне. На дне оврага еще сумрачно, оттуда поднимается белесый туман; крутой глинистый бок оврага темен и гол, а другая сторона, более пологая, прикрыта жухлой травой, густым кустарником в желтых, рыжих и красных листьях; свежий ветер срывает их и мечет по оврагу.

На дне, в репьях, кричат щеглята, я вижу в серых отрепьях бурьяна алые чепчики на бойких головках птиц. Вокруг меня щелкают любопытные синицы; смешно надувая белые щеки, они шумят и суеются, точно молодые кунавинские мещанки в праздник; быстрые, умненькие, злые, они хотят все знать, все потрогать – и попадают в западню одна за другою. Жалко видеть, как они бьются, но мое дело торговое, суровое; я пересаживаю птиц в запасные клетки и прячу в мешок, – во тьме они сидят смирно.

На куст боярышника опустилась стая чижей, куст облит солнцем, чижи рады солнцу и щебечут еще веселей; по ухваткам они похожи на мальчишек-школьников. Жадный, домовитый сорокопуд запоздал улететь в теплые края, сидит на гибкой ветке шиповника, чистит носом перья крыла и зорко высматривает добычу черными глазами. Вспорхнул вверх жаворонком, поймал шмеля, заботливо насадил его на шип и снова сидит, вращая серой, вороватой головкой. Бесшумно пролетела вещая птица щур, предмет жадных мечтаний моих, – вот бы поймать! Снегирь, отбившийся от стаи, сидит на ольхе, красный, важный, как генерал, и сердито поскрипывает, качая черным носом.

Чем выше солнце, тем больше птиц и веселее их щебет. Весь овраг наполняется музыкой, ее основной тон – непрерывный шелест кустарника под ветром; задорные голоса птиц не могут заглушить этот тихий, сладко-грустный шум, – я слышу в нем прощальную песню лета, он нашептывает мне какие – то особенные слова, они сами собою складываются в песню. А в то же время память, помимо воли моей, восстанавливает картины прожитого.

Откуда-то сверху кричит бабушка:

– Ты – где?

Она сидит на краю оврага, разостлала платок, разложила на нем хлеб, огурцы, репу, яблоки; среди всей этой благостыни стоит, блестя на солнце, маленький, очень красивый граненый графин, с хрустальной пробкой – головой Наполеона, в графине – шкалик водки, настоящей на зверобое.

– Хорошо-то как, господи! – благодарно говорит бабушка.

– А я песню сложил!

– Да ну?

Я говорю ей что-то, похожее на стихи:

Все ближе зима, все заметнее,

Прощай, мое солнышко летнее!..

Но она, не дослушав меня, перебивает:

– Такая песня – есть, только она – лучше! И нараспев говорит:

Ой, уходит солнце летнее
В темные ночи, за далекие леса!
Эх, осталася я, девушка,
Без весенней моей радости, одна...
Выйду ль утром за околицу,
Вспомню майские гулянки мои,
Поле чистое нерадостно глядит,
Потеряла я в нем молодость свою.
Ой, подруженьки, любезные мои!
Уж как выпадет да первый легкий снег,
Выньте сердце из белой моей груди,
Схороните мое сердце во снегу!..

Мое авторское самолюбие нимало не страдает, мне очень нравится песня и очень жалко девушку.

А бабушка говорит:

– Вот как горе поется! Это, видишь, девица сложила: погуляла она с весны-то, а к зиме мил любовник бросил ее, может, к другой отошел, и заплакала она от сердечной обиды... Чего сам не испытаешь – про то хорошо-верно не скажешь, а она, видишь, как хорошо составила песню!

Когда она впервые продала птиц на сорок копеек, это очень удивило ее.

– Гляди-ка ты! Я думала – пустое дело, мальчишья забава, а оно вон как обернулось!

– Дешево еще продала...

– Да ну?

В базарные дни она продавала на рубль и более, и все удивлялась: как много можно заработать пустяками!

– А женщина целый день стирает белье или полы моет по четвертаку в день, вот и пойми! А ведь нехорошо это! И птиц держать в клетках нехорошо. Брось-ка ты это, Олеша!

Но я очень увлекся птицеводством, оно мне нравилось и, оставляя меня независимым, не причиняло неудобств никому, кроме птиц. Я обзавелся хорошими снастями; беседы со старыми птицеловами многому научили меня, – я один ходил ловить птиц почти за тридцать верст, в Кстовский лес, на берег Волги, где, в мачтовом сосняке, водились клесты и ценимые любителями синицы-аполлоновки – длиннохвостые белые птички редкой красоты.

Бывало – выйдешь с вечера и всю ночь шлепаешь по казанскому тракту, иногда – под осенним дождем, по глубокой грязи. За спиною обшитый клеенкой мешок, в нем садки и клетки с приманочной птицей. В руке солидная ореховая палка. Холодно и боязно в осенней тьме, очень боязно!.. Стоят по сторонам дороги старые, битые громом березы, простирая над головой моей мокрые сучья; слева, под горой, над черной Волгой, плывут, точно в бездонную пропасть уходя, редкие огоньки на мачтах последних пароходов и барж, бухают колеса по воде, гудят свистки.

С чугунной земли встают избы придорожных деревень, подкатываются под ноги сердитые, голодные собаки, сторож бьет в било и пугливо кричит:

– Кто идет? Кого черти носят – не к ночи будь сказано?

Я очень боялся, что у меня отнимут снасти, и брал с собой для сторожей пятаки. В деревне Фокиной сторож подружился со мной и все ахал:

– Опять идешь? Ах ты, бесстрашный, непокойный житель ночной, а?

Звали его Нифонт, был он маленький, седенький, похожий на святого, часто он

доставал из-за пазухи репу, яблоко, горсть гороху и совал мне в руки, говоря:

– На-ка, друг, я те гостинцу припас, покушай в сладость.

И провожал меня до околицы.

– Айда, с богом!

В лес я приходил к рассвету, налаживал снасти, развешивал манков, ложился на опушке леса и ждал, когда придет день. Тихо. Все вокруг застыло в крепком осеннем сне; сквозь сероватую мглу чуть видны под горою широкие луга; они разрезаны Волгой, перекинулись через нее и расплылись, растаяли в туманах. Далеко, за лесами луговой стороны, восходит, не торопясь, посветлевшее солнце, на черных гривах лесов вспыхивают огни, и начинается странное, трогательное душу движение: все быстрее встает туман с лугов и серебрится в солнечном луче, а за ним поднимаются с земли кусты, деревья, стога сена, луга точно тают под солнцем и текут во все стороны, рыжевато-золотые. Вот солнце коснулось тихой воды у берега, – кажется, что вся река подвинулась, подалась туда, где окунулось солнце. Восходя все выше, оно, радостное, благословляет, греет оголенную, озябшую землю, а земля кадит сладкими запахами осени. Прозрачный воздух показывает землю огромной, бесконечно расширяя ее. Все плывет вдоль и манит дойти до синих краев земли. Я видел восход солнца в этом месте десятки раз и всегда предо мною рождался новый мир, по-новому красивый...

Я как-то особенно люблю солнце, мне нравится самое имя его, сладкие звуки имени, звон, скрытый в них; люблю, закрыв глаза, подставить лицо горячему лучу, поймать его на ладонь руки, когда он проходит мечом сквозь щель забора или между ветвей. Дедушка очень почитает «князь Михаила Черниговского и боярина Федора, не поклонившихся солнцу», – эти люди кажутся мне черными, как цыгане, угрюмыми, злыми, и у них всегда большие глаза, как у бедной мордвы. Когда солнце поднимется над лугами, я невольно улыбаюсь от радости.

Надо мною звенит хвойный лес, отряхая с зеленых лап капли росы; в тени, под деревьями, на узорных листьях папоротника сверкает серебряной парчой иней утреннего заморозка. Порыжевшая трава примята дождями, склоненные к земле стебли неподвижны, но когда на них падает светлый луч заметен легкий трепет в травах, быть может, последнее усилие жизни.

Проснулись птицы; серые московки пуховыми шариками падают с ветки на ветку, огненные клесты крошат кривыми носами шишки на вершинах сосен, на конце сосновой лапы качается белая аполлоновка, взмахивая длинными рулевыми перьями, черный бисерный глазок недоверчиво косится на сеть, растянутую мной. И как-то вдруг слышишь, что уже весь лес, за минуту важно задумчивый, налился сотнями птичьих голосов, наполнен хлопотами живых существ, чистейших на земле, – по образу их человек, отец красоты земной, создал в утешение себе эльфов, херувимов, серафимов²⁰ и весь ангельский чин.

Мне немножко жалко ловить пичужек, совестно сажать их в клетки, мне больше нравится смотреть на них, но охотничья страсть и желание заработать денег побеждают сожаление.

Птицы смешат меня своими хитростями: лазоревая синица внимательно и подробно осмотрела западню, поняла, чем она грозит ей, и, зайдя сбоку, безопасно, ловко таскает семя сквозь палочки западни. Синицы очень умны, но они слишком любопытны, и это губит их. Важные снегири – глуповаты: они идут в сеть целой стаей, как сытые мещане в церковь; когда их накроешь, они очень удивлены, выкатывают глаза и щиплют пальцы толстыми клювами. Клест идет в западню спокойно и солидно;

²⁰ По церковной традиции ангелы по своему положению (чину) разделяются на девять групп, серафимы относятся к первой, самой низшей, херувимы – ко второй. Эльфы – волшебный народ в скандинавской и ирландской мифологии.

поползень, неведомая, ни на кого не похожая птица, долго сидит перед сетью, поводя длинным носом, опираясь на толстый хвост; он бегаёт по стволам деревьев, как дятел, всегда сопровождая синиц. В этой дымчатой пичужке есть что-то жуткое, она кажется одинокой, никто её не любит, и она никого. Он, как сорока, любит воровать и прятать мелкие блестящие вещи.

К полудню я кончаю ловлю, иду домой лесом и полями, – если идти большой дорогой, через деревни, мальчишки и парни отнимут клетки, порвут и поломают снасть, – это уж было испытано мною.

Я прихожу к вечеру усталый, голодный, но мне кажется, что за день я вырос, узнал что-то новое, стал сильнее. Эта новая сила даёт мне возможность слушать злые насмешки деда спокойно и беззлобно; видя это, дед начинал говорить толково, серьёзно:

– Бросай пустые-то дела, брось! Через птиц никто в люди не выходил, не было такого случая, я знаю! Избери-ка ты себе место и расти на нём свой разум. Человек не для пустяков живёт, он – богово зерно, он должен дать колос зерен добрых! Человек – вроде рубля: перевернулся в хорошем обороте три целковых²¹ стало! Думаешь, легко жить-то? Нет, очень не легко! Мир человеку – темная ночь, каждый сам себе светить должен. Всем дано по десятку пальцев, а всякий хочет больше взять своими-то руками. Надо явить силу, а нет силы – хитрость; кто мал да слаб, тот – ни в рай, ни в ад! Живи будто со всеми, а помни, что – один; всякого слушай, никому не верь; на глаз поверишь, криво отмеришь. Помалкивай, – дома да города строят не языком, а рублем да топором. Ты не башкирец, не калмык, у коих все богатство – вши да овцы...

Он мог говорить этими словами целый вечер, и я знал их на память. Слова нравились мне, но к смыслу их я относился недоверчиво. Из его слов было ясно, что человеку мешают жить, как он хочет, две силы: бог и люди.

Сидя у окна, бабушка сучила нитки для кружев; жужжало веретено в её ловких руках, она долго слушала дедову речь молча и вдруг говорила:

– Все будет так, как мать божия улыбнется.

– Чего это? – кричал дед. – Бог! Я про бога не забыл, я бога знаю! Дура старая, что – бог-то дураков на землю посеял, что ли?

...Мне казалось, что лучше всех живут на земле казаки и солдаты; жизнь у них – простая, веселая. В хорошую погоду они рано утром являлись против нашего дома, за оврагом, усеяв голое поле, точно белые грибы, и начинали сложную, интересную игру: ловкие, сильные, в белых рубахах, они весело бегали по полю с ружьями в руках, исчезали в овраге и вдруг, по зову трубы, снова высыпавшись на поле, с криками «ура», под зловещий бой барабанов, бежали прямо на наш дом, оцетинившись штыками, и казалось, что сейчас они скovyрнут с земли, размечут наш дом, как стог сена.

Я тоже кричал «ура» и самозабвенно бежал с ними; злая трель барабана вызывала у меня кипучее желание разрушить что-нибудь, изломать забор, бить мальчишек.

Во время отдыха солдаты угощали меня махоркой, показывали тяжелые ружья, иногда тот или другой, направив штык в живот мне, кричал нарочито свирепо:

– Коли таракана!

Штык блестел, казалось, что он живой, извивается, как змея, и хочет ужалить, – это было немножко боязно, но больше приятно.

Мордвин-барабанщик учил меня колотить палками по коже барабана; сначала он брал кисти моих рук и, вымотав их до боли, совал мне палки в намятые пальца.

– Стучи – рас-дува, рас-дува! Трам-та-та-там! Стучи ему – левы-тиха, правы-шибка, трам-та-та-там! – грозно кричал он, расширяя птичьи глаза.

²¹ Целковый – один рубль (первоначально рублевая серебряная монета).

Я бегал по полю с солдатами вплоть до конца учения и потом провожал их через весь город до казарм, слушая громкие песни, разглядывая добрые лица, все такие новенькие, точно пяточки, только что отчеканенные.

Плотная масса одинаковых людей весело текла по улице единою силою, возбуждавшей чувство приязни к ней, желание погрузиться в нее, как в реку, войти, как в лес. Эти люди ничего не боятся, на все смотрят смело, все могут победить, они достигнут всего, чего захотят, а главное – все они простые, добрые.

Но однажды, во время отдыха, молодой унтер дал мне толстую папиросу.

– Покури! Она у меня – этакая, никому бы не дал, да уж больно ты парень хорош!

Я закурил. Он отодвинулся на шаг, и вдруг красное пламя ослепило меня, обожгло мне пальцы, нос, брови; серый соленый дым заставил чихать и кашлять; слепой, испуганный, я топтался на месте, а солдаты, окружив меня плотным кольцом, хохотали громко и весело. Я пошел домой, – свист и смех катились за мной, что-то щелкнуло, точно кнут пастуха. Болели обожженные пальцы, саднило лицо, из глаз текли слезы, но меня угнетала не боль, а тяжелое, тупое удивление: зачем это сделано со мной? Почему это забавляет добрых парней?

Дома я залез на чердак и долго сидел там, вспоминая все необъяснимо жестокое, что так обильно встречалось на пути моем. Особенно ярко и живо вспомнился мне маленький солдатик из Сарапула, – стоит предо мной и, словно живой, спрашивает:

– Что? Понял?

Вскоре мне пришлось пережить еще нечто более тяжелое и поразительное.

Я стал бегать в казармы казаков, – они стояли около Печерской слободы. Казаки казались иными, чем солдаты, не потому, что они ловко ездили на лошадях и были красивее одеты, – они иначе говорили, пели другие песни и прекрасно плясали. Бывало, по вечерам, вычистив лошадей, они соберутся в кружок около конюшен, и маленький рыжий казак, встряхнув вихрами, высоким голосом запоеет, как медная труба; тихонько, напряженно вытягиваясь, заведет печальную песню про тихий Дон, синий Дунай. Глаза у него закрыты, как закрывает их зорька-птица, которая часто поет до того, что падает с ветки на землю мертвой, ворот рубахи казака расстегнут, видны ключицы, точно медные удила, и весь этот человек – литой, медный. Качаясь на тонких ногах, точно земля под ним волнуется, разводя руками, слепой и звонкий, он как бы перестал быть человеком, стал трубою горниста, свирелью пастуха. Иногда мне казалось, что он опрокинется, упадет спиною на землю и умрет, как зорька, – потому что истратил на песню всю свою душу, всю ее силу.

Спрятав руки в карманы и за широкие спины, вокруг него венком стоят товарищи, строго смотрят на его медное лицо, следят за рукою, тихо плавающей в воздухе, и поют важно, спокойно, как в церкви на клиросе. Все они – бородатые и безбородые – были в эту минуту похожи на иконы: такие же грозные и отдаленные от людей. Песня длинна, как большая дорога, она такая же ровная, широкая и мудрая; когда слушаешь ее, то забываешь – день на земле или ночь, мальчишка я или уже старик, забываешь все! Замрут голоса певцов, – слышно, как вздыхают кони, тоскуя по приволью степей, как тихо и неустраимо двигается с поля осенняя ночь; а сердце растет и хочет разорваться от полноты каких-то необычных чувств и от великой, немой любви к людям, к земле.

Маленький, медный казак казался мне не человеком, а чем-то более значительным – сказочным существом, лучше и выше всех людей. Я не мог говорить с ним. Когда он спрашивал меня о чем-нибудь, я счастливо улыбался и молчал смущенно. Я готов был ходить за ним молча и покорно, как собака, только бы чаще видеть его, слышать, как он поет.

Однажды я видел, как он, стоя в углу конюшни, подняв к лицу руку, рассматривает надетое на пальце гладкое серебряное кольцо; его красивые губы

шевелились, маленькие рыжие усы вздрагивали, лицо было грустное, обиженное.

Но как-то раз, темным вечером, я пришел с клетками в трактир на Старой Сенной площади, трактирщик был страстный любитель певчих птиц и часто покупал их у меня.

Казак сидел около стойки, в углу, между печью и стеной; с ним была дородная женщина, почти вдвое больше его телом, ее круглое лицо лоснилось, как сафьян, она смотрела на него ласковыми глазами матери, немножко тревожно; он был пьян, шаркал вытянутыми ногами по полу и, должно быть, больно задевал ноги женщины, – она, вздрагивая, морщилась, просила его тихонько:

– Не дурите...

Казак с великим усилием поднимал брови, но они вяло снова опускались. Ему было жарко, он расстегнул мундир и рубаху, обнажив шею. Женщина, спустив платок с головы на плечи, положила на стол крепкие белые руки, сцепив пальцы докрасна. Чем больше я смотрел на них, тем более он казался мне провинившимся сыном доброй матери; она что-то говорила ему ласково и укоризненно, а он молчал смущенно, – нечем было ответить на заслуженные упреки.

Вдруг он встал, словно уколотый, неверно – низко на лоб – надел фуражку, пришлепнул ее ладонью и, не застегиваясь, пошел к двери; женщина тоже поднялась, сказав трактирщику:

– Мы сейчас воротимся, Кузьмич...

Люди проводили их смехом, шутками. Кто-то сказал густо и сурово:

– Вернется лоцман, – он ей задаст!

Я ушел вслед за ними; они опередили меня шагов на десять, двигаясь во тьме, наискось площади, целиком по грязи, к откосу, высокому берегу Волги. Мне было видно, как шатается женщина, поддерживая казака, я слышал, как чавкает грязь под их ногами; женщина негромко, умоляюще спрашивала:

– Куда же вы? Ну, куда же?

Я пошел за ними по грязи, хотя это была не моя дорога. Когда они дошли до панели откоса, казак остановился, отошел от женщины на шаг и вдруг ударил ее в лицо; она вскрикнула с удивлением и испугом:

– Ой, да за что же это?

Я тоже испугался; подбежал вплоть к ним, а казак схватил женщину поперек тела, перебросил ее через перила под гору, прыгнул за нею, и оба они покатались вниз, по траве откоса, черной кучей. Я обомлел, замер, слушая, как там, внизу, трещит, рвется платье, рычит казак, а низкий голос женщины бормочет, прерываясь:

– Я закричу... закричу...

Она громко, болезненно охнула, и стало тихо. Я нащупал камень, пустил его вниз, – зашуршала трава. На площади хлопала стеклянная дверь кабака, кто-то ухнул, должно быть, упал, и снова тишина, готовая каждую секунду испугать чем-то.

Под горою появился большой белый ком; всхлипывая и сопя, он тихо, неровно поднимается кверху, – я различаю женщину. Она идет на четвереньках, как овца, мне видно, что она по пояс голая, висят ее большие груди, и кажется, что у нее три лица. Вот она добралась до перил, села на них почти рядом со мною, дышит, точно запаленная лошадь, оправляя сбитые волосы; на белизне ее тела ясно видны темные пятна грязи; она плачет, стирает слезы со щек движениями умывающейся кошки, видит меня и тихонько восклицает:

– Господи – кто это? Уйди, бесстыдник!

Я не могу уйти, окаменев от изумления и горького, тоскливого чувства, – мне вспоминаются слова бабушкиной сестры:

«Баба – сила, Ева самого бога обманула...»

Женщина встала и, прикрыв грудь обрывками платья, обнажив ноги, быстро

пошла прочь, а из-под горы поднялся казак, замахал в воздухе белыми тряпками, тихонько свистнул, прислушался и заговорил веселым голосом:

– Дарья! Что? Казак всегда возьмет что надо... ты думала – пьяный? Не-е, это я тебе показался... Дарья!

Он стоит твердо, голос его звучит трезво и насмешливо. Нагнувшись, он вытер тряпками свои сапоги и заговорил снова:

– Эй, возьми кофту... Дашк! Да не ломайся...

И казак громко произнес позорное женщине слово.

Я сижу на куче щебня, слушая этот голос, одинокий в ночной тишине и такой подавляюще властный.

Перед глазами пляшут огни фонарей на площади; справа, в черной куче деревьев, возвышается белый институт благородных девиц. Лениво нанизывая грязные слова одно на другое, казак идет на площадь, помахивая белым тряпьем, и наконец исчезает, как дурной сон.

Внизу, под откосом, на водокачке пытит паротводная трубка, по съезду катится пролетка извозчика, вокруг – ни души. Отравленный, я иду вдоль откоса, сжимая в руке холодный камень, – я не успел бросить его в казака. Около церкви Георгия Победоносца меня остановил ночной сторож, сердито расспрашивая – кто я, что несу за спиной в мешке.

Я подробно рассказал ему о казаке – он начал хохотать, покрикивая:

– Ловко-о! Казаки, брат, дотошный народ, они не нам чета! А бабенка-то сука...

Он подавился смехом, а я пошел дальше, не понимая – над чем же он смеется?

И думал в ужасе: а что, если бы такое случилось с моей матерью, с бабушкой?

Глава VIII

Когда выпал снег, дед снова отвел меня к сестре бабушки.

– Это не худо для тебя, не худо, – говорил он мне.

Мне казалось, что за лето я прожил страшно много, постарел и поумнел, а у хозяев в это время скука стала гуще. Все так же часто они хворают, расстраивая себе желудки обильной едой, так же подробно рассказывают друг другу о ходе болезней, старуха так же страшно и злобно молится богу. Молодая хозяйка после родов похудела, умалилась в пространстве, но двигается столь же важно и медленно, как беременная. Когда она шьет детям белье, то тихонько поет всегда одну песню:

Спиря, Спиря, Спиридон,
Спиря, братик мой родной;
Сама сяду в саночки,
Спирию – на запяточки...

Если войти в комнату, она тотчас перестает петь и сердито кричит:

– Чего тебе?

Я уверен, что она не знала ни одной песни, кроме этой.

Вечером хозяева зовут меня в комнату и приказывают:

– Ну-ка, расскажи, как ты жил на пароходе!

Я сажусь на стул около двери уборной и говорю; мне приятно вспоминать о другой жизни в этой, куда меня сунули против моей воли. Я увлекаюсь, забываю о слушателях, но – ненадолго; женщины никогда не ездили на пароходе и спрашивают меня:

– А все-таки поди-ка боязно?

Я не понимаю – чего бояться?

– А вдруг он свернет на глубокое место да и потонет!

Хозяин хохочет, а я – хотя и знаю, что пароходы не тонут на глубоких местах, – не могу убедить в этом женщин. Старуха уверена, что пароход не плавает по воде, а идет, упираясь колесами в дно реки, как телега по земле.

– Коли он железный, как же он плавает? Небось топор не плавает...

– А ковш ведь не тонет в воде?

– Сравнил! Ковш – маленький, пустой...

Когда я говорю о Смуром и его книгах, они смотрят на меня подозрительно; старуха говорит, что книги сочиняют дураки и еретики.

– А псалтирь? А царь Давид?

– Псалтирь – священное писание, да и то царь Давид прощенья просил у бога за псалтирь.

– Где это сказано?

– На ладони у меня, – я те вот хвачу по затылку, и узнаешь – где!

Она все знает, обо всем говорит уверенно и всегда – дико.

– На Печорке татарин помер, так душа у него горлом излилась, черная, как деготь!

– Душа – дух, – говорю я, но она презрительно кричит:

– У татарина-то? Дурак!

Молодая хозяйка тоже боится книг.

– Это очень вредно книжки читать, а особенно – в молодых годах, говорит она. – У нас на Гребешке одна девица хорошего семейства читала-читала, да – в дьякона и влюбилась. Так дьяконова жена так срамила ее – ужас даже! На улице, при людях...

Иногда я употреблял слова из книг Смурого; в одной из них, без начала и конца, было сказано: «Собственно говоря, никто не изобрел пороха; как всегда, он явился в конце длинного ряда мелких наблюдений и открытий».

Не знаю почему, но мне очень запомнилась эта фраза, особенно же полюбилось сочетание двух слов: «собственно говоря»; я чувствовал в них силу, – много они принесли горя мне, смешного горя. Есть такое.

Однажды, на предложение хозяев рассказать им еще что-нибудь о пароходе, я ответил:

– Мне уж нечего рассказывать, собственно говоря...

Это их изумило, они закаркали:

– Как? Как ты сказал?

И все четверо начали дружно хохотать, повторяя:

– Собственно говоря, а – ба-атюшки!

Даже хозяин сказал мне:

– Плохо ты выдумал, чудака!

С той поры они долго звали меня:

– Эй, собственно говоря! Иди-ка подотри пол за ребенком, собственно говоря...

Это бестолковое издевательство не обижало, но очень удивляло меня.

Я жил в тумане отупляющей тоски и, чтобы побороть ее, старался как можно больше работать. Недостатка в работе не ощущалось, – в доме было двое младенцев, няньки не угождали хозяевам, их постоянно меняли; я должен был возиться с младенцами, каждый день мыл пеленки и каждую неделю ходил на Жандармский ключ полоскать белье, – там меня осмеивали прачки.

– Ты что за бабье дело взялся?

Иногда они доводили меня до того, что я шлепал их жгутами мокрого белья, они щедро платили мне тем же, но с ними было весело, интересно.

Жандармский ключ бежал по дну глубокого оврага, спускаясь к Оке, овраг

отрезал от города поле, названное именем древнего бога – Ярило²². На этом поле, по семикам²³, городское мещанство устраивало гулянье; бабушка говорила мне, что в годы ее молодости народ еще веровал Яриле и приносил ему жертву: брали колесо, обвертывали его смоленой паклей и, пустив под гору, с криками, с песнями, следили – доедет ли огненное колесо до Оки. Если доедет, бог Ярило принял жертву: лето будет солнечное и счастливое.

Прачки были, в большинстве, с Ярила, все бойкие, зубастые бабы; они знали всю жизнь города, и было очень интересно слушать их рассказы о купцах, чиновниках, офицерах, на которых они работали. Полоскать белье зимою, в ледяной воде ручья – каторжное дело; у всех женщин руки до того мерзли, что трескалась кожа. Согнувшись над ручьем, запертым в деревянную колоду, под стареньким, щелявым навесом, который не защищал от снега и ветра, бабы полоскали белье; лица их налиты кровью, нащипаны морозом; мороз жжет мокрые пальцы, они не гнутся, из глаз текут слезы, а женщины неумолимо гуторят, передавая друг другу разные истории, относясь ко всем и ко всему с какой-то особенной храбростью.

Лучше всех рассказывала Наталья Козловская, женщина лет за тридцать, свежая, крепкая, с насмешливыми глазами, с каким-то особенно гибким и острым языком. Она пользовалась вниманием всех подруг, с нею советовались о разных делах и уважали ее за ловкость в работе, за аккуратную одежду, за то, что она отдала дочь учиться в гимназию. Когда она, сгибаясь под тяжестью двух корзин с мокрым бельем, спускалась с горы по скользкой тропе, ее встречали весело, заботливо спрашивали:

– Как дочка-то?

– Ничего, спасибо, учится, слава богу!

– Гляди – барыней будет?

– А того ради и учу. Откуда баре, холеные хари? Все из нас, из черноты земной, а откуда еще-то? Чем больше науки, тем длинней руки, больше возьмут; а кем больше взято, у того дело и свято... Бог посылает нас сюда глупыми детьми, а назад требует умными стариками, значит – надо учиться!

Когда она говорила, все молчали, внимательно слушая складную, уверенную речь. Ее хвалили в глаза и за глаза, удивлялись ее выносливости, разуму, но – никто не подражал ей. Она обшила себе рукава кофты рыжей кожей от голенища сапога, – это позволяло ей не обнажать рук по локти, не мочить рукава. Все говорили, что она хорошо придумала, но никто не сделал этого себе, а когда сделал я – меня осмеяли:

– Эх ты, у бабы разуму учишься?

Про дочь ее говорили:

– Эко важное дело! Ну, одной барыней больше будет, легко ли? Да, может, еще и не доучится, помрет...

– Тоже ведь и ученые не сладко живут: вон у Бахилова дочь-то училась – училась, да и сама в учительши пошла, ну, а коли учительша, значит – вековуша...

– Конечно! Замуж – то и без грамоты возьмут, было бы за что взять...

– Бабий ум не в голове...

Было странно и неловко слушать, что они сами о себе говорят столь бесстыдно. Я знал, как говорят о женщинах матросы, солдаты, землекопы, я видел, что мужчины всегда хвастаются друг перед другом своей ловкостью в обманах женщин, выносливостью в сношениях с ними; я чувствовал, что они относятся к «бабам» враждебно, но почти всегда за рассказами мужчин о своих победах, вместе с хвастовством, звучало что-то, позволявшее мне думать, что в этих рассказах

²² Ярило – славянский бог радостного света, весны и тепла.

²³ Семик (Зеленые Святки) – праздник весенне-летнего календарного периода; отмечается на 7 четверг после Пасхи.

хвастовства и выдумки больше, чем правды.

Прачки не рассказывали друг другу о своих любовных приключениях, но во всем, что говорилось ими о мужиках, я слышал чувство насмешливое, злое и думал, что, пожалуй, это правда: баба – сила!

– Как ни кружись, с кем ни дружись, а к бабе придешь, не минуешь, сказала однажды Наталья, и какая-то старуха простуженным голосом крикнула ей:

– А куда кроме? От бога и то к нам уходят, монахи-те, отшельники-те...

Эти разговоры под плачущий плеск воды, шлепанье мокрых тряпок, на дне оврага, в грязной щели, которую даже зимний снег не мог прикрыть своим чистым покровом, эти бесстыдные, злые беседы о тайном, о том, откуда все племена и народы, вызывали у меня пугливое отвращение, отталкивая мысль и чувство в сторону от «романов», назойливо окружавших меня; с понятием о «романе» у меня прочно связалось представление о грязной, распутной истории.

Но все-таки в овраге, среди прачек, в кухнях у денщиков, в подвале у рабочих – землекопов было несравнимо интереснее, чем дома, где застывшее однообразие речей, понятий, событий вызывало только тяжкую и злую скуку. Хозяева жили в заколдованном кругу еды, болезней, сна, суетливых приготовлений к еде, ко сну; они говорили о грехах, о смерти, очень боялись ее, они толклись, как зерна вокруг жернова, всегда ожидая, что вот он раздавит их.

В свободные часы я уходил в сарай колоть дрова, желая побыть наедине с самим собою, но это редко удавалось, – приходили денщики и рассказывали о жизни на дворе.

Чаще других ко мне являлись в сарай Ермохин и Сидоров. Первый длинный, сутулый калужанин, весь свитый из толстых и крепких жил, малоголовый, с мутными глазами. Он был ленив, досадно глуп, двигался медленно, неловко, а когда видел женщину, то мычал и наклонялся вперед, точно хотел упасть в ноги ей. Все на дворе удивлялись быстроте его побед над кухарками, горничными, завидовали ему, боялись его медвежьей силы. Сидоров, тощий и костлявый туляк, был всегда печален, говорил тихонько, кашлял осторожно, глаза его пугливо горели, он очень любил смотреть в темные углы; рассказывает ли что-нибудь вполголоса, или сидит молча, но всегда смотрит в тот угол, где темнее.

– Ты что смотришь?

– А может, мыша выбежит... Люблю мышей, такие, катаются, тихонькие...

Я писал денщикам письма в деревни, записки возлюбленным, мне это нравилось; но было приятнее, чем для других, писать письма для Сидорова, он аккуратно каждую субботу посылал письма сестре в Тулу.

Пригласив меня к себе в кухню, он садился за стол рядом со мною, крепко растирал ладонями стриженую голову и шептал в ухо мне:

– Ну, валяй! Сначала – как надо: любезнейшая моя сестрица, здравствуй на много лет – как надо! Теперь пиши: рубль я получил, только этого не надо и благодарю. Мне ничего не надо, мы живем хорошо, – мы живем вовсе не хорошо, а как собаки, ну, ты про то не пиши, а пиши – хорошо! Она маленькая, ей четырнадцать лет всего – зачем ей знать? Теперь пиши сам, как тебя учили...

Он наваливался на меня с левого бока, горячо и пахуче дышал в ухо мне и шептал настойчиво:

– Чтоб она не давала парням обниматься с нею и трогать ее за груди и никак!

Пиши: если кто говорит ласково, ты ему не верь, это он хочет обмануть вас, испортить...

От усилий сдержать кашель серое лицо его наливалось кровью, он надувал щеки, на глазах выступали слезы, он ерзал по стулу и толкал меня.

– Ты мешаешь!

– Ничего, пиши!.. Господам не верь больше всего, они обманут девушку в один раз. Он знает свои слова и все может сказать, а как ты ему поверила, то – тебя в публичный дом. А если накопишь рубль, так отдай попу, он и сохранит, когда хороший человек. А лучше зарывай в землю, чтоб никто не видел, и помни – где.

Было очень грустно слушать этот шопот, заглушаемый визгом жестяного вертуна форточки. Я оглядываюсь на закопченное чело печи, на шкаф с посудой, засиженный мухами, – кухня невероятно грязна, обильна клопами, горько пропахла жареным маслом, керосином, дымом. На печи, в лучине, шуршат тараканы, уныние вливается в душу, почти до слез жалко солдата, его сестру. Разве можно, разве хорошо жить так?

Я пишу что-то, уже не слушая шопот Сидорова, пишу о том, как скучно и обидно жить, а он, вздыхая, говорит мне:

– Много пишешь, спасибо! Теперь она будет знать, чего надо бояться...

– Ничего не надо бояться, – сердито говорю я, хотя сам боюсь многого.

Солдат смеется прикашливая:

– Чудачок! Как же не бояться? А – господа, а – бог? Да мало ли!

Получив письмо от сестры, он беспокоило просил:

– Читай, пожалуйста, скорее...

И заставлял меня прочитывать написанное каракулями, обидно краткое и пустое письмо по три раза.

Был он добрый, мягкий, но к женщинам относился так же, как все, по-собачьи грубо и просто. Вольно и невольно наблюдая эти отношения, часто с поразительной и поганой быстротой развивающиеся на моих глазах с начала до конца, я видел, как Сидоров возбуждал у бабы доброе чувство жалобами на свою солдатскую жизнь, как он опьяняет ее ласковой ложью, а после всего, рассказывая Ермохину о своей победе, брезгливо морщится и плюет, точно принял горького лекарства. Это меня било по сердцу, я сердито спрашивал солдата – зачем все они обманывают баб, лгут им, а потом, издеваясь над женщиной, передают ее один другому и часто – бьют?

Он только тихонько усмехался и говорил:

– Тебе не надо интересоваться этими делами, это все плохо, это – грех! Ты – маленький, тебе рано...

Но однажды я добился ответа более определенного и очень памятного мне.

– Думаешь – она не знает, что я ее обманываю? – сказал он, подмигнув и кашляя.

– Она – зна-ет! Она сама хочет, чтобы обманули. Все врут в этом деле, это уж такое дело, стыдно всем, никто никого не любит, а просто баловство! Это больно стыдно, вот, погоди, сам узнаешь! Нужно, чтоб было ночью, а днем – в темноте, в чулане, да! За это бог из рая прогнал, из-за этого все несчастливы...

Он говорил так хорошо, так грустно, покаянно, что это немного примирило меня с его романами; я относился к нему более дружественно, чем к Ермохину, которого ненавидел и всячески старался высмеять, раздражить – это мне удавалось, и частенько он бегал за мной по двору с недобрыми намерениями, которые только по неловкости редко удавались ему.

– Это – запрещено, – говорил Сидоров.

Что запрещено – я знал, но что от этого люди несчастны – не верилось. И видел, что несчастны, а не верил потому, что нередко наблюдал необычное выражение в глазах влюбленных людей, чувствовал особенную доброту любящих; видеть этот праздник сердца всегда было приятно.

Но все-таки жизнь, помню, казалась мне все более скучной, жесткой, незыблемо установленной навсегда в тех формах и отношениях, как я видел ее изо дня в день. Не думалось о возможности чего-либо лучшего, чем то, что есть, что неустранимо является перед глазами каждый день.

Но однажды солдаты рассказали мне историю, сильно взволновавшую меня.

В одной из квартир жил закройщик лучшего портного в городе, тихий, скромный, нерусский человек. У него была маленькая, бездетная жена, которая день и ночь читала книги. На шумном дворе, в домах, тесно набитых пьяными людьми, эти двое жили невидимо и безмолвно, гостей не принимали, сами никуда не ходили, только по праздникам в театр.

Муж с утра до позднего вечера был на службе, жена, похожая на девочку-подростка, раза два в неделю днем выходила в библиотеку. Я часто видел, как она, покачиваясь, словно прихрамывая, мелкими шагами идет по дамбе, с книгами в ремнях, словно гимназистка, простенькая, приятная, новая, чистая, в перчатках на маленьких руках. Лицо у нее птичье, с быстрыми глазками, вся она красивенькая, как фарфоровая фигурка на подзеркальнике. Солдаты говорили, что у нее не хватает ребра в правом боку, оттого она и качается так странно на ходу, но мне это казалось приятным и сразу отличало ее от других дам на дворе – офицерских жен; эти, несмотря на их громкие голоса, пестрые наряды и высокие турнюры²⁴, были какие-то подержанные, точно они долго и забыто лежали в темном чулане, среди разных ненужных вещей.

Маленькая закройщица считалась во дворе полоумной, говорили, что она потеряла разум в книгах, дошла до того, что не может заниматься хозяйством, ее муж сам ходит на базар за провизией, сам заказывает обед и ужин кухарке, огромной, нерусской бабе, угрюмой, с одним красным глазом, всегда мокрым, и узенькой розовой щелью вместо другого. Сама же барыня – говорили о ней – не умеет отличить буженину от телятины и однажды позорно купила вместо петрушки – хрен! Вы подумайте, какой ужас!

Все трое, они были чужими в доме, как будто случайно попали в одну из клеток этого большого садка для кур, напоминая синиц, которые, спасаясь от мороза, влетают через форточку в душное и грязное жилище людей.

И вдруг денщики рассказали мне, что господа офицеры затеяли с маленькой закройщицей обидную и злую игру: они почти ежедневно, то один, то другой, передают ей записки, в которых пишут о любви к ней, о своих страданиях, о ее красоте. Она отвечает им, просит оставить ее в покое, сожалеет, что причинила горе, просит бога, чтобы он помог им разлюбить ее. Получив такую записку, офицеры читают ее все вместе, смеются над женщиной и вместе же составляют письмо к ней от лица кого-либо одного.

Рассказывая мне эту историю, денщики тоже смеялись, ругали закройщицу.

– Дура несчастная, кривуля, – говорил Ермохин басом, а Сидоров тихонько поддерживал его:

– Всякая баба хочет, чтоб ее обманули. Она все знает...

Не поверил я, что закройщица знает, как смеются над нею, и тотчас решил сказать ей об этом. Выследив, когда ее кухарка пошла в погреб, я вбежал по черной лестнице в квартиру маленькой женщины, сунулся в кухню там было пусто, вошел в комнаты – закройщица сидела у стола, в одной руке у нее тяжелая золоченая чашка, в другой – раскрытая книга; она испугалась, прижала книгу к груди и стала негромко кричать:

– Кто это? Августа! Кто ты?

Я начал быстро и сбивчиво говорить ей, ожидая, что она бросит в меня книгой или чашкой. Она сидела в большом малиновом кресле, одетая в голубой капот с бахромою по подолу, с кружевами на вороте и рукавах, по ее плечам рассыпались

²⁴ Турнюр – модное в 1870–1880-х годах приспособление в виде подушечки, которая подкладывалась дамами сзади под платье ниже талии для придания пышности фигуре. Также турнюр мог быть в виде сборчатой накладки, располагавшейся чуть ниже талии на заднем полотнище верхней части юбки, что формировало характерный силуэт с очень выпуклой нижней частью тела.

русые волнистые волосы. Она была похожа на ангела с царских дверей. Прижимаясь к спинке кресла, она смотрела на меня круглыми глазами, сначала сердито, потом удивленно, с улыбкой.

Когда я сказал все, что хотел, и, потеряв храбрость, обернулся к двери, она крикнула мне:

– Пстой!

Ткнула чашку на поднос, бросила книгу на стол и, сложив ладошки, заговорила густым голосом взрослого человека:

– Какой ты странный мальчик... Подойди поближе! Я подвинулся очень осторожно, она взяла мою руку и, глядя ее маленькими холодными пальцами, спросила:

– Тебя никто не научил сказать мне это, нет? Ну, хорошо, я вижу, верю – ты сам придумал...

Выпустив мою руку, она закрыла глаза и тихонько, протяжно сказала:

– Так об этом говорят грязные солдаты!

– Вы бы съехали с квартиры-то, – солидно посоветовал я.

– Зачем?

– Одолеют они вас.

Она приятно засмеялась, потом спросила:

– Ты учился? Книжки читать любишь?

– Некогда мне читать.

– Если бы любил, нашлось бы время. Ну – спасибо!

Она протянула мне щепотью сложенные пальцы и в них серебряную монету, – было стыдно взять эту холодную вещь, но я не посмел отказаться от нее и, уходя, положил ее на столбик перил лестницы.

Я унес от этой женщины впечатление глубокое, новое для меня; предо мною точно заря занялась, и несколько дней я жил в радости, вспоминая просторную комнату и в ней закройщицу в голубом, похожую на ангела. Вокруг все было незнакомо красиво, пышный золотистый ковер лежал под ее ногами, сквозь серебряные стекла окон смотрел, греясь около нее, зимний день.

Мне захотелось взглянуть на нее еще раз, – что будет, если я пойду, попрошу у нее книжку?

Я сделал это и снова увидел ее на том же месте, также с книгой в руках, но щека у нее была подвязана каким-то рыжим платком, глаз запух. Давая мне книгу в черном переплете, закройщица невнятно промычала что-то. Я ушел с грустью, унося книгу, от которой пахло креозотом и анисовыми каплями. Книгу я спрятал на чердак, завернув ее в чистую рубашку и бумагу, боясь, чтобы хозяева не отняли, не испортили ее.

Они, получая «Ниву» ради выкоек и премий, не читали ее, но, посмотрев картинки, складывали на шкаф в спальне, а в конце года переплетали и прятали под кровать, где уже лежали три тома «Живописного обозрения»²⁵. Когда я мыл пол в спальне, под эти книги подтекала грязная вода. Хозяин выписывал газету «Русский курьер»²⁶ и вечерами, читая ее, ругался:

– Черт их поймет, зачем они пишут все это! Скучища же...

В субботу, развешивая на чердаке белье, я вспомнил о книге, достал ее, развернул и прочитал начальную строку: «Дома – как люди: каждый имеет свою физиономию». Это удивило меня своей правдой, – я стал читать дальше, стоя у слухового окна, и читал, пока не озяб, а вечером, когда хозяева ушли ко всеобщей, снес книгу в кухню и

²⁵ «Живописное обозрение стран света» – журнал, выходивший в России с 1872 по 1905 год.

²⁶ «Русский курьер» – ежедневная газета, выходившая в Москве с 1879 г. до 1891 г. Газета была посвящена по преимуществу вопросам внутренней жизни и имела большое распространение.

утонул в желтоватых, изношенных страницах, подобных осенним листьям; они легко уводили меня в иную жизнь, к новым именам и отношениям, показывая мне добрых героев, мрачных злодеев, непохожих на людей, приглядевшихся мне. Это был роман Ксавье де Монтепэна²⁷, длинный, как все его романы, обильный людьми и событиями, изображавший незнакомую, стремительную жизнь. Все в романе этом было удивительно просто и ясно, как будто некий свет, скрытый между строк, освещал доброе и злое, помогая любить и ненавидеть, заставляя напряженно следить за судьбами людей, спутанных в тесный рой. Сразу возникло настойчивое желание помочь этому, помешать тому, забывалось, что вся эта неожиданно открывшаяся жизнь насквозь бумажная; все забывалось в колебаниях борьбы, поглощалось чувством радости на одной странице, чувством огорчения на другой.

Я зачитался до того, что, когда услышал звонок колокольчика на парадном крыльце, не сразу понял, кто это звонит и зачем.

Свеча почти догорела, подсвечник, только что утром вычищенный мною, был залит салом; светильня лампадки, за которую я должен был следить, выскользнула из держальца и погасла. Я заметался по кухне, стараясь скрыть следы моих преступлений, сунул книгу в подпечек и начал оправлять лампадку. Из комнат выскочила нянька.

– Оглох? Звонят!

Я бросился отпирать двери.

– Дрых? – сурово спросил хозяин; жена его, тяжело поднимаясь по лестнице, жаловалась, что я ее простудил, старуха ругалась. В кухне она сразу увидела сожженную свечу и начала допрашивать меня – что я делал.

Я молчал, точно свалившись откуда-то с высоты, весь разбитый, в страхе, что она найдет книгу, а она кричала, что я сожгу дом. Пришел хозяин с женой ужинать, старуха пожаловалась им:

– Вот, глядите, всю свечу сжег и дом сожжет...

Ужиная, они все четверо пилили меня своими языками, вспоминая вольные и невольные проступки мои, угрожая мне погибелью, но я уже знал, что все это они говорят не со зла и не из добрых чувств, а только от скуки. И было странно видеть, какие они пустые и смешные по сравнению с людьми из книги.

Вот они кончили есть, отяжелели, устало разошлись спать; старуха, потревожив бога сердитыми жалобами, забралась на печь и примолкла. Тогда я встал, вынул книгу из подпечка, подошел к окну; ночь была светлая, луна смотрела прямо в окно, но мелкий шрифт не давался зрению. А читать хотелось мучительно. Взяв с полки медную кастрюлю, я отразил ею свет луны на книгу стало еще хуже, темнее. Тогда я забрался на лавку, в угол, к образам, начал читать стоя, при свете лампы, и, утомленный, заснул, опустясь на лавку, а проснулся от крика и толчков старухи. Держа книгу в руках, она больно стучала ею по плечам моим, красная со зла, яростно вскидывая рыжей головою, босая, в одной рубахе. С полатей выл Виктор:

– Мамаша, да не орите вы! Жить нельзя...

«Пропала книга, изорвут», – думал я.

За утренним чаем меня судили. Хозяин строго спрашивал:

– Где ты взял книгу?

Женщины кричали, перебивая друг друга, Виктор подозрительно нюхал страницы и говорил:

– Духами пахнет, ей-богу...

²⁷ Ксавье де Монтепэн (1823–1902) – французский романист, один из основоположников бульварного романа – жанра массовой литературы, к которому относят книги, написанные в расчете на непритязательный вкус, содержащие завлекательную интригу, полные занимательных эффектов, описаний преступлений и любовных приключений.

Узнав, что книга принадлежит священнику, они все еще раз осмотрели ее, удивляясь и негодуя, что священник читает романы, но все-таки это несколько успокоило их, хотя хозяин еще долго внушал мне, что читать – вредно и опасно.

– Вон они, читатели-то, железную дорогу взорвали, хотели убить...²⁸

Хозяйка сердито и пугливо крикнула мужу:

– Ты с ума сошел. Что ты ему говоришь?

Я отнес Монтепэна солдату, рассказал ему, в чем дело, – Сидоров взял книгу, молча открыл маленький сундучок, вынул чистое полотенце и, завернув в него роман, спрятал в сундук, сказав мне:

– Не слушайся их – приходи ко мне и читай, я никому не скажу! А если придешь – нет меня, ключ висит за образом, отопри сундук и читай...

Отношение хозяев к книге сразу подняло ее в моих глазах на высоту важной и страшной тайны. То, что какие-то «читатели» взорвали где-то железную дорогу, желая кого-то убить, не заинтересовало меня, но я вспомнил вопрос священника на исповеди, чтение гимназиста в подвале, слова Смурого о «правильных книгах» и вспомнил дедовы рассказы о чернокнижниках-фармазонах:

«А при Благословенном государе Александре Павлыче дворянишки, совратясь к чернокнижию и фармазонству, затеяли предать весь российский народ римскому папе, езуиты! Тут Аракчеев-генерал²⁹ изловил их на деле да, невзирая на чины-звания, – всех в Сибирь в каторгу, там они и исхизли, подобно тле...»

Вспоминался «умбракул, распещренный звездами», «Гервасий» и торжественные, насмешливые слова:

«Профаны, любопытствующие знать наши дела! Никогда слабые ваши очи не узрят оных!»

Я чувствовал себя у порога каких-то великих тайн и жил, как помешанный. Хотелось дочитать книгу, было боязно, что она пропадет у солдата или он как-нибудь испортит ее. Что я скажу тогда закройщице?

А старуха, зорко следя, чтобы я не бегал к денщику, грызла меня:

– Книжник! Книжки-то вон распутству учат, вон она, книгочeya, до чего дошла, – на базар сама сходить не может, только с офицерами путается, днем принимает их, я зна-аю!

Мне хотелось закричать:

«Это неправда! Она не путается...»

Но я боялся защищать закройщицу – вдруг старуха догадается, что книга-то ее?

Несколько дней мне жилось отчаянно плохо; мною овладела рассеянность, тревожная тоска, я не мог спать, в страхе за судьбу Монтепэна, и вот однажды кухарка закройщицы, остановив меня на дворе, сказала:

– Принеси книгу!

Я выбрал время после обеда, когда хозяева улеглись отдыхать, и явился к закройщице сконфуженный, подавленный.

Она встретила меня такая же, какую я ее встретил в первый раз, только одета иначе: в серой юбке, черной бархатной кофте, с бирюзовым крестом на открытой шее. Она была похожа на самку снегиря.

Когда я сказал ей, что не успел прочитать книгу и что мне запрещают читать, у меня от обиды и от радости видеть эту женщину глаза налились слезами.

²⁸ Речь идет о неудавшемся покушении на Александра II (взрыв на линии Московско-Курской железной дороги 19 ноября (1 декабря) 1879 г.).

²⁹ Аракчеев Алексей Андреевич (1769–1834) – русский государственный и военный деятель, пользовавшийся огромным доверием Александра I, особенно во второй половине его царствования. Реформатор русской артиллерии, генерал от артиллерии.

– Ф-фу, какие глупые люди! – сказала она, сдвинув тонкие брови. – А еще у твоего хозяина такое интересное лицо. Ты погоди огорчаться, я подумаю. Я напишу ему!

Это меня испугало, я объявил ей, что солгал хозяевам, сказал, что книга взята не у нее, а у священника.

– Не надо, не пишите! – просил я ее. – Они будут смеяться над вами, ругать вас. Вас ведь никто не любит во дворе, все осмеивают, говорят, что вы дурочка и у вас не хватает ребра...

Выпалив все это, я тотчас понял, что сказал лишнее и обидное для нее, – она закусила верхнюю губу и хлопнула себя по бедру, как будто сидела верхом на лошади. Я смущенно опустил голову, желая провалиться сквозь землю, но закройщица навалилась на стул и весело захохотала, повторяя:

– Ой, как глупо... как глупо! Но что же делать? – спросила она сама себя, пристально разглядывая меня, а потом, вздохнув, сказала: – Ты – очень странный мальчик, очень...

Взглянув в зеркало рядом с ней, я увидел скуластое, широконосое лицо, с большим синяком на лбу, давно не стриженные волосы торчали во все стороны вихрами, – вот это и называется «очень странный мальчик»?.. Не похож странный мальчик на фарфоровую тонкую фигурку...

– Ты не взял тогда денежку, которую я дала. Почему?

– Мне не надо.

Она вздохнула.

– Ну, что ж делать! Если тебе позволят читать, приходи, я тебе дам книги...

На подзеркальнике лежали три книги; та, которую я принес, была самая толстая. Я смотрел на нее с грустью. Закройщица протянула мне маленькую розовую руку.

– Ну, прощай!

Я осторожно дотронулся до ее руки и быстро ушел.

А пожалуй, верно говорят про нее, что она ничего не знает, – вот, двугривенный назвала денежкой, точно ребенок.

Но это мне нравилось...

Глава IX

И грустно и смешно вспоминать, сколько тяжелых унижений, обид и тревог принесла мне быстро вспыхнувшая страсть к чтению!

Книги закройщицы казались страшно дорогими, и, боясь, что старая хозяйка сожжет их в печи, я старался не думать об этих книгах, а стал брать маленькие разноцветные книжки в лавке, где по утрам покупал хлеб к чаю.

Лавочник был очень неприятный парень – толстогубый, потный, с белым дряблым лицом, в золотушных шрамах и пятнах, с белыми глазами и коротенькими, неловкими пальцами на пухлых руках. Его лавка являлась местом вечерних собраний для подростков и легкомысленных девиц улицы; брат моего хозяина тоже почти каждый вечер ходил к нему пить пиво и играть в карты. Меня часто посылали звать его к ужину, и я не однажды видел в тесной, маленькой комнатке за лавкою придурковатую румяную жену лавочника сидевшей на коленях Викторушки или другого парня. Это, видимо, не обижало лавочника; не обижался он и тогда, когда его сестру, которая помогала ему торговать в лавке, крепко обнимали певчие, солдаты и все, кому это нравилось. Товару в лавочке было немного, он объяснял это тем, что дело у него новое, – он не успел наладить его, хотя лавка была открыта еще осенью. Он показывал гостям и покупателям грязные картинки, давал – желающим – списывать

бесстыдные стихи.

Я читал пустые книжонки Миши Евстигнеева, платя по копейке за прочтение каждой; это было дорого, а книжки не доставляли мне никакого удовольствия. «Гуак, или Непреоборимая верность», «Франциль Венециан», «Битва русских с кабардинцами, или Прекрасная магометанка, умирающая на гробе своего супруга» и вся литература этого рода тоже не удовлетворяла меня, часто возбуждая злую досаду: казалось, что книжка издевается надо мною, как над дурачком, рассказывая тяжелыми словами невероятные вещи.

«Стрельцы», «Юрий Милославский», «Таинственный монах», «Япанча, татарский наездник»³⁰ и подобные книги нравились мне больше – от них что-то оставалось; но еще более меня увлекали жития святых – здесь было что-то серьезное, чему верилось и что порою глубоко волновало. Все великомученики почему-то напоминали мне Хорошее Дело, великомученицы – бабушку, а преподобные – деда, в его хорошие часы.

Читал я в сарае, уходя колоть дрова, или на чердаке, что было одинаково неудобно, холодно. Иногда, если книга интересовала меня или надо было прочитать ее скорее, я вставал ночью и зажигал свечу, но старая хозяйка, заметив, что свечи по ночам умяются, стала измерять их лучинкой и куда-то прятала мерки. Если утром в свече недоставало вершка или если я, найдя лучинку, не обламывал ее на сгоревший кусок свечи, в кухне начинался яростный крик, и однажды Викторюшка возмущенно провозгласил с полатей:

– Да перестаньте же лаяться, мамаша! Жить нельзя! Конечно, он жгет свечи, потому что книжки читает, у лавочника берет, я знаю! Поглядите-ка у него на чердаке...

Старуха сбегала на чердак, нашла какую-то книжку и разодрала ее в клочья.

Это, разумеется, огорчило меня, но желание читать еще более окрепло. Я понимал, что, если в этот дом придет святой, – мои хозяева начнут его учить, станут переделывать на свой лад; они будут делать это от скуки. Если они перестанут судить людей, кричать, издеваться над ними – они разучатся говорить, онемеют, им не видно будет самих себя. Для того чтобы человек чувствовал себя, необходимо, чтобы он как-то относился к людям. Мои хозяева не умели относиться к ближним иначе, как учительно, с осуждением, и если бы начать жить так же, как они, – так же думать, чувствовать, – все равно они осуждали бы и за это. Уж такие люди.

Я всячески исхитрялся читать, старуха несколько раз уничтожила книги, и вдруг я оказался в долгу у лавочника на огромную сумму в сорок семь копеек! Он требовал денег и грозил, что станет отбирать у меня за долг хозяйские, когда я приду в лавку за покупками.

– Что тогда будет? – спрашивал он меня, издеваясь.

Был он нестерпимо противен мне и, видимо, чувствуя это, мучил меня разными угрозами, с наслаждением особенным: когда я входил в лавку, его пятнистое лицо расплывалось, и он спрашивал ласково:

– Долг принес?

– Нет.

Это его пугало, он хмурился.

– Как же? Что же мне – к мировому подавать на тебя, а? Чтобы тебя описали да – в колонию?

Мне негде было взять денег – жалованье мое платили деду, я терялся, не зная – как быть? А лавочник, в ответ на мою просьбу подождать с уплатою долга, протянул ко мне масленую, пухлую, как оладья, руку и сказал:

³⁰ «Стрельцы» – роман К. Масальского, «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году» – роман М. Загоскина, «Таинственный монах, или некоторые черты из жизни Петра I» – роман Р. Зотова, «Япанча. Татарский наездник, или Завоевание Казани царем Иоанном Грозным» – роман А. Павлова.

– Поцелуй – подожду!

Но когда я схватил с прилавка гирию и замахнулся на него, он, приседая, крикнул:

– Что, что ты, что ты – я шучу!

Понимая, что он не шутит, я решил украсть деньги, чтобы разделаться с ним. По утрам, когда я чистил платье хозяина, в карманах его брюк звенели монеты, иногда они выскакивали из кармана и катились по полу, однажды какая-то провалилась в щель под лестницу, в дровяник; я позабыл сказать об этом и вспомнил лишь через несколько дней, найдя двугривенный в дровах. Когда я отдал его хозяину, жена сказала ему:

– Вот видишь? Надо считать деньги, когда оставляешь в карманах.

Но хозяин сказал, улыбаясь мне:

– Он не украдет, я знаю!

Теперь, решив украсть, я вспомнил эти слова, его доверчивую улыбку и почувствовал, как мне трудно будет украсть. Несколько раз я вынимал из кармана серебро, считал его и не мог решиться взять. Дня три я мучился с этим, и вдруг все разрешилось очень быстро и просто; хозяин неожиданно спросил меня:

– Ты что, Пешков, скучный стал, нездоровится, что ли?

Я откровенно рассказал ему все мои печали; он нахмурился.

– Вот видишь, к чему они ведут, книжки-то? От них – так или эдак непременно беда...

Дал полтинник и посоветовал строго:

– Смотри же, не проболтайся жене али матери – шум будет!

Потом, добродушно усмехаясь, сказал:

– Настойчив ты, черт тебя возьми! Ничего, это хорошо. Однако – книжки брось! С Нового года я выпишу хорошую газету, вот тогда и читай...

И вот, вечерами, от чая до ужина, я читаю хозяевам вслух «Московский листок»³¹ – романы Вашкова, Рокшанина, Рудниковского³² и прочую литературу для пищеварения людей, насмерть убиенных скукой.

Мне не нравится читать вслух, это мешает мне понимать читаемое; но мои хозяева слушают внимательно, с некоторою как бы благоговейною жадностью, ахают, изумляясь злодейству героев, и с гордостью говорят друг другу:

– А мы-то живем – тихо, смирно, ничего не знаем, слава те, господи!

Они путают события, приписывают поступки знаменитого разбойника Чуркина ямщику Фоме Кручине, путают имена; я поправляю ошибки слушателей, это очень изумляет их.

– Ну, и память же у него!

Нередко в «Московском листке» встречаются стихи Леонида Граве, мне они очень нравятся, я списываю некоторые из них в тетрадку, но хозяева говорят о поэте:

– Старик ведь, а стихи сочиняет.

– Пьяница, полоумный, ему все равно.

Нравятся мне стихи Стружкина, графа Мементо-Мори, а женщины, и старая и молодая, утверждают, что стихи – балаганство.

– Это только петрушки да актеры стихами говорят.

Тяжелые были мне эти зимние вечера на глазах хозяев, в маленькой, тесной комнате. Мертвая ночь за окном; изредка потрескивает мороз, люди сидят у стола и молчат, как мороженые рыбы. А то – вьюга шаркает по стеклам и по стене, гудит в трубах, стучит вьюшками; в детской плачут младенцы, хочется сесть в темный угол и, съезжившись, выть волком.

³¹ «Московский листок» – ежедневная политико-литературная газета, издавалась в Москве с 1881 г.

³² Упомянуты имена малозначительных беллетристов, которые ныне навсегда забыты, как и их произведения.

В одном конце стола сидят женщины, шьют или вяжут чулки; за другим Викторушка, выгнув спину, копирует, нехотя, чертежи и время от времени кричит:
– Да не трясите стол! Жить нельзя, гвозди- козыри, собаки на мышах...

В стороне, за огромными пальцами, сидит хозяин, вышивая крестиками по холстине скатерть; из-под его пальцев появляются красные раки, синие рыбы, желтые бабочки и рыжие осенние листья. Он сам составил рисунок вышивки и третью зиму сидит над этой работой, – она очень надоела ему, и часто, днем, когда я свободен, он говорит мне:

– Ну- ко, Пешкóв, садись за скатерть, действуй!

Я сажусь и действую толстой иглой, – мне жалко хозяина и всегда, во всем хочется посылить помочь ему. Мне все кажется, что однажды он бросит чертить, вышивать, играть в карты и начнет делать что-то другое, интересное, о чем он часто думает, вдруг бросая работу и глядя на нее неподвижно удивленными глазами, как на что-то незнакомое ему; волосы его спустились на лоб и щеки, он похож на послушника в монастыре.

– Ты о чем думаешь? – спрашивает его жена.

– Так, – отвечает он, принимаясь за работу.

Я молча удивляюсь: разве можно спрашивать, о чем человек думает? И нельзя ответить на этот вопрос, – всегда думается сразу о многом: обо всем, что есть перед глазами, о том, что видели они вчера и год тому назад; все это спутано, неуловимо, все движется, изменяется.

Фельетонов «Московского листка» не хватало на вечер, я предложил читать журналы, лежавшие в спальне под кроватью, молодая хозяйка недоверчиво сказала:

– Чего же там читать? Там только картинки...

Но под кроватью, кроме «Живописного обозрения», оказался еще «Огонек», и вот мы читаем Салиаса³³ «Граф Тятин-Балтийский». Хозяину очень нравится придурковатый герой повести, он безжалостно и до слез хохочет над печальными приключениями барчука и кричит:

– Нет, это забавная штука!

– Вранье поди-ка, – говорит хозяйка, ради оказания самостоятельности своего ума.

Литература из-под кровати сослужила мне великую службу: я завоевал право брать журналы в кухню и получил возможность читать ночами.

На мое счастье, старуха перешла спать в детскую, – запоем запила нянька. Викторушка не мешал мне. Когда все в доме засыпало, он тихонько одевался и до утра исчезал куда-то. Огня мне не давали, унося свечку в комнаты, денег на покупку свеч у меня не было; тогда я стал тихонько собирать сало с подсвечников, складывал его в жестянку из-под сардин, подливал туда лампадного масла и, скрутив светильню из ниток, зажигал по ночам на печи дымный огонь.

Когда я перевертывал страницу огромного тома, красный язычок светильни трепетно колебался, грозя погаснуть, светильня ежеминутно тонула в растопленной пахучей жидкости, дым ел глаза, но все эти неудобства исчезали в наслаждении, с которым я рассматривал иллюстрации и читал объяснения к ним.

Эти иллюстрации раздвигали предо мною землю все шире и шире, украшая ее сказочными городами, показывая мне высокие горы, красивые берега морей. Жизнь чудесно разрасталась, земля становилась заманчивее, богаче людьми, обильнее городами и всячески разнообразнее. Теперь, глядя в заволжские дали, я уже знал, что там нет пустоты, а прежде, бывало, смотришь за Волгу, становится как-то особенно

³³ Евгений Андреевич Салиас-де-Турнемир (1840, по другим данным 1842–1908) – автор многочисленных романов и повестей из русской истории XVIII и XIX веков.

скучно: плоско лежат луга, в темных заплатах кустарника, на конце лугов зубчатая черная стена леса, над лугами – мутная, холодная синева. Пусто на земле, одиноко. И сердце тоже пустеет, тихая грусть щекочет его, все желания исчезают, думать – не о чем, хочется закрыть глаза. Ничего не обещает унылая пустота, высасывая из сердца все, что там есть.

Объяснения к иллюстрациям понятно рассказывали про иные страны, иных людей, говорили о разных событиях в прошлом и настоящем; я многого не могу понять, и это меня мучит. Иногда в мозг вонзаются какие-то странные слова «метафизика», «хилиазм», «чартист», – они нестерпимо беспокоят меня, растут чудовищно, все заслоняют, и мне кажется, что я никогда не пойму ничего, если мне не удастся открыть смысл этих слов, – именно они стоят сторожами на пороге всех тайн. Часто целые фразы долго живут в памяти, как заноза в пальце, мешая мне думать о другом.

Помню, я прочитал странные стихи:

В сталь закован, по безлюдью,
Нем и мрачен, как могила,
Едет гуннов царь, Аттила,

за ним черною тучею идут воины и кричат:

Где же Рим, где Рим могучий?

Рим – город, это я уже знал, но кто такие – гунны? Это необходимо знать. Выбрав хорошую минуту, я спрашиваю хозяина.

– Гунны? – удивленно повторяет он. – Черт знает, что это такое! Ерунда, наверное...

И неодобрительно качает головою.

– Чепуха кипит в голове у тебя, это плохо, Пешкóв!

Плохо ли, хорошо ли, но я хочу знать.

Мне кажется, что полковому священнику Соловьеву должно быть известно что такое гунны, и, поймав его на дворе, я спрашиваю.

Бледный, больной и всегда сердитый, с красными глазами, без бровей, с желтой бородкой, он говорит мне, тыкая в землю черным посохом:

– А тебе какое дело до этого, а?

Поручик Нестеров на мой вопрос свирепо ответил:

– Что-о?

Тогда я решил, что о гуннах нужно спросить в аптеке у провизора; он смотрит на меня всегда ласково, у него умное лицо, золотые очки на большом носу.

– Гунны, – сказал мне провизор Павел Гольдберг, – были кочевым народом, вроде киргизов. Народа этого больше нет, весь вымер.

Мне стало грустно и досадно – не потому, что гунны вымерли, а оттого, что смысл слова, которое меня так долго мучило, оказался столь простым и ничего не дал мне.

Но я очень благодарен гуннам, – после столкновения с ними слова стали меня меньше беспокоить, и благодаря Аттиле я познакомился с провизором Гольдбергом.

Этот человек знал простой смысл всех мудрых слов, у него были ключи ко всем тайнам. Поправив очки двумя пальцами, он пристально смотрел сквозь толстые стекла в глаза мне и говорил, словно мелкие гвозди вбивая в мой лоб.

– Слова, дружище, это – как листья на дереве, и, чтобы понять, почему лист таков,

а не иной, нужно знать, как растет дерево, – нужно учиться! Книга, дружище, – как хороший сад, где все есть: и приятное и полезное...

Я часто бегал к нему в аптеку за содой и магниезией для взрослых, которые постоянно страдали «изжогой», за бобковой мазью и слабительными для младенцев. Краткие поучения провизора внушали мне все более серьезное отношение к книгам, и незаметно они стали необходимыми для меня, как пьянице водка.

Они показывали мне иную жизнь – жизнь больших чувств и желаний, которые приводили людей к подвигам и преступлениям. Я видел, что люди, окружавшие меня, не способны на подвиги и преступления, они живут где-то в стороне от всего, о чем пишут книги, и трудно понять – что интересного в их жизни? Я не хочу жить такой жизнью... Это мне ясно, – не хочу...

Из пояснений к рисункам я знал, что в Праге, Лондоне, Париже нет среди города оврагов и грязных дамб из мусора, там прямые, широкие улицы, иные дома и церкви. Там нет шестимесячной зимы, которая запирает людей в домах, нет великого поста, когда можно есть только квашеную капусту, соленые грибы, толокно и картофель, с противным льняным маслом. Великим постом нельзя читать книг, – у меня отобрали «Живописное обозрение», и эта пустая, постная жизнь снова подошла вплоть ко мне. Теперь, когда я мог сравнить ее с тем, что знал из книг, она казалась мне еще более нищей и безобразной. Читая, я чувствовал себя здоровее, сильнее, работал спорно и ловко, у меня была цель: чем скорее кончу, тем больше останется времени для чтения. Лишенный книг, я стал вялым, ленивым, меня начала одолевать незнакомая мне раньше болезненная забывчивость.

Помнится, именно в эти пустые дни случилось нечто таинственное: однажды вечером, когда все ложились спать, вдруг гулко прозвучал удар соборного колокола, он сразу встряхнул всех в доме, полуодетые люди бросились к окнам, спрашивая друг друга:

– Пожар? Набат?

Было слышно, что и в других квартирах тоже суетятся, хлопают дверями; кто-то бегал по двору с лошадьё в поводу. Старая хозяйка кричала, что ограбили собор, хозяин останавливал ее:

– Полноте, мамаша, ведь слышно же, что это не набат!

– Ну, так архиерей помер...

Викторушка слез с полатей, одевался и бормотал:

– А я знаю, что случилось, знаю!

Хозяин послал меня на чердак посмотреть, нет ли зарева, я побежал, вылез через слуховое окно на крышу – зарева не было видно; в тихом морозном воздухе бухал, не спеша, колокол; город сонно прилег к земле; во тьме бежали, поскрипывая снегом, невидимые люди, взвизгивали полозья саней, и все зловещее охал колокол. Я воротился в комнаты.

– Зарева нет.

– Фу ты, господи! – сказал хозяин, одетый в пальто и шапку, приподнял воротник и стал нерешительно совать ноги в калоши. Хозяйка умоляла его:

– Не ходи! Ну, не ходи же...

– Ерунда!

Викторушка, тоже одетый, дразнил всех:

– А я знаю...

Когда братья ушли на улицу, женщины, приказав мне ставить самовар, бросились к окнам, но почти тотчас с улицы позвонил хозяин, молча вбежал по лестнице и, отворив дверь в прихожую, густо сказал:

– Царя убили!³⁴

– Убили-таки! – воскликнула старуха.

– Убили, мне офицер сказал... Что ж теперь будет?

Позвонил Викторушка и, неохотно раздеваясь, сердито сказал:

– А я думал – война!

Потом все они сели пить чай, разговаривали спокойно, но тихонько и осторожно. И на улице стало тихо, колокол уже не гудел. Два дня они таинственно шептались, ходили куда-то, к ним тоже являлись гости и что-то подробно рассказывали. Я очень старался понять – что случилось? Но хозяева прятали газету от меня, а когда я спросил Сидорова – за что убили царя, он тихонько ответил:

– Про то запрещено говорить...

И все это быстро стерлось, затянулось ежедневными пустяками, и я вскоре пережил очень неприятную историю.

В одно из воскресений, когда хозяева ушли к ранней обедне, а я, поставив самовар, отправился убирать комнаты, – старший ребенок, забравшись в кухню, вытащил кран из самовара и уселся под стол играть краном. Углей в трубе самовара было много, и, когда вода вытекла из него, он распаялся. Я еще в комнатах услышал, что самовар гудит неестественно гневно, а войдя в кухню, с ужасом увидел, что он весь посинел и трясется, точно хочет подпрыгнуть с пола. Отпаявшаяся втулка крана уныло опустилась, крышка съехала набекрень, из-под ручек стекали капли олова, – лиловато-синий самовар казался вдребезги пьяным. Я облил его водою, он зашипел и печально развалился на полу.

Позвонили на парадном крыльце, я отпер двери и на вопрос старухи готов ли самовар, кратко ответил:

– Готов.

Это слово, сказанное, вероятно, в смущении и страхе, было принято за насмешку и усугубило наказание. Меня избили. Старуха действовала пучком сосновой лучины, это было не очень больно, но оставило под кожей спины множество глубоких заноз; к вечеру спина у меня вспухла подушкой, а в полдень на другой день хозяин принужден был отвезти меня в больницу.

Когда доктор, длинный и тощий до смешного, осмотрел меня, он сказал спокойно глухим басом:

– Здесь нужно составить протокол об истязании.

Хозяин покраснел, зашаркал ногами и стал что-то тихо говорить доктору, а тот, глядя через голову его, кратко отвечал:

– Не могу. Нельзя.

Но потом спросил меня:

– Жаловаться хочешь?

Мне было больно, но я сказал:

– Не хочу, лечите скорее.

Меня отвели в другую комнату, положили на стол, доктор вытаскивал занозы приятно холодными щипчиками и балагурил:

– Превосходно отделали кожу тебе, приятель, теперь ты станешь непромокаемый...

Когда он кончил работу, нестерпимо щекотавшую меня, он сказал:

– Сорок две щепочки вытащено, приятель, запомни, хвастаться будешь! Завтра в этот час приходи на перевязку. Часто бьют?

Я подумал и ответил:

³⁴ Император Александр II был убит 1 марта 1881 г.

– Раньше – чаще били...

Доктор захохотал басом.

– Все к лучшему идет, приятель, все!

Когда он вывел меня к хозяину, то сказал ему:

– Извольте получить, починен! Завтра пришлите, перевяжем. На ваше счастье – комик он у вас...

Сидя на извозчике, хозяин говорил мне:

– И меня, Пешков, тоже били – что поделаешь? Били, брат! Тебя все-таки хоть я жалею, а меня и жалеть некому было, некому! Людей везде теснота, а пожалеть – нет ни одного сукина сына! Эх, звери-курицы...

Он всю дорогу ругался, мне было жалко его, и я был очень благодарен ему, что он говорит со мною по-человечески.

Дома меня встретили, как именинника, женщины заставили подробно рассказать, как доктор лечил меня, что он говорил, – слушали и ахали, сладостно причмокивая, морщась. Удивлял меня этот их напряженный интерес к болезням, к боли и ко всему неприятному!

Я видел, как они довольны мною, что я отказался жаловаться на них, и воспользовался этим, испросив у них разрешения брать книги у закройщицы. Они не решились отказать мне, только старуха удивленно воскликнула:

– Ну и бес!

Через день я стоял перед закройщицей, а она ласково говорила:

– А мне сказали, что ты болен, отвезен в больницу, – видишь, как неверно говорят?

Я промолчал. Стыдно было сказать правду – зачем ей знать грубое и печальное? Так хорошо, что она не похожа на других людей.

Снова я читаю толстые книги Дюма-отца, Понсон-де-Террайля, Монтепэна, Законнэ, Габорио, Эмара, Буагобэ, – я глотаю эти книги быстро, одну за другой, и мне – весело. Я чувствую себя участником жизни необыкновенной, она сладко волнует, возбуждая бодрость. Снова коптит мой самодельный светильник, я читаю ночи напролет, до утра, у меня понемногу заболевают глаза, и старая хозяйка любезно говорит мне:

– Погоди, книгожора, лопнут зенки-то, ослепнешь!

Однако я очень скоро понял, что во всех этих интересно запутанных книгах, несмотря на разнообразие событий, на различие стран и городов, речь все идет об одном: хорошие люди – несчастливы и гонимы дурными, дурные всегда более удачливы и умны, чем хорошие, но в конце концов что-то неуловимое побеждает дурных людей и обязательно торжествуют хорошие. Надоела «любовь», о которой все мужчины и женщины говорили одними и теми же словами. Это однообразие становилось не только скучным, но и возбуждало смутные подозрения.

Бывало, уже с первых страниц начинаешь догадываться, кто победит, кто будет побежден, и как только станет ясен узел событий, стараешься развязать его силою своей фантазии. Перестав читать книгу, думаешь о ней, как о задаче из учебника арифметики, и все чаще удается правильно решить, кто из героев придет в рай всяческого благополучия, кто будет ввергнут во узилище.

Но за всем этим я вижу проблески живой и значительной для меня правды, черты иной жизни, иных отношений. Мне ясно, что в Париже извозчики, рабочие, солдаты и весь «черный народ» не таков, как в Нижнем, в Казани, в Перми, – он смелее говорит с господами, держится с ними более просто и независимо. Вот – солдат, но он не похож ни на одного из тех, кого я знаю, – ни на Сидорова, ни на вятича с парохода, ни, тем более, на Ермохина; он больше человек, чем все они. В нем есть нечто общее со

Смурым, но он не так звероват и груб. Вот – лавочник, и он также лучше всех известных мне лавочников. И священники в книгах не такие, каких я знаю, – они сердечнее, более участливо относятся к людям. Вообще вся жизнь за границей, как рассказывают о ней книги, интереснее, легче, лучше той жизни, которую я знаю: за границей не дерутся так часто и зверски, не издеваются так мучительно над человеком, как издевались над вятским солдатом, не молятся богу так яростно, как молится старая хозяйка.

Особенно заметно, что, рассказывая о злодеях, людях жадных и подлых, книги не показывают в них той необъяснимой жестокости, того стремления издеваться над человеком, которое так знакомо мне, так часто наблюдалось мною. Книжный злодей жесток деловито, почти всегда можно понять, почему он жесток, а я вижу жестокость бессельную, бессмысленную, ею человек только забавляется, не ожидая от нее выгод.

С каждой новой книгой эта несхожесть русской жизни с жизнью иных стран выступает предо мною все яснее, возбуждая смутную досаду, усиливая подозрение в правдивости желтых, зачитанных страниц с грязными углами.

И вдруг мне попал в руки роман Гонкура³⁵ «Братья Земганно», я прочитал его сразу, в одну ночь, и, удивленный чем-то, чего до этой поры не испытывал, снова начал читать простую, печальную историю. В ней не было ничего запутанного, ничего внешне интересного, с первых страниц она казалась серьезной и сухой, как жития святых. Ее язык, такой точный и лишенный прикрас, сначала неприятно удивил меня, но скупые слова, крепко построенные фразы так хорошо ложились на сердце, так внушительно рассказывали о драме братьев-акробатов, что у меня руки дрожали от наслаждения читать эту книгу. Я плакал навзрыд, читая, как несчастный артист со сломанными ногами ползет на чердак, где его брат тайно занимается любимым искусством.

Отдавая эту славную книгу закройщице, я просил ее дать мне еще такую же.

– Как это такую же? – спросила она, усмехаясь.

Эта усмешка смутила меня, и я не сумел объяснить, чего мне хочется, а она говорила:

– Это – скучная книга, вот, подожди, я тебе принесу другую, интереснее...

Через несколько дней она дала мне Гринвуда³⁶ «Подлинную историю маленького оборвыша»; заголовок книги несколько уколол меня, но первая же страница вызвала в душе улыбку восторга, – так с этою улыбкою я и читал всю книгу до конца, перечитывая иные страницы по два, по три раза.

Так вот как трудно и мучительно даже за границей живут иногда мальчишки! Ну, мне вовсе не так плохо, значит – можно не унывать!

Много бодрости подарил мне Гринвуд, а вскоре после него мне попала уже настоящая «правильная» книга – «Евгения Гранде»³⁷.

Старик Гранде ярко напомнил мне деда, было обидно, что книжка так мала, и удивляло, как много в ней правды. Эту правду, очень знакомую мне и надоевшую в жизни, книга показывала в освещении совершенно новом незлобивом, спокойном. Все ранее прочитанные мною книги, кроме Гонкура, судили людей так же строго и крикливо, как мои хозяева, очень часто они вызывали симпатию к преступнику и чувство досады на добродетельных людей. Всегда было жалко видеть, что, при огромной затрате разума и воли, человек все-таки не может достичь желаемого, – добродетельные люди стоят перед ним с первой до последней страницы незыблемо,

³⁵ Эдмон де Гонкур (1822–1896) – французский писатель, прославившийся, вместе со своим братом Жюлем де Гонкуром, как романист, историк, художественный критик и мемуарист.

³⁶ Джеймс Гринвуд (1833–1929) – британский писатель и журналист.

³⁷ «Евгения Гранде» – роман французского писателя Оноре де Бальзака (1799–1850).

точно каменные столбы. Хотя об эти столбы неизбежно разбиваются все злые намерения порока, но – камни не возбуждают симпатии. Ведь как бы ни была красива и крепка стена, но, когда хочешь сорвать яблоко с яблони за этой стеной, – нельзя любоваться ею. А мне уже казалось, что наиболее ценное и живое спрятано где-то за добродетелью...

У Гонкура, Гринвуда, Бальзака – не было злодеев, не было добряков, были просто люди, чудесно живые; они не позволяли сомневаться, что все сказанное и сделанное ими было сказано и сделано именно так и не могло быть сделано иначе.

Таким образом я понял, какой великий праздник «хорошая, правильная» книга. Но как найти ее? Закройщица не могла помочь мне в этом.

– Вот хорошая книга, – говорила она, предлагая мне Арсена Гуссэ «Руки, полные роз, золота и крови», романы Бэло, Поль де Кока, Поль Феваля, но я читал их уже с напряжением.

Ей нравились романы Марриета, Вернера, – мне они казались скучными. Не радовал и Шпильгаген, но очень понравились рассказы Ауэрбаха. Сю и Гюго тоже не очень увлекали меня, я предпочитал им Вальтер Скотта. Мне хотелось книг, которые волновали бы и радовали, как чудесный Бальзак. Фарфоровая женщина тоже все меньше нравилась мне.

Являясь к ней, я надевал чистую рубаху, причесывался, всячески стараясь принять благообразный вид, – едва ли это удавалось мне, но я все ждал, что она, заметив мое благообразие, заговорит со мною более просто и дружески, без этой рыбьей улыбки на чистеньком, всегда праздничном лице. Но она, улыбаясь, спрашивала усталым и сладким голосом:

– Прочитал? Понравилось?

– Нет.

Чуть приподняв тонкие брови, она смотрела на меня и, вздыхая, знакомо говорила в нос:

– Но почему же?

– Я уж читал об этом.

– О чем – об этом?

– О любви...

Прищурясь, она смеялась сахарным смешком.

– Ах, но ведь во всех книгах пишут о любви!

Сидя в большом кресле, она болтает маленькими ножками в меховых туфлях, позевывая, кутается в голубой халатик и стучит розовыми пальцами по переплету книги на коленях у нее.

Мне хочется спросить:

«Что же вы не съезжаете с квартиры? Ведь офицеры все пишут записки вам, смеются над вами...»

Но не хватает смелости сказать ей это, и я ухожу, унося толстую книгу о «любви» и печальное разочарование в сердце.

На дворе говорят об этой женщине все хуже, насмешливее и злее. Мне очень обидно слышать эти рассказы, грязные и, наверное, лживые; за глаза я жалею женщину, мне боязно за нее. Но когда, придя к ней, я вижу ее острые глазки, кошачью гибкость маленького тела и это всегда праздничное лицо, жалость и страх исчезают, как дым.

Весною она вдруг уехала куда-то, а через несколько дней и муж ее переменил квартиру.

Когда комнаты стояли пустые, в ожидании новых насельников, я зашел посмотреть на голые стены с квадратными пятнами на местах, где висели картины, с

изогнутыми гвоздями и ранами от гвоздей. По крашеному полу были разбросаны разноцветные лоскутки, клочья бумаги, изломанные аптечные коробки, склянки от духов и блестела большая медная булавка.

Мне стало грустно, захотелось еще раз увидеть маленькую закройщицу, сказать, как я благодарен ей...

Глава X

Еще до отъезда закройщицы под квартирою моих хозяев поселилась черноглазая молодая дама с девочкой и матерью, седенькой старушкой, непрерывно кутившей папиросы из янтарного мундштука. Дама была очень красивая; властная, гордая, она говорила густым, приятным голосом, смотрела на всех вскинув голову, чуть-чуть прищуриив глаза, как будто люди очень далеко от нее и она плохо видит их. Почти каждый день к крыльцу ее квартиры черный солдат Тюфяев подводил тонконового рыжего коня, дама выходила на крыльцо в длинном, стального цвета, бархатном платье, в белых перчатках с раструбами, в желтых сапогах. Держа в одной руке шлейф и хлыст с лиловым камнем в рукоятке, она гладила маленькой рукой ласково оскаленную морду коня, – он косился на нее огненным глазом, весь дрожал и тихонько бил копытом по утопанной земле.

– Робэр, Ро-обэр, – негромко говорила она и крепко хлопала коня по красиво выгнутой шее.

Потом, поставив ногу на колено Тюфяева, дама ловко прыгала на седло, и конь, гордо танцуя, шел по дамбе; она сидела на седле так ловко, точно приросла к нему.

Красива она была той редкой красотой, которая всегда кажется новой, невиданною и всегда наполняет сердце опьяняющей радостью. Глядя на нее, я думал, что вот таковы были Диана Пуатье³⁸, королева Марго³⁹, девица Ла-Вальер⁴⁰ и другие красавицы, героини исторических романов.

Ее постоянно окружали офицеры дивизии, стоявшей в городе, по вечерам у нее играли на пианино и скрипке, на гитарах, танцевали и пели. Чаше других около нее вертелся на коротеньких ножках майор Олесов, толстый, краснорожий, седой и сальный, точно машинист с парохода. Он хорошо играл на гитаре и вел себя, как покорный, преданный слуга дамы.

Так же счастливо красива, как мать, была и пятилетняя девочка, кудрявая, полненькая. Ее огромные синеватые глаза смотрели серьезно, спокойно ожидающим взглядом, и было в этой девочке что-то недетски вдумчивое.

Бабушка с утра до вечера занята хозяйством вместе с Тюфяевым, угрюмо немым, и толстой, косоглазой горничной; няньки у ребенка не было, девочка жила почти беспризорно, целыми днями играя на крыльце или на куче бревен против него. Я часто по вечерам выходил играть с нею и очень полюбил девочку, а она быстро привыкла ко мне и засыпала на руках у меня, когда я рассказывал ей сказку. Заснет, а я ее отнесу в постель. Скоро дошло до того, что, ложась спать, она непременно требовала, чтобы я пришел проститься с нею. Я приходил, она важно протягивала мне пухлую ручку и говорила:

– Прощай до завтра! Бабушка, как нужно сказать?

– Храни тебя господь, – говорила бабушка, выпуская изо рта и острого носа сизые

³⁸ Диана Пуатье (1499 (по другим сведениям, 1500) – 1566) – возлюбленная и официальная фаворитка короля Генриха II Французского.

³⁹ Королева Марго – героиня исторического роман Александра Дюма (1845).

⁴⁰ Девица Ла-Вальер – Луиза-Франсуаза де Лавальер (1644–1710), герцогиня, фаворитка французского короля Людовика XIV.

струйки дыма.

– Храни тебя господь до завтра, а я уж буду спать, – повторяла девочка, кутаясь в одеяло, обшитое кружевом. Бабушка внушала ей:

– Не до завтра, а – всегда!

– А разве завтра не всегда бывает?

Она любила слово «завтра» и все, что нравилось ей, переносила в будущее; натывает в землю сорванных цветов, сломанных веток и говорит:

– Завтра это будет сад...

– Когда-нибудь завтра я тоже куп'ю себе ошадь и поеду верхом, как мама...

Она была умненькая, но не очень веселая, – часто во время оживленной игры вдруг задумается и спросит неожиданно:

– Зачем у священников во'осы, как у женщин?

Обожглась крапивой и, грозя ей пальцем, сказала:

– Смотри, я помо'юсь богу, так он сде'ает тебе очень п'охо. Бог всем может сде'ать п'охо – он даже маму может наказать...

Иногда на нее спускалась тихая, серьезная печаль; прижимаясь ко мне, глядя в небо синими, ожидающими глазами, она говорила:

– Бабушка бывает сердитая, а мама никогда не бывает, она тойко смеется. Ее все юбят, потому что ей всегда некогда, все приходят гости, гости, и смотрят на нее, потому что она красивая. Она – ми'ая, мама. И О'есов так говорит: ми'ая мама!

Мне страшно нравилось слушать девочку, – она рассказывала о мире, незнакомом мне. Про мать свою она говорила всегда охотно и много, – предо мною тихонько открывалась новая жизнь, снова я вспоминал королеву Марго, это еще более углубляло доверие к книгам, а также интерес к жизни.

Однажды вечером, когда я сидел на крыльце, ожидая хозяев, ушедших гулять на Откос, а девочка дремала на руках у меня, подъехала верхом ее мать, легко спрыгнула на землю и, вскинув голову, спросила:

– Что это она – спит?

– Да.

– Вот как...

Выскочил солдат Тюфяев, принял коня, дама сунула хлыст за кушак и сказала, протянув руки:

– Дай мне ее!

– Я сам отнесу!

– Но! – крикнула дама на меня, как на лошадь, и топнула ногою о ступень крыльца.

Девочка проснулась, мигая, посмотрела на мать и тоже протянула к ней руки. Они ушли.

Я привык, чтобы на меня кричали, но было неприятно, что эта дама тоже кричит, – всякий послушает ее, если она даже и тихо прикажет.

Через несколько минут меня позвала косоглазая горничная, – девочка капризничает, не хочет идти спать, не простясь со мною.

Я, не без гордости перед матерью, вошел в гостиную, – девочка сидела на коленях матери, дама ловкими руками раздевала ее.

– Ну, вот, – сказала она, – вот он пришел, это чудовище!

– Это не чудовище, а мой майчик...

– Вот как? Очень хорошо. Давай же подарим что-нибудь твоему мальчику.

Хочешь?

– Да, хочу!

– Прекрасно, я это сделаю, а ты иди спать.

– Прощай до завтра, – сказала девочка, протянув мне руку. – Храни тебя господь до завтра...

Дама удивленно воскликнула:

– Кто это тебя научил – бабушка?

– Да-а...

Когда она ушла, дама поманила меня пальцем.

– Что же тебе подарить?

Я сказал, что мне ничего не надо дарить, а не даст ли она мне какую-нибудь книжку?

Она приподняла мой подбородок горячими, душистыми пальцами, спрашивая с приятной улыбкой:

– Вот как, ты любишь читать, да? Какие же книги ты читал?

Улыбаясь, она стала еще красивее; я смущенно назвал ей несколько романов.

– Что же в них нравится тебе? – спрашивала она, положив руки на стол и тихонько шевеля пальцами.

От нее исходил сладкий, крепкий запах каких-то цветов, с ним странно сливался запах лошадиного пота. Она смотрела на меня сквозь длинные ресницы задумчиво-серьезно, – до этой минуты никто еще не смотрел на меня так.

От множества мягкой и красивой мебели в комнате было тесно, как в птичьем гнезде; окна закрывала густая зелень цветов, в сумраке блестели снежно-белые изразцы печи, рядом с нею лоснился черный рояль, а со стен в тусклом золоте рам смотрели какие-то темные грамоты, криво усеянные крупными буквами славянской печати, и под каждой грамотой висела на шнуре темная, большая печать. Все вещи смотрели на эту женщину так же покорно и робко, как я.

Я объяснил ей, как умел, что жить очень трудно и скучно, а читая книги, забываешь об этом.

– Да-а, вот как? – сказала она, вставая. – Это – недурно, это, пожалуй, верно... Ну, что ж? Я стану давать тебе книги, но сейчас у меня нет... А впрочем, возьми вот это...

Она взяла с дивана истрепанную книжку в желтой обложке.

– Прочитаешь – дам вторую часть, их четыре...

Я ушел, унося с собой «Тайны Петербурга» князя Мещерского, и начал читать эту книгу с большим вниманием, но с первых же страниц мне стало ясно, что петербургские «тайны» значительно скучнее мадридских, лондонских и парижских. Забавною показалась мне только басня о Свободе и Палке.

«Я выше тебя, – сказала Свобода, – потому что умнее».

Но Палка ответила ей:

«Нет, я выше тебя, потому что я – сильнеей тебя».

Спорили, спорили и подрались; Палка избила Свободу, и Свобода помнится мне – умерла в больнице от побоев.

В книге шла речь о нигилисте⁴¹. Помню, что – по князю Мещерскому – нигилист есть человек настолько ядовитый, что от взгляда его издыхают курицы. Слово нигилист показалось мне обидным и неприличным, но больше я ничего не понял и впал в уныние: очевидно, я не умею понимать хорошие книги! А что книга хорошая, в этом я был убежден: ведь не станет же такая важная и красивая дама читать плохие!

– Ну, что же, понравилось? – спросила она, когда я возвратил ей желтый роман Мещерского.

Мне было очень трудно ответить – нет, я думал, что это ее рассердит.

Но она только рассмеялась, уходя за портьеру, где была ее спальня, и вынесла

⁴¹ Нигилист – человек, отрицающий общепринятые нормы, правила, ценности.

оттуда маленький томик в переплете синего сафьяна.

– Это тебе понравится, только не пачкай!

Это были поэмы Пушкина. Я прочитал их все сразу, охваченный тем жадным чувством, которое испытываешь, попадая в невиданное красивое место, всегда стремишься обежать его сразу. Так бывает после того, когда долго ходишь по моховым кочкам болотистого леса и неожиданно развернется пред тобою сухая поляна, вся в цветах и солнце. Минуту смотришь на нее очарованный, а потом счастливо обежишь всю, и каждое прикосновение ноги к мягким травам плодородной земли тихо радует.

Пушкин до того удивил меня простотой и музыкой стиха, что долгое время проза казалась мне неестественной и читать ее было неловко. Пролог к «Руслану»⁴² напоминал мне лучшие сказки бабушки, чудесно сжав их в одну, а некоторые строки изумляли меня своей чеканной правдой.

Там, на неведомых дорожках,
Следы невиданных зверей,

– мысленно повторял я чудесные строки и видел эти, очень знакомые мне, едва заметные тропы, видел таинственные следы, которыми примята трава, еще не стряхнувшая капель росы, тяжелых, как ртуть. Полнозвучные строки стихов запоминались удивительно легко, украшая празднично все, о чем говорили они; это делало меня счастливым, жизнь мою – легкой и приятной, стихи звучали, как благовест новой жизни. Какое это счастье – быть грамотным!

Великолепные сказки Пушкина были всего ближе и понятнее мне; прочитав их несколько раз, я уже знал их на память; лягу спать и шепчу стихи, закрыв глаза, пока не усну. Нередко я пересказывал эти сказки денщикам; они, слушая, хохочут, ласково ругаются, Сидоров гладит меня по голове и тихонько говорит:

– Вот славно, а? Ах, господи...

Возбуждение, охватившее меня, было замечено хозяевами, старуха ругалась:

– Зачитался, пострел, а самовар четвертый день не чищен! Как возьму скалку...

Что – скалка? Я оборонялся против нее стихами:

Душою черной зло любя,
Колдунья старая...

Дама еще выше выросла в моих глазах, – вот какие книги читает она! Это – не фарфоровая закройщица...

Когда я принес ей книгу и с грустью отдал, она уверенно сказала:

– Это тебе понравилось! Ты слышал о Пушкине?

Я что-то уже читал о поэте в одном из журналов, но мне хотелось, чтобы она сама рассказала о нем, и я сказал, что не слышал.

Кратко рассказав мне о жизни и смерти Пушкина, она спросила, улыбаясь, точно весенний день:

– Видишь, как опасно любить женщин?

По всем книжкам, прочитанным мною, я знал, что это действительно опасно, но и – хорошо.

Я сказал:

– Опасно, а все любят! И женщины тоже ведь мучаются от этого...

Она взглянула на меня, как смотрела на все, сквозь ресницы, и сказала серьезно:

⁴² Поэма А. С. Пушкина «Руслан и Людмила».

– Вот как? Ты это понимаешь? Тогда я желаю тебе – не забывай об этом!

И начала спрашивать, какие стихи понравились мне.

Я стал что-то говорить ей, размахивая руками, читая на память. Она слушала меня молча и серьезно, потом встала и прошлась по комнате, задумчиво говоря:

– Тебе, милейший зверь, нужно бы учиться! Я подумаю об этом... Твои хозяева – родственники тебе?

И, когда я ответил утвердительно, она воскликнула:

– О! – как будто осуждая меня.

Она дала мне «Песни Беранже»⁴³, превосходное издание, с гравюрами, в золотом обрезе и красном кожаном переплете. Эти песни окончательно свели меня с ума странно тесною связью едкого горя с буйным весельем.

С холодом в груди я читал горькие слова «Старого нищего»:

Червь зловредный – я вас беспокою?

Раздавите гадину ногою!

Что жалеть? Приплюсните скорей!

Отчего меня вы не учили,

Не дали исхода дикой силе?

Вышел бы из червя – муравей!

Я бы умер, братьев обнимая,

А бродягой старым умирая,

Призываю мщенье на людей!

А вслед за этим я до слез хохотал, читая «Плачущего мужа». И особенно запомнились мне слова Беранже:

Жизни веселой наука

Не тяжела для простых!..

Беранже возбудил у меня неукротимое веселье, желание озорничать, говорить всем людям дерзкие, острые слова, и я, в краткий срок, очень преуспел в этом. Его стихи я тоже заучил на память и с великим увлечением читал денщикам, забегая в кухни к ним на несколько минут.

Но скоро я должен был отказаться от этого, потому что строки:

А девушке в семнадцать лет

Какая шапка не пристанет! –

вызвали отвратительную беседу о девушках, – это оскорбило меня до бешенства, и я ударил солдата Ермохина кастрюлей по голове. Сидоров и другие денщики вырвали меня из неловких рук его, но с той поры я не решался бегать по офицерским кухням.

Гулять на улицу меня не пускали, да и некогда было гулять, – работа все росла; теперь, кроме обычного труда за горничную, дворника и «мальчика на посылках», я должен был ежедневно набивать гвоздями на широкие доски коленкор, наклеивать на него чертежи, переписывать сметы строительных работ хозяина, проверять счета подрядчиков, – хозяин работал с утра до ночи, как машина.

В те годы казенные здания ярмарки отходили в частную собственность торговцев; торговые ряды торопливо перестраивались; мой хозяин брал подряды на ремонт лавок

⁴³ Пьер Жан де Беранже (1780–1857) – французский поэт и сочинитель песен, известный прежде всего своими сатирическими произведениями.

и на постройку новых. Он составлял чертежи «на переделку перемычек, пробить в крыше слуховое окно» и т. п.; я носил эти чертежи к старенькому архитектору, вместе с конвертом, куда пряталась двадцатипятирублевая бумажка, – архитектор брал деньги и подписывал: «Чертеж с натурою верен, и надзор за работами принял Имярек». Разумеется, натурой он не видал, а надзора за работами не мог принять, ибо по болезни вовсе не выходил из дома.

Я же разносил взятки смотрителю ярмарки и еще каким-то нужным людям, получая от них «разрешительные бумажки на всякое беззаконие», как именовал хозяин эти документы. За все это я получил право дожидаться хозяев у двери, на крыльце, когда они вечерами уходили в гости. Это случалось не часто, но они возвращались домой после полуночи, и несколько часов я сидел на площадке крыльца или на куче бревен, против него, глядя в окна квартиры моей дамы, жадно слушая веселый говор и музыку.

Окна открыты. Сквозь занавеси и сети цветов я видел, как по комнатам двигаются стройные фигуры офицеров, катается круглый майор, плавает она, одетая удивительно просто и красиво.

Я назвал ее про себя – Королева Марго.

«Вот та самая веселая жизнь, о которой пишут во французских книгах», – думал я, глядя в окна. И всегда мне было немножко печально: детской ревности моей больно видеть вокруг Королевы Марго мужчин, – они вились около нее, как осы над цветком.

Реже других к ней приходил высокий, невеселый офицер, с разрубленным лбом и глубоко спрятанными глазами; он всегда приносил с собою скрипку и чудесно играл, – так играл, что под окнами останавливались прохожие, на бревнах собирался народ со всей улицы, даже мои хозяева – если они были дома – открывали окна и, слушая, хвалили музыканта. Не помню, чтобы они хвалили еще кого-нибудь, кроме соборного протодьякона, и знаю, что пирог с рыбьими жирами нравился им все-таки больше, чем музыка.

Иногда офицер пел и читал стихи глуховатым голосом, странно задыхаясь, прижимая ладонь ко лбу. Однажды, когда я играл под окном с девочкой и Королева Марго просила его петь, он долго отказывался, потом четко сказал:

Только песне нужна красота,
Красоте же – и песни не надо...

Мне очень понравились эти стихи, и почему-то стало жалко офицера.

Мне было приятнее смотреть на мою даму, когда она сидела у рояля, играя, одна в комнате. Музыка опьяняла меня, я ничего не видел, кроме окна и за ним, в желтом свете лампы, стройную фигуру женщины, гордый профиль ее лица и белые руки, птицами летавшие по клавиатуре.

Смотрел я на нее, слушал грустную музыку и бредил: найду где-то клад и весь отдам ей, – пусть она будет богата! Если б я был Скобелевым⁴⁴, я снова объявил бы войну туркам, взял бы выкуп, построил бы на Откосе – лучшем месте города – дом и подарил бы ей, – пусть только она уедет из этой улицы, из этого дома, где все говорят про нее обидно и гадко.

И соседи и вся челядь нашего двора, – а мои хозяева в особенности, все говорили о Королеве Марго так же плохо и злобно, как о закройщице, но говорили более осторожно, понижая голоса и оглядываясь.

Боялись ее, может быть, потому, что она была вдовою очень знатного человека, –

⁴⁴ Скобелев Михаил Дмитриевич – русский генерал, герой русско-турецкой войны 1877–1878 гг.

грамоты на стенах комнаты ее были жалованы дедам ее мужа старыми русскими царями: Годуновым, Алексеем и Петром Великим, – это сказал мне солдат Тюфяев, человек грамотный, всегда читавший Евангелие. Может быть, люди боялись, как бы она не избилась своим хлыстом с лиловым камнем в ручке, – говорили, что она уже избилась им какого-то важного чиновника.

Но слова вполголоса были не лучше громко сказанных слов; моя дама жила в облаке вражды к ней, вражды непонятной мне и мучившей меня. Викторушка рассказывал, что, возвращаясь домой после полуночи, он посмотрел в окно спальни Королевы Марго и увидел, что она в одной рубашке сидит на кушетке, а майор, стоя на коленях, стрижет ногти на ее ногах и вытирает их губкой.

Старуха, ругаясь, плевалась, молодая хозяйка визжала, покраснев:

– Виктор, фу! Какой бесстыжий! Ах, какие пакостники эти господа!

Хозяин молчал, улыбался, – я был очень благодарен ему за то, что он молчит, но со страхом ждал, что и он вступится сочувственно в шум и вой. Взвизгивая, ахая, женщины подробно расспрашивали Викторушку, как именно сидела дама, как стоял на коленях майор – Виктор прибавлял все новые подробности.

– Рожа красная, язык высунул...

Я не видел ничего зазорного в том, что майор стрижет ногти даме, но я не верил, что он высунул язык, это мне показалось обидною ложью, и я сказал Викторушке:

– Если это нехорошо, так зачем вы в окошко-то смотрели? Вы – не маленький...

Меня изругали, конечно, но ругань не обижала меня, мне только одного хотелось – сбежать вниз, встать на колени перед дамой, как стоял майор, и просить ее:

«Пожалуйста, уезжайте из этого дома!»

Теперь, когда я знал, что есть другая жизнь, иные люди, чувства, мысли, этот дом, со всеми его жителями, возбуждал во мне отвращение все более тяжелое. Весь он был оплетен грязною сетью позорных сплетен, в нем не было ни одного человека, о котором не говорили бы злостно. Полковой поп, больной, жалкий, был ославлен как пьяница и развратник; офицеры и жены их жили, по рассказам моих хозяев, в свальном грехе; мне стали противны однообразные беседы солдат о женщинах, и больше всего опротивели мне мои хозяева – я очень хорошо знал истинную цену излюбленных ими, беспощадных суждений о людях. Наблюдения за пороками людей – единственная забава, которою можно пользоваться бесплатно. Мои хозяева только забавлялись, словесно истязуя ближних, и как бы мстили всем за то, что сами живут так благочестиво, трудно и скучно.

Когда о Королеве Марго говорили пакостно, я переживал судорожные припадки чувств не детских, сердце мое набухало ненавистью к сплетникам, мною овладевало неукротимое желание злить всех, озорничать, а иногда я испытывал мучительные приливы жалости к себе и ко всем людям, – эта немая жалость была еще тяжелее ненависти.

Я знал о Королеве больше, чем знали они, и я боялся, чтобы им не стало известно то, что я знаю.

По праздникам, когда хозяева уходили в собор к поздней обедне, я приходил к ней утром; она звала меня в спальню к себе, я садился на маленькое, обитое золотистым шелком кресло, девочка влезала мне на колени, я рассказывал матери о прочитанных книгах. Она лежала на широкой кровати, положив под щеку маленькие ладошки, сложенные вместе, тело ее спрятано под покрывалом, таким же золотистым, как и все в спальне, темные волосы, заплетенные в косу, перекинувшись через смуглое плечо, лежали впереди ее, иногда свешиваясь с кровати на пол.

Слушая меня, она смотрит в лицо мое мягкими глазами и, улыбаясь чуть заметно, говорит:

– Вот как?

Даже благожелательная улыбка ее была, в моих глазах, только снисходительной улыбкой королевы. Она говорила густым ласкающим голосом, и мне казалось, что она говорит всегда одно:

«Я знаю, что я неизмеримо лучше, чище всех людей, и никто из них не нужен мне».

Иногда я заставлял ее перед зеркалом, – она сидела на низеньком кресле, причесывая волосы; концы их лежали на коленях ее, на ручках кресла, спускались через спинку его почти до полу, – волосы у нее были так же длинны и густы, как у бабушки. Я видел в зеркале ее смуглые, крепкие груди, она надевала при мне лиф, чулки, но ее чистая нагота не будила у меня ощущений стыдных, а только радостное чувство гордости за нее. Всегда от нее исходил запах цветов, защищавший ее от дурных мыслей о ней.

Я был здоров, силен, хорошо знал тайны отношений мужчины к женщине, но люди говорили при мне об этих тайнах с таким бессердечным злорадством, с такой жестокостью, так грязно, что эту женщину я не мог представить себе в объятиях мужчины, мне трудно было думать, что кто-то имеет право прикасаться к ней дерзко и бесстыдно, рукою хозяина ее тела. Я был уверен, что любовь кухонь и чуланов неведома Королеве Марго, она знает какие-то иные, высшие радости, иную любовь.

Но однажды, перед вечером, придя в гостиную, я услышал за портьерой спальни звучный смех дамы моего сердца и мужской голос, просивший:

– Подожди же... Господи! Не верю...

Мне нужно было уйти, я понимал это, но – не мог уйти...

– Кто там? – спросила она. – Ты? Войди...

В спальне было душно от запаха цветов, сумрачно, окна были занавешены... Королева Марго лежала на постели, до подбородка закрывшись одеялом, а рядом с нею, у стены, сидел в одной рубашке, с раскрытой грудью, скрипач-офицер, – на груди у него тоже был шрам, он лежал красной полосой от правого плеча к соску и был так ярок, что даже в сумраке я отчетливо видел его. Волосы офицера были смешно встрепаны, и впервые я видел улыбку на его печальном, изрубленном лице, – улыбался он странно. А его большие, женские глаза смотрели на Королеву так, как будто он только впервые разглядел красоту ее.

– Это мой друг, – сказала Королева Марго, не знаю – мне или ему.

– Чего ты так испугался? – услышал я, точно издали, ее голос. – Поди сюда...

Когда я подошел, она обняла меня за шею голой, горячей рукой и сказала:

– Вырастешь – и ты будешь счастлив... Иди!

Я положил книгу на полку, взял другую и ушел, как во сне.

Что-то хрустнуло в сердце у меня. Конечно, я ни минуты не думал, что моя Королева любит, как все женщины, да и офицер не позволял думать так. Я видел перед собою его улыбку, – улыбался он радостно, как улыбается ребенок, неожиданно удивленный, его печальное лицо чудесно обновилось. Он должен был любить ее – разве можно ее не любить? И она тоже могла щедро одарить его любовью своей – он так чудесно играл, так задушевно умел читать стихи...

Но уже потому, что я должен был найти эти утешения, для меня ясно было, что не все хорошо, не все верно в моем отношении к тому, что я видел, и к самой Королеве Марго. Я чувствовал себя потерявшим что-то и прожил несколько дней в глубокой печали.

...Однажды я буйно и слепо наозорничал, и, когда пришел к даме за книжкой, она сказала мне очень строго:

– Однако ты отчаянный шалун, как я слышала! Не думала я этого...

Я не стерпел и начал рассказывать, как мне тошно жить, как тяжело слушать, когда о ней говорят плохо. Стоя против меня, положив руку на плечо мне, она сначала слушала мою речь внимательно, серьезно, но скоро засмеялась и оттолкнула меня тихонько.

– Довольно, я все это знаю – понимаешь? Знаю!

Потом взяла меня за обе руки и сказала очень ласково:

– Чем меньше ты будешь обращать внимания на все эти гадости, тем лучше для тебя... А руки ты плохо моешь...

Ну, этого она могла бы и не говорить; если б она чистила медь, мыла полы и стирала пеленки, и у нее руки были бы не лучше моих, я думаю.

– Умеет жить человек – на него злятся, ему завидуют; не умеет – его презирают, – задумчиво говорила она, обняв меня, привлекая к себе и с улыбкой глядя в глаза мои. – Ты меня любишь?

– Да.

– Очень?

– Да.

– А – как?

– Не знаю.

– Спасибо; ты – славный! Я люблю, когда меня любят...

Она усмехнулась, хотела что – то сказать, но, вздохнув, долго молчала, не выпуская меня из рук своих.

– Ты – чаще приходи ко мне; как можешь, так и приходи...

Я воспользовался этим и много получил доброго от нее. После обеда мои хозяева ложились спать, а я сбегал вниз и, если она была дома, сидел у нее по часу, даже больше.

– Читать нужно русские книги, нужно знать свою, русскую жизнь, поучала она меня, втыкая ловкими розовыми пальцами шпильки в свои душистые волосы.

И, перечисляя имена русских писателей, спрашивала:

– Ты запомнишь?

Она часто говорила задумчиво и с легкой досадой:

– Тебе нужно учиться, учиться, а я все забываю об этом! Ах, боже мой...

Посидев у нее, я бежал наверх с новой книгой в руках и словно вымытый изнутри.

Я уже прочитал «Семейную хронику» Аксакова, славную русскую поэму «В лесах»⁴⁵, удивительные «Записки охотника»⁴⁶, несколько томиков Гребенки⁴⁷ и Соллогуба⁴⁸, стихи Веневитинова,⁴⁹ Одоевского⁵⁰, Тютчева⁵¹. Эти книги вымыли мне душу, очистив ее от шелухи впечатлений нищей и горькой действительности; я почувствовал, что такое хорошая книга, и понял ее необходимость для меня. От этих книг в душе спокойно сложилась стойкая уверенность: я не один на земле и – не пропаду!

Приходила бабушка, я с восторгом рассказывал ей о Королеве Марго, бабушка, вкусно понюхивая табачок, говорила уверенно:

– Ну, ну, вот и хорошо! Хороших-то людей много ведь, только поищи найдешь!

И однажды предложила:

⁴⁵ «В лесах» – исторический роман П. И. Мельникова (А. Печерского) (1818–1883).

⁴⁶ «Записки охотника» – прозаический цикл И. С. Тургенева (1818–1883).

⁴⁷ Евгений Павлович Гребенка (1812–1848) – русский и украинский поэт, писатель.

⁴⁸ Владимир Александрович Соллогуб (1813–1882) – русский писатель.

⁴⁹ Дмитрий Владимирович Веневитинов (1805–1827) – русский поэт романтического направления, переводчик, прозаик, философ.

⁵⁰ Владимир Федорович Одоевский (1803–1869) – русский писатель, философ.

⁵¹ Федор Иванович Тютчев (1803–1873) – русский поэт, дипломат.

– Может, сходить к ней, сказать спасибо за тебя?

– Нет, не надо...

– Ну и не надо... Господи, господи, хорошо-то все как! Жить я согласна – веки вечные!

Королеве Марго не удалось позаботиться о том, чтобы я учился, – на троицу разыгралась противная история и едва не погубила меня.

Незадолго перед праздниками у меня страшно вспухли веки и совсем закрылись глаза, хозяева испугались, что я ослепну, да и сам я испугался. Меня отвели к знакомому доктору – акушеру Генриху Родзевичу, он прорезал мне веки изнутри, несколько дней я лежал с повязкой на глазах, в мучительной, черной скуке. Накануне троицы повязку сняли, и я снова встал на ноги, точно поднялся из могилы, куда был положен живым. Ничего не может быть страшнее, как потерять зрение; это невыразимая обида, она отнимает у человека девять десятых мира.

В веселый день троицы я, на положении больного, с полудня был освобожден от всех моих обязанностей и ходил по кухням, навещая денщиков. Все, кроме строгого Тюфяева, были пьяны; перед вечером Ермохин ударил Сидорова поленом по голове, Сидоров без памяти упал в сених, испуганный Ермохин убежал в овраг.

По двору быстро разбежался тревожный говор, что Сидоров убит. Около крыльца собрались люди, смотрели на солдата, неподвижно растянувшегося через порог из кухни в сени головой; шептали, что надо позвать полицию, но никто не звал и никто не решался дотронуться до солдата.

Явилась прачка Наталья Козловская, в новом сиреновом платье, с белым платком на плечах, сердито растолкала людей, вошла в сени, присела на корточки и сказала громко:

– Дураки – он жив! Воды давайте...

Ее стали уговаривать:

– Не совалась бы не в свое дело-то!

– Воды, говорю! – крикнула она, как на пожаре; деловито приподняв новое свое платье выше колен, одернула нижнюю юбку и положила окровавленную голову солдата на колено себе.

Публика неодобрительно и боязливо разошлась; в сумраке сеней я видел, как сердито сверкают на круглом белом лице прачки глаза, налитые слезами. Я принес ведро воды, она велела лить воду на голову Сидорова, на грудь и предупредила:

– Меня не облей, – мне в гости идти...

Солдат очнулся, открыл тупые глаза, застонал.

– Поднимай, – сказала Наталья, взяв его под мышки и держа на вытянутых руках, на весу, чтобы не запачкать платья. Мы внесли солдата в кухню, положили на постель, она вытерла его лицо мокрой тряпкой, а сама ушла, сказав:

– Смачивай тряпку водой и держи на голове, а я пойду, поищу того дурака. Черти, так и жди, что до каторги допьются.

Ушла, спустив с ног на пол и швырнув в угол испачканную нижнюю юбку, заботливо оправив шумящее, помятое платье.

Сидоров, потягиваясь, икал, охал, с головы его на мою босую ступню падала темными каплями тяжелая кровь, – это было неприятно, но со страху я не решался отодвинуть ногу из-под этой капли.

Было горько; на дворе сияет праздничный день, крыльцо дома, ворота убраны молодыми березками; к каждой тумбе привязаны свежесрубленные ветки клена, рябины, вся улица весело зазеленела, все так молодо, ново; с утра мне казалось, что весенний праздник пришел надолго и с этого дня жизнь пойдет чище, светлее, веселее.

Солдата стошнило, душный запах теплой водки и зеленого лука наполнил кухню,

к стеклам окна то и дело прилипают какие-то мутные, широкие рожи с раздавленными носами, ладони, приложенные к щекам, делают эти рожи безобразно ушастыми.

Солдат бормотал, вспоминая:

– Это – как же я? Упал? Ермохин? Хор-рош товарищ...

Потом стал кашлять, заплакал пьяными слезами и заныл:

– Сестричка моя... сестренка...

Встал на ноги, скользкий, мокрый и вонючий, пошатнулся и, шлепнувшись на койку, сказал, странно ворочая глазами:

– Совсем убили...

Мне стало смешно.

– Кто, черт, смеется? – спросил солдат, тупо глядя на меня. – Как ты смеешься?

Меня убили навсегда...

Он стал отталкивать меня обеими руками и бормотал:

– Первый срок – Илья пророк, второй – Егорий на коне, а третий – не ходи ко мне! Пошел прочь, волк...

Я сказал:

– Не дури!

Он нелепо рассердился, заорал, зашаркал ногами.

– Меня убили, а ты...

И тяжело, вялой, грязной рукою ударил меня по глазам, – я взвыл, ослеп и кое-как выскочил на двор, навстречу Наталье; она вела за руку Ермохина и покрикивала:

– Иди, лошадь! Ты что? – поймав меня, спросила она.

– Дерется...

– Дерется-а? – с удивлением протянула Наталья и, дернув Ермохина, сказала ему:

– Ну, леший, значит – благодари бога своего!

Я промыл глаза водою и, глядя из сеней в дверь, видел, как солдаты мирились, обнимаясь и плача, потом оба стали обнимать Наталью, а она колотила их по рукам, вскрикивая:

– Прочь лапы, псы! Что я вам – потаскушка из ваших? Валитесь дрыхнуть, пока бар ваших дома нет, – ну, живо! А то беда будет вам!

Она уложила их, как малых детей, одного – на полу, другого на койке, и, когда они захрапели, вышла в сени.

– Измазалась я вся, а – в гости одета! Ударил он тебя?.. Ишь ведь дурак какой! Вот она, водочка-то. Не пей, паренек, никогда не пей...

Потом я сидел с нею у ворот на лавочке и спрашивал, как это она не боится пьяных.

– Я и тверезых не боюсь, они у меня – вот где! – Она показала туго сжатый, красный кулак. – У меня муженек, покойник, тоже заливно пьянствовал, так я его, бывало, пьяненького-то, свяжу по рукам, по ногам, а проспится – стяну штаны с него да прутьями здоровыми и отхлещу: не пей, не пьянствуй, коли женился – жена тебе забава, а не водка! Да. Вспору до устали, так он после этого как воск у меня...

– Сильная вы, – сказал я, вспомнив о женщине Еве, которая даже бога обманула.

Наталья сказал, вдохнув:

– Бабе силы надо больше, чем мужику, ей на двоих силы-то надо бы, а господь обделил ее! Мужик – человек неровный.

Она говорила спокойно, беззлобно, сидела, сложив руки на большой груди, опираясь спиной о забор, печально уставив глаза на сорную, засыпанную щебнем дамбу. Я заслушался умных речей, забыл о времени и вдруг увидел на конце дамбы хозяйку под руку с хозяином; они шли медленно, важно, как индейский петух с курицей, и пристально смотрели на нас, что-то говоря друг другу.

Я побежал отпереть дверь парадного крыльца, отпер; подымаясь по лестнице, хозяйка ядовито сказала мне:

– С прачками любезничаешь? Научился обхождению у нижней-то барыни?

Это было до того глупо, что даже не задело меня; более обидным показалось, что хозяин, усмехнувшись, молвил:

– Что ж – пора!..

На другой день утром, спустившись в сарай за дровами, я нашел у квадратной прорези для кошек, в двери сарая, пустой кошелек; я десятки раз видел его в руках Сидорова и тотчас же отнес ему.

– А где же деньги? – спросил он, исследуя пальцем внутренность кошелька. – Рубль тридцать? Давай сюда!

Голова у него была в чалме из полотенца; желтый, похудевший, он сердито мигал опухшими глазами и не верил, что я нашел кошелек пустым.

Пришел Ермохин и начал убеждать его, кивая на меня:

– Это он украл, он, веди его к хозяевам! Солдат у солдата не украдет!

Эти слова подсказали мне, что украл именно он, он же и подбросил кошелек в сарай ко мне, – я тотчас крикнул ему в глаза:

– Врешь, ты украл!

И окончательно убедился, что я прав в своей догадке, – его дубовое лицо исказилось страхом и гневом, он завертелся и завыл тонко:

– Докажи!

Чем бы я доказал? Ермохин с криком вытащил меня на двор, Сидоров шел за нами и тоже что-то кричал, из окон высунулись головы разных людей; спокойно покуривая, смотрела мать Королевы Марго. Я понял, что пропал в глазах моей дамы, и – ошалел.

Помню – солдаты держали меня за руки, а хозяева стоят против них, сочувственно поддакивая друг другу, слушают жалобы, и хозяйка говорит уверенно:

– Конечно, это его дело! То-то он вчера с прачкой у ворот любезничал: значит, были деньги, от нее без денег ничего не возьмешь...

– Так точно! – кричал Ермохин.

Подо мною пол заходил, меня опалила дикая злоба, я заорал на хозяйку и был усердно избит.

Но не столько побои мучили меня, сколько мысль о том, что теперь думает обо мне Королева Марго. Как оправдаюсь я перед ней? Солоно мне было в эти сквернейшие часы.

На мое счастье, солдаты быстро разнесли эту историю по всему двору, по всей улице, и вечером, лежа на чердаке, я услышал внизу крик Натальи Козловской:

– Нет, зачем я буду молчать! Нет, голубчик, иди-ка, иди! Я говорю иди! А то я к барину пойду, он тебя заставит...

Я сразу почувствовал, что этот шум касается меня. Кричала она около нашего крыльца, голос ее звучал все более громко и торжественно.

– Ты вчера сколько мне показывал денег? Откуда они у тебя – расскажи.

Задыхаясь от радости, я слышал, как Сидоров уныло тянет:

– Ай-яй, Ермохин...

– А мальчишку ославили, избили, а?

Мне хотелось сбежать вниз на двор, плясать от радости, благодарно целовать прачку, но в это время, – должно быть, из окна, – закричала моя хозяйка:

– Мальчишку за то били, что он ругается, а что он вор – никто этого не думал, кроме тебя, халда!

– Вы сами, сударыня, халда, корова вы этакая, позвольте вам сказать.

Я слушал эту брань, как музыку, сердце больно жгли горячие слезы обиды и благодарности Наталье, я задыхался в усилиях сдержать их.

Потом на чердак медленно поднялся по лестнице хозяин, сел на связь стропил около меня и сказал, оправляя волосы:

– Что, брат, Пешков, не везет тебе?

Я молча отвернулся от него.

– А все-таки ругаешься ты безобразно, – продолжал он, а я тихо объявил ему:

– Когда встану – уйду от вас...

Он посидел, помолчал, куря папироску, и, внимательно разглядывая конец ее, сказал негромко:

– Что же, твое дело! Ты уж не маленький, сам гляди, как будет лучше для тебя...

И ушел. Как всегда – было жалко его.

На четвертые сутки после этого – я ушел из дома. Мне нестерпимо хотелось проститься с Королевой Марго, но у меня не хватило смелости пойти к ней, и, признаться, я ждал, что она сама позовет меня.

Прощаясь с девочкой, я попросил:

– Скажи маме, что я очень благодарю ее, очень! Скажешь?

– Скажу, – обещала она, ласково и нежно улыбаясь. – Прощай до завтра, да?

Я встретил ее лет через двадцать, замужем за офицером-жандармом.

Глава XI (окончание)

...Палубные пассажиры, матросы, все люди говорили о душе так же много и часто, как о земле, работе, о хлебе и женщинах. Душа – десятое слово в речах простых людей, слово ходовое, как пятак. Мне не нравится, что слово это так прижилось на скользких языках людей, а когда мужики матерщинничают, злобно или ласково, поганя душу, – это бьет меня по сердцу.

Я очень помню, как осторожно говорила бабушка о душе, таинственном вместилище любви, красоты, радости, я верил, что после смерти хорошего человека белые ангелы относят душу его в голубое небо, к доброму богу моей бабушки, а он ласково встречает ее:

– Что, моя милая, что, моя чистая, – настрадалась, намаялась?

И дает душе серафимовы крылья – шесть белых крылий.

Яков Шумов говорит о душе так же осторожно, мало и неохотно, как говорила о ней бабушка. Ругаясь, он не задевал душу, а когда о ней рассуждали другие, молчал, согнув красную бычью шею. Когда я спрашиваю его, что такое душа, – он отвечает:

– Дух, дыхание божие...

Мне мало этого, я спрашиваю еще о чем-то, тогда кочегар, наклонив голову, говорит:

– О душе, браток, и попы мало понимают, это дело закрытое...

Он держит меня в постоянных думах о нем, в упорном напряжении понять его, но это напряжение безуспешно. Кроме его, я ничего не вижу, он всё заслоняет от меня своей широкой фигурой.

Ко мне подозрительно ласково относится буфетчица, – утром я должен подавать ей умываться, хотя это обязанность второклассной горничной Луши, чистенькой и веселой девушки. Когда я стою в тесной каюте, около буфетчицы, по пояс голой, и вижу ее желтое тело, дряблкое, как перекишшее тесто, вспоминается литое, смуглое тело Королевы Марго, и – мне противно. А буфетчица всё говорит о чем-то, то жалобно и ворчливо, то сердито и насмешливо.

Смысл ее речей не доходит до меня, хотя я как бы издали догадываюсь о нем, – это жалкий, нищенский, стыдный смысл. Но я не возмущаюсь – я живу далеко от

буфетчицы и ото всего, что делается на пароходе, я – за большим мохнатым камнем, он скрывает от меня весь этот мир, день и ночь плывущий куда-то.

– Совсем влюбилась в тебя наша Гавриловна, – как сквозь сон слышу я насмешливые слова Луши. – Разевай рот, лови счастье...

Не только она высмеивает меня, вся буфетная прислуга знает о слабости хозяйки, а повар говорит, морщась:

– Всего баба покушала – пирожного захотела, безе! Н-народ... Гляди, Пешкóв, в оба, а зри – в три...

И Яков тоже внушает мне отечески деловито:

– Конечно, ежели бы ты был лета на два старше, ну – я бы те сказал иначе как, а теперь, при твоих годах, – лучше, пожалуй, не сдавайся! А то – как хошь...

– Брось, – говорю я, – пакость это...

Он соглашается:

– Конечно...

Но тотчас же, пытаюсь растрепать пальцами свалявшиеся волосы на голове, сеет свои кругленькие слова:

– Ну, тоже и ее дело надо понять, – это дело – скудное, дело зимнее... И собака любит, когда ее гладят, того боле – человек! Баба живет лаской, как гриб сыростью. Ей, поди, самой стыдно, а – что делать? Тело просит холи и – ничего боле...

Я спрашиваю, с напряжением глядя в его неуловимые глаза:

– Тебе – жалко ее?

– Мне-то? Мать она мне, что ли? Матерей не жалеют, а ты... чудак!

Он смеется негромко, разбитым бубенчиком.

Иногда я, глядя на него, как бы проваливаюсь в немую пустоту, в бездонную яму и сумрак.

– Вот все женятся, а ты, Яков, почему не женишься?

– А на што? Бабу я и так завсегда добуду, это, слава богу, просто... Женатому надо на месте жить, крестьянствовать, а у меня – земля плохая, да и мало ее, да и ту дядя отобрал. Воротился брательник из солдат, давай с дядей спорить, судиться, да – колом его по голове. Кровь пролил. Его за это – в острог на полтора года, а из острога – одна дорога, – опять в острог. А жена его утешная молодуха была... да что говорить! Женился – значит сиди около своей конуры хозяином, а солдат – не хозяин своей жизни.

– Ты богу молишься?

– Ч-чудак! Конечно, молюсь...

– А как?

– Всяко.

– Ты какие молитвы читаешь?

– Молитвов я не знаю. Я, братец, просто: господи Иисусе, живого – помилуй, мертвого – упокой, спаси, господи, от болезни... Ну, еще что-нибудь скажу...

– Что?

– А так! Ему – что ни скажи, всё дойдет!

Он относится ко мне ласково, с любопытством, как к неглупому кутенку, который умеет делать забавные штуки. Бывало, сидишь с ним ночью, от него пахнет нефтью, гарью, луком, – он любил лук и грыз сырые луковицы, точно яблоки; вдруг он спросит:

– Ну-кося, Олеха, ероха-воха, скажи стишок!

Я знаю много стихов на память, кроме того, у меня есть толстая тетрадь, где записано любимое. Читаю ему «Руслана», он слушает неподвижно, слепой и немой, сдерживая хрипящее дыхание, потом говорит негромко:

– Утешная, складная сказочка! Сам, что ли, придумал? Пушкин? Есть такой барин Мухин-Пушкин, видал я его...

– Не тот, того давно убили!

– За што?

Я рассказываю теми краткими словами, как рассказывала мне Королева Марго. Яков слушает, потом спокойно говорит:

– Из-за баб очень достаточно пропадает народа...

Часто я передаю ему разные истории, вычитанные из книг; все они спутались, скипелись у меня в одну длиннейшую историю беспокойной, красивой жизни, насыщенной огненными страстями, полной безумных подвигов, пурпурового благородства, сказочных удач, дуэлей и смертей, благородных слов и подлых деяний. Рокамболь принимал у меня рыцарские черты Ля-Моля и Аннибала Коконна; Людовик XI – черты отца Гранде; корнет Отлетаев сливается с Генрихом IV. Эта история, в которой я, по вдохновению, изменял характеры людей, перемещал события, была для меня миром, где я был свободен, подобно дедову богу, – он тоже играет всем, как хочет. Не мешая мне видеть действительность такую, какова она была, не охлаждая моего желания понимать живых людей, этот книжный хаос прикрывал меня прозрачным, но непроницаемым облаком от множества заразной грязи, от ядовитых отрав жизни.

Книги сделали меня неуязвимым для многого: зная, как любят и страдают, нельзя идти в публичный дом; копеечный развратик возбуждал отвращение к нему и жалость к людям, которым он был сладок. Рокамболь учил меня быть стойким, не поддаваться силе обстоятельств, герои Дюма внушали желание отдать себя какому-то важному, великому делу. Любимым героем моим был веселый король Генрих IV, мне казалось, что именно о нем говорит славная песня Беранже:

Он мужику дал много льгот

И выпить сам любил;

Да – если счастлив весь народ,

С чего бы царь не пил?

Романы рисовали Генриха IV добрым человеком, близким своему народу; ясный, как солнце, он внушал мне убеждение, что Франция – прекраснейшая страна всей земли, страна рыцарей, одинаково благородных в мантии короля и одежде крестьянина: Анж Питу такой же рыцарь, как и Д'Артаньян. Когда Генриха убили, я угрюмо заплакал и заскрипел зубами от ненависти к Равальяку. Этот король почти всегда являлся главным героем моих рассказов кочегару, и мне казалось, что Яков тоже полюбил Францию и «Хенрика».

– Хороший человек был Хенрик-король – с ним хоть ершей ловить, хоть что хошь, – говорил он.

Он не восхищался, не перебивал моих рассказов вопросами, он слушал молча, опустив брови, с лицом неподвижным, – старый камень, прикрытый плесенью. Но если я почему-либо прерывал речь, он тотчас осведомлялся:

– Конец?

– Нет еще.

– А ты не останавливайся!

О французах он говорил, вздыхая:

– Прохладно живут...

– Как это?

– А вот мы с тобой в жаре живем, в работе, а они – в прохладе. И делов у них никаких нет, только пьют да гуляют, – утешная жизнь!

– Они и работают.

– Не видать этого по историям-то по твоим, – справедливо заметил кочегар, и мне вдруг стало ясно, что огромное большинство книг, прочитанных мною, почти совсем не говорит, как работают, каким трудом живут благородные герои.

– Ну-кось, посплю я немножко, – говорил Яков, опрокидываясь на спину там, где сидел, и через минуту мерно свистал носом.

Осенью, когда берега Камы порыжели, деревья озолотились, а косые лучи солнца стали белеть, – Яков неожиданно ушел с парохода. Еще накануне этого он говорил мне:

– Послезавтра я прибудем мы с тобой, ероха-воха, в Пермь, сходим в баню, попаримся за милую душу, а оттолева – засядем в трактире с музыкой, – утешно! Люблю я глядеть, как машина играет.

Но в Сарапуле сел на пароход толстый мужчина, с дряблым бабьим лицом без бороды и усов. Теплая длинная чуйка и картуз с наушниками лисьего меха еще более усиливали его сходство с женщиной. Он тотчас же занял столик около кухни, где было теплее, спросил чайный прибор и начал пить желтый кипяток, не расстегнув чуйки, не сняв картуза, обильно потея.

Осенние тучи неугомонно сеяли мелкий дождь, и казалось, что, когда этот человек вытрет клетчатый платком пот с лица, дождь идет тише, а по мере того, как человек снова потеет, – и дождь становится сильнее.

Скоро около него очутился Яков, и они стали рассматривать карту в календаре, – пассажир водил по ней пальцем, а кочегар спокойно говорил:

– Что ж! Ничего. Это мне – наплевать...

– И хорошо, – тоненьким голосом сказал пассажир, сунув календарь в приоткрытый кожаный мешок у своих ног. Тихонько разговаривая, они начали пить чай.

Перед тем, как Яков пошел на вахту, я спросил его, что это за человек. Он ответил, усмехаясь:

– Видать, будто голубь, скопец, значит. Из Сибири, дале-еко! Забавный, по планту живет...

Он пошел прочь от меня, ступая по палубе черными пятками, твердыми, точно копыта, но снова остановился, почесывая бок.

– Я к нему в работники нанялся; как в Перму приедем, слезу с парохода, прощай, ероха-воха! По железной дороге ехать, потом – по реке да на лошадях еще, – пять недель будто ехать надо, вона, куда человек забился...

– Ты его знаешь? – спросил я, удивленный неожиданным решением Якова

– Отколе? И не видывал николи, я в его местах не жил ведь...

Наутро Яков, одетый в короткий сальный полушубок, в опорках на босую ногу, в изломанной, без полей, соломенной шляпе Медвежонка, тискал мою руку чугунными пальцами и говорил:

– Вали со мной, а? Он возьмет и тебя, голубь-то, ежели сказать ему; хошь – скажу?

Отрежут тебе лишнее, денег дадут. Им это – праздник, человека изуродовать, они за это наградят...

Скопец стоял у борта с беленьким узелком под мышкой, упорно смотрел на Якова мертвыми глазами, грузный, вспухший, как утопленник. Я негромко обругал его, кочегар еще раз тиснул мою ладонь.

– Пускай его, наплевать! Всяк своему богу молится, нам – что? Ну, прощай! Живи на счастье!

И ушел Яков Шумов, переваливаясь с ноги на ногу, как медведь, оставив в сердце моем нелегкое, сложное чувство, – было жалко кочегара и досадно на него, было, помнится, немножко завидно, и тревожно думалось: зачем пошел человек неведомо куда?

И – что же это за человек, Яков Шумов?

Глава XII

Позднею осенью, когда рейсы парохода кончились, я поступил учеником в мастерскую иконописи, но через день хозяйка моя, мягкая и пьяненькая старушка, объявила мне владимирским говором:

– Дни теперя коротенькие, вечера длинные, так ты с утра будешь в лавку ходить, мальчиком при лавке постоишь, а вечерами – учишь!

И отдала меня во власть маленького быстроногого приказчика, молодого парня с красивеньким, приторным лицом. По утрам, в холодном сумраке рассвета, я иду с ним через весь город по сонной купеческой улице Ильинке на Нижний базар; там, во втором этаже Гостиного двора, помещается лавка. Приспособленная из кладовой, темная, с железною дверью и одним маленьким окном на террасу, крытую железом, лавка была тесно набита иконами разных размеров, киотами, гладкими и с «виноградом», книгами церковнославянской печати, в переплетах желтой кожи. Рядом с нашей лавкой помещалась другая, в ней торговал тоже иконами и книгами чернобородый купец, родственник староверческого начетчика, известного за Волгой, в керженских краях; при купце – сухонький и бойкий сын, моего возраста, с маленьким серым личиком старика, с беспокойными глазами мышонка.

Открыв лавку, я должен был сбегать за кипятком в трактир; напившись чаю – прибрать лавку, стереть пыль с товара и потом – торчать на террасе, зорко следя, чтобы покупатели не заходили в лавку соседа.

– Покупатель – дурак, – уверенно говорил мне приказчик. – Ему все едино, где купить, лишь бы дешево, а в товаре он не понимает!

Быстро щелкая дощечками икон, хвастаясь тонким знанием дела, он поучал меня:

– Мстёрской работы – товар дешевый, три вершка на четыре – себе стоит... шесть вершков на семь – себе стоит... Святых знаешь? Запомни: Вонифатий – от запоя; Варвара Великомученица – от зубной боли, нечаянная смерти; Василий Блаженный – от лихорадки, горячки... Богородиц знаешь? Гляди: Скорбящая, Троеручица, Абалацкая – Знамение, Не рыдай мене, мати, Утоли моя печали, Казанская, Дейсус, Покрова, Семистрельная...

Я быстро запомнил цены икон по размерам и работе, запомнил различия в иконах богородиц, но запомнить значение святых было нелегко.

Задумаешься, бывало, о чем-нибудь, стоя у двери лавки, а приказчик вдруг начнет проверять мои знания:

– Трудных родов разрешитель – кто будет?

Если я ошибаюсь, он презрительно спрашивает:

– Для чего у тебя голова?

Еще труднее было зазывать покупателей; уродливо написанные иконы не нравились мне, продавать их было неловко. По рассказам бабушки я представлял себе богородицу молодой, красивой, доброй; такую она была и на картинках журналов, а иконы изображали ее старой, строгой, с длинным, кривым носом и деревянными ручками.

В базарные дни, среду и пятницу, торговля шла бойко, на террасе то и дело появлялись мужики и старухи, иногда целые семьи, всё – старообрядцы из Заволжья, недоверчивый и угрюмый лесной народ. Увидишь, бывало, как медленно, точно боясь провалиться, шагает по галерее тяжелый человек, закутанный в овчину и толстое, дома валянное сукно, – становится неловко перед ним, стыдно. С великим усилием встанешь на дороге ему, вертишься под его ногами в пудовых сапогах и комаром поешь:

– Что вам угодно, почтенный? Псалтири следованные и толковые, Ефрема Сирина

книги, Кирилловы, уставы, часословы⁵² – пожалуйста, взгляните! Иконы все, какие желаете, на разные цены, лучшей работы, темных красок! На заказ пишем кого угодно, всех святых и богородиц! Именную, может, желаете заказать, семейную? Лучшая мастерская в России! Первая торговля в городе!

Непроницаемый и непонятный покупатель долго молчит, глядя на меня, как на собаку, и вдруг, отодвинув меня в сторону деревянной рукою, идет в лавку соседа, а приказчик мой, потирая большие уши, сердито ворчит:

– Упустил, тор-рговец...

В лавке соседа гудит мягкий, сладкий голос, течет одуряющая речь:

– Мы, родимый, не овчиной торгуем, не сапогом, а – божьей благодатью, которая превыше сребра-злата, и нет ей никакой цены...

– Ч-черт! – шепчет мой приказчик с завистью и восхищением. – Здорово заливаает глаза мужику! Учись! Учись!

Я учился добросовестно, – всякое дело надо делать хорошо, коли взялся за него. Но я плохо преуспевал в заманивании покупателей и в торговле, – эти угрюмые мужики, скупые на слова, старухи, похожие на крыс, всегда чем – то испуганные, поникшие, вызывали у меня жалость к ним, хотелось сказать тихонько покупателю настоящую цену иконы, не запрашивая лишнего двугривенного. Все они казались мне бедными, голодными, и было странно видеть, что эти люди платят по три рубля с полтиной за Псалтырь – книгу, которую они покупали чаще других.

Они удивляли меня своим знанием книг, достоинств письма на иконах, а однажды седенький старичок, которого я загонял в лавку, кротко сказал мне:

– Неправда это будет, малый, что ваша мастерская по иконам самолучшая в России, самолучшая-то – Рогожина, в Москве!

Смутясь, я посторонился, а он тихонько пошел дальше, не зайдя и в лавку соседа.

– Съел? – ехидно спросил меня приказчик.

– Вы мне не говорили про мастерскую Рогожина... Он начал ругаться:

– Шляются вот эдакие тихони и все знают, анафемы⁵³, все понимают, старые псы...

Красивенький, сытый и самолюбивый, он ненавидел мужиков и в добрые минуты жаловался мне:

– Я – умный, я чистоту люблю, хорошие запахи – ладан, одеколон, а при таком моем достоинстве должен вонючему мужику в пояс кланяться, чтоб он хозяйке пятак барыша дал! Хорошо это мне? Что такое мужик? Кислая шерсть, вошь земная, а между тем...

Он огорченно умолкал.

Мне мужики нравились, в каждом из них чувствовалось нечто таинственное, как в Якове.

Бывало, влезет в лавку грузная фигура в чапане, надетом сверху полушубка, снимет мохнатую шапку, перекрестится двумя перстами, глядя в угол, где мерцает лампада, и стараясь не задевать глазами неосвященных икон, потом молча пощупает взглядом вокруг себя и скажет:

– Дай-кошь Псалтирь толковую!

Засучив рукава чапана, он долго читает выходной лист, шевеля землистыми, до крови потрескавшимися губами.

⁵² Часослов – богослужебная книга, содержащая тексты неизменяемых молитвословий суточного богослужебного круга. Получила свое название от службы часов, которую она содержит. В православной церкви ежедневных служб шесть. Часослов служит руководством для чтецов и певцов в церкви.

⁵³ Анафема – негодяй, негодник; от *анафемы* как церковного проклятия, налагаемого обычно на отступников от веры.

- Подревнее – нет?
- Древние – тысячи целковых стоят, как вы знаете...
- Знаем.

Помуслив палец, мужик перевертывает страницу, – там, где он коснулся ее, остается темный снимок с пальца. Приказчик, глядя в темя покупателя злым взглядом, говорит:

- Священное писание все одной древности, господь слова своего не изменял...
- Знаем, слышали! Господь не изменял, да Никон изменил.

И, закрыв книгу, покупатель молча уходит.

Иногда эти лесные люди спорили с приказчиком, и мне было ясно, что они знают писание лучше, чем он.

- Язычники болотные, – ворчал приказчик.

Я видел также, что, хотя новая книга и не по сердцу мужику, он смотрит на нее с уважением, прикасается к ней осторожно, словно книга способна вылететь птицей из рук его. Это было очень приятно видеть, потому что и для меня книга – чудо, в ней заключена душа написавшего ее; открыв книгу, я освобождаю эту душу, и она таинственно говорит со мною.

Весьма часто старики и старухи приносили продавать древнепечатные книги дониконовских времен или списки таких книг, красиво сделанные скитницами на Иргизе и Керженце; списки миней, не правленных Дмитрием Ростовским; древнего письма иконы, кресты и медные складни⁵⁴ с финифтью,⁵⁵ поморского литья, серебряные ковши, даренные московскими князьями кабацким целовальникам;⁵⁶ все это предлагалось таинственно, с оглядкой, из-под полы.

И мой приказчик и наш сосед очень зорко следили за такими продавцами, стараясь перехватить их друг у друга; покупая древности за рубли и десятки рублей, они продавали их на ярмарке богатым старообрядцам за сотни.

Приказчик поучал меня:

– Ты следи за этими лешими, за колдуньями, во все глаза следи! Они счастье с собой приносят.

Когда являлся такой продавец, приказчик посылал меня за начетчиком Петром Васильичем, знатоком старопечатных книг, икон и всяких древностей.

Это был высокий старик, с длинной бородою Василия Блаженного⁵⁷, с умными глазами на приятном лице. Плюсна одной ноги у него была отрублена, он ходил прихрамывая, с длинной палкой в руке, зиму и лето в легкой, тонкой поддевке, похожей на рясу, в бархатном картузе странной формы, похожем на кастрюлю. Бодрый, прямой, он, входя в лавку, опускал плечи, изгибал спину, охал тихонько, часто крестился двумя перстами и все время бормотал молитвы, псалмы⁵⁸. Это благочестие и старческая слабость сразу внушали продавцу доверие к начетчику.

- В чем дела-то выпачканы у вас? – спрашивал старик.
- Вот икона продается, принес человек, говорит – строгановская.
- Чего?
- Строгановская.
- Ага... Плохо слышу, заградил господь ухо мое от мерзости словес никонианских...

⁵⁴ Складень – складная икона, писаная на досках, либо медная, серебряная, литая.

⁵⁵ Финифть – эмаль, применяющаяся при художественной росписи металлических изделий.

⁵⁶ Целовальник – продавец вина в питейном заведении.

⁵⁷ Василий Блаженный (1469–1552) – русский святой, юродивый, т.е. религиозный подвижник, который использует маску мнимого безумия для обличения ложных ценностей.

⁵⁸ Псалмы – священные молитвенные песни.

Сняв картуз, он держит икону горизонтально, смотрит вдоль письма, сбоку, прямо, смотрит на шпонку в доске, шуря глаза, и мурлычет:

– Безбожники никониане⁵⁹, любовь нашу к древнему благообразию заметя и диаволом научаемы преехидно фальшам разным, ныне и святые образа подделывают ловко, ой, ловко! С виду-те образ будто и впрямь строгановских али устюжских писем, а то – суздальских, ну, а взглядишь оком внутренним – фальша!

Если он говорит «фальша», значит – икона дорогая и редкая. Ряд условных выражений указывает приказчику, сколько можно дать за икону, за книгу; я знаю, что слова «уныние и скорбь» значат – десять рублей, «Никон – тигр» – двадцать пять; мне стыдно видеть, как обманывают продавца, но ловкая игра начетчика увлекает меня.

– Никониане-то, черные дети Никона-тигра, все могут сделать, бесом руководимы, – вот и левкас будто настоящий, и доличное одной рукой написано, а лик-то, гляди, – не та кисть, не та! Старые-то мастера, как Симон Ушаков, хоть он еретик был, – сам весь образ писал, и доличное и лик, сам и чку строгал и левкас наводил, а наших дней богомерзкие людишки этого не могут! Раньше-то иконопись святым делом была, а ныне – художество одно, так-то, богovy!

Наконец он осторожно кладет икону на прилавок и, надев картуз, говорит:

– Грехи.

Это значит – покупай!

Утопленный в реке сладких ему слов, пораженный знаниями старика, продавец уважительно спрашивает:

– Как же, почтенный, икона-то?

– Икона – никонианской руки.

– Быть того не может! На нее деда, прадеды молились...

– Никон-от пораньше прадеда твоего жил.

Старик подносит икону к лицу продавца и уже строго внушает:

– Ты гляди, какая она веселая, али это икона? Это – картина, слепое художество, никонианская забава, – в этой вещи духа нет! Буду ли я неправо говорить? Я – человек старый, за правду гонимый, мне скоро до бога идти, мне душой кривить – расчета нет!

Он выходит из лавки на террасу, умирающий от старческой слабости, обиженный недоверием к его оценке. Приказчик платит за икону несколько рублей, продавец уходит, низко поклонясь Петру Васильичу; меня посылают в трактир за кипятком для чая; возвратясь, я застаю начетчика бодрым, веселым; любовно разглядывая покупку, он учит приказчика:

– Гляди – икона – строгая, писана тонко, со страхом Божиим, человечье – отринуто в ней...

– А чье письмо? – спрашивает приказчик, сияя и подпрыгивая.

– Это тебе рано знать.

– А сколько дадут знатоки?

– Это мне неизвестно. Давай, кое – кому покажу...

– Ох, Петр Васильич...

– А если продам – тебе полсотни, а что сверх того – мое!

– Ох...

– Да ты не охай...

Они пьют чай, бесстыдно торгуясь, глядя друг на друга глазами жуликов.

Приказчик весь в руках старика, это ясно; а когда старик уйдет, он скажет мне:

⁵⁹ Никониане – сторонники патриарха Никона, осуществившего в XVII в. реформу, в результате которой православные на Руси разделились на старообрядцев, не принявших нововведений и продолжавших, несмотря на гонения, придерживаться старой веры, и сторонников реформированной, *никонианской* церкви.

– Ты, смотри, не болтай хозяйке про эту покупку!
Условившись о продаже иконы, приказчик спрашивает:
– А что новенького в городе, Петр Васильич?

Расправив бороду желтой рукой, обнажив масляные губы, старик рассказывает о жизни богатых купцов: о торговых удачах, о кутежах, о болезнях, свадьбах, об изменах жен и мужей. Он печет эти жирные рассказы быстро и ловко, как хорошая кухарка блины, и поливает их шипящим смехом. Кругленькое лицо приказчика буреет от зависти и восторга, глаза подернуты мечтательной дымкой; вздыхая, он жалобно говорит:

– Живут люди! А я вот...

– У всякого своя судьба, – гудит басок начетчика. – Одному судьбу ангелы куют серебряными молоточками, а другому – бес обухом топора...

Этот крепкий, жилистый старик все знает – всю жизнь города, все тайны купцов, чиновников, попов, мещан. Он зорек, точно хищная птица, в нем смешалось что-то волчье и лисье; мне всегда хочется рассердить его, но он смотрит на меня издали и словно сквозь туман. Он кажется мне окруженным бездонною пустотой; если подойти к нему ближе – куда-то провалишься. И я чувствую в нем нечто родственное кочегару Шумову.

Хотя приказчик в глаза и за глаза восхищается его умом, но есть минуты, когда ему так же, как и мне, хочется разозлить, обидеть старика.

– А ведь обманщик ты для людей, – вдруг говорит он, задорно глядя в лицо старика.

Старик, лениво усмехаясь, отзывается:

– Один господь без обмана, а мы – в дураках живем; ежели дурака не обмануть – какая от него польза?

Приказчик горячится:

– Не все же мужики – дураки, ведь купцы-то из мужиков выходят!

– Мы не про купцов беседу ведем. Дураки жуликами не живут. Дурак свят, в нем мозги спят...

Старик говорит все более лениво, и это очень раздражает. Мне кажется, что он стоит на кочке, а вокруг него – трясина. Рассердить его нельзя, он недостижим гневом или умеет глубоко прятать его.

Но часто бывало, что он сам начинал привязываться ко мне, – подойдет вплоть и, усмехаясь в бороду, спросит:

– Как ты французского-то сочинителя зовешь – Понос?

Меня отчаянно сердит эта дрянная манера коверкать имена, но, сдерживаясь до времени, я отвечаю:

– Понсон де Террайль.⁶⁰

– Где теряет?

– А вы не дурите, вы не маленький.

– Верно, не маленький. Ты чего читаешь?

– Ефрема Сирина⁶¹.

– А кто лучше пишет: гражданские твои али этот? Я молчу.

– Гражданские-то о чем больше пишут? – не отстает он.

– Обо всем, что в жизни случается.

– Стало быть, о собаках, о лошадях, – это они случаются.

Приказчик хохочет, я злюсь. Мне очень тяжело, неприятно, но, если я сделаю

⁶⁰ Понсон де Террайль (1829–1871) – популярный французский писатель, мастер жанра роман-фельетон (роман в выпусках, роман с продолжением), создатель персонажа разбойника Рокамболя.

⁶¹ Ефрем Сирийский – один из великих учителей церкви IV века, христианский богослов и поэт.

попытку уйти от них, приказчик остановит:

– Куда?

А старик пытается меня:

– Ну-ка, грамотник, разгрызи задачу: стоят перед тобой тыща голых людей, пятьсот баб, пятьсот мужиков, а между ними Адам, Ева – как ты найдешь Адам – Еву?

Он долго допрашивает меня и, наконец, с торжеством объявляет:

– Дурачок, они ведь не родились, а созданы, значит – у них пупков нет!

Старик знает бесчисленное множество таких «задач», он может замучить ими.

Первое время дежурств в лавке я рассказывал приказчику содержание нескольких книг, прочитанных мною, теперь эти рассказы обратились во зло мне: приказчик передавал их Петру Васильеву, нарочито перевирая, грязно искажая. Старик ловко помогал ему в этом бесстыдными вопросами; их липкие языки забрасывали хламом постыдных слов Евгению Гранде, Людмилу, Генриха IV.

Я понимал, что они делают это не со зла, а со скуки, но мне от этого было не легче. Сотворив грязь, они рылись в ней, как свиньи, и хрюкали от наслаждения мять и пачкать красивое – чужое, непонятное и смешное им.

Весь Гостиный двор, все население его, купцы и приказчики жили странной жизнью, полною глуповатых по-детски, но всегда злых забав. Если приезжий мужик спрашивал, как ближе пройти в то или иное место города, ему всегда указывали неверное направление, – это до такой степени вошло у всех в привычку, что уже не доставляло удовольствия обманщикам. Поймав пару крыс, связывали их хвостами, пускали на дорогу и любовались тем, как они рвутся в разные стороны, кусают друг друга; а иногда обольют крысу керосином и зажгут ее. Навязывали на хвост собаке разбитое железное ведро; собака в диком испуге, с визгом и грохотом мчалась куда – то, люди смотрели и хохотали.

Было много подобных развлечений, казалось, что все люди – деревенские в особенности – существуют исключительно для забав Гостиного двора. В отношении к человеку чувствовалось постоянное желание посмеяться над ним, сделать ему больно, неловко. И было странно, что книги, прочитанные мною, молчат об этом постоянном, напряженном стремлении людей издеваться друг над другом.

Одна из таких забав Гостиного двора казалась мне особенно обидной и противной.

Внизу, под нашей лавкой, у торговца шерстью и валяными сапогами был приказчик, удивлявший весь Нижний базар своим обжорством; его хозяин хвастался этой способностью работника, как хвастаются злобой собаки или силою лошади. Нередко он вызывал соседей по торговле на пари:

– Кто идет на десять целковых? Стою на том, что Мишка сожрет в два часа времени десять фунтов окорока!

Но все знали, что Мишка способен сделать это, и говорили:

– Пари не держим, а ветчины можно купить, пускай жрет, мы поглядим.

– Только – чтобы чистого мяса дать, без костей!

Поспорят немного и лениво, и вот из темной кладовой вылезает тощий, безбородый, скуластый парень в длинном драповом пальто, подпоясанный красным кушаком, весь облепленный клочьями шерсти. Почтительно сняв картуз с маленькой головы, он молча смотрит мутным взглядом глубоко ввалившихся глаз в круглое лицо хозяина, налитое багровой кровью, обросшее толстым, жестким волосом.

– Батман окорока сожрешь?

– В какое время-с? – тонким голосом деловито спрашивает Мишка.

– В два часа.

– Трудно-с!

– Чего там – трудно!

– Позвольте парочку пива-с!

– Валяй, – говорит хозяин и хвастается: – Вы не думайте, что он натошак, нет, он поутру фунта два калача смял да в полдень обедал, как полагается...

Приносят ветчину, собираются зрители, все матерые купцы, туго закутанные в тяжелые шубы, похожие на огромные гири, люди с большими животами, а глаза у всех маленькие, в жировых опухлях и подернуты сонной дымкой неизбывной скуки.

Тесным кольцом, засунув руки в рукава, они окружают едока, вооруженного ножом и большой краюхой ржаного хлеба; он истово крестится, садится на куль шерсти, кладет окорок на ящик, рядом с собою, измеряет его пустыми глазами.

Отрезав тонкий ломоть хлеба и толстый мяса, едок аккуратно складывает их вместе, обеими руками подносит ко рту, – губы его дрожат, он облизывает их длинным собачьим языком, видны мелкие острые зубы, – и собачьей ухваткой наклоняет морду над мясом.

– Начал!

– Смотрите на часы!

Все глаза деловито направлены на лицо едока, на его нижнюю челюсть, на круглые желваки около ушей; смотрят, как острый подбородок равномерно падает и поднимается, вяло делятся мыслями:

– Чисто – медведь мнет!

– А ты видал медведя за едой?

– Али я в лесу живу? Это говорится так – жрет, как медведь.

– Говорится – как свинья.

– Свинья свинью не ест...

Неохотно смеются, и тотчас кто-то знающий поправляет:

– Свинья все жрет – и поросят и свою сестру...

Лицо едока постепенно буреет, уши становятся сизыми, провалившиеся глаза вылезают из костяных ям, дышит он тяжело, но его подбородок двигается все так же равномерно.

– Навались, Михайло, время! – поощряют его. Он беспокойно измеряет глазами остатки мяса, пьет пиво и снова чавкает. Публика оживляется, все чаще заглядывая на часы в руках Мишкина хозяина, люди предупреждают друг друга:

– Не перевел бы часы-то он назад – возьмите у него!

– За Мишкой следи: не спускал бы в рукава кусков!

– Не сожрет в срок!

Мишкин хозяин задорно кричит:

– Держу четвертной билет! Мишка, не выдай!

Публика задорит хозяина, но никто не принимает пари.

А Мишка все жует, жует, лицо его стало похоже на ветчину, острый, хрящеватый нос жалобно свистит. Смотреть на него страшно, мне кажется, что он сейчас закричит, заплачет:

«Помилуйте...»

Или – заглотается мясом по горло, ткнется головой в ноги зрителям и умрет.

Наконец он все съел, вытаращил пьяные глаза и хрипит устало:

– Испить дайте...

А его хозяин, глядя на часы, ворчит.

– Опоздал, подлец, на четыре минуты...

Публика дразнит его:

– Жаль, не шли на спор с тобой, проиграл бы ты!

– А все-таки зверь-парень!

– Н-да, его бы в цирк...

– Ведь как господь может изуродовать человека, а?

– Айдайте чай пить, что ли?

И плывут, как баржи, в трактир.

Я хочу понять, что сгрудило этих тяжелых, чугунных людей вокруг несчастного парня, почему его болезненное обжорство забавляет их?

Сумрачно и скучно в узкой галерее, тесно заваленной шерстью, овчинами, пенькой, канатом, валяным сапогом, шорным товаром. От панели ее отделяют колонны из кирпича; неуклюже толстые, они обглоданы временем, обрызганы грязью улицы. Все кирпичи и щели между ними, наверное, мысленно пересчитаны тысячи раз и навсегда легли в памяти тяжелой сетью своих уродливых узоров.

По панели не спеша идут пешеходы; по улице не торопясь двигаются извозчики, сани с товаром; за улицей, в красном кирпичном квадрате двухэтажных лавок, – площадь, заваленная ящиками, соломой, мятой оберточной бумагой, покрытая грязным, истоптанным снегом.

Все это, вместе с людьми, лошадьми, несмотря на движение, кажется неподвижным, лениво кружится на одном месте, прикрепленное к нему невидимыми цепями. Вдруг почувствуешь, что эта жизнь – почти беззвучна, до немоты бедна звуками. Скрипят полозья саней, хлопают двери магазинов, кричат торговцы пирогами, сбитнем, но голоса людей звучат невесело, нехотя, они однообразны, к ним быстро привыкаешь и перестаешь замечать их.

Похоронно гудят колокола церковей, – этот унылый звон всегда в памяти уха; кажется, что он плавает в воздухе над базаром непрерывно, с утра до ночи, он прослаивает все мысли, чувства, ложится пригнетающим медным осадком поверх всех впечатлений.

Скука, холодная и нудная, дышит отовсюду: от земли, прикрытой грязным снегом, от серых сугробов на крышах, от мясного кирпича зданий; скука поднимается из труб серым дымом и ползет в серенькое, низкое, пустое небо; скукой дымятся лошади, дышат люди. Она имеет свой запах – тяжелый и тупой запах пота, жира, конопляного масла, подовых пирогов и дыма; этот запах жмет голову, как теплая, тесная шапка, и, просачиваясь в грудь, вызывает странное опьянение, темное желание закрыть глаза, отчаянно заорать, и бежать куда-то, и удариться головой с разбега о первую стену.

Я всматриваюсь в лица купцов, откормленные, туго налитые густой, жирной кровью, наципаные морозом и неподвижные, как во сне. Люди часто зевают, расширяя рты, точно рыбы, выкинутые на сухой песок.

Зимую торговля слабая, и в глазах торгашей нет того настороженного, хищного блеска, который несколько красит, оживляет их летом. Тяжелые шубы, стесняя движения, пригибают людей к земле; говорят купцы лениво, а когда сердятся – спорят; я думаю, что они делают это нарочно, лишь бы показать друг другу: мы – живы!

Мне очень ясно, что скука давит их, убивает, и только безуспешной борьбой против ее всепоглощающей силы я могу объяснить себе жестокие и неумные забавы людей.

Иногда я беседую об этом с Петром Васильевым. Хотя вообще он относится ко мне насмешливо, с издевкой, но ему нравится мое пристрастие к книгам, и порою он разрешает себе говорить со мною поучительно, серьезно.

– Не нравится мне, как живут купцы, – говорю я.

Намотав прядь бороды на длинный палец, он спрашивает:

– А откуда бы тебе знать, как они живут? Али ты в гости часто ходишь к ним?

Здесь, парень, улица, а на улице человеки не живут, на улице они торгуют, а то –

прошел по ней скоренько да и – опять домой! На улицу люди выходят одетые, а под одежей не знать, каковы они есть; открыто человек живет у себя дома, в своих четырех стенах, а как он там живет – это тебе неизвестно!

– Да ведь мысли-то у него одни, что здесь, что дома?

– А кто может знать, какие у соседа мысли? – строго округляя глаза, говорит старик веским баском. – Мысли – как воши, их не сочтешь, – сказывают старики. Может, человек, придя домой-то, падет на колени да и заплачет, бога умоляя: «Прости, господи, согрешил во святой день твой!» Может, дом-от для него – монастырь и живет он там только с богом одним? Так-то вот! Каждый паучок знай свой уголок, плети паутину да умей понять свой вес, чтобы выдержала тебя...

Когда он говорит серьезно, голос звучит еще ниже, басовитее, как бы сообщая важные тайны.

– Ты вот рассуждаешь, а рассуждать тебе – рано, в твои-то годы не умом живут, а глазами! Стало быть, гляди, помни да помалкивай. Разум – для дела, а для души – вера! Что книги читаешь – это хорошо, а во всем надо знать меру: некоторые зачитываются и до безумства и до безбожия...

Он казался мне бессмертным, – трудно было представить, что он может постареть, измениться. Ему нравилось рассказывать истории о купцах, о разбойниках и фальшивомонетчиках, которые становились именитыми людьми; я уже много слышал таких историй от деда, и дед рассказывал лучше начетчика. Но смысл рассказов был одинаков: богатство всегда добывалось грехом против людей и бога. Петр Васильев людей не жалел, а о боге говорил с теплым чувством, вздыхая и пряча глаза.

– Так вот и обманывают бога-то, а он, батюшко Иисус, все видит и плачет: люди мои, люди, горестные люди, ад вам уготован!

Раз я осмелился напомнить ему:

– Ведь вы тоже обманываете мужиков...

Это его не обидело.

– Велико ли мое дело? – сказал он. – Слизну трешницу, пятишницу – вот и вся недолга.

Заставая меня за чтением, он брал из моих рук книгу, придирчиво спрашивал о прочитанном и, недоверчиво удивляясь, говорил приказчику:

– Ты гляди-ко, – понимает книги-то, шельмец!

И толково, памятно поучал:

– Слушай слова мои, это тебе годится! Кириллов – двое было, оба епископы; один – александрийской, другой – ерусалимской. Первый ратоборствовал супроти окаянного еретика Нестория, который учил похабно, что-де богородица – человек есть, а посему – не имела бога родить, но родила человека же, именем и делами Христа, сиречь – спасителя миру; стало быть, надо ее называть не богородица, а христородица, – понял? Это названо – ересь! Ерусалимской же Кирилл боролся против Ария-еретика...

Меня очень восхищало его знание церковной истории, а он, потрепывая бороду холеной поповской рукой, хвастался:

– Я на этом деле – генерал; я в Москву к Троице ездил на словесное прение с ядовитыми учеными никонианами, попами и светскими; я, мальй, даже с профессорами беседы водил, да! Одного попа до того загонял словесным-то бичом, что у него ажно кровь носом пошла, – вот как!

Щеки у него покрывались румянцем, глаза расцветали.

Кровотечение из носа противника он, видимо, считал высшим пунктом своего успеха, самым ярким рубином в златом венце славы своей и рассказывал об этом сладострастно.

– Кра-асивый попище, здоровенный! Стоит он пред аналоем, а из носу-то кап,

кап! И не видит сраму своего. Лют был поп, аки лев пустынный, голосище – колокол! А я его тихонько, да все в душу, да между ребер ей словами-то своими, как шильями!.. Он же прямо, как печь жаркая, накаляется злобой еретической... Эх, бывали дела-а!

Нередко приходили еще начетчики⁶²: Пахомий, человек с большим животом, в засаленной поддевке, кривой на один глаз, обрюзглый и хрюкающий; Лукиян, маленький старичок, гладкий, как мышь, ласковый и бойкий, а с ним большой мрачный человек, похожий на кучера, чернобородый, с мертвым лицом, неприятным, но красивым, с неподвижными глазами.

Почти всегда они приносили продавать старинные книги, иконы, кадилницы, какие-то чаши; иногда приводили продавцов – старуху или старика из-за Волги. Кончив дела, усаживались у прилавка, точно вороны на меже, пили чай с калачами и постным сахаром и рассказывали друг другу о гонениях со стороны никонианской церкви, там – сделали обыск, отобрали богослужебные книги; тут – полиция закрыла молельню и привлекла хозяев ее к суду по 103 статье. Эта 103 статья чаще всего являлась темой их бесед, но они говорили о ней спокойно, как о чем-то неизбежном, вроде морозов зимою.

Слова – полиция, обыск, тюрьма, суд, Сибирь, – слова, постоянно звучавшие в их беседах о гонении за веру, падали на душу мне горячими углями, разжигая симпатию и сочувствие к этим старикам; прочитанные книги научили меня уважать людей, упорных в достижении своих целей, ценить духовную стойкость.

Я забывал все плохое, что видел в этих учителях жизни, чувствовал только их спокойное упорство, за которым – мне казалось – скрыта непоколебимая вера учителей в свою правду, готовность принять за правду все муки.

Впоследствии, когда мне удалось видеть много таких и подобных хранителей старой веры, и в народе и в интеллигенции, я понял, что это упорство – пассивность людей, которым некуда идти с того места, где они стоят, да и не хотят они никуда идти, ибо, крепко связанные путами старых слов, изжитых понятий, они остолбенели в этих словах и понятиях. Их воля неподвижна, неспособна развиваться в направлении к будущему и, когда какой-либо удар извне сбрасывает их с привычного места, они механически катятся вниз, точно камень с горы. Они держатся на своих постах у погоста отживших истин мертвою силою воспоминаний о прошлом и своей болезненной любовью к страданию, угнетению, но, если отнять у них возможность страдания, они, опустошенные, исчезают, как облака в свежий ветреный день.

Вера, за которую они не без удовольствия и с великим самолюбованием готовы пострадать, – это, бесспорно, крепкая вера, но напоминает она заношенную одежду, – промасленная всякой грязью, она только поэтому малодоступна разрушающей работе времени. Мысль и чувство привыкли к тесной, тяжелой оболочке предрассудков и догматов и хотя обескрылены, изуродованы, но живут уютно, удобно.

Эта вера по привычке – одно из наиболее печальных и вредных явлений нашей жизни; в области этой веры, как в тени каменной стены, все новое растет медленно, искаженно, вырастает худосочным. В этой темной вере слишком мало лучей любви, слишком много обиды, озлобления и зависти, всегда дружной с ненавистью. Огонь этой веры – фосфорический блеск гниения.

Но для того, чтобы убедиться в этом, мне пришлось пережить много тяжелых лет, многое сломать в душе своей, выбросить из памяти. А в то время, когда я впервые встретил учителей жизни среди скучной и бессовестной действительности, – они показались мне людьми великой духовной силы, лучшими людьми земли. Почти каждый из них судился, сидел в тюрьме, был высылаем из разных городов,

⁶² Начетчик – в старообрядчестве богослов, знаток старопечатной (до реформы Никона) религиозной литературы.

странствовал по этапам с арестантами; все они жили осторожно, все прятались.

Однако я видел, что, жалуясь на «утеснение духа» никонианами, старцы и сами охотно очень, даже с удовольствием, утесняют друг друга.

Кривой Пахомий, выпивши, любил хвастаться своей поистине удивительной памятью, – некоторые книги он знал «с пальца», – как еврей-ешиботник знает Талмуд,⁶³ – ткнет пальцем в любую страницу, и с того слова, на котором остановится палец, Пахомий начинает читать дальше наизусть, мягоньким гнусавым голоском. Он всегда смотрит в пол, и его единственный глаз бегаёт по полу так тревожно, точно ищет нечто потерянное, очень ценное. Чаще всего он показывал этот фокус на книге князя Мышецкого «Виноград Российский», – он особенно хорошо знал «многотерпеливые и многомужественные страдания дивных и всехрабрых страдальцев», а Петр Васильев все старался поймать его на ошибках.

– Врешь! Это не с Киприаном Благоюродивым было, а с Денисом Целомудрым.

– Какой еще Денис? Дионисий речется...

– Ты за слово не цепляйся!

– А ты меня не учи!

Через минуту оба они, раздутые гневом, глядя в упор друг на друга, говорят:

– Чревоугодник ты, бесстыжая рожа, вон какое чрево наел...

Пахомий отвечает, точно на счетах считая:

– А ты – любострастник, козел, бабий прихвостень.

Приказчик, спрятав руки в рукава, ехидно улыбается и поощряет хранителей древнего благочестия, словно мальчишек:

– Та-ак его! А ну-ка, еще!

Однажды старцы подрались. Петр Васильев, с неожиданной ловкостью отшлепав товарища по щекам, обратил его в бегство и, устало отирая пот с лица, крикнул вслед бегущему:

– Смотри – это на тебя грех ляжет! Ты, окаянный, длань мою во грех-то ввел, тьфу тебе!

Он особенно любил упрекать всех товарищей своих, что они недостаточно тверды верой и все впадают в «нетовщину».

– Это все Алексаша вас смущает, – какой ведь петух запел!

Нетовщина раздражала и, видимо, пугала его, но на вопрос: в чем суть этого учения? – он отвечал не очень вразумительно:

– Нетовщина – еретичество самое горькое, в нем – один разум, а бога нет! Вон в казаках, чу, ничего уж и не почитают, окромя Библии, а Библия это от немцев саратовских, от Лютора⁶⁴, о коем сказано: «имя себе прилично сочета: воистину бо – Лютор, иже лют глаголется, люте бо, любо люто!» Называются нетовцы шалопутами, а также штундой, и все это – от Запада, от тамошних еретиков.

Притопывая изуродованной ногой, он говорил холодно и веско:

– Вот кого новообрядствующей-то церкви надо гнать, вот кого зорить да жечь! А не нас, мы – искони Русь, наша вера истинная, восточная, корневая русская вера, а это все – Запад, искаженное вольнодумство! От немцев, от французов – какое добро? Вон они в двенадцатом-то году...

Увлекаясь, он забывал, что перед ним мальчишка, крепкой рукою брал меня за кушак и, то подтягивая к себе, то отталкивая, говорил красиво, взволнованный, горячо и молодо:

⁶³ Талмуд – многотомный свод правовых и религиозно-этических положений иудаизма.

⁶⁴ Мартин Лютер (1483–1546) – деятель Реформации в Германии, основатель немецкого протестантизма. Перевел на немецкий язык Библию, утвердив нормы общенемецкого литературного языка.

– Блуждает разум человек в дебрях вымыслов своих, подобно лютому волку блуждает он, дьяволу подчиненный, истязуя душеньку человечью, божий дар! Что выдумали, бесовы послушники? Богомилы, через которых вся нетовщина пошла, учили: сатана-де суть сын господень, старшой брат Иисуса Христа, – вот куда доходили! Учили также: начальство – не слушать, работу – не работать, жен, детей – бросить; ничего-де человеку не надо, никакого порядка, а пускай человек живет как хочет, как ему бес укажет. Вон опять явился Алексашка этот, о, черви...

Случалось, что в это время приказчик заставлял меня что-либо делать, я отходил от старика, но он, оставаясь один на галерее, продолжал говорить в пустоту вокруг себя:

– О бескрылые души, о котята слепорожденные, – камо бегу от вас?

И потом, откинув голову, упираясь руками в колени, долго молчал, пристально и неподвижно глядя в зимнее, серое небо.

Он стал относиться ко мне более внимательно и ласково; заставляя меня за книгой, гладил по плечу и говорил:

– Читай, малый, читай, годится! Умишко у тебя будто есть; жаль старших не уважаешь, со всеми зуб за зуб, ты думаешь – это озорство куда тебя приведет? Это, малый, приведет тебя не куда иначе, как в арестантские роты. Книги – читай, однако помни – книга книгой, а своим мозгом двигай! Вон у хлыстов был наставник Данило, так он дошел до мысли, что-де ни старые, ни новые книги не нужны, собрал их в куль да – в воду! Да... Это, конечно, тоже – глупость! Вот и Алексаша, песья голова, мутит...

Он все чаще вспоминал про этого Алексашу и однажды, придя в лавку озабоченный, суровый, объявил приказчику:

– Александра Васильев здесь, в городе, вчера прибыл! Искал, искал его – не нашел. Скрывается! Посижу, поди-ка заглянет сюда...

Приказчик недружелюбно отозвался:

– Я ничего не знаю, никого!

Кивнув головою, старик сказал:

– Так и следует: для тебя – все люди покупатели да продавцы, а иных нет! Угости-ка чайком...

Когда я принес большой медный чайник кипятку, в лавке оказались гости: старичок Лукиян, весело улыбавшийся, а за дверью, в темном уголке, сидел новый человек, одетый в теплое пальто и высокие валяные сапоги, подпоясанный зеленым кушаком, в шапке, неловко надвинутой на брови. Лицо у него было неприметное, он казался тихим, скромным, был похож на приказчика, который только что потерял место и очень удручен этим.

Петр Васильев, не глядя в его сторону, что-то говорил, строго и веско, а он судорожным движением правой руки все сдвигал шапку: подымет руку, точно собираясь перекреститься, и толкнет шапку вверх, потом – еще и еще, а сдвинув ее почти до темени, снова туго и неловко натянет до бровей. Этот судорожный жест заставил меня вспомнить дурачка Игошу Смерть в Кармане.

– Плавают в мутной нашей речке разные налимы и все больше мутят воду-то, – говорил Петр Васильев.

Человек, похожий на приказчика, тихо и спокойно спросил:

– Это ты – про меня, что ли?

– Хоть бы и про тебя...

Тогда человек еще спросил, негромко, но очень задушевно:

– Ну, а про себя как ты скажешь, человек?

– Про себя я только богу скажу – это мое дело...

– Нет, человек, и мое тоже, – сказал новый торжественно и сильно. – Не отвращай

лица твоего от правды, не ослепляй себя самонамеренно, это есть великий грех пред богом и людьми!

Мне нравилось, что он называет Петра Васильева человеком, и меня волновал его тихий, торжественный голос. Он говорил так, как хорошие попы читают «Господи, Владыко живота моего», и все наклонялся вперед, съезжая со стула, взмахивая рукою перед своим лицом...

– Не осуждай меня, я не грязнее тебя во грехе...

– Закипел самовар, зафыркал, – пренебрежительно выговорил старый начетчик, а тот продолжал, не останавливаясь на его словах:

– Только богу известно, кто боле мутит источники духа свята, может, это – ваш грех, книжные, бумажные люди, а я не книжный, не бумажный, я простой, живой человек...

– Знаю я простоту твою, слыхал довольно!

– Это вы путаете людей, вы ломаете прямые – то мысли, вы, книжники и фарисеи... Я – что говорю, скажи?

– Ересь! – сказал Петр Васильев, а человек, двигая ладонью перед лицом своим, точно читая написанное на ней, жарко говорил:

– Вы думаете, перегнав людей из одного хлева в другой, – лучше сделаете им? А я говорю – нет! Я говорю – освободись, человек! К чему дом, жена и все твое перед господом? Освободись, человек, ото всего, за что люди бьют и режут друг друга, – от золота, серебра и всякого имущества, оно же есть тлен и пакость! Не на полях земных спасение души, а в долинах райских! Оторвитесь ото всего, говорю я, порвите все связки, веревки, порушьте сеть мира сего это плетение антихристово... Я иду прямым путем, я не виляю душой, темного мира не приемлю...

– А хлеб, воду, одежду – приемлешь? Это ведь, гляди, мирское! – ехидно сказал старик.

Но и эти слова не коснулись Александра, он продолжал все более задушевно, и, хотя голос его звучал негромко, казалось, что он трубит в медную трубу.

– Что дорого тебе, человек? Только бог един дорог; встань же пред ним – чистый ото всего, сорви путы земные с души твоей, и увидит господь: ты один, он – один! Так приблизишься господу, это – един путь до него. Вот в чем спасение указано – отцамать, брось, указано, все брось и даже око, соблазняющее тебя, – вырви! Бога ради истреби себя в вещах и сохрани в духе, и восплает душа твоя на веки и веки...

– Ну-ко тебя ко псам смердящим, – сказал Петр Васильев, вставая. – Я было думал, что ты с прошлого году-то умнее стал, а ты – хуже того...

Старик, покачиваясь, вышел из лавки на террасу; это встревожило Александра, он удивленно и торопливо спросил:

– Уходишь? А... как же?

Но ласковый Лукиян, подмигнув успокоительно, проговорил:

– Ничего... ничего...

Тогда Александр опрокинулся на него:

– Вот и ты, хлопотун наземный, тоже сеешь хламные слова, а – что толку? Ну – трегубая аллилуйя, ну – сугубая...

Лукиян улыбнулся ему и тоже пошел на террасу, а он, обращаясь к приказчику, сказал уверенно:

– Не могут они терпеть духа моего, не могут! Исчезают, яко дым от лица огня...

Приказчик взглянул на него исподлобья и сухо заметил:

– Я в эти дела не вникаю.

Человек как будто сконфузился, надвинул шапку, пробормотал:

– Как же можно не вникать? Это дела такие... они требуют, чтобы вникали...

Посидел с минуту молча, опустив голову; потом его позвали старики, и все трое они, не простясь, ушли.

Этот человек вспыхнул предо мною, словно костер в ночи, ярко погорел и угас, заставив меня почувствовать какую-то правду в его отрицании жизни.

Вечером, выбрав время, я с жаром рассказал о нем старшему мастеру иконописной, тихому и ласковому Ивану Ларионовичу; он выслушал меня и объяснил:

– Бегун, видно, это есть такие сектари – не признают ничего.

– Как же они живут?

– В бегах живут, все странствуют по земле, затем и дано им нарицание бегуны. Земля и все прилагаемое к ней – чужое для нас, говорят они, а полиция считает их вредными, ловит...

Хотя мне жилось горько, но я не понимал: как это можно бежать ото всего? В жизни, окружавшей меня тою порой, было много интересного, дорогого мне, и скоро Александр Васильев поблек в моей памяти.

Но время от времени, в тяжелые часы, он являлся предо мною: идет полем, по серой дороге, к лесу, толкает шапку судорожным движением белой; нерабочей руки и бормочет:

– Я иду путем правильным, я ничего не приемлю! Связки-те, веревки-те порви...

Рядом с ним вспоминался отец, как бабушка видела его во сне: с палочкой ореховой в руке, а следом за ним пестрая собака бежит, трясет языком...

Глава XIII

Иконописная мастерская помещалась в двух комнатах большого полукаменного дома; одна комната о трех окнах во двор и двух – в сад; другая – окно в сад, окно на улицу. Окна маленькие, квадратные, стекла в них, радужные от старости, неохотно пропускают в мастерскую бедный, рассеянный свет зимних дней.

Обе комнаты тесно заставлены столами, за каждым столом сидит, согнувшись, иконописец, за иными – по двое. С потолка спускаются на бечевках стеклянные шары; налитые водою, они собирают свет лампы, отбрасывая его на квадратную доску иконы белым, холодным лучом.

В мастерской жарко и душно; работает около двадцати человек «богомазов» из Палеха, Холуя, Мстеры⁶⁵; все сидят в ситцевых рубахах с расстегнутыми воротами, в тиковых подштанниках, босые или в опорках. Над головами мастеров простерта сизая пелена сожженной махорки, стоит густой запах олифы, лака, тухлых яиц. Медленно, как смола, течет заунывная владимирская песня:

Какой нынче стал бессовестный народ
При народе мальчик девочку прельстил...

Поют и другие песни, тоже невеселые, но эту – чаще других. Ее тягучий мотив не мешает думать, не мешает водить тонкой кисточкой из волос горностаея по рисунку иконы, раскрашивая складки «доличного», накладывая на костяные лица святых тоненькие морщинки страдания. Под окном стучит молоточком чеканщик Гоголев – пьяный старик, с огромным синим носом; в ленивую струю песни непрерывно вторгается сухой стук молотка – словно червь точит дерево.

Иконопись никого не увлекает; какой-то злой мудрец раздробил работу на длинный ряд действий, лишенных красоты, не способных возбудить любовь к делу,

⁶⁵ Палех, Мстера и Холуй являлись последними центрами, где в конце XIX в. сохранялись художественные традиции древнерусской живописи (иконописи).

интерес к нему. Косоглазый столяр Панфил, злой и ехидный, приносит выстроганные им и склеенные кипарисовые и липовые доски разных размеров; чахоточный парень Давидов грунтует их; его товарищ Сорокин кладет «левкас»⁶⁶; Миляшин сводит карандашом рисунок с подлинника; старик Гоголев золотит и чеканит по золоту узор; доличники⁶⁷ пишут пейзаж и одеяние иконы, затем она, без лица и ручек, стоит у стены, ожидая работы личников.

Очень неприятно видеть большие иконы для иконостасов и алтарных дверей, когда они стоят у стены без лица, рук и ног, – только одни ризы или латы и коротенькие рубашечки архангелов. От этих пестро расписанных досок веет мертвым; того, что должно оживить их, – нет, но кажется, что оно уже было и чудесно исчезло, оставив только свои тяжелые ризы.

Когда «тельце» написано личником⁶⁸, икону сдают мастеру, который накладывает по узору чеканки «финифть»; надписи пишет тоже отдельный мастер, а кроет лаком сам управляющий мастерскою, Иван Ларионыч, тихий человек.

Лицо у него серое, борода тоже серая, из тонких шелковых волос, серые глаза как-то особенно глубоки и печальны. Он хорошо улыбается, но ему не улыбнешься, неловко как-то. Он похож на икону Симеона Столпника⁶⁹ – такой же сухой, тощий, и его неподвижные глаза так же отвлеченно смотрят куда-то вдаль, сквозь людей и стены.

Через несколько дней после того, как я поступил в мастерскую, мастер по хоругвям, донской казак Капендюхин, красавец и силач, пришел пьяный и, крепко сцепив зубы, пришурился сладкие, бабьи глаза, начал молча избивать всех железными кулаками. Невысокий и стройный, он метался по мастерской, словно кот в погребе среди крыс; растерявшиеся люди прятались от него по углам и оттуда кричали друг другу:

– Бей!

Личнику Евгению Ситанову удалось ошеломить взбесившегося буяна ударом табурета по голове. Казак сел на пол, его тотчас опрокинули и связали полотенцами, он стал грызть и рвать их зубами зверя. Тогда взбесился Евгений – вскочил на стол и, прижав локти к бокам, приготовился прыгнуть на казака; высокий, жилистый, он неизбежно раздавил бы своим прыжком грудную клетку Капендюхина, но в эту минуту около него появился Ларионыч в пальто и шапке, погрозил пальцем Ситанову и сказал мастерам тихо и деловито:

– Вынести его в сени, пусть отрезвеет...

Казака вытащили из мастерской, расставили столы, стулья и снова уселись за работу, перекидываясь краткими замечаниями о силе товарища, предвещая, что его когда-нибудь убьют в драке.

– Убить его трудно, – сказал Ситанов очень спокойно, как говорят о деле, хорошо знакомом.

Я смотрел на Ларионыча, недоуменно соображая: почему эти крепкие, буйные люди так легко подчиняются ему?

⁶⁶ Левкас – специальный грунт, приготовленный из мела и клея, который наносится на иконную доску тонким слоем в качестве основы под краски.

⁶⁷ Доличник – мастер, специализирующийся в писании одежд, пейзажей и прочих элементов иконы, кроме лика святого.

⁶⁸ Личник – иконописец, специализирующийся на изображении лиц, рук и прочих открытых частей тела.

⁶⁹ Симеона Столпник (около 390–459) – христианский святой. Знаменит тем, что провел на столпе 37 лет в посте и молитве, а также другими беспримерными подвигами самоограничения и воздержания. Был проповедником, согласно житию, получил от Бога дар исцелять душевные и телесные болезни, предвидеть будущее.

Он всем показывал, как надо работать, даже лучшие мастера охотно слушали его советы; Капендюхина он учил больше и многословнее, чем других.

– Ты, Капендюхин, называешься – живописец, это значит, ты должен живо писать, итальянской манерой. Живопись маслом требует единства красок теплых, а ты вот подвел избыточно белил, и вышли у богородицы глазки холодные, зимние. Щечки написаны румяно, яблоками, а глазки – чужие к ним. Да и неверно поставлены – один заглянул в переносье, другой на висок отодвинут, и вышло личико не свято – чистое, а хитрое, земное. Не думаешь ты над работой, Капендюхин.

Казак, слушая, кривит лицо, потом, бесстыдно улыбаясь бабьими глазами, говорит приятным голосом, немножко сиплым от пьянства:

– Эх, Ив-ан Ларионыч, отец, – не мое это дело. Я музыкантом родился, а меня – в монахи!

– Усердием всякое дело можно одолеть.

– Нет, что такое я? Мне бы в кучера да тройку борзых, э...

И, выгнув кадык, он отчаянно затягивает:

Э, и-ах за-апрягу я тройку борзых
Темно-карих лошадей,
Ох, да и помчуся в ноченьку морозну
Да прямо – ой, прямо к любушке своей!

Иван Ларионович, покорно улыбаясь, поправляет очки на сером, печальном носу и отходит прочь, а десяток голосов дружно подхватывают песню, сливаясь в могучий поток, и, точно подняв на воздух всю мастерскую, мерными толчками качает ее.

По привычке – кони знают,
Где су-дарушка живет...

Ученик Пашка Одинцов, бросив отливать желтки яиц, держа в руках по скорлупе, великолепным дискантом ведет подголосье.

Опьяненные звуками, все забылись, все дышат одной грудью, живут одним чувством, искоса следя за казаком. Когда он пел, мастерская признавала его своим владыкой; все тянулись к нему, следя за широкими взмахами его рук, он разводил руками, точно собираясь лететь. Я уверен, что если бы он, вдруг прервав песню, крикнул: «Бей, ломай все!» – все, даже самые солидные мастера, в несколько минут разнесли бы мастерскую в щепы.

Пел он редко, но власть его буйных песен была всегда одинаково неотразима и победна; как бы тяжело ни были настроены люди, он поднимал и зажигал их, все напрягались, становясь в жарком слиянии сил могучим органом.

У меня эти песни вызывали горячее чувство зависти к певцу, к его красивой власти над людьми; что-то жутко волнующее вливалось в сердце, расширяя его до боли, хотелось плакать и кричать поющим людям:

«Я люблю вас!»

Чахоточный, желтый Давидов, весь в клочьях волос, тоже открывал рот, странно уподобляясь галчонку, только что вылупившемуся из яйца.

Веселые, буйные песни пелись только тогда, когда их заводил казак, чаще же пели унылые и тягучие о «бессовестном народе», «Уж как под лесом-лесочком» и о смерти Александра I: «Как поехал наш Лександра свою армию смотреть».

Иногда, по предложению лучшего личника нашей мастерской Жихарева, пробовали петь церковное, но это редко удавалось. Жихарев всегда добивался какой-то

особенной, только ему одному понятной стройности и всем мешал петь.

Это был человек лет сорока пяти, сухой, лысый, в полувенце черных курчаво-цыганских волос, с большими, точно усы, черными бровями. Острая густая бородка очень украшала его тонкое и смуглое, нерусское лицо, но под горбатым носом торчали жесткие усы, лишние при его бровях. Синие глаза его были разны: левый – заметно больше правого.

– Пашка! – кричал он тенором моем товарищу, ученику, – ну-ко, заведи:

«Хвалите!» Народ, прислушайся!

Вытирая руки о передник, Пашка заводил:

– «Хва-алите...»

– «...и-имя господне», – подхватывало несколько голосов, а Жихарев тревожно кричал:

– Евгений – ниже! Опустит голос в самые недра души...

Ситанов глухо, точно в бочку бьет, взывает:

– «Р-раби господа...»

– Не то-о! Тут надо так хватить, чтобы земля сотряслась и распахнулись бы сами собою двери, окна!

Жихарев весь дергался в непонятном возбуждении, его удивительные брови ходят по лбу вверх и вниз, голос у него срывается, и пальцы играют на невидимых гуслях

– Рабы господа – понимаешь? – многозначительно говорит он. – Это надо почувствовать до зерна, сквозь всю шелуху. Р-рабы, хвалите господа! Как же вы, народ живой, не понимаете?

– Это у нас никогда не выходит, как вам известно, – вежливо говорит Ситанов.

– Ну, оставим!

Жихарев обиженно принимается за работу. Он лучший мастер, может писать лица по-византийски, по-фряжски и «живописно», итальянской манерой. Принимая заказы на иконостасы, Ларионыч советуется с ним, – он тонкий знаток иконописных подлинников, все дорогие копии чудотворных икон – Феодоровской, Смоленской, Казанской и других – проходят через его руки. Но, роясь в подлинниках, он громко ворчит:

– Связали нас подлиннички эти... Надо сказать прямо: связали!..

Несмотря на важное свое положение в мастерской, он заносчив менее других, ласково относится к ученикам – ко мне и Павлу; хочет научить нас мастерству – этим никто не занимается, кроме него.

Его трудно понять; вообще – невеселый человек, он иногда целую неделю работает молча, точно немой; смотрит на всех удивленно и чуждо, будто впервые видя знакомых ему людей, И хотя очень любит пение, но в эти дни не поет и даже словно не слышит песен. Все следят за ним, подмигивая на него друг другу. Он согнулся над косо поставленной иконой, доска ее стоит на коленях у него, середина упирается на край стола, его тонкая кисть тщательно выписывает темное, отчужденное лицо, сам он тоже темный и отчужденный.

Вдруг он говорит, четко и обиженно:

– Предтеча – что такое? Течь, по-древнему, значит – идти. Предтеча предшественник, а – не иное что...

В мастерской становится тихо, все косятся в сторону Жихарева, усмехаясь, а в тишине звучат странные слова:

– Его надо не в овчине писать, а с крыльями...

– Ты – с кем говоришь? – спрашивают его.

Он молчит, не слышит вопроса или не хочет ответить, потом – снова падают в ожидающую тишину его слова:

– Жития⁷⁰ надо знать, а кто их знает – жития? Что мы знаем? Живем без окрыления... Где – душа? Душа – где? Подлиннички... да! – есть. А сердца нет...

Эти думы вслух вызывают у всех, кроме Ситанова, насмешливые улыбки; почти всегда кто-нибудь злорадно шепчет:

– В субботу – запьет...

Длинный, жилистый Ситанов, юноша двадцати двух лет, с круглым лицом без усов и бровей, печально и серьезно смотрит в угол.

Помню, закончив копию Феодоровской божией матери, кажется, в Кунгур⁷¹, Жихарев положил икону на стол и сказал громко, взволнованно:

– Кончена матушка! Яко чаша ты, – чаша бездонная, в кою польются теперь горькие, сердечные слезы мира людского...

И, накинув на плечи чье-то пальто, ушел – в кабак. Молодежь засмеялась, засвистала; люди постарше завистливо вздохнули вслед ему, а Ситанов подошел к работе, внимательно посмотрел на нее и объяснил:

– Конечно, он запьет, потому что жалко сдавать работу. Эта жалость не всем доступна...

Запой Жихарева начинались всегда по субботам. Это, пожалуй, не была обычная болезнь алкоголика-мастерового; начиналось это так: утром он писал записку и куда-то посылал с нею Павла, а перед обедом говорил Ларионычу:

– Я сегодня – в баню!

– Надолго ли?

– Ну, господи...

– Уж, пожалуйста, не позже, как до вторника!

Жихарев согласно кивал голым черепом, брови у него дрожали.

Возвратясь из бани, он одевался франтом, надевал манишку, косынку на шею, выпускал по атласному жилету длинную серебряную цепь и молча уезжал, приказав мне и Павлу

– К вечеру приберите мастерскую почище; большой стол вымыть, выскоблить!

У всех являлось праздничное настроение, все подтягивались, чистились, бежали в баню, наскоро ужинали; после ужина являлся Жихарев, с кульками закусок, с пивом и вином, а за ним – женщина, преувеличенная во всех измерениях почти безобразно. Ростом она была вершков двенадцати сверх двух аршин, все наши стулья и табуретки становились перед нею игрушечными, даже длинный Ситанов – подросток обок с нею. Она очень стройная, но ее грудь бугром поднята к подбородку, движения медленны, неуклюжи. Ей за сорок лет, но круглое, неподвижное лицо ее, с огромными глазами лошади, свежо и гладко, маленький рот кажется нарисованным, как у дешевой куклы. Жеманно улыбаясь, она совала всем широкую теплую ладонь и говорила ненужные слова:

– Здравствуйте. Морозно сегодня. Как у вас густо пахнет. Это краской пахнет. Здравствуйте.

Смотреть на нее, спокойную и сильную, как большая полноводная река, приятно, но в речах ее – что-то снотворное, все они не нужны и утомляют. Перед тем, как сказать слово, она надувалась, еще более округляя почти багровые щеки.

Молодежь, ухмыляясь, шепчется:

– Вот так машина!

– Колокольня!

Сложив губы бантиком, а руки под грудями, она садится за накрытый стол, к

⁷⁰ Житие – жанр духовной литературы, представляющий собой рассказ о жизни святого, построенный по определенным правилам.

⁷¹ Кунгур – старый купеческий город на Урале.

самовару, и смотрит на всех по очереди добрым взглядом лошадиных глаз.

Все относятся к ней почтительно, молодежь даже немножко боится ее, смотрит юноша на это большое тело жадными глазами, но когда с его взглядом встретится ее тесно обнимающий взгляд, юноша смущенно опускает свои глаза. Жихарев тоже почтителен к своей гостье, говорит с нею на «вы», зовет ее кумушкой, угощая, кланяется низко.

– Да вы не беспокойтесь, – сладко тянет она, – какой вы беспокойный, право!

Сама она живет не спеша, руки ее двигаются только от локтей до кисти, а локти крепко прижаты к бокам. От нее исходит спиртной запах горячего хлеба.

Старик Гоголев, заикаясь от восторга, хвалит красоту женщины – точно дьячок акафист⁷² читает, она слушает, благосклонно улыбаясь, а когда он запутается в словах – она говорит о себе:

– А в девицах мы вовсе некрасивой были, это все от женской жизни прибавилось нам. К тридцати годам сделались мы такой примечательной, что даже дворяне интересовались, один уездный предводитель коляску с парой лошадей обещали...

Капендюхин, выпивший, востропанный, смотрит на нее ненавидящим взглядом и грубо спрашивает:

– Это – за что же обещал?

– За любовь нашу, конечно, – объясняет гостья.

– Любовь, – бормочет Капендюхин, смущаясь, – какая там любовь?

– Вы, такой прекрасный молодец, очень хорошо знаете про любовь, – говорит женщина просто.

Мастерская трясется от хохота, а Ситанов ворчит Капендюхину:

– Дура, коли не хуже! Эдакую можно любить только от великой тоски, как всем известно...

Он бледнеет от вина, на висках у него жемчужинами выступил пот, умные глаза тревожно горят. А старик Гоголев, покачивая уродливым носом, отирает слезы с глаз пальцами и спрашивает:

– Деток у тебя сколько было?

– Дитя у нас было одно...

Над столом висит лампа, за углом печи – другая. Они дают мало света, в углах мастерской сошлись густые тени, откуда смотрят недописанные, обезглавленные фигуры. В плоских серых пятнах, на месте рук и голов, чудится жуткое, – больше, чем всегда, кажется, что тела святых таинственно исчезли из раскрашенных одежд, из этого подвала. Стекланные шары подняты к самому потолку, висят там на крючках, в облаке дыма, и синевато поблескивают.

Жихарев беспокойно ходит вокруг стола, всех угощая, его лысый череп склоняется то к тому, то к другому, тонкие пальцы все время играют. Он похудел, хищный нос его стал острее; когда он стоит боком к огню, на щеку его ложится черная тень носа.

– Пейте, ешьте, друзья, – говорит он звонким тенором.

А женщина поет хозяйственно:

– Что вы, куманек, беспокоитесь? У всякого своя рука, свой аппетит; больше того, сколько хочется, – никто не может съесть!

– Отдыхай, народ! – возбужденно кричит Жихарев. – Друзья мои, все мы рабы божьи, давайте споем «Хвалите имя»...

Песнопение не удается; все уже размякли, опьянев от еды и водки В руках Капендюхина – двухрядная гармония, молодой Виктор Салаутин, черный и серьезный,

⁷² Акафист – особые хвалебные песнопения в честь Спасителя, Божией Матери или святых.

точно вороненок, взял бубен, водит по тугой коже пальцем, кожа глухо гудит, задорно брякают бубенчики.

– Р-русскую! – командует Жихарев. – Кумушка, пожалуйста!

– Ах, – вздыхает женщина, вставая, – как вы беспокоитесь!

Выходит на свободное место и стоит на нем прочно, как часовня. На ней широкая коричневая юбка, желтая батистовая кофта и алый платок на голове.

Задорно вопит гармоника, звонят ее колокольчики, брякают бубенцы, кожа бубна издает звук тяжелый, глухо вздыхающий; это неприятно слышать: точно человек сошел с ума и, охая, рыдая, колотит лбом о стену.

Жихарев не умеет плясать, он просто семенит ногами, притопывает каблуками ярко начищенных сапог, прыгает козлам и все не в такт разымчивой музыке. Ноги у него – точно чужие, тело некрасиво извивается, он бьется, как оса в паутине или рыба в сети, – это невесело. Но все, даже пьяные, смотрят на его судороги внимательно, все молча следят за его лицом и руками. Лицо Жихарева изумительно играет, становясь то ласковым и сконфуженным, то вдруг гордым, и – сурово хмурится; вот он чему-то удивился, ахнул, закрыл на секунду глаза, а открыв их, – стал печален. Сжав кулаки, он крадется к женщине и вдруг, топнув ногой, падает на колени перед нею, широко раскинув руки, подняв брови, сердечно улыбаясь. Она смотрит на него сверху вниз с благосклонной улыбкой и предупреждает спокойно:

– Устанете вы, куманек!

Она пытается умильно прикрыть глаза, но эти глаза, объемом в трехкопеечную монету, не закрываются, и ее лицо, сморщившись, принимает неприятное выражение.

Она тоже не умеет плясать, только медленно раскачивает свое огромное тело и бесшумно передвигает его с места на место. В левой руке у нее платок, она лениво помахивает им; правая рука уперта в бок – это делает ее похожей на огромный кувшин.

А Жихарев ходит вокруг этой каменной бабы, противоречиво изменяя лицо, – кажется, что пляшет не один, а десять человек, все разные: один тихий, покорный; другой – сердитый, пугающий; третий – сам чего-то боится и, тихонько охая, хочет незаметно уйти от большой неприятной женщины. Вот явился еще один – оскалил зубы и судорожно изгибается, точно раненая собака. Эта скучная, некрасивая пляска вызывает у меня тяжелое уныние, будит нехорошие воспоминания о солдатах, прачках и кухарках, о собачьих свадьбах.

В памяти тихие слова Сидорова:

«В этом деле все – врут, это уж такое дело – стыдно всем, никто никого не любит, а просто – баловство...»

Я не хочу верить, что «все врут в этом деле», – как же тогда Королева Марго? И Жихарев не врет, конечно. Я знаю, что Ситанов полюбил «гулящую» девицу, а она заразила его постыдной болезнью, но он не бьет ее за это, как советуют ему товарищи, а нанял ей комнату, лечит девицу и всегда говорит о ней как-то особенно ласково, смущенно.

Большая женщина все качается, мертво улыбаясь, помахивая платочком, Жихарев судорожно прыгает вокруг нее, я смотрю и думаю: неужели Ева, обманувшая бога, была похожа на эту лошадь? У меня возникает чувство ненависти к ней.

Безликие иконы смотрят с темных стен, к стеклам окон прижалась темная ночь. Лампы горят тускло в духоте мастерской; прислушаешься, и – среди тяжелого топота, в шуме голосов выделяется торопливое падение капель воды из медного умывальника в ушат с помями.

Как все это не похоже на жизнь, о которой я читал в книгах! Жутко не похоже. Вот, наконец, всем стало скучно. Капендюхин сует гармонику в руки Салаутина и кричит:

– Делай! С дымом!

Он пляшет, как Ванька Цыган, – точно по воздуху летает; потом задорно и ловко пляшет Павел Одинцов, Сорокин; чахоточный Давидов тоже двигает по полу ногами и кашляет от пыли, дыма, крепкого запаха водки и копченой колбасы, которая всегда пахнет плохо дубленной кожей.

Пляшут, поют, кричат, но каждый помнит, что он – веселится, и все точно экзамен сдают друг другу, – экзамен на ловкость и неутомимость

Выпивший Ситанов спрашивает то того, то другого:

– Разве можно любить такую женщину, а?

Кажется, что он сейчас заплачет.

Ларионыч, приподняв острые кости плеч, отвечает ему:

– Женщина как женщина, – чего тебе надо?

Те, о ком говорят, незаметно исчезли. Жихарев явится в мастерскую дня через два-три, сходит в баню и недели две будет работать в своем углу молча, важный, всем чужой.

– Ушли? – спрашивает Ситанов сам себя, осматривая мастерскую печальными синевато – серыми глазами. Лицо у него некрасивое, какое-то старческое, но глаза – ясные и добрые.

Ситанов относится ко мне дружески, – этим я обязан моей толстой тетради, в которой записаны стихи. Он не верит в бога, но очень трудно понять – кто в мастерской, кроме Ларионыча, любит бога и верит в него: все говорят о нем легкомысленно, насмешливо, так же, как любят говорить о хозяйке. Однако, садясь обедать и ужинать, – все крестятся, ложась спать молятся, ходят в церковь по праздникам.

Ситанов ничего этого не делает, и его считают безбожником.

– Бога нет, – говорит он.

– Откуда же все?

– Не знаю...

Когда я спросил его: как же это – бога нет? – он объяснил:

– Видишь ли: Бог – Высота!

И поднял длинную руку над своей головой, а потом опустил ее на аршин от пола и сказал:

– Человек – Низость! Верно? А сказано: «Человек создан по образу и подобию божию», как тебе известно! А чему подобен Гоголев?

Это меня опрокидывает: грязный и пьяный старик Гоголев, несмотря на свои годы, грешит грехом Онана⁷³; я вспоминаю вятского солдата Ермохина, сестру бабушки, – что в них богоподобного?

– Люди – свиньи, как это известно, – говорит Ситанов и тотчас же начинает утешать меня:

– Ничего, Максимыч, есть и хорошие, есть!

С ним было легко, просто. Когда он не знал чего-либо, то откровенно говорил:

– Не знаю, об этом не думал!

Это – тоже необыкновенно: до встречи с ним я видел только людей, которые все знали, обо всем говорили.

Мне было странно видеть в его тетрадке, рядом с хорошими стихами, которые трогали душу, множество грязных стихотворений, возбуждавших только стыд. Когда я говорил ему о Пушкине, он указывал на «Гавриладию»⁷⁴, списанную в его тетрадке...

⁷³ Грех Онана – грех рукоблудия.

⁷⁴ Поэма А.С.Пушкина, в которой пародийно-иронически интерпретируется евангельский сюжет возвещения архангелом Гавриилом Деве Марии о будущем рождении по плоти от нее Иисуса Христа.

– Пушкин – что? Просто – шутник, а вот Бенедиктов⁷⁵ – это, Максимыч, стоит внимания!

И, закрыв глаза, тихонько читал:

Взгляни: вот женщины прекрасной
Обворожительная грудь...

И почему-то особенно выделял три строки, читая их с гордой радостью:

Но и орла не могут взоры
Сквозь эти жаркие затворы
Пройти – и в сердце заглянуть...

– Понимаешь?

Мне очень неловко было сознаться, что – не понимаю я, чему он радуется.

Глава XIV

Мои обязанности в мастерской были несложны: утром, когда еще все спят, я должен был приготовить мастерам самовар, а пока они пили чай в кухне, мы с Павлом прибирали мастерскую, отделяли для красок желтки от белков, затем я отправлялся в лавку. Вечером меня заставляли растирать краски и «присматриваться» к мастерству. Сначала я «присматривался» с большим интересом, но скоро понял, что почти все, занятые этим раздробленным на куски мастерством, не любят его и страдают мучительной скукой.

Вечера мои были свободны, я рассказывал людям о жизни на пароходе, рассказывал разные истории из книг и, незаметно для себя, занял в мастерской какое-то особенное место – рассказчика и чтеца.

Я скоро понял, что все эти люди видели и знают меньше меня; почти каждый из них с детства был посажен в тесную клетку мастерства и с той поры сидит в ней. Из всей мастерской только Жихарев был в Москве, о которой он говорил внушительно и хмуро:

– Москва слезам не верит, там гляди в оба!

Все остальные бывали только в Шуе, Владимире; когда говорили о Казани, меня спрашивали:

– А русских много там? И церкви есть?

Пермь для них была в Сибири; они не верили, что Сибирь – за Уралом.

– Судаков-то уральских и осетров откуда привозят, – с Каспийского моря? Значит – Урал на море!

Иногда мне думалось, что они смеются надо мною, утверждая, что Англия – за морем-океаном, а Бонапарт родом из калужских дворян. Когда я рассказывал им о том, что сам видел, они плохо верили мне, но все любили страшные сказки, запутанные истории; даже пожилые люди явно предпочитали выдумку – правде; я хорошо видел, что чем более невероятны события, чем больше в рассказе фантазии, тем внимательнее слушают меня люди. Вообще действительность не занимала их, и все мечтательно заглядывали в будущее, не желая видеть бедность и уродство настоящего.

Это меня тем более удивляло, что я уже довольно резко чувствовал противоречия между жизнью и книгой; вот предо мною живые люди, и в книгах нет таких: нет

⁷⁵ Бенедиктов Владимир Григорьевич (1807–1873) – русский поэт и переводчик.

Смурого, кочегара Якова, бегуна Александра Васильева, Жихарева, прачки Натальи...

В сундуке Давидова оказались потрепанные рассказы Голицинского, «Иван Выжигин» Булгарина, томик барона Брамбеуса⁷⁶; я прочитал все это вслух, всем понравилось, а Ларионыч сказал:

– Чтение отмечает ссоры и шум – это хорошо!

Я стал усердно искать книг, находил их и почти каждый вечер читал. Это были хорошие вечера; в мастерской тихо, как ночью, над столами висят стеклянные шары – белые, холодные звезды, их лучи освещают лохматые и лысые головы, приникшие к столам; я вижу спокойные, задумчивые лица, иногда раздается возглас похвалы автору книги или герою. Люди внимательны и кротки не похоже на себя; я очень люблю их в эти часы, и они тоже относятся ко мне хорошо; я чувствовал себя на месте.

– С книгами у нас стало как весной, когда зимние рамы выставят и первый раз окна на волю откроют, – сказал однажды Ситанов.

Трудно было доставать книги; записаться в библиотеку не догадались, но я все-таки как-то ухитрился и доставал книжки, выпрашивая их всюду, как милостыню. Однажды пожарный брандмейстер дал мне том Лермонтова, и вот я почувствовал силу поэзии, ее могучее влияние на людей.

Помню, уже с первых строк «Демона» Ситанов заглянул в книгу, потом – в лицо мне, положил кисть на стол и, сунув длинные руки в колени, закачался, улыбаясь. Под ним заскрипел стул.

– Тише, братцы, – сказал Ларионыч и, тоже бросив работу, подошел к столу Ситанова, за которым я читал. Поэма волновала меня мучительно и сладко, у меня срывался голос, я плохо видел строки стихов, слезы навертывались на глаза. Но еще более волновало глухое, осторожное движение в мастерской, вся она тяжело ворочалась, и точно магнит тянул людей ко мне. Когда я кончил первую часть, почти все стояли вокруг стола, тесно прислонившись друг ко другу, обнявшись, хмурясь и улыбаясь.

– Читай, читай, – сказал Жихарев, наклоня мою голову над книгой.

Я кончил читать, он взял книгу, посмотрел ее титул и, сунув под мышку себе, объявил:

– Это надо еще раз прочитать! Завтра опять прочитаешь. Книгу я спрячу.

Отошел, запер Лермонтова в ящик своего стола и принялся за работу. В мастерской было тихо, люди осторожно расходились к своим столам; Ситанов подошел к окну, прислонился лбом к стеклу и застыл, а Жихарев, снова отложив кисть, сказал строгим голосом:

– Вот это – житие, рабы божий... да!

Приподнял плечи, спрятал голову и продолжал:

– Демона я могу даже написать: телом черен и мохнат, крылья огненно-красные – суриком, а личико, ручки, ножки – досиня белые, примерно, как снег в месячную ночь.

Он вплоть до ужина беспокойно и несвойственно ему вертелся на табурете, играл пальцами и непонятно говорил о Демоне, о женщинах и Еве, о рае и о том, как грешили святые.

⁷⁶ Булгарин Фаддей Венедиктович (1789–1859) – русский писатель, журналист, критик, издатель, служивший в чине капитана в наполеоновской армии; «герой» многочисленных эпиграмм Пушкина, Вяземского, Баратынского, Лермонтова, Некрасова и многих других. Основоположник жанров авантюрного плутовского романа, фантастического романа в русской литературе, автор фельетонов и нравоописательных очерков, издатель первого в России театрального альманаха.

Барон Брамбеус – один из псевдонимов Осипа Ивановича Сенковского (1800–1858) – русского востоковеда, полиглота, писателя, редактора, коллекционера.

– Это все правда! – утверждал он. – Ежели святые грешат с грешными женщинами, то, конечно, Демону лестно согрешить с душой чистой...

Его слушали молча; должно быть, всем, как и мне, не хотелось говорить. Работали неохотно, поглядывая на часы, а когда пробило девять – бросили работу очень дружно.

Ситанов и Жихарев вышли на двор, я пошел с ними. Там, глядя на звезды, Ситанов сказал:

Кочующие караваны

В пространстве брошенных светил...

– этого не выдумаешь!

– Я никаких слов не помню, – заметил Жихарев, вздрагивая на остром холоде. – Ничего не помню, а его – вижу! Удивительно это – человек заставил черта пожалеть? Ведь жалко его, а?

– Жалко, – согласился Ситанов.

– Вот что значит – человек! – памятно воскликнул Жихарев.

В сених он предупредил меня:

– Ты, Максимыч, никому не говори в лавке про эту книгу: она, конечно, запрещенная!

Я обрадовался: так вот о каких книгах спрашивал меня священник на исповеди!

Ужинали вяло, без обычного шума и говора, как будто со всеми случилось нечто важное, о чем надо упорно подумать. А после ужина, когда все улеглись спать, Жихарев сказал мне, вынув книгу:

– Ну-ка, еще раз прочитай это! Пореже, не торопись...

Несколько человек молча встали с постелей, подошли к столу и уселись вокруг него раздетые, поджимая ноги.

И снова, когда я кончил читать, Жихарев сказал, постукивая пальцами по столу:

– Это – житие! Ах, Демон, Демон... вот как, брат, а?

Ситанов качнулся через мое плечо, прочитал что-то и засмеялся, говоря:

– Спишу себе в тетрадь...

Жихарев встал и понес книгу к своему столу, но остановился и вдруг стал говорить обиженно, вздрагивающим голосом:

– Живем, как слепые щенята, что к чему – не знаем, ни богу, ни демону не надобны! Какие мы рабы господя? Иов – раб, а господь сам говорил с ним! С Моисеем тоже. Моисею он даже имя дал: Мой-сей, значит – богов человек. А мы – чьи?..

Запер книгу и стал одеваться, спросив Ситанова:

– Идешь в трактир?

– Я к своей пойду, – тихо ответил Ситанов.

Когда они ушли, я лег у двери на полу, рядом с Павлом Одинцовым. Он долго возился, сопел и вдруг тихонько заплакал.

– Ты что?

– Жалко мне всех до смерти, – сказал он, – я ведь четвертый год с ними живу, всех знаю...

Мне тоже было жалко этих людей; мы долго не спали, шепотом беседуя о них, находя в каждом добрые хорошие черты и во всех что-то, что еще более усугубляло нашу ребячью жалость.

Я очень дружно жил с Павлом Одинцовым; впоследствии из него выработался хороший мастер, но его ненадолго хватило, к тридцати годам он начал дико пить, потом я встретил его на Хитровом рынке в Москве босяком и недавно слышал, что он умер в тифе. Жутко вспомнить, сколько хороших людей бестолково погибли на моем

веку! Все люди изнашиваются и – погибают, это естественно; но нигде они не изнашиваются так страшно быстро, так бессмысленно, как у нас, на Руси...

Тогда он был круглоголовым мальчонком, года на два старше меня, бойкий, умненький и честный, он был даровит: хорошо рисовал птиц, кошек и собак и удивительно ловко делал карикатуры на мастеров, всегда изображая их пернатыми Ситанова – печальным куликом на одной ноге, Жихарева – петухом, с оторванным гребнем, без перьев на темени, большого Давидова – жуткой пигалицей. Но всего лучше ему удавался старый чеканщик Гоголев, в виде летучей мыши с большими ушами, ироническим носом и маленькими ножками о шести когтях каждая. С круглого темного лица смотрели белые кружки глаз, зрачки были похожи не зерна чечевицы и стояли поперек глаз, – это давало лицу живое и очень гнусное выражение.

Мастера не обижались, когда Павел показывал карикатуры, но карикатура Гоголева у всех вызвала неприятное впечатление, и художнику строго советовали.

– Ты лучше порви-ка, а то старик увидит, пришибет тебя!

Грязный и гнилой, вечно пьяный, старик был назойливо благочестив, неугасимо зол и ябедничал на всю мастерскую приказчику, которого хозяйка собиралась женить на своей племяннице и который поэтому уже чувствовал себя хозяином всего дома и людей. Мастерская ненавидела его, но боялась, поэтому боялась и Гоголева.

Павел неистово и всячески изводил чеканщика, точно поставил целью своей не давать Гоголеву ни минуты покоя. Я тоже посильно помогал ему в этом, мастерская забавлялась нашими выходками, почти всегда безжалостно грубыми, но предупреждала нас:

– Попадет вам, ребята! Вышибет вас Кузька-жучок!

Кузька – жучок – это прозвище приказчика, данное ему мастерской.

Предостережения не пугали нас, мы раскрашивали сонному чеканщику лицо; однажды, когда он спал пьяный, вызолотили ему нос, он суток трое не мог вывести золото из рытвин губчатого носа. Но каждый раз, когда нам удавалось разозлить старика, я вспоминал пароход, маленького вятского солдата, и в душе у меня становилось мутно. Несмотря на возраст, Гоголев был все-таки так силен, что часто избивал нас, нападая врасплох; избыет, а потом пожалуется хозяйке.

Она – тоже пьяненькая каждый день и потому всегда добрая, веселая старалась испугать нас, стучала опухшими руками по столу и кричала:

– Опять вы, беси, озорничаете? Он – старенький, его уважать надо! Кто это ему в рюмку вместо вина – фотогену⁷⁷ налил?

– Это мы...

Хозяйка удивлялась:

– А, батюшки, да они еще и сознаются! А, окаянные... Стариков уважать надо!

Она выгоняла нас вон, а вечером жаловалась приказчику, и тот говорил мне сердито:

– Как же это ты: книжки читаешь, даже священное писание, и – такое озорство, а? Гляди, брат!

Хозяйка была одинока и трогательно жалка; бывало, напьется сладких наливок, сядет у окна и поет:

Никто меня не пожалеет,
И никому меня не жаль,
Никто тоски моей не знает,
Кому скажу мою печаль!

⁷⁷ Фотоген – минеральное масло, получаемое при сухой перегонке бурого угля.

И, всхлипывая, тянет старческим дрожащим голосом:

– Ю-у-у...

Однажды я видел, как она, взяв в руки горшок топленого молока, подошла к лестнице, но вдруг ноги ее подогнулись, она села и поехала вниз по лестнице, грузно шлепаясь со ступеньки на ступеньку и не выпуская горшка из рук. Молоко выплескивалось на платье ей, а она, вытянув руки, сердито кричала горшку:

– Что ты, лешой? Куда ты?

Не толстая, но мягкая до дряблости, она была похожа на старую кошку, которая уже не может ловить мышей, а, отягченная сытостью, только мурлычет, сладко вспоминая о своих победах и удовольствиях.

– Вот, – говорил Ситанов, задумчиво хмурясь, – было большое дело, хорошая мастерская, трудился над этим делом умный человек, а теперь все хинью идет, все в Кузькины лапы направилось! Работали-работали, а все на чужого дядю! Подумаешь об этом, и вдруг в башке лопнет какая-то пружинка ничего не хочется, наплевать бы на всю работу да лечь на крышу и лежать целое лето, глядя в небо...

Павел Одинцов тоже усвоил эти мысли Ситанова и, раскуривая папиросу приемами взрослого, философствовал о боге, о пьянстве, женщинах и о том, что всякая работа исчезает, одни что-то делают, а другие разрушают сотворенное, не ценя и не понимая его.

В такие минуты его острое, милое лицо морщилось, старело, он садился на постель на полу, обняв колени, и подолгу смотрел в голубые квадраты окон, на крышу сарая, притиснутого сугробами снега, на звезды зимнего неба.

Мастера храпят, мычат во сне, кто-то бредит, захлебываясь словами, на полатах выкашливает остатки своей жизни Давидов. В углу, телом к телу, валяются окованные сном и хмелем «рабы божии» Капендюхин, Сорокин, Першин; со стен смотрят иконы без лиц, без рук и ног. Душит густой запах олифы, тухлых яиц, грязи, перекисшей в щелях пола.

– До чего же мне жалко всех! – шепчет Павел. – Господи!

Эта жалость к людям и меня все более беспокоит. Нам обоим, как я сказал уже, все мастера казались хорошими людьми, а жизнь – была плоха, недостойна их, невыносимо скучна. В дни зимних вьюг, когда все на земле дома, деревья – тряслось, выло, плакало и великопостно звонили унылые колокола, скука вливалась в мастерскую волною, тяжкой, как свинец, давила людей, умерщвляя в них все живое, вытаскивая в кабаки, к женщинам, которые служили таким же средством забыться, как водка.

В такие вечера – книги не помогали, и тогда мы с Павлом старались развлечь людей своими средствами: мазали рожи себе сажеей, красками, украшались пенькой и, разыгрывая разные комедии, сочиненные нами, героически боролись со скукой, заставляя людей смеяться. Вспомнив «Предание о том, как солдат спас Петра Великого», я изложил эту книжку в разговорной форме, мы влезали на полатики к Давидову и лицедействовали там, весело срубая головы воображаемым шведам; публика – хохотала.

Ей особенно нравилась легенда о китайском черте Цинги Ю-Тонге; Пашка изображал несчастного черта, которому вздумалось сделать доброе дело, а я все остальное: людей обоего пола, предметы, доброго духа и даже камень, на котором отдыхал китайский черт в великом унынии после каждой из своих безуспешных попыток сотворить добро.

Публика хохотала, а я удивлялся, как легко можно было заставить ее смеяться, – эта легкость неприятно задевала меня.

– Ах, паяцы! – кричали нам. – Ах, супостаты⁷⁸!

Но чем дальше, тем более назойливо думалось мне, что душе этих людей печаль ближе радости.

Веселье у нас никогда не живет и не ценится само по себе, а его нарочито поднимают из-под спуда как средство умерить русскую сонную тоску. Подозрительна внутренняя сила веселья, которое живет не само по себе, не потому, что хочет, просто – хочет жить, а является только по вызову печальных дней.

И слишком часто русское веселье неожиданно и неуловимо переходит в жестокую драку. Пляшет человек, словно разрывая путы, связавшие его, и вдруг, освобождая в себе жесточайшего зверя, в звериной тоске бросается на всех и все рвет, грызет, сокрушает...

Это натужное веселье, разбуженное толчками извне, раздражало меня, и, до самозабвения возбужденный, я начинал рассказывать и разыгрывать внезапно создавшиеся фантазии, – уж очень хотелось мне вызвать истинную, свободную и легкую радость в людях! Чего-то я достигал, меня хвалили, мне удивлялись, но тоска, которую мне как будто удавалось поколебать, снова медленно густела и крепла, пригнетая людей.

Серый Ларионыч ласково говорил:

– Ну, и забавник ты, господь с тобой!

– Утешитель, – поддерживал его Жихарев. – Ты, Максимыч, направляй себя в цирк али в театр, из тебя должен выйти хо-ороший паяц!

Изо всей мастерской в театр ходили, на святках и на масленице, только двое – Капендюхин и Ситанов; старшие мастера серьезно советовали им смыть этот грех купаньем в крещенской проруби на иордани⁷⁹. Ситанов особенно часто убеждал меня:

– Брось все, учись на актера!

И, волнуясь, рассказывал печальную «Жизнь актера Яковлева».

– Вот что может быть!

Он любил рассказывать о королеве Марии Стюарт⁸⁰, называя ее «шельмой», а особенно восхищался «Испанским дворянином».

– Дон Сезар де Базан – это, Максимыч, благороднейший человек! Удивительный!

В нем самом было что-то от «Испанского дворянина»: однажды на площади перед каланчой трое пожарных, забавляясь, били мужика; толпа людей, человек в сорок, смотрела на избиение и похваливала солдат. Ситанов бросился в драку, хлесткими ударами длинных рук посшибал пожарных, поднял мужика и сунул его к людям, крикнув:

– Уведите!

А сам остался, один против троих; пожарный двор был в десятке шагов, солдаты могли позвать помощь и Ситанова избили бы, но, на его счастье, пожарные, испугавшись, убежали во двор.

– Собаки! – крикнул он вслед им.

По воскресеньям молодежь ходила на кулачные бои к лесным дворам за Петропавловским кладбищем, куда собирались драться против рабочих ассенизационного обоза и мужиков из окрестных деревень. Обоз ставил против города

⁷⁸ Супостат - враг, противник, недруг.

⁷⁹ Иордань – прорубь, обычно крестообразной формы, вырубается во льду для освящения воды в праздник Крещения Господня.

⁸⁰ Мария Стюарт (1542–1587) – королева Шотландии с младенчества, фактически правила с 1561 года до низложения в 1567 г., а также королева Франции в 1559–1560 г. (как супруга короля Франциска II) и претендентка на английский престол. Казнена по обвинению в соучастии в заговоре католиков против английской королевы Елизаветы.

знаменитого бойца-мордвина, великана, с маленькой головой и большими глазами, всегда в слезах. Вытирая слезы грязным рукавом короткого кафтана, он стоял впереди своих, широко расставя ноги, и добродушно вызывал:

– Выходите, что ли, а то – зябко!

Против него с нашей стороны выступал Капендюхин, и всегда мордвин бил его. Но, окровавленный, задыхающийся, казак упрямо твердил:

– Жив быть не хочу, а – одолею мордву!

Это, наконец, стало целью его жизни, он даже отказался пить водку, перед сном вытирал тело снегом, ел много мяса и, развивая мускулы, каждый вечер многократно крестился двухпудовой гирей. Но и это не помогало ему. Тогда он зашил в рукавицы куски свинца и похвастался Ситанову:

– Теперь – конец мордвев!

Ситанов строго предупредил его:

– Брось, а то я тебя выдам перед боем!

Капендюхин не поверил ему, но когда пришли на бой, Ситанов вдруг сказал мордвину:

– Отступись, Василий Иванович, сначала я с Капендюхиным схвачусь!

Казак побагровел и заорал:

– Я с тобой не буду, уйди!

– Будешь, – сказал Ситанов и пошел на него, глядя в лицо казака пригибающим взглядом. Капендюхин затоптался на месте, сорвал рукавицы с рук, сунул их за пазуху и быстро ушел с боя.

И наша и вражья сторона были неприятно удивлены, какой-то почтенный человек сказал Ситанову сердито:

– Это, братец мой, вовсе не закон, чтобы домашние дела на мирском бою решать!

На Ситанова лезли со всех сторон, ругая его. Он долго молчал, но наконец сказал почтенному человеку:

– А ежели я убийство отвел?

Почтенный человек сразу догадался и даже снял картуз, говоря:

– Тогда с нашей стороны тебе – благодарность!

– Только ты, дядя, не звони!

– Зачем? Капендюхин – редкий боец, а неудачи злят человека, мы понимаем! А рукавички его теперь смотреть станем перед боем-то.

– Ваше дело!

Когда почтенный человек отошел, наша сторона стала ругать Ситанова:

– Дернуло тебя, оглобля! Побил бы казак-то, а теперь вот мы будем битыми ходить...

Ругали долго, привязчиво, с удовольствием.

Ситанов вздохнул и сказал:

– Эх вы, шантрапа...

И неожиданно для всех вызвал мордвина на единоборство – тот встал в позицию, весело помахивая кулаками и балагурия

– Побьемся, погреемся...

Несколько человек, схватившись за руки, опрокинулись спинами на тех, кто сзади, – образовался широкий, просторный круг.

Бойцы зорко присматриваясь друг ко другу, переминались правые руки вперед, левые – у груди. Опытные люди тотчас заметили, что у Ситанова рука длиннее, чем у мордвина. Стало тихо, похрустывал снег под ногами бойцов. Кто-то не выдержал напряжения, пробормотал жалобно и жадно:

– Начинали бы уж...

Ситанов замахнулся правой рукой, мордвин приподнял левую для защиты и получил прямой удар под ложечку левой рукою Ситанова, крикнул, отступил и с удовольствием сказал:

– Молодой, а не дурак!

Они начали прыгать друг на друга, с размаха бросая в грудь один другому тяжелые кулаки; через несколько минут и свои и чужие возбужденно кричали.

– Прытче, богомаз! Расписывай его, чекань!

Мордвин был много сильнее Ситанова, но значительно тяжелей его, он не мог бить так быстро и получал два и три удара за один. Но битое тело мордвина, видимо, не очень страдало, он все ухал, посмеивался и вдруг, тяжким ударом вверх, под мышку – вышиб правую руку Ситанова из плеча.

– Разводи – ничья! – крикнуло сразу несколько голосов, и, сломав круг, люди развели бойцов.

Мордвин добродушно говорил:

– Не велико силен, а ловок, богомаз! Хороший боец будет, это я говорю на весь народ.

Подростки начали общий бой, я повел Ситанова к фельдшеру-костоправу; его поступок еще больше возвысил его в моих глазах, увеличил симпатию и уважение к нему.

Он был вообще очень правдив, честен и считал это как бы должностью своей, но размашистый Капендюхин ловко подсмеивался над ним:

– Эх, Женя, напоказ живешь! Начистил душу, как самовар перед праздником, и хвастаешься – вот светло блестит! А душа у тебя – медная, и очень скучно с тобой...

Ситанов спокойно молчал, усердно работая или списывая в тетрадку стихи Лермонтова; на это списывание он тратил все свое свободное время, а когда я предложил ему: «Ведь у вас деньги-то есть, вы бы купили книгу!» – он ответил:

– Нет, лучше списать своей рукой!

Написав страницу красивым мелким почерком, с фигурными росчерками, ожидая, когда высохнут чернила, он тихонько читал:

Без сожаленья, без участия
Смотреть на землю будешь ты,
Где нет ни истинного счастья.
Ни долговечной красоты...
И говорил, зажмурив глаза:

– Это – правда! Эх, и здорово он правду знает!

Меня очень удивляли отношения Ситанова с Капендюхиным – выпивши, казак всегда лез драться к товарищу, Ситанов долго уговаривал его:

– Отстань! Не лезь...

А потом начинал жестоко бить пьяного, так жестоко, что мастера, относившиеся к междоусобным дракам как ко зрелищу, ввязывались в эту драку и разводили друзей.

– Не останови Евгенья вовремя – до смерти убьет и себя не пожалеет, говорили они.

Трезвый, Капендюхин тоже неумоимо издевался над Ситановым, высмеивая его страсть к стихам и его несчастный роман, грязно, но безуспешно возбуждая ревность. Ситанов слушал издевки казака молча, безобидно, а иногда даже сам смеялся вместе с Капендюхиным.

Спали они рядом и по ночам долго шепотом беседовали о чем-то.

Эти беседы не давали мне покоя – хотелось знать, о чем могут дружески говорить

люди, так непохожие один на другого? Но, когда я подходил к ним, казак ворчал:

– Тебе чего надо?

А Ситанов точно не видел меня.

Но однажды они позвали меня, и казак спросил:

– Максимыч, ежели бы ты был богат, что бы сделал?

– Книг купил бы.

– А еще?

– Не знаю.

– Эх, – с досадой отвернулся от меня Капендюхин, а Ситанов спокойно сказал:

– Видишь – никто не знает, ни старый, ни малый! Я тебе говорю: и богатство само по себе – ни к чему! Все требует какого – нибудь приложения...

Я спросил:

– О чем вы говорите?

– Спать неохота, вот и говорим, – ответил казак.

Позднее, прислушавшись к их беседам, я узнал, что они говорят по ночам о том же, о чем люди любят говорить и днем: о боге, правде, счастье, о глупости и хитрости женщин, о жадности богатых и о том, что вся жизнь запутана, непонятна.

Я всегда слушал эти разговоры с жадностью, они меня волновали, мне нравилось, что почти все люди говорят одинаково: жизнь – плоха, надо жить лучше! Но в то же время я видел, что желание жить лучше ни к чему не обязывает, ничего не изменяет в жизни мастерской, в отношениях мастеров друг ко другу. Все эти речи, освещая предо мною жизнь, открывали за нею какую-то унылую пустоту, и в этой пустоте, точно соринки в воде пруда при ветре, бестолково и раздраженно плавают люди, те самые, которые говорят, что такая толкотня бессмысленна и обижает их.

Рассуждая много и охотно, всегда кого-нибудь судили, каялись, хвастались, и, возбуждая злые ссоры из-за пустяков, крепко обижали друг друга. Пытались догадаться о том, что будет с ними после смерти, а у порога мастерской, где стоял ушат для помоев, прогнила половица, из-под пола в эту сырую, гнилую, мокрую дыру несло холодом, запахом прокисшей земли, от этого мерзли ноги; мы с Павлом затыкали эту дыру сеном и тряпками. Часто говорили о том, что надо переменить половицу, а дыра становилась все шире, во дни вьюг из нее садило, как из трубы, люди простужались, кашляли. Жестяной вертун форточка отвратительно визжал, его похабно ругали, а когда я его смазал маслом, Жихарев, прислушавшись, сказал:

– Не визжит форточка, и – стало скушней...

Приходя из бани, ложились в пыльные и грязные постели – грязь и скверные запахи вообще никого не возмущали. Было множество дрянных мелочей, которые мешали жить, их можно было легко извести, но никто не делал этого.

Часто говорили:

– Никто людей не жалеет, ни бог, ни сами себя...

Но когда мы, я и Павел, вымыли изъеденного грязью и насекомыми, умирающего Давидова, нас подняли на смех, снимали с себя рубахи, предлагая нам обыскать их, называли банщиками и вообще издевались так, как будто мы сделали что-то позорное и очень смешное.

С Рождества вплоть до великого поста Давидов лежал на полатах, зятяжно. кашляя, плевал вниз шматками пахучей крови, не попадая в ушат с помоями, кровь шлепалась на пол; по ночам он будил людей бредовыми криками.

Почти каждый день говорили:

– Надо бы его в больницу свезти!

Но сначала у Давидова оказался просроченный паспорт, потом ему стало лучше, а под конец решили:

– Все равно скоро умрет!

Он и сам обещал:

– Я – скоро!

Он был тихий юморист и тоже всегда старался разогнать злую скуку мастерской шуточками, – свесит вниз темное костлявое лицо и свистящим голосом возглашает:

– Народ, слушай голос вознесенного на полати...

И складно говорил грустную чепуху:

На полатях я живу,

Просыпаюсь рано,

И во сне и наяву

Едят меня тараканы...

– Не унывает! – восхищалась публика.

Иногда я с Павлом забирался к нему, – он шутил натужно:

– Чем потчевать, дорогие гости? Паучка свеженького – не желаете?

Умирал он медленно, и это очень надоело ему; он говорил с искренней досадой:

– Никак не могу помереть, просто беда!

Его бесстрашие перед смертью очень пугало Павла, он будил меня по ночам и шептал:

– Максимыч, кажись, помер он... Вот померет ночью, а мы будем лежать под ним, ах, господи! Боюсь я покойников...

Или говорил:

– Ну, что жил, зачем? Двадцать лет не минуло, а уж умирает...

Однажды, лунною ночью, он разбудил меня и, глядя испуганно вытаращенными глазами, сказал:

– Слушай!

На полатях хрипел Давидов, торопливо и четко говоря:

– Дай-ко сюда, да-ай...

Потом начал икать.

– Умирает, ей-богу, вот увидишь! – волновался Павел.

Я весь день возил на себе снег со двора в поле, очень устал, мне хотелось спать, но Павел просил меня:

– Не спи, пожалуйста, Христа ради, не спи!

И вдруг, вскочив на колени, неистово закричал:

– Вставайте, Давидов помер!

Кое-кто проснулся, с постелей поднялось несколько фигур, раздалось сердитые вопросы.

Капендюхин влез на полати и удивленно сказал:

– В сам – деле умер будто... хоша – тепленький...

Стало тихо. Жихарев перекрестился и, кутаясь в одеяло, сказал:

– Ну что ж, царство ему небесное!

Кто-то предложил:

– В сени бы его вынести...

Капендюхин слез с полатей, поглядел в окно.

– Пускай полежит до утра, он и живой не мешал никому...

Павел, спрятав голову под подушку, рыдал.

А Ситанов – не проснулся.

Глава XV

Таяли снега в поле, таяли зимние облака в небе, падая на землю мокрым снегом и дождем; все медленнее проходило солнце свой дневной путь, теплее становился воздух, казалось, что пришло уже весеннее веселье, шутливо прячется где-то за городом в полях и скоро хлынет на город. На улицах рыжая грязь, около панелей бегут ручьи, на проталинах Арестантской площади весело прыгают воробьи. И в людях заметна воробьиная суетливость. Над весенним шумом, почти непрерывно с утра до вечера, течет великопостный звон, покачивая сердце мягкими толчками, – в этом звоне, как в речах старика, скрыто нечто обиженное, кажется, что колокола обо всем говорят с холодным унынием: «Было-о, было это, было-о...»

В день моих именин мастерская подарила мне маленький, красиво написанный образ Алексия – божия человека, и Жихарев внушительно сказал длинную речь, очень памятную мне.

– Кто ты есть? – говорил он, играя пальцами, приподняв брови. – Не больше как мальчишка, сирота, тринадцати годов от роду, а я – старше тебя вчетверо почти и хвалю тебя, одобряю за то, что ты ко всему стоишь не боком, а лицом! Так и стой всегда, это хорошо!

Говорил он о рабах божьих и о людях его, но разница между людьми и рабами осталась непонятной мне, да и ему, должно быть, неясна была. Он говорил скучно, мастерская посмеивалась над ним, я стоял с иконою в руках, очень тронутый и смущенный, не зная, что мне делать. Наконец Капендюхин досадливо крикнул оратору:

– Да перестань отпевать его, вон у него даже уши посинели.

Потом, хлопнув меня по плечу, тоже похвалил:

– Хорошо в тебе то, что ты всем людям родня, – вот что хорошо! И не то что бить тебя, а и обругать – трудно, когда и есть за что!

Все смотрели на меня хорошими глазами, ласково высмеивая мое смущение, еще немножко – и я бы, наверное, разревелся от неожиданной радости чувствовать себя человеком, нужным для этих людей. А как раз в это утро в лавке приказчик сказал Петру Васильеву, кивая на меня головой:

– Неприятный мальчишка и ни к чему не способный!

Как всегда, я с утра ушел в лавку, но после полудня приказчик сказал мне:

– Иди домой, свали снег с крыши амбара и набивай погреб...

О том, что я именинник, он не знал; я был уверен, что и никто не знает об этом. Когда кончилась церемония поздравлений в мастерской, я переоделся, убежал на двор и залез на крышу сарая сбрасывать плотный, тяжелый снег, обильный в эту зиму. Но, взволнованный, я позабыл отворить дверь погреба и завалил ее снегом. Соскочив на землю и видя эту ошибку, я тотчас принялся откидывать снег от двери; сырой, он крепко слежался; деревянная лопата с трудом брала его, железной не было, и я сломал лопату как раз в тот момент, когда в калитке появился приказчик; оправдалась русская пословица: «За радостью горе по пятам ходит».

– Та-ак, – насмешливо сказал приказчик, подходя ко мне. – Эх ты, работник, черт бы тебя побрал! Вот хвачу тебя по безумной твоей башке...

Он замахнулся на меня стержнем лопаты, я отодвинулся и сказал сердито:

– Да ведь я не в дворники нанялся к вам...

Он швырнул палкой в ноги мне, я схватил ком снега и угодил ему в лицо; он убежал, фыркая, а я, бросив работу, ушел в мастерскую. Через несколько минут сверху сбежала его невеста, вертлявая девица в прыщах на пустом лице.

– Максимыча наверх!

– Не пойду, – сказал я.

Ларионыч спросил тихо и удивленно:

– Как это – не пойдешь?

Я сообщил ему, в чем дело; озабоченно нахмурившись, он пошел наверх, сказав мне вполголоса:

– Экой ты, брат, дерзкой...

Мастерская загудела, поругивая приказчика; Капендюхин сказал:

– Ну, теперь тебя вышибут!

Это меня не пугало. Мои отношения с приказчиком давно уже стали невыносимы, – он ненавидел меня упрямо и все более остро, я тоже терпеть его не мог, но я хотел понять, почему он так нелепо относится ко мне.

Он разбрасывал по полу лавки серебряные монеты; подметая пол, я находил их и складывал на прилавке в чашку, где лежали гроши и копейки для нищих. Когда я догадался, что значат эти частые находки, я сказал приказчику:

– Вы напрасно подбрасываете мне деньги!

Он вспыхнул и неосторожно закричал:

– Не смей учить меня, я знаю, что делаю!

Но тотчас поправился:

– Как это – напрасно подбрасываю? Они сами падают...

Он запретил мне читать в лавке книги, сказав:

– Это не твоего ума дело! Что ты – в начетчики метишь, дармоед?

Он не прекращал своих попыток поймать меня двугривенными, и я понимал, что если в то время, как метешь пол, монета закатится в щель – он будет убежден, что я украл ее. Тогда я ему еще раз предложил оставить эту игру, но в тот же день, возвращаясь из трактира с кипятком, я услышал, как он внушает недавно нанятому приказчику соседа:

– Ты научи его Псалтырь украсть – скоро мы Псалтыри получим, три короба...

Я понял, что речь идет обо мне, – когда я вошел в лавку, они оба смутились, но, и кроме этого признака, у меня были основания подозревать их в дурацком заговоре против меня.

Приказчик соседа уже не в первый раз служил у него; он считался ловким торговцем, но страдал запоем; на время запоя хозяин прогонял его, а потом опять брал к себе этого худосочного и слабосильного человека с хитрыми глазами. Внешне кроткий, покорный каждому жесту хозяина, он всегда улыбался в бородку себе умненькой улыбочкой, любил сказать острое словцо, и от него исходил тот дрянной запах, который свойствен людям с гнилыми зубами, хотя зубы его были белы и крепки.

Однажды он меня страшно удивил: подошел ко мне, ласково улыбаясь, но вдруг сбил с меня шапку и схватил за волосы. Мы стали драться, с галереи он втолкнул меня в лавку и все старался повалить на большие киоты⁸¹, стоявшие на полу, – если бы это удалось ему, я перебил бы стекла, поломал резьбу и, вероятно, поцарапал бы дорогие иконы. Он был очень слаб, и мне удалось одолеть его, но тогда, к великому изумлению моему, бородатый мужчина горько заплакал, сидя на полу и вытирая разбитый нос.

А на другое утро, когда наши хозяева ушли куда-то и мы были одни, он дружески сказал мне, растирая пальцем опухоль на переносье и под самым глазом:

– Думаешь – это я по своей воле и охоте навалился на тебя? Я – не дурак, я ведь знал, что ты меня побьешь, я человек слабый, пьющий. Это мне хозяин велел, дай, говорит, ему выволочку, да постарайся, чтоб он у себя в лавке побольше напортил во время драки, все-таки – убыток им! А сам я – не стал бы, вон ты как мне рожу-то изукрасил...

⁸¹ Киот – особый украшенный шкафчик (часто створчатый) или застекленная полка для икон.

Я поверил ему, и мне стало жаль его, я знал, что он живет впроголодь, с женщиной, которая колотит его. Но я все-таки спросил его:

– А если тебя заставят отравить человека – отравишь?

– Он заставит, – сказал приказчик тихонько, с жалкой усмешечкой. – Он может...

Вскоре после этого он спросил меня:

– Слушай, у меня ни гроша, дома жрать нечего, баба – лаетя, стащи, друг, у себя в кладовой какую-нибудь иконку, а я продам ее, а? Стащи? А то – Псалтырь?

Я вспомнил магазин обуви, церковного сторожа, мне подумалось: выдаст меня этот человек! Но трудно было отказать, и я дал ему икону, но стащить Псалтырь, стоивший несколько рублей, не решился, это казалось мне крупным преступлением. Что поделаешь? В морали всегда скрыта арифметика; святая наивность «Уложения о наказаниях уголовных» очень ясно выдает эту маленькую тайну, за которой прячется великая ложь собственности.

Когда я услышал, как мой приказчик внушает этому жалкому человеку научить меня украсть Псалтырь, – я испугался. Было ясно, что мой приказчик знает, как я добр за его счет, и что приказчик соседа рассказал ему про икону.

Мерзость доброты на чужой счет и эта дрянная ловушка мне – все вместе вызывало у меня чувство негодования, отвращения к себе и ко всем. Несколько дней я жестоко мучился, ожидая, когда придут коробка с книгами; наконец они пришли, я разбираю их в кладовой, ко мне подходит приказчик соседа и просит дать ему Псалтырь.

Тогда я спрашиваю его:

– А ты сказал моему про икону?

– Сказал, – ответил он унылым голосом. – Я, брат, ничего не могу скрыть...

Это меня ошеломило, я сел на пол и вытаращил на него глаза, а он начал поспешно бормотать, сконфуженный, отчаянно жалкий:

– Видишь ли, твой сам догадался, то есть это мой хозяин догадался и сказал твоему...

Мне показалось, что я пропал, – подсидели меня эти люди, и теперь мне уготовано место в колонии для малолетних преступников! Когда так – все равно! Уж если тонуть, так на глубоком месте. Я сунул в руки приказчика Псалтырь, он спрятал его под пальто и пошел прочь, но тотчас повернулся, и – Псалтырь упал к моим ногам, а человек зашагал прочь, говоря:

– Не возьму! Пропадешь с тобой...

Я не понял этих слов, – почему со мной пропадешь? Но я был очень доволен тем, что он не взял книги. После этого мой маленький приказчик стал смотреть на меня еще более сердито и подозрительно.

Все это я вспомнил, когда Ларионыч пошел наверх; он пробыл там недолго и воротился еще более подавленно тихим, чем всегда, а перед ужином, с глазу на глаз, сказал мне:

–хлопотал, чтоб тебя освободили от лавки, отдали бы в мастерскую. Не вышло это! Кузьма не хочет. Очень ты не по душе ему...

В доме у меня был тоже враг – невеста приказчика, чрезмерно игривая девица; с нею играла вся молодежь мастерской, поджидая ее в сенях, обнимая; она не обижалась на это, а только взвизгивала тихонько, как маленькая собачка. С утра до вечера она жевала, ее карманы всегда были набиты пряниками, лепешками, челюсти неустанно двигались, – смотреть на ее пустое лицо с беспокойными серенькими глазками было неприятно. Мне и Павлу она предлагала загадки, всегда скрывавшие какое-нибудь грубенькое бесстыдство, сообщала нам скороговорки, сливавшиеся в неприличное слово.

Однажды кто-то из пожилых мастеров сказал ей:

– А и бесстыдница ты, девушка!

Она бойко ответила словами зазорной песни:

Коли девушка стыдится,

Она в бабы не годится...

Я в первый раз видел такую девицу, она была противна мне и пугала меня, грубо заигрывая, а видя, что эти заигрывания не сладки для меня, становилась все назойливее.

Как-то раз, на погребке, когда я с Павлом помогал ей парить кадки из-под кваса и огурцов, она предложила нам:

– Хотите, мальчики, я вас научу целоваться?

– Я умею получше тебя, – ответил ей Павел, смеясь, а я сказал ей, чтобы она шла целоваться к жениху, и сказал это не очень любезно. Она рассердилась.

– Ах, какой грубиян! Барышня с ним любезничает, а он нос воротит; скажите, фря⁸² какая!

И добавила, погрозив пальцем:

– Ну, погоди, я тебе это припомню!

Павел тоже сказал ей, поддерживая меня:

– Задаст тебе жених-то, коли узнает про твоё озорство.

Она презрительно сморщила прыщеватое лицо.

– Не боюсь я его! С моим приданым я десяток найду, получше гораздо. Девке только до свадьбы и побаловать.

И она начала баловать с Павлом, а я с той поры приобрел в ней неутомимую ябедницу.

В лавке становилось все труднее, я прочитал все церковные книги, меня уже не увлекали более споры и беседы начетчиков, – говорили они все об одном и том же. Только Петр Васильев по-прежнему привлекал меня своим знанием темной человеческой жизни, своим умением говорить интересно и пылко. Иногда мне думалось, что вот таков же ходил по земле пророк Елисей, одинокий и мстительный.

Но каждый раз, когда я говорил со стариком откровенно о людях, о своих думах, он, благожелательно выслушав меня, передавал сказанное мною приказчику, а тот или обидно высмеивал меня, или сердито ругал.

Однажды я сказал старику, что иногда записываю его речи в тетрадь, где у меня уже записаны разные стихи, изречения из книг; это очень испугало начетчика, он быстро покачнулся ко мне и стал тревожно спрашивать:

– Это зачем же ты? Это, малый, не годится! Для памяти? Нет, ты это брось! Экой ты какой ведь! Ты дай-кось мне записки-то эти, а?

Он долго и настойчиво убеждал меня, чтобы я отдал ему тетрадь или сжег ее, а потом стал сердито шептаться с приказчиком.

Когда мы шли домой, приказчик строго сказал мне:

– Ты какие-то записки делаешь – так чтобы этого не было! Слышал? Этим занимаются только сыщики.

Я неосторожно спросил:

– А как же Ситанов? Он тоже записывает.

– Тоже? Дурак длинный...

Долго помолчав, он необычно мягко предложил:

– Слушай, покажи мне свою тетрадь и Ситанова тоже – я тебе полтину дам!

⁸² Фря – этим словом с оттенком иронического пренебрежения называют человека, строящего из себя особу, важную персону.

Только так сделай, чтобы Ситанов не знал, тихонько...

Должно быть, он был уверен, что я исполню его желание, и, не сказав ни слова больше, побежал впереди меня на коротких ножках.

Дома я рассказал Ситанову о предложении приказчика, Евгений нахмурился.

– Это ты напрасно проболтался... Теперь он научит кого-нибудь выкрасть тетради у меня и у тебя. Дай-ка мне твою, я спрячу... А тебя он скоро выживет, гляди!

Я был убежден в этом и решил уйти, как только бабушка вернется в город, – она всю зиму жила в Балахне, приглашенная кем-то учить девиц плетению кружев. Дед снова жил в Кунавине, я не ходил к нему, да и он, бывая в городе, не посещал меня. Однажды мы столкнулись на улице; он шел в тяжелой енотовой шубе, важно и медленно, точно поп, я поздоровался с ним; посмотрев на меня из-под ладони, он задумчиво проговорил:

– А, это ты... ты богомаз теперь, да, да... Ну, иди, иди!

Отодвинул меня с дороги и все так же важно и медленно пошел дальше.

Бабушку я видел редко; она работала неустанно, подкармливая деда, который заболел старческим слабоумием, возилась с детьми дядьев. Особенно много доставлял ей хлопот Саша, сын Михаила, красивый парень, мечтатель и книголюб. Он работал по красильным мастерским, часто переходя от одного хозяина к другому, а в промежутках сидел на шее бабушки, спокойно дожидаясь, когда она найдет ему новое место. На ее же шее висела сестра Саши, неудачно вышедшая замуж за пьяного мастера, который бил ее и выгонял из дома.

Встречаясь с бабушкой, я все более сознательно восхищался ее душою, но – я уже чувствовал, что эта прекрасная душа ослеплена сказками, не способна видеть, не может понять явлений горькой действительности и мои тревоги, мои волнения чужды ей.

– Терпеть надо, Олеша!

Это – все, что она могла сказать мне в ответ на мои повести о безобразиях жизни, о муках людей, о тоске – обо всем, что меня возмущало.

Я был плохо приспособлен к терпению, и если иногда проявлял эту добродетель скота, дерева, камня – я проявлял ее ради самоиспытания, ради того, чтобы знать запас своих сил, степень устойчивости на земле. Иногда подростки, по глупому молодечеству, по зависти к силе взрослых, пытаются поднимать и поднимают тяжести, слишком большие для их мускулов и костей, пробуют хвастливо, как взрослые силачи, креститься двухпудовыми гирями.

Я тоже делал все это в прямом и переносном смысле, физически и духовно, и только благодаря какой-то случайности не надорвался насмерть, не изуродовал себя на всю жизнь. Ибо ничто не уродует человека так страшно, как уродует его терпение, покорность силе внешних условий.

И если в конце концов я все-таки лягу в землю изуродованным, то – не без гордости – скажу в свой последний час, что добрые люди лет сорок серьезно заботились исказить душу мою, но упрямый труд их не весьма удачен.

Все более часто меня охватывало буйное желание озорничать, потешать людей, заставлять их смеяться. Мне удавалось это; я умел рассказывать о купцах Нижнего базара, представляя их в лицах; изображал, как мужики и бабы продают и покупают иконы, как ловко приказчик надувает их, как спорят начетчики.

Мастерская хохотала, нередко мастера бросали работу, глядя, как я представляю, но всегда после этого Ларионыч советовал мне:

– Ты бы лучше после ужина представлял, а то мешаешь работать...

Кончив «представление», я чувствовал себя легко, точно сбросил ношу, тяготившую меня; на полчаса, на час в голове становилось приятно пусто, а потом снова казалось, что голова у меня полна острых мелких гвоздей, они шевелятся там,

нагреваются.

Вокруг меня вскипала какая-то грязная каша, и я чувствовал, что потихоньку развариваюсь в ней.

Думалось:

«Неужели вся жизнь – такая? И я буду жить так, как эти люди, не найду, не увижу ничего лучше?»

– Сердит становишься, Максимыч, – говорил мне Жихарев, внимательно поглядывая на меня. Ситанов часто спрашивал:

– Ты что?

Я не умел ответить.

Жизнь упрямо и грубо стирала с души моей свои же лучшие письма, ехидно заменяя их какой-то ненужной дрянью, – я сердито и настойчиво противился ее насилию, я плыл по той же реке, как и все, но для меня вода была холоднее, и она не так легко держала меня, как других, – порою мне казалось, что я погружаюсь в некую глубину.

Люди относились ко мне все лучше, на меня не орали, как на Павла, не помыкали мною, меня звали по отчеству, чтобы подчеркнуть уважительное отношение ко мне. Это – хорошо, но было мучительно видеть, как много люди пьют водки, как они противны пьяные, и как болезненно их отношение к женщине, хотя я понимал, что водка и женщина – единственные забавы в этой жизни.

Часто вспоминалось с грустью, что сама умная, смелая Наталья Козловская тоже называла женщину забавой.

Но как же тогда бабушка? И Королева Марго?

О Королеве я вспоминал с чувством, близким страху, – она была такая чужая всему, точно я ее видел во сне.

Я слишком много стал думать о женщинах и уже решал вопрос: а не пойти ли в следующий праздник туда, куда все ходят? Это не было желанием физическим, – я был здоров и брезглив, но порою до бешенства хотелось обнять кого-то ласкового, умного и откровенно, бесконечно долго говорить, как матери, о тревогах души.

Я завидовал Павлу, когда он по ночам говорил мне о своем романе с горничною из дома напротив.

– Вот, брат, штука: месяц тому назад я в нее снегом швырял, не нравилась мне она, а теперь сидишь на лавочке, прижмешься к ней – никого нет дороже!..

– О чем вы говорите?

– Обо всем, конечно. Она мне – про себя, а я ей – тоже про себя. Ну, целуемся... Только она – честная... Она, брат, беда какая хорошая!.. Ну, куришь ты, как старый солдат!

Я курил много; табак, опьяняя, притуплял беспокойные мысли, тревожные чувства. Водка, к счастью моему, возбуждала у меня отвращение своим запахом и вкусом, а Павел пил охотно и, напившись, жалобно плакал:

– Домой хочу я, домой! Отпустите меня домой...

Он был, помнится мне, сирота; мать и отец давно умерли у него, братьев, сестер – не было, лет с восьми он жил по чужим людям.

В этом настроении тревожной неудовлетворенности, еще более возбуждаемой зовами весны, я решил снова поступить на пароход и, спустившись в Астрахань, убежать в Персию.

Не помню, почему именно – в Персию, может быть, только потому, что мне очень нравились персияне – купцы на Нижегородской ярмарке: сидят этакие каменные идола, выставив на солнце крашенные бороды, спокойно покуривая кальян, а глаза у них большие, темные, всезнающие.

Наверное, я и убежал бы куда-то, но на пасхальной неделе, когда часть мастеров уехала домой, в свои села, а оставшиеся пьянствовали, – гуляя в солнечный день по полю над Окой, я встретил моего хозяина, племянника бабушки.

Он шел в легком сером пальто, руки в карманах брюк, в зубах папироса, шляпа на затылке; его приятное лицо дружески улыбалось мне. У него был подкупающий вид человека свободного, веселого, и, кроме нас двоих, в поле никого не было.

– А, Пешков, Христос воскрес!

Похристосовались, он спросил, каково мне живется, и я откровенно рассказал ему, что мастерская, город и все вообще – надоело мне и я решил ехать в Персию.

– Брось, – сказал он серьезно. – Какая там, к черту, Персия? Это, брат, я знаю, в твои годы и мне тоже хотелось бежать ко всем чертям!..

Мне нравилось, что он так ухарски швыряется чертями; в нем играло что-то хорошее, весеннее, весь он был – набекрень.

– Куришь? – спросил он, протягивая мне серебряный портсигар с толстыми папиросами.

Ну, это уж окончательно победило меня!

– Вот что, Пешков, иди-ка ты опять ко мне! – предложил он. – Я, брат, в этом году взял подрядов на ярмарке тысяч этак на сорок – понимаешь? Вот я и прилажу тебя на ярмарку; будешь ты у меня вроде десятника, принимать всякий материал, смотреть, чтоб все было вовремя на месте и чтоб рабочие не воровали, – идет? Жалованье – пять в месяц и пятак на обед! Бабы тебя не касаются, с утра ты ушел, вечером пришел; бабы – мимо! Только ты не говори им, что мы виделись, а просто приходи в воскресенье на фоминой и – шабаш!

Мы расстались друзьями, на прощанье он пожал мне руку и даже, уходя, издали приветливо помахал шляпой.

Когда я сказал в мастерской, что ухожу, – это сначала вызвало у большинства лестное для меня сожаление, особенно взволновался Павел.

– Ну, подумай, – укоризненно говорил он, – как ты будешь жить с мужиками разными после нас? Плотники, маляры... Эх ты! Это называется – из дьяконов в пономари...

Жихарев ворчал:

– Рыба ищет – где глубже, добрый молодец – что хуже...

Проводы, устроенные мне мастерской, были печальны и нудны.

– Конечно, надо испробовать и то и это, – говорил Жихарев, желтый с похмелья. – А лучше сразу да покрепче зацепиться за одно что-нибудь...

– И уж на всю жизнь, – тихо добавил Ларионыч.

Но я чувствовал, что они говорят с натугой и как бы по обязанности, нить, скрепляющая меня с ними, как-то сразу перегнила и порвалась.

На полатах ворочался пьяный Гоголев и хрипел:

– 3-захочу – все в остроге будут! Я – секрет знаю! Кто тут в бога верует? Аха-а...

Как всегда, у стен прислонились безликие недописанные иконы, к потолку прилипли стеклянные шары. С огнем давно уже не работали, шарами не пользовались, их покрыл серый слой копоти и пыли. Все вокруг так крепко запомнилось, что, и закрыв глаза, я вижу во тьме весь подвал, все эти столы, баночки с красками на подоконниках, пучки кистей с держальцами, иконы, ушат с помоями в углу, под медным умывальником, похожим на каску пожарного, и свесившуюся с полатей голую ногу Гоголева, синюю, как нога утопленника.

Хотелось поскорее уйти, но на Руси любят затягивать грустные минуты;

прощаясь, люди точно заупокойную литургию⁸³ служат.

Жихарев, сдвинув брови, сказал мне:

– А книгу эту, Демона, я не могу тебе отдать – хочешь двугривенный получить за нее?

Книга была моей собственностью, – старик брандмейстер подарил мне ее, мне было жалко отдавать Лермонтова. Но когда я, несколько обиженный, отказался от денег, Жихарев спокойно сунул монету в кошелек и непоколебимо заявил:

– Как хочешь, а я не отдам книги! Эта книга – не для тебя, это такая книга, что с ней недолго и греха нажить...

– Да ее же в магазине продают, я видел!

Но он сугубо убедительно сказал мне:

– Это ничего не значит, в магазинах и пистолеты продают...

Так и не отдал мне Лермонтова.

Идя навстречу, прощаясь с хозяйкой, я столкнулся в сенях с ее племянницей, она спросила:

– Говорят – уходишь ты?

– Ухожу.

– Кабы не ушел, так бы выгнали, – сообщила она мне не очень любезно, но вполне искренно.

А пьяненькая хозяйка сказала:

– Прощай, Христос с тобой! Ты – нехороший мальчик, дерзкий! Хоть я плохого от тебя ничего не видала, а все говорят – нехороший ты!

И вдруг заплакала, говоря сквозь слезы:

– Был бы жив покойник, муженек мой сладкий, милая душенька, дал бы он тебе выволочку, накидал бы тебе подзатыльников, а – оставил бы, не гнал! А нынче все пошло по-другому, чуть что не так – во-он, прочь! Ох, и куда ты, мальчик, денешься, к чему прислонишься?

Глава XVI

Я еду с хозяином на лодке по улицам Ярмарки, среди каменных лавок, залитых половодьем до высоты вторых этажей. Я – на веслах, хозяин, сидя на корме, неумело правит, глубоко запуская в воду кормовое весло, лодка неуклюже юлит, повертывая из улицы в улицу по тихой, мутно задумавшейся воде.

– Эх, высока нынче вода, черт ее возьми! Задержит она работы, – ворчит хозяин, покуривая сигару; дым ее пахнет горелым сукном.

– Тише! – испуганно кричит он. – На фонарь едем!

Справился с лодкой и ругается:

– Ну и лодку дали, подлецы!..

Он показывает мне места, где, после спада воды, начнутся работы по ремонту лавок. Досиня выбритый, с подстриженными усами и сигарой во рту, он не похож на подрядчика. На нем кожаная куртка, высокие до колен сапоги, через плечо – ягдташ⁸⁴, в ногах торчит дорогое двухствольное ружье Лебеля. Он то и дело беспокойно передвигает кожаную фуражку – надвинет ее на глаза, надует губы и озабоченно смотрит вокруг; собьет фуражку на затылок, помолодеет и улыбается в усы, думая о чем-то приятном, – и не верится, что у него много работы, что медленная убыль воды

⁸³ Литургия – главнейшее христианское богослужение в Православной, Католической и в древневосточных церквях, во время которого совершается таинство Евхаристии, т.е. Причащения.

⁸⁴ Ягдташ («охотничья сумка») – сумка для ношения убитой дичи и необходимых на охоте припасов и приспособлений.

беспокоит его, – в нем гуляет волна каких-то, видимо, неделовых дум.

А я подавлен чувством тихого удивления: так странно видеть этот мертвый город, прямые ряды зданий с закрытыми окнами, – город, сплошь залитый водою и точно плывущий мимо нашей лодки.

Небо серое. Солнце заплуталось в облаках, лишь изредка просвечивая сквозь их гущу большим серебряным, по-зимнему, пятном.

Вода тоже сера и холодна; течение ее незаметно; кажется, что она застыла, уснула вместе с пустыми домами, рядами лавок, окрашенных в грязно-желтый цвет. Когда сквозь облака смотрит белесое солнце, все вокруг немножко посветлеет, вода отражает серую ткань неба, – наша лодка висит в воздухе между двух небес; каменные здания тоже приподнимаются и чуть заметно плывут к Волге, Оке. Вокруг лодки качаются разбитые бочки, ящики, корзины, щепы и солома, иногда мертвой змеей проплывет жердь или бревно.

Кое-где окна открыты, на крышах рядских галерей сушится белье, торчат валяные сапоги; из окна на серую воду смотрит женщина, к вершине чугунной колонки галерей причалена лодка, ее красный борт отражен водою жирно и мясисто.

Кивая головой на эти признаки жизни, хозяин объясняет мне:

– Это – ярмарочный сторож живет. Вылезет из окна на крышу, сядет в лодку и ездит, смотрит – нет ли где воров? А нет воров – сам ворует...

Он говорит лениво, спокойно, думая о чем-то другом. Вокруг тихо, пустынно и невероятно, как во сне Волга и Ока слились в огромное озеро; вдаль, на мохнатой горе пестро красуется город, весь в садах, еще темных, но почки деревьев уже набухли, и сады одевают дома и церкви зеленоватой теплой шубой. Над водою стелется густо пасхальный звон, слышно, как гудит город, а здесь – точно на забытом кладбище.

Наша лодка вертится между двух рядов черных деревьев, мы едем Главной линией к Старому собору. Сигара беспокоит хозяина, застилая ему глаза едким дымом, лодка то и дело тычется носом или бортом о стволы деревьев, – хозяин раздраженно удивляется:

– Этакая подлая лодка!

– Да вы не правьте.

– Как же можно? – ворчит он. – Если в лодке двое, то всегда – один гребет, другой правит. Вот – смотри: Китайские ряды...

Я давно знаю Ярмарку насквозь; знаю и эти смешные ряды с нелепыми крышами; по углам крыш сидят, скрестив ноги, гипсовые фигуры китайцев; когда-то я со своими товарищами швырял в них камнями, и у некоторых китайцев именно мною отбиты головы, руки. Но я уже не горжусь этим...

– Ерунда, – говорит хозяин, указывая на ряды. – Кабы мне дали строить это...

Он свистит, сдвигая фуражку на затылок.

А мне почему-то думается, что он построил бы этот каменный город так же скучно, на этом же низком месте, которое ежегодно заливают воды двух рек. И Китайские ряды выдумал бы...

Утопив сигару за бортом, он сопроводил ее плевком отвращения и говорит:

– Скушно, Пешкóв! Скушно. Образованных людей – нет, поговорить – не с кем. Захочется похвастать – а перед кем? Нет людей. Все плотники, каменщики, мужики, жулье...

Он смотрит вправо, на белую мечеть, красиво поднявшуюся из воды, на холме, и продолжает, словно вспоминая забытое:

– Начал я пиво пить, сигары курю, живу под немца. Немцы, брат, народ деловой, т-такие звери-курицы! Пиво – приятное занятие, а к сигарам – не привык еще!

Накуришься, жена ворчит: «Чем это от тебя пахнет, как от шорника⁸⁵?» Да, брат, живем, ухитряемся... Ну-ка, правь сам...

Положив весло на борт, он берет ружье и стреляет в китайца на крыше, китаец не потерпел вреда, дробь осеяла крышу и стену, подняв в воздухе пыльные дымки.

– Не попал, – без сожаления сознается стрелок и снова вкладывает в ружье патрон.

– Ты как насчет девчонок – разговелся? Нет? А я в тринадцать лет уже влюблялся...

Он рассказывает, как сон, историю своей первой любви к горничной архитектора, у которого он жил учеником. Тихонько плещет серая вода, омывая углы зданий, за собором тускло блестит водная пустыня, кое-где над нею поднимаются черные прутья лозняка.

В иконописной мастерской часто певали семинарскую песню:

Море синее,
Море бурное...

Скука смертельная, должно быть, это синее море...

– Ночей не спал, – говорит хозяин. – Бывало, встану с постели и стою у дверей ее, дрожу, как собачонка, – дом холодный был! По ночам ее хозяин посещал, мог меня застать, а я – не боялся, да...

Он говорил задумчиво, точно рассматривая старое, изношенное платье – можно надеть еще раз или нет?

– Заметила она меня, пожалела, распахнула дверь и зовет: «Иди, дурачок...»

Я много слышал таких рассказов, надоели они мне, хотя в них была приятная черта, – о первой своей «любви» почти все люди говорили без хвастовства, не грязно, а часто так ласково и печально, что я понимал: это было самое лучшее в жизни рассказчика. У многих, кажется, только это и было хорошо.

Смеясь и качая головой, хозяин восклицает удивленно:

– А жене этого не скажешь, ни-ни! Ну, что тут такого? А не расскажешь! Вот история...

Он рассказывает не мне, а себе самому. Если бы он молчал, говорил бы я, – в этой тишине и пустоте необходимо говорить, петь, играть на гармонии, а то навсегда заснешь тяжким сном среди мертвого города, утонувшего в серой, холодной воде.

– Первое – не женись рано! – поучает он меня. – Женитьба – это, брат, дело громаднейшей важности! Жить можно где хочешь и как хочешь, – твоя воля! Живи в Персии – магометашкой, в Москве – городovým, горюй, воруй, – все можно поправить! А жена – это, брат, как погода, ее не поправишь... нет! Это, брат, не сапог – снял да бросил...

Лицо у него изменилось, он смотрел на серую воду, прихмутив брови, тер пальцем горбатый нос и бормотал:

– Н-да, брат... Гляди в оба! Положим – ты во все стороны гнешься, а все прямо стоишь... ну, однако – всякому свой капкан поставлен...

Мы въезжаем в кусты Мещерского озера, оно слилось с Волгой.

– Тише греби, – шепчет хозяин, направляя ружье в кусты.

Застрелив несколько тощих куликов, он командует:

– Едем в Кунавино! Я останусь там до вечера, а ты скажешь дома, что я с подрядчиками задержался...

⁸⁵ Шорник – специалист по изготовлению сбруи (конской упряжи).

Высадив его на одной из улиц слободы, тоже утопленной половодьем, я возвращаюсь Ярмаркой на Стрелку, зачаливаю лодку и, сидя в ней, гляжу на слияние двух рек, на город, пароходы, небо. Небо, точно пышное крыло огромной птицы, все в белых перьях облаков. В синих пропастях между облаками является золотое солнце и одним взглядом на землю изменяет все на ней. Все вокруг движется бодро и надежно, быстрое течение реки легко несет несчетные звенья плотов; на плотках крепко стоят бородатые мужики, ворочают длинные весла и орут друг на друга, на встречный пароход. Маленький пароход тащит против течения пустую баржу, река сносит, мотает его, он вертит носом, как щука, и пыхтит, упрямо упираясь колесами в воду, стремительно бегущую встречу ему. На барже, свесив ноги за борт, сидят плечо в плечо четыре мужика – один в красной рубахе – и поют песню; слов не слышно, но я знаю ее.

Мне кажется, что здесь, на живой реке, я все знаю, мне все близко и все я могу понять. А город, затопленный сзади меня, – дурной сон, выдумка хозяина, такая же малопонятная, как сам он.

Досыта насмотревшись на все, я возвращаюсь домой, чувствую себя взрослым человеком, способным на всякую работу. По дороге я смотрю с горы кремля на Волгу, – издали, с горы, земля кажется огромной и обещает дать все, чего захочешь.

Дома у меня есть книги; в квартире, где жила Королева Марго, теперь живет большое семейство: пять барышень, одна красивее другой, и двое гимназистов, – эти люди дают мне книги. Я с жадностью читаю Тургенева и удивляюсь, как у него все понятно, просто и по-осеннему прозрачно, как чисты его люди и как хорошо все, о чем он кротко благовестит.

Читаю «Бурсу» Помяловского⁸⁶ и тоже удивлен: это странно похоже на жизнь иконописной мастерской; мне так хорошо знакомо отчаяние скуки, перекипающее в жестокое озорство.

Хорошо было читать русские книги, в них всегда чувствовалось нечто знакомое и печальное, как будто среди страниц скрыто замер великопостный звон, – едва откроешь книгу, он уже звучит тихонько.

«Мертвые души»⁸⁷ я прочитал неохотно; «Записки из мертвого дома»⁸⁸ – тоже; «Мертвые души», «Мертвый дом», «Смерть», «Три смерти», «Живые мощи»⁸⁹ – это однообразие названий книг невольно останавливало внимание, возбуждая смутную неприязнь к таким книгам. «Знамение времени»⁹⁰, «Шаг за шагом»⁹¹, «Что делать?»⁹², «Хроника села Смурина»⁹³ – тоже не понравились мне, как и все книги этого порядка.

Но мне очень нравились Диккенс⁹⁴ и Вальтер Скотт⁹⁵, этих авторов я читал с величайшим наслаждением, по два-три раза одну и ту же книгу. Книги В. Скотта напоминали праздничную обедню в богатой церкви, – немножко длинно и скучно, а всегда торжественно; Диккенс остался для меня писателем, пред которым я

⁸⁶ «Очерки бурсы» русского писателя Н. Г. Помяловского (1835–1863).

⁸⁷ Произведение Н. В. Гоголя (1809–1852).

⁸⁸ Произведение Ф. М. Достоевского (1821–1881).

⁸⁹ Рассказы и повести Л. Н. Толстого (1828–1910), И. С. Тургенева (1818–1883).

⁹⁰ Роман Д. Л. Мордовцева (1830–1905), автора популярных в свое время исторических романов на темы из русской и украинской истории XVII–XVIII веков.

⁹¹ «Шаг за шагом», впоследствии изданный под названием «Светлов, его взгляды, его жизнь и деятельность» – роман И. В. Омулевского (настоящая фамилия Федоров) (1836–1883), российского прозаика и поэта.

⁹² Роман Н. Г. Чернышевского (1828–1889).

⁹³ Роман П. В. Засодимского (1843–1912).

⁹⁴ Диккенс Чарльз (1812–1870) – английский писатель, автор романов «Жизнь и приключения Оливера Твиста», «Дэвид Копперфильд» и др.

⁹⁵ Скотт Вальтер (1771–1832) – британский писатель, считающийся основоположником жанра исторического романа в литературе нового времени.

почтительно преклоняюсь, – этот человек изумительно постиг труднейшее искусство любви к людям.

По вечерам на крыльце дома собиралась большая компания: братья К., их сестры, подростки; курносый гимназист Вячеслав Семашко; иногда приходила барышня Птицына, дочь какого-то важного чиновника. Говорили о книгах, о стихах, – это было близко, понятно и мне; я читал больше, чем все они. Но чаще они рассказывали друг другу о гимназии, жаловались на учителей; слушая эти рассказы, я чувствовал себя свободнее товарищей, очень удивлялся силе их терпения, но все-таки завидовал им – они учатся!

Мои товарищи были старше меня, но я казался сам себе более взрослым, более зрелым и опытным, чем они; это несколько смущало меня – мне хотелось чувствовать себя ближе к ним. Я приходил домой поздно вечером, в пыли и грязи, насыщенный впечатлениями иного порядка, чем их впечатления, в сущности – очень однообразные. Они много говорили о барышнях, влюблялись то в одну, то в другую, пытались сочинять стихи; нередко в этом деле требовалась моя помощь, я охотно упражнялся в стихосложении, легко находил рифмы, но почему-то стихи у меня всегда выходили юмористическими, а барышню Птицыну, которой чаще других назначались стихотворения, я обязательно сравнивал с овощами – с луковицей.

Семашко говорил мне:

– Какие же это стихи? Это – сапожные гвозди.

Не желая ни в чем отставать от них, я тоже влюбился в барышню Птицыну. Не помню, чем это выражалось у меня, но кончилось – плохо; по гнилой зеленой воде Звездина пруда плавала половица, и я предложил покатать барышню на этой доске. Она согласилась, я подвел доску к берегу и встал на нее, – одного меня она держала хорошо. Но когда пышно одетая барышня, вся в кружевах и лентах, грациозно встала на другом конце доски, а я гордо оттолкнулся палкой от земли, проклятая половица завилыла под нами, и барышня нырнула в пруд. Я рыцарски бросился за нею, быстро извлек ее на берег, – испуг и зеленая тина пруда уничтожили красоту моей дамы!

Грозь мне мокрым кулачком, она кричала:

– Это ты нарочно утопил меня!

И, не поверив искренности моих оправданий, с той поры стала относиться ко мне враждебно

В общем в городе жилось не очень интересно; старая хозяйка относилась ко мне неприязненно, как раньше; молодая смотрела на меня подозрительно; Викторюшка, еще более порывавший от веснушек, фыркал на всех, чем-то неизлечимо обиженный.

Чертежной работы у хозяина было много; не успевая одолеть ее вдвоем с братом, он пригласил в помощники вотчима моего.

Однажды я пришел с Ярмарки рано, часов в пять, и, войдя в столовую, увидел забытого мною человека у чайного стола, рядом с хозяином. Он протянул мне руку.

– Здравствуйте...

Я ошалел от неожиданности, сразу пожаром вспыхнуло прошлое, обожгло сердце.

– Испугался даже, – крикнул хозяин.

Вотчим⁹⁶ смотрел на меня с улыбкой на страшно худом лице; его темные глаза стали еще больше, весь он был потертый, раздавленный. Я сунул руку в его тонкие горячие пальцы.

– Ну вот, снова встретились, – сказал он, покашливая.

Я ушел, ослабев, как избитый.

Между нами установились какие-то осторожные и неясные отношения – он

⁹⁶ То же, что отчим.

называл меня по имени и отчеству, говорил со мною как с равным.

– Когда пойдете в лавку, пожалуйста, купите мне четверть фунта табаку Лаферм, сотню гильз Викторсон и фунт вареной колбасы...

Деньги, которые он давал мне, всегда были неприятно нагреты его горячей рукой. Было ясно, что он – чахоточный и не жилец на земле. Он знал это и говорил спокойным баском, закручивая острую черную бородку:

– У меня болезнь почти неизлечимая. Впрочем, если много употреблять мяса, то – можно поправиться. Может быть, я поправлюсь.

Ел он невероятно много, ел и курил папиросы, выпуская их изо рта только во время еды. Я каждый день покупал ему колбасу, ветчину, сардины, но сестра бабушки уверенно и почему-то злорадно говорила:

– Смерть закусками не накормишь, ее не обманешь, нет!

Хозяева относились к вотчиму с обидным вниманием, упорно советовали ему попробовать то или иное лекарство, но за глаза высмеивали его.

– Дворянин! Крошки, говорит, надобно чаще сметать со столов, мухи, дескать, разводятся от крошек, – рассказывала молодая хозяйка, а старуха ей вторила:

– Как же, дворянин! Сюртучишко-то весь протерся, залоснился, а он его все еще щеткой шаркает. Привередник, чтобы – ни пылинки!

А хозяин точно утешал их:

– Погодите, звери-курицы, умрет он скоро!..

Это бессмысленное враждебное отношение мещан к дворянину невольно сближало меня с вотчимом. Мухомор – тоже поганый гриб, да хоть красив!

Задыхавшийся среди этих людей, вотчим был похож на рыбу, случайно попавшую в куриный садок, – нелепое сравнение, как нелепа была вся эта жизнь.

Я стал находить в нем черты Хорошего Дела – человека, незабвенного для меня; его и Королеву я украшал всем лучшим, что мне давали книги, им отдавал я чистейшее мое, все фантазии, порожденные чтением. Вотчим – такой же чужой и нелюбимый человек, как Хорошее Дело. Он держался со всеми в доме ровно, никогда не заговаривал первый, отвечал на вопросы как-то особенно вежливо и кратко. Мне очень нравилось, когда он учил хозяина: стоит у стола, согнувшись вдвое, и, постукивая сухим ногтем по толстой бумаге, спокойно внушает:

– Здесь необходимо связать стропила ключом. Это пресечет силу давления на стены, иначе стропила будут распирать стены...

– Верно, черт возьми! – бормотал хозяин, а жена говорила ему, когда вотчим уходил:

– Просто удивляюсь, как ты позволяешь учить себя!

Ее почему-то особенно раздражало, когда вотчим после ужина чистил зубы и полоскал рот, выгибая острый кадык.

– По-моему, – кислым голосом говорила она, – вам, Евгений Васильевич, вредно так загибать голову.

Он, вежливо улыбаясь, спрашивал:

– Почему же?

– Да... так уж...

Он начинал чистить костяной палочкой свои синеватые ногти.

– Скажите, ногти еще чистит! – волновалась хозяйка. – Умирает, а туда же...

– Эхе-хе! – вздыхал хозяин. – Сколько на вас, звери-курицы, глупостиросло...

– Да ты что это говоришь? – возмущалась супруга.

А старуха по ночам пылко жаловалась богу:

– Господи, вот повесили мне на шею гнилого этого, а Викторушка – опять в стороне...

Викторушка стал подражать манерам вотчима, его медленной походке, уверенным движениям барских рук, его уменью как-то особенно пышно завязывать галстук и ловко, не чавкая, есть. Он то и дело грубо спрашивал:

– Максимов, как по-французски – колено?

– Меня зовут Евгений Васильевич, – спокойно напоминал вотчим.

– Ну, ладно! А – грудь?

За ужином Викторушка командовал матери:

– Ма мер, донне муазанкор⁹⁷ солонины!

– Ах ты, французик, – умилялась старуха.

Вотчим невозмутимо, как глухонемой, жевал мясо, ни на кого не глядя.

Однажды старший брат сказал младшему:

– Теперь, Виктор, когда ты по-французски выучился, тебе надо любовницу завести...

Это был единственный раз, когда, я помню, вотчим молча улыбнулся.

А хозяйка возмущенно бросила ложку на стол и закричала мужу:

– Как тебе не стыдно пакости при мне говорить!

Иногда вотчим приходил ко мне в черные сени; там, под лестницей на чердак, я спал; на лестнице, против окна, читал книги.

– Читаете? – спрашивал он, выдыхая дым, в груди у него шипели головни. – Что это?

Я показывал книгу.

– Ах, – говорил он, взглянув на титул, – это я, кажется, читал! Хотите курить?

Курили, поглядывая в окно на грязный двор; он говорил:

– Очень жаль, что вы не можете учиться, у вас, кажется, есть способности...

– Вот я учусь, читаю...

– Этого мало, нужна – школа, система...

Хотелось сказать ему:

«У вас, сударь мой, и школа и система была, а – что толку?»

Но он, как бы подозревая мои мысли, добавлял:

– При наличии характера – школа хорошо воспитывает. Жизнь могут двигать только очень грамотные люди...

Не однажды он советовал мне:

– Вы бы лучше ушли отсюда, не вижу здесь смысла и пользы для вас...

– Мне нравятся рабочие.

– А... Чем же?

– Интересно с ними.

– Может быть...

А однажды он сказал:

– Какая, в сущности, дрянь эти наши хозяева, дрянь...

Вспомнив, как и когда произнесла это слово моя мать, я невольно отодвинулся от него, – он спросил, улыбаясь:

– Вы не так думаете?

– Так.

– Ну да... Я это вижу.

– Хозяин все-таки нравится мне...

– Да, он, пожалуй, добрый мужик... Но – смешной.

Мне хотелось говорить с ним о книгах, но он, видимо, не любил книг и не однажды советовал:

⁹⁷ Мамаша, дайте мне еще (*искаж. франц.*).

– Вы – не увлекайтесь, в книгах все очень прикрашено, искажено в ту или иную сторону. Большинство пишущих книги – это люди вроде нашего хозяина, мелкие люди. Подобные суждения казались мне смелыми и подкупали меня.

Как-то раз он спросил меня:

– Вы читали Гончарова⁹⁸?

– «Фрегат "Паллада"».

– Это очень скучно, «Паллада». Но вообще Гончаров – самый умный писатель в России. Советую прочитать его роман «Обломов». Это наиболее правдивая и смелая книга у него. И вообще в русской литературе – лучшая книга...

О Диккенсе он говорил:

– Это – чепуха, уверяю вас... А вот в приложениях к газете «Новое время» печатается весьма интересная вещь «Искушение святого Антония» – это вы прочитайте! Вы, кажется, любите церковь и все это, церковное? «Искушение» вам будет полезно...

Он сам принес мне пачку приложений, я прочитал мудрую работу Флобера⁹⁹; она напомнила мне бесчисленные жития святых, кое-что из историй, рассказанных начетчиком, но особенно глубокого впечатления не вызвала; гораздо более мне понравились напечатанные рядом с нею «Мемуары Упилио Файмали, укротителя зверей».

Когда я сознался в этом вотчиму, он спокойно заметил:

– Значит – вам еще рано читать такие вещи! Но – не забывайте об этой книге...

Иногда он долго сидел со мною, не говоря ни слова, только покашливая и непрерывно исходя дымом. Его красивые глаза жутко горели. Я тихонько смотрел на него и забывал, что этот человек, умирающий так честно и просто, без жалоб, когда-то был близок моей матери и оскорблял ее. Я знал, что он живет с какой-то швейкой, и думал о ней с недоумением и жалостью: как она не брезгует обнимать эти длинные кости, целовать этот рот, из которого тяжело пахнет гнилью? Так же, как, бывало, Хорошее Дело, вотчим неожиданно говорил что-то очень свое:

– Я люблю гончих собак, они – глупые, но я их люблю. Очень красивы. Красивые женщины часто бывают глупы...

Я не без гордости думал:

«Знал бы ты – Королеву Марго!»

– У всех людей, которые долго живут в одном доме, лица становятся одинаковыми, – сказал он однажды; я записал это в свою тетрадь.

Я ждал этих изречений, как благостыни, – приятно было слышать необычные сочетания слов в доме, где все говорили бесцветным языком, заостренными в истертых, однообразных формах.

Вотчим никогда не говорил со мною о матери, даже, кажется, имени ее не произнес никогда; это очень нравилось мне, возбуждая чувство, близкое уважению к нему.

Как-то раз я спросил его о боге, – не помню, что именно: он взглянул на меня и очень спокойно сказал:

– Не знаю. Я в бога не верю.

Я вспомнил Ситанова и рассказал о нем, а вотчим, внимательно выслушав меня, заметил все так же спокойно:

– Он рассуждает, а рассуждающий все-таки верит во что-то... Я просто не верю!

– А разве это можно?

– Почему же нельзя? Вот видите – не верю...

⁹⁸ Иван Александрович Гончаров (1812–1891), русский писатель.

⁹⁹ Флобер Гюстав (1821–1880) – французский писатель.

Я видел одно – он умирает. Едва ли я жалел его, но впервые почувствовал острый и естественный интерес к умирающему ближнему, к тайне смерти.

Вот – сидит человек, касаясь меня коленом, горячий, думающий; уверенно расставляет людей по линиям своих отношений к ним; говорит обо всем, как имущий власть судить и разрешать, – в нем есть нечто нужное мне или нечто, оттеняющее ненужное для меня. Это – существо непостижимой сложности, вместилище бесконечного вихря мыслей; как бы я ни относился к нему, он является частью меня самого, живет где-то во мне, я о нем думаю, и тень души его лежит на моей душе. Завтра он весь исчезнет, весь, со всем, что скрыто в его голове, сердце, что я – мне кажется – умею читать в его красивых глазах. Когда он исчезнет – порвется одна из живых нитей, связующих меня с миром, останется воспоминание, но – оно целиком во мне, навсегда ограничено, неизменно. А живое, изменяющееся – уйдет...

Но это – мысли, а за ними лежит то невыразимое словом, что родит и питает их, что, властно понуждая всматриваться в явления жизни, от каждого из них требует ответа – зачем?

– Кажется, я скоро лягу, знаете, – сказал вотчим однажды, в дождливый день. – Такая глупая слабость! И ничего не хочется...

На другой день за вечерним чаем он особенно тщательно сметал со стола и с колен крошки хлеба, отстранял от себя что-то невидимое, а старуха-хозяйка, глядя на него исподлобья, говорила снохе шепотом:

– Гляди – ощипывается, чистится...

Дня через два он не пришел работать, а потом старая хозяйка сунула мне большой белый конверт, говоря:

– На-ко, вчера еще бабенка принесла, Ополдень, да забыла я отдать. Миленькая бабенка-то, а уж как она тебе приходится – не знаю, право!

В конверте, на листе бумаги с бланком больницы, было написано крупными буквами:

«Будете иметь свободный час – придите повидаться. Я в Мартыновской. Е. М.»

На другой день, утром, я сидел в больничной палате, на койке вотчима; он был длиннее койки, и ноги его, в серых, сбившихся носках, торчали сквозь прутья спинки. Красивые глаза, мутно плутая по желтым стенам, останавливались на моем лице и на маленьких руках девушки, сидевшей на табурете у изголовья. Она положила руки на подушку, и вотчим терся щекой о них, открыв рот. Девушка была полненькая, в темном гладком платье; по ее овальному лицу медленно стекали слеза; мокрые голубые глаза, не отрываясь, смотрели в лицо вотчима, на острые кости, большой заострившийся нос и темный рот.

– Священника бы, – шептала она, – а он не велит... не понимает ничего...

И, сняв руки с подушки, она прижала их к груди, точно молясь.

На минуту вотчим пришел в себя, посмотрел в потолок, серьезно нахмурясь и словно вспоминая что-то, потом подвинул ко мне свою тощую руку.

– Вы? Спасибо. Вот, видите... Чувствую очень глупо... себя...

Это его утомило, он закрыл глаза; я погладил его длинные холодные пальцы с синими ногтями, девушка тихо попросила.

– Евгений Васильевич, согласитесь, пожалуйста!

– Вот – познакомьтесь, – проговорил он, указав на нее глазами. – Милый человек...

Замолчал, все шире открывая рот, и вдруг вскрикнул хрипло, точно ворон; завозился на койке, сбивая одеяло, шаря вокруг себя голыми руками; девушка тоже закричала, сунув голову в измятую подушку.

Умер вотчим быстро; умер и тотчас похорошел.

Я вышел из больницы под руку с девушкой. Она качалась, как больная, плакала. В руке у нее был сжатый в ком платок; поочередно прикладывая его к глазам, она свертывала платок все туже и смотрела на него так, как будто это было самое драгоценное и последнее ее.

Вдруг остановилась, прижавшись ко мне, говоря с упреком:

– И до зимы не дожил... Ах, господи, господи, что же это такое?

Потом протянула мне руку, мокрую от слез.

– Прощайте. Он вас очень хвалил. Хоронить – завтра.

– Проводить вас до дому?

Она оглянулась.

– Зачем же? Теперь – день, не ночь.

Из-за угла переулка я посмотрел вслед ей, – шла она тихонько, как человек, которому некуда торопиться.

Был август, уже с деревьев падал лист.

У меня не нашлось времени проводить вотчима на кладбище, и я никогда больше не видел эту девушку...

Глава XVII

Каждое утро, в шесть часов, я отправлялся на работы, на Ярмарку. Там меня встречали интересные люди: плотник Осип, седенький, похожий на Николая Угодника, ловкий работник и остролов; горбатый кровельщик Ефимушка; благочестивый каменщик Петр, задумчивый человек, тоже напоминавший святого; штукатур Григорий Шишлин, русобородый, голубоглазый красавец, сиявший тихой добротой.

Я знал этих людей во второй период жизни у чертежника; каждое воскресенье они, бывало, являлись в кухню, степенные, важные, с приятной речью, с новыми для меня, вкусными словами. Все эти солидные мужики тогда казались мне насквозь хорошими; каждый был по-своему интересен, все выгодно отличались от злых, вороватых и пьяных мещан слободы Кунавина.

Больше всех мне нравился тогда штукатур Шишлин, я даже просился в артель к нему, но он, почесывая золотую бровь белым пальцем, мягко отказал мне:

– Рано для тебя, наша работа – нелегкая, погоди год-другой...

Потом, взметнув красивой головой, спросил:

– Али не ладно живетесь? Ну, ничего, потерпи, сожмись крепче в самом себе, тогда – стерпишь!

Не знаю, что дал мне этот добрый совет, но я благодарно запомнил его.

Они и теперь приходили к моему хозяину утром каждого воскресенья, рассаживались на скамьях вокруг кухонного стола и, ожидая хозяина, интересно беседовали. Хозяин шумно и весело здоровался с ними, пожимая крепкие руки, садился в передний угол. Появлялись счеты, пачка денег, мужики раскладывали по столу свои счета, измятые записные книжки, начинался расчет за неделю.

Шутя и балагурия, хозяин старался обсчитать их, а они – его; иногда крепко ссорились, но чаще – дружно смеялись.

– Эх, милый человек, а и жуликом ты родился! – говорили мужики хозяину.

Он отвечал, сконфуженно посмеиваясь:

– Ну, и вы, звери-курицы, тоже довольно жуликоваты!

– Да ведь как иначе, друг? – сознавался Ефимушка, а серьезный Петр говорил:

– Тем и жив, что украдешь, а что выработаеть – богу да царю...

– Вот и мне охота объегорить вас! – смеялся хозяин.

Они добродушно поддерживали его:

– Поддеюлить, значит?

– Подкузьмить?

Григорий Шишлин, прижимая руками к груди пышную бороду, певуче просил:

– Братцы, а давайте просто дела делать, без обмана? Ведь ежели честно жить, – так ведь как хорошо, спокойно, а? Народ родной, а?

Голубые глаза его темнели, увлажнялись; был он в эти минуты удивительно хорош; всех как будто немножко смущала его просьба, все сконфуженно отворачивались от него.

– Мужик на много не оманет, – вздыхая, ворчал благообразный Осип, как бы жалея мужика.

Темный каменщик, согнув над столом сутулую спину, густо говорил:

– Грех – что болото: чем дале, тем вязче!

И в тон речам их хозяин бормочет:

– Я – что же? Откликаюсь, как аукнется...

Пофилософствовал; снова пытаются надуть друг друга, а рассчитавшись, потные и усталые от напряжения, идут в трактир пить чай, пригласив с собою и хозяина.

На Ярмарке я должен был следить, чтобы эти люди не воровали гвоздей, кирпича, тесу; каждый из них, кроме работы у моего хозяина, имел свои подряды, и каждый старался стащить что-нибудь из-под носа у меня на свое дело.

Они встретили меня ласково, а Шишлин сказал:

– Помнишь, ты просился в артель ко мне? А теперь – эвон куда тебя вознесло, будешь надо мной начальником, а?

– Ну, ну, – балагурил Осип, – стереги да береги, бог тебе помоги!

Петр недружелюбно заметил:

– Нарядили молодого журавля управлять старыми мышами...

Мои обязанности жестоко смущали меня; мне было стыдно перед этими людьми, – все они казались знающими что-то особенное, хорошее и никому, кроме них, неведомое, а я должен смотреть на них как на воров и обманщиков. Первые дни мне было трудно с ними, но Осип скоро заметил это и однажды, с глазу на глаз, сказал мне:

– Вот что, паренек, ты не надувайся, это ни к чему – понял?

Я, конечно, ничего не понял, но почувствовал, что старик понимает нелепость моего положения, и у меня быстро наладились с ним отношения откровенные.

Он поучал меня где-нибудь в уголке:

– Среди нас, коли хочешь знать, главный вор – каменщик Петруха; он человек многосемейный, жадный. За ним – гляди в оба, он ничем не брезгует, ему все годится: фунт гвоздей, десяток кирпича, мешок известки – все подай сюда! Человек он – хороший, богомол, мыслей строгих и грамотен, ну, а воровать – любит! Ефимушка – в баб живет, он – смирный, он для тебя безобидный. Он тоже умный, горбатые – все не дураки! А вот Григорий Шишлин – этот придурковат, ему не то что чужое взять, абы свое – отдать! Он работает вовсе впустую, его всяк может омануть, а он – не может! Без ума руководится...

– Он – добрый?

Осип посмотрел на меня как-то издали и сказал памятные слова:

– Верно, добрый! Ленивому добрым быть – самое простое; доброта, парень, ума не просит...

– Ну, а сам ты? – спросил я Осипа.

Он усмехнулся и ответил:

– Я – как девушка, – буду бабушкой, тогда про себя и скажу, ты погоди покуда! А то – своим умом поищи, где я спрятан, – поищи-ка вот!

Он опрокидывал все мои представления о нем и его друзьях. Мне трудно было

сомневаться в правде его отзывов, – я видел, что Ефимушка, Петр, Григорий считают благообразного старика более умным и сведущим во всех житейских делах, чем сами они. Они обо всем советовались с ним, выслушивали его советы внимательно, оказывали ему всякие знаки почтения.

– Сделай милость, посоветуй ты нам, – просили они его; но после одной из таких просьб, когда Осип отошел, каменщик тихо сказал Григорию:

– Еретик¹⁰⁰.

А Григорий, усмехаясь, добавил:

– Паяц.

Штукатур дружески предупреждал меня:

– Ты гляди, Максимыч, – со стариком надо жить осторожно, он тебя в один час вокруг пальца обернет! Этакие вот старички едучие – избави боже до чего вредны!

Я ничего не понимал.

Мне казалось, что самый честный и благочестивый человек – каменщик Петр; он обо всем говорил кратко, внушительно, его мысль чаще всего останавливалась на боге, аде и смерти.

– Эх, ребята-братцы, как ни бейся, на что ни надейся, а гроба да погоста никому не миновать стать!

У него постоянно болел живот, и бывали дни, когда он совсем не мог есть; даже маленький кусочек хлеба вызывал у него боли до судорог и мучительную тошноту.

Горбатый Ефимушка казался тоже очень добрым и честным, но всегда смешным, порою – блаженным, даже безумным, как тихий дурачок. Он постоянно влюблялся в разных женщин и обо всех говорил одними и теми же словами:

– Прямо скажу: не баба, а цветок в сметане, ей-бо-о!

Когда бойкие кунавинские мещанки приходили мыть полы в лавках, Ефимушка спускался с крыши и, становясь где-нибудь в уголок, мурлыкал, прищурился серые живые глаза, растягивая большой рот до ушей.

– Экую бабочку ядреную привел мне господь; этакая радость низошла до меня; ну, и что же это за цветок в сметане, да и как же мне судьбу благодарить за этакый подарок? Да я от такой красоты жив – сгорю!

Сначала бабы смеялись над ним, покрикивая одна другой:

– Глядите-ко, как горбатый тает, а – батюшки!

Насмешки нимало не задевали кровельщика, его скуластое лицо становилось сонным, он говорил, точно в бреду, сладкие слова текли пьяным потоком и заметно опьяняли женщин. Наконец какая-нибудь, постарше, говорила удивленно подругам:

– Вы послушайте, как мужик мается, чисто молодой парень!

– Птицей поет...

– Али нищим на паперти, – не сдавалась упрямая.

Но Ефимушка не был похож на нищего; он стоял крепко, точно коренастый пень, голос его звучал все призывнее, слова становились заманчивей, бабы слушали их молча. Он действительно как бы таял ласковой, дурманной речью.

Кончалось это тем, что во время паужина¹⁰¹ или после шабаша он, покачивая тяжелой, угловатой головою, говорил товарищам изумленно:

– Ну, и какая же бабочка сладкая да милая, – первóй раз в жизни коснулся эдакой!

Рассказывая о своих победах, Ефимушка не хвастался, не насмешничал над побежденной, как всегда делали другие, он только радостно и благодарно умилялся, а серые глаза его удивленно расширились.

Осип, покачивая головою, восклицал:

¹⁰⁰ Еретик – отступник от официально признанного вероучения.

¹⁰¹ Паужин – прием пищи между обедом и ужином.

– Ах ты, неистребимый мужчина! Который тебе годок пошел?
– А годов мне – четыре на сорок. Да это – ничего! Я сегодня лет на пяток помолодел, как в реке искупался, в живой воде, оздоровел весь, на сердце – покойно! Нет – ведь какие женщины бывают, а?

Каменщик сурово говорил ему:

– Как шагнешь за пятый десяток, гляди, – горько-солоны будут тебе похабные привычки твои!

– Бесстыдник ты, Ефимушка, – вздыхал Григорий Шишлин.

А мне казалось, что красавец завидует удаче горбатого.

Осип смотрел на всех из-под ровненько закрученных серебряных бровей и балагурил:

– У всякой Машки – свои замашки, эта любит чашки да ложки, а другая пряжки да сережки, а – все Машки будут бабушки...

Шишлин был женат, но жена у него оставалась в деревне, он тоже засматривался на поломоек. Все они были легко доступны, каждая «прирабатывала»; к этому роду заработка в головной слободе относились так же просто, как ко всякой иной работе. Но красавец мужик не трогал женщин, он только смотрел на них издали особенным взглядом, точно жалея кого-то, себя или их. А когда они сами начинали заигрывать с ним, соблазняя его, он, сконфуженно посмеиваясь, уходил прочь.

– Ну вас...

– Что ты, чудачок? – удивлялся Ефимушка. – Разве можно случай терять?

– Я – женатый, – напоминал Григорий.

– Да разве жена узнает?

– Жена всегда узнает, ежели нечестно жил, ее, брат, не обманешь!

– Да как узнает?

– Это мне неизвестно – как, а – должна узнать, ежели сама она честно живет. А ежели я честно живу, а она согрешит – я про нее узнаю...

– Да как? – кричит Ефимушка, но Григорий спокойно повторяет:

– Это мне неизвестно.

Кровельщик возмущенно разводит руками.

– Вот – пожалуйста! Честно, неизвестно... Эх ты, голова!

Рабочие Шишлина, семь человек, относились к нему просто, не чувствуя в нем хозяина, а за глаза называли его теленком. Являясь на работу и видя, что они ленятся, он брал сокол, лопату и артистически принимался за дело сам, ласково покрикивая:

– Наддай, ребятки, наддай!

Однажды, исполняя сердитое поручение хозяина моего, я сказал Григорию:

– Плохие у тебя работники... Он как будто удивился:

– Да ну?

– Эту работу надо бы еще вчера до полудня кончить, а они и сегодня не успеют...

– Это верно – не успеют, – согласился он и, помолчав, осторожно сказал:

– Я, конечно, вижу, да совестно подгонять их – ведь все свои, из одной деревни со мной. Опять же и то возьми: наказано богом – в поте лица ешь хлеб, так что – для всех наказано, для тебя, для меня. А мы с тобой мене их трудимся, ну – неловко будто подгонять-то их...

Он жил задумчиво; идет по пустым улицам Ярмарки и вдруг, остановясь на одном из мостов Обводного канала, долго стоит у перил, глядя в воду, в небо, в даль за Оку. Настигнешь его, спросишь:

– Ты что?

– А? – просыпаясь, смущенно улыбается он. – Это я так... пристал, поглядел немножко...

– Хорошо, брат, устроено все у бога, – нередко говорил он. – Небушко, земля, реки текут, пароходы бежат! Сел на пароход, и – куда хошь: в Рязань али в Рыбинской, в Пермь, до Астрахани! В Рязани я был, ничего городок, а скушнее Нижнего-то; Нижний у нас – молодец, веселый! И Астрахань – скушнее. В Астрахани, главное, калмыка много, а я этого не люблю. Не люблю никакой мордвы, калмыков этих, персиян, немцев и всяких народцев...

Он говорит медленно, слова его осторожно нащупывают согласно мыслящего и всегда находят его в каменщике Петре.

– Не народцы они, а – мимородцы, – уверенно и сердито говорит Петр, мимо Христа родились, мимо Христа идут...

Григорий оживляется, сияет.

– Так ли, нет ли, а я, братцы, люблю чистый народ, русский, чтобы глаз был прямой! Жидов я тоже не люблю и даже не понимаю – зачем богу народцы? Премудро устроено...

Каменщик добавляет сумрачно:

– Премудро, а быдто лишнего многонько!..

Прислушавшись к их речам, вступает Осип, насмешливо и едко:

– Лишнее – есть, вот речи эти ваши – вовсе лишние! Эх вы, сехта, пороть бы вас всех – то.

Осип держится сам по себе, но нельзя понять – с чем он согласен, против чего будет спорить. Иногда кажется, что он равнодушно согласен со всеми людьми, со всеми их мыслями; но чаще видишь, что все надоели ему, он смотрит на людей как на малоумных и говорит Петру, Григорию, Ефимушке:

– Эх вы, щенки свинячьи...

Они усмеваются, не очень весело и охотно, а все-таки усмеваются.

Хозяин выдавал мне на хлеб пятачок в день; этого не хватало, я немножко голодал; видя это, рабочие приглашали меня завтракать и поужинать с ними, а иногда и подрядчики звали меня в трактир чай пить. Я охотно соглашался, мне нравилось сидеть среди них, слушая медленные речи, странные рассказы; им доставляла удовольствие моя начитанность в церковных книгах.

– Наклевался ты книжек досыта, набил зоб туго, – говорил Осип, внимательно глядя на меня васильковыми глазами; трудно уловить их выражение – зрачки у него всегда точно плаваются, тают.

– Ты береги это, прикапливай, годится; вырастешь – иди в монахи народ словесно утешать, а то – в миллионеры...

– Миссионеры, – поправляет каменщик почему-то обиженным голосом.

– Ась? – спрашивает Осип.

– Миссионеры говорится, ведь знаешь! И не глух ты...

– Ну, ладно, в миссионеры, с еретиками спорить. А то в самые еретики запишись, – тоже должность хлебная! При уме и ересью прожить можно...

Григорий сконфуженно смеется, а Петр говорит в бороду:

– Вот колдуны тоже не плохо живут, безбожники разные...

Но Осип тотчас возражает:

– Колдун грамотен не живет, грамота колдуну не ко двору...

И рассказывает мне:

– Вот, погляди, послушай: жил в нашей волости бобылек один, Тушкой звали, захудящий мужичонко, пустой; жил – пером, туда-сюда, куда ветер дует, а – ни работник, ни бездельник! Вот пошел он единожды, от нечего делать, на богомолье и плутал года с два срока, а после вдруг объявился в новом виде: волосья – до плеч, на голове – скуфеечка, на корпусе рыженькая ряска чертовой кожи; глядит на всех окунем

и предлагает упрямо: покайтесь, треклятые! Чего ж не покаяться, а особливо – бабам? И пошло дело на лад: Тушка сыт, Тушка пьян, Тушка бабами через меру доволен...

Каменщик сердито перебивает:

– Да разве в том дело, что сыт да пьян?

– В чем ино?

– Дело – в слове!

– Ну, в слова его я не вникал, – словами я и сам преизбыточно богат...

– Мы Тушникова, Дмитрия Васильича, довольно хорошо знаем, – обиженно говорит Петр, а Григорий молча опустил голову и смотрит в свой стакан.

– Я – не спорю, – примирительно заявляет Осип. – Это вот я все Максимычу нашему говорю про разные пути-дороги до куска...

– По иным дорогам и в острог попадают...

– Редко ли! – соглашается Осип. – Не со всякой тропы попадешь в попы, надо знать, где свернуть...

Он всегда немножко поддразнивает благочестивых людей – штукатура и каменщика; может быть, он не любит их, но ловко скрывает это. Его отношение к людям вообще неуловимо.

На Ефимушку он смотрит как будто мягче, добрее. Кровельщик не вступает в беседы о боге, правде, сектах, о горе жизни человеческой – любимые беседы его друзей. Поставив стул боком к столу, чтобы спинка стула не мешала горбу, – он спокойно пьет чай, стакан за стаканом, но вдруг настораживается, оглядывая дымную комнату, вслушиваясь в несвязный шум голосов, вскакивает и быстро исчезает. Это значит, что в трактир пришел кто-то, кому Ефимушка должен, а кредиторов у него – добрый десяток, и – так как некоторые бьют его – он бежит от греха.

– Сердуются, чудачки, – недоумевает он, – да ведь кабы я имел деньги, али бы не отдал я?

– Ах, сухостой горький... – напутствует его Осип.

Иногда Ефимушка долго сидит задумавшись, ничего не видя, не слыша; скуластое лицо смягчается, добрые глаза смотрят еще добрее.

– О чем задумался, служивый? – спрашивают его.

– Думаю, – быть бы мне богатому, эх – женился бы на самой настоящей барыне, на дворянке бы, ей-богу, на полковничкой дочери, примерно, любил бы ее – господи! Жив сгорел бы около нее... Потому что, братцы, крыл я одноа крышу у полковника на даче...

– И была у него дочь вдовая, – слыхали мы это! – недружелюбно прерывает Петр.

Но Ефимушка, растирая ладонями колена, покачивается, долбя горбом воздух, и продолжает:

– Бывало, выйдет она в сад, вся белая да пышная, гляжу я на нее с крыши, и – на что мне солнышко, и – зачем белый день? Так бы голубем под ноги ей и слетел! Просто – цветок лазоревый в сметане! Да с этакой бы госпожой хоть на всю жизнь – ночь!

– А жрать чего стали бы? – сурово спрашивает Петр, но это не смущает Ефимушку.

– Господи! – восклицает он. – Да много ли нам надобно? К тому же она богатая...

Осип смеется:

– И когда ты, Ефимушка, расточишь себя в делах этих, расточитель?

Кроме женщин, Ефимушка ни о чем не говорит, и работник он неровный – то работает отлично, споро, то у него не ладится, деревянный молоток клевет гребни лениво, небрежно, оставляя свищи. От него всегда пахнет маслом, ворванью; но у него есть свой запах, здоровый и приятный, он напоминает запах свежесрубленного дерева.

С плотником интересно говорить обо всем; интересно, но не очень приятно, его

слова всегда тревожат сердце, и трудно понять, когда он говорит серьезно, когда шутит.

С Григорием же всего лучше говорить о боге, он любит это и в этом тверд.

– Гриша, – спрашиваю я, – а знаешь: есть люди, которые не верят в бога?

Он спокойно усмехается:

– Как это?

– Говорят: нет бога!

– О! Вона что! Это я знаю.

И, отмахиваясь рукою от невидимой мухи, говорит:

– Еще царем Давидом, помнишь, сказано: «Рече безумен в сердце своем: несть бог», – вон когда еще говорили про это безумные! Без бога – никак нельзя обойтись...

Осип как будто соглашается с ним:

– Отними-ка у Петрухи бога-то – он те покажет кузькину мать!

Красивое лицо Шишлина становится строгим; перебирая бороду пальцами с засохшей известью на ногтях, он таинственно говорит:

– Бог вселен в каждую плоть; совесть и все внутреннее ядро – от бога дано!

– А – грехи?

– Грехи – от плоти, от сатаны! Грехи – это снаружи, как воспа, не более того!

Грешит всех сильнее тот, кто о грехе много думает; не поминай греха – не согрешишь!

Мысли о грехе – сатана, хозяин плоти, внушает...

Каменщик сомневается:

– Что-то не так будто бы...

– Так! Бог – безгрешен, а человек – образ и подобие его. Грешит образ, плоть; а подобие грешить не может, оно – подобие, дух...

Он победно улыбается, а Петр ворчит:

– Это будто бы не так...

– А по-твоему, – спрашивает Осип каменщика, – не согрешишь – не покаешься, не покаешься – не спасешься?

– Так-то надежнее будто! Черта забудешь – бога разлюбишь, говорили старики...

Шишлин непьющий, он пьянеет с двух рюмок; тогда лицо его становится розовым, глаза детскими, голос поет.

– Братцы мои, как все это хорошо! Вот живем, работаем немножко, сыты, слава богу, – ах, как хорошо!

Он плакал, слезы стекали ему на бороду и светились на шелке волос стеклянными бусами.

Его частые похвалы жизни и эти стеклянные слезы были неприятны мне, бабушка моя хвалила жизнь убедительнее, проще, не так навязчиво.

Все эти разговоры держали меня в постоянном напряжении, возбуждая смутную тревогу. Я уже много прочитал рассказов о мужиках и видел, как резко не похож книжный мужик на живого. В книжках все мужики несчастны; добрые и злые, все они беднее живых словами и мыслями. Книжный мужик меньше говорит о боге, о сектах, церкви, – больше о начальстве, о земле, о правде и тягестях жизни. О женщинах он говорит тоже меньше, не столь грубо, более дружелюбно. Для живого мужика баба – забава, но забава опасная, с бабой всегда надо хитрить, а то она одолеет и запутает всю жизнь. Мужик из книжки или плох или хорош, но он всегда весь тут, в книжке, а живые мужики ни хороши, ни плохи, они удивительно интересны. Как бы перед тобою ни выболтался живой мужик, всегда чувствуется, что в нем осталось еще что-то, но этот остаток – только для себя, и, может быть, именно в этом несказанном, скрытом – самое главное.

Изо всех книжных мужиков мне наиболее понравился Петр «Плотничьей

артели»; захотелось прочитать этот рассказ моим друзьям, и я принес книгу на Ярмарку. Мне часто приходилось ночевать в той или другой артели, иногда потому, что не хотелось возвращаться в город по дождю, чаще – потому, что за день я устал и не хватало сил идти домой.

Когда я сказал, что вот у меня есть книга о плотниках, это всех живо заинтересовало, а Осипа – особенно. Он взял книгу из рук у меня, перелистал ее, недоверчиво покачивая иконописною головой.

– А и впрямь будто про нас написано! Ишь ты, шельмы! Кто писал, барин? Ну, я так и подумал Баре да чиновники на все горазды! Где господь не догадается, там чиновник домыслит; на то они и живы есть...

– Неосторожно ты, Осип, про бога говоришь, – заметил Петр.

– Ничего! Для господа мое слово – меньше, как мне на лысину снежинка али капля дождевая. Ты – не сомневайся, нам с тобой до бога не дотронуться...

Он вдруг беспокойно заиграл, разбрасывая, словно кремь искры, острые словечки, состригая ими, как ножницами, все, что противоречило ему. Несколько раз в течение дня он спрашивал:

– Читаем, Максимыч? Ну, дело, дело! Это ладно придумано.

Пошабашив, пошли ужинать к нему в артель, а после ужина явились Петр со своим работником Ардальо – ном и Шишлин с молодым парнем Фомою. В сарае, где артель спала, зажгли лампу, и я начал читать; слушали молча, не шевелясь, но скоро Ардальон сказал сердито:

– Ну, с меня довольно!

И ушел. Первым заснул Григорий, удивленно открыв рот, за ним заснули плотники, но Петр, Осип и Фома, пододвинувшись ко мне, слушали с напряжением.

Когда я кончил читать, Осип тотчас погасил лампу, – по звездам было уже около полуночи.

Петр спросил во тьме:

– К чему ж это написано? Против кого?

– Теперь – спать! – сказал Осип, снимая сапоги.

Фома молча отодвинулся в сторону.

Петр повторил требовательно:

– Я говорю – супроти кого написано это?

– Уж они знают! – выговорил Осип, укладываясь спать на подмости.

– Ежели против мачех, так это совсем пустое дело: от этого мачехи лучше не станут. – настойчиво говорил каменщик. – А против Петра – тоже зря: его грех – его ответ! За убийство – в Сибирь, больше ничего! Книжка лишняя в таком грехе... лишняя будто, ась?

Осип молчал. Тогда каменщик добавил:

– Делать им нечего, вот и разбирают чужие дела! Вроде баб на посиделках.

Прощайте ин, спать надо...

Он на минуту задержался в синем квадрате открытой двери и спросил:

– Осип, ты как думаешь?

– Ой? – сонно отозвался плотник.

– Ну, ладно, спи...

Шишлин свалился на бок там, где сидел. Фома лег на измятой соломе рядом со мною. Слобода спала, издали доносился свист паровозов, тяжелый гул чугунных колес, звон буферов. В сарае разноголосо храпели. Мне было неловко – я ждал каких-то разговоров, а – ничего нет...

Но вдруг Осип заговорил тихо и четко:

– Вы, ребята, не верьте ничему этому, вы – молодые, вам долго жить, копите свой

разум! Свой ум – чужим двум! Фома, спишь?

– Нет, – охотно отозвался Фома.

– То-то! Вы оба грамотны, так вы – читайте, а веры ничему не давайте. Они все могут напечатать, это дело – в ихних руках!

Он спустил ноги с подмостков, уперся руками в край доски и, наклонясь к нам, продолжал:

– Книжку – ее как надо понимать? Это – доношение на людей, книжка! Дескать, глядите, каков есть человек, плотник али кто другой, а вот барин, так – иной человек! Книжка – не зря пишется, а во чью-нибудь защиту...

Фома густо сказал:

– Петр правильно убил подрядчика-то!

– Ну, это – напрасно, человека убивать никогда не правильно. Я знаю, ты Григорья не любишь, только эти мысли ты брось. Мы все – люди небогатые, сегодня – я хозяин, завтра – опять работник...

– Я не про тебя, дядя Осип...

– Это все едино...

– Ты – справедливый.

– погоди, я те расскажу, к чему написано сочинение, – перебил Осип сердитые слова Фомы, – это очень хитрое сочинение! Вот те – барин без мужика, вот – мужик без барина! Теперь гляди: и барину – плохо, и мужику не хорошо. Барин ослаб, одурел, а мужик стал хвастун, пьяница, хворый, стал обиженный – вот оно как! А в крепости у бар было, дескать, лучше: барин за мужика прятался, мужик – за барина, и кружились оба спокойно, сытые... Я не спорю, верно, при господах было спокойнее жить – господам не к выгоде, коли мужик беден; им хорошо, коли он богат, да не умен, вот что им на руку. Я это знаю, я ведь сам в крепости господской почти сорок лет прожил, у меня на шкуре много написано.

Я вспомнил, что вот так же говорил о господах извозчик Петр, который зарезался, и мне было очень неприятно, что мысли Осипа совпадают с мыслями того злого старика.

Осип потрогал ногой мою ногу, продолжая:

– Книжки и всякие сочинения надо понимать! Зря никто ничего не делает, это одна видимость, будто зря. И книжки не зря пишутся, – а чтобы голову мутить. Все творится с умом, без ума – ни топором тять, ни ковырять лапоть...

Говорил он долго, ложился и снова вскакивал, разбрасывая тихонько свои складные прибаутки, во тьме и тишине.

– Говорится: господа мужику чужие люди. И это – неверно. Мы – тех же господ, только – самый испод; конечно, барин учится по книжкам, а я – по шишкам, да у барина белее задница – тут и вся разница. Не-ет, парни, пора миру жить по-новому, сочинения-то надобно бросить, оставить! Пускай каждый спросит себя: я – кто? Человек. А он кто? Опять человек. Что же теперь: али бог с него на семишник лишнего требует? Не-ет, в податях мы оба пред богом равны...

Наконец под утро, когда рассвет погасил все звезды, Осип сказал мне:

– Видал, как я сочинять могу? Вот чего наговорил – чего и не думал никогда! Вы, ребята, не давайте мне веры, это я больше от бессонницы, чем всурьез. Лежишь – лежишь да и придумаешь чего-нибудь для забавы: во время оно жила-была ворона, летала с поля до горы, от межи до межи, дожила до своей поры, господь ее накажи: издохла ворона и засохла! Какой тут смысл? Нету никакого смысла... Ну-те-ко – поспим: скоро вставать пора...

Глава XVIII

Как в свое время кочегар Яков, – Осип в моих глазах широко разросся и закрыл собою от меня всех людей. В нем было что-то очень близкое кочегару, но в то же время он напоминал мне деда, начетчика Петра Васильева, повара Смурого, и, напоминая всех людей, цепко укрепившихся в моей памяти, он оставлял в ней свой глубокий узор, въедался в нее, точно окись в медь колокола. Заметно было, что у него два порядка мыслей: днем, за работой, на людях, его бойкие простые мысли деловиты и более понятны, чем те, которые являются у него во время отдыха, по вечерам, когда он идет со мною в город, к своей куме, торговке оладьями, и ночами, когда ему не спится. У него есть особенные, ночные мысли, многосторонние, как огонь в фонаре. Они хорошо светятся, но – где у них настоящее лицо, которая сторона той или другой мысли ближе и дороже Осипу?

Он казался мне гораздо умнее всех людей, когда-либо встреченных мною, я ходил вокруг него в таком же напряжении, как вокруг кочегара Якова, хочется узнать, понять человека, а он скользит, извивается и – неуловим. В чем скрыта его правда? Чему можно верить в нем?

Я вспоминаю, как он сказал мне:

«Сам поищи, где я спрятан, поищи-ка вот!»

Мое самолюбие задето, но во мне задето больше, чем самолюбие, – для меня жизненно необходимо понять старика.

При всей его неуловимости он – тверд. Казалось, что проживи он еще сто лет, а все останется таким же, непоколебимо сохранит себя среди поразительно неустойчивых людей. Начетчик вызывал у меня такое же впечатление стойкости, но оно было не очень приятно мне; стойкость Осипа иная, она более приятна.

Шаткость людей слишком резко бросается в глаза, их фокусные прыжки из одного положения в другое опрокидывали меня; я уже уставал удивляться этим необъяснимым прыжкам, и они потихоньку гасили мой живой интерес к людям, смущали мою любовь к ним.

Однажды, в начале июля, к месту, где мы работали, стремглав подъехала развинченная пролетка; на козлах сидел, мрачно икая, пьяный извозчик, бородатый без шапки и с разбитой губой; в пролетке развалился пьяненький Григорий Шишлин, его держала под руку толстая, краснощекая девица в соломенной шляпке с алым бантом и стеклянными вишнями, с зонтиком в руке и в резиновых калошах на босую ногу. Размахивая зонтиком, раскачиваясь, она хохотала и кричала:

– Да, черти! Ярмарка не открыта, нету ярмарки, а они меня на ярмарку!

Григорий, измятый, растерзанный, сполз с пролетки, сел на землю и со слезами объявил нам, зрителям:

– Н-на коленях стою – премного согрешил! Подумал и согрешил – вот! Ефимушка говорит: Гриша! Гриша, говорит... Он это верно говорит, а вы простите меня! Я всех вас могу угостить. Он верно говорит, один раз живем... более одного разу – нельзя...

Девица, заливаясь смехом, топала ногами, теряла калоши, а извозчик угрюмо кричал:

– Едем скорей дальше! Харламы – едем, лошадь не стоит!

Лошадь, старая разбитая кляча, вся в мыле, стояла как вкопанная, а все вместе было невыносимо смешно. Рабочие Григория так и покатывались, глядя на хозяина, его нарядную даму и ошалелого возницу.

Не смеялся только Фома, стоял в дверях лавки рядом со мною и бормотал:

– Сорвало свинью... А дома у него – жена, кра-аси-вая баба!

Извозчик все торопил ехать, девица спустилась с пролетки, приподняла Григория

и, уложив его в ноги себе, крикнула, взмахнув зонтом:

– Поехали!

Добродушно издеваясь над хозяином, завидуя ему, люди принялись за работу по окрику Фомы; видимо, ему было неприятно видеть Григория смешным.

– Называется – хозяин! – бормотал он. – Меньше месяца осталось работать, в деревню уедем... Не дотерпел...

Мне было досадно за Григория, – эта девица с вишнями так обидно нелепа была рядом с ним.

Я нередко думал: почему Григорий Шишлин – хозяин, а Фома Тучков работник?

Крепкий белый парень, кудрявый, с ястребиным носом и серыми умными глазами на круглом лице, Фома был не похож на мужика, – если бы его хорошо одеть. Он сошел бы за купеческого сына из хорошей семьи. Это был человек сумрачный, говорил мало, деловито. Грамотный, он вел счета подрядчика, составлял сметы, умел заставить товарищей работать успешно, но сам работал неохотно.

– Всю работу вовеки не сделаешь, – спокойно говорил он. О книгах отзывался пренебрежительно: «Напечатать все можно, я тебе что хошь выдумаю, это – пустяки...»

Но он ко всему внимательно прислушивался и, если его что-нибудь интересовало, расспрашивал подробно и настойчиво, всегда думая о своем о чем-то, все измеряя своей мерой.

Раз я сказал Фоме, что вот ему бы надо быть подрядчиком, – он лениво отозвался:

– Кабы сразу тыщами ворочать – ну, еще туда-сюда... А из-за грошей с народом возиться – это из пустого в порожнее. Нет, я вот погляжу-погляжу да в монастырь уйду, в Оранки. Я – красивый, могучий, авось какой-нибудь купчихе понравлюсь, вдове! Бывает этак-то, – один сергацкой парень в два года счастья достиг да еще на девице женился, здешней, городской; носили икону по домам, а она его и высмотрела...

Это у него было обдуманно, – он знал много рассказов о том, как послушничество в монастырях выводило людей на легкую дорогу. Мне его рассказы не нравились, не нравилось и направление ума Фомы, но я был уверен, что он уйдет в монастырь.

Открылась ярмарка, и Фома, неожиданно для всех, поступил в трактир половым. Не скажу, чтобы это удивило его товарищей, но все они стали относиться к парню издевательски; по праздникам, собираясь пить чай, говорили друг другу, усмехаясь:

– Айда к своему шестерке!

А приходя в трактир, хозяйски кричали:

– Эй, половик! Кудрявенький, поди сюда!

Он подходил и спрашивал, приподнимая голову:

– Что прикажете?

– Не узнал знакомых?

– Узнавать некогда мне...

Он чувствовал, что товарищи презирают его, хотят позабавиться над ним, и смотрел на них скучно ожидающими глазами; лицо у него становилось деревянным, но, казалось, оно говорит: «Ну, скорее, смейтесь, что ли...»

– На чаешко-то дать? – спрашивали его; нарочно долго рылись в кошельках и не давали ни копейки.

Я спросил Фому: как же это он – собирался в монахи, а пошел в лакеи?

– В монахи я не собирался, – ответил он, – а в лакеи – ненадолго пошел...

Года четыре спустя я встретил его в Царицыне, все еще половым в трактире; а потом прочитал в газете, что Фома Тучков арестован за покушение на кражу со взломом.

Особенно меня поразила история каменщика Ардальона – старшего и лучшего работника в артели Петра. Этот сорокалетний мужик, чернобородый и веселый, тоже

невольно возбуждал вопрос: почему не он – хозяин, а – Петр? Водку он пил редко и почти никогда не напивался допьяна; работу свою знал прекрасно, работал с любовью, кирпичи летали в руках у него, точно красные голуби. Рядом с ним больной и постный Петр казался совершенно лишним человеком в артели; он говорил о работе:

– Строю для людей дома каменные на гроб себе деревянный...

Ардальон, с веселой яростью укладывая кирпичи, покрикивал:

– Эхма, работай, ребята, во славу божию!

И рассказывал всем, что будущей весной он уедет в Томск, там у него зять взял большой подряд – строить церковь – и зовет его к себе десятником.

– Это у меня дело решенное. Церкви строить – это я люблю! – говорил он и предлагал мне: – Айда со мной! В Сибири, брат, грамотному очень просто, там грамота – козырь!

Я соглашался, и Ардальон победительно кричал:

– Ну, вот! Это дело, а не шутки...

К Петру и Григорию он относился с добродушной насмешкой, как взрослый к детям, и говорил Осипу:

– Хвастуны, все разум свой друг другу показывают, словно в карты играют. Один – у меня-ста вот какая масть, другой – а у меня, дескать, вот они, козыри!

Осип неопределенно замечает:

– А как иначе? Хвастовство дело человеческое, все девицы вперед грудью ходят...

– Все – ох да ох, бог да бог, а сами – деньги копят! – не унимался Ардальон.

– Ну, Гриша не накопит...

– Я – про своего. Шел бы, с богом-то, в лес, в пустыню... Эх, надоело мне здесь, двинусь я весной в Сибирь...

Рабочие, завидуя Ардальону, говорили:

– Кабы у нас эдакая зацепка, вроде зятя, мы бы тоже Сибири не испугались...

И вдруг Ардальон пропал. В воскресенье ушел из артели, и дня три никто не знал, где он.

Тревожно догадывались:

– Может, кто-нибудь пришиб его?

– А то – купался да утонул?

Но пришел Ефимушка и объявил, сконфуженный:

– Загулял Ардальон!

– Что врешь? – недоверчиво крикнул Петр.

– Загулял, запил. Просто – как овин загорелся с самой середки. Будто любезная жена померла...

– Он вдовый! Где он?

Петр сердито отправился спасать Ардальона, но тот избил его.

Тогда Осип, крепко поджав губы, глубоко засунул руки в карманы и объявил:

– Пойду-ка я погляжу – отчего такое? Мужик хороший...

Я увязался с ним.

– Вот он, человек, – говорил Осип дорогой. – живет-живет, все будто хорошо, а вдруг – хвост трубой и пошел катать по всем пустырям. Гляди, Максимыч, учись...

Мы пришли в один из дешевеньких домов «развеселого Кунавина села», нас встретила вороватая старушка. Осип пошептался с нею, и она провела нас в пустую маленькую комнату, темную и грязную, как стойло. На койке спала, разметавшись, большая толстая женщина; старуха толкнула ее кулаком в бок и сказала:

– Выдь! Эй, лягуха, выдь!

Женщина испуганно вскочила, растирая лицо ладонями, спрашивая:

– Господи! Кто это? Что это?

– Сыщики пришли, – сурово сказал Осип; охнув, женщина исчезла, а он плюнул вслед ей и объяснил мне:

– Сыщиков они боятся хуже чертей...

Сняв со стены маленькое зеркало, старуха приподняла кусок обоев.

– Глядите – этот ли?

Осип поглядел в щель переборки.

– Самый он! Выгони девицу оттуда...

Я тоже посмотрел в щель: в такой же тесной конуре, как та, в которой мы были, на подоконнике окна, плотно закрытого ставнями, горела жестяная лампа, около нее стояла косоглазая голая татарка, ушивая рубаху. За нею, на двух подушках постели, возвышалось взбухшее лицо Ардальона, торчала его черная спутанная борода. Татарка вздрогнула, накинула на себя рубаху, пошла мимо постели и вдруг явилась в нашей комнате.

Осип поглядел на нее и снова плюнул:

– У, бесстыдница!

– Сама старий дурак, – ответила она, смеясь.

И Осип засмеялся, грозя ей пальцем.

Мы перешли в конуру татарки, старик сел на постель в ногах Ардальона и долго безуспешно будил его, а тот бормотал:

– Ну, ладно, ладно... погоди, пойдем...

Наконец проснулся, дико поглядел на Осипа, на меня и, закрыв красные глаза, промычал:

– Ну, ну...

– Ты что это? – сказал Осип спокойно, без упрека, но невесело.

– Закрутил, – хрипя и кашляя, объяснил Ардальон.

– Что так?

– Да так уж...

– Не ладно будто...

– Чего хорошего...

Ардальон взял со стола початую бутылку водки и стал пить из горлышка, потом предложил Осипу:

– Хошь? Тут и закуска должна быть...

Старик налил в рот себе вина, проглотил, сморщился и стал внимательно жевать кусочек хлеба, а мутный Ардальон вяло говорил:

– Вот – с татаркой связался. Это все – Ефимушка, татарка, говорит, молодая, сирота из Касимова, на ярмарку собралась.

Из стены весело сказали ломаным языком:

– Татарка – лучи! Как молодой куриса. Гони ему вон, это не отес твоя...

– Вот эта самая, – пробормотал Ардальон, тупо глядя в стену.

– Я видел, – сказал Осип.

Ардальон обратился ко мне:

– Вот как я, брат...

Я ожидал, что Осип станет упрекать Ардальона, учить его, а тот будет смущенно каяться. Но ничего подобного не было, – они сидели рядом, плечо в плечо, и разговаривали спокойно, краткими словами. Очень грустно было видеть их в этой темной грязной конуре; татарка говорила в щель стены смешные слова, но они не слушали их. Осип взял со стола воблу, поколотил ее об сапог и начал аккуратно сдирать шкуру, спрашивая:

– Деньги-то все ухнул?

– За Петрухой есть...

- Гляди, оправившись ли? Ехать бы теперь в Томской-то...
- Да что ж, в Томской...
- Али раздумал?
- Кабы чужие звали.
- А что?
- А то – сестра, зять...
- Ну?
- Не больно радостно к своим под начал идти...
- Начал везде одинаков.
- Все-таки...

Они говорили так дружески серьезно, что татарка перестала дразнить их, вошла в комнату, молча сняла со стены платье и исчезла.

– Молодая, – сказал Осип.

Ардальон поглядел на него и без досады проговорил:

– Все – Ефимушка, смутьян. Ничего, кроме баб, не знает... А татарка веселая, дурит все...

– Гляди – не вывернешься, – предупредил его Осип и, дожевав воблу, стал прощаться.

Дорогой назад я спросил Осипа:

– Зачем ты ходил к нему?

– А поглядеть. Человек знакомый. Мно-ого я эдаких случаев видел живет-живет человек да вдруг как из острога вырвется, – повторил он уже сказанное раньше. – Водочки надо остерегаться!

Но через минуту сказал:

– А без нее – скушно!

– Без водки?

– Ну да! Выпьешь – словно по другой земле пойдешь...

Ардальон – не вывернулся. Спустя несколько дней он пришел на работу, но вскоре снова исчез, а весной я встретил его среди босяков, – он окалывал лед вокруг барж в затоне. Мы хорошо встретились и пошли в трактир пить чай, а за чаем он хвастался:

– Помнишь, каков я работник был, а? Прямо скажу: в своем деле – химик! Сотни мог заработать...

– Однако – не заработал.

– А – не заработал! – с гордостью крикнул он. – Наплевать мне на работу!

Он держался размашисто, люди в трактире прислушивались к его задорным словам со вниманием.

– Помнишь, что тихий вор Петруха про работу говорил? Людям – дом каменный, себе – гроб деревянный. Вот те и вся работа!

Я сказал:

– Петруха – больной, он смерти боится.

Но Ардальон закричал:

– Я тоже больной, у меня, может, душа не на месте!

По праздникам я частенько спускался из города в Миллионную улицу, где ютились босяки, и видел, как быстро Ардальон становится своим человеком в «золотой роте». Еще год тому назад – веселый и серьезный, теперь Ардальон стал как-то криклив, приобрел особенную, развалистую походку, смотрел на людей задорно, точно вызывая всех на спор и бой, и все хвастался:

– Ты гляди, как меня люди принимают, – я тут вроде атамана!

Не жалея заработанных денег, он угощал босяков, становился в драках на сторону

слабого и часто взывал:

– Ребята, неправильно! Надо правильно поступать!

Его так и прозвали – Правильный, это очень нравилось ему.

Я усердно присматривался к людям, тесно набитым в старый и грязный каменный мешок улицы. Все это были люди, отломившиеся от жизни, но казалось, что они создали свою жизнь, независимую от хозяев и веселую. Беззаботные, удалые, они напоминали мне дедушкины рассказы о бурлаках, которые легко превращались в разбойников и отшельников. Когда не было работы, они не брезговали мелким воровством с барж и пароходов, но это не смущало меня, – я видел, что вся жизнь прошита воровством, как старый кафтан серыми нитками, и в то же время я видел, что эти люди иногда работают с огромным увлечением, не щадя сил, как это бывало на спешных паузках, на пожарах, во время ледохода. И вообще они жили более празднично, чем все другие люди.

Но Осип, заметив мою дружбу с Ардальоном, отечески предупредил меня:

– Вот что, душа моя, горький сухостой, ты чего это с Миллионной больно плотно приятельствуешь? Гляди, не получи себе вреда...

Я сказал ему как умел, что мне нравятся эти люди, – живут без работы, весело.

– Яко птицы небесные, – перебил меня он, усмехаясь. – Это они потому так, что – лентяи, пустой народ, работа им – горе!

– Да ведь что же – работа? Говорится: от трудов праведных не нажить домов каменных!

Мне легко было сказать так, я слишком часто слышал эту поговорку и чувствовал ее правду. Но Осип рассердился на меня и закричал:

– Это – кто говорит? Дураки да лентяи, а тебе, кутенок, – не слушать бы этого! Ишь ты! Эти глупости говорятся завистниками, неудачниками, а ты сперва оперись, потом – ввысь! А про дружбу твою я хозяину доложу – не обессудь!

И – доложил. Хозяин при нем же сказал мне:

– Ты, Пешков, Миллионную оставь! Там – воры, проститутки, и дорога оттуда – в острог, в больницу. Брось!

Я стал скрывать мои посещения Миллионной, но скоро был вынужден отказаться от них.

Как-то раз я сидел с Ардальоном и товарищем его Робенком на крыше сарая, во дворе одной из ночлежек; Робенок забавно рассказывал нам, как он пробирался пешком из Ростова-на-Дону в Москву. Это был солдат-сапер, георгиевский кавалер, хромой, – в турецкую войну ему разбили колено. Низенький, коренастый, он обладал страшною силой в руках, – силой, бесполезной ему, работать он не мог по своей хромоте. От какой-то болезни у него вылезли волосы на черепе и на лице – голова его действительно напоминала голову новорожденного.

Поблескивая рыжими глазами, он говорил:

– Ну, вот: Серпухов; сидит поп в палисаднике; батюшка, говорю, подайте турецкому герою... Покачивая головою, Ардальон говорит:

– Ну, ври, ври...

– Чего же я вру? – не обижаясь, спрашивает Робенок, а мой приятель поучительно и лениво ворчит:

– Неправильный ты человек! Тебе в сторожа проситься, хромые всегда сторожами живут, а ты шатаешься зря и все врешь...

– Да ведь я – чтобы посмеяться, я – для веселости вру...

– Тебе над собой смеяться надо...

На дворе, темном и грязном, хотя погода стояла сухая, солнечная, появилась женщина и крикнула, встряхивая какою-то тряпкой:

– Кто юбку купит? Эй, подруги...

Из щелей дома полезли женщины, тесно окружая продавщицу; я сразу узнал ее – это прачка Наталья! Я соскочил с крыши, но она, отдав юбку за первую цену, уже тихонько уходила со двора.

– Здравствуйте! – догнав ее за воротами, радостно поздоровался я.

– А дальше что скажешь? – спросила она, искоса взглянув на меня, и вдруг остановилась, сердито крикнув:

– Господи помилуй! Ты чего тут?..

Меня тронуло и смутило ее испуганное восклицание; я понял, что она испугалась за меня: страх и удивление так ясно выразились на ее умном лице. Наскоро я объяснил ей, что не живу в этой улице, а только иногда прихожу посмотреть.

– Посмотреть?! – насмешливо и сердито воскликнула она. – Это чего же, куда же ты смотришь? Проходим в карманы да бабам за пазухи?

Лицо у нее было измятое, под глазами лежали густые тени, губы вяло опустились. Остановясь у дверей трактира, она сказала:

– Идем, чаем напою! Одет – чистенько, не по-здешнему, а не верю я тебе что-то...

Но в трактире она как будто поверила мне и, разливая чай, стала скучно говорить о том, что она только час тому назад проснулась и еще не пила, не ела.

– А вчера легла – пьяна-пьянехонька, уж и не помню: где пила, с кем?

Мне было жалко ее, неловко перед нею и хотелось спросить – где же ее дочь? А она, выпив водки и горячего чаю, заговорила знакомо бойко, грубо, как все женщины этой улицы; но когда я спросил ее о дочери, сразу отрезвев, она крикнула:

– А тебе зачем знать это? Нет, милый, дочь мою ты не достанешь, нет!

Выпила еще и рассказала:

– Дочери со мной делать нечего. Я – кто? Прачка. Какая я мать ей? Она – образованная, ученая. То-то, брат! И уехала от меня к богатой подруге, в учительницы будто...

Помолчав, она негромко спросила:

– Вот как! Прачка – вам не угодна? А гулящая баба – угодна?

Что она «гулящая», я, конечно, сразу видел это, – иных женщин в улице не было. Но когда она сама сказала об этом, у меня от стыда и жалости к ней навернулись слезы, точно обожгла она меня этим сознанием – она, еще недавно такая смелая, независимая, умная!

– Эх ты, – сказала она, взглянув на меня и вздыхая. – Иди-ка ты отсюда! И прошу я тебя и советую – не суйся сюда, пропадешь!

Потом тихонько и как бы сама себе она начала отрывисто говорить, наклонясь над столом и что-то рисуя пальцем на подносе:

– А что тебе мои просьбы и советы? Если дочь родная не послушала. Я кричу ей: не можешь ты родную мать свою бросить, что ты? А она: удавлюсь, говорит. В Казань уехала, учиться в акушерки хочет. Ну, хорошо... Хорошо... А как же я? А я – вот так... К чему мне прижаться?.. А – к прохожему...

Замолчав, она долго думала о чем-то, беззвучно шевеля губами, и, видимо, забыла обо мне. Углы губ опустились, рот изогнулся серпом, и было мучительно смотреть, как вздрагивает кожа на губах и безмолвно говорят о чем-то трепетные морщинки. Лицо у нее было детское, обиженное. Из-под платка выбилась прядь волос и лежала на щеке, загибаясь за маленькое ухо. В чашку остывшего чая капнула слеза; женщина, заметив это, отодвинула чашку и крепко прикрыла глаза, выжав еще две слезинки, потом вытерла лицо платком.

У меня не хватило терпенья сидеть с нею дольше, я тихонько встал.

– Прощайте!

– А? Иди, иди к черту! – отмахнулась она, не глядя на меня, должно быть, забыв, кто с ней.

Я воротился на двор, к Ардальону, – он хотел идти со мною ловить раков, а мне хотелось рассказать ему об этой женщине. Но его и Робенка уже не было на крыше; пока я искал их по запутанному двору, на улице начался шум скандала, обычный для нее.

Я вышел из ворот и тотчас столкнулся с Натальей, – всхлипывая, отирая головным платком разбитое лицо, оправляя другою рукой встрепанные волосы, она слепо шла по панели, а за нею шагали Ардальон и Робенок; Робенок говорил;

– Дай ей еще раз, дай!

Ардальон настиг женщину, помахивая кулаком; она обернулась грудью к нему; лицо у нее было страшное, глаза горели ненавистью.

– Н-на, бей! – крикнула она.

Я вцепился в руку Ардальона, он удивленно взглянул на меня.

– Чего ты?

– Не трогай, – едва мог сказать я ему.

Он захохотал.

– Она тебе – любовница? Ай да Наташка – сожрала монашка!

Робенок тоже хохотал, хлопая себя по бедрам, и они долго поджаривали меня в горячей грязи, – это было мучительно! Но пока они занимались этим, Наталья ушла, а я, не стерпев, наконец, ударил головою в грудь Робенка, опрокинул его и убежал.

С того дня я долго не заглядывал в Миллионную, но еще раз видел Ардальона, – встретил его на пароме.

– Ты – где пропал? – радостно спросил он.

Когда я сказал ему, что мне противно вспомнить, как он избил Наталью и грязно обидел меня, Ардальон добродушно засмеялся.

– Да разве это – всерьез? Это мы шутки ради помазали тебя! А она – да что же ее не бить, коли она – гулящая? Жен бьют, а таких и подавно не жаль! Только это все – баловство одно! Я ведь понимаю – кулак не наука!

– Да чему тебе учить ее? Чем ты лучше?..

Он обнял меня за плечи и, встряхивая, сказал с насмешкой:

– В том и безобразии наше, что никто никого не лучше... Я, брат, все понимаю, и снаружи, и с изнанки, все! Я – не деревня...

Он был немножко выпивши, веселый; смотрел на меня с ласковым сожалением доброго учителя к бестолковому ученику...

...Иногда я встречал Павла Одинцова; он стал еще бойчее, одевался щеголем, говорил со мною снисходительно и все упрекал:

– За какую ты работу взялся – пропадешь! Мужики эти...

Потом грустно рассказывал новости из жизни мастерской.

– Жихарев все пугается с коровой этой; Ситанов, видно, горюет: пить стал через меру. А Гоголева – волки съели; поехал он на святки домой, а там его, пьяного, волки и сожрали!

И, заливаясь веселым смехом, Павел смешно сочинял:

– Съели и – тоже все пьяные! Веселые стали, – ходят по лесу на задних лапах, как ученые собаки, воют, а через сутки – подошли все!..

Я слушал и тоже смеялся, но чувствовал, что мастерская со всем, что я пережил там, – далеко от меня. Это было немножко грустно.

Глава XIX

Зимой работы на Ярмарке почти не было; дома я нес, как раньше, многочисленные мелкие обязанности: они поглощали весь день, но вечера оставались свободными, я снова читал вслух хозяевам неприятные мне романы из «Нивы», из «Московского листка», а по ночам занимался чтением хороших книг и пробовал писать стихи.

Однажды, когда женщины ушли ко всенощной, а хозяин по нездоровью остался дома, он спросил меня:

– Виктор смеется, что ты будто, Пешкóв, стихи пишешь, верно, что ли? Ну-ко, почитай!

Отказать было неловко, я прочитал несколько стихотворений; они, видимо, не понравились ему, но он все-таки сказал:

– Валяй, валяй! Может, Пушкиным будешь; читал Пушкина?

Домового ли хоронят,
Ведьму ль замуж выдают?

В его пору еще верили в домовых, ну, сам-то он, поди, не верил, а просто шутил! Да-а, брат, – задумчиво протянул он, – надо бы тебе учиться, а опоздал ты! Черт знает, как ты будешь жить... Тетрадь-то свою подальше прячь, а то привяжутся бабы – засмеют... Бабы, брат, любят это – за сердце задеть...

С некоторого времени хозяин стал тих, задумчив и все опасливо оглядывался, а звонки пугали его; иногда вдруг болезненно раздражался из – за пустяков, кричал на всех и убегал из дома, а поздней ночью возвращался пьяным... Чувствовалось, что в его жизни произошло что-то, никому кроме него неведомое, подорвало ему сердце, и теперь он жил не уверенно, не охотно, а как-то так, по привычке.

По праздникам, от обеда до девяти часов, я уходил гулять, а вечером сидел в трактире на Ямской улице; хозяин трактира, толстый и всегда потный человек, страшно любил пение, это знали певчие почти всех церковных хоров и собирались у него; он угощал их за песни водкой, пивом, чаем. Певчие народ пьяный и малоинтересный; пели они неохотно, только ради угощения, и почти всегда церковное, а так как благочестивые пьяницы считали, что церковному в трактире не место, хозяин приглашал их к себе в комнату, а я мог слушать пение только сквозь дверь. Но нередко в трактире певали деревенские мужики, мастеровые, – трактирщик сам разыскивал певцов по городу, расспрашивал о них в базарные дни у приезжих крестьян и приглашал к себе.

Певец всегда садился на стул у стойки буфета, под бочонком водки, голова его рисовалась на дне бочонка, как в круглой раме.

Лучше всех – и всегда какие-то особенно хорошие песни – пел маленький, тощий шорник Клещов, человек мятый, жеваный, в клочьях рыжих волос; носишко у него блестел, точно у покойника, крошечные сонные глаза были неподвижны.

Бывало, закроет он их, прислонится ко дну бочонка затылком и, выпятив грудь, тихим, но всепобеждающим тенорком заведет скороговоркой:

Эх, уж как пал туман на поле чистое,
Да призакрыл туман дороги дальние...

Тут он вставал, опираясь поясницей на стойку, изогнувшись назад, и задушевно выводил, подняв лицо к потолку:

Эх, я ку-да, куда пойду,
Где до-орогу я широкую найду?

Голос у него был маленький, но неутомимый; он прошивал глухой, óтемный гомон трактира серебряной струной, грустные слова, стоны и выкрики побеждали всех людей, – даже пьяные становились удивленно серьезны, молча смотрели в столы перед собою, а у меня надрывалось сердце, переполненное тем мощным чувством, которое всегда будит хорошая музыка, чудесно касаясь глубин души.

В трактире становилось тихо, как в церкви, а певец – словно добрый священник. Он не проповедует, а действительно всей душой честно молится за весь род людской, честно, вслух думает о всех горестях бедной человеческой жизни. Отовсюду на него смотрят бородатые люди, на звериных лицах задумчиво мигают детские глаза; иногда кто-нибудь вздохнет, и это хорошо подчеркивает победительную силу песни. В такие минуты мне всегда казалось, что все люди живут фальшивой, надуманной жизнью, а настоящая человеческая жизнь – вот она!

Сидит в углу толсторожая торговка Лысуха, баба отбойная, бесстыдно гуляющая; спрятала голову в жирные плечи и плачет, тихонько моет слезами свои наглые глаза. Недалеко от нее навалился на стол мрачный октавист Митропольский, волосатый детина, похожий на дьякона-расстригу, с огромными глазами на пьяном лице; смотрит в рюмку водки перед собою, берет ее, подносит ко рту и снова ставит на стол, осторожно и бесшумно, – не может почему-то выпить.

И все люди в трактире замерли, точно прислушиваясь к давно забытому, что было дорого и близко им.

Когда Клещов, кончив песню, скромно опускался на стул, трактирщик, подавая ему стакан вина, говорил с улыбкой удовольствия:

– Ну, конечно, хорошо! Хоша ты не столь поешь, сколько рассказываешь, однако – мастер, что и говорить! Иного – никто не скажет...

Клещов, не торопясь, пил водку, осторожно кричал и тихо говорил:

– Спеть всякий может, у кого голос есть, а показать, какова душа в песне, – это только мне дано!

– Ну, не хвастай, однако!

– Кому – нечем, тот не хвастает, – все так же тихо, но более упрямо говорил певец.

– Заносчив ты, Клещов! – с досадой восклицает трактирщик.

– Выше своей души не заношусь...

А в углу рычал мрачный октавист:

– Что понимаете в пении сего безобразного ангела вы, черви, вы, плесень?

Он всегда и со всеми был не согласен, против всех спорил, всех обличал, и почти каждый праздник его жестоко били за это и певчие и все, кто мог, кто хотел.

Трактирщик любит песни Клещова, но терпеть не может самого певца; жалуется всем на него и явно ищет унижить шорника, посмеяться над ним; это знают и завсегдатаи трактира и сам Клещов.

– Хорош певец, да кичлив, и надо его одернуть, – говорит он, и некоторые гости соглашаются с ним.

– Это – верно, заносчив парень!

– Чем заносится? Голос – от бога, не сам нажил! Да и велик ли голос-то? – упрямо твердит трактирщик. Согласная публика вторит ему:

– Верно, тут не голос, а больше – уменье.

Однажды, когда певец, остыв, ушел, трактирщик стал уговаривать Лысуху:

– Вот тебе бы, Марья Евдокимовна, побаловать с Клещовым-то, помотала бы ты его маленько, а? Чего тебе стоит?

– Кабы я помоложе была, – усмехаясь, сказала торговка.

Трактирщик горячо и громко закричал:

– Что молодые умеют? А ты – возмись! Поглядеть бы, как он завился вокруг тебя! В тоску бы его вогнать, вот он запел бы, а? Возмись, Евдокимовна, поблагодарю, эй?

Но она не бралась. Большая, дебелая, она, опустив глаза и перебирая пальцами бахрому платка на груди, однообразно и лениво говорила:

– Тут – молодую надо. Кабы я моложе была, ну – не задумалась бы...

Почти всегда трактирщик старался напоить Клещова, но тот, спев две-три песни и выпив за каждую по стакану, тщательно окутывал горло вязаным шарфом, туго натягивал картуз на вихрастую голову и уходил.

Нередко трактирщик выискивал соперников Клещову; споет шорник песню, а он, похвалив его, говорит, волнуясь:

– Тут, кстати, еще один поющий пришел! Нутекась, пожалуйста, покажите себя!

Поющий иногда показывал хороший голос, но я не знаю случая, чтобы кто-нибудь из соперников Клещова спел так же просто и задумчиво, как умел петь этот маленький, неказистый шорник...

– Н-нда, – не без сожаления говорил трактирщик, – это, конечно, хорошо-о! Главное – голос тут, а вот – душа-то...

Публика посмеивалась:

– Нет, шорника не одолеть, видно!

А Клещов, поглядывая на всех из-под рыжих клочковатых бровей, спокойно и вежливенько говорил трактирщику:

– Балуете вы. Супротив меня не найти вам певца, как у меня дарование от бога...

– Мы все – от бога!

– Разоритесь на вине, а не найдете... Трактирщик багровел и бормотал:

– Как знать, как знать...

А Клещов настойчиво доказывал ему:

– Еще я скажу вам, что пение – это, например, не петушиный бой...

– Да знаю я! Чего ты пристаешь?

– Я не пристаю, я только доказываю: коли песня – забава, это уж – от лукавого!

– Да будет! Лучше спой еще...

– Петь я всегда могу, хоть во сне даже, – соглашался Клещов, осторожно покашливая, и начинал петь.

И все пустяки, вся дрянь слов и намерений, все пошлое, трактирное чудесно исчезало дымом; на всех веяло струей иной жизни – задумчивой, чистой, полной любви и грусти.

Я завидовал этому человеку, напряженно завидовал его таланту, его власти над людьми, – он так чудесно пользовался этой властью! Мне хотелось познакомиться с шорником, о чем-то долго говорить с ним, но я не решался подойти к нему, – Клещов смотрел на всех белесыми глазами так странно, точно не видел перед собою никого. И было в нем нечто неприятное мне, мешавшее полюбить его, – а хотелось любить этого человека не тогда только, когда он пел. Неприятно было смотреть, как он, по-стариковски, натягивает на голову картуз и как, всем напоказ, кутает шею красным вязаным шарфом, о котором он говорил:

– Это мне милашка моя связала, девчонка одна...

Если он не пел, то важно надувался, потирал пальцем мертвый, мороженный нос, а на вопросы отвечал односложно, нехотя. Когда я подсел к нему и спросил о чем-то, он,

не взглянув на меня, сказал:

– Поди прочь, парнишка!

Гораздо больше нравился мне октавист Митропольский; являясь в трактир, он проходил в угол походкой человека, несущего большую тяжесть, отодвигал стул пинком ноги и садился, раскладывая локти по столу, положив на ладони большую, мохнатую голову. Молча выпив две-три рюмки, он гулко крикал; все, вздрогнув, повертывались к нему, а он, упираясь подбородком в ладони, вызывающе смотрел на людей; грива нечесаных волос дико осыпала его опухшее бурое лицо.

– Что смотрите? Что видите? – вдруг спрашивал он бухающими словами.

Иногда ему отвечали:

– Лешего видим!

Бывали вечера, когда он пил молча и молча же уходил, тяжело шаркая ногами, но несколько раз я слышал, как он обличал людей, подражая пророку:

– Аз есмь бога моего неподкупный слуга и се обличаю вы, яко Исая! Горе граду Ариилу, иде же сквернавцы и жулики и всякие мрази безобразнии жительствоуют в грязи подлых вожделений своих! Горе корабельным крилам земли, ибо несут они по путям вселенной людишек препакостных, – разумею вас, пьяницы, обжоры, отребие мира сего, – несть вам числа, окаяннии, и не приемлет вас земля в недра своя!

Голос его гудел так, что даже стекла в окнах звенели, – это очень нравилось публике, и она похваливала пророка:

– Здорово лупит, косматый пес!

С ним легко было познакомиться, – стоило только предложить ему угощение; он требовал графин водки и порцию бычачьей печенки с красным перцем, любимое его кушанье; оно разрывало рот и все внутренности. Когда я попросил его сказать мне, какие нужно читать книги, он свирепо и в упор ответил мне вопросом:

– Зачем читать?

Но, умягченный моим смущением, прогудел:

– Екклезиаста¹⁰² – читал?

– Читал.

– Екклезиаста читай! Больше – ничего. Там вся мудрость мира, только одни бараны квадратные не понимают ее – сиречь никто не понимает... Ты кто таков – поешь?

– Нет.

– Почему? Надо петь. Это самое нелепое занятие.

С соседнего стола спросили его:

– А ты сам-от – поешь?

– Да, я – бездельник! Ну?

– Ничего.

– Не новость. Всем известно, что у тебя в башке ничего нет. И никогда ничего не будет. Аминь!

В этом тоне он говорил со всеми и со мною, конечно; хотя после двух – трех угощений стал относиться ко мне мягче и даже однажды сказал с оттенком удивления:

– Гляжу я на тебя и не понимаю: что ты, кто ты и зачем ты? А впрочем черт тебя возьми!

К Клещову он относился непонятно: слушал его с явным наслаждением, даже иногда с ласковой улыбкой, но не знакомился с ним и говорил о нем грубо, презрительно:

– Это – болван! Он умеет дышать, он понимает, о чем поет, а все-таки осел!

¹⁰² Книга Екклезиаста – одна из книг Ветхого Завета.

– Почему?

– По природе своей.

Мне хотелось поговорить с ним, когда он трезв, но трезвый он только мычал, глядя на все отуманенными, тоскливыми глазами. От кого-то я узнал, что этот на всю жизнь пьяный человек учился в Казанской академии, мог быть архиереем, – я не поверил этому. Но однажды, рассказывая ему о себе, я упомянул имя епископа Хрисанфа; октавист тряхнул головою и сказал:

– Хрисанф? Знаю. Учитель мой и благожелатель. В Казани, в академии, помню! Хрисанф значит – золотой цвет, как верно сказано у Памвы Берынды¹⁰³. Да, он был златоцветен, Хрисанф!

– А кто это Памва Берында? – спросил я, но Митропольский кратко ответил:

– Не твое дело.

Дома я записал в тетрадь свою: «Непреренно читать Памву Берынду», – мне показалось, что именно у этого Берынды я и найду ответы на множество вопросов, тревоживших меня.

Певчий очень любил употреблять какие-то неведомые мне имена, странные сочетания слов; это очень раздражало меня.

– Жизнь – не Анисья! – говорил он.

Я спрашивал:

– Кто это – Анисья?

– Полезная, – отвечал он, и мое недоумение забавляло его.

Эти словечки и то, что он учился в академии, заставляли меня думать, что он знает много, и было очень обидно, что он не хочет ни о чем говорить, а если говорит, то непонятно. А может быть, я не умел спросить его?

Но все-таки он оставлял нечто в душе моей; мне нравилась пьяная смелость его обличений, построенных под пророка Исаяю.

– О, нечисть и смрад земли! – рычал он. – Худшие у вас – во славе, а лучшие – гонимы; настанет грозный день, и покаетесь в этом, но поздно будет, поздно!

Слушая этот рев, я вспоминал Хорошее Дело, прачку Наталью, погибшую так обидно и легко, Королеву Марго в туче грязных сплетен, – у меня уже было что вспомнить...

Мое краткое знакомство с этим человеком кончилось курьезно.

Весною я встретил его в поле, около лагерей, он шагал, как верблюд, покачивая головой, одинокий, опухший.

– Гуляешь? – спросил он хрипло. – Идем вместе. Я тоже гуляю. Я, братец мой, болен, да...

Несколько шагов мы прошли молча и вдруг в яме от палатки увидели человека: он сидел на дне ямы, склонясь набок, опираясь плечом на стенку окопа, пальто у него с одной стороны взъехало выше ушей, точно он хотел снять его и не мог.

– Пьяный, – решил певчий, остановясь.

Но под рукою человека валялся на молодой траве большой револьвер, недалеко от него – фуражка, а рядом с нею едва початая бутылка водки, – ее пустое горлышко зарылось в зеленых травинках. Лицо человека было стыдливо спрятано под пальто.

С минуту мы стояли молча, потом Митропольский, широко расставив ноги, сказал:

– Застрелился.

Я сразу понял, что человек не пьян, а – мертв, но это было так неожиданно, что не хотелось верить. Помню, я не чувствовал ни страха, ни жалости, глядя на большой,

¹⁰³ Памва (Павел Берында) (сер. XVI в. – 1632) – поэт, переводчик, гравер и издатель. Один из первых типографов на Руси.

гладкий череп, высунувшийся из-под пальто, и на синее ухо, – не верилось, что человек мог убить себя в такой ласковый весенний день

Октавист крепко растирал ладонью свои небритые щеки, точно ему было холодно, и хрипел.

– Пожилой. Жена сбежала или чужие деньги промотал...

Он послал меня в город за полицией, а сам присел на край ямы, опустив в нее ноги, зябко кутаясь в потертое пальто Известив о самоубийстве городского, я быстро прибежал назад, но за это время октавист допил водку покойника и встретил меня, размахивая пустой бутылкой.

– Вот что погубило его! – рычал он и, яростно ударив бутылкой о землю, вдребезги разбил ее.

Вслед за мною прибежал городской, заглянул в яму, снял фуражку и, нерешительно перекрестясь, спросил певчего:

– Ты кто таков?

– Не твое дело...

Полицейский подумал и спросил более вежливо:

– Как же это вы – тут мертвый, а вы – пьяный?

– Я двадцать лет пьян! – с гордостью сказал певчий, ударив себя ладонью в грудь.

Я был уверен, что его арестуют за выпитую водку. Из города бежали люди, приехал на дрожках строгий квартальный¹⁰⁴, спустился в яму и, приподняв пальто самоубийцы, заглянул ему в лицо.

– Кто первый увидел?

– Я, – сказал Митропольский.

Квартальный поглядел на него и зловеще протянул:

– А-а, здравствуй, сударь мой!

Собрались зрители, десятка полтора; запыхавшиеся, оживленные, заглядывали в яму, кружась над нею; кто-то крикнул:

– Это с нашей улицы чиновник, я его знаю!

Октавист, покачиваясь, стоял перед квартальным, сняв картуз, и спорил с ним, невнятно, глухо выкрикивая какие-то слова; потом квартальный толкнул его в грудь, он покачнулся, сел; тогда полицейский, не торопясь, вынул из кармана веревочку, связал ею руки певчего, привычно и покорно спрятанные им за спину, а квартальный начал сердито кричать на зрителей:

– Прочь! Р-рвань...

Прибежал еще старенький городской, с мокрыми красными глазами, с разинутым от усталости ртом, взял в руку конец веревочки, которой был связан октавист, и тихонько повел его в город.

Я тоже пошел с поля, удрученный; в памяти гулким эхом звучали карающие слова «Горе граду Ариилу!...»¹⁰⁵

А перед глазами – тягостная картина: полицейский не спеша вытягивает из кармана шинели своей веревочку, а грозный пророк покорно заложил красные волосатые руки за спину и скрестил кисти их так привычно, умело...

Вскоре я у знал, что пророка выслали из города по этапу. А за ним исчез Клецов – женился выгодно и переехал жить в уезд, где открыл шорную мастерскую.

...Я так усердно расхваливал песни шорника хозяину, что он сказал однажды:

– Надо сходить, послушать...

И вот он сидит за столиком против меня, изумленно подняв брови, широко

¹⁰⁴ Квартальный надзиратель (квартальный) – с 1782 года до середины XIX века должностное лицо городской полиции в Российской империи. Надзирал за порядком в определенном квартале.

¹⁰⁵ Ариил – одно из аллегорических наименований Иерусалима.

открыв глаза.

По дороге в трактир он высмеивал меня и в трактире первые минуты все издевался надо мной, публикой и удушливыми запахами. Когда шорник запел, он насмешливо улыбнулся и стал наливать пиво в стакан, но налил до половины и остановился, сказав:

– Ого... черт!

Рука его задрожала, он тихонько поставил бутылку и стал напряженно слушать

– Д-да, брат, – сказал он, вздыхая, когда Клещов кончил петь, действительно – поет... черт его возьми! Даже жарко стало...

Шорник снова запел, вскинув голову, глядя в потолок:

По дороге из богатого села

Чистым полем молодая девка шла...

– Поет, – пробормотал хозяин, качая головой и усмехаясь. А Клещов заливается, как свирель:

Отвечает красна девица ему:

– Сирота я, не нужна я никому...

– Хорошо, – шепчет хозяин, мигая покрасневшими глазами, – ф-фу, черт... хорошо!

Я смотрю на него и радуюсь; а рыдающие слова песни, победив шум трактира, звучат все сильнее, краше, задушевнее:

Нелюдимо на селе у нас живут,
Меня, девку, на вечерки не зовут,
Ой, бедна я да одета не к лицу,
Не годна я, знать, удалу молодцу...
Сватал вдовый, во работницу себе
Не хочу я покориться той судьбе!..

Хозяин мой бесстыдно заплакал, – сидит, наклонив голову, и шмыгает горбатым носом, а на колени ему капают слезы.

После третьей песни он сказал, взволнованный и словно измятый:

– Не могу больше сидеть тут – задыхаюсь, запахи же, черт... Едем домой!..

Но на улице он предложил:

– Айда, Пешков, в гостиницу, закусим и все... Не хочется домой!..

Не торгуясь, сел в сани извозчика и всю дорогу молчал, а в гостинице, заняв столик в углу, сразу начал вполголоса, оглядываясь, сердито тоскуя:

– Разбередил меня этот козел... такую грусть нагнал... Нет, ты вот читаешь, рассуждаешь, а ты скажи – что за дьявольщина? Живешь, живешь, сорок лет прожито, жена, дети, а поговорить не с кем. Иной раз – так бы развернул душу, так бы заговорил обо всем, – а не с кем! С ней заговоришь, с женой – не доходит до нее... Да что – она? У ней – дети... ну, хозяйство, свое дело! Она моей душе чужая. Жена – друг до первого ребенка... как водится. Да она у меня, вообще... ну, ты сам видишь... ни в дудку, ни поплясать... не душевленное мясо, черт вас возьми! Тоска, брат...

Он судорожно выпил холодное горькое пиво, помолчал, взбивая длинные волосы, и снова заговорил:

– Вообще, брат, люди – сволочь! Вот ты там с мужиками говоришь, то да се... я

понимаю, очень много неправильного, подлого – верно, брат... Воры все! А ты думаешь, твоя речь доходит? Ни перчинки! Да. Они – Петр, Осип жулье! Они мне все говорят – и как ты про меня выражаешься, и все... Что, брат?

Я молчал, удивленный.

– То-то! – сказал хозяин, усмехаясь. – Ты правильно в Персию собирался, там хоть ничего не поймешь – чужой язык! А на своем языке – одни подлости!

– Осип рассказывает про меня? – спросил я.

– Ну да! А ты – что думал? Он больше всех говорит, болтун. Он, брат, хитрая штука... Нет, Пешкóв, слова не доходят. Правда? А на кой черт она? Это все равно как снег осенью – упал на грязь и растаял. Грязи стало больше. Ты – лучше молчи...

Он пил пиво стакан за стаканом и, не пьянея, говорил все более быстро, сердито:

– Пословица говорит: слово – не долото, а молчание – золото. Эх, брат, тоска, тоска... Верно он пел: «Нелюдимо на селе у нас живут». Сиротство человечье...

Оглянувшись, он понизил голос и сказал:

– Вот – нашел было я себе... сердечного друга – женщина тут одна встретила, вдова, мужа у нее в Сибирь осудили за фальшивые деньги – сидит здесь, в остроге. Познакомился я с ней... денег у нее ни копейки, ну, она и того, знаешь... сводня меня познакомила с ней... Присматриваюсь – что за милый человек! Красавица, знаешь, молодая... просто – замечательно! Раз, два... потом я ей и говорю: как же это, говорю, муж у тебя – жулик, сама ты себя нечестно держишь – зачем же ты в Сибирь за ним? А она, видишь ли, за ним идет, на поселение, да-а... И вот она говорит мне: каков, говорит, он ни есть, а я его люблю, для меня он хорош! Может, он это из-за меня согрешил? А я с тобою грешу – для него, ему, говорит, деньги нужны, он дворянин и привык жить хорошо. Кабы, говорит, я одна была, я бы жила честно. Вы, говорит, тоже хороший человек и нравитесь мне очень, но только не говорите со мной про это... Черт!.. Отдал я ей все, что было с собой восемьдесят рублей с чем-то, – и говорю: извините, говорю... я не могу больше с вами, не могу! Ушел, да – вот...

Помолчав и вдруг опьянев, опустившись, он пробормотал:

– Шесть раз был у нее... Ты не можешь понять, что это такое! Я, может быть, еще шесть раз к ее квартире подходил... войти – не решался... не мог! Теперь она – уехала...

Он положил руки на стол и шепотом, двигая пальцами, сказал:

– Не дай бог опять встречу ее... не дай бог! Тогда – все к черту! Идем домой... идем! Пошли; он пошатывался и ворчал:

– Вот как, брат...

Меня не удивила история, рассказанная им, – мне давно казалось, что с ним случится что-нибудь необычное.

Но я был очень подавлен всем, что он сказал о жизни, особенно его словами про Осипа.

А. И. Куприн

Юнкера

Глава II Прощание

Проходя желтыми воротами, Александров подумал: «А не зайти ли к бабушке Михаилу за благословением. Новая жизнь начинается, взрослая, серьезная и суровая. Кто же поддержал ласковой рукой бестолкового кадета, когда он, обезумев, катился в пропасть, как не этот маленький, похожий на Николая-угодника¹⁰⁶ священник, такой трогательно-усталый на великопостных повечериях, такой терпеливый, когда ему предлагали на уроках ядовитые вопросы: „Бабушка, как же это? Ведь Бог всеведущ и всемогущ. Он за тысячу, за миллион лет знал, что Адам и Ева согрешат, и, стало быть, они не могли не согрешить. Отчего же Он не мог уберечь их от этого поступка, если Он всемогущ? И тогда какой же смысл в их изгнании и в несчастиях всего человечества?“» На это отец Михаил четко, сухо и пространно принимается говорить о свободной воле и, наконец, видя, что схоластика¹⁰⁷ плохо доходит до молодых умов, делал краткое заключение:

– А вы поусерднее молитесь Богу и не мудрствуйте лукаво.

На сердце Александрова сделалось тепло и мягко, как когда-то под бабушкиной заячьей шубкой.

Стоя перед казармой, он несколько минут колебался: идти? не идти? Но какая-то дикая застенчивость, боязнь показаться навязчивым – преодолели, и Александров пошел дальше. Эти чувства нежной благодарности и уютной доброты, связанные с личностью отца Михаила, никогда не забудутся сердцем Александрова. Через четырнадцать лет, уже оставив военную службу, уже женившись, уже приобретая большую известность как художник-портретист, он во дни тяжелой душевной тревоги приедет, сам не зная зачем, из Петербурга в Москву, и там неведомый, темный, но мощный инстинкт властно потянет его в Лефортово, в облупленную желтую николаевскую казарму, к отцу Михаилу. Его введут в крошечный кабинет, еле освещенный керосиновой лампой под синим абажуром. Навстречу ему подымеется отец Михаил в коричневой ряске, совсем крошечный и сгорбленный, подобно Серафиму Саровскому¹⁰⁸, уже не седой, а зеленоватый, видимо немного обеспокоенный появлением у него штатского, то есть человека из совсем другого, давно забытого, непривычного, невоенного мира.

– Чем могу служить? – спросит он вежливо и сухо, шуря, по старой, милой, давно знакомой Александрову привычке, подслеповатые глаза.

Александров назовет свое имя и год выпуска, но священник только покачает головою с жалостным видом.

– Не помню. Простите, никак не могу вспомнить. Ведь сколько лет, сколько, сколько сотен имен... Трудно все помнить...

¹⁰⁶ Николай-угодник (Святитель Николай; Николай Угодник; Николай Чудотворец (ок. 270 – ок. 345) – святой. В христианстве почитается как чудотворец, считается покровителем моряков, купцов и детей.

¹⁰⁷ Схоластика – здесь: оторванные от жизни отвлечённые рассуждения, не проверяемые опытом.

¹⁰⁸ Серафим Саровский – (в миру Прохор Исидорович Мошнин; 1754 (или 1759) – 1 833) – иеромонах Саровского монастыря, основатель и покровитель Дивеевской женской обители. Прославлен Российской церковью в 1903 году в лике преподобных по инициативе царя Николая II. Один из наиболее почитаемых русских святых.

Тогда Александров, волнуясь и торопясь, и чувствуя, с невольной досадой, что его слова гораздо грубее и невыразительнее его душевных ощущений, рассказал о своем бунте, об увещевании на темной паперти, об огорчении матери и о том, как была смягчена, стерта злобная воля мальчугана. Отец Михаил тихо слушал, слегка кивая, точно в такт рассказу, и почти неслышно приговаривал:

– Так, так, так. Так, так.

Когда же Александров окончил, батюшка спросил:

– А чем же вы теперь, господин, изволите заниматься?

– Я художник, живописец. Главным образом пишу портреты маслом. Может быть, слышали когда-нибудь: художник Александров?

– Признаться, не довелось слышать, не довелось. Мы ведь в корпусе, как в монастыре. Ну, что же? Живопись – дело благое, если Бог сподобил талантом. Вон святой апостол Лука¹⁰⁹. Чудесно писал иконы Божией Матери. Прекрасное дело.

Потом, точно снова встревожась, он спросил:

– А что же вам, господин, от меня требуется?

– Да ничего, батюшка, – ответил, слегка опечалась, Александров. – Ничего особенного.

Потянуло меня, батюшка, к вам, по памяти прежних лет. Очень тоскую я теперь.

Прошу, благословите меня, старого ученика вашего. Восемь лет у вас исповедовался.

Священник ласково улыбнулся, съезжил лицо, ставшее необыкновенно милым.

– Значит, в каком-то классе зазимовали?

– В шестом. И пять лет пел на клиросе¹¹⁰. Благословите, отец Михаил.

– Бог благословит. Во имя Отца и Сына и Святого Духа...

Александров поцеловал сухонькую маленькую косточку, и душа его умякла.

– До свидания, батюшка. Простите, что побеспокоил.

– Ничего, дорогой мой, ничего... И меня простите, что не узнаю вас. Дело мое старое. Шестьдесят пятый год идет... Много времени утекло...

Идет юный Александров по знакомым, старинным местам мимо первого корпуса, над большим красным зданием которого высится огромный навес. Тронная зала, построенная Лефортом¹¹¹ в честь Петра, в которой по ночам бродили призраки; мимо старинных потешных укреплений с высокими валами и глубокими рвами. Там крутой спуск к пруду: зимой из него делали славную ледяную гору. Вот первый плац – он огорожен от дороги густой изгородью желтой акации, цветы которой очень вкусно было есть весной, и ели их целыми шапками. Впрочем, охотно ели всякую растительную гадость, инстинктивно заменяя ею недостаток овощной пищи. Ели молочай, благородный щавель, и какие-то просвирки, дудки дикого тмина, и, в особенности, похожие на редьку корни свербиги, или свергибуса, или, вернее, сурепицы. Чтобы есть эти горьковатые корни с лучшим аппетитом, приносили с собою от завтрака ломоть хлеба и щепотку соли, завернутой в бумажку.

Вот второй плац, отделенный рядом старых, высоченных, бальзамических тополей. Как удивительно благоухали в пору экзаменов их липкие блестящие листья и клейкие темные почки! На втором плацу играли в лапту, в городки, в зук, в чехарду и особенно в запрещенную игру – в «кучки», – которая очень часто кончалась переломами и вывихами рук и ног. На этой же площадке пели весенними вечерами свои собственные

¹⁰⁹ Апостол Лука – сподвижник апостола Павла, ученика Иисуса Христа, христианский святой, почитаемый как автор одного из четырех Евангелий. Евангелист Лука в православной и католической традициях считается первым иконописцем и святым-покровителем врачей и живописцев.

¹¹⁰ Клирос – в православной церкви место, на котором во время богослужения находятся певчие и чтецы.

¹¹¹ Франц Яковлевич Лефорт (1655 (1656) – 1699) – русский государственный и военный деятель, сподвижник Петра I.

песни, передававшиеся из поколения в поколение и часто не совсем цензурные. Отсюда же переругивались, состязаясь в мастерстве брани, с соседями, через забор, учениками фельдшерской школы, которых звали клистирными трубками и рвотным порошком. За калиткой – третий плац, строевой, необыкновенной величины. Он тянется от корпуса до Анненгофской рощи, где вдали красное здание острога и городская свалка. За Анненгофскую рощу удирали отчаянные храбрецы ранней весной, чтобы выкупаться в студеной воде узенькой речушки Синички и выскочить из нее, посинев от холода, лязгая зубами и трясясь всеми суставами. У калитки, весной, всегда останавливается разносчик Егорка с тирольскими пирожками¹¹² (пять копеек пара), похожими видом на куски черного хлеба, очень тяжелыми и сытными. Здесь же, у калитки, на утренней прогулке, семиклассники дожидались проезда ежедневного дилижанса¹¹³, в котором, вдоль, слева и справа, сидели премиленькие девочки разных возрастов и в разных костюмах. Это – местные лефортовские ученицы ездили в город, в гимназию госпожи Перепелкиной, отчего и их самих коротко и ласково называли «перепелками». Немножко кокетничать с ними – это была неотъемлемая и строго охраняемая привилегия седьмого класса. Когда дилижанс равнялся с калиткой, то в него летели скромные дары: крошечные букетики лютиков, вероники, иван-да-марьи, желтых одуванчиков, желтой акации, а иногда даже фиалок, набранных в соседнем ботаническом саду с опасностью быть пойманным и оставленным без третьего блюда. Бросались иногда и стишки в бумажке, сложенной петушком:

Лишь только Феб¹¹⁴ осветит елки,
Как уж проснулись перепелки,
Спешат, прекрасные, спешат.
На нас красотки не глядят.
А мы, отвергнутые, млеем,
Дрожим и даже пламенеем...

Быстрым зорким взором обегает Александров все места и предметы, так близко прилепившиеся к нему за восемь лет. Все, что он видит, кажется ему почему-то в очень уменьшенном и очень четком виде, как будто бы он смотрит через обратную сторону бинокля. Задумчивая и сладковатая грусть в его сердце. Вот было все это. Было долго-долго, а теперь отошло навсегда, отпало. Отпало, но не отболело, не отмерло. Значительная часть души остается здесь, так же как она остается навсегда в памяти. Как много прошло времени в этих стенах и на этих зеленых площадках: раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Как долго считать, а ведь это – годы. Что же жизнь? Очень ли она длинна, или очень коротка? Все вечный вопрос. Настанет минута, когда бессонною ночью Александров начнет считать до пятидесяти четырех и, не досчитав, лениво остановится на сорока. «Зачем думать о пустяках?»

¹¹² Тирольские пирожки – пирожки с ягодами.

¹¹³ Дилижанс – многоместная карета на конной тяге, перевозившая пассажиров и почту.

¹¹⁴ Феб (Аполлон) – в древнегреческой мифологии златокудрый сребролукий бог света, покровитель искусств, предводитель и покровитель муз, предсказатель будущего, бог-врачеватель, также очищал людей, совершавших убийство. Один из наиболее почитаемых богов. Олицетворял Солнце.

Глава III Юлия

По «черному» крыльцу входит Александров в полутемную прихожую, где всегда раздевались приезжавшие учителя. Встречает его древний, седой в прозелень, весь какой-то обомшелый будничным швейцар по кличке Сова.

– Здравия желаю, господин юнкер, – сипит он астматическим махорочным голосом. Александров еще в кадетской форме; ему еще довольно далеко до настоящего юнкера, но так лестно звучит это гордое звание, что рука невольно тянется в карман за последним, единственным гривенником¹¹⁵.

– Пожалуйте в лазаретную приемную, – говорит Сова. – Там приказано собраться всем отпускным.

Александров идет в лазарет по длинным, столь давно знакомым рекреационным залам¹¹⁶; их полы только что натерты и знакомо пахнут мастикой, желтым воском и крепким, терпким, но все-таки приятным потом полотеров. Никакие внешние впечатления не действуют на Александрова с такой силой и так тесно не соединяются в его памяти с местами и событиями, как запахи. С нынешнего дня и до конца жизни память о корпусе и запах мастики останутся для него неразрывными.

Уже восьмой раз в своей жизни испытывает Александров заранее то волнение, которое всегда овладевало им при новой встрече с близкими одноклассниками после полутора месяцев летнего отпуска. Как сладко рассказывать и как интересно слушать о бесконечно разнообразных летних впечатлениях! Тут все ново и увлекательно. Один целое лето ловил щук на жерлицу, на блесну и на огонь, острогою. Другому подарили лошадь, и он верхом травил зайцев с борзыми. У третьего в имении его родителей археологи разрыли древний могильник и нашли там много костей, древней утвари, орудия и золотых украшений, которые от времени и пребывания в земле покрылись зеленою ярью¹¹⁷. Четвертый был свидетелем большого лесного пожара и того, как убивали бешеную собаку. Следующий говорил гордо о том, как ему шурин Стася, Великий Охотник, подарил настоящую двустволку; правда – шомпольную, но знаменитого завода «Гастин-Ренетт». Таких редких ружей осталось во всем мире всего только, может быть, пять или шесть. Счастливый обладатель этого сокровища не расставался с ним ни на минуту и даже, ложась спать, укладывал его с собою в постель. А какие были купанья! Особенно на утренней заре, когда розовая вода так холодна и так до дрожи сильно и радостно пахнет. Какие злые, щипучие были черные в зелень раки! А березовая роща с грибами, черникой, брусникой и гонобобом¹¹⁸! А сосновый лес, где рыжики, и ароматная дикая малина, и белки, и ежевика, и сами ежи, колючие недотроги! А кроткие домашние животные и зверюшки!

Эти разговоры велись обыкновенно вечером, в полутемной спальне, на чьей-нибудь койке. Они на много-много дней скрашивали монотонное однообразие жизни в казенном закрытом училище, и была в них чудесная и чистая прелесть, вновь переживать летние впечатления, которые тогда протекали совсем не замечаемые, совсем не ценимые, а теперь как будто по волшебству встают в памяти в таком радостном, блаженном сиянии, что сердце нежно сжимается от тихого томления и впервые крадется смутно в голову печальная мысль: «Неужели все в жизни проходит и никогда не возвращается?»

¹¹⁵ Гривенник – десятикопеечная русская монета.

¹¹⁶ Рекреационный зал – большое помещение в учебном заведении, куда выходят двери классов.

¹¹⁷ Ярь – зеленая краска, получаемая путём окисления меди.

¹¹⁸ Гонобоб – голубика.

Есть и у Александрова множество летних воспоминаний, ярких, пестрых и благоуханных; вернее – их набрался целый чемодан, до того туго, туго набитый, что он вот-вот готов лопнуть, если Александров не поделится со старыми товарищами слишком грузным багажом... Милая потребность юношеских душ!

И на прекрасном фоне золотого солнца, голубых небес, зеленых рощ и садов – всегда на первом плане, всегда на главном месте она; непостижимая, недостижимая, несравненная, единственная, восхитительная, головокружительная – Юлия. Но Юлия, это – только человеческое имя. Мало ли Юлий на свете. Вот даже есть в обиходе такой легонький стишок:

Хожу ли я, брожу ли я,
Все Юлия да Юлия.

Правда, Александров, немножко балующий стишками, пробовал иногда расцветить, углубить это двухстрочие:

В июне и в июле я
Влюблен в тебя, о Юлия!

На зов твой не бегу ли я
Быстрее пули, Юлия?

И описать смогу ли я
Красы твои, о Юлия!

И так далее, и так далее...

Но чего стоят вялые и беспомощные стишки? И настоящее имя ее совсем не Юлия, а скорее Геба¹¹⁹, Гера¹²⁰, Юнона¹²¹, Церера¹²² или другое величественное имя из древней мифологии.

Она высока ростом: на полголовы выше Александрова. Она полна, движения ее неторопливы и горды. Лицо ее кажется Александрову античным. Влажные большие темные глаза и темнота нижних век заставляют Александрова применять к ней мысленно гомеровский¹²³ эпитет: «волоокая».

На дачном танцевальном кругу, в Химках, под Москвою, он был ее постоянным кавалером в вальсе, польке, мазурке и кадрили, уделяя, впрочем, немного благосклонного внимания и ее младшим сестрам, Ольге и Любе. Александров отлично знал о своей некрасивости и никогда в этом смысле не позволял себе ни заблуждений, ни мечтаний; но еще с большей уверенностью он не только знал, но и чувствовал, что танцует он хорошо: ловко, красиво и весело.

Ах! Однажды его великая летняя любовь в Химках была омрачена и пронзена зловещим подозрением: с горем и со стыдом он вдруг подумал, что Юленька смотрит

¹¹⁹ Геба – в древнегреческой мифологии богиня юности.

¹²⁰ Гера – у древних греков супруга и сестра Зевса, верховная олимпийская богиня, покровительница брака.

¹²¹ Юнона – древнеримская богиня, супруга верховного бога Юпитера, богиня брака и рождения, материнства, женщин и женской производительной силы. Она прежде всего покровительница браков, охранительница семьи. Отождествляется с древнегреческой Герой.

¹²² Церера – древнеиталийская богиня плодородия, созревания злаков, покровительница материнства и брака.

¹²³ Гомер – легендарный древнегреческий поэт-сказитель, создатель эпических поэм «Илиада» и «Одиссея».

на него только как на мальчика, как на желторотого кадетика, еще даже не юнкера, что кокетничает она с ним только от дачного «нечего делать» и что если она в нем что-нибудь и ценит, то только свое удобство танцевать с постоянным партнером, неутомимым, ловким и находчивым; с чем-то вроде механического манекена. Со жгучей злобой, не потерявшей свежести даже и теперь, вспоминает Александров этот тяжелый момент.

В семье трех сестер Синельниковых, на даче, собиралось ежедневно множество безусой молодежи, лет так от семнадцати и до двадцати: кадеты, гимназисты, реалисты, первокурсники-студенты, ученики консерватории и школы живописи и ваяния и другие. Пели, танцевали под пианино, в *petits jeux*¹²⁴ и в каком-то круговоротном беспорядке влюблялись то в Юленьку, то в Оленьку, то в Любочку. И всегда там хохотали.

Приходил постоянно на эти невинные забавы некто господин Покорни. Сверстникам Александрова он казался стариком, хотя вряд ли ему было больше тридцати пяти лет: таков уж условный масштаб юности. Надо сказать, что в этой молодой и веселой компании господин Покорни был не только не нужен, но, пожалуй, даже и тяжел. Он был длинен, как жираф; гораздо выше Юленьки, и когда танцевал, то беспрестанно бил свою даму острыми коленками. Он не умел смеяться и часто грыз в молчании ногти. Если в «почте» его спрашивали: «А ваша корреспонденция?» – он отвечал: «Да я не знаю, что написать». Вообще он наводил уныние. Про него знали только то, что у него в Москве большой магазин фотографических принадлежностей. И был он вместе с бесцветным лицом, с фигурой и костюмом весь в продольных и вертикальных морщинах.

В Троицын день¹²⁵ на Химкинском кругу был назначен пышный бал – *gala*¹²⁶. Военный оркестр из Москвы и удвоенное количество лампионов. После третьей кадрили заиграли ритурнель к вальсу. Александров разыскал Юленьку. Она сидела на скамейке одна и перебирала складки своего веера. Александров подбежал и низко поклонился, приглашая ее на танец. Она уже привстала, но откуда-то вдруг просунулся долговязый Покорни, изогнувшись над Александровым, протянул руку Оленьке. И она – о, ужас! – отвернулась от юноши и положила руку на плечо жирафа.

– Позвольте, – сдержанно, но гневно воскликнул Александров. – Послушайте!

Но Юленька и Покорни уже вертелись – благодаря косолапому кавалеру не в такт.

У Александрова так горько стало во рту от злобы, точно он проглотил без воды целую ложку хинина.

Чтобы не быть узнанным, он сошел с танцевального круга и пробрался вдоль низенького забора, за которым стояли бесплатные созерцатели роскошного бала, стараясь стать против того места, где раньше сидела Юленька. Вскоре вальс окончился. Они прошли на прежнее место. Юленька села. Покорни стоял, согнувшись над нею, как длинный крючок. Он что-то бубнил однообразным и недовольным голосом, как будто бы он шел не из горла, а из живота.

«Точно чревовещатель¹²⁷, – подумал Александров. – Должно быть, у всех подлецов такие противные голоса».

¹²⁴ Салонные игры (*фр.*).

¹²⁵ Троицын день – праздник, отмечаемый на 50 день после Пасхи. По русской традиции, пол храма и домов селян в этот день устилается свежескошенной травой, иконы украшаются берёзовыми или кленовыми ветвями, а цвет облачений – зеленый, изображающий животворящую и обновляющую силу Святого Духа. На следующий день, в понедельник отмечается Духов день.

¹²⁶ Галá (*фр. gala* – торжество, празднество) – составная часть слов и неизменяемое прилагательное, обозначающее такие характеристики зрелища как сверж, яркий, праздничный, торжественный, пышный.

¹²⁷ Чревовещатель – умеющий говорить глухо или без движений губ и лица (изнутри, из чрева).

Юленька молчала, нервно распуская и сжимая свой веер. Потом она очень громко сказала:

– Сто раз я вам говорила – нет. И значит – нет. Проводите меня к маман. Нужно всегда думать о том, что делаешь.

Александров густо покраснел в темноте.

– Боже мой, неужели я подслушиваю!

Еще долго не выходил он из своей засады. Остаток бала тянулся, казалось, бесконечно. Ночь холодела и сырела. Духовая музыка надоела; турецкий барабан стучал по голове с раздражающей ритмичностью. Круглые стеклянные фонари светили тусклее. Висячие гирлянды из дубовых и липовых веток опустили беспомощно свои листья, и от них шел нежный, горьковатый аромат увядания. Александрову очень хотелось пить, и у него пересохло в горле.

Наконец-то Синельниковы собрались уходить. Их провожали: Покорни и маленький Панков, юный ученик консерватории, милый, белокурый, веселый мальчуган, который сочинял презабавную музыку к стихам Козьмы Пруткова¹²⁸ и к другим юмористическим вещицам. Александров пошел осторожно за ними, стараясь держаться на таком расстоянии, чтобы не слышать их голосов.

Он слышал, как все они вошли в знакомую, канареечного цвета дачу, которая как-то особенно, по-домашнему, приютилась между двух тополей. Ночь была темная, беззвездная и росистая. Туман увлажнял лицо.

Вскоре мужчины вышли и у крыльца разошлись в разные стороны. Погас огонек лампы в дачном окне: ночь стала еще чернее.

Александров ничего не видел, но он слышал редкие шаги Покорни и шел за ними.

Сердце у него билось-билось, но не от страха, а от опасения, что у него выйдет неудачно, может быть даже смешно.

Не доходя до лаун-теннисной¹²⁹ площадки, он мгновенно решил. Слегка откашлялся и крикнул:

– Господин Покорни!

Голос у него из-за тумана прозвучал глухо и плоско. Он крикнул громче:

– Господин Покорни!

Шаги Покорни стихли. Послышался из темноты точно придушенный голос:

– Кто такой? Что нужно?

Александров сделал несколько шагов к нему и крикнул:

– Подождите меня. Мне нужно сказать вам несколько слов.

– Какие такие слова? Да еще ночью?

Александров и сам не знал, какие слова он скажет, но шел вперед. В это время ущербленный и точно заспанный месяц прорвался и выкатился сквозь тяжелые громоздкие облака, осветив их сугробы грязно-белым и густо-фиолетовым светом. В десяти шагах перед собою Александров смутно увидел в тумане неестественно длинную и худую фигуру Покорни, который, вместо того чтобы дожидаться, пятился назад и говорил преувеличенно громко и торопливо:

– Кто вы такой? Что вам от меня надо, черт возьми?

Голос у него вздрагивал, и это сразу ободрило юношу. Давид снова сделал два шага к Голиафу¹³⁰.

¹²⁸ Козьма Прутков – вымышленный автор, под именем которого выступали в середине XIX века поэты Алексей Константинович Толстой и братья Жемчужниковы (Алексей, Владимир и Александр Михайловичи).

¹²⁹ Лаун-теннис – современный теннис, отличающийся от реал-тенниса – более старой разновидности, в которую играют в закрытых помещениях и на совершенно другом типе корта.

¹³⁰ Давид и Голиаф – легендарные персонажи, противостояние которых описано в Библии.

– Я – Александров. Алексей Николаевич Александров. Вы меня знаете.

Тот ответил с принужденной грубостью:

– Никого я не знаю и знать не хочу всякую дрянь.

Но Александров продолжал наступать на пятившегося врага.

– Не знаете, так сейчас узнаете. Сегодня на кругу вы позволили себе нанести мне тяжелое оскорбление... в присутствии дамы. Я требую, чтобы вы немедленно принесли мне извинение, или...

– Что или? – как-то по-заячьи жалобно закричал Покорни.

– Или вы дадите мне завтра же удовлетворение с оружием в руках!

Вызов вышел эффектно. Какого рода оружие имел в виду кадет – а через неделю юнкер Александров, – так и осталось его тайной, но боевая фраза произвела поразительное действие.

– Мальчишка! щенок! – завизжал Покорни. – Молоко на губах не обсохло! За уши тебя драть, сопляка! Розгой тебя!

Всю эту ругань он выпалил с необычайной быстротой, не более чем в две секунды.

Александров вдруг почувствовал, что по спине у него забегали холодные щекотливые мурашки и как-то весело потеплело темя его головы от опьяняющего предчувствия драки.

– Казенная шкура! – гавкнул Покорни напоследок.

Но тут произошло нечто совершенно неожиданное: сжав кулаки до боли, видя красные круги перед глазами, напрягая все мускулы крепкого, почти восемнадцатилетнего тела, Александров уже ринулся с криком: «Подлец», на своего врага, но вдруг остановился, как от мгновенного удара.

Покорни, удивительно быстро повернувшись, кинулся изо всех сил в бегство. Некто, там наверху заведующий небесными световыми эффектами, пустил вдруг всю лунный прожектор, и глазам Александра внезапно предстало изумительнейшее зрелище. Давным-давно, еще будучи мальчиком, он видал в иллюстрациях к Жюль Верну страуса, мчащегося в легкой упряжке, и жирафа, который обгоняет курьерский поезд. Вот именно таким размашистым аллюром удирал с поля чести ничтожный Покорни. Александров кинулся было его догонять, но вскоре убедился в том, что это не в силах человеческих. «Не швырнуть ли камнем в его спину? – Нет. Это будет низко». Так и бежал он потихоньку за Покорни, пока тот не остановился у своей дачи и не открыл входную дверь.

– Трус, хам и трижды подлец! – крикнул ему вслед Александров.

– А ты сволочь! – ответил Покорни, и дверь громко хлопнула.

Четыре дня не появлялся Александров у Синельниковых, а ведь раньше бывал у них по два, по три раза в день, забегая домой только на минуточку, пообедать и поужинать.

Сладкие терзания томили его душу: горячая любовь, конечно, такая, какую не испытывал еще ни один человек с сотворения мира; зеленая ревность, тоска в разлуке с обожаемой, давняя обида на предпочтение... По ночам же он простаивал часами под двумя тополями, глядя в окно возлюбленной.

На пятый день добрый друг, музыкант Панков, влюбленный – все это знали – в младшую из Синельниковых, в лукавоглазую Любу, пришел к нему и в качестве строго доверенного лица принес запечатанную записочку от Юлии.

«Милый Алеша (это впервые, что она назвала его уменьшительным именем). Зачем вы, ненавидя своего врага, делаете несчастными ваших искренних друзей. Приходите к нам по-прежнему. Его теперь нет и, надеюсь, больше никогда не будет. А мне без вас так ску-у-чно.

Ваша Ю.

Ц.»

Минут десять размышлял Александров о том, что могла бы означать эта буква Ц., поставленная в самом конце письма так отдельно и таинственно. Наконец он решился обратиться за помощью в разгадке к верному белокурому Панкову, явившемуся сегодня вестником такой великой радости.

Панков поглядел на букву, потом прямо в глаза Александрову и сказал спокойно:

– Ц. – это значит – целую, вот и все.

В тот же день влюбленный молодой человек открыл, что таинственная буква Ц. познается не только зрением и слухом, но и осязанием. Достоверность этого открытия он проверил впоследствии раз сто, а может быть, и больше, но об этом он не расскажет даже самому лучшему, самому вернейшему другу.

Глава IV

Бесконечный день

В лазаретной приемной уже собрались выпускные кадеты. Александров пришел последним. Его невольно и как-то печально поразило: какая малая кучка сверстников собралась в голубой просторной комнате, – пятнадцать-двадцать человек, не больше, а на последних экзаменах их было тридцать шесть. Только спустя несколько минут он сообразил, что иные, не выдержавши выпускных испытаний, остались в старшем классе на второй год; другие были забракованы, признанные по состоянию здоровья негодными к несению военной службы; следующие пошли: кто побогаче – в Николаевское кавалерийское училище; кто имел родню в Петербурге – в пехотные петербургские училища; первые ученики, сильные по математике, избрали привилегированные карьеры инженеров или артиллеристов; здесь необходимы были и протекция и строгий дополнительный экзамен.

Почему-то жалко стало Александрову, что вот расстроилось, расклеилось, расшаталось крепкое дружеское гнездо. Смутно начинал он понимать, что лишь до семнадцати, восемнадцати лет мила, светла и бескорытна юношеская дружба, а там охладает тепло общего тесного гнезда, и каждый брат уже идет в свою сторону, покорный собственным влечениям и велению судьбы.

Пришел доктор Криштафович и с ним корпусный фельдшер Семен Изотыч Макаров. Фельдшера кадеты прозвали «Семен Затыч», или иначе «клизтирная трубка». Его не любили за его непреклонность. Нередко случалось, что кадет, которому до истомы надоела ежедневная зубрежка, разрешал сам себе день отдыха в лазарете. Для этого на утреннем медицинском обходе он заявлял, что его почему-то бросает то в жар, то в холод, а голова у него и болит и кружится, и он сам не знает, почему это с ним делается. Его отсылали вниз, в лазарет. Всем были известны способы, как довести температуру тела до желанных предельных 37,6 градусов. Но злодейский фельдшер Макаров, ставивший градусник, знал все кадетские фокусы и уловки, и никакое фальшивое обращение с градусником не укрывалось от его зорких глаз. Но дальше бывало еще хуже. Все, признанные больными, все равно, какая бы болезнь у них ни оказалась, – неизбежно перед ванной должны были принять по стаканчику касторового масла. Этим делом заведовал сам Макаров, и ни просьбы, ни посулы, ни лесть, ни упреки, ни даже бунт не могли повлиять на его твердокаменное сердце. Зеленого стекла толстостенный стакан, на дне чуть-чуть воды, а выше, до краев, желтоватое густое ужасное масло. Кусок черного хлеба густо посыпан крупной солью. Это – роковая закуска. Последний вздох, страшное усилие над собою. Нос зажат, глаза зажмурены. – Э, нет. До конца, до конца! – кричит проклятый Макаров... Гнусное воспоминание...

Но бывали редкие случаи, когда Изотычу прощалось его холодное коварство. Это бывало тогда, когда удавалось его затащить в гимнастический зал.

Он делал на турнике, на трапеции и на параллельных брусьях такие упражнения, которых никогда не могли сделать самые лучшие корпусные гимнасты. Он и сам-то похож был на циркача очень малым ростом, чересчур широкими плечами и короткими кривыми ногами.

Сейчас же вслед за доктором пришел дежурный воспитатель, никем не любимый и не уважаемый Михин.

– Здравствуйте, господа, – поздоровался он с кадетами.

И все они, даже не сговорившись заранее, вместо того чтобы крикнуть обычное: «Здравия желаем, господин поручик», ответили равнодушно: «Здравствуйте».

Михин густо покраснел.

– Раздевайтесь на физический осмотр, – приказал он дрожащим от смущения и обиды голосом и стал кусать губы.

Кадеты быстро разделись донага и босиком подходили по очереди к доктору. То, что было в этом телесном осмотре особенно интимного, исполнял фельдшер. Доктор Криштафович только наблюдал и делал отметки на списке против фамилий. Такой подробный осмотр производился обыкновенно в корпусе по четыре раза в год, и всегда он бывал для Александрова чем-то вроде беспечной и невинной забавы, тем более что при нем всегда бывало испытание силы на разных силомерах – нечто вроде соперничества или состязания. Но почему теперь такими грубыми и такими отвратительными казались ему прикосновения фельдшера к тайнам его тела?

И еще другое: один за другим проходили мимо него нагишом давным-давно знакомые и привычные товарищи. С ними вместе сто раз мылся он в корпусной бане и купался в Москве-реке во время летних Коломенских лагерей. Боролись, плавали наперегонки, хвастались друг перед другом величиной и упругостью мускулов, но самое тело было только незаметной оболочкой, одинаковой у всех и ничуть не интересною.

И вот теперь Александров с недоумением заметил, чего он раньше не видел или на что почему-то не обращал внимания. Странными показались ему тела товарищей без одежды. Почти у всех из-под мышек росли и торчали наружу пучки черных и рыжих волос. У иных груди и ноги были покрыты мягкой шерстью. Это было внезапно и диковинно. И тут только заметил он, что прежние золотистые усики на верхней губе Бутынского обратились в рыжие, большие, толстые фельдфебельские усы, закрученные вверх. «Что с нами со всеми случилось?» – думал Александров и не понимал.

Но особенно смущали его от природы необычайно тонкое обоняние запахи этих сильных, полумужских обнаженных тел. Они пахнули по-разному: то сургучом, то мышатиной, то пороховой гарью, то увядающим нарциссом...

– Удивительно, неужели мы все разные, – сказал себе Александров, – и разные у нас характеры, и в разные стороны потекут наши уже чужие жизни, и разная ждет нас судьба? Да и правда: уж не взрослые ли мы стали?

Осмотр кончился. Кадеты оделись и поехали в училище на Знаменку. Но каким способом и каким путем они ехали – это навсегда выпало из памяти Александрова. В бесконечную длину растянулся для него сложный, пестрый, чрезмерно богатый лицами, событиями и впечатлениями день вступления в училище.

Утром в Химках прощание с сестрой Зиной, у которой он гостил в летние каникулы. Здесь же, по соседству, визит семье Синельниковых. С большим трудом удалось ему улучшить минуту, чтобы остаться наедине с богоподобной Юленькой, но когда он потянулся к ней за знакомым, сладостным, кружащим голову поцелуем, она мягко отстранила его загорелой рукой и сказала:

– Забудем летние глупости, милый Алеша. Прошел сезон, мы теперь стали большие. В Москве приходите к нам потанцевать. А теперь прощайте. Желаю вам счастья и успехов.

И он ушел, молча, обиженный, несчастный, едва сдерживая горькие слезы...

Потом путь по железной дороге до Николаевского вокзала; оттуда на конке в Кудрино, к маме; затем вместе с матерью к Иверской Божьей Матери; после чуть ли не на край города в Лефортово, в кадетский корпус. Прощание, переодевание и, наконец, опять огромный путь на Арбат, на Знаменку, в белое здание Александровского училища. В теле усталость, в голове путаница. В целые годы растянулся этот тягучий день, и все нет ему конца.

Никогда потом в своей жизни не мог припомнить Александров момента вступления в училище. Все впечатления этого дня походили у него в памяти на впечатления человека, проснувшегося после сильнейшего опьянения: какие-то смутные картины, пустячные мелочи и между ними черные провалы. Так и не мог он восстановить в памяти, где выпускных кадет переодевали в юнкерское белье, одежду и обувь, где их ставили под ранжир и распределяли по ротам.

Ярче всего сохранилась у него такая минута: он стоит в длинном широком белом коридоре; на нем легкая свободная куртка, застегнутая сбоку на крючки, а на плечах белые погоны с красным вензелем А. II, Александр Второй¹³¹. По коридору взад и вперед снуют молодые люди. Здесь и старые юнкера-второкурсники, которых сразу видно по выправке, и только прибывшие выпускные кадеты других корпусов, как московских, так и провинциальных, в разноцветных погонах. Тут впервые понимает Александров, как тяжело одиночество в чужой незнакомой толпе.

Он стоит у широкого окна, равнодушно прислушиваясь к гулу этого большого улья, рассеянно, без интереса, со скукою глядя на пестрое суетливое движение. К нему подходит невысокий офицер с капитанскими погонами – он худощав и смугло румян, черные волосы разделены тщательным пробором. Чуть-чуть заикаясь, спрашивает он Александра:

– Какого э... корпуса?

– Второго московского, господин капитан.

– Э... На что же вы себе такие волосья отпустили? Думаете, красиво?

И он кричит громко:

– Андриевич!

– Я! – раздается отклик с другого конца коридора, и к офицеру быстро подбегает и ловко вытягивается перед ним тот самый Андриевич, который шел вместе с Александровым до шестого класса, очень дружил с ним и даже издавал с ним вместе кадетскую газету.

Офицер спрашивает:

– Вашего корпуса?

– Так точно, господин капитан.

– Э... Так возьмите этого отца протодиакона и тащите его к цирюльнику стричься, ишь какую гривищу отрастил.

– Слушаю, господин капитан.

Весело, лукаво улыбаясь, он непринужденно берет Александра за рукав и говорит:

– Идем, идем, фараон.

Потом он сам наблюдает, как в умывалке цирюльник стришет наголо бывшего друга-приятеля, и слегка добродушно подтрунивает.

¹³¹ Александр Второй (Александр Николаевич) (1818–1881), российский император (1855–1881), вошел в историю как царь-освободитель, отменивший крепостное право (1861). Был убит террористами 1 марта 1881 г.

– Почему же я фараон? – спрашивает Александров.

Тот отвечает:

– Потому же, почему я обер-офицер. Разница между первым и вторым курсом.

– А кто же этот капитан?

– Это командир нашей четвертой роты, капитан Фофанов, а по-нашему Дрозд. Строгая птица, но жить с ней все-таки можно. Я тебя давно знаю. Ты у него досыта насидишься в карцере.

По окончании стрижки он доставляет его ротному командиру. Тот смотрит на новичка сверху вниз, склоняя голову то на левый, то на правый бок.

– Э... Ничего. Так хоть немножко на юнкера похож. Вы его подтягивайте, Андриевич.

Глава V

Фараон

С трудом, очень медленно и невесело осваивается Александров с укладом новой училищной жизни, и это чувство стеснительной неловкости долгое время разделяют с ним все первокурсники, именуемые на юнкерском языке «фараонами», в отличие от юнкеров старшего курса, которые, хотя и преждевременно, но гордо зовут себя «господами обер-офицерами».

В кличке «фараон», правда, звучит нечто пренебрежительное, но она не обижает уже благодаря одной своей нелепости. В Александровском училище нет даже и следов того, что в других военных школах, особенно в привилегированных, называется «щуканьем» и состоит в грубом, деспотическом и часто даже унижительном обращении старшего курса с младшим: дурацкий обычай, собезьяненный когда-то, давным-давно, у немецких и дерптских студентов, с их буршами и фуксами¹³², и обратившийся на русской черноземной почве в тупое, злобное, бесцельное издевательство.

За несколько лет до Александрова «щукание» собиралось было прочно привиться и в Москве, в белом доме на Знаменке, когда туда по какой-то темной причине был переведен из Николаевского кавалерийского училища светлейший князь Дагестанский, привезший с собою из Петербурга, вместе с распушенной развинченностью, а также с модным томным грассированием, и глупую моду «щукать» младших товарищей. Может быть, его громкий титул, может быть, его богатство и личное обаяние, а вероятнее всего, стадная подражательность, так свойственная юношеству, были причинами того, что обычай «щукания» заразилась сначала первая рота – рота его величества, – в которую попал князь, а потом постепенно эту дурную игру переняли и другие три роты. Однако это вредное самоуправство оказалось недолговечным. Преобладающим большинством в училище были коренные москвичи, вышедшие из четырех кадетских корпусов. Москва же в те далекие времена оставалась воистину «порфиносною вдовою»¹³³, которая не только не склонялась перед новой петербургской столицей, но

¹³² Бурши – члены студенческих корпораций, фуксы – студенты-первокурсники. В среде студенческих корпораций звание бурша поначалу давалось не сразу. Перед этим следовало проучиться несколько лет в университете, получить предварительные звания (например фукса), сдать вступительный экзамен (на знание дуэльного кодекса и на умение пить пиво). Позднее все студенты сразу становились буршами.

¹³³ Порфиноносная вдова – вдова умершего царя, носящая царскую мантию, порфиру. Шутливое название Москвы связано с тем, что столица Российской империи была перенесена в нач. XVIII в. в Петербург. См. у А. С. Пушкина:

И перед младшею столицей
Померкла старая Москва,
Как перед новою царицей
Порфиноносная вдова.

величественно презирала ее с высоты своих сорока сороков, своего несметного богатства и своей славной древней истории. Была она горда, знатна, самолюбива, широка, независима и всегда оппозиционна. Порою казалось, что она считает себя совсем отдельным великим княжеством, с князем-хозяином Владимиром Долгоруким¹³⁴ во главе. Бюрократический Петербург, с его сухостью, узостью и европейской мелочностью, не существовал для нее. И петербургской аристократии она не признавала. «В Питере – все выскочки. Самым старым родам не более трехсот лет, а ордена и высокие титулы там даются за низкопоклонство и угодливость». А Москва? «Что за тузы в Москве живут и умирают! Какие славные вековые боярские столбовые роды¹³⁵ обитают в ней на Пречистенке, на Поварской, на Новинском бульваре и на Никитских...» И самый воздух в первопрестольной был совсем иной, чем петербургский: куда крепче, ядренее, легче, хмельнее и свободнее. Петербургские штучки, словца и шуточки вяло прививались в Москве и скоро отмирали. Таким же путем прекратилось в Александровском училище и пресловутое немецкое «цуканье». Не место ему было в свободолюбивой Москве. Угнетенные навязанной мелкой тиранией господ обер-офицеров, юнкера, однако, не жаловались ни высшему начальству, ни своим родителям: и то и другое было бы изменой внутреннему духу и укладу училища. Переворот произошел как-то случайно, сам собою, в один из тех июльских горячих дней, когда подходила к самому концу тяжелая, изнурительная лагерная служба.

Юнкера старшего класса уже успели разобрать, по присланному из Петербурга списку, двести офицерских вакансий в двухстах различных полках. По субботам они ходили в город к военным портным примерить в последний раз мундир, сюртук или пальто и ежедневно, с часа на час, лихорадочно ждали заветной телеграммы, в которой сам государь император поздравит их с производством в офицеры.

В этот день после нудного батальонного учения юнкера отдохнули и мылись перед обедом. По какой-то странной блажи второкурсник третьей роты Павленко подошел к фараону этой же роты Голубеву и сделал вид, что собирается щелкнуть его по носу. Голубев поднял руку, чтобы предотвратить щелчок. Но Павленко закричал: «Это что такое, фараон? Смирно! Руки по швам!» Он еще раз приблизил сложенные два пальца к лицу Голубева. Но тут произошло нечто вовсе неожиданное. Скромный, всегда тихий и вежливый Голубев воскликнул:

– Довольно вы надо мною издевались! – и с этим криком, быстро открыв складной ножик, вонзил его в наружную сторону протянутой кисти. Павленко опешил. Рана оказалась пустячная, но кровь потекла обильно. Кстати, Голубев первый сделал Павленку перевязку из своего чистого полотенца.

Эта неприятная история быстро разнеслась по всему лагерю. Ни старшие, ни младшие юнкера не знали, как отнестись к кровавому событию. Некоторые из выпускных, очень немногие, и самые ярые «цукатели» предлагали довести до сведения начальства о дерзком поступке Голубева: пусть его подвергнут усиленному аресту или отправят нижним чином в полк. Но половина господ обер-офицеров и все фараоны стояли за него. Мигом по всем четырем баракам второкурсников помчались летучие гонцы: «После обеда всему второму курсу собраться в столовую!»

Собралось человек до шестидесяти. Уклонились лентяи, равнодушные, эгоисты, боязливые, туповатые, мнительные, неисправимые сони, выгадывавшие каждую лишнюю минутку, чтобы поваляться в постели, а также будущие карьеристы и

¹³⁴ Долгорукий (Долгоруков) Владимир Андреевич (1810–1891) – генерал-губернатор Москвы (1865–1891).

¹³⁵ Столбовой род – древний потомственный дворянский род, в XVI в. заносились в специальные столбцы (родословные книги).

педанты, знавшие из устава внутренней службы о том, что всякие собрания и сборища строго воспрещаются.

Говорили все сразу, но договорились очень скоро.

«Нам колбасники, немецкие студенты, не пример и гвардейская кавалерия не указ. Пусть кавалерийские юнкера и гвардейские „корнеты“ ездят верхом на своих зверях и будят их среди ночи дурацкими вопросами. Мы имеем высокую честь служить в славном Александровском училище, первом военном училище в мире, и мы не хотим марать его прекрасную репутацию ни шутовским балаганом, ни идиотской травлей младших товарищей. Поэтому решим твердо и дадим друг другу торжественное слово, что с самого начала учебного года мы не только окончательно прекращаем это свинское цуканье, достойное развлечений в тюрьме и на каторге, но всячески его запрещаем и не допустим его никогда. Да его уже и нет, оно прошло, и мы забыли о нем. Не правда ли, друзья? и все. И точка.

Пусть, в память старины, фараоны так и остаются фараонами. Не нами это прозвание придумано, а нашими прославленными предками, из которых многие легли на поле брани за веру, царя и отечество. Пусть же свободный от цукания фараон все-таки помнит о том, какая лежит огромная дистанция между ним и господином обер-офицером. Пусть всегда знает и помнит свое место, пусть не лезет к старшим с фамильярностью¹³⁶, ни с амикошонством¹³⁷, ни с дружбой, ни даже с простым праздным разговором. Спросит его о чем-нибудь обер-офицер – он должен ответить громко, внятно, бодро и при этом всегда правду. И конец. И дальше – никакой болтовни, никакой шутки, никакого лишнего вопроса. Иначе фараон зазнается и распустится. А его, для его же пользы, надо держать в строгом, сухом и почтительном отдалении.

Да и зачем ему соваться в высшее, обер-офицерское общество? В роте пятьдесят таких фараонов, как и он, пусть они все дружатся и развлекаются. Мирятся и ссорятся, танцуют и поют промеж себя; пусть хоть представления дают и на головах ходят, только не мешали бы вечерним занятиям.

Но две вещи фараонам безусловно запрещены: во-первых, травить курсовых офицеров, ротного командира и командира батальона; а во-вторых, петь юнкерскую традиционную «расстанную песню»: «Наливай, брат, наливай». И то и другое – привилегии господ обер-офицеров; фараонам же заниматься этим – и рано и не имеет смысла. Пусть потерпят годик, пока сами не станут обер-офицерами... Кто же это в самом деле прощается с хозяевами, едва переступив порог, и кто хулит хозяйские пироги, еще их не отведав?»

Так, или почти так, выразили свое умное решение нынешние фараоны, а через день, через два уже господа обер-офицеры; стоит только прийти волшебной телеграмме, после которой старший курс мгновенно разлетится, от мощного дуновения судьбы, по всем концам необъятной России. А через месяц прибудут в училище и новые фараоны. И еще одно мудрое словесное постановление было утверждено на этом необыкновенном заседании в просторном столовом бараке...

«Но надо же позаботиться и о жалких фараонах. Все мы были робкими новичками в училище и знаем, как тяжелы первые дни и как неуверенны первые шаги в суровой дисциплине. Это все равно что учиться кататься на коньках или ходить на ходулях. И потому пускай каждый второкурсник внимательно следит за тем фараоном своей роты, с которым он всего год назад ел одну и ту же корпусную кашу. Остереги его вовремя, но вовремя и подтяни крепко. От веков в великой русской армии новобранцу был первым учителем, и помощником, и заступником его дядька-земляк».

¹³⁶ Фамильярность – неуместная развязность, чрезмерная непринужденность в общении с кем-либо

¹³⁷ Амикошонство – бесцеремонное, излишне фамильярное обращение.

Всю вескость последнего правила пришлось вскоре Александрову испытать на практике, и урок был не из нежных. Вставали юнкера всегда в семь часов утра; чистили сапоги и платье, оправляли койки и с полотенцем, мылом и зубной щеткой шли в общую круглую уумывалку, под медные краны. Сегодняшнее сентябрьское утро было сумрачное, моросил серый дождик; желто-зеленый туман висел за окнами. Тяжесть была во всем теле, и не хотелось покидать кровати.

К Александрову подошел дежурный по роте, второкурсник Балиев, очень любезный и тихий армянин с оливковым лицом, испещренным веснушками.

– Вставайте же, Александров, – сказал он спокойно. – Вставайте.

– Да я сейчас, сейчас. Дайте полежать несколько минуток. Что вам стоит?

– А я вам говорю: вставайте немедленно! – возвысил голос Балиев.

– Ах, боже мой! Что же вам, жалко, что ли?

И вдруг он услышал через всю спальню резкий и гневный голос:

– Александров, молчать! Вставайте сию секунду!

В этом голосе было столько повелительного, что бедный фараон мгновенно вскочил на ноги, стряхнул с глаз сонную истому и сразу увидел, что кричал старший юнкер Тучабский. Это для Александрова было и дико и непонятно. Ведь это тот самый Тучабский, с которым они жили в тесной дружбе целых шесть корпусных лет, пока Александров не застрял на второй год в шестом классе. Раньше же у них было все общее: пополам покупали халву и нугу, вместе собирали коллекции растений, бабочек и перьев. Изобрели собственную, никому не понятную азбуку и таинственный разговорный язык. Вместе же они одно время увлекались пиротехникой: делали из серы, селитры, бертолетовой соли, толченого сахара и угля бенгальские огни, вертуны и шутихи и зажигали их вечером в ватерклозете. Также читали друг другу по очереди книги, принесенные с воли... Да ведь это он, Тучабский, прежний, милый друг Тучабский!.. Откуда же у него взялся этот страшный голос, который точно столкнул Александрова с постели на пол. И горько и обидно стало фараону. «Что же меня ждет дальше?»

А после обеда, когда наступило время двухчасового отдыха, Тучабский подошел к Александрову, сидевшему на койке, положил ему свою огромную руку на голову и сурово-ласково сказал:

– Ты не сердись на меня. Я тебе же добра желаю. И прошу перестать быть ершом. Здесь тебе не корпус, а военное училище с воинской службой. Да подожди, все обомнется, все утрясется... Так-то, дорогой мой.

И ушел.

Глава VI Танталовы муки¹³⁸

Каждую среду на полдня и каждую субботу до вечера воскресенья юнкера ходили в отпуск. Злосчастные фараоны с завистью и с нетерпением следили за тем, как тщательно обряжались обер-офицеры перед выходом из стен училища в город; как заботливо стягивали они в талию новые прекрасные мундиры с золотыми галунами, с

¹³⁸ Танталовы муки – крылатое выражение, восходящее к древнегреческой мифологии. Тантал, царь Фригии, был любимцем богов, и они часто приглашали его на свои пиршества. Но царь Тантал возгордился от таких почестей и был за это наказан. Его наказание состояло в том, что он, будучи низвергнут в ад или в Тартар (отсюда русское выражение «полететь в тартарары»), был обречен вечно испытывать муки голода и жажды. При этом он стоял по горло в воде, а над ним висели ветви с разнообразными плодами. Но только он наклонится к воде, чтобы напиться, как она отступает, только протянет руки к ветвям – они поднимаются вверх. Синоним страданий из-за невозможности достигнуть желаемого, хотя оно на первый взгляд вполне достижимо.

красным вензелем на белом поле. Мундиры, туго опоясанные широким кушаком, на котором перекрещивались две гренадерские¹³⁹ пылающие гранаты. На левом боку кушака прикреплялся штык в кожаном футляре. Прежде – помнил Александров по своим ранним кадетским годам – оружием юнкера был не узенький, как селедка, штык, а тяжелый, широкий гренадерский тесак с медной витою рукоятью – настоящее боевое оружие, которым при желании свободно можно было бы оглушить быка. Александров уже знал, что совсем не его славные предки, «старинные александровцы», вызвали своим поведением такую прискорбную замену оружия. Виноваты были юнкера военного окружного училища, что в Красных казармах, те самые, которые после стажа в полку держат при своем училище экзамен на армейского подпрапорщика и которые набираются с бора по сосенке. Это они одной зимней ночью на Масленице завязали огромный скандал в области распривеселых непотребных домов на Драчовке и в Соболевом переулке, а когда дело дошло до драки, то пустили в ход тесаки, в чем им добросовестно помогли строевые гренадеры Московского округа. Около этого дурацкого события поднялся большой и, как всегда, преувеличенный шум, притушить который начальство не успело вовремя, и результатом был строгий общий разнос из Петербурга с приказом заменить во всем Московском гарнизоне тяжкие обоюдоострые тесаки невинными штыками...

Этот выходной костюм довершался летом – бескозыркой с красным околышем и кокардой, зимою – каракулевой низкой шапкой с золотым (медным) начищенным орлом. И тот и другой головной убор бывал лихо и вызывающе сдвинут на правый бок. Широкие черные штаны, по моде, заимствованной у императорских стрелков, надевались с широким напуском и низко заправлялись в собственные шикарные сапоги, французского или русского лака, стоившие недешево. Постоянный училищный поставщик Ефремов брал за них с колодками от пятнадцати до восемнадцати рублей. Совсем, окончательно бедные юнкера принуждены были ходить в отпуск в казенных сапогах, слегка и вовсе уж не так дурно благоухавших дегтем. Зато белые замшевые перчатки были и обязательны и недороги: мыть их можно было хоть сто раз, и они ничуть не изнашивались. Да в училище никому бы не могло прийти в голову смеяться или глумиться над юнкером, родственники которого были людьми несостоятельными, часто многосемейными и живущими в глухой провинции на жалкую полковничью или майорскую пенсию. Случаи подобного издевательства были совсем неизвестны в домашней истории Александровского училища, питомцы которого, по каким-то загадочным влияниям, жили и возрастали на основах рыцарской военной демократии, гордого патриотизма и сурового, но благородного, заботливого и внимательного товарищества.

С особенной пристальностью следили, разинув рты, несчастные фараоны за тем, как обер-офицеры, прежде чем получить увольнительный билет, шли к курсовому офицеру или к самому Дрозду на осмотр.

– Почему косит борт? Зачем кокарда не посередине? Грудь морщит. Подтянуть! Кругом! Расправить складку на спине!

Но вот ровным, шегольским, учебным шагом подходит, гроыхая казенными сапожищами, ловкий «господин обер-офицер». Раз, два. Вместе с приставлением правой ноги рука в белой перчатке вздергивается к виску. Прием сделан безупречно. Дрозд осматривает молодцеватого юнкера с ног до головы, как лошадиный знаток породистого жеребца.

– Хорошо, юнкер. И одет безупречно. За версту видно бравого александровца. Видно сову по полету, добра молодца по соплям.

¹³⁹ Гренадер – в армии царской России и в некоторых иностранных армиях военный отборных пехотных полков (первоначально: солдат, вооруженный тяжелыми ручными гранатами).

– Рад стараться, ваше высокоблагородие!

– Ступайте с богом. – Двухприемный, крепкий поворот налево, и юнкер освобожден. Новичкам еще много остается дней до облачения в парадную форму и до этого требовательного осмотра. Но они и сами с горечью понимают, что такая красивая, ловкая и легкая отчетливость во всех воинских движениях не дается простым подражанием, а приобретает долгой практикой, которая наконец становится бессознательным инстинктом.

До безумия, до чесотки хочется в отпуск, но нечего об этом счастья и думать. Не успел еще фараон дозреть до отпуска. Медленно ползут дни и недели скучного томления. Роздых и умягчение фараонским душам бывает только по четвергам. Каждый четверг за обедом играет в полуподвальной громадной каменной юнкерской столовой училищный оркестр. Этот оркестр и его изумительный дирижер, старый Крейнбринг, которого помнят древнейшие поколения александровцев, составляют вместе одну из почтенных московских достопримечательностей.

Всем юнкерам, так же как и многим коренным москвичам, давно известно, что в этом оркестре отбывают призыв лучшие ученики московской консерватории, по классам духовых инструментов, от начала службы до перехода в великолепный Большой московский театр. Юнкера – великие мастера проникнуть в разные крупные и малые дела и делишки – знают, что на флейте играет в их оркестре известный Дышман, на корнет-а-пистоне – прославленный Зеленчук, на гобое – Смирнов, на кларнете – Михайловский, на валторне – Чародей-Дудкин, на огромных медных басах – наемные, сверхсрочно служащие музыканты гренадерских московских полков, бывшие ученики старого требовательного Крейнбринга, и так далее. Барабанщик же Александровского оркестра – несменяемый великий артист Индурский, из кантонистов, однолетка с Крейнбригом, – маленький, стройный старичок с черными усами и с седыми баками по пояс. Он первейший из всех барабанщиков Московского военного округа, а может быть, всего мира. Говорят, что однажды состоялось в московском манеже торжественное состязание специалистов по маленькому барабану, и Индурский блистательно вышел из него первым. Всем известно, что Индурский никому не хочет сообщить тайну своей несравненной дробы и унесет ее с собой в могилу. Что поделаешь? Во всяком военном училище есть такого рода безвредный, немножко смешной со стороны, невинный и наивный шовинизм.

Садясь за четверговый обед, юнкера находят на столах музыкальную программу, писанную круглым военно-писарским «рондо»¹⁴⁰ и оттиснутую гектографом¹⁴¹. В нее обыкновенно входили новые штраусовские вальсы, оперные увертюры и попури, легкие пьесы Шуберта, Шумана, Мендельсона и Вагнера. Оркестр Крейнбринга был так на славу выдрессирован, что исполнял самые деликатные подробности, самое сладкое пиано с тонким совершенством хорошего струнного оркестра.

Нередко юнкера аплодировали, но старый, немного горбатый Крейнбринг не обращал никакого внимания на эти знаки поощрения. Иногда юнкера просили сыграть одну из своих любимых вещиц, например, «Мельницу», «Марш Буланже», «Турецкий патруль», увертюру из «Руслана» или особенно «Почту в лесу». Последняя пьеска игралась с фокусом, чрезвычайно занимательным. Великий мастер корнет-а-пистона Зеленчук перед началом номера незаметно для юнкеров уходил из столовой и прятался в конце длинного-предлинного коридора. Вся прелесть состояла в том, что, как только кончалась оркестровая интродукция, Зеленчук вплетал в нее тихий, немного печальный отзвук, шедший как будто в самом деле из далекой глубины леса. И таким образом

¹⁴⁰ Рондо – особо закругленный рукописный, а также печатный шрифт.

¹⁴¹ Гектограф – тип копировального аппарата.

оркестр довольно долго перекликался с заблудившимся почтальоном, все время приближаясь друг к другу, пока не встречались в общем хоре.

Но упросить Крейнбринга бывало не легко. Этот старый немец отличался козлиным упрямством. С высоты своей славы – пусть только московской, но несомненной – он, как и почти все музыкальные маэстро, презирал большую, невежественную толпу и был совсем не чувствителен к комплиментам. Москвичи говорили про него, что он уважает только двух человек на свете: дирижера Большого театра, строптивного и властного Авранека, а затем председателя немецкого клуба, фон Титцнера, который в честь компатриота и сочлена выписывал колбасу из Франкфурта и черное пиво из Мюнхена.

Но одну вещь, весьма ценимую юнкерами, он не только часто ставил в четверговые программы, но иногда даже соглашался повторять ее. Это была увертюра к недоконченной опере Литоляфа «Робеспьер». Кто знает, почему он давал ей такое предпочтение: из ненависти ли к великой французской революции, из почтения ли к личности Робеспьера или его просто волновала музыка Литоляфа?

В этой героической увертюре в самом финале есть страшный эффект, производимый резким и грозным ударом литавров: это тот момент, когда тяжелый стальной нож падает на склоненную шею «Неподкупного».

Между юнкерами по поводу этой увертюры ходило давнее предание, передававшееся из поколения в поколение. Рассказывали, что будто бы первым литавщиком, исполнявшим роковой удар гильотины, был никому не известный скромный маленький музыкант, личный друг Крейнбринга еще с детских лет.

Говорили дальше, что этот музыкант пришел однажды в оркестр в каком-то особенно серьезном, почти торжественном настроении. На расспросы товарищей он отвечал нехотя и равнодушно, но сказал одному из них, якобы самому Крейнбрингу: «Сегодня вы услышите такой удар гильотины, которого не забудете никогда в жизни». И правда. Случилось нечто невероятно жуткое. Безвестный музыкант выждал точно определенную секунду и ударил в литавры с необычайной силой. Но тут же он упал на пол, пораженный разрывом сердца. Уверяли еще старые юнкера молодых, что будто бы Крейнбринг научил барабанщика Индурского этому необыкновенному удару в память своего преждевременно скончавшегося друга... Так же, как и сам в память его играл увертюру. Что здесь было правдой и что выдумкой, никто не удосужился проверить; спросить же сердитого, важного и молчаливого Крейнбринга никто бы не отважился, да он, кажется, знал по-русски одни музыкальные слова, но все равно: юному сердцу нельзя жить без романтики.

Конечно, прекрасен был училищный оркестр, гордость александровцев, и ждали юнкера четвергового концерта с жадным нетерпением; но для бедных желторотых фараонов один час вокального наслаждения далеко не искупал многих часов беспрестанной прозаической строжайшей муштры и неловкой связанности и беспомощности в чужом, еще не обжитом доме, в котором невольно натыкаешься на все углы и косяки.

Первое, чему неизбежно учили каждого юнкера, была заповедь:

– Сначала забудьте все то, чему вас учили в кадетском корпусе. Теперь вы не мальчики, и каждый из вас в случае надобности может быть мгновенно призван в состав действующей армии и, следовательно, отправлен на поле сражения. Значит, каждого указания и приказа старших слушаться и подчиняться ему беспрекословно.

И правда, очень многому, почти всему, приходилось переучиваться наново.

– Чтобы плечи и грудь были поставлены правильно, – учил Дрозд, – вдохни и набери воздуха столько, сколько можешь. Сначала затаи воздух, чтобы запомнить положение

груди и плеч, и когда выпустишь воздух, оставь их в том же самом порядке, как они находились с воздухом. Так вы и должны держаться в строю.

Всегда ходи и держись, даже вне строя, так, как подобает воину. Не шаркайте подметками, не везите, не волочите ног по полу. Шаг легкий, быстрый, крупный и веселый. Идете вдвоем, непременно в ногу. Даже когда идешь один, в уборную, и то иди, как будто идешь в ногу. Никогда не горбиться. Для этого научись держать высоко голову, однако не выставляя вперед подбородок и, наоборот, втягивая его в себя...

Александров! Сейчас вы промаршируете вперед и назад. Попробуйте идти сгорбившись, а голову как можно выше. Ну! Шагом марш! Раз-два, раз-два! Стой! Ну, что, юнкер Александров? Ловко ли сутулиться, а голову держать высоко?

– Никак нет, ваше высокоблагородие (так величали юнкера офицеров в строю и по службе). Даже, скорее, трудно.

– Ну вот, теперь поняли? А жаль, что вы сами себя в это время не видели. Зрелище было довольно-таки гнусное... Итак, друзья мои, никогда не забывайте, что на вас вся Москва смотрит. Гляди, как орел, ходи женихом. Вы же, юнкера второго курса, следите зорко за этими желторотыми. Не скупитесь на замечания и выговоры. Им это будет только на пользу. Ибо, – и тут он повысил голос до окрика, – ибо, как только увижу, что мой юнкер переваливается, как брюхатая попадьа, или ползет, как вошь по мокрому месту, или смотрит на землю, как разочарованная свинья, или свесит голову набок, подобно этакому увядающему цветку, – буду греть беспощадно: лишние дневальства, без отпуска, арест при исполнении служебных обязанностей.

Да, это были дни воистину учетверенного нагревания. Грел свой дядька-однокурсник, грел свой взводный портупей-юнкер, грел курсовой офицер и, наконец, главный разогреватель, красноречивый Дрозд, лапидарные поучения которого как-то особенно ядовито подчеркивались его легким и характерным заиканием.

Учили строевому маршу с ружьем, обязательно со скатанной шинелью через плечо и в высоких казенных сапогах, но учили также и легкой уверенной красивой городской походке. Учили простой стойке, с ружьем и без ружья. Учили или, вернее, переучивали ружейные приемы.

Сравнительно с легкими драгунскими берданками, которые употреблялись в корпусе, двенадцати с половиною фунтовые пехотные винтовки были с непривычки тяжеловаты. Поднять за штык на вытянутой руке такую винтовку мог среди первокурсников один Жданов.

Но больше всего было натаскивания и возни с тонким искусством отдания чести. Учились одновременно и во всех длинных коридорах и в бальном (сборном) зале, где стояли портреты выше человеческого роста императора Николая I и Александра II и были врезаны в мраморные доски золотыми буквами имена и фамилии юнкеров, окончивших училище с полными двенадцатью баллами по всем предметам.

Здесь практически проверялась память: кому и как надо отдавать честь. Всем господам обер- и штаб-офицерам чужой части надлежит простое прикладывание руки к головному убору. Всем генералам русской армии, начальнику училища, командиру батальона и своему ротному командиру честь отдается, становясь во фронт.

– Смотри, Александров, – приказывает Тучабский. – Сейчас ты пойдешь ко мне навстречу! Я – командир батальона. Шагом марш, раз-два, раз-два... Не отчетливо сделал полуоборот на левой ноге. Повторим. Еще раз. Шагом марш... Ну а теперь опоздал. Надо начинать за четыре шага, а ты весь налез на батальонного. Повторить... раз-два. Эко, какой ты непонятливый фараон! Рука приставляется к борту бескозырки одновременно с приставлением ноги. Это надо отчетливо делать, а у тебя размазня выходит. Отставить! Повторим еще раз.

Конечно, эти ежедневные упражнения казались бы бесконечно противными и вызывали бы преждевременную горечь в душах юношей, если бы их репетиторы не были так незаметно терпеливы и так сурово участливы.

Случалось, они резко одергивали своих птенцов и порою, чтобы расцветить монотонность однообразной работы, расцвечивали науку острым, крупным солдатским словечком, сбереженным от времен далеких училищных предков. Но злоба, придирчивость, оскорбление, издевательство или благоволение к любимчикам совершенно отсутствовали в их обращении с младшими. Училищное начальство – и Дрозд в особенности – понимало большое значение такого строгого и мягкого, семейного, дружеского военного воспитания и не препятствовало ему. Оно по справедливости гордилось ладным табуном своих породистых однолеток и двухлеток жеребчиков – горячих, смелых до дерзости, но чудесно послушных в умных руках, умело соединяющих ласку со строгостью.

Прежний начальник училища, ушедший из него три года назад, генерал Самохвалов, или, по-юнкерски, Епишка, довел пристрастие к своим молодым питомцам до степени, пожалуй, немного чрезмерной. Училищная неписаная история сохранила многие предания об этом взбалмошном, почти неправдоподобном, почти сказочном генерале. Ему ничего не стоило, например, нарушить однажды порядок торжественного парада, который принимал сам командующий Московским военным округом. Несмотря на распоряжение приказа, отводившего место батальону Александровского училища непосредственно позади гренадерского корпуса, он приказал ввести и поставить свой батальон впереди гренадер. А на замечание командующего парадом он ответил с великолепной самоуверенностью:

– Московские гренадеры – украшение русской армии, но согласитесь, ваше превосходительство, с тем, что юнкера Александровского училища – это московская гвардия.

И он настоял на своем. Неизвестно, как сошла ему с рук эта самодурская выходка. Впрочем, вся Москва любила свое училище, а Епишка, говорят, был в милости у государя Александра Третьего.

Рассказывали о таком случае: какой-то пехотный подпоручик, да еще не Московского гарнизона, да еще, говорят, не особенно трезвый, придрался на улице к юнкеру-второкурснику якобы за неправильное отдавание чести и заставил его несколько раз повторить этот прием. Собралась глазастая московская толпа. Юнкер от стыда, от оскорбления и бешенства сделал чрезвычайно тяжелый дисциплинарный проступок. Заметив проезжавшего легкой рысью лихача на серой лошади, он вскочил в пролетку и крикнул: «Валяй вовсю!» Примчавшись в училище, потрясенный только что случившейся с ним бедою, он прибежал к Самохвалову и рассказал ему подробно все свершившееся с ним. Епишка кричал на него благим матом с полчаса, а потом закатал его в карцер, всей полнотой своей грузной начальнической власти, под усиленный арест. Когда же прибыл в училище обиженный пехотный подпоручик со своею жалобой, Самохвалов приказал выстроить все училище.

– Юнкер моего училища, – сказал он, – не мог бы совершить такого проступка. Впрочем, сделайте милость, вот вам все мои юнкера. Ищите виновного.

Конечно, подпоручик, растерявшийся под обстрелом четырехсот пар насмешливых и недружелюбных взглядов, не нашел своего обидчика, а юнкер благополучно избег отдачи в солдаты почти накануне производства.

Много других подобных поблажек делал Епишка своим возлюбленным юнкерам. Нередко прибегал к нему юнкер с отчаянной просьбой: по всем отраслям военной науки у него баллы душевного спокойствия, но преподаватель фортификации только и знает, что лепит ему шестерки и даже пятерки... Невзлюбил сироту! И вот в среднем

никак не выйдет девяти, и прощай теперь, первый разряд, прощай, старшинство в чине...

Тогда Епишка неизменно гнал юнкера в карцер, оставлял на две недели без отпуска и назначал на три внеочередных дежурства. А потом вызывал к себе учителя, полковника инженерных войск, и ласково, убедительно, мягко говорил ему:

– Ах, полковник! Я ведь давно позабыл высокое искусство фортификации. Помню как сквозь сон: Вобана, Тотлебена, ну там какие-то барбетты, траверсы, капониры... а вы ведь в этом деле восходящая звезда первой величины. Но согласитесь же, полковник: разве мой юнкер может знать фортификацию меньше, чем на девять, тем более такой отличный юнкер? Краса и гордость училища. Уверяю вас, он будет самым достойным офицером. Но куда же ему в инженеры? Тут необходим талант и такая светлая голова, как у вас. Ну, согласитесь же с тем, что скрепя сердце все-таки можно моему юнкеру натянуть на девятку?

И полковник соглашался.

– Бог с ним, с этим сумбурным Епишкой... Уж лучше с ним не связываться.

Но странно: юнкерам был забавен Самохвалов своей закидливостью и своим фейерверочным темпераментом; ценили его преданность училищу и его гордость своими александровцами. Но в глубине души не любили и не уважали его одну несправедливую черту. Ублажая и распуская юнкеров, он с беспощадной, бурбонской жестокой грубостью обращался с подчиненными ему офицерами. Необыкновенно тяжелы были его взыскания, налагаемые на офицеров, но еще труднее им было переносить, в присутствии юнкеров, его замечания и выговоры, переходящие порой в бесстыдные ругательства, оскорблявшие и их и его честь.

Впрочем, на этой почве его ждало тяжелейшее возмездие. Первым вышел из терпения штабс-капитан Квалиев, грузин, герой турецкой кампании 1877–1878 годов, георгиевский кавалер, тяжело раненный при взятии Плевны¹⁴², офицер, глубоко почитаемый юнкерами. После одной из безобразных выходок Самохвалова Квалиев пришел к нему на квартиру и потребовал от него объяснений (говорят, что от лица всех офицеров). В результате этого свидания было то, что Самохвалов оставил училище и был переведен командиром бригады на крайний юг России. Про Квалиева говорили мало и темно. Были вести, что он покончил впоследствии жизнь самоубийством.

Глава VII

Под знамя!

На земле, а может быть, почем знать, и в целом мироздании, существует один-единственный непреложный закон:

«Все на свете должно рано или поздно окончиться, и никто и ничто не избежит этого веления».

Через месяц окончилась казавшаяся бесконечной усиленная тренировка фараонов на ловкость, быстроту, красоту и точность военных приемов. Наступил момент, когда строгие глаза учителей нашли прежних необработанных новичков достаточно спелыми для высокого звания юнкера Третьего военного Александровского училища. Вскоре пронеслась между фараонами летучая волнующая весть: «В эту субботу будем присягать!»

¹⁴² Русско-турецкая война 1877–1878 гг., война между Россией и Турцией, возникшая в результате подъема национально-освободительного движения против турецкого владычества на Балканах и обострения международных противоречий на Ближнем Востоке. Взятие Плевны русскими войсками стало переломным моментом войны, завершившейся подписанием Сан-Стефанского мира.

Давно пригнанные парадные мундиры спешно, в последний раз, примерялись в цейхгаузах¹⁴³. За тяжелое время непрестанной гоньбы молодежь как будто выросла и осунулась, но уже сама невольно чувствует, что к ней начинает прививаться та военная прямизна и подтянутость, по которой так нетрудно узнать настоящего солдата даже в вольном платье.

Наступает суббота. В этот день учебные и иные занятия длятся только три часа, только до завтрака. Придя от завтрака в ротные помещения, юнкера находят разостланную служителями по постелям первосрочную, еще пахнущую портняжной мастерской одежду.

– Й-э, ж-живо одеваться! – командует Дрозд. – Й-э, чтобы ни морщинки, ни складочки! Фельдфебель¹⁴⁴ Рукин строит роту в две шеренги.

– С богом, – командует Дрозд.

Все четыре роты, четыреста человек, неторопливо выливаются на большой внутренний учебный плац и выстраиваются в двухвзводных колоннах: на правом фланге юнкера старшего курса с винтовками; на левом – первокурсники без оружия. Перед строем священники: православный – в черной сутане, с четырехугольной шапочкой на голове; лютеранский – в длинном, ниже колен, сюртуке, из воротника которого выступает большой белоснежный галстук; магометанский мулла – в бело-зеленой чалме. У ворот, ведущих в манеж и конюшню, расположился училищный оркестр. Ротные командиры и курсовые офицеры при своих ротях. Посередине и впереди батальонный командир Артабалеvский, по юнкерскому прозвищу Берди-Паша, узкоглазый, низко стриженный татарин; его скуластое, плотное лицо, его широкая спина и выпуклая грудь кажутся вылитыми из какого-то упругого огнеупорного материала.

Заметив издали начальника училища, выходящего из своей квартиры, он командует: «Смирно, глаза направо!» Начальник училища, генерал Анчутин, приближается к строю. Он необыкновенно высок, на целую голову выше правифлангового юнкера первой роты, и веско внушителен, пожалуй даже величествен. Юнкера его зовут Статуей Командора. И правда, он похож на Каменного гостя, когда изредка, не более пяти-шести раз в год, он проходит медленно и тяжело по училищному квадратному коридору, прямой, как башня, похожий на Николая I¹⁴⁵, именно на портрет этого императора, что висит в сборном зале; с таким же высоким куполообразным лбом, с таким же суровым и властным выражением лица. С юнкерами он никогда не здоровается вслух. Да у него и нет вовсе голоса, а какое-то слабое сипение.

Под Рущуком, командуя Ростовским гренадерским полком, он был ранен пулей в горло навылет и с тех пор дышит через серебряную трубку. За военные подвиги в Турецкую войну он был пожалован пожизненным ношением мундира Ростовского полка и почетным местом начальника Александровского училища. При его молчаливо-торжественном обходе юнкера поочередно делают ему глубокие придворные поклоны, которым их на уроках танцев беспрестанно учит балетмейстер Большого театра, Петр Алексеевич Ермолов. И в ответ на эти поклоны, строго выдержанные в три темпа, Анчутин только опускает и подымает веки... Впрочем, однажды Александрову довелось услышать хоть и очень краткую, но цельную речь ростовского генерала, которую он не забыл в течение всей своей жизни.

¹⁴³ Цейхгауз – военная кладовая для оружия или амуниции.

¹⁴⁴ Фельдфебель – воинское звание унтер-офицерского (младшие офицеры) состава и должность в армиях России (до 1917 года) и некоторых европейских стран.

¹⁴⁵ Николай I (Николай Павлович) (1796–1855) - Российский император (1825–1855). В период его правления проведена кодификация законодательства; происходило подавление инакомыслия, ужесточение цензуры.

Напрягая все силы испорченных горловых связок, замогильным, шипящим голосом приветствует Анчутин батальон:

– Здравствуйтесь, юнкера!

Задним совсем не слышен его голос; они следят за движением губ; эта уловка была уже много раз заранее репетирована.

– Здравия желаем, ваше превосходительство!

Анчутин слегка, едва заметно, кивает головой священникам и делает глазами знак командиру батальона.

Полковник Артабалеvский выходит перед серединой батальона. Азиатское лицо его напрягается.

– Под знамя! – командует он резким металлическим голосом и на секунду делает запятую. – Слушааай (небольшая пауза)... На крааа (опять пауза)... – И вдруг, коротко и четко, как удар конского бича: – ...ул!

Фараонам нельзя поворачивать голов, но глаза их круто скошены направо, на полубатальон второкурсников. Раз! Два! Три! Три быстрых и ловких дружных приема, звучащих, как три легких всплеска. Двести штыков уперлись прямо в небо; сверкнув серебряными остриями, замерли в совершенной неподвижности, и в тот же момент великолепный училищный оркестр грянул торжественный, восхищающий души, радостный марш.

Знамя показалось высоко над штыками, на фоне густо-синего октябрьского неба.

Золотой орел на вершине древка точно плыл в воздухе, слегка подымаясь и опускаясь в такт шагам невидимого знаменщика.

Знамя остановилось у аналоя¹⁴⁶. Раздалась команда: «На молитву! Шапки долой!» – И затем послышался негромкий тягучий голос батальонного священника, отца Иванцова-Платонова:

– Сложите два перста... вот таким вот образом, и подымите их вверх. Теперь повторяйте за мною слова торжественной военной присяги.

Юнкера зашевелились и сейчас же опять замерли с пальцами, устремленными в небо.

– Обещаюсь и клянусь, – произнес нараспев священник.

Точно ветер пробежал по рядам: «Обещаюсь, обещаюсь, клянусь, клянусь, клянусь...»

– Всемогущим Богом, перед святым его Евангелием.

И опять по строю пронесся густой, тихий ропот:

– Перед Богом, перед Богом...

– В том, что хошу и должен...

Формула присяги, составленная еще Петром Великим¹⁴⁷, была длинна, точна и строга. От иных ее слов становилось жутко.

«Обещаюсь и клянусь Всемогущим Богом, перед святым Его Евангелием, в том, что хошу и должен его императорскому величеству, самодержцу всероссийскому и его императорского величества всероссийского престола наследнику верно и нелицемерно служить, не щадя живота своего, до последней капли крови, и все к высокому его императорского величества самодержавству, силе и власти принадлежащая права и преимущества, узаконенные и впредь узаконяемые, по крайнему разумению, силе и возможности, исполнять.

Его императорского величества государства и земель его врагов, телом и кровию, в поле и крепостях, водою и сухим путем, в баталиях, партиях, осадах и штурмах и в

¹⁴⁶ Аналой – высокий столик с пологой доской для удобства читать стоя богослужебные книги или прикладываться к иконам, положенным на него.

¹⁴⁷ Петр Великий (Петр I, Петр Алексеевич Романов) (1672–1725) – последний царь всея Руси из династии Романовых (с 1682 года) и первый Император Всероссийский (с 1721 года). Вошел в историю как великий реформатор.

прочих воинских случаях храброе и сильное чинить сопротивление и во всем стараться споспешествовать, что к его императорского величества верной службе и пользе государственной во всяких случаях касаться может. Об ущербе же его императорского величества интереса, вреде и убытке, как скоро о том уведаю, не токмо благовременно объявлять, но и всякими мерами отвращать и не допускать потшуся и всякую вверенную тайность крепко хранить буду, а предпоставленным над мною начальникам во всем, что к пользе и службе государства касаться будет, надлежащим образом чинить послушание и все по совести своей исправлять и для своей корысти, свойства, дружбы и вражды против службы и присяги не поступать; от команды и знамени, где принадлежу, хотя в поле, обозе или гарнизоне, никогда не отлучаться, но за оным, пока жив, следовать буду и во всем так себя вести и поступать, как честному, верному, послушному, храброму и расторопному офицеру (солдату) надлежит. В чем да поможет мне Господь Бог Всемогущий. В заключение сей клятвы целую слова и крест Спасителя моего. Аминь».

Но еще страшнее были те выдержки из регламента, которые вслед за присягою стал вычитывать батальонный адъютант, поручик Лачинов, с волосами светлыми и курчавыми, как у барашка. Тут перечислялись всевозможные виды поступков и преступлений против военной дисциплины, против знамени и присяги. И после каждой строки тяжело падали вниз свинцовые слова:

– Смертная казнь... Смертная казнь!

Впечатлительный Александров успел уже раз десять вообразить себя приговоренным к смерти, и волосы у него на голове порою холодели и делались жесткими, как у ежа. Зато очень утешили и взбодрили его дух отрывки из статута ордена св. Георгия-победоносца, возглашенные тем же Лачиновым. Слушая их ушами и героическим сердцем, Александров брал в воображении редуты¹⁴⁸, заклепывал пушки, отнимал вражеские знамена, брал в плен генералов...

Затем юнкера целовали поочередно крест и Евангелие и возвращались на свои места.

– На-кройсь! – скомандовал Берди-Паша. – Под знамя, слушай, на кра-ул!

Знамя было унесено. Церемония присяги кончилась. Юнкера строем разошлись по ротным помещениям.

Стоя перед двумя шеренгами первокурсников, Дрозд говорит, слегка покачиваясь взад и вперед на носках:

– Ну-э-вот. Вы теперь настоящие юнкера. Поздравляю вас.

– Рады стараться, ваше высокоблагородие!

– Но все-таки вы-э-не забывайте, что настоящее ваше звание – солдаты. Солдат есть имя высокое и знаменитое. Первейший генерал, последний рядовой – то есть солдат. И потому помните, что за особо важный против дисциплины поступок каждый из вас может быть прямо из училища отправлен вовсе не домой к папе, маме, дяде и тете, а рядовым в пехотный полк... Надеюсь, в моей роте этого никогда не случится, как, впрочем, и во всем училище почти никогда не случалось... Но помните: за лень, невнимание, разнузданность, расхлябанность и особенно за ложь буду гнать и греть без всякой пощады. И за унылый вид – тоже. А теперь, кто хочет, могут идти в отпуск. Явиться завтра дежурному офицеру не позднее восьми часов вечера. За каждую минуту опоздания – одно лишнее дневальство. На улице держать себя молодцами и кавалерами. Отныне вы – под знаменем! Разойтись.

Как странно, как легко и как чудесно ново чувствовал себя Александров, очутившись на Знаменской улице, на людной и все-таки очень широкой Арбатской площади и,

¹⁴⁸ Редут – укрепление сомкнутого вида, предназначенное для круговой обороны.

наконец, на Поварской с ее двухэтажными прекрасными аристократическими особняками! Натренированные ноги, делая большие и уверенные шаги, точно не касались тротуара. Веселило чувство красивого, ловко пригнанного, туго обтянутого мундира. Свежие тесные белые перчатки радовали руки и зрение. «Кому первому придется отдать честь?» – задумал Александров, и тотчас же из узкого переулочка навстречу ему вышел артиллерийский поручик. Александров тотчас же быстро приложил руку к бескозырке. Но артиллерист, мило улыбнувшись, принял честь и сказал:

– Опустите руку, господин юнкер. Ну, что? Я ошибаюсь или нет? Вы сегодня принимали присягу? Правда?

– Так точно, господин поручик. Как вы могли узнать?

– Ах, очень просто. По выражению лица. Я как увидел вас, так и сделал себе такое же лицо, и сразу подумал: вот такое выражение было у меня после присяги. И даже в том же миллом Александровском училище. Ну, желаю вам всего хорошего. С богом!

Они крепко пожали друг другу руки и разошлись в разные стороны. «Какой, однако, душка этот маленький артиллерист», – с умилением подумал Александров.

Потом он сделал подряд две грубые ошибки. Стал – и даже очень красиво стал – во фронт двум генералам: но один оказался отставным, а другой интендантским. Первый раза три или четыре торопливо ответил юнкеру отданием чести, а второй сказал ему густым приветливым баском: «Очень рад, молодой человек, очень, очень рад вас увидеть и с вами познакомиться».

Прошел месяц. Александровское училище давало в декабре свой ежегодный блестящий бал, попасть на который считалось во всей Москве большим почетом. Александров послал Синельниковым три билета (больше не выдавалось). В вечер бала он сильно волновался. У юнкеров было взаимное соревнование: чьи дамы будут красивее и лучше одеты.

Огромный сборный зал, свободно вмещавший четыреста юнкеров, был обращен в цветник, в тропический сад. Ротные курилки и умывалки обратились в изящные дамские уборные, знаменитый оркестр Крейнбринга уже настраивал под сурдинку¹⁴⁹ инструменты.

Уже в двадцатый раз Александров перевешивался через массивные дубовые перила, заглядывая вниз в прихожую, застланную красным сукном, отыскивая своих дам, чтобы успеть помочь им раздеться. И вот наконец-то они. Пулею слетает Александров вниз. Но их только двое – Оля и Люба в сопровождении Петра Ивановича Боброва, какого-то молодого юриста, который живет у Синельниковых под видом дяди и почти никогда не показывается гостям. Он во фраке. На обеих девочках вязаные пышные капоры: на Оле голубой, на Любе розовый. Эти капоры новинка. Их только в нынешнем году начали носить в Москве, и они так же очаровательно идут к юным женским лицам, разряженным морозом, как шли когда-то шляпки глубокой кибиточкой, завязанной широкими лентами. Пахнет от девочек вкусно – арбузом, морозом, духами иланг-иланг, и мехом шубок, и свежим дыханием. Они поправляются перед огромным зеркалом и идут за Александровым Александровым наверх.

– А что же Юлия Николаевна? – спрашивает юнкер.

– Она очень жалеет, что не может быть у вас на балу. Она сегодня очень занята. Она поздравляет вас с праздником и велела передать вам вот этот сверток. Там подарок вам на память. Возьмите.

¹⁴⁹ Сурдинка – приспособление для приглушения звука музыкального инструмента (например, тромбона), насадка на трубы, скрипки и проч. *Под сурдинку* используется также в переносном значении – укрادкой, втихомолку, стараясь не привлекать к себе внимания.

Александров провожает дам в обширный зал. Оркестр нежно, вкрадчиво, заманчиво играет штраусовский вальс. Дамы Александрова производят сразу блистательное впечатление.

Юнкера, как пчелы, облепляют их.

У Александра остается свободная минутка, чтобы побежать в свою роту, к своему шкафчику. Там он разворачивает белую бумагу, в которую заворочена небольшая картонка. А в картонке на ватной постельке лежит фарфоровая голубоглазая куколка. Он ищет письмо. Нет, одна кукла. Больше ничего.

Он возвращается в зал. Ольга свободна. Он приглашает ее на вальс. Гибко, положив нагую руку на его плечо и слегка грациозно склонив голову, она отдается волшебному ритму вальса, легко кружась в нем. Глаза их на мгновение встречаются. В глазах ее томное упоение.

– Теперь я скажу вам о вашей Юлии, – шепчет она горячим и ароматным дыханием. – У нас сегодня помолвка. Юлия выходит замуж за Покорни.

И сам Александров удивляется своему спокойствию, с которым он встречает эту черную весть. Он таким же горячим шепотком говорит:

– Дай ей бог счастья. Но мне это все равно. Я давно уже и до смерти люблю вас, Оля.

И она отвечает, поправляя свои разбежавшиеся кудряшки:

– Ах! Если бы я могла этому верить!

И задорно смеется.

Глава VIII

Торжество

Прошло около двух месяцев со вступления Александра в белые стены училища. Хотя он еще долгое время, как юнкер младшего класса, будет носить общее прозвище «фараон» (старший курс – это господа обер-офицеры), но из него уже вырабатывается настоящий юнкер-александровец. Он всегда подтянут, прям, ловок и точен в движениях. Он гордится своим училищем и ревностно поддерживает его честь. Он бесповоротно уверен, что из всех военных училищ России, а может быть, и всего мира, Александровское училище самое превосходное. И это убеждение, кажется ему, разделяет с ним и вся Москва – Москва, которая так пристрастно и ревниво любит все свое, в пику чиновному и холодному Петербургу: своих лихачей¹⁵⁰, протодиаконов, певцов, актеров, кулачных бойцов, купцов, профессоров, певчих, поваров, архиереев и, конечно, своих стройных, молодых, всегда прекрасно одетых, вежливых юнкеров со Знаменки, с их чудесным, несравненным оркестром.

Живется юнкерам весело и свободно. Учиться совсем не так трудно. Профессора – самые лучшие, какие только есть в Москве. Искусство строевой службы доведено до блестящего совершенства, но оно не утомляет: оно граничит со спортивным соревнованием. Правда, его однообразие чуть-чуть прискучивает, но домашние парады с музыкой в огромном манеже на Моховой вносят и сюда некоторое разнообразие. А кроме того, строевое старание поддерживается далекой, сладкой, сказочной мечтой о царском смотре или царском параде. Каждому юнкеру втайне кажется несправедливостью судьбы, что государь живет не в Москве, а в Питере. Но об этом не говорят.

В октябре 1888 года по Москве разнесся слух о крушении царского поезда около станции Борки. Говорили смутно о злостном покушении. Москва волновалась. Потом

¹⁵⁰ Лихач – здесь: извозчик щегольского экипажа на резвой хорошей лошади, такой экипаж (устар.).

из газет стало известно, что катастрофа чудом обошлась без жертв. Повсюду служились молебны, и на всех углах ругали вслух инженеров с подрядчиками. Наконец пришли вести, что Москва ждет в гости царя и царскую семью: они приедут поклониться древним русским святыням.

Все эти слухи и вести проникают в училище. Юнкера сами не знают, чему верить и чему не верить. Как-то нелепо странно, как-то уродливо неправдоподобна мысль, что государю, вершинной, единственной точке той великой пирамиды, которая зовется Россией, может угрожать опасность и даже самая смерть от случайного крушения поезда. Значит, выходит, что и все существование такой необъятно большой, такой неизмеримо могучей России может зависеть от одного развинтившегося дорожного болта.

Утром, после переключки, фельдфебель Рукин читает приказ: «По велению государя императора встречающие его части Московского гарнизона должны быть выведены без оружия. По распоряжению коменданта г. Москвы войска выстроятся шпалерами в две шеренги от Курского вокзала до Кремля. Александровское военное училище займет свое место в Кремле от Золотой решетки до Красного крыльца. По распоряжению начальника училища батальон выйдет из помещения в 11 часов».

Ровно в полдень в центре Кремля, вдоль длинного и широкого дубового помоста, крытого толстым красным сукном, выстраиваются четыре роты юнкеров Третьего военного Александровского училища. Четыреста юношей в возрасте от восемнадцати до двадцати лет. Юнкер четвертой роты Алексей Александров стоит в первой шеренге. Царь пройдет мимо него в трех-четыре шагах, ясно видимый, почти осязаемый. Воображению Александра «царь» рисуется золотым, в готической короне, «государь» – ярко-синим с серебром, «император» – черным с золотом, а на голове шлем с белым султаном.

Ждут долго. Вывели за два часа, по необычайному случаю. Еще в училище свои портупей-юнкера и ротные офицеры осматривали каждого с заботливостью матери, отправляющей шестнадцатилетнюю дочь на первый бал. Теперь в Кремле нет-нет подойдет курсовой офицер, одернет складку шинели, поправит поясную медную бляху с изображением пылающей гранаты, надвинет еще круче на правый глаз круглую барашковую шапку с начищенным двуглавым орлом. Государь, конечно, все заметит своим сверхчеловеческим взором: и недотянутый конец башлыка, и неровно надетую шапку, и вздувшуюся складку. Заметит, но никому не скажет, только огорчится на александровцев. Сияет над Кремлем голубое холодное небо. Золото солнца расплескалось на соборных куполах, высоко кружатся голуби. Осенний запах. Ожидание не томит. Все радостно и легко возбуждены. Давно знакомые молодые лица кажутся совсем новыми; такими они стали свежими, ясными и значительными, разумянившись и похорошев в крепком осеннем воздухе.

В голове как шампанское. Скользит смутно одна опасливая мысль: так необыкновенно, так нетерпеливо волнуют эти счастливые минуты, что, кажется, вдруг перегоришь в ожидании, вдруг не хватит чего-то у тебя для самого главного, самого большого.

И вот какое-то внезапное беспокойство, какая-то быстрая тревога пробегает по расстроенным рядам. Юнкера сами выпрямляются и подтягиваются без команды. Ухо слышит, что откуда-то справа далеко-далеко раздастся и нарастает особый, до сих пор неразличимый шум, подобный гулу леса под ветром или прибою невидимого моря. Командуют «смирно». Выравнивают. Опять «смирно». Потом на минуту «вольно». Опять «смирно». Позволяют размять ноги, не передвигая ступней. Так без конца. Так бывает всегда на парадах. Но на этот раз из юнкеров никто не обижается.

Какими словами мог бы передать юнкер Александров это медленно наплывающее чудо, которое должно вскоре разрешиться бурным восторгом, это страстное

напряжение души, растущее вместе с приближающимся ревом толпы и звоном колоколов. Вся Москва кричит и звонит от радости. Вся огромная, многолюдная, крепкая старая царица Москва. Звонят и Благовещенский, и Успенский соборы, и Спас за решеткой, и, кажется, загремел сам Царь-колокол и загрохотала сама Царь-пушка! А когда в этот ликующий звуковой ураган вплетают свои веселые медные звуки полковые оркестры, то кажется, что слух уже пресыщен – что он не вместит больше. Но вот заиграл на правом фланге и их знаменитый училищный оркестр, первый в Москве. В ту же минуту в растворенных настежь сквозных золотых воротах, высясь над толпою, показывается царь. Он в светлом офицерском пальто, на голове круглая низкая барашковая шапка. Он величествен. Он заслоняет собою все окружающее. Он весь до такой степени исполнен нечеловеческой мощи, что Александров чувствует, как гнется под его шагами массивный дуб помоста. Царь все ближе к Александрову. Сладкий острый восторг охватывает душу юнкера и несет ее вихрем, несет ее ввысь. Быстрые волны озноба бегут по всему телу и приподнимают ежом волосы на голове. Он с чудесной ясностью видит лицо государя, его рыжеватую, густую, короткую бороду, соколиные размахи его прекрасных союзных бровей. Видит его глаза, прямо и ласково устремленные в него. Ему кажется, что в течение минуты их взгляды не расходятся. Спокойная, великая радость, как густой золотой песок, льется из его глаз.

Какие блаженные, какие возвышенные, навеки незабываемые секунды! Александрова точно нет. Он растворился, как пылинка, в общем многомиллионном чувстве. И в то же время он постигает, что вся его жизнь и воля, как жизнь и воля всей его многомиллионной родины, собралась, точно в фокусе, в одном этом человеке, до которого он мог бы дотянуться рукой, собралась и получила непоколебимое, единственное, железное утверждение. И оттого-то рядом с воздушностью всего своего существа он ощущает волшебную силу, сверхъестественную возможность и жажду беспредельного жертвенного подвига.

Около государя идет наследник. Александров знает, что наследник на целый год старше его, но рядом с отцом цесаревич кажется худеньким стройным мальчиком. Это сопоставление великолепного тяжкого мужского могущества с отроческой гибкой слабостью на мгновение пронизывает сердце юнкера теплой, чуть-чуть жалостливой нежностью.

Теперь он не упускает из вида спины государя, но острый взгляд в то же время щелкает своим верным фотографическим аппаратом. Вот царица. Она вовсе маленькая, но какая изящная. Она быстро кланяется головой в обе стороны, ее темные глаза влажны, но на губах легкая милая улыбка.

Видит он еще двух великих княжон. Одна постарше, другая почти девочка. Обе в чем-то светлом. У обеих из-под шляпок падают до бровей обрезанные прямой челочкой волосы. Младшая смеется, блестит глазами и зажимает уши: оглушительно кричат юнкера славного Александровского училища.

Но вот и проходит волшебное сновидение. Как чересчур быстро! У всех юнкеров бурное напряжение сменяется тихой счастливой усталостью. Души и тела приятно распускаются. Идут домой под звуки резвого, бодрого марша. Кто-то говорит в рядах: – Государь все время на меня глядел, когда проходил мимо. Я думаю, целых полминуты.

Другой отзывается:

– А на меня, пожалуй, целую минуту.

Александров же думает про себя: «Говорите, что хотите, а на меня царь глядел не отрываясь целых две с половиной минуты. И маленькая княжна взглянула смеясь. Какая она прелесть!»

Во дворе училища командир батальона, полковник Артабалеvский, он же Берди-Паша, задерживает на самое короткое время юнкеров в строю.

– Конечно, великое счастье узреть его императорское величество государя императора, всероссийского монарха. Однако никак нельзя высовывать вперед головы и разрознивать этим равнение... Государь пожаловал нам два дня отдыха. Ура его императорскому величеству!

Глава IX

Свой дом

Проходят дни, проходят недели... Юнкер четвертой роты, первого курса Третьего военного Александровского училища Александров понемногу, незаметно для самого себя, втягивается в повседневную казарменную жизнь, с ее точным размеренным укладом, с ее внутренними законами, традициями и обычаями, с привычными, давнишними шутками, песнями и проказами. Недавняя торжественная присяга как бы стерла с молодых фараонов последние следы ребяческого, полуштатского кадетства, а парад в Кремле у Красного крыльца объединил всех юнкеров в духе самоуверенности, военной гордости, радостной жертвенности, и уже для него училище делалось «своим домом», и с каждым днем он находил в нем новые маленькие прелести. Разрешалось курить в свободное время между занятиями. Для этого в каждой роте полагалась отдельная курилка: признание юнкерской зрелости. После обеда можно было посылать служителя за пирожными в соседнюю булочную Савостьянова. Из отпуска нужно было приходить секунда в секунду, в восемь с половиной часов, но стоило заявить о том, что пойдешь в театр, – отпуск продолжается до полуночи. По большим праздникам юнкеров, оставшихся в училище, часто возили в цирк, в театр и на балы. Отношения с начальством утверждались на правдивости и широком взаимном доверии. Любимчиков не было, да их и не потерпели бы. Случались офицеры слишком строгие, придирчивые трынчики, слишком скорые на большие взыскания. Их терпели как божью кару и травили в ядовитых песнях. Но никогда ни один начальник не решался закричать на юнкера или оскорбить его словом. Тут щетинилось все училище. Помещение училища (бывшего дворца богатого вельможи) было, пожалуй, тесновато для четырехсот юнкеров в возрасте от восемнадцати до двадцати лет и для всех их потребностей. В середине полутораэтажного здания училища находился большой, крепко утрамбованный четырехугольный учебный плац. Со всех сторон на него выходили высокие крылья четырех ротных помещений. Впоследствии Александрова часто удивляла и даже порою казалась невероятной вместительность и емкость училищного здания, казавшегося снаружи таким скромным. Между третьей и четвертой ротами вмещался обширный сборный зал, легко принимавший в себя весь наличный состав училища, между первой и второй ротами – восемь аудиторий, где читались лекции, и четыре большие комнаты для репетиций. В верхнем этаже были еще: домашняя церковь, больница, химическая лаборатория, баня, гимнастический и фехтовальный залы.

В нижнем полуэтаже жил офицерский состав: холостые с денщиками, женатые с семьями и прислугой, четверо ротных командиров, инспектор классов, батальонный командир, начальник училища, батальонный адъютант, священник с причтом¹⁵¹, доктор

¹⁵¹ Причт – состав лиц, служащих при какой-либо одной церкви (приходе).

с фельдшерами. Была, конечно, и многолюдная канцелярия. Но никто не знал, где она находится. Также неизвестно было юнкерам, где и как существуют люди, обслуживающие их жизнь: все эти прачки, полотеры, музыканты, ламповщики, служители, портные, дворники, швейцары, истопники и повара. Вследствие такого обилия людей всюду чувствовалась некоторая сжатость. Учить лекции и делать чертежи приходилось в спальне, сидя боком на кровати и опираясь локтями наясеневый шкафчик, где лежали обувь и туалетные принадлежности. По ночам тяжело было дышать, и приходилось открывать форточки на улицу. Но – пустяки! Все переносила весело крепкая молодежь, и лазарет всегда пустовал, разве изредка – ушиб или вытяжение жилы на гимнастике, или, еще реже, такая болезнь, о которой почему-то не принято говорить.

Как всегда во всех тесных общежитиях, так и у юнкеров не переводился – большей частью невинный, но порою и жестокий – обычай давать летучие прозвища начальству и соседям. К этой языкатой травле очень скоро и приучился Александров.

Первая рота, которая нарочно подбиралась из молодежи высокого роста и выдающейся стройности, носила официальное название роты его императорского величества и в отличие от других имела серебряный вензель на мундирных погонах. Упрощенный ее титул был: «жеребцы его величества».

Ею командовал капитан Алкалаев-Калагеоргий, но юнкера как будто и знать не хотели этого старого боевого громкого имени. Для них он был только Хухрик, а немного презрительнее – Хухра.

Никто из всех юнкеров училища не сумел бы объяснить, что означает это загадочное слово – Хухрик: маленького ехидного зверька, или мех, или какое-то колючее растение, или злотворный настой, или особую болезнь вроде чирья. Однако с этим прозвищем была связана маленькая легенда. Однажды батальон Александровского училища на пробном маневре совершал очень длинный и тяжелый переход. Юнкера со скатанными шинелями и с ранцами с полной выкладкой, шанцевым инструментом и частями разборных палаток чуть не падали от зноя, усталости и жажды. Запотелые их лица, густо покрытые черноземной мягкой пылью, были черны, как у негров, и так же, как у негров, блестели на них покрасневшие глаза и сверкали белые крепкие зубы.

Наконец-то долгожданный привал. «Стой. Составь ружья. Оправиться!» – раздается в голове колонны команда и передается из роты в роту. Богатая подмосковная деревня. Зелень садов и огородов, освежающая близость воды. Крестьянские бабы и девушки высыпают на улицу и смеются. Охотно таскают воду из холодного колодца, дают юнкерам вволю напиться; льют и плескают воду им на руки, обмыть горячие лица и грязные физиономии. Притащили яблок, слив, огурцов, сладкого гороха, суют в руки и карманы. Веселый смех, непринужденные шутки и прикосновения. Всегдашняя извечная сказочная симпатия к солдату и жалость к трудности его подневольной службы.

– И как это вы, бедные солдатики, страдаете? Жарища-то, смотри, кака адова, а вы в своей кислой шерсти, и ружья у вас аки тяжеленные. Нам не вподъем. На-ко, на-ко, солдатик, возьми еще яблочко, полегче станет.

Конечно, эта ласка и «жаль» относилась большей частью к юнкерам первой роты, которые оказывались и ростом поприметнее и наружностью покраше. Но командир ее Алкалаев почему-то вознегодовал и вскипел. Неизвестно, что нашел он предосудительного в свободном ласковом обращении веселых юнкеров и развязных крестьянок на открытом воздухе, под пылающим небом: нарушение ли какого-нибудь параграфа военного устава или порчу моральных устоев? Но он заштитился и забубнил:

– Сейчас же по местам, юнкера. К винтовкам. Стоять вольно-а, рядов не разравнивать!

– Таратов, чему вы смеетесь? Лишнее дневальство! Фельдфебель, запишите!

Потом он накинулся было на ошалевших крестьянок.

– Чего вы тут столпились? Чего не видали? Это вам не балаган. Идите по своим делам, а в чужие дела нечего вам соваться. Ну, живо, кыш-кыш-кыш!

Но тут сразу взъерепенилась крепкая, красивая, румяная сквозь веснушки, языкатая бабенка:

– А тебе что нужно? Ты нам что за генерал? Тоже кышкает на нас, как на кур! Ишь ты, хухрик несчастный! – И пошла, и пошла... до тех пор, пока Алкалаев не обратился в позорное бегство. Но все-таки метче и ловче словечка, чем «хухрик», она в своем обширном словаре не нашла. Может быть, она вдохновенно родила его тут же на месте столкновения?

«И в самом деле, – думал иногда Александров, глядя на случайно проходившего Калагеоргия. – Почему этому человеку, худому и длинному, со впадинами на щеках и на висках, с пергаментным цветом кожи и с навсегда унылым видом, не пристало бы так клейко какое другое прозвище? Или это свойство народного языка, мгновенно изобретать такие ладные словечки?»

Курсовыми офицерами в первой роте служили Добронравов и Рославлев, поручики. Первый почему-то казался Александрову похожим на Добролюбова, которого он когда-то пробовал читать (как писателя запрещенного), но от скуки не дотянул и до четверти книги. Рославлев же был увековечен в прощальной юнкерской песне, являвшейся плодом коллективного юнкерского творчества, таким четверостишием:

Прощай, Володька, черт с тобою,
Развратник, пьяница, игрок.
Недаром дан самой судьбою
Тебе хронический порок.

Этот Володька был велик ростом и дороден. Портили его массивную фигуру ноги, расходившиеся в коленях наружу, иксом. Рассказывали про него, что однажды он, на пьяное пари, остановил ечкинскую тройку на ходу, голыми руками. Он был добр и не придирчив, но симпатиями у юнкеров не пользовался. Из ложного молодечества¹⁵² и чтобы подольститься к молодежи, он часто употреблял грязные, похабные выражения, а этого юнкера в частном обиходе не терпели, допуская непечатные слова в прощальную песню, называвшуюся также звериадой. Надо сказать, что это заглавие было плагиатом. Оно какими-то неведомыми путями докатилось в белый дом на Знаменке из Николаевского кавалерийского училища, где существовало со времен лермонтовского юнкерства.

Московская звериада вдохновлялась музою хромой и неизобретательной, домашняя же ее поэзия была суковатая...

Володька Рославлев прервал свою начальственно-педагогическую деятельность перед Японской войною¹⁵³, поступив в московскую полицию.

Вторую роту звали «зверьями». В нее как будто специально поступали юноши крепко и широко сложенные, также рыжие и с некоторою корявостью. Большинство носило усики, усы и даже усищи. Была и молодежь с короткими бородами (времена были Александра Третьего).

Отличалась она серьезностью, малой способностью к шутке и какой-то (казалось Александрову) нелюдимостью. Но зато ее юнкера были отличные фронтовики, на

¹⁵² Молодечество – удаль, отвага, смелость.

¹⁵³ Имеется в виду Русско-японская война 1904–1905 гг., война между Российской и Японской империями за контроль над Маньчжурией и Кореей.

парадах и батальонных учениях держали шаг твердый и тяжелый, от которого сотрясалась земля. Командовал ею капитан Клоченко, ничем не замечательный, аккуратный службист, большой, морковно-рыжий и молчаливый. Звериада ничего не могла про него выдумать острого, кроме следующей грубой и мутной строфы:

Прощай, Клоченко, рыжий пес,
С своею рожею ехидной.
Умом до нас ты не дорос,
Хотя мужчина очень видный.

Почему здесь состязание в умах – непонятно. А ехидности в наружности Клоченки никакой не наблюдалось. Простое, широкое, голубоглазое (как часто у рыжих) лицо примерного армейского штаб-офицера, с привычной сллужебной скукой и со спокойной холодной готовностью к исполнению приказаний.

Курсовым офицером служил капитан Страдовский, по-юнкерски – Страделло, прибывший в училище из императорских стрелков. Был он всегда добр и ласково-весел, но говорил немного. Напуск на шароварах доходил у него до сапожных носков. Был он мал ростом, но во всем Московском военном округе не находилось ни одного офицера, который мог бы состязаться со Страдовским в стрельбе из винтовки. К тому же он рубился на эскадронах¹⁵⁴, как сам пан Володыевский из романа «Огнем и мечом» Генриха Сенкевича¹⁵⁵, и даже его малорослость не мешала ему побеждать противников. Уже одного из этих богатых даров достаточно было бы, чтобы приобрести молчаливую любовь всего училища.

Третья рота была знаменная. При ней числилось батальонное знамя. На смотрах, парадах, встречах, крещенском водосвятии и в других торжественных случаях оно находилось при третьей роте. Обыкновенно же оно хранилось на квартире начальника училища.

Знаменная рота всегда на виду, и на нее во время торжеств устремляются зоркие глаза высшего начальства. Потому-то она и составлялась (особенно передняя шеренга) из юношей с наиболее красивыми и привлекательными лицами. Красивейший же из этих избранных красавцев, и непременно портупей-юнкер, имел высочайшую честь носить знамя и называться знаменщиком. В том году, когда Александров поступил в училище, знаменщиком был Кениг, его однокорпусник, старше его на год.

В домашнем будничном обиходе третья рота называлась «мазочки» или «девочки». Ею уже давно командовал капитан Ходнев, неизвестно когда, чем и почему прозванный Варварой, – смуглый, черноволосый, осанистый офицер, никогда не смеявшийся, даже не улыбнувшийся ни разу; машина из стали, заведенная однажды на всю жизнь, человек без чувств, с одним только долгом. Говорил он четким, приятного тембра баритоном и заметно в нос. Ни разу никто не видел его сердитым, и ни разу он не повысил голоса. Передавал ли он, по обязанности, похвалу юнкеру, или наказывал его – все равно, тон Варвары звучал одинаково точно и бесстрастно. Его не то чтобы боялись, но никому и в голову не приходило послушаться его одного стального, магнетического взора. Таких вот людей умел живописать краткими резкими штрихами покойный Виктор Гюго¹⁵⁶. И юнкера в своей звериаде, по невольному чутью, сдержали обычную словоохотливость.

¹⁵⁴ Эскадрон – колющее и рубящее клинковое холодное оружие, разновидность сабли.

¹⁵⁵ Сенкевич Генрих (Генрик) (1846–1916) – польский писатель, лауреат Нобелевской премии 1905 года.

¹⁵⁶ Гюго Виктор Мари (1802–1885) – французский писатель.

Прощай, Варвара-командир,
Учитель правил и сноровок,
Теперь надели мы мундир,
Не надо нам твоих муштровок.

Из курсовых офицеров третьей роты поручик Темирязов, красивый, стройный светский человек, был любимцем роты и всего училища и лучше всех юнкеров фехтовал на рапирах. Впрочем, и с самим волшебником эскрима, великим Пуарэ, он нередко кончал бой с равными количествами очков.

Но другой курсовой представлял собою какое-то печальное, смешное, вздорное и случайное недоразумение. Он был поразительно мал ростом, гораздо меньше самого левофлангового юнкера четвертой роты, и притом коротконог. В довершение он был толст, и шея у него сливалась с подбородком. Благодаря тесному мундиру лицо его имело багрово-красный цвет. Фамилия его была хорошая и очень известная в Москве – Дубышкин. Но вот он и остался навеки Пупом, и даже в звериаде о нем не было упомянуто ни слова. С него достаточно было одного прозвища – Пуп.

Пуп не был злым, а скорее мелким по существу. Но был он необычайно, непомерно для своего ничтожного роста вспыльчив и честолюбив. Говоря с начальством или сердясь на юнкеров, он совсем становился похожим на индюка: так же он надувался, краснел до лилового цвета, шипел и, теряя волю над словом, болботал путаную ерунду. В те дни, когда Александров учился на первом курсе, у всех старых юнкеров пошла повальная мода пускать Пупу ракету. Кто-нибудь выдумывал смешную глупость, например:

«Когда я был маленьким, я спал в папашинной галоше», или: «Ваше превосходительство, юнкер Пистолетов носом застрелился», или еще: «Решительно все равно: что призма и что клизма – это все из одной мифологии» и т. д. Этот вздор автор громко выкрикивал, подражая индюшечьему голосу Дубышкина, и тотчас же принимался со всей силой легких выдувать сплошной шипящий звук. Полагалось, что это взлетела ракета, а чтобы ее лёт казался еще правдоподобнее, пиротехник тряс перед губами ладонью, заставляя звук вибрировать. Наконец, достигнув предельной высоты, ракета громко взрывалась: «Пуп!»

Надо сказать, что этот злой фейерверк пускался всегда с таким расчетом, чтобы Пуп его услышал. Он слышал, злился, портил себе кровь и характер, и, в сущности, нельзя было понять, за что взрослые балбесы травят несчастного смешного человека.

Четвертая рота, в которой имел честь служить и учиться Александров, звалась... то есть она называлась... ее прозвание, за малый рост, было грубо по смыслу и оскорбительно для слуха. Ни разу Александров не назвал его никому постороннему, ни даже сестрам и матери. Четвертую роту звали... «блохи». Кличка несправедливая: в самом малорослом юнкере было все-таки не меньше двух аршин с четырьмя вершками¹⁵⁷.

Но существует во всей живущей, никогда не умирающей мировой природе какой-то удивительный и непостижимый закон, по которому заживают самые глубокие раны, срастаются грубо разрубленные члены, проходят тяжкие инфекционные болезни, и, что еще поразительнее, – сами организмы в течение многих лет вырабатывают средства и орудия для борьбы со злейшими своими врагами.

Не по этому ли благодетельному инстинктивному закону четвертая рота Александровского училища с незапамятных времен упорно стремилась перегнать прочие роты во всем, что касалось ловкости, силы, изящества, быстроты, смелости и неутомимости. Ее юнкера всегда бывали первыми в плавании, в верховой езде, в прыганье через препятствия, в беге на большие дистанции, в фехтовании на рапирах и

¹⁵⁷ Аршин, вершок – старорусские единицы измерения длины: 1 аршин = 71,12 см, вершок = 4,445 см. Рост, о котором идет речь, составляет приблизительно 160 см.

эспадронах, в рискованных упражнениях на кольцах и турниках и в подтягивании всего тела вверх на одной руке. И надо еще сказать, что все они были страстными поклонниками циркового искусства и нередко почти всей ротой встречались в субботу вечером на градене цирка Соломонского, что на Цветном бульваре. Их тянули к себе, восхищали и приводили в энтузиазм те необычайные акробатические трюки, которые на их глазах являлись чудесным преодолением как земной тяжести, так и инертности человеческого тела.

Ближайшее ротное начальство относилось к этому увлечению высшей гимнастикой не с особенным восторгом. Дрозд всегда опасался того, что от злоупотребления ею бывают неизбежные ушибы, полумы, вывихи и растяжения жил. Курсовой офицер Николай Васильевич Новоселов, прозванный за свое исключительное знание всевозможных военных указов, наказов и правил Уставчиком, ворчал недовольным голосом, созерцая какую-нибудь «чертову мельницу»: «И зачем? И для чего? В наставлении об обучении гимнастике ясно указаны все необходимые упражнения. А военное училище вам не балаган, и привилегированные юнкера – вовсе не клоуны». Второй курсовой офицер Белов только покачивал укоризненно головой, но ничего не говорил. Впрочем, он всегда был молчалив. Он вывез с Русско-турецкой войны свою жену, болгарку – даму неопишуемой, изумительной красоты. Юнкера ее видели очень редко, раза два-три в год, не более, но все поголовно и молча преклонялись перед нею. Оттого и личность ее супруга считалась неприкосновенной, окруженной чарами всеобщего табу.

К толстому безмолвному Белову не прилипло ни одно прозвище, а на красавицу, по общему неписаному и несказанному закону, положено было долго не засматриваться, когда она проходила через плац или по Знаменке. Также запрещалось и говорить о ней. Рыцарские обычаи.

Глава X

Вторая любовь

Конечно, самый главный, самый волнующий визит новоиспеченного юнкера Александра предназначался в семью Синельниковых, которые давно уже переехали с летней дачи в Москву, на Гороховую улицу, близ Земляного вала, в двух шагах от крашенного в фисташковый цвет Константиновского межевого института. Давно влюбленное сердце юноши горело и нетерпеливо рвалось к ней, к волоокой богине, к несравненной, единственной, прекрасной Юленьке. Показать перед нею не жалким мальчиком-кадетом, в неуклюже пригнанном пальто, а стройным, ловким юнкером славного Александровского училища, взрослым молодым человеком, только что присягнувшим под батальонным знаменем на верность вере, царю и отечеству, – вот была его сладкая, тревожная и боязливая мечта, овладевавшая им каждую ночь перед падением в сон, в те краткие мгновенья, когда так рельефно встает и видится недавнее прошлое...

Белые замшевые тугие перчатки на руках; барашковая шапка с золотым орлом лихо надвинута на правую бровь; лакированные блестящие сапоги; холодное оружие на левом боку; отлично сшитый мундир, ладно, крепко и весело облегающий весь корпус; белые погоны с красным витым вензелем «А II»; золотые широкие галуны; а главное – инстинктивное сознание своей восемнадцатилетней счастливой ловкости и легкости и той самоуверенной жизнерадостности, перед которой послушно развертывается весь мир, – разве все эти победоносные данные не тронут, не смягчат сердце суровой и холодной красавицы?.. И все-таки он с невольной ребяческой робостью отдалял и отдалял день и час свидания с нею.

Он до сих пор не мог ни понять, ни забыть спокойных деловых слов Юленьки в момент расставания, там, в Химках, в канареечном уголку между шкафом и пианино, где они так часто и так подолгу целовались и откуда выходили потом с красными пятнами на лицах, с блестящими глазами, с порывистым дыханием, с кружащейся головой и с растрепанными волосами.

Прощаясь, она отвела его руку и сказала голосом наставницы:

– Забудем эти глупые шалости летнего сезона. Теперь мы обое стали большими и серьезными.

И, протягивая ему руку, она сказала:

– Останемся же добрыми друзьями.

Но почему же этот жестокий, оскорбительный удар был так непредвиденно внезапен? Еще три дня назад, вечером, они сидели в густой пахучей березовой роще, и она сказала тихо:

– Тебе так неудобно. Положи голову мне на колени.

Ах, никогда в жизни он не позабудет, как его щека ощутила шершавое прикосновение тонкого и теплого молдаванского полотна и под ним мраморную гладкость крепкого женского бедра. Он стал целовать сквозь материю эту мощную и нежную ногу, а Юлия, точно в испуге, горячо и быстро шептала:

– Нет... Так не надо... Так нельзя.

И в это время гладила ему волосы и прижимала его губы к своему телу.

А разве может когда-нибудь изгладиться из памяти Александра, как иногда, во время бешено крутящегося вальса, Юлия, томно закрывши глаза, вся приникала вплотную к нему, и он чувствовал через влажную рубашку живое, упругое прикосновение ее крепкой девической груди и легкое щекотание ее маленького твердого соска... О, волшебная власть воспоминаний! А теперь Юлия говорит, точно старая дева, точно классная учительница: «Ах, будемте друзьями». В знойный день человек изнывает от жары и жажды. Губы, рот и гортань у него засохли. А ему вдруг вместо воды дают совет: положи камешек в рот, это обманывает жажду.

Но почему же это отчуждение и этот спокойный холод? Это благоразумие из прописи? Может быть, он надоел ей? Может быть, она влюбилась в другого? Может быть, и в самом деле Александров был для нее только дразнящей летней игрушкой, тем, что теперь начинает называться странным чужим словом – флирт? И, вероятно, никогда бы она не согласилась выйти замуж за пехотного офицера, у которого, кроме жалованья – сорок три рубля в месяц, – нет больше решительно никаких доходов. Правда, она прогнала от себя долговязого, быстроногого Покорни, но мало ли еще в Москве богатых женихов, и вот, в ожидании одного из них, она решила сразу прекратить полуневинную, полудетскую забаву.

Но может быть и то, что мать трех сестер Синельниковых, Анна Романовна, очень полная, очень высокая и до сих пор еще очень красивая дама, узнала как-нибудь об этих воровских поцелуйчиках и задала Юленьке хорошую нахлобучку? Недаром же она в последние химкинские дни была как будто суха с Александровым: или это только теперь ему кажется?

Конечно, всего скорее могла донести матери младшая дочка, четырнадцатилетняя лупоглазая Любочка, большая егоза и ябедница, шантажистка и вымогательница. Зоркие ее глаза видели сквозь стены, а с ней, как с «маленькой», мало стеснялись. Когда старшие сестры не брали ее с собой на прогулку, когда ей необходимо было выпросить у них ленточку, она, устав клянчить, всегда прибегала к самому ядовитому приему: многозначительно кивала головой, загадочно чмокала языком и говорила протяжно:

– Хо-ро-шо же. А я маме скажу.

– Что ты скажешь, дура? Никто тебе не поверит. Мы сами скажем, что ты с гимназистом Чулковым целовалась в курятнике.

– И никто вам не поверит, потому что я маленькая, а мне все поверят, потому что устами младенцев сама истина глаголет... Что, взяли?

В конце концов она добивалась своего: получала пяточок и ленту и, сучая, тащилась за сестрами по пыльной дороге.

Вот эта-то стрекоза и могла наболтать о том, что было, и о том, чего не было. Но какой стыд, какой позор для Александра! Воспользоваться дружбой и гостеприимством милой, хорошей семьи, уважаемой всей Москвой, и внести в нее потаенный разврат...

Нет, уж теперь к Синельниковым нельзя и глаз показать и даже квартиру их на Гороховой надо обегать большим крюком, подобно неудачливому вору.

И как же удивлен, потрясен и обрадован был юнкер Александров, когда в конце октября он получил от самой Анны Романовны письмецо такого крошечного размера, который заставил невольно вспомнить о ее рыхлом тучном теле.

«Дорогой Алексей Николаевич (не решаюсь назвать Алешей юнкера Александровского училища, где, кстати, имел счастье учиться покойный муж). Что вы забыли ваших старых друзей? Приходите в любую субботу, и лучше всего в ближнюю. Мы живем по-прежнему на Гороховой. Девочки мои по вас соскучились. Можете привести с собой двух, трех товарищей; чем больше, тем лучше. Потанцуете, попоете, поиграете в разные игры... Ждем.

P. S. К 7-ми – 7-ми с пол. час...»

Не без труда удалось Александрову получить согласие у двух товарищей: каждый юнкер дорожил семейным субботним обедом и домашним вечером. Согласились только: его отделенный начальник, второкурсник Андриевич, сын мирового судьи на Арбате, в семье которого Александров бывал не раз, и новый друг его Венсан, полуфранцуз, но по внешности и особенно по горбтому храброму носу – настоящий бордосец; он прибыл в училище из третьего кадетского корпуса и стоял в четвертой роте правофланговым. Ходил он в отпуск к мачехе, которую терпеть не мог.

В субботу юнкера сошлись на Покровке, у той церкви с короною на куполе, где венчалась императрица Елизавета с Разумовским. Оттуда до Гороховой было рукой подать.

Александров начал неловко чувствовать себя, чем-то вроде антрепренера или хлопотливого дальнего родственника. Но потом эта мнительность стерлась, отошла сама собою. Была какая-то особенная магнетическая прелесть и неизъяснимая атмосфера общей влюбленности в этом маленьком деревянном уютном домике. И все женщины в нем были красивы; даже часто менявшиеся и всегда веселые горничные. Подавали на стол, к чаю, красное крымское вино, тартинки¹⁵⁸ с маслом и сыром, сладкие сухари. Играл на пианино все тот же маленький, рыжеватый, веселый Панков из консерватории, давно сохнувший по младшей дочке Любе, а когда его не было, то заводили механический музыкальный ящик «Монопан» и плясали под него. В то время не было ни одного дома в Москве, где бы не танцевали при всяком удобном случае, до полной усталости.

Дом Синельниковых стал часто посещаться юнкерами. Один приводил и представлял своего приятеля, который в свою очередь тащил третьего. К барышням приходили гимназические подруги и какие-то дальние московские кузины, все хорошенькие, страстные танцорки, шумные, задорные пересемешницы, бойкие на язык, с блестящими

¹⁵⁸ Тартинка – одна из разновидностей бутербродов. Они должны быть маленькими – «на один зуб».

глазами, хохотушки. Эти субботние непринужденные вечера пользовались большим успехом.

Так, часто в промежутках между танцами играли в *petits jeux*, в фанты, в свои соседи, в почту, в жмурки, в «барыня прислала», в «здравствуйте, король» и в прочие.

Величественная Анна Романовна почти всегда присутствовала в зале, сидя в большом вольтеровском кресле и грея ноги в густой шерсти умного и кроткого сенбернара Вольфа. Точно с высоты трона, она следила за молодежью с благосклонной поощрительной улыбкой. Ее старшая дочь Юлия была поразительно на нее похожа: и красивым лицом, и большим ростом, и даже будущей склонностью к полноте. Конечно, Александров все еще продолжал уверять себя в том, что он до сих пор влюблен безнадежно в жестокую и что молодое сердце его разбито навсегда.

Но ему уже не удавалось порой обуздывать свою острую и смешливую наблюдательность. Глядя иногда поочередно на свою богиню и на ее мать и сравнивая их, он думал про себя: «А ведь очаровательная Юленька все толстеет и толстеет. К двадцати годам ее уже разнесет, совсем как Анну Романовну. Воображаю, каково будет положение ее мужа, если он захочет ласково обнять ее за талию и привлечь к себе на грудь. А руки-то за спиной никак не могут сойтись. Положение!»

Правда, Александров тут же ловил себя с раскаянием на дурных и грубых мыслях. Но он уже давно знал, какие злые, нелепые, уродливые, бесстыдные, позорные мысли и образы теснятся порою в уме человека против его воли.

Но от прошлого он никак не мог отвязаться. Ведь любила же его Юленька... И вдруг в один миг все рухнуло, все пошло прахом, бедный юнкер остался в одиночестве среди просторной и пустой дороги, протягивая руку, как нищий, за подаванием.

Временами он все-таки дерзал привлечь к себе внимание Юленьки настоящей услужливостью, горячим пожатием руки в танцах, молящим влюбленным взглядом, но она с обидным спокойствием точно не замечала его; равнодушно отходила от него прочь, прерывала его робкие слова громким разговором с кем-нибудь совсем посторонним.

Однажды, когда играли в почту, он послал ей в Ялту краткую записочку:

«Неужели вы забыли, как я обнимал ваши ноги и целовал ваши колени там, далеко в прекрасной березовой роще?» Она развернула бумажку, вскользь поглядела на нее и, разорвав на множество самых маленьких кусочков, кинула, не глядя, в камин. Но со следующей почтой он получил письмецо из города Ялты в свой город Кинешму.

Быстрым мелким четким почерком в нем были написаны две строки:

«А вы забыли ту березовую кашу¹⁵⁹, которой вас в детстве потчевали за глупость и дерзость?»

Тут с окончательной ясностью понял несчастный юнкер, что его скороспешному любовному роману пришел печальный конец. Он даже не обиделся на прозрачный намек на розги. Поймав случайный взгляд Юленьки, он издал серьезно и покорно склонил голову в знак послушания. А когда гости стали расходиться, он в передней улучил минутку, чтобы подойти к Юленьке и тихо сказать ей:

– Вы правы. Я сам вижу, что надоел вам своим приставанием. Это было бестактно.

Лучше уже маленькая дружба, чем большая, но лопнувшая любовь.

– Ну вот и умница, – сказала она и крепко пожала своей прекрасной большой, всегда прохладной рукой руку Александрова. – И я вам буду настоящим верным другом.

В следующую субботу он пришел к Синельниковым совсем выздоровевшим от первой любви. Он думал: «А не влюбиться ли мне в Оленьку или в Любочку? Только в какую из двух?»

¹⁵⁹ Березовая каша – розги, которыми наказывали за провинности.

И в тот же вечер этот господин Сердечкин начал строить куры¹⁶⁰ поочередно обеим барышням, еще не решивши, к чьим ногам положит он свое объемистое сердце. Но эти маленькие девушки, почти девочки, уже умели с чисто женским инстинктом невинно кокетничать и разбираться в любовной вязи. На все пылкие подходы юнкера они отвечали:

– Нет уж, пожалуйста! Все эти ваши комплименты, и рыцарства, и ухаживанья, все это, пожалуйста, обращайтесь к Юленьке, а не к нам. Слишком много чести!

Глава XI Свадьба

Приходит день, когда Александров и трое его училищных товарищей получают печатные бристолевские карточки с приглашением пожаловать на бракосочетание Юлии Николаевны Синельниковой с господином Покорни, которое последует такого-то числа и во столько-то часов в церкви Константиновского межевого института. Свадьба как раз приходилась на отпускной день, на среду. Юнкера с удовольствием поехали.

Большая Межевая церковь была почти полна. У Синельниковых, по их покойному мужу и отцу, полковнику генерального штаба, занимавшему при генерал-губернаторе Владимире Долгоруком очень важный пост, оказалось в Москве обширное и блестящее знакомство. Обряд венчания происходил очень торжественно: с певчими из капеллы Сахарова, со знаменитым протодиакон Успенского собора Юстовым и с полным ослепительным освещением, с нарядной публикой.

Под громкое радостное пение хора «Гряди, гряди, голубица от Ливана» Юлия, в белом шелковом платье, с огромным шлейфом, который поддерживали два мальчика, покрытая длинной сквозной фатою, не спеша, величественно прошла к амвону. Ее сопровождал гул восхищения. Своим шафером¹⁶¹ она выбрала представительного, высокого Венсана, и Александров сам не знал: обижаться ли ему на это предпочтение, или, наоборот, благодарить невесту за ту деликатность, с которой она избавила его от лишних мучений ревности. Только почему же Венсан еще накануне не уведомил о чести, которой удостоился? Надо будет сказать ему, что это – свинство.

Громадный протодиакон с необыкновенно пышными завитыми рыжими волосами трубил нечеловечески густым, могучим и страшным голосом: «Жена же да убоится му-у-ужа...» – и от этих потрясающих звуков дрожали и звенели хрустальные призмочки люстр и чесалась переносица, точно перед чиханьем. Молодых водили в венцах вокруг аналоя с пением «Исаия ликуй: се дева име во чреве»; давали им испить вино из одной чаши, заставили поцеловаться и обменяться кольцами. Много раз священник и протодиакон упомянули о чреве, рождении и обильном многоплодии. Служба шла в быстром, оживленном, веселом темпе.

Александров стоял за колонкой, прислонясь к стене и скрестив руки на груди по-наполеоновски. Он сам себе рисовался пожилым, много пережившим человеком, перенесшим тяжелую трагедию великой любви и ужасной измены. Опустив голову и нахмутив брови, он думал о себе в третьем лице: «Печать невыразимых страданий лежала на бледном челе несчастного юнкера с разбитым сердцем»...

Когда венчание окончилось и приглашенные потянулись поздравить молодых, несчастный юнкер столкнулся с Ольгой и спросил ее:

– А что, Ольга Николаевна, хотели бы вы быть на месте Юленьки?

¹⁶⁰ Строить куры – уделять внимание представителям противоположного пола, ухаживать, флиртовать.

¹⁶¹ Шафер – лицо, состоящее при женихе или невесте в свадебной церемонии и держащее венцы над их головами при церковном обряде венчания.

Она заиграла лукавыми, темными глазами.

– Ну уж, благодарю вас. Покорни вовсе не герой моего романа.

– Ах, я не то хотел сказать, – поправился Александров. – Но венчание было так великолепно, что любая барышня позавидовала бы Юленьке.

– Только не я, – и она гордо вздернула кверху розовый короткий носик. – В шестнадцать лет порядочные девушки не думают о замужестве. Да и, кроме того, я, если хотите знать, принципиальная противница брака. Зачем стеснять свою свободу? Я предпочитаю пойти на высшие женские курсы и сделаться ученой женщиной.

Но ее влажные коричневые глаза, с томно-синеватыми веками, улыбались так задорно, а губы сжались в такой очаровательный красный морщинистый бутон, что Александров, наклонившись к ее уху, сказал шепотом:

– И все это – неправда. И никогда вы не пойдете копытиться на курсах. Вы созданы богом для кокетства и для любви, на погибель всем нам, вашим поклонникам.

Пользуясь теснотой, он отыскал ее мизинец и крепко пожал его двумя пальцами. Она, блеснув на него глазами, убрала свою руку и шепнула ему: кш! – как на курицу.

Александров поздравил новобрачных, стоявших в левом приделе. Рука Юленьки была холодна и тяжела, а глаза казались усталыми.

Но она крепко пожалала его руку и слегка, точно жалобно, улыбнулась.

Покорни весь сиял; сиял от напояженного пробора до лакированных ботинок; сиял новым фракком, ослепительно белым широким пластроном, золотом запонок, цепочек и колец, шелковым блеском нового шапокляка. Но на взгляд Александрова он, со своею долговязостью, худобой и неуклюжестью, был еще непригляднее, чем раньше, летом, в простом дачном пиджачке. Он крепко ухватил руку юнкера и начал ее качать, как насос.

– Спасибо, мерси, благодарю! – говорил он, захлебываясь от счастья. – Будем снова добрыми старыми приятелями. Наш дом будет всегда открыт для вас.

А Анна Романовна, разрядившаяся ради свадьбы, как царица Савская¹⁶², и похорошевшая, казавшаяся теперь старшей сестрой Юленьки, пригласила любезно:

– Прямо из церкви зайдите к нам, закусить чем бог послал и выпить за новобрачных. И товарищей позовите. Мы звать всех не в состоянии: очень уж тесное у нас помещение; но для вас, милых моих александровцев, всегда есть место. Да и потанцуете немножко. Ну, как вы находите мою Юленьку? Право, ведь недурна?

Александров вздохнул шумно и уныло.

– Вы спрашиваете – не дурна ли? А я хотел бы узнать, кто и где видел подобную совершенную красоту?

– О, какой рыцарский комплимент! Мсье Александров, вы опасный молодой мужчина...

Но, к сожалению, из одних комплиментов в наше время шубу не сошьешь. Я, признаюсь, очень рада тому, что моя Юленька вышла замуж за достойного человека и сделала прекрасную партию, которая вполне обеспечивает ее будущее. Но, однако, идите к вашим товарищам. Видите, они вас ждут.

Александров покрутил головою:

– А ведь про шубу-то она, наверное, на мой счет прошла?

Квартиру Синельниковых нельзя было узнать – такой она показалась большой, вместительной, нарядной после каких-то неведомых хозяйственных перемен и перестановок. Анна Романовна, несомненно, обладала хорошим глазомером. У нее казалось многолюдно, но тесноты и давки не было.

¹⁶² Царица Савская – легендарная правительница аравийского царства Саба (Шеба), которая, согласно Библии, отправилась в Иерусалим к израильскому царю Соломону, чтобы испытать его мудрость загадками.

В зале стояли покоем столы с отличными холодными закусками. Стульев почти не было. Закусывали стоя, а *la fourchette*. Два наемных лакея разносили на серебряных подносах высокие тонкогорлые бокалы с шампанским. Александров пил это вино всего только во второй раз в своей жизни. Оно было вкусное, сладкое, шипело во рту и приятно щекотало горло. После третьего бокала у него повеселело в голове, потеплело в груди, и глаза стали все видеть, точно сквозь легкую струящуюся завесу. С трудом разобрал он на высокой толстостенной бутылочке золотые литеры: «*Veuve Clicquot*».¹⁶³ Потом лакеи с необыкновенной быстротой и ловкостью разняли столовый «покой» и унесли куда-то столы. В зале стало совсем просторно. На окна спустились темно-малиновые занавесы. Зажглись лампы в стеклянных матовых колпаках. Наемный тапер¹⁶⁴, вдохновенно-вздохмаченный брюнет, заиграл вальс.

Александров выпил еще один бокал шампанского и вдруг почувствовал, что больше нельзя. «Генуг, ассе, баста, довольно», – сказал он ласково засмеявшемуся лакею. Нет, он вовсе не был пьян, но весь был как бы наполнен, напоен удивительно легким воздухом. Движения его в танцах были точны, мягки и беззвучны (вообще он несколько потерял способность слуха и оттого говорил громче обыкновенного). Но им, незаметно для самого себя, овладело очарование той атмосферы всеобщей легкой влюбленности, которая всегда широко разливается на свадебных праздниках. Здесь есть такое чувство, что вот, на время, приоткрылась запечатанная дверь; запрещенное стало на глазах участников не только дозволенным, но и благословенным. Суровая тайна стала открытой, веселой, прелестной радостью. Нежный гашиш сладко одурманивал молодые души.

Александров не отходил от Оленьки, упрямо и ревниво ловя минуты, когда она освобождалась от очередного танцора. Он без ума был влюблен в нее и сам удивлялся, почему не замечал раньше, как глубоко и велико это чувство.

– Оленька, – сказал он. – Мне надо поговорить с вами по очень, по чрезвычайно нужному делу. Пойдемте вон в ту маленькую гостиную. На одну минутку.

– А разве нельзя сказать здесь? И что это за уединение вдвоем?

– Да ведь мы все равно будем у всех на глазах. Пожалуйста, Олечка!

– Во-первых, я вам вовсе не Олечка, а Ольга Николаевна. Ну, пойдемте, если уж вам так хочется. Только, наверно, это пустяки какие-нибудь, – сказала она, садясь на маленький диванчик и обмахиваясь веером. – Ну, какое же у вас ко мне дело?

– Оленька, – сказал Александров дрожащим голосом, – может быть, вы помните те четыре слова, которые я сказал вам на балу в нашем училище.

– Какие четыре слова? Я что-то не помню.

– Позвольте напомнить... Мы тогда танцевали вальс, и я сказал: «Я люблю вас, Оля».

– Какая дерзость!

– А помните, что вы мне ответили?

– Тоже не помню. Вероятно, я вам ответила, что вы нехороший, испорченный мальчишка.

– Нет, не то. Вы мне ответили: «Ах, если бы я могла вам верить».

– Да, конечно, вам верить нельзя. Вы влюбляетесь каждый день. Вы ветрены и легкомысленны, как мотылек... И это-то и есть все то важное, что вы мне хотели передать?

– Нет, далеко не все. Я опять повторяю эти четыре заветные слова. А в доказательство того, что я вовсе не порхающий папильон¹⁶⁵, я скажу вам такую вещь, о которой не

¹⁶³ «Вдова Клико» – знаменитое французское шампанское.

¹⁶⁴ Тапер – во второй половине XIX – начале XX века музыкант, преимущественно пианист, сопровождавший своим исполнением танцы на вечерах, балах, впоследствии – немые фильмы.

¹⁶⁵ Мотылек (от *фр. papillon*).

знают ни моя мать, ни мои сестры и никто из моих товарищей, словом, никто, никто во всем свете.

Ольга зажмурилась и затрясла своими темными блестящими кудряшками.

– А это не будет страшно?

– Ничуть, – серьезно ответил Александров. – Но уговор, Ольга Николаевна: раз я лишь одной вам открываю величайшую тайну, то покорно прошу вас, вы уж, пожалуйста, никому об этом не болтайте.

– Никому, никому! Но она, надеюсь, приличная, ваша тайна?

– Абсолютно. Я скажу даже, что она возвышенная...

– Ах, говорите, говорите скорей. Я вся трясусь от любопытства и нетерпения.

Ее правый глаз был освещен сбоку и сверху, и в нем, между зрачком и райком, горел и точно переливался светло-золотой живой блик. Александров засмотрелся на эту прелестную игру глаза и замолчал.

– Ну, что же? Я жду, – ласково сказала Ольга.

Александров очнулся.

– Ну, вот... на днях, очень скоро... через неделю, через две... может быть, через месяц... появится на свет... будет напечатана в одном журнале... появится на свет моя сюита... мой рассказ. Я не знаю, как назвать... Прошу вас, Оля, пожелайте мне успеха. От этого рассказа, или, как сказать?... эскиза, так многое зависит в будущем.

– Ах, от души, от всей души желаю вам удачи... – пылко отозвалась Ольга и погладила его руку. – Но только что же это такое? Сделаетесь вы известным автором и загордитесь. Будете вы уже не нашим милым, славным, добрым Алешей или просто юнкером Александровым, а станете называться «господин писатель», а мы станем глядеть на вас снизу вверх, раскрыв рты.

– Ах, Оля, Оля, не смейтесь и не шутите над этим. Да. Скажу вам откровенно, что я ищу славы, знаменитости... Но не для себя, а для нас обоих: и для вас и для меня. Я говорю серьезно. И, чтобы доказать вам всю мою любовь и все уважение, я посвящаю этот первый мой труд вам, вам, Оля!

Она широко открыла глаза.

– Как? И это посвящение будет напечатано?

– Да. Непременно. Так и будет напечатано в самом начале: «Посвящается Ольге Николаевне Синельниковой», внизу мое имя и фамилия...

Ольга всплеснула руками.

– Неужели в самом деле так и будет? Ах, как это удивительно! Но только нет. Не надо полной фамилии. Нас ведь вся Москва знает. Бог знает, что наплетут, Москва ведь такая сплетница. Вы уж лучше как-нибудь под инициалами. Чтобы знали об этом только двое: вы и я. Хорошо?

– Хорошо. Я повинуюсь. А когда я стану большим, настоящим писателем, Оленька, когда я буду получать большие гонорары, тогда...

Она быстро встала.

– Тогда и поговорим. А теперь пойдемте в зал. На нас уже смотрят.

– Дайте хоть ручку поцеловать!

– Потом. Идите первым. Я только поправлю волосы.

Была пора юнкерам идти в училище. Гости тоже разъезжались. Ольга и Люба провожали их до передней, которая была освещена слабо. Когда Александров успел надеть и одернуть шинель, он услышал у самого уха тихий шепот: «До свидания, господин писатель», – и горящие сухие губы быстро коснулись его щеки, точно клонули.

Домой юнкера нарочно пошли пешком, чтобы выветрить из себя пары шампанского.

Путь был не близкий: Земляной вал, Покровка, Маросейка, Ильинка, Красная площадь,

Спасские ворота, Кремль, Башня Кутафья, Знаменка... Юнкера успели прийти в себя, и каждый, держа руку под козырек, браво прорепортировал дежурному офицеру, поручику Рославлеву, по-училищному – Володьке: «Ваше благородие, является из отпуска юнкер четвертой роты такой-то».

Володька прищурил глаза, повел огромным носом и спросил коротко:

– Клико деми-сек? ¹⁶⁶

– Так точно, ваше благородие. На свадьбе были в семье полковника Синельникова.

– Ага! Ступайте.

Этот Володька и сам был большущим кутилой.

Глава XII

Господин писатель

Это была очень давнишняя мечта Александрова – сделаться поэтом или романистом. Еще в пансионе Разумовской школы он не без труда написал одно замечательное стихотворение:

Скорее, о птички, летите
Вы в теплые страны от нас,
Когда ж вы опять прилетите,
То будет весна уж у нас.

В лугах запестреют цветочки,
И солнышко их осветит,
Деревья распустят листочки,
И будет прелестнейший вид.

Ему было тогда семь лет... Успех этих стихов льстил его самолюбию. Когда у матери случались гости, она всегда уговаривала сына: «Алеша, Алеша, прочитай нам "Скорее, о птички"». И по окончании декламации гости со вздохом говорили: «Замечательно! удивительно! А ведь, кто знает, может быть, из него будущий Пушкин выйдет».

Но, перейдя в корпус, Александров стал стыдиться этих стишков. Русская поэзия показала ему иные, совершенные образцы. Он не только перестал читать вслух своих несчастных птичек, но упросил и мать никогда не упоминать о них.

В пятом классе его потянуло на прозу. Причиной этому был, конечно, неотразимый Фенимор Купер ¹⁶⁷.

К тому же кадета Александрова соблазняла та легкость, с которой он писал всегда на полные двенадцать баллов классные сочинения, нередко читавшиеся вслух, для примера прочим ученикам.

Пять учебных тетрадок, по обе стороны страниц, прилежным печатным почерком были мелко исписаны романом Александрова «Черная Пантера» (из быта североамериканских дикарей племени Ваякса и о войне с бледнолицыми).

Там описывались удивительнейшие подвиги великого вождя по имени Черная Пантера и его героическая смерть. Бледнолицые дьяволы, теснимые краснокожими, перешли на небольшой необитаемый остров среди озера Мичиган. Они были со всех сторон обложены индейцами, но взять их не удавалось. Их карабины были в

¹⁶⁶ Полусухое? (фр.).

¹⁶⁷ Фенимор Купер (1789–1851) – американский романист. Классик приключенческой литературы, автор романов «Следопыт», «Зверобой, или Первая тропа войны», «Последний из могикан» и др.

исправности, а громадный запас пороха и пуль грозил тем, что осада продлится на очень большое время, вплоть до прихода главной армии. Питаться же они могли свободно: рыбой из озера и пролетающей многочисленной птицей.

Но лишь один вождь, страшный Черная Пантера знал секрет этого острова. Он весь был насыпан искусственно и держался на стволе тысячелетнего могучего баобаба. И вот отважный воин, никого не посвящая в свой замысел, каждую ночь подплывает осторожно к острову, ныряет под воду и рыбьей пилою подпиливает баобабовый устой. Наутро он незаметно возвращается в лагерь. Перед последнюю ночь он дает приказ своему племени:

– Завтра утром, когда тень от острова коснется мыса Чиу-Киу, садитесь в пироги и спешно плывите на бледнолицых. Грозный бог войны, великий Коокама, сам предаст белых дьяволов в ваши руки. Меня же не дожидайтесь. Я приду в разгар битвы.

И ушел.

Утром воины беспрекословно исполнили приказание вождя. И когда они, несмотря на адский ружейный огонь, подплыли почти к самому острову, то из воды послышался страшный треск, весь остров покосился набок и стал тонуть. Напрасно европейцы молили о пощаде. Все они погибли под ударами томагавков или нашли смерть в озере. К вечеру же вода выбросила труп Черной Пантеры. У него под водою не хватило дыхания, и он, перепилив корень, утонул. И с тех пор старые жрецы поют в назидание юношам, и так далее и так далее.

Были в романе и другие лица. Старый трапер¹⁶⁸, гроза индейцев, и гордая дочь его Эрминия, в которую был безумно влюблен вождь Черная Пантера, а также старый жрец племени Ваякса и его дочь Зумелла, покорно и самоотверженно влюбленная в Черную Пантеру.

Роман писался любовно, но тяжело и долго. Куда легче давались Александрову его милые акварельные картинки и ловкие карикатуры карандашом на товарищей, учителей и воспитателей. Но на этот путь судьба толкнет его гораздо позднее...

Во что бы то ни стало следовало этот роман напечатать. В нем было, на типографский счет, листа два, не менее. Но куда сунуться со своим детищем – Александров об этом не имел никакого представления. Помог ему престарелый монах, который продавал свечки и образки около часовни Сергия Преподобного¹⁶⁹, что была у Ильинских ворот. Мать давным-давно подарила Александрову копилку со старой малоинтересной коллекцией монет, которую когда-то начал собирать ее покойный муж. Александров всегда нуждался в свободном пятакке. Мало ли что можно на него купить: два пирожка с вареньем, кусок халвы, стакан малинового кваса, десять слив, целое яблоко, словом, без конца...

И вот, по какому-то наитию, однажды и обратился Александров к этому тихонькому, закапанному воском монашку с предложением купить кое-какие монетки. В коллекции не было ни мелких золотых, ни крупных серебряных денег. Однако монашек, порывшись в медной мелочи, взял три-четыре штуки, заплатил двугривенный и велел зайти когда-нибудь в другой раз. С того времени они и подружились.

Сам Александров не помнил, почему он отважился обратиться к монашку за советом:

– Кому бы мне отдать вот это мое сочинение, чтобы напечатали?

– А очень просто, – сказал монах. – Выйдете из ворот на Ильинку, и тут же налево книжный ларек Изымяшева. К нему и обратитесь.

¹⁶⁸ Трапер – (англ. *trapper*, от *trap* – ставить ловушки, капканы), охотник на пушного зверя в Северной Америке.

¹⁶⁹ Преподобный Сергий – Сергий Радонежский, один из самых почитаемых русских святых. Жил в XIV веке, считается покровителем всех учащихся.

У ларька, прислонясь к нему спиной, грыз подсолнушки тощий развязный мальчуган.

– Что прикажете, купец? Сонники? письмовники? гадательные книжки? романы самые животрепещущие? Французль, Венециан? Гуак, или Непреоборимая ревность? Турецкий генерал Марцимирис? Прекрасная магометанка, умирающая на могиле своего мужа?¹⁷⁰

– Мне не то, – робко прервал его Александров. – Мне бы узнать, кому отдать мой собственный роман, чтобы его напечатали.

Мальчик быстро ковырнул пальцем в носу.

– А вот, с-час, с-час. Я хозяина покличу. Родион Тихоныч! а Родион Тихоныч! Пожалуйте в лавочку. Тут пришли.

Вошел большой рыжий купец, весь еще дымящийся от сбитня, который он пил на улице.

– Чаво? – спросил он грубо.

Лицо у него было враждебное.

Александров сказал:

– Вот тут у меня небольшой написан роман из жизни...

– Покажь. – Он взял тетрадки и взвесил их на руке, потом перелистал несколько страниц и ответил: – Товар не по нас. Под Фенимора-с. Купера-с. Полтора рубля хотите-с?

– Я не знаю, – робко пробормотал Александров.

– Боле не могу. – Он почесал спину о балясину¹⁷¹. – Настоящая цена-с.

– Ну, хорошо, – согласился кадет. – Пусть полтора.

– Так-с. Оставьте-с. Приходите через недельку. Посмотреть необходимо. Извольте получить ваши рупь с полтиной.

Александров пришел через неделю, потом через другую, третью, десятую. Сначала ему отказывали в ответе под разными предлогами, а потом враждебно сказали:

– Какая такая рукопись. Ничего мы о ней не слыхали и романа вашего никакого не читали. Напрасно людей беспокоите, которые занятые.

Так и погиб навеки замечательный роман «Черная Пантера» в пыльных печатных складах купца Изымяшева на Ильинке.

Застенчивый Александров с той поры, идя в отпуск, избегал проходить Ильинской улицей, чтобы не встретиться случайно глазами с глазами книжного купца и не сгореть от стыда. Он предпочитал вдвое более длинный путь: через Мясницкую, Кузнецкий мост и Тверскую.

Но было в душе его непоколебимое татарское упрямство. Неудача с прозой горько оскорбила его, вместо прозы он занялся поэзией. В седьмом классе корпуса, по воскресеньям, давалась на руки кадетам хрестоматия Гербеля – книга необыкновенно больших размеров и редкой толщины. Она не была руководящей книгой, а предлагалась просто для легкого и занятного чтения в свободное от зубрежки время. В ней было все, что угодно, и всего понемножку: отрывки из русских классиков, переводы из Шекспира¹⁷², Гете¹⁷³, Шиллера, Байрона¹⁷⁴, Гейне¹⁷⁵ и даже шутки, пародии и эпиграммы семидесятых годов.

¹⁷⁰ Лубочные (т. е. богато иллюстрированные т. н. лубочными картинками, рассчитанные на массовое потребление) романы XVIII века, сохранявшие свою популярность в России вплоть до начала XX столетия.

¹⁷¹ Балясина – здесь: точеный столбик перил.

¹⁷² Шекспир Уильям (1564–1616) – английский драматург и поэт.

¹⁷³ Гете Иоганн Вольфганг (1749–1832) – немецкий поэт, мыслитель и естествоиспытатель.

¹⁷⁴ Байрон Джордж Ноэл Гордон (1788–1824) – английский поэт-романтик.

¹⁷⁵ Гейне Гёнрих (1797–1856) – немецкий поэт, публицист и критик еврейского происхождения.

Большинство этого обильного и мусорно собранного материала прошло мимо наивной души Александрова, но Генрих Гейне, с его нежной, страстной, благоуханной лирикой, с его живым юмором, с этой сверкающей слезкой в щите, – Гейне пленил, очаровал, заморозил впечатлительное жадное сердце шестнадцатилетнего юноши.

В немецком учебнике Керковиуса, по которому учились кадеты, было собрано достаточное количество образцов немецкой литературы, и между ними находилось десятка с два коротеньких стихотворений Гейне.

Александров, довольно легко начинавший осваиваться с трудностями немецкого языка, с увлечением стал переводить их на русский язык. Он тогда еще не знал, что для перевода с иностранного языка мало знать, хотя бы и отлично, этот язык, а надо еще уметь проникать в глубокое, живое, разнообразное значение каждого слова и в таинственную власть соединения тех или других слов.

Но он уже сам начинал чувствовать, что переводы его лишены легкой игривой свободной резвости подлинника, что стихи у него выходят дубовыми, грузными, тяжело произносимыми и что напряженный смысл их далеко не исчерпывает благоуханного и волнующего смысла гейневского стиха.

Охотнее всего делал Александров свои переводы в те скучные дни, когда, по распоряжению начальства, он сидел под арестом в карцере, запертый на ключ. Тишина, безделье и скука как нельзя лучше поощряли к этому занятию. А когда его отпускали на свободу, то, урвав первый свободный часочек, он поспешно бежал к старому верному другу Сашке Гурьеву, к своему всегдашнему, терпеливому и снисходительному слушателю.

Обое выбирали уютный, укромный уголок, вдали от обычной возни и суматохи, и там Александров с восторгом, с дрожащими руками, нараспев читал вслух последние произведения своей музыки.

– Очень хорошо, Алехан, по совести могу сказать, что прекрасно, – говорил Гурьев, восторженно трясая головою. – Ты с каждым днем совершенствуешься. Пиши, брат, пиши, это твое настоящее и великое призвание.

Похвалы Сашаки Гурьева были чрезвычайно лестны и сладки, но Александров давно уже начал догадываться, что полагаться на них и ненадежно, и глупо, и опасно. Гурьев парень превосходный, но что он, по совести говоря, понимает в высоком и необычайно трудном искусстве поэзии?

И тогда он решился на суровый, героический, последний опыт. «Я переведу, – сказал он сам себе, – одно из значительных стихотворений Гейне, не заглядывая в хрестоматию Гербея, а потом сличу оба перевода. Тогда я узнаю, следует ли мне писать стихи, или не следует». Он выискал в Керковиусе известное гейневское стихотворение, вернее, маленькую поэму – «Лорелея», трудился он над ее переводом усердно и добросовестно, по множеству раз прибегая к толстому немецко-русскому словарю, чтобы найти побольше синонимов. С ритмом он легко справился, взяв за образец лермонтовское «По синим волнам океана», но в самом начале тщательной работы он уже стал предчувствовать, что Гейне ему не дается и, вероятно, не дастся. Уже первая строфа казалась ему деревянной (хотя в этом ему не хотелось окончательно сознаться перед самим собой):

Не знаю, что случилось со мною,
Сегодня мой дух так смущен,
И нет мне ни сна, ни покою
От песни минувших времен.

– Почему, например, «покою», когда следует сказать «покою». Требование

рифмы? А где же требование законов русского языка?

После многих черновиков, переделок и перемарок Александров остановился на последней, окончательной форме. «Правда: это еще не совершенство, но сделать лучше и вернее я больше не в силах».

Только тогда он раскрыл Гербеля и нашел в нем «Лорелею». Воистину ослепительно прекрасным, совершенным, несравнимым, или, точнее, сравнимым только с текстом самого Гейне, показался ему перевод Михайлова¹⁷⁶.

«Да, – подумал он, – так я ни за что не переведу. А если и переведу, то только после многих, многих лет изучения всех тонкостей немецкого языка и кристального вдумывания в слова великого автора. Куда мне!..»

Но он хотел до конца исчерпать всю горечь своей неудачи. Как-то, после урока немецкого языка, он догнал уходившего из класса учителя Мея, сытого, доброго обрусевшего немца, и сунул ему в руки отлично переписанную «Лорелею».

– Здесь немного, всего тридцать две строки. Будьте добры, перечитайте мой перевод и скажите без всякой церемонии ваше мнение.

Мей охотно принял рукопись и сказал, что на днях даст ответ. Через несколько дней, опять выходя из класса, Мей сделал Александрову едва заметный сигнал следовать за собой и, идя с ним рядом до учительской комнаты, торопливо сказал:

– За ваш прекрасный и любовный труд я при первом случае поставлю вам двенадцать! Должен вам признаться, что хотя я владею одинаково безукоризненно обоими языками, но так перевести «Лорелею», как вы, я бы все-таки не сумел бы. Тут надо иметь в сердце кровь поэта. У вас в переводе есть несколько слабых и неверно понятых мест, я все их осторожненько подчеркнул карандашиком, пометки мои легко можно снять резинкой. Ну, желаю вам счастья и удачи, молодой поэт. Стихи ваши очень хороши.

Усталым, сиплым голосом поблагодарил Александров учителя. На сердце его лежал камень.

«Нет, уж что тут, – мысленно махнул он на себя рукою. – Верно сказано: "не суйся со свинячьим рылом в калашный ряд"».

– Кончено на веки вечные мое писательство! баста!

Александров перестал сочинять (что, впрочем, очень благотворно отозвалось на его последних в корпусе выпускных экзаменах), но мысли его и фантазии еще долго не могли оторваться от воображаемого писательского волшебного мира, где все было блеск, торжество и победная радость. Не то чтобы его привлекали громадные гонорары и бешеное упоение всемирной славой, это было чем-то несущественным, призрачным и менее всего волновало. Но манило одно слово – «писатель», или еще выразительнее – «господин писатель».

Это не знаменитый генерал-полководец, не знаменитый адвокат, доктор или певец, это не удивительный богач-миллионер, нет – это бледный и худой человек с благородным лицом, который, сидя у себя ночью в скромном кабинете, создает каких хочет людей и какие вздумает приключения, и все это остается жить на веки гораздо прочнее, крепче и ярче, чем тысячи настоящих, взаврадашних людей и событий, и живет годами, столетиями, тысячелетиями, к восторгу, радости и поучению бесчисленных человеческих поколений.

Вот оно, госпожа Бичерстоу¹⁷⁷ с «Хижиной дяди Тома», Дюма с «Тремя мушкетерами», Жюль Верн с «Капитаном Немо» и с «Детьми капитана Гранта»,

¹⁷⁶ Михайлов М. Л. (1829–1865) – русский поэт и переводчик.

¹⁷⁷ Гарриет Бичер-Стоу (1811–1896) – американская писательница; автор знаменитого романа «Хижина дяди Тома» – книги об ужасах рабства и о вере человека в Бога.

Тургенев с Базаровым, Рудиным, Пигасовым¹⁷⁸ ... и – да всех и не перечислишь.

У всех у них какое-то могучее подобие с господом Богом: из хаоса – из бумаги и чернил – родят они целые миры и, создавши, говорят: это добро зело.

«Истинные господа на земле эти таинственные писатели. Если бы повидать хоть одного из них когда-нибудь. Может быть, он подведет меня поближе к тайне своего творчества, и я пойму его...»

Мечтая таким образом, Александров и предполагать не смел, что покорный случай готовит ему вскорости личное знакомство с настоящим и даже известным Господином Писателем.

Глава XIII

Слава

На вакации¹⁷⁹, перед поступлением в Александровское училище, Алексей Александров, живший все лето в Химках, поехал погостить на неделю к старшей своей сестре Соне, поселившейся для деревенского отдыха в подмосковном большом селе Краскове, в котором сладкогласные мужики зимою промышляли воровством, а в теплые месяцы сдавали москвичам свои избы, порою о двух и даже о трех этажах. Сонин дом Александров знал еще с прошлого года и потому, спрыгнув на ходу с вагонной площадки, быстро и уверенно дошел до него. Но у окна он с некоторым изумлением остановился. Соня играла на пианино, и он сразу узнал столь любимую им вторую рапсодию Листа. В этом не было, конечно, ничего необыкновенного; поразил Александрова незнакомый и, по правде сказать, диковинный Сонин гость. Он был длинен, худ и с таким несчетным количеством веснушек на лице, что издали гость казался крашенным в темно-желтую краску или страдающим желтухой. Одет он был фантастически: в долгую, до земли, и преувеличенно-широкую размахайку цвета летучей мыши. Высоко и буйно задирая вверх клокастую голову, он носился взад и вперед по комнате. Левая рука его держала угол размахайки и заставляла ее развеиваться в воздухе, как театральный плащ Демона¹⁸⁰. А в правой руке у незнакомца был столовый нож, которым он неистово дирижировал в такт Сониной музыке.

Эта картина была так странна и сверхъестественна, что Александров точно припаялся к оконному стеклу и не мог сдвинуться с места. А тут Соня добралась до этого дьявольского цыганского престо-престиссимо¹⁸¹, от которого ноги молодых людей начинают сами собой плясать, ноги стариков выдвигаются поневоле, хоть и с трудом, хоть и совсем не похоже, лихие па старинных огненных танцев и кости мертвецов шевелятся в могилах. С желтолицым человеком произошла точно мгновенная судорога. Он швырнул на пол свой мышастый разлетай¹⁸², издал дикий вопль и вдруг с такой неожиданной силой и ловкостью запустил ножом в стену, что острие вонзилось в нее и закачалось.

Послышался испуганный крик Сони. Александров почувствовал, что теперь ему как мужчине необходимо принять участие в этом странном происшествии. Он затряс ручку дверного звонка. Соня отворила дверь, и испуг ее прошел. Она уже смеялась.

– Здравствуй, здравствуй, милый Алешенька, – говорила она, целуясь с братом. –

¹⁷⁸ Герои романов И. С. Тургенева «Отцы и дети» и «Рудин».

¹⁷⁹ Вакации – каникулы.

¹⁸⁰ Демон – в мифологии собирательное название сверхъестественных существ, полубогов или духов, занимающих промежуточное состояние между людьми и богами. Герой поэмы М. Ю. Лермонтова.

¹⁸¹ Престо-престиссимо – темп в музыке: быстро, в высшей степени быстро.

¹⁸² Разлетай – верхняя одежда со свободно расходящимися, незастегивающимися полами.

Иди скорее к нам в столовую. Я тебя познакомлю с очень интересным человеком. Позвольте вам представить, Диодор Иванович, моего брата. Он только что окончил кадетский корпус и через месяц станет юнкером Александровского военного училища. А это, Алеша, наш знаменитый русский поэт Диодор Иванович Миртов. Его прелестные стихи часто появляются во всех прогрессивных журналах и газетах. Такое наслаждение читать их!

Желтолицый поэт картавил, хотя и не без приятности.

– Мигтов, – говорил он, пожимая руку Алеши, – Диодог Мигтов. Очень гад, весьма гад. Чрезвычайно люблю общество военных людей, а в особенности молодых.

Соня вспомнила недавнюю трагикомическую сцену.

– Ах, как Диодор Иванович меня сейчас напугал, – сказала она добродушно и весело.

Александров осторожно промолчал о том, что он видел сквозь окно. Немного конфузясь, Миртов стал выдергивать из шелевки¹⁸³ крепко завязший в ней нож и бурчал, точно извиняясь:

– Четговская эта музыка венгеская. Электгизигует негвного человека. Слышу эту втогую гапсодию Листа, и во мне закипает кговь моих дгевних пгедков, каких-нибудь скифов или казагов. Уж вы меня пгостите, догогая Софья Николаевна. Стихийная у меня натуга и дугацкая.

Александров внимательно рассматривал лицо знаменитого поэта, похожее на кукушечье яйцо и тесной раскраской и формой. Поэт понравился юноше: из него, сквозь давно наигранную позу, лучилась какая-то добрая простота. А театральная жест со столовым ножом Александров нашел восхитительным: так могут делать только люди с яркими страстями, не боящиеся того, что о них скажут и подумают обыкновенные людишки.

В ту пору дерзость, оригинальность и экспансивность были его героической утехой. Недаром он тогда проходил через волшебное обаяние Дюма-отца. Зато стихов Миртова, которых он с неизменной любезностью прочитал много, Александров совсем не понял и добросовестно отнес это к своей малой поэтической восприимчивости.

Соня, всегда немножко бестактная, не упустила случая сделать неловкость. В то время когда Миртов, передыхая между двумя стихотворениями, пил пиво, Соня вдруг сказала:

– А вы знаете, Диодор Иванович, наш Алеша ведь тоже немножко поэт, премиленькие стишки пишет. Я хоть и сестра, но с удовольствием их читаю. Попросите-ка его что-нибудь продекламировать вслух.

Александров от стыда и от злости на сестру стал сразу мучительно пунцовым, думая про себя: «О Бог мой! До какой степени эти женщины умеют быть бестактными».

Миртов каким-то придавленным голосом, с искривленной улыбкой сказал:

– А что же, молодой воин. Прочитайте, прочитайте. Мы, старики, всем сердцем радуемся каждому юному пришельцу. Почитайте, пожалуйста.

Александров чутким ухом услышал и понял, что никакие стихи, кроме собственных, Миртова совсем не интересуют, а тем более детские, наивные, жалкие и неумелые. Он изо всех сил набросился на сестру:

– Как тебе не совестно, Соня? И какие же это стихи. Ни смысла, ни музыки. Обыкновенные вирши бездельника-мальчишки: розы – грозы, ушел – пришел, время – бремя, любовь – кровь, камень – пламень. А дальше и нет ничего. Вы уж, пожалуйста, Диодор Иванович, не слушайте ее, она в стихах понимает, как свинья в апельсинах.

¹⁸³ Шелевка – обшивка.

Да и я – тоже. Нет, прочитайте нам еще что-нибудь ваше.

Таким образом и подружились пятидесятилетний, уже заметно тронутый сединою, известный поэт Миртов с беззаботным мальчуганом Александровым.

Миртов был соседом Сони, тоже снимал дачку в Краскове. Всю неделю, пока Александров гостил у сестры, они почти не расставались. Ходили вместе в лесок за грибами, земляникой и брусникой и два раза в день купались в холодной и быстрой речонке.

У Миртова был огромный трехлетний пес сенбернарской чистой породы, по кличке Друг. Собака была у писателя, как говорится, не в руках: слишком тяжел, стар и неуклюж был матерый писатель, чтобы целый день заниматься собакой: мыть ее, чесать, купать, вовремя кормить, развлекать и дрессировать и следить за ее здоровьем. Зато Друг охотно пошел к Александрову, как веселый сверстник и компаньон по проказам. Началась их приязнь так: Друг по какому-то давнишнему капризу ни за что не хотел лазить в речную воду, а теми обливаниями на суше, какими его угощал хозяин, он всегда оставался недоволен – фыркал, рычал, вырывался из рук, убегал домой и даже при всей своей ангельской кротости иногда угрожал укусом.

Александров справился с ним одним разом. Уж не такая большая тяжесть для семнадцатилетнего юноши три пуда. Он взял Друга обеими руками под живот, поднял и вместе с Другом вошел в воду по грудь. Сенбернар точно этого только и дожидался. Почувствовав и уверившись, что жидкая вода отлично держит его косматое тело, он очень быстро освоился с плаванием и полюбил его.

Вскоре он и Алексей стали задавать в речке настоящие морские бои и правильные гонки. С этого почина собака доверчиво и с удовольствием влезла в тренировку. Увлеченный этим милым занятием и охотной понятливостью ученика, Александров вместо недели пробыл в Краскове две с половиной.

Миртов благодарно полюбил эти купанья и прогулки втроем. Он был очень одинокий человек. В доме у него никого не было, кроме собаки и старой-престарой кухарки, которая ничего не слышала, не понимала и не умела, кроме как бегать за пивом.

Иногда он говорил Александрову: «Знаете что, Алеша? – поэзия есть вещь нелегкая. Тут нужен воистину Божий дар и вдохновение свыше. Миллионы было поэтов, и даже очень известных, а по проверке временем осталось их на всем белом свете не более двух десятков, конечно не считая меня. А вы попробуйте-ка когда-нибудь сочинить прозу. У вас глаз меткий, ноздри как у песика, наблюдательность большая, и, кроме того, самое простое и самое ценное достоинство: вы любите жизнь. Напишите когда-нибудь свеженький рассказ и принесите мне на Плющиху, где я всегда зимую. Я вам первую ступеньку с удовольствием подставлю, а там – что богу будет угодно. После маленького рассказика, с воробьиный нос, напишите повестушку, а там глядь – и романище о восьми частях, как пишет современный король и бог русской изящной литературы Лев Толстой. Да, кстати, рекомендую вам этого всемогущего льва читать пореже, а то потеряете и собственную индивидуальность и вкус к своей работе. Это только в древние библейские времена смертный Иаков осмелился бороться с богом и отделался сравнительно дешево – сломанной ногой. Теперь чудес не бывает.

А когда пришел Александрову срок уезжать из Краскова, то Миртов с сенбернаром проводили его на полустанок, и вслед уходящему поезду Миртов кричал, размахивая платком:

– Смотгите не забывайте меня и Друга, пгиезжайте. Адгес – Плющиха, дом Ггязнова. Я живу ввегху на голубятне. Ближе к богу.

В Москве, уже ставши юнкером, Александров нередко встречался с Диодором Ивановичем: то раза три у него на квартире, то у сестры Сони в гостинице Фальц-

Фейна, то на улицах, где чаще всего встречаются москвичи. И всегда на прощанье не забывал Миртов дружески сказать:

– А что же гасказец-то? Жду, жду. Не медлите, догогой Алеша. Вгемя течет. Течет.

Вот именно об этом желтолицем и так мило сумбурном поэте думал Александров, когда так торжественно обещал Оленьке Синельниковой, на свадьбе ее сестры, написать замечательное сочинение, которое будет напечатано и печатно посвящено ей, новой царице его исстрадавшейся души.

Обещание было принято и, как мистической печатью, было припечатано быстрым, сухим и горячим поцелуем. Теперь оставалось только написать рассказ, а там уж Миртов непременно сунет его в журнал какой-нибудь.

И с этого времени, даже, можно сказать, со следующего дня, Александров яростно предался самому тяжелому, самому взыскательному из творчеств: творчеству слова. Конечно, напрасным оказался мудрый совет Диодора Ивановича: писать о том, что ты лично видел, слышал, осязал, обонял, чувствовал и наблюдал, нанизывая эти впечатления на любую, хотя бы скудную нить происшествия. Нет, он отрицал тонкие, изысканные подробности, которые придавали бы рассказу естественность движения. Он не умел придать своим персонажам различные оттенки в голосах, привычках, склонностях и недостатках. Черное у него было густо-черным, как самая черная ночь. Белое – бело, как крылья архангела или как цветок лилии, красное – красно, как огонь. Оттенков или переливов он знать не хотел и нужды в них не чувствовал. Ревность для него была, по давнишнему Шекспиру, «чудовищем с зелеными глазами»¹⁸⁴, любовь – упоительной и пламенной, верность – так непременно до гробовой доски.

На таких-то пружинах и подпорках он и соорудил свою сюиту¹⁸⁵ (он не знал значения этого иностранного слова), сюиту «Последний дебют». В ней говорилось о тех вещах и чувствах, которых восемнадцатилетний юноша никогда не видел и не знал: театральная мир и трагическая любовь к самоубийствам. Скелет рассказа был такой:

Утром, в дневной полутьме, на сцене большого провинциального театра идет репетиция. Анемподистов, антрепренер, он же директор и режиссер, предлагает второй актрисе – Струниной пройти роль Вари.

– Но ведь это моя коронная роль, – с ужасом восклицает первая актриса Торова-Монская, любовница Анемподистова.

– Ах, не волнуйтесь, дорогуля, – говорит директор, – труппа у нас совсем небольшая. Надо иногда, во внезапных случаях, заменять один другого.

– Ты ее любишь? Ты ее любишь? – горячо шепчет ему на ухо актриса Торова-Монская.

– Оставь, милая. Ты знаешь, что во всем мире я люблю тебя одну.

Дальше действие рассказа переносится за кулисы, в уборную. Решено, что Варю будет играть Струнина. Публика любит новые впечатления. Торова-Монская может отдохнуть немножко.

Но Монская сказала гордо:

– Я здесь, и я останусь. Струнина может играть завтра или когда ей будет угодно. Но я играю нынче в последний раз. Слышите ли вы, хам анемподийский! Сегодня я играю в самый последний раз.

И с этими словами вышла на сцену.

О Боже, как приняла ее публика, увидев ее бледное, страдальческое лицо и огромные серые глаза! С каждым актом игра ее производила все более грандиозное

¹⁸⁴ ... «чудовищем с зелеными глазами» – цитата из драмы Шекспира «Отелло».

¹⁸⁵ Сюита – музыкальное произведение из нескольких разнохарактерных пьес, объединенных единством замысла.

впечатление на публику, переполнявшую театр. И вот подошла последняя сцена, сцена, в которой Варя отравляется.

Артистка подошла к рампе и потрясающим голосом сказала:

– Если любовь – то великое счастье. Если обман – то смерть. – И с этими словами поднесла к губам пузырек и вдруг упала в страшных конвульсиях.

«Доктора! доктора! О, какой ужас! – закричала публика. – Скорее доктора!» Но доктор уже был не нужен. Великая актриса умерла...

С блаженным чувством оконченного большого труда сделал юнкер красивую подпись: Алехан Андров . И украсил ее замысловатым росчерком.

Сто раз перечитал Александров свое произведение и по крайней мере десять раз переписал его самым лучшим своим почерком. Нет сомнений – сюита была очень хороша. Она трогала, умиляла и восхищала автора. Но было в его восторгах какое-то непонятное и невидимое пятно, какая-то постыдная неловкость очень давнего происхождения, какая-то неуловимая болячка, которую Александров не мог определить.

Тем не менее в одно из ближайших воскресений он пошел на Плющиху и с колотящимся сердцем взобрался на голубятню, на чердачный этаж старого деревянного московского дома. Надевши на нос большие очки, скрепленные на сломанной пережабинке¹⁸⁶ куском сургуча, Миртов охотно и внимательно прочитал произведение своего молодого приятеля. Читал он вслух и, по старой привычке, немного нараспев, что придавало сюите важный, глубокий и красиво-печальный характер.

Юнкер и громадный сенбернар слушали его чтение с нескрываемым умилением. Друг даже вздыхал.

Наконец Диодор Иванович кончил, положил очки и рукопись на письменный стол и с затуманенными глазами сказал:

– Пгекгасно, мой догогой. Я вам говоюю: пгекгасно. Зоилы¹⁸⁷ найдут, может быть, какие-нибудь недосмотгы, поггешности или еще что-нибудь, но на то они и зоилы. А ведь красивую девушку осьмнадцати лет не могут испортить ни родинка, ни рябинка, ни царапинка. Анисья Харитоновна, – закричал он, – принесите-ка нам бутылку пива, вспрыснуть новорожденного! Ну, мой добрый и славный друг, поздравляю вас с посвящением в рыцари пера. Пишите много, хорошо и на пользу, на радость человечеству!

Они чокнулись пивом и расцеловались.

Немного погодя и уже собираясь уходить, Александров спросил: можно ли ему будет написать впереди сюиты маленький эпиграф. Не сочтут ли это за ломание?

– О, совсем нет, эпиграф прелестная вещь. Что же вы хотите написать?

– Да всего две строчки из Гейне.

– Хороший поэт, чудесный. Какие же?

Александров прочитал дрожащим от волнения голосом: «Я, раненный насмерть, играл, гладиатора бой представляя».

– Пгекгасно, великолепно, веская цитата, – одобрил Миртов.

Тут юнкер, осмелев, решился спросить и насчет посвящения.

– А что же?.. Катайте. Ей? Конечно, ей?

Юноша покраснел от головы до пяток.

– Да, одной моей хорошей знакомой, в память уважения, дружбы и... Но следующий мой рассказ непременно будет посвящен вам, дорогой Диодор Иванович, вам, мой добрый и высокоталантливый учитель!

¹⁸⁶ Пережабинка (пережамина) – суженное место, перехват, пережим.

¹⁸⁷ Зоил – (иноск.) злой, завистливый критик.

Миртов засмеялся, показав беззубый рот, потом обнял юнкера и повел его к двери. – Не забывайте меня. Заходите всегда, когда свободны. А я на этих днях постараюсь устроить вашу рукопись в «Московский ручей», в «Вечерние досуги», в «Русский цветник» (хотя он чуточку слишком консервативен) или еще в какое-нибудь издание. А о результате я вас уведомяю открыткой. Ну, прощайте. Вперед без страха и сомненья!

Но страх и сомнения терзали бедного Александрова немилосердно. Время растягивалось подобно резине. Дни ожидания тянулись, как месяцы, недели – как годы. Никому он не сказал о своей первой дерзновенной литературной попытке, даже вернейшему другу Венсану; бродил как безумный по залам и коридорам, ужасаясь длительности времени.

И вот, наконец, открытое письмо от Диодора Ивановича. Пришло оно во вторник: «Взяли «Вечерние досуги». В это воскресенье, самое большее – в следующее, появится в газетных киосках. Увы, я заболел инфлюэнцей, не встаю с постели. Отыщите сами. Ваш Д. Миртов».

В первое воскресенье Александров обегал десятка два киосков, спрашивая последние номера «Вечерних досугов», надеясь на чудо и не доверяя собственным глазам. К его огорчению, все «Досуги» были одинаковы, и ни в одном из них не было его замечательной сюиты «Последний дебют».

В следующее воскресенье он не имел возможности предпринять снова свои лихорадочные поиски, потому что в наказание за единицу по фортификации был лишен этим проклятым Дроздом отпуска.

Что делать? Пришлось открыть свою непроницаемую тайну милому товарищу Венсану, и тот с обычной любезной готовностью взялся найти и купить очередной номер «Досугов».

Весь день терзался Александров нестерпимой мукой праздного ожидания. Около восьми часов вечера стали приходить из отпуска юнкера, подымаясь снизу по широкой лестнице. Перекинувшись телом через мраморные перила, Александров еще издали узнал Венсана и затрепетал от холодной дрожи восторга, когда прочитал в его широкой сияющей улыбке знамение победы.

Держать в руках свое первое признанное сочинение, вышедшее на прекрасной гляцевитой бумаге, видеть свои слова напечатанными черным, вечным, несмываемым шрифтом, ощущать могучий запах типографской краски... что может сравниться с этим удивительным впечатлением, кроме (конечно, в слабой степени) тех неопишуемых блаженных чувств, которые испытывает после страшных болей впервые родившая молодая мать, когда со слабою прелестною улыбкой показывает мужу их младенца-первенца.

Во всяком случае, наплыв радости был так бурен, что Александров не мог стоять на ногах. Его тело требовало движения. Он стал перепрыгивать без разбега через одну за другой кровати, стоявшие ровным, стройным рядом, туда и обратно и еще один раз. Только тогда он уселся на своей койке и принялся за чтение с бьющимся сердцем. Он прочитал сюиту два раза, сначала с летучей беглостью, потом более внимательно – и так и так произведение было восхитительно. Он дал его прочитать Венсану, а сам глядел через его плечо, поминутно отнимая у него листки, чтобы прочитать вслух наиболее сильные места. Потом завладел «Вечерними досугами» весь первый курс четвертой роты, потом пришли сверстники-фараоны других рот, потом заинтересовались и господа обер-офицеры всех рот.

Слава юнкера, ставшего писателем, молниями бежала по всем залам, коридорам, помещениям и закоулкам училища. Спрос на номер «Вечерних досугов» был

колоссальный.

К Александрову шла со своим шумом настоящая слава, которая отозвалась усталостью и головной болью.

Ночь он провел тяжело и нудно. Сначала долго не мог заснуть, потом ежеминутно просыпался. На тусклом зимнем рассвете встал очень рано с тяжестью во всем теле и с неприятным вкусом во рту.

Глава XV

Господин обер-офицер

Правильно и мудро сказал когда-то знаменитый писатель Диодор Иванович Миртов (с которым Александров после своего литературного провала перестал видаться из-за горького и мучительного стыда):

– Время течет, течет. Ничто его не остановит и ничто не повернет обратно. Аминь.

Середина и конец 1888 года были фатальны для мечтательного юноши, глубоко принимавшего к сердцу все радости и – неудачи. Черных дней выпадало на его долю гораздо больше, чем светлых: тоскливое, нудное пребывание в скучном положении молодого, начинающего фараона, суровая, утомительная строевая муштровка, грубые окрики, сажание под арест, назначение на лишние дневальства – все это делало военную службу тяжелой и непривлекательной. А тут еще постоянные нелады с точной наукой, которая называется военной фортификацией. Преподает ее полковник инженерных войск Колосов, человек лютой строгости, холодный и безжалостный. Он знаменит во всей Москве как строитель солидного памятника русским воинам, живот свой положившим в русско-турецкую войну 1877–78 годов. Но эта слава не мешает ему губить и топить беспомощных юнкеров, как слепых щенят. Его система преподавания была проста, кратка и требовательна до ужаса. Войдя в аудиторию и не здороваясь, он непременно должен был найти уже готовыми все приспособления для лекции: вычищенную до блеска классную доску, чистую, слегка влажную губку и несколько мелков, тщательно отточенных в виде лопаточек и обернутых в белые ровные бумажки. Он ничему не учил. Он брал мелок, подходил с ним к доске и странным, повелительным, беглым голосом произносил:

– Амбразура, или полевой окоп, или люнет, барбет, траверс и так далее. – Затем он начинал молча и быстро чертить на доске профиль и фас укрепления в проекции на плоскость, приписывая с боков необычайно тонкие, четкие цифры, обозначающие футы и дюймы. Когда же чертеж бывал закончен, полковник отходил от него так, чтобы его работа была видна всей аудитории, и воистину работа эта отличалась такой прямизной, чистотой и красотой, какие доступны только при употреблении хороших чертежных приборов.

Лекция оканчивалась тем, что Колосов, вооружившись длинным тонким карандашом, показывал все отдельные части чертежа и называл их размеры: скат три фута четыре дюйма. Подъем четыре фута. Берма, заложение, эскарп, контрэскарп и так далее. Юнкера обязаны были карандашами в особых тетрадках перечерчивать изумительные чертежи Колосова. Он редко проверял их. Но случалось, внезапно пройдя вдоль ряда парт, он останавливался, показывал пальцем на чью-нибудь тетрадку и своим голосом без тембра спрашивал:

– Паук? Корзинка с земляникой? Хамелеон? – И, сделав малую паузу: – Единица!

Он был очень самостоятелен и почти никогда не дожидался звонка на перемену. Просто доставал надушенный платок из тонкого полотна, отряхивал свою грудь и руки от еле заметных пылинок мела, встряхивал платком и, не сказав ни слова, уходил, когда

ему хотелось.

Александров никак не мог удовлетворить этого строгого, бесчувственного, всегда молчаливого идола. Чертить он умел отлично, и линия у него выходила щеголеватой ровной, но основных начал фортификации он не мог преодолеть. Его воображению никак не удавалось видеть предметы, построенные из земли и камня, в проекции на плоскость, то есть не имеющими ни материи, ни веса. Если бы ему показали люнет, барбет или амбразуру, сделанными из глины или папье-маше, он, наверное, понял бы мгновенно ошибку своего геометрического неведения. Но об этом, увы, никто не хотел позаботиться. Почти в каждую репетицию Колосов молча ставил ему неудовлетворительные баллы, а Дрозд лишал его отпуска, этой отрады, услады и моральной поддержки.

Но еще больше терзали бедного фараона Александрова личные, интимные горести и разочарования: позорная измена Юлии Синельниковой, холодная и насмешливая отставка, полученная от Ольги Синельниковой, и, наконец, этот ужасный разгром литературной великой карьеры, разгром, признанный им самим с горьким отчаянием...

И Александров загрустил...

Но время течет, течет и в своем бесконечном течении потихоньку сглаживает все острые углы, подтачивает скалы, рассасывает мели, изменяет пейзажи и фарватеры¹⁸⁸.

Теперь Александров – фараон только по прозвищу. Гимнастика и фехтование развернули его грудь вширь. Вся трудность воинских упражнений и военного строя отошла бесследно. Ружье не тяжелит, шаг выработался большой и крепкий, а главное, появилось в душе гордое и ответственное сознание: я – юнкер славного Александровского училища, и трепещите все, все недруги. Даже с неодолимой фортификацией начались очень милые отношения. Однажды вечером, подготавливаясь к завтрашней репетиции по проклятой фортификации, Александров громко и злобно чертыхнулся:

– Нет, когда же я, черт побери, освоюсь с этой фортификационной путаницей, да будут прокляты и полковник Колосов и его учитель Цезарь Кюи¹⁸⁹.

Сосед его по койке, скромный, тихий, благовоспитанный Прибиль, отличный пианист, сказал сочувственно:

– Послушайте-ка, друг Александров, не сердитесь на то, что я ввязываюсь не в свое дело. Я уже давно замечаю, что у вас постоянные недоразумения и огорчения с фортификацией. Мне кажется, что я могу вам немножко помочь, если вы, конечно, позволите. Все дело в сущем пустяке, который можно в одну минуту удалить. Вот, например, мой портсигар (Прибиль вынул из кармана простенький, изящный портсигар из карельской березы). Предположим, что он вам очень понравился и вам хочется заказать мастеру совершенно точно такой же по качеству и по размерам. Что вы для этого делаете? Вы приходите к мастеру и говорите: «Любезный мастер, сделайте мне хороший портсигар из карельской березы, шести дюймов в длину, четырех в ширину и двух в толщину». Не так ли? Для того чтобы заказ лучше удержался в его памяти, вы можете взять листик бумаги, карандаш и разграфленную линейку и начертить все размеры, написав: длина, ширина, толщина. Ведь не придет же вам в голову написать этот портсигар для мастера на полотне масляными красками или пастелью, хотя вы и отличный художник? Вы смотрите на фортификационные чертежи как на стереометрию, а они только планиметрия. Я видел, как вы тщетно корпели и возились над амбразурами. Очевидно, у вас из памяти не выходили старинные громадные

¹⁸⁸ Фарватер – судовой ход, безопасный в навигационном отношении проход по водному пространству (реке, озеру, морю, проливу).

¹⁸⁹ Кюи Ц. А. (1835–1918) – военный инженер.

амбразуры времен д'Артаньяна и Вобановских укреплений¹⁹⁰. А теперешняя амбразура – это просто мелкая канавка, которую вы сами выкопали, чтобы не видно было вашего ружья. Положительно, вы делаете слишком много чести фортификации, и это вам идет во вред.

Он замолчал. Александров некоторое время сидел с полуоткрытым ртом. Наконец, со стуком закрыв его, он сказал:

- Прибиль, сделайте мне милость, назовите меня идиотом.
- Что вы, что вы, Александров. Бог с вами.
- Нет уж, пожалуйста, назовите.

И так они пререкались до тех пор, пока стоявший рядом Жданов не произнес:

- Хотя и не верю своим собственным словам, но вы идиот, мистер Александров.
- Спасибо, Жданов. Ведь это просто невероятно, в каком я до сих пор был нелепом заблуждении. Теперь мне сразу точно катаракт¹⁹¹ с обоих глаз сняли. Все заново увидел благодаря волшебнику Прибилю (имя же его будет для меня всегда священо и чтимо).

На другой же день, во время очередной репетиции, Александров дал своим сокурсникам небольшое представление.

– Александров! – вызвал его своим бесцветным голосом полковник, у которого и глаза и перо, казалось, уже готовились поставить привычную единицу, – потрудитесь начертить двойной траверс и указать все его размеры.

Александров подошел к доске (и все сразу узнали походку Колосова), вынул из кармана тщательно очищенный по колосовской манере мелок, завернутый аккуратно в чистую белую бумагу, и (все даже вздрогнули) совершенно колосовским, стеклянным голосом громко объявил:

- Двойной траверс.

Он чертил замечательно скоро и уверенно. Линии у него выходили тоньше, чем у Колосова, и менее выпуклы, но так же красивы. Окончив чертеж и подписав все цифры, Александров со спокойной отчетливостью назвал все линии и все размеры, не произнеся ни одного лишнего слова, не сделав ни одного ненужного движения, спрятал мелок в карман и по-строевому вытянулся, глядя в холодные глаза полковника.

Колосов помолчал. Впервые юнкера увидели на его каменном лице что-то похожее на удивление.

– Почему же раньше, – спросил он, – почему раньше ваши чертежи были похожи на какие-то пейзажи и вы постоянно путались в названиях и цифрах? Что такое с вами сделалось?

– Я просто решил следовать до мельчайших подробностей вашим урокам, господин полковник.

- А может быть, вам надоели постоянные единицы?

– Отчасти, господин полковник.

– Гмм. Теперь вы меня поставили в очень неудобное положение. Поставить вам двенадцать я не могу, ибо это знак абсолютного совершенства, какого в мире не существует. Одиннадцать – это самый высший балл, на который знаю фортификацию только я. Поэтому не обижайтесь, что на этот раз я поставлю вам только десять. Можете сесть.

Это была большая победа, окрылившая Александра. После нее он сделался

¹⁹⁰ Себастьян Ле Претр де Вобан (1633–1707) – наиболее выдающийся военный инженер своего времени, маршал Франции, писатель. Выстроенные им крепости объявлены Всемирным наследием человечества.

¹⁹¹ Катаракт(а) – помутнение хрусталика глаза, препятствующее прохождению лучей света в глаз и приводящее к снижению остроты зрения.

лучшим фортификатором во всем училище и всегда говорил, что фортификация – простейшая из военных наук.

Текло время. Любовные раны зажили, огорчения рассеялись, самолюбие успокоилось, бывшие любовные восторги оказались наивной детской игрой, и вскоре Александровым овладела настоящая большая любовь, память о которой осталась надолго, на всю его жизнь...

Выветрилось понемножку и позорное сознание о злой неудаче в литературе. Верный инстинкт подсказал Александрову доброе противоядие: он опять вернулся к рисованию и живописи. Во все отпускные дни (а их теперь стало гораздо больше после победы над Колосовым) он ходил в Третьяковскую галерею, Строгановскую школу, в Училище живописи и ваяния или брал уроки у Петра Ивановича Шмелькова¹⁹². Множество картонов и блокнотов истратил он, делая портретные изображения карандашом, углем и акварелью со своих товарищей, начальников и учителей. Эта работа спорилась послушно и приятно. Новый клин окончательно вышиб клин старый.

Между прочим, подходило понемногу время первого для фараонов лагерного сбора. Кончились экзамены. Старший курс перестал учиться верховой езде в училищном манеже. Господа обер-офицеры стали мягче и доступнее в обращении с фараонами. Потом курсовые офицеры начали готовить младшие курсы к настоящей боевой стрельбе полными боевыми патронами. В правом крыле училищного плаца находился свой собственный тир для стрельбы, узкий, но довольно длинный, шагов в сорок, наглухо огороженный от Пречистенского бульвара.

Туда каждый день с утра до вечера водили молодых юнкеров поочередно, по четыре, на стрельбу, следили за тем, чтобы юнкер при выстреле не зажмурился, не вздрагивал при отдаче, глядел бы точно на мушку сквозь прорезь прицела и нажимал бы спуск не рывком, но плавным движением.

В другом конце тира ставились картонные мишени с концентрическими черными окружностями, попадать надо было в центральный сплошной кружок. Благодаря малости помещения выстрелы были страшно оглушительны, от этого юнкера подолгу ходили со звоном в голове и ушах и едва слышали лекции и даже командные слова.

Но еще труднее с непривычки была чересчур сильная отдача ложа в плечо при выстреле. Она была так быстра и тяжела, что, ударяясь в тринадцатифунтовую берданку, чуть не валит начинающего стрелка с ног. Оттого-то у всех фараонов теперь правое плечо и правая ключица в синяках и по ночам ноют.

Но и домашнее обучение стрельбе окончено. «Умей чистить и протирать винтовку, чтобы она и снаружи и внутри у тебя блестела, как зеркало». Наступает утро, когда весь батальон, со знаменем, строгим строем, в белых каламянковых¹⁹³ рубахах, под восхитительную музыку своего оркестра, покидает плац училища и через всю Москву молодецки марширует на Ходынское поле в старые-престарые лагеря.

Воспоминание о них остается слабым и незначительным для Александрова. Каждый день стрельба и стрельба, каждый день глазомерные и компасные съемки, каждый день батальонные учения и рассыпной строй. Идут постоянные дожди, когда юнкера сидят по баракам и в тысячный раз переизучивают уставы и «словесность».

Но самое главное то, что унижает фараонов до нуля, – это громадная роль и всеподавляющее значение, которые теперь легли на господ обер-офицеров.

На днях выборы вакансий, производство, подпоручичьи эполеты¹⁹⁴, высокое

¹⁹² Шмельков – талантливый рисовальщик. Он забыт современными русскими художниками. См. о нем монографию, написанную французским писателем Denis Roches. (Прим. автора.)

¹⁹³ Каламянковая – сделанная из плотной льняной ткани.

¹⁹⁴ Эполеты – наплечные знаки различия воинского звания на военной форме, практически вышедшие из обращения. В некоторых современных армиях сохранились как часть парадного

звание настоящего обер-офицера. Фараоны где-то вдали, внизу, в неизвестности и забвении. И они чрезвычайно были обрадованы, когда дня за три до производства старшего курса в первый офицерский чин их распустили в отпуск до конца августа.

Александров провел остаток лета вместе с мамой у своего шурина, мужа сестры Зины, в его чернореченском лесничестве, находящемся под Коломной. Там он много охотился, ловил рыбу и шлялся по лесам за ягодами и грибами.

Осталось одно неприятное и стыдное воспоминание о жене лесника Егора, Марье, красивой, здоровой бабенке, которая ему вскоре опротивела до смерти.

Вернулся он в училище настоящим обер-офицером, выросший чуть ли не на голову, с хриплыми басовыми нотами в голосе, загорелый, отрастивший настоящие усы в один миллиметр длиной.

О, как ему знакомы, близки и жалки были беспомощные неуклюжести новичков, их растерянность, их неумение найти тон. Он никогда не забывал своих первых жутких впечатлений в училище, когда был, точно чудом, перенесен из игрушечной жизни в суровую и строгую настоящую жизнь.

Он был хорошим обер-офицером, всегда готовым на помощь и на защиту фараону. Но старых адатов он не касался. Он чувствовал, что в них есть и надобность и скрепляющая сила.

Он был пламенным поклонником темпа.

– Темп, – говорил он фараонам, – есть великое шестое чувство. Темп придает уверенность движениям, ловкость телу и ясность мысли. Весь мир построен на темпе. Поэтому, о! фараоны, ходите в темп, делайте приемы в темп, а главное, танцуйте в темп и умеете пользоваться темпом при фехтовании и в гимнастических упражнениях.

Он и сам не подозревал того, что очень любившие его фараоны между собою называли его «обер-офицер Темп».

Ротный командир Дрозд, не стесняясь, говорил иногда, что он очень жалеет, почему Александров не дотянул на экзаменах до общего среднего балла, который дал бы ему возможность стать портупей-юнкером, командиром взвода.

Но, увы! Полковник Колосов не мог простить ему воистину волшебного просияния в фортификации и к круглым десяткам упрямо присоединял прошлые единицы, тройки и пятерки, поставленные еще на репетициях, чем и понизил значительно шансы Александрова. Увы! Этот слишком земной человек не веровал в чудеса и не ценил их. Но это не огорчало Александрова. Он наслаждался спокойной военной жизнью, ладностью во всех своих делах, доверием к нему начальства, прекрасной пищей, успехами у барышень и всеми радостями сильного мускулистого молодого тела.

Глава XVI

Дрозд

В четвертой роте числится сто юнкеров, но на рождественские каникулы три четверти из них разъехалось из Москвы по дальним городам и родным тихим гнездам: кто в Тифлис, кто в Полтаву, Полоцк, Смоленск, Симбирск, Новгород, кто в старые деревенские имения. Им хорошо: сплошь две недели отдыха, веселия, приключений, охоты, поездок ряжеными; никакой заботы и памяти об училище. Они вернутся в него лишь десятого января, осипшие от дороги, загоревшие крепким зимним загаром, потолстевшие, с большим запасом домашних варений, солений, сухих яблоков, малороссийского сала, чурчхелы¹⁹⁵, бадриджанов¹⁹⁶ и прочей снеди.

обмундирования.

¹⁹⁵ Чурчхела – грузинское национальное лакомство. Приготавливают из нанизанных на нитку

А вот коренным москвичам – туго. Изволь являться трижды в неделю в училище, да еще ровно к семи часам утра, и только для того, чтобы на приветствие Дрозда (командира четвертой роты, капитана Фофанова) проорать: «Здравия желаю, ваше высокоблагородие». А зачем? Мы, здешние, также никуда не убежим, как и иногородние.

Приблизительно так бурчит про себя господин обер-офицер Александров, идя торопливыми большими шагами по Поварской к Арбату. Вчера была елка и танцевали у Андриевичей. Домой он вернулся только к пяти часам утра, а подняли его насилу-насилу в семь без двадцати. Ах, как бы не опоздать! Вдруг залепит Дрозд трое суток без отпуска. Вот тебе и Рождество...

Глаза у Александрова еще не совсем проснулись после краткого сна, в них чувствуется резь и усталость. Но запах снега так вкусен, мороз так весел, быстрое движение так упорно гонит горячую кровь по всему телу... Через две минуты Александров спрашивает самого себя с удивлением: «Где же моя усталость, недовольство и кислота?» Их нет, исчезли. Тело не имеет больше веса. Эта невесомость – одно из блаженнейших ощущений на свете, но оно негативно, оно так же незаметно и так же не вызывает благодарности судьбе, как тридцать два зуба, емкие легкие, железный желудок; поймет его Александров только тогда, когда потеряет его навсегда; так, лет через двадцать.

Снег тонко скрипит под его лакированными сапожками. Снег скрипит под ногами у всех пешеходов. Он визжит под полозьями саней, оставляющих за собою в нем блестящие, скользкие полосы, а на заворотах он крепко хрустит, смятый полозьями. Из всех труб высоко над домами стоят, неподвижно устремясь в зеленое небо и там слегка курчавясь, белые прямые столбы дыма. Вот налево Савостьянов, булочная, а наискосок Арбатской площади – белое длинное здание Александровского училища на Знаменке, с золотым малым куполом над крышей, знак домашней церкви. Слава богу, минута в минуту. Не опоздал.

Портупей-юнкер Золотов – круглый сирота; ему некуда ехать на праздники, он заменяет фельдфебеля четвертой роты. Он выстраивает двадцать шесть явившихся юнкеров в учебной галерее в одну шеренгу и делает им перекличку. Все в порядке. И тотчас же он командует: «Смирно. Глаза налево». Появляется с левого фланга Дрозд и здоровается с юнкерами.

Мальчишеские прозвища удивительно метки. Капитан Фофанов вислопеч и длиннонос. Его худощавое лицо смугло и румяно. Черные волосы на голове разделены косым четким пробором; легкой красиво-неуклюжей перевалочкой и боковым наклоном головы, при внимательном и быстром взгляде, он действительно напоминает птицу, и именно черного дрозда. Он очень требователен и суров в делах службы и строевого учения. «Без отпуска», карцер, дежурства и дневальства вне очереди так и сыпятся из него в несчастливые для юнкеров дни. И все это с величайшей вежливостью: «Юнкер Александров, будьте любезны отправиться на двое суток под арест, с исполнением служебных обязанностей». Но вне условий, требующих крутой дисциплины, он фамильярный¹⁹⁷ друг, защитник и всегдашняя выручка. Эти его милые черты хорошо знакомы всем проказливым юнкерам четвертой роты и особенно Александрову, самому неистовому баловнику. Но зато Дрозд ненавидит малейший оттенок лжи и требует от провинившегося юнкера мгновенного и точного признания.

Однажды юнкер Александров был оставлен без отпуска за единицу по фортификации. Скитаясь без дела по опустевшим залам и коридорам, он совсем ошалел

орехов в загущённом мукой виноградном соке.

¹⁹⁶ Бадриджан – баклажан.

¹⁹⁷ Фамильярный – развязный, слишком непринужденный, бесцеремонный.

от скуки и злости и, сам не зная зачем, раскалил в камине уборной докрасна кочергу и тщательно выжег на красной фанере огромными буквами слово «Дрозд».

В понедельник утром, после утренней переключки, еще не распуская роты, выдержав паузу, капитан спросил, по обыкновению протягивая перед некоторыми словами длинный ять¹⁹⁸ (он был чуть-чуть зайкой):

– Э-какой это болван э-начертил в нужнике э-какую-то похабщину?

Александров в ту же секунду громко крикнул из строя:

– Я, господин капитан!

Командир совсем по-птичьи окинул юнкера боковым взглядом и произнес с презрительным равнодушием:

– Э-так я и знал. – И скомандовал роте: – Разойдитесь!

Вечером, перед чаем, когда все зубрили, сидя на своих койках, уроки к завтраму, юнкер Александров увидел Дрозда, проходившего по галерее, и подбежал к нему. Юнкер весь день томился, подавленный великодушием начальника.

– Господин капитан, позвольте мне попросить у вас прощения.

– Э-дурачок, – протянул Дрозд. – Э-пустяки. Ступай заниматься, э-чертежник ты этакий!

И слегка толкнул его ладонью в спину. Но в голосе Дрозда и его прикосновении юнкер почувствовал теплоту.

Так воспитывал Дрозд своих девятнадцатилетних птенцов в проворном повиновении, в безусловной правдивости, на широкой развязке взаимного доверия.

Дрозд, заложив руки за спину, медленно, неуклонно идет вдоль фронта, зорко оглядывая каждое лицо, каждую пуговицу, каждый пояс, каждый сапог. Рядом с Александровым стоит крепко сбитый широкоплечий чернявый Жданов. Он нехорошо бледен, и белки его глаз слюняво желтоваты.

– Э-нездоров? – спрашивает Дрозд.

– Никак нет, господин капитан. Здоров.

Дрозд поводит туда-сюда острым подозрительным носом.

– Э-какую гадость вчера пил? – спрашивает он брезгливо.

Юнкер жмется, но тотчас отвечает:

– В гостях давали ананасный ликер, господин капитан.

– Ффу, какая мерзость! – морщится Дрозд. – Э-это не ликер, а дерьмо. И зачем тебе пробовать э-ликеры. Ну, выпей стакан красного вина, и э-довольно с тебя. А лучше и э-совсем не пей. Пьют от скуки паршивые неудачники, а перед тобою э-целый мир впереди. Будь весел и пьян э-без вина.

Подходит к концу докучный осмотр. У юнкеров чешутся руки и горят пятки от нетерпения. Праздничных дней так мало, и бегут они с такой дьявольской быстротой, убегают и никогда не вернутся назад!

Но Дрозд выходит на середину фронта, достает из отворота рукава какую-то бумажку и не спеша ее разворачивает. «Да поскорее ты, Дроздище!» – мысленно понукает его Александров.

Дрозд начинает читать, мучительно растягивая свои яти:

– По распоряжению начальника училища сегодня наряжены на бал, имеющий быть в Екатерининском женском институте, двадцать четыре юнкера, по шести от каждой роты. От четвертой роты поедут юнкера:

Он делает небольшим молчанием двоеточие, совсем маленькое, всего в полторы секунды, но в этот короткий промежуток сотни тревожных мыслей пробегают в голове Александра.

¹⁹⁸ Ять – название буквы «Ҁ», обозначающей в древности особый звук, впоследствии совпавший с «е».

Сегодня его день так полно и счастливо занят, что даже совсем не остается места для семейных радостей. К десяти часам он должен ждать в Зоологическом саду Наташу Манухину. Они будут кататься с великолепных ледяных гор. Какое острое наслаждение нестись стремительно вниз на маленьких салазках по отвесной сверкающей дороге, подвернув левую ногу под себя, а правой, как рулем, давая прямое направление волшебному лету. Правда, Наташа придет не одна, а в сопровождении скучной англичанки, похожей на птицу марабу. Но, к счастью, гувернантка не любит кататься с гор и, кажется, считает это одним из русских варварств. Она будет торчать на вышке, кутая в широкое обезьянье боа¹⁹⁹ свой красный британский нос. А Наташа назло ей будет требовать еще и еще, и в последний раз еще и в самый-самый последний. Лицо Александрова слегка щекочет Наташина котиковая шубка, и как сладко пахнет эта шубка мехом и тонкими неизъяснимыми духами, и сама Наташа, наверно, гордится своим кавалером: «Как ловок и смел этот милый Александров и, кажется, немного влюблен в меня». Ах, Наташа, совсем не немного, наоборот: до безумия.

В час завтрак у Шпаковских, а после завтрака веселая репетиция водевиля²⁰⁰ «Не спросясь броду, не суйся в воду», где Александров играет Макарку, а также и в живых картинах. Должно быть, и потанцуют немного. В этом большом, уютном, безалаберном доме две девочки, три барышни и всегда множество их подруг всяких возрастов. Там с утра до вечера поют, танцуют, устраивают игры, едят, влюбляются и звонко смеются. Александрову часто кажется, что он влюблен в младшую из барышень, в белокурую розовую Нину. Впрочем, все любви Александрова так многочисленны и скоропалительны, что сестра в шутку зовет его – господин Сердечкин.

Потом обед у Калмыковых, и тоже танцы. А затем – самое главное – вечером знаменитая елка в Благородном собрании, на которую съезжается вся молодая Москва: дети, подростки, барышни и юноши. Туда он обещал сопровождать трех приехавших из Пензы землячек: Машеньку Полубояринову, Сонечку Аничкову и Зою Скрипицыну. Бал, на котором танцуют, после того как детей увезут по домам, до тысячи молодых людей. И, если говорить по правде, уже не в Машеньку ли влюбился, по-настоящему и мгновенно, несчастный юнкер в тот вечер, когда она играла Шопена, а он стоял, прислонившись к пианино, и то видел, то не видел ее нежное лицо, такое странное и такое изменчивое в темноте.

«Только не меня. Дорогой, золотой Дрозд, только, пожалуйста, не меня», – мысленно умоляет Александров.

– Э-Рихтер, – произносит капитан, – Жжданов, Бутынский, Карганов, Прибиль...

«Пронеси, пронеси, пронеси!» – умоляет судьбу Александров, изо всех сил стискивая зубы и кулаки. И вот падает холодно и непреклонно:

– И э-Александров. Кто хочет завтракать или обедать в училище, заявите немедленно дежурному для сообщения на кухню. Ровно к восьми вечера все должны быть в училище совершенно готовыми. За опоздание – до конца каникул без отпуска. Рекомендую позаботиться о внешности. Помните, что александровцы – московская гвардия и должны отличаться не только блеском души, но и благородством сапог. Тьфу, наоборот. Затем вы свободны, господа юнкера. Перед отправкой я сам осмотрю вас. Разойдитесь.

На лестнице Александров догоняет Дрозда. Последняя, отчаянная попытка.

– Господин капитан!

Дрозд останавливается на ступеньке, в птичий недоверчивый полуоборот к юнкеру.

¹⁹⁹ Боа – длинный узкий шарф из меха или перьев.

²⁰⁰ Водевиль – жанр легкой комедийной пьесы или спектакля с занимательной интригой или анекдотическим сюжетом, сопровождающийся музыкой, куплетами, танцами.

– Э-что еще?

– Господин капитан, позвольте вам сказать, что я катался на коньках, и у меня подвернулась нога. Прямо ступить нельзя, такая боль.

– Э-врешь. Пойди в лазарет и принеси свидетельство.

Душа Александра катится вниз, как с ледяной горы в Зоологическом.

– Господин капитан, – говорит он смущенно. – Положим, я могу себя осилить. Но у меня другие, важные причины.

– Ну?

– Нет перчаток.

Дрозд хмурится.

– Э-покажи руки.

Юнкер поворачивает обе руки ладонями вверх. Дрозд делает то же самое и сверяет руки свои и его.

– Ерунда. У нас одинаковый размер. Семь или семь с половиной, э-небольшая разница. Вечером я тебе пришлю мои, спросишь у фельдфебеля. Ступай. Ну, что же ты стоишь?

– Господин капитан, – робко говорит юнкер, вновь тронутый великодушием этого чудака. – Положим, перчатки у меня есть, только очень грязные, но я их могу вымыть. Но я должен вам сказать правду (сейчас Александров подпустит маленькую лесть). Я знаю, что вы все можете простить.

Дрозд перебивает его, угрожающе вздернув подбородок вверх.

– Э-далеко не все.

– Простить очень многое, если вам говорят правду.

Дрозд с сомнением косится на юнкера.

– Э-попутай, попутай у меня еще!

– И вот я вам должен признаться откровенно, что...

– Э-девчонки, должно быть?

– Точно так, господин капитан. Барышни. Приехали только на две недели в Москву из Пензы. Мои родственницы. Обещался быть в Благородном собрании на елке. Дал честное слово. Ужасно обидно будет обмануть их и подвести.

Но Дрозд упрямо трясет головою.

– Э-все равно поедешь. А женскую душу я знаю лучше тебя. Опоздал, не пришел – пускай сердится: в следующий раз будет ждать еще нетерпеливее. И кроме того, я тебе скажу (тут его голос смягчается), что бал Благородного собрания, это – толкучка, рынок, открытый вход, открытый для всех: купеческие дочери из Замоскворечья, немки, цирюльницы, чиновники и другие шпаки всякие. А в Екатерининский институт на бал можно попасть лишь по строгому выбору, по именному, личному приглашению. В Екатерининском, э-дружок мой, учатся девицы лишь из самых древних, самых настоящих, дворянских фамилий. Истинная, столбовая русская аристократия не в Петербурге, голубчик, а в Москве, у нас. Не пропускай случая. Летом выйдешь в офицеры. Придется тебе надолго, если не навсегда, законопатиться в каком-нибудь Проскурове или Кинешме, и никогда ты в жизни не увидишь подобной прелести и красоты. Ну, разве воинская доблесть вытянет тебя вверх или чудом попадешь в Академию, тогда – может быть... Но вернее всего, что навсегда нынешний бал останется для тебя, как прекрасный и э-неповторимый сон. И я тебе твердо говорю, что в пятницу ты сам же поблагодаришь меня. Э-иди, иди, юнкер.

Он ласково концами пальцев потрепал Александра по плечу и поспешно стал спускаться по лестнице.

«Что же, – подумал Александров. – Видно, так и быть. Хорошо еще, что не на весь день оставил в училище. Все-таки кое-куда поспею. А Машеньке Полубояриновой

пошлю записку с посыльным. Да вот еще: пораньше вымыть замшевые перчатки... Ну и Дрозд! Все-таки с ним можно жить. На все смотри, парады, встречи и церемонии, когда назначают юнкеров по выбору, он неизменно посылает и Александрова. О, тут большая ревность! Все училище помнит, по старому преданию, о том, как застрелился в курилке юнкер Кувшинников, будучи не включенным в те двенадцать рядов со знаменем, которые были наряжены в почетный караул для встречи государя. Здесь дело чести! Да и правда, юнкер Александров не особенно красив, – признается сам себе Александров, – скажем, даже совсем некрасив. Но он лучше многих прыгает через деревянную кобылу и вертится на турнике, он отличный строевик, в танцах у него ритм и послушность всех мускулов, а лучше его фехтуют на рапирах только два человека во всем училище: юнкер роты его величества Чхеидзе и курсовой офицер третьей роты поручик Темирязов... А красота? Что такое мужская красота?»

Восемь без пяти. Готовы все юнкера, наряженные на бал. («Что за глупое слово, – думает Александров, – «наряженные». Точно нас нарядили в испанские костюмы».) Перчатки вымыты, высушены у камина; их пальцы распялены деревянными расправилками. Все шестеро, в ожидании лошадей, сидят тесно на ближних к выходу койках. Тут же примостился и Дрозд. Он дает последние наставления:

– Следите за своим ножом и вилкой и опрятностью на тарелке, если позовут вас ужинать. Рыбу – только вилкой; можете помогать хлебной корочкой. Птицу в руки не брать. Ешь небольшими кусками, чтобы не быть с полным ртом, когда соседка обратится к тебе с разговором. Девчонкам глупостей не врать, всякие чувства побоку и э-к черту-с. Начальнице и генералам кланяться придворным поклоном, как учил танцмейстер. Если начальница протянет руку, приложись, но, склонившись, не чмокай. За старшего Рихтер. Вот и все. Завидую вам.

– Поехали бы с нами, господин капитан, – говорит Александров.

– Э-куда мне. Стар.

Довод печальный, но для юнкеров убедительный. Дрозду тридцать шесть лет. Действительно, в эгоистичном измерении юнкеров, это – глубокая старость. Александров, например, твердо решил дожить только до тридцати лет, а потом застрелиться. Стоит ли продолжать жить древним старцем, хладеющим развалиной?

– Вы еще совсем молоды, господин капитан, – говорит с лицемерным сочувствием цветущий армянин Карганов.

Дрозд машет рукой.

– Где уж!.. куда уж!..

Уедут юнкера туда, где свет, музыка, цветы, прелестные девушки, духи, танцы, легкий смех, а Дрозд пойдет в свою казенную холостую квартиру, где, кроме денщика, ждут его только два живых существа, две черные дворняжки, без признаков какой бы то ни было породы: э-Мальчик и э-Цыган. Говорят, что Дрозд выпивает по ночам в одиночку.

Служитель быстро взбегает по лестнице и навтыжку останавливается перед Дроздом:

– Лошади поданы, ваше высокоблагородие.

– Ну, с Богом, – говорит Дрозд, вставая. – Верю, что поддержите блеск и славу родного училища. После танцев сразу на мороз не выходите. Остыньте сначала. Рихтер, ты за этим присмотришь.

– Слушаю, господин капитан.

А служитель, коренной, всезнающий москвич, возбужденно шепчет сбоку юнкерам:

– Четыре тройки от Ечкина. Ечкинские тройки. Серые в яблоках. Не лошади, а львы. Ямщик грозит: «Господ юнкеров так прокачу, что всю жизнь помнить будут».

Вы уж там, господа, сколотитесь ему на чайшко. Сам Фотоген Павлыч на козлах.

Глава XVII Фотоген Павлыч

– С Богом. Одевайтесь, – приказал Дрозд. – Э-смотрите, носов не отморозьте. Семнадцать градусов на дворе.

Юнкера волнуются и торопятся. Шинели надеваются и застегиваются на бегу. Башлыки²⁰¹ переброшены через плечо или зажаты под мышкой. Шапки надеты кое-как. Все успеется на улице.

Здесь – вольное, безобидное состязание с юнкерами других рот. Надо во что бы то ни стало первыми выскочить на улицу и завладеть передовой, головной тройкой. Весело ехать впереди других!

Но вот едва успели шестеро юнкеров завернуть к началу широкой лестницы, спускающейся в прихожую, как увидели, что наперерез им, из бокового коридора, уже мчатся их соседи, юнкера второй роты, по училищному обиходу – «звери», или, иначе, «извозчики», прозванные так потому, что в эту роту искони подбираются с начала службы юноши коренастого сложения, с явными признаками усов и бороды. А сзади уже подбежали и яростно напирают третья рота – «мазочки» и первая – «жеребцы». На лестнице образовался кипучий затор.

– Четвертая, не выдавай! – кричит голосистый Жданов где-то впереди.

Александров пробуравливается сквозь плотные, сбившиеся тела и вдруг, как пробка из бутылки, вылетает на простор. Он видит, что впереди мелким, но быстрым шагом катится вниз коротконогий Жданов. За ним, как будто не торопясь, но явно приближаясь к нему, сигает зараз через три ступеньки длинный, ногастый «зверь», у которого медный орел барашковой шапки отъехал впопыхах на затылок. Все трое в таком порядке сближаются на равные расстояния.

В эти доли секунды Александров каким-то инстинктивным, летучим глазомером оценивает положение: на предпоследней или последней ступени «зверь» перегонит Жданова. «Ах, если только хоть чуть-чуть нагнать этого долговязого, хоть коснуться рукой и сбить в сторону! Жданов тогда выскочит». Вопрос не в личной победе, а в поддержании чести четвертой роты.

И судьба ему помогает: правда, со внезапной грубостью. Кто-то сзади и с такою силою толкает Александрова, что его ноги сразу потеряли опору, а тело по инерции беспомощно понеслось вперед и вниз. Момент – и Александров неизбежно должен был удариться теменем о каменные плиты ступени, но с бессознательным чувством самосохранения он ухватился рукой за первый предмет, какой ему попался впереди, и это была пола вражеской шинели.

Оба юнкера упали и покатались вниз. Над ними, наступая на них, промчались бегущие ноги.

– Черт вас возьми! – заворчал «зверь». – Это прием неправильный. Я ушиб себе коленку.

В эту минуту Александров почувствовал, что и он сам ссадил себе локоть. Подымаясь, он сказал шутливо, но с сочувствием:

– На войне все приемы правильны. Позвольте, я помогу вам встать. Меня пихнули сзади, и, уверяю вас, что без вашей невольной помощи я разбился бы в лепешку, а так только локтем стукнулся.

– Ну, да уж ладно, – засмеялся «зверь», еще морщась от боли. – До свадьбы у нас

²⁰¹ Башлык – суконный остроконечный капюшон, надеваемый в непогоду поверх какого-либо головного убора.

обоих заживет. Пойдемте-ка.

В передовых санях, стоя, высился Жданов и орал во весь голос:

– Четвертая рота! Господа обер-офицеры! Сюда! – Теперь уже никто из чужой роты не позволил бы себе залезть в эту тройку. Таково было неписаное право первой заявки.

Какими огромными, неправдоподобными, сказочными показались Александрову в отчетливой синеве лунной ночи рослые серые кони с их фырканием и храпом: необычайно широкие, громоздкие, просторные сани с ковровой тугой обивкой и тяжелые высокие дуги у коренников²⁰², расписанные по белому неведомыми цветами.

Белый пар шел из лошадиных ноздрей и от лошадиных спин, и сквозь него знакомый газовый фонарь на той стороне Знаменки расплывался в мутный радужный круг.

Ямщик перегибается с козел, чтобы отстегнуть волчью полость. Усы у него белые от инея, на голове большая шапка с павлиньими перьями. Глаза смеются.

– Садитесь, садитесь, господа юнкера. В дороге утрясетесь, всем слободно будет.

– Тебя ведь Фотоген Палычем зовут? – спрашивает Бутынский.

– Совершенно верно, – отвечает ямщик, обмякаясь на козлах. Голос у него приятный, уверенный и немного смешливый. – А вы откуда знаете?

Находчивый Карганов, не задумываясь, отвечает:

– Кто же не знает знаменитого Фотоген Палыча?

Другие юнкера быстро подхватывают:

– Тебя вся Москва знает. Первый троечник²⁰³ в Москве. Не в Москве, а во всей России. Это нам уж так повезло, в твои сани попасть.

Невинная лезть! Однако она доходит до крутого ямщицкого сердца.

– Буде, буде... наговорили.

Он тихо, но густо смеется: немного похоже на то, как довольно регочет жеребец, когда к нему в стойло входит конюх с мерой овса.

– Пошли, что ли? – кричит сзади ямщик нараспев.

Фотоген Палыч, разобрав вожжи, в последний раз поерзал задом на сиденье и, слегка повернув голову, протянул внушительным баском:

– Тро-огай...

Заскрипели, завизжали, заплакали полозья, отдираясь от настывшего снега, заговорили нестройно, вразброд колокольцы под дугами. Легкой рысцой, точно шутя, точно еще балуясь, завернула тройка на Арбатскую площадь, сдержанно пересекла ее и красиво выехала на серебряный Никитский бульвар.

Никогда не забыть потом Александрову этой прелестной волшебной поездки! Ему досталось место лицом к лошадям, крайнее справа. Он мог свободно видеть косматую голову широкобокого коренника и всю целиком правую пристяжную, изогнувшую кренделем, низко к земле, свою длинную гибкую шею, и даже ее кровавый темный глаз с тупой, злой белизной белка. С удовольствием он чувствовал, как в лицо ему летят снежные брызги из-под лошадиных копыт. Но в душе его все-таки мелькала, как, может быть, и у других юнкеров, досадная мысль: где же, наконец, эта пресловутая, безумная скачка, от которой захватывает дух и трепыхает сердце? Или она только для пьяных московских купцов? А еще грозился лихо прокатить «юнкерей»!

Но эта дурная мысль так же быстро исчезла, как и пришла. В езде Фотогена есть магическая непонятная красота.

Пробежал назад Тверской бульвар, с его нарядными освещенными особняками.

²⁰² Коренник – лошадь, впрягаемая в корень, то есть в оглобли; средняя лошадь в тройке (при наличии пристяжных)

²⁰³ Троечник – здесь: извозчик, ямщик на тройке.

Темный Пушкин на высоком цоколе задумчиво склонил свою курчавую голову. Напротив широкая белая масса Страстного монастыря, а перед ней тесная биржа лихачей и парных «голубков». Кто-то из юнкеров закурил. Александров с трудом достал свой кожаный портсигар и долго возился со спичками, упрямо гасшими на быстром движении. Когда же ему удалось разжечь папиросу и он поглядел перед собою, то он уже не мог узнать ни улиц, ни самой Москвы. Ехали какими-то незнакомыми чужими местами.

Какой великий мастер своего дела Фотоген Палыч! Вот он едет узкой улицей. Неизъяснимыми движениями вожжей он сдвигает, сжимает, съезживает тройку и только изредка негромко покрикивает на встречные сани:

– Берегись. Поб-берегись, извозчик!

Но только поворотит на улицу посвободнее, как сразу распустит, развернет лошадей во всю ее ширину, так что загнувшиеся пристяжные чуть не лезут на тротуары. «Эй, с бочками! держи права!» И опять соберет тесно свою послушную тройку.

«Точно закрывает и раскрывает веер, – думает Александров, – так это красиво!»

А сидящий с ним рядом смуглый Прибиль, талантливый пианист, бодает его головой в плечо и, захлебываясь, говорит непонятные слова:

– Крещендо и диминуендо²⁰⁴ ... Он – как Рубинштейн!

Временами неведомая улица так тесна и так запружена санями и повозками, что тройка идет шагом, иногда даже приостанавливается. Тогда задние лошади вплотную надвигаются мордами на задок, и Александров чувствует за собою совсем близкое, теплое, влажное дыхание и крепкий приятный запах лошади.

А потом опять широкая безымянная улица, и легкий лет саней, и ладный ритм лошадиных копыт: та-та-та-та – мерно выстукивает коренник, тра-та, тра-та, тра-та – скачут пристяжные. И все так необычайно в таинственном нездешнем городе. Вот под полотняным навесом, ярко освещенный висячим фонарем, стоит чернобородый, черноглазый, румяный, белозубый торговец около яблочного ларя. В прекрасные призмы уложены желтые, красные, белые, пунцовые, серые яблоки. Издали чувствуется в них аромат и ясно воображается на зубах их сладкая кислинка (если бы закусить кусочек поглубже). Вот выбежала из ворот, без шубки, в сером платочке на голове, в крахмальном передничке, быстроногая горничная: хотела перебежать через дорогу, испугалась тройки, повернулась к ней, ахнула и вдруг оказалась вся в свету: краснощекая, веселая, с блестящими синими глазами, сияющими озорной улыбкой. «Поберегитесь, красавица! Задавлю!» – воркующим голосом окликает ее Фотоген и, полуобернувшись назад, говорит:

– Ладные у нас бабочки на Москве живут. – И сейчас же окрикает замешкавшегося возчика: – Заснул, гужеед²⁰⁵!

И вот юнкера едут по очень широкой улице. Александрову почему-то вспоминается давнишняя родная Пенза. Направо и налево деревянные дома об одном, реже о двух окошках. Кое-где в окнах слабые цветные огоньки, что горят перед иконами. Лают собаки. Фотоген идет все тише и тише, отпрукивая тонким учтивым голосом лошадей.

Наконец останавливается у трактира. Там, сквозь запотевшие стекла, чувствуется яркое освещение, мелькают быстрые большие тени, больше ничего не видно. Слышны звуки гармонии и глухой, тяжелый топот.

Вторая тройка проезжает мимо. С нее слышится окрик:

– Чего стал, дядя Фотоген?

²⁰⁴ Музыкальные термины для обозначения изменения громкости.

²⁰⁵ Гужеед – тот, кто имеет дело с гужевым транспортом (кучер, извозчик и т.п.).

– Супонь²⁰⁶, – сердито отвечает Фотоген.

А уж с третьей тройки доносится деловой бас:

– Знаем мы твою супонь...

Фотоген не спеша слезает с облучка, поддерживая, как шлейф, длинные полы армяка²⁰⁷, и величественно передает вожжи Александрову.

– Подержи, барин. Мне тут нужно по одному делу.

Александров польщен и сразу становится важным. Но только – как груба и тяжела эта огромная путаница вожжей.

Юнкера ропщут:

– Да что же это, Фотоген Палыч? Мы так последние приедем. Срам какой!

– Не тревожьтесь, юнкаря, – спокойно говорит ямщик. – С Фотоген Павлычем едете!

Он распахивает дверь и исчезает в облаках угарного пара, табачного дыма, крика и звона, которые стремительно вылетают из трактира и мгновенно уносятся вверх.

– Вот тебе и Фотоген! – уныло говорит Жданов.

Но ямщик не заставляет долго себя ждать. Через две минуты дверь кабака распахивается и в белых облаках, упруго взвивающихся вверх, показывается Фотоген Павлыч, почтительно провожаемый хромоногим половым в белой рубахе и в белых штанах.

– Счастливого вам пути, Фотоген Павлович, – учтиво говорит половой.

Фотоген берет вожжи из рук Александрова.

– Спасибо тебе, барин, – говорит он, влезая на козлы и что-то дожевывая. – А вы, господа юнкаря, не сомневайтесь. Только предупреждаю: держитесь крепко, чтобы вы не рассыпались, как картофель.

Он весел. На морозе необыкновенно вкусно пахнет от него винцом...

– Ведь какой расчет, – говорит он, разбирая вожжи и усаживаясь половчее, – они, видите, поехали прямой дорогой, только ухабистой, где коням настоящего хода нет. А у меня путь легкий, укатный. Мне лишние четь-версты – наплевать.

И вдруг дико вскрикивает:

– Ей вы, крылатя-я!

«Господи, – думает Александров, – почему и мне не побыть ямщиком. Ну, хоть не на всю жизнь, а так, года на два, на три. Изумительная жизнь!»

Дальше впечатления Александрова были восхитительны, но сумбурны, беспорядочны и туго припоминаемые. Остались у него в памяти: резкий ветер, стегавший лицо и пресекавший дыхание, стук снежных комьев о передок, медвежья перевалка коренника со вздыбленной, свирепой гривой и такая же, будто в такт ему, перевалка Фотогена на козлах. Как во сне, припоминал он потом, что ехали они не то лесом, не то парком. По обеим сторонам широкой дороги стояли густые, белые от снега деревья, которые то склонялись вершинами, когда тройка подъезжала к ним, то откидывались назад, когда она их промелькнула.

Помнилось ему еще, как на одном крутом повороте сани так накренились на правый бок, точно ехали на одном полозе, а потом так тяжело ухнули на оба полоза, перевалившись на другой бок, что все юнкера одновременно подскочили и крикнули. Не забыл Александров и того, как он в одну из секунд бешеной скачки взглянул на небо и увидел чистую, синевато-серебряную луну и подумал с сочувствием: «Как ей, должно быть, холодно и как скучно бродить там в высоте, точно она старая больная вдова; и такая одинокая».

На последнем повороте Фотоген нагнал своих. Впереди его была только вторая

²⁰⁶ Супонь – ремень для стягивания хомута при запряжке лошади.

²⁰⁷ Армяк – верхняя, долгополая одежда из грубой, шерстяной ткани.

тройка. Он закричал, сам весь возбужденный веселым летом:

– Право держи, любезный!

– У, черт, дьявол, леший, – отозвался без злобы, скорее с восхищением, обгоняемый ямщик. – Куда прешь!

Но уже показался дом-дворец с огромными ярко сияющими окнами. Фотоген въехал сдержанной рысью в широкие старинные ворота и остановился у подъезда. В ту минуту, когда Рихтер передавал ему юнкерскую складчину, он спросил:

– Лихо ли, юнкера?

Они и слов не находили, чтобы выразить свое удовольствие. Правда, они уже искренне успели забыть о тех минутах, когда каждый из них невольно подумывал: «Потише бы немножко».

– Назад опять со мной поедете, – говорил Фотоген, отъезжая. – Только крикните меня по имени: Фотоген Павлыч.

Глава XVIII

Екатерининский зал

Ечкинские нарядные тройки одна за другою подкатывали к старинному строгому подъезду, ярко освещенному, огороженному полосатым тиковым шатром и устланному ковровой дорожкой. Над мокрыми серыми лошадьми клубился густой белый пахучий пар. Юнкера с трудом вылезали из громоздких саней. От мороза и от долгого сидения в неудобных положениях их ноги затекли, одеревенели и казались непослушными: трудно стало их передвигать.

Наружные массивные дубовые двери были распахнуты настежь. За ними, сквозь вторые стеклянные двери, сияли огни просторного высокого вестибюля, где на первом плане красовалась величественная фигура саженого швейцара, бывшего перновского гренадерского фельдфебеля, знаменитого Порфирия.

Его ливрея до полу и пышная пелерина²⁰⁸ – обе из пламенно-алого тяжелого сукна – были обшиты по бортам золотыми галунами, застегнуты на золотые пуговицы и затканы рядами черных двуглавых орлов. Огромная треуголка²⁰⁹ с кокардою и белым плюмажем покрывала его голову в пудреном парике с белою косичкою. В руке швейцар держал на отлете тяжелую булаву с большим золоченым шаром, который высился над его головою. Его великолепный костюм, его рост и выправка, его черные, густые, толстые усы, закрученные вверх тугими кренделями, придавали его фигуре вид такой недоступной и суровой гордости, какой позавидовали бы многие министры...

Он широко распахнул половину стеклянной двери и торжественно стукнул древком булавы о каменный пол. Но при виде знакомой формы юнкеров его служебно серьезное лицо распустилось в самую добродушную улыбку.

По училищным преданиям, в неписаном списке юнкерских любимцев, среди таких лиц, как профессор Ключевский, доктор богословия Иванцов-Платонов, лектор и прекрасный чтец русских классиков Шереметевский, капельмейстер Крейнбринг, знаменитые фехтовальщики Пуарэ и Тарасов, знаменитый гимнаст и конькобежец Постников, танцмейстер Ермолов, баритон Хохлов, великая актриса Ермолова и немногие другие штатские лица, – был внесен также и швейцар Екатерининского института Порфирий. С незапамятных времен по праздникам и особо торжественным дням танцевали александровцы в институте, и в каждое воскресенье приходили многие из них с конфетами на официальный, церемонный прием к своим сестрам или кузинам,

²⁰⁸ Пелерина – короткая до пояса накидка поверх платья.

²⁰⁹ Треуголка – шляпа с полями, загнутыми так, что они образуют три угла.

чтобы поболтать с ними полчаса под недреманным надзором педантичных и всевидящих классных дам. Кто знает, может быть, теперешнего швейцара звали вовсе не Порфирием, а просто Иваном или Трофимом, но так как екатерининские швейцары продолжали сотни лет носить одну и ту же ливрею, а юнкера старших поколений последовательно передавали младшим древнее, привычное имя Порфирия Первого, то и сделалось имя собственное Порфирий не именем, а как бы званием, чином или титулом, который покорно наследовали новые поколения екатерининских швейцаров.

Нынешний Порфирий был всегда приветлив, весел, учтив, расторопен и готов на услугу. С удовольствием любил он вспомнить о том, что в лагерях, на Ходынке, его Перновский полк стоял неподалеку от батальона Александровских юнкеров, и о том, как во время зори с церемонией взвивалась ракета и оркестры всех частей играли одновременно «Коль славен»²¹⁰, а потом весь гарнизон пел «Отче наш»²¹¹.

Был, правда, у Порфирия один маленький недостаток: никак его нельзя было уговорить передать институтке хотя бы самую крошечную записочку, хотя бы даже и родной сестре. «Простите. Присяга-с, – говорил он с сожалением. – Хотя, извольте, я, пожалуй, и передам, но предварительно должен вручить ее на просмотр дежурной классной даме. Ну, как угодно. Все другое, что хотите: в лепешку для господ юнкеров расшибусь... а этого нельзя: закон».

Тем не менее у юнкеров издавна держалась привычка давать Порфирию хорошие чаевые.

– А! Господа юнкера! Дорогие гости! Милости просим! Пожалуйста, – веселым голосом приветствовал он их, заботливо прислоня в угол свою великолепную булаву. – Без вас и бал открыть нельзя. Прошу, прошу...

Он был так мило любезен и так искренне рад, что со стороны, слыша его солидный голос, кто-нибудь мог подумать, что говорит не кто иной, как радушный, хлебосольный хозяин этого дома-дворца, построенного самим Растрелли²¹² в екатерининские времена²¹³.

– Шинели ваши и головные уборы, господа юнкера, я поберегу в особом уголку. Вот здесь ваши вешалки. Номерков не надо, – говорил Порфирий, помогая раздеваться. – Должно быть, озябли в дороге. Ишь как от вас морозом так крепко пахнет. Точно астраханский арбуз взрезали. Щетка не нужна ли, почиститься? И, покорно прошу, господа, если понадобится курить или для туалета, извольте спуститься вниз в мою каморку. Одеколон найдется для освежения, фабрики Брокара. Милости прошу.

Юнкера толпились между двумя громадными, во всю стену, зеркалами, расположенными прямо одно против другого. Они обдергивали друг другу складки мундиров сзади, приводили карманными щетками в порядок свои проборы или вздыбливали вверх прически бобриком; одни, послунив пальцы, подкручивали молодые, едва обрисовавшиеся усики, другие пощипывали еще несуществующие. «Счастливец Бутынский! у него рыжие усы, большие, как у двадцатипятилетнего поручика».

Во взаимно отражающих зеркалах, в их бесконечно отражающих коридорах, казалось, шевелился и двигался целый полк юнкеров.

²¹⁰ «Коль славен наш Господь в Сионе» (стихи М. Хераскова, муз. Д. Бортнянского) – неофициальный гимн Российской империи.

²¹¹ Главная молитва в христианстве.

²¹² Растрелли Бартоломео Франческо (1700–1771) – русский архитектор итальянского происхождения. Среди наиболее знаменитых сооружений Зимний дворец, Воронцовский дворец, Смольный собор, Строгановский дворец в Петербурге.

²¹³ Екатерининские времена – период правления императрицы Екатерины II (Великой) (1762–1796), считающийся золотым веком Российской империи.

Высокий фатоватый²¹⁴ юнкер первой роты, красавец Бауман, громко говорил:

– Господа, не забудьте: когда войдем в залу, то директрисе и почетным гостям придворный поклон, как учил танцмейстер. Но после поклона постарайтесь отступить назад или отойти боком, отнюдь не показывая спины.

Нетерпеливый, бойкий на слово Карганов ответил ему задорно:

– Спасибо, добрый наставник. Кстати, будьте любезны сообщить нам, можно ли во время придворного поклона сморкаться или чесать поясницу?

– И не остроумно и пош-шло, – презрительно отозвался Бауман.

Сверху послышались нежные звуки струнного оркестра, заигравшего веселый марш. Юнкера сразу заволновались. «Господа, пора, пойдем, начинается. Пойдемте».

Они пошли тесной кучкой по лестнице, внизу которой уже стоял исполинский швейцар, успевший вооружиться своей страшной булавою и вновь надеть на свое лицо выражение горделивой строгости. Молодецки отчетливо, как и полагается перновскому гренадеру, он отдал юнкерам честь по-ефрейторски, в два приема.

Надо сказать, что с этим ежегодным выражением юнкерам своего почета перновец кривил против устава: юнкера по службе числились всего рядовыми, а Порфирий был фельдфебелем.

Мраморная прекрасная лестница была необычайно широка и приятно полого. Ее сквозные резные перила, ее свободные пролеты, чистота и воздушность ее каменных линий создавали впечатление прелестной легкости и грации. Ноги юнкеров, успевшие отойти, с удовольствием ощущали легкую, податливую упругость толстых красных ковров, а щеки, уши и глаза у них еще горели после мороза. Пахло слегка каким-то ароматическим курением: не монашкой и не этими желтыми, глянцевыми квадратными бумажками, а чем-то совсем незнакомым и удивительно радостным.

Вверху, на просторной площадке, их дожидались две дежурные воспитанницы, почти взрослые девушки.

Обе они были одеты одинаково в легкие парадные платья темно-вишневого цвета, снизу доходившие до щиколоток. Бальное большое декольте оставляло открытыми спереди шею и верхнюю часть груди, а сзади весь затылок и начало спины, позволяя видеть чистую линию нежных полудетских плеч. Руки, выступавшие из коротеньких матово-белых рукавчиков, были совсем обнажены. И никаких украшений – ни сережек, ни колец, ни брошек, ни браслетов, ни кружев. Только лайковые перчатки до пол-локтя да скромный веер подчеркивали юную блистательную красоту.

Девицы одновременно сделали юнкерам легкие реверансы, и одна из них сказала:

– Позвольте вас проводить, *messieurs*, в актовый зал. Следуйте, пожалуйста, за нами.

Это было только милое внимание гостеприимства. Певучие звуки скрипок и виолончелей отлично указывали дорогу без всякой помощи.

По обеим сторонам широкого коридора были двери с матовыми стеклами и сбоку овальные дощечки с золотой надписью, означавшей класс и отделение.

У Александрова сестра воспитывалась в Николаевском институте, и по высоким номерам классов он сразу догадался, что здесь учатся совсем еще девчонки. У кадет было наоборот.

Но вот и зала. Прекрасные проводницы с новым реверансом исчезают. Юнкера теперь представлены собственной распорядительности, и, надо сказать, некоторыми из них внезапно овладевает робость.

Зала очаровывает Александрова размерами, но еще больше красотой и пропорциональностью линий. Нижние окна, затянутые красными штофными

²¹⁴ Фат – щеголь, франт.

портьерами, прямоугольны и поразительно высоки, верхние гораздо меньше и имеют форму полулуния. Очень просто, но как изящно. Должно быть, здесь строго продуманы все размеры, расстояния и кривизны. «Как многого я не знаю», – думает Александров.

Вдоль стен по обеим сторонам залы идут мраморные колонны, увенчанные завитыми капителями²¹⁵. Первая пара колонн служит прекрасным основанием для площадки с перилами. Это хоры, где теперь расположен известный в Москве бальный оркестр Рябова: черные фраки, белые пластроны²¹⁶, огромные пушистые шевелюры. Дружно ходят вверх и вниз смычки. Оттуда бегут, смеясь, звуки резвого, возбуждающего марша.

Большая бронзовая люстра спускается с потолка, сотни ее хрустальных призмочек слегка дрожат и волшебным образом переливаются, брызжа синими, зелеными, голубыми, желтыми, красными, фиолетовыми, оранжевыми – колдовскими лучами. На каждой колонне горят в пятилапых подсвечниках белые толстые свечи: их огонь дает всей зале теплый розово-желтоватый оттенок. И все это – люстра, колонны, пятилапые бра и освещенные хоры²¹⁷ – отражается световыми, масляно-волнующими полосами в паркете медового цвета, гладком, скользком и блестящем, как лед превосходного катка.

Между колоннами и стеной, с той и другой стороны, оставлены довольно широкие проходы, пол которых возвышается над паркетом на две ступени. Здесь расставлены стулья. Сидя в этих галереях, очень удобно отдыхать и любоваться танцами, не мешая танцующим. Здесь, в правой галерее, при входе, стеснились юнкера. Кроме них, есть и другие кавалеры, но немного: десять-двенадцать катковских лицеистов с необыкновенно высокими, до ушей, красными воротниками, трое студентов в шикарных тесных темно-зеленых длиннополых сюртуках на белой подкладке, с двумя рядами золотых пуговиц. Какие-то штатские, бледные, тонкие мальчуганы во фраках, и один заезжий из Петербурга, «блестящий» белобрысый, пресыщенный жизнью паж, сразу ревниво возненавиденный всеми юнкерами.

Глава XIX

Стрела

На другом конце залы, под хорами, в бархатных красных золоченых креслах сидели почетные гости, а посередине их сама директриса, величественная седовласая дама в шелковом серо-жемчужном платье. Гости были пожилые и очень важные, в золотом шитье, с красными и голубыми лентами через плечо²¹⁸, с орденами, с золотыми лампасами на белых панталонах. Рядом с начальницей стоял, слегка опираясь на спинку ее кресла, совсем маленький, старенький лысый гусарский генерал в черном мундире с серебряными шнурами, в красно-коричневых рейтузах, туго обтягивавших его подгибающиеся тощие ножки. Его Александров знал: это был почетный опекун московских институтов, граф Олсуфьев. Наклонясь слегка к директрисе, он что-то говорил ей с большим оживлением, а она слегка улыбалась и с веселым укором покачивала головою.

– Ах ты, старый проказник, – дружелюбно сказал Жданов, тоже глядевший на графа.

Позади и по бокам этой начальственной подковы группами и поодиночке, в зале и

²¹⁵ Капитель – венчающая часть колонны.

²¹⁶ Пластрон – узкая полоса ткани на шее с остроугольными концами, обычно из светло-серого узорного шелка, предшественник современного галстука.

²¹⁷ Хоры – верхняя открытая галерея или балкон.

²¹⁸ Ордена высшей, то есть первой, степени носились на широкой ленте, надеваемой через плечо, сам же орден в виде креста укреплялся на ленте около бедра.

по галерее, все в одинаковых темно-красных платьях, все одинаково декольтированные, все издали похожие друг на дружку и все загадочно прекрасные, стояли воспитанницы.

Не прошло и полминуты, как зоркие глаза Александра успели схватить все эти впечатления и закрепить их в памяти. Уже юнкера первой роты с Бауманом впереди спустились со ступенек и шли по блестящему паркету длинной залы, невольно подчиняясь темпу увлекательного марша.

– Посмотрите, господа! – воскликнул Карганов, показывая на Баумана. – Посмотрите на этого великосветского человека. Во-первых, он идет слишком медленными шагами. Спрашивается, когда же он дойдет?

– Правда, – подтвердил Жданов. – И остальные, как индюки, топчутся на месте.

– Во-вторых, от важности он закинул голову к небу, точно рассматривает потолок. Он выпятил грудь, а зад совсем отставил. Величественно, но противно.

Подвижной Жданов вдруг спохватился.

– Господа, здесь не строй и не ученье, а бал. Пойдемте, не станем дожидаться очереди. Айда!

Только спустившись в залу, Александров понял, почему Бауман делал такие маленькие шажки: безукоризненно и отлично натертый паркет был скользок, как лучший зеркальный каток. Ноги на нем стремились разъехаться врозь, как при первых попытках кататься на коньках; поневоле при каждом шаге приходилось бояться потерять равновесие, и потому страшно было решиться поднять ногу.

«А что, если попробовать скользить?» – подумал Александров. Вышло гораздо лучше, а когда он попробовал держать ступни не прямо, а с носками, развороченными наружу, по-танцевальному, то нашлась и опора для каждого шага. И все стало просто и приятно. Поэтому, перегоня товарищей, он очутился непосредственно за юнкерами первой роты и остановился на несколько секунд, не желая с ними смешиваться. И все-таки было жутко и мешкотно двигаться и стоять, чувствуя на себе глаза множества наблюдательных и, конечно, хорошеньких девушек.

Юнкера первой роты кланялись и отходили. Александров видел, как на их низкие и – почему не сказать правду? – довольно грамотные поклоны медленно, с важной и светлой улыбкой склоняла свою властную матово-белую голову директриса.

Отошел, пятясь спиной, последний юнкер первой роты. Александров – один. «Господи, помоги!» Но внезапно в памяти его всплывает круглая ловкая фигура училищного танцмейстера Петра Алексеевича Ермолова, вместе с его изящным поклоном и словесным уроком: «Руки свободно, без малейшего напряжения, опущены вниз и слегка, совсем чуточку, округлены. Ноги в третьей позиции. Одновременно, помните: одновременно – в этом тайна поклона и его красота – одновременно и медленно – сгибается спина и склоняется голова. Так же вместе и так же плавно, только чуть-чуть быстрее, вы выпрямляетесь и подымаете голову, а затем отступаете или делаете шаг вбок, судя по обстоятельствам».

Счастье Александрова, что он очень недурной имитатор. Он заставляет себя вообразить, что это вовсе не он, а милый, круглый, старый Ермолов скользит спокойными, уверенными, легкими шагами. Вот Петр Алексеевич в пяти шагах от начальницы остановил левую ногу, правой прочертил по паркету легкий полукруг и, поставив ноги точно в третью позицию, делает полный почтения и достоинства поклон.

Выпрямляясь, Александров с удовольствием почувствовал, что у него «вытанцевалось». Медленно, с чудесным выражением доброты и величия директриса слегка опустила и подняла свою серебряную голову, озарив юнкера прелестной улыбкой. «А ведь она красавица, хотя и седые волосы. А какой живой цвет лица, какие глаза, какой царственный взгляд. Сама Екатерина Великая!»

Стоявший за ее креслом маленький старенький граф Олсуфьев тоже ответил на поклон юнкера коротеньким веселым кивком, точно по-товарищески подмигнул о чем-то ему. Слегка шевельнули подбородками расшитые золотом старички. Александров был счастлив.

После поклона ему удалось ловкими маневрами обойти свиту, окружавшую начальницу. Он уже почувствовал себя в свободном пространстве и заторопился было к ближнему концу спасительной галереи, но вдруг остановился на разбеге: весь промежуток между двумя первыми колоннами и нижняя ступенька были тесно заняты темно-вишневыми платьями, голыми худенькими ручками и милыми, светло улыбающимися лицами.

– Вы хотите пройти, господин юнкер? – услышал он над собою голос необыкновенной звучности и красоты, подобный альту в самом лучшем ангельском хоре на небе.

Он поднял глаза, и вдруг с ним произошло изумительное чудо. Точно случайно, как будто блеснула близкая молния, и в мгновенном ослепительном свете ярко обрисовалось из всех лиц одно, только одно прекрасное лицо. Четкость его была сверхъестественна. Показалось Александрову, что он знал эту чудесную девушку давным-давно, может быть, тысячу лет назад, и теперь сразу вновь узнал ее всю и навсегда, и хотя бы прошли еще миллионы лет, он никогда не позабудет этой грациозной, воздушной фигуры со слегка склоненной головой, этого неповторяющегося, единственного «своего» лица с нежным и умным лбом под темными каштаново-рыжими волосами, заплетенными в корону, этих больших внимательных серых глаз, у которых раек был в тончайшем мраморном узоре, и вокруг синих зрачков играли крошечные золотые кристаллики, и этой чуть заметной ласковой улыбки на необыкновенных губах, такой совершенной формы, какую Александров видел только в корпусе, в рисовальном классе, когда, по указанию старого Шмелькова, он срисовывал с гипсового бюста одну из Венер²¹⁹.

Тот же магический голос, совсем не останавливаясь, продолжал:

– Дайте, пожалуйста, дорогу господину юнкеру.

Александров поднялся по ступенькам, кланяясь в обе стороны, краснея, бормоча слова извинения и благодарности. Одна из воспитанниц пододвинула ему венский стул.

– Может быть, присядете?

Он низко признательно поклонился, но остался стоять, держась за спинку стула.

Если бы мог когда-нибудь юнкер Александров представить себе, какие водопады чувств, ураганы желаний и лавины образов проносятся иногда в голове человека за одну малюсенькую долю секунды, он проникся бы священным трепетом перед емкостью, гибкостью и быстротой человеческого ума. Но это самое волшебство с ним сейчас и происходило.

«Неужели я полюбил? – спросил он у самого себя и внимательно, даже со страхом, как бы прислушался к внутреннему самому себе, к своим: телу, крови и разуму, и решил твердо: – Да, я полюбил, и это уже навсегда».

Какой-то подпольный ядовитый голос в нем же самом сказал с холодной насмешкой: «Любови мгновенной, любви с первого взгляда – не бывает нигде, даже в романах».

«Но что же мне делать? Я, вероятно, урод», – подумал с покорной грустью Александров и вздохнул.

«Да и какая любовь в твои годы? – продолжал ехидный голос. – Сколько сот раз вы уже влюблились, господин Сердечкин? О, Дон-Жуан! О, злостный и коварный

²¹⁹ Венера – в римской мифологии богиня любви, цветущих садов, весны, плодородия, произрастания и расцвета всех плодоносящих сил природы.

изменник!»

Послушная память тотчас же вызвала к жизни все увлечения и «предметы» Александрова. Все эти бывшие дамы его сердца пронеслись перед ним с такой быстротой, как будто они выглядывали из окон летящего на всех парах курьерского поезда, а он стоял на платформе Петровско-Разумовского полустанка, как иногда прошлым летом по вечерам.

...Наташа Манухина в котиковой шубке, с родинкой под глазом, розовая Нина Шпаковская с большими густыми белыми ресницами, похожими на крылья бабочки-капустницы, Машенька Полубояринова за пианино, в задумчивой полутьме, быстроглазая, быстроногая болтунья Зоя Синицына и Сонечка Владимирова, в которую он столько же раз влюблялся, сколько и разлюблял ее; и трое пышных высоких, со сладкими глазами сестер Синельниковых, с которыми, слава богу, все кончено; хоть и трагично, но навсегда. И другие, и другие, и другие... сотни других... Дольше других задержалась в его глазах маленькая, чуть косенькая – это очень шло к ней – Геня, Генриетта Хржановская. Шесть лет было Александрову, когда он в нее влюбился. Он храбро защищал ее от мальчишек, сам надевал ей на ноги ботинки, когда она уходила с нянькой от Александровых, и однажды подарил ей восковую желтую канарейку в жестяной сквозной, кружками, клетке.

Но унеслись эти образы, растаяли, и ничего от них не осталось. Только чуть-чуть стало жалко маленькую Геню, как, впрочем, и всегда при воспоминании о ней.

«О нет. Все это была не любовь, так, забава, игра, пустяки, вроде – и то правда – игры в фанты или почту. Смешное передразнивание взрослых по прочитанным романам. Мимо! Мимо! Прощайте, детские шалости и дурачества!»

Но теперь он любит. Любит! – какое громадное, гордое, страшное, сладостное слово. Вот вся вселенная, как бесконечно большой глобус, и от него отрезан крошечный сегмент, ну, с дом величиной. Этот жалкий отрезок и есть прежняя жизнь Александрова, неинтересная и тупая. «Но теперь начинается новая жизнь в бесконечности времени и пространства, вся наполненная славой, блеском, властью, подвигами, и все это вместе с моей горячей любовью я кладу к твоим ногам, о возлюбленная, о царица души моей».

Мечтая так, он глядел на каштановые волосы, косы которых были заплетены в корону. Повинуясь этому взгляду, она повернула голову назад. Какой божественно прекрасной показалась Александрову при этом повороте чудесная линия, идущая от уха вдоль длинной гибкой шеи и плавно переходящая в плечо. «В мире есть точные законы красоты!» – с восторгом подумал Александров.

Улыбнувшись, она отвернулась. А юнкер прошептал:

– Твой навек.

Но уже кончили гости представляться хозяйке. Директриса сказала что-то графу Олсуфьеву, нагнувшемуся к ней.

Он кивнул головой, выпрямился и сделал рукой призывающий жест.

Точно из-под земли вырос тонкий, длинный офицер с аксельбантами. Склонившись с преувеличенной почтительностью, он выслушал приказание, потом выпрямился, отошел на несколько шагов в глубину залы и знаком приказал музыкантам замолчать.

Рябов, доведя колено до конца, прекратил марш.

– Полонез²²⁰! – закричал адъютант веселым высоким голосом.

– Кавалеры, приглашайте ваших дам!

²²⁰ Полонез – торжественный танец-шествие в умеренном темпе, который исполнялся, как правило, в начале балов, подчеркивая возвышенный характер праздника. В полонезе танцующие пары двигаются по установленным правилами геометрическим фигурам.

Глава XX

Полонез

– Полонез, господа, приглашайте ваших дам, – высоким тенором восклицал длинный гибкий адъютант, быстро скользя по паркету и нежно позванивая шпорами. – Полонез! Дамы и господа, потрудитесь становиться парами.

Александров спустился по ступеням и стал между колоннами. Теперь его красавица с каштаново-золотистой короной волос стояла выше его и, слегка опустив голову и ресницы, глядела на него с легкой улыбкой, точно ожидая его приглашения.

– Позвольте просить вас на полонез, – сказал юнкер с поклоном.

Ее улыбка стала еще милее.

– Благодарю, с удовольствием.

Она сверху вниз протянула ему маленькую ручку, туго обтянутую тонкой лайковой перчаткой, и сошла на паркет зала со свободной грацией. «Точно принцесса крови», – подумал Александров, только недавно прочитавший «Королеву Марго»²²¹. Под руку они подошли к строящемуся полонезу и заняли очередь. За ними поспешно устанавливались другие пары.

– Я видела, как вы делали реверанс нашей славной маман, – сказала девушка. – У вас вышло очень изящно. Я сама знаю, как это трудно, когда ты одна, а на тебя со всех сторон смотрят.

– А в особенности насмешливые глаза хорошеньких барышень, – подхватил Александров.

– Признайтесь, вы сильно волновались?

– Скажу вам по секрету – ужасно! Руки, ноги точно связаны, и одна только мысль: не убежать ли, пока не поздно. Но я перехитрил самого себя, я вообразил, что я – это не я, а наш танцмейстер Петр Алексеевич Ермолов. И тогда стало вдруг удобно.

Она весело засмеялась.

– И у нас тоже Ермолов. Он, кажется, везде. Но как я вас хорошо понимаю. Я тоже умею так передразнивать. Я иногда пригляжусь внимательно к чьей-нибудь походке: подруги, или классной дамы, или учителя, и постараюсь пройтись совсем-совсем точно они. И тогда мне вдруг кажется, что я как будто стала не собой, а этим человеком. Точно я за него и вижу, и слышу, и думаю, и чувствую. И характер его для меня весь открыт... Но посмотрите, посмотрите вперед. – Она слегка пожала пальчиками его согнутую руку. – Видите, кто в первой паре?

В головной паре стояли, ожидая начала танца, директриса и граф Олсуфьев в темно-зеленом мундире (теперь на близком расстоянии Александров лучше различил цвета) и малиновых рейтузах. Стоя, начальница была еще выше, полнее и величественнее. Ее кавалер не достигал ей головой до плеча. Его худенькая фигура с заметно согбенной спиной, с осевшими тонкими ножками казалась еще более жалкой рядом с его чересчур представительной парой, похожей на столичный монумент.

– Боюсь, смешной у них выйдет полонез, – сказал с неприятным сожалением Александров.

– Ну вот, уж непременно и смешной, – заступилась его прекрасная дама. – Это ведь всегда так трогательно видеть, когда старики открывают бал. Гораздо смешнее видеть молодых людей, плохо танцующих.

Высокий адъютант закинул назад голову, поднял руку вверх к музыкантам и нараспев прокричал:

²²¹ Роман французского писателя Александра Дюма-отца (1802–1870).

– Прошу! По-ло-нез!

Дама юнкера Александрова немного отодвинулась от него; протянула ему на уровне своего плеча красиво изогнутую, обнаженную и еще полудетскую руку. Он с легким склонением головы принял ее, едва касаясь пальцами кончиков ее тоненьких пальцев.

Сверху, с хор, раздались вдруг громкие, торжественные и весело-гордые звуки польского вальса. Жестковатый холодок побежал по волосам и по спине Александрова.

– Это – Глинка, – сказал шепотом Александров.

– Да, – ответила она так же тихо. – Из «Жизни за царя²²²». Превосходно, я обожаю эту оперу.

Александров, не перестававший глядеть вперед, туда, где полукругом загибалась вереница полонеза, вдруг пришел в волнение и едва-едва не обмолвился, по дурной школьной привычке, черным словом.

– Ч... – но он быстро сдержался на разлете. – Нет, вы полюбуйтесь, полюбуйтесь только, граф-то ваш и начальница. Охотно беру свои слова обратно.

И в самом деле, стоило полюбоваться этой парой. Выждав четыре первых такта, они начали полонез с тонкой ритмичностью, с большим достоинством и с милой старинной грацией. Совсем ничего не было в них ни смешного, ни причудливого. Директриса несла свое большое полное тело с необыкновенной легкостью, с пленительно-изящной простотой, точно коронованная особа, ласковая хозяйка пышного дворца, окруженная юными прелестными фрейлинами. Все ее движения были уверенны и женственны: наклоняла ли она голову к своему кавалеру, или делала направо и налево, светло улыбаясь, тихие приветливые поклоны.

И граф Олсуфьев вовсе уже не был стар и хил. Бодрая героическая музыка выправила его спину и сделала гибкими и послушными его ноги. Да! теперь он был лихой гусар прежних золотых, легендарных времен, гусар-дуэлист и кутила, дважды разжалованный в солдаты за дела чести, коренной гусар, приятель Бурцева или Дениса Давыдова.

Недели прошли в тяжелом походе и в дьявольских атаках, и вот вдруг бал в Вильно, по случаю приезда государя. Только что слезши с коня, едва успев переодеться и надушиться, он уже готов танцевать всю ночь напролет, хотя весь и разбит долгой верховой ездой. Как великолепны взоры, которые Олсуфьев бросает на свою очаровательную даму!.. Тут и гусарская неотразимая победоносность, и рыцарское преклонение перед женщиной, для которой он готов на любую глупость, вплоть до смерти, и игривое лукавство, и каскады преувеличенных комплиментов, и жестокая гибель всем его соперникам, и легкомысленное обещание любви до гробовой доски или по крайней мере на сутки.

– Как они оба хороши, – говорит восхищенно Александров, – не правда ли, это какое-то чудо?

– Ну, что же, я очень рада, что вы сначала ошиблись.

В это время музыка как раз возвращается к первым тактам полонеза. Александров знает твердо слова, которые здесь поет хор, которые и он сам когда-то пел. Слегка наклонившись к красавице, он – правда, не поет, – но выговаривает речитативом:

Вчера был бой,
Сегодня бал,
Быть может, завтра снова в бой.

²²² «Жизнь за царя» («Иван Сусанин») – опера русского композитора Михаила Ивановича Глинки (1804–1857).

Вот оно, беззаботное веселье между двумя смертями.

– Нам начинать, – говорит его дама. Они выжидают, когда предыдущая пара не отойдет на несколько шагов, и тогда одновременно начинают этот волшебный старинный танец, чувствуя теперь, что каждый шаг, каждое движение, каждый поворот головы, каждая мысль связана у них одними и теми же невидимыми нитями.

– Ах, как я счастлив, что попал к вам сегодня, – говорил Александров, не переставая строго следить за ритмом полонеза. – Как я рад. И подумать только, что из-за пустяка, по маленькой случайности, я мог бы этой радости лишиться и никогда ее не узнать.

– Может быть, вам это только так кажется? Какая случайность?

– Я вам скажу откровенно. Сегодня я поехал на бал не по своей воле, а по распоряжению начальства.

– Ах, бедный, как я вас жалею!

– Ну да, по наряду. Я стал отговариваться. Я выдумывал всякие предлоги, чтобы не поехать, но ничего не помогло.

– Ах, несчастный, несчастный.

– Потому что я еще третьего дня обещал знакомым барышням, что поеду с ними на елку в Благородное собрание²²³.

– Воображаю, как они теперь на вас сердятся. Вы низко упали в их глазах. Такие измены никогда не прощаются. И воображаю, как вы должны скучать с нами, невольными виновницами вашей ужасной гибели.

– О нет, нет, нет! Я благословляю судьбу и настойчивость моего ротного командира. Никогда в жизни я не был и не буду до такой степени на вершине блаженства, как сию минуту, как сейчас, когда я иду в полонезе рука об руку с вами, слышу эту прелестную музыку и чувствую...

– Нет, нет, – смеясь, перебивает его она. – Только, пожалуйста, не о чувствах. Это запрещено.

– О чувствах, приходящих мгновенно и сразу... овладева...

– Тем более, тем более. Танцуйте старательнее и не болтайте пустяков.

Она обмахивается веером. Она – девочка – кокетничает с юнкером совсем как взрослая записная львица. Серьезные, почти строгие гримасы она переплетает улыбками, и каждая из них по-разному выразительна. Ее верхняя губа вырезана в чудесной форме туго натянутого лука, и там, где этот рисунок кончается с обеих сторон у щек, там чуть заметные ямочки.

«Точно природа закончила изящный, неповторимый чертеж и поставила точки в знак того, что труд ее – совершенство».

Так думает Александров, но полонез уже кончается. Александров доводит под руку свою даму до указанного ею места и низко ей кланяется.

– Могу ли я просить вас на вальс?

– Хорошо.

– И на первую кадрили²²⁴.

– По-вашему, это не слишком много?

– И еще на третью.

– Нет, это невозможно.

Но она благодарит улыбкой.

²²³ Благородное собрание – одно из названий Дворянского собрания, органа дворянского самоуправления в Российской империи.

²²⁴ Кадриль – французский танец, возникший в конце XVIII в. и весьма популярный до конца XIX в. в Европе и России.

Глава XXI

Вальс

Вкрадчиво, осторожно, с пленительным лукавством раздаются первые звуки штраусовского вальса. Какой колдун этот Рябов. Он делает со своим оркестром такие чудеса, что невольно кажется, будто все шестнадцать музыкантов – члены его собственного тела, как, например, пальцы, глаза или уши.

Еще находясь под впечатлением пышного полонеза, Александров приглашает свою даму церемонным, изысканным поклоном. Она встает. Легко и доверчиво ее левая рука ложится, чуть прикасаясь, на его плечо, а он обнимает ее тонкую, послушную талию.

– В три темпа или в два? – спрашивает Александров.

– Если хотите, то в три, а уж потом в два.

В этот момент она, сняв руку с плеча юнкера, поправляет волосы над лбом. Это почти бессознательное движение полно такой наивной, простой грации, что вдруг душою Александрова овладевает знакомая, тихая, как прикосновение крылышка бабочки, летучая грусть. Эту кроткую, сладкую жалость он очень часто испытывал, когда его чувств касается что-нибудь истинно прекрасное: вид яркой звезды, дрожащей и переливающейся в ночном небе, запахи резеды, ландыша и фиалки, музыка Шопена, созерцание скромной, как бы не сознающей самое себя женской красоты, ощущение в своей руке детской, копошащейся и такой хрупкой ручонки.

В этой странной грусти нет даже и намек на мысль о неизбежной смерти всего живущего. Такого порядка мысли еще далеки от юнкера. Они придут гораздо позже, вместе с внезапным ужасающим открытием того, что «ведь и я, я сам, я, милый, добрый Александров, непременно должен буду когда-нибудь умереть, подчиняясь общему закону».

О, какая гадкая и несправедливая жестокость! Такой зловещий страх он испытывал однажды ночью во время случайной бессонницы, и этот страх его уже никогда больше не покидает. Нет. Эта грустная мгновенная тревога – другого свойства. Ее объяснить ни себе, ни другому Александров никогда не сумел бы. Она скорее всего похожа на сожаление, что этот, вот этот самый момент уйдет назад и уже ни за что его не вернешь, не догонишь. Жизнь безмерна, богата. Будет другое, может быть, очень похожее, может, почти такое же, но эта секунда уплыла навсегда...

Должно быть, Александров инстинктивно так влюблен в земную заманчивую красоту, что готов боготворить каждый ее осколочек, каждую пылинку... Сам этого не понимая, он похож на скупого и жадного миллионера, который никому не позволяет прикоснуться к своему золоту, ибо к чужой руке могут пристать микроскопические частички обожаемого металла.

Александров не только очень любил танцевать, но он также и умел танцевать; об этом, во-первых, он знал сам, во-вторых, ему говорили товарищи, мнения которых всегда столь же резки, сколь и правдивы; наконец, и сам Петр Алексеевич Ермолов на ежесубботних уроках нередко, хотя и сдержанно, одобрял его: «Недурно, господин юнкер, так, господин юнкер». В каждый отпуск по четвергам и с субботы до воскресенья (если только за единицу по фортификации Дрозд не оставлял его в училище) он плясал до изнеможения, до упаду в знакомых домах, на вечеринках или просто так, без всякого повода, как тогда неистово танцевала вся Москва. Но и оставаясь у себя дома, он всегда имел пару в лице старшей сестры Зины, такой же страстной танцовки, причем музыку он изображал голосом. Сестра танцевала прекрасно, но всегда оставалась недовольна.

– Ты очень ловкий кавалер, Алеша, – говорила она, – но, понимаешь, ты все-таки брат, а не мужчина. С тобою я, как в институте, шерочка с машерочкой²²⁵. Или точно играешь на немом пианино.

Он ей отвечал не менее любезно:

– А я тебя обнимаю точно куклу из папье-маше. Мне кажется, ты хоть и танцуешь превосходно, но сама неодоушевленная.

Однако никогда еще в жизни не случилось Александрову танцевать с такой ловкостью и с таким наслаждением, как теперь. Он почти не чувствовал ни веса, ни тела своей дамы. Их движения дошли до той полной согласованности и так слились с музыкой, что казалось, будто у них – одна воля, одно дыхание, одно биение сердца. Их быстрые ноги касались скользкого паркета лишь самыми кончиками «цыпочек». И оттого было в их танце чувство стремления ввысь, чудесное ощущение воздушного полета во вращательном движении, блаженная легкость, почти невесомость.

Подымались и опускались, вздрагивая, огни множества свечей. Веял легкий теплый ветер от раздувавшихся одежд, из-под которых показывались на секунду стройные ноги в белых чулках и в крошечных черных туфельках или быстро мелькали белые кружева нижних юбок. Слегка нежно звенели шпоры и пестрыми, разноцветными, глянцевыми режущими красками отражали бал в сияющем полу. А сверху лился из рук веселых волшебников, как ритмическое очарование, упоительный вальс. Казалось, что кто-то там, на хорах, в ослепительном свете огней жонглировал бесчисленным множеством брильянтов и расстилал широкие полосы голубого бархата, на который сыпались сверху золотые блески.

И какие-то сладко опьяняющие голоса пели о том, что этому томному танцу – танцу-полету – не будет конца.

Не глядя, видел, нет, скорее, чувствовал, Александров, как часто и упруго дышит грудь его дамы в том месте, над вырезом декольте, где легла на розовом теле нежная тень ложбинки. Заметил он тоже, что, танцуя, она медленно поворачивает шею то налево, то направо, слегка склоняя голову к плечу. Это ей придавало несколько утомленный вид, но было очень изящно. Не устала ли она?

И точно отвечая на его безмолвный вопрос – это было так естественно и понятно в этот необыкновенный вечер, – она сказала:

– Это я нарочно так делаю. Чтобы не кружилась голова.

Случалось так, что иногда ее прическа почти касалась его лица; иногда же он видел ее стройный затылок с тонкими, вьющимися волосами, в которых, точно в паутине, ходили спиралеобразно сияющие золотые лучи. Ему показалось, что ее шея пахнет цветом бузины, тем прелестным ее запахом, который так мил не вблизи, а издали.

– Какие у вас славные духи, – сказал Александров. Она чуть-чуть обернула к нему смеющееся, покрасневшее от танца лицо.

– О нет. Никто из нас не душится, у нас даже нет душистых мыл.

– Не позволяют?

– Совсем не потому. Просто у нас не принято. Считается очень дурным тоном. Наша татап как-то сказала: «Чем крепче барышня надушена, тем она хуже пахнет».

Но странная власть ароматов! От нее Александров никогда не мог избавиться. Вот и теперь: его дама говорила так близко от него, что он чувствовал ее дыхание на своих губах. И это дыхание... Да... Положительно оно пахло так, как будто бы девушка только

²²⁵ Обычным обращением институток (воспитанниц женского института) друг к другу было французское *ma chere*. От этих французских слов появились русские слова «шерочка» и «машерочка», используемые для наименования танцующей пары, состоящей из двух женщин. Современное значение: не разлей вода.

что жевала лепестки розы. Но по этому поводу он ничего не решился сказать и сам почувствовал, что хорошо сделал. Он только сказал:

– Я не могу выразить словами, как мне приятно танцевать с вами. Так и хочется, чтобы во веки веков не прекращался этот бал.

– Благодарю вас. С вами тоже очень удобно танцевать. Но вечность! Не слишком ли это много. Пожалуй, устанем. А потом надоест... соскучимся...

Но тут случилось маленькое приключение. Уже давно сквозь вихрь и мелькание вальса успел Александров заметить одного катковского лицеиста. Этот высокий и худой, несколько сутуловатый малый вальсировал какими-то резкими рывками, а левую руку, вместе с рукою своей дамы, он держал прямо вытянутою вперед, точно длинное дышло. Все это вместе было не так смешно, как некрасиво. Теперь он неуклюже вертелся вблизи Александрова и его дамы, подходя все ближе и ближе, уже совсем готовый наехать на них. Желая выйти из его орбиты, Александров стал осторожно обходить его слева, выпустив руку своей дамы и слегка приподняв левую руку во избежание толчка. Но в эту секунду лицеист, совершенно не умеющий лавировать, ринулся на них со своим двуконным дышлом²²⁶. Александров успел отвести удар и предупредить столкновение, но при этом, не теряя равновесия, сильно пошатнулся. Невольно лицо его уткнулось в плечо девушки, и он губами, носом и подбородком почувствовал прикосновение к нежному, горячему, чуть-чуть влажному плечу, пахнувшему так странно цветущей бузиной. Нет, он вовсе не поцеловал ее. Это неправда. Или нечаянно поцеловал? Во весь этот вечер и много дней спустя, а пожалуй, во всю свою жизнь он спрашивал себя по чести и совести: да или нет? Но так никогда и не разрешил этого вопроса.

Он только извинился и увидел, как быстро побежала красная краска по щекам, по шее, по спине и даже по груди прекрасной девушки.

– Я, кажется, немного устала, – сказала она. – Мне хочется отдохнуть. Проводите меня.

Он довел ее до галереи между колоннами, усадил на стул, а сам стал сбоку, немного позади. Увидев его смущенное, несчастное лицо, она пожалела его и предложила ему сесть рядом.

Они разговорились понемногу. Она сказала ему свое имя – Зинаида Бельшева.

– Только мне оно не очень нравится. Отдельно Ида – это еще ничего, это что-то греческое, но Зинаида – как-то громоздко. Пирамида, кариатида, Атлантида...

– Очень красиво – Зина, – подсказал юнкер.

– Да, для мамы и папы, – схитрила она. – Но вы, может быть, не знаете, что есть мужское имя Зина?

– Признаться, не слыхал.

– Да, да. Я уж не помню, у кого это, у Тургенева или у Толстого, есть какой-то мужик Зина. И кажется, не очень-то порядочный.

– А Зиночка?

– Это ничего еще. Так меня зовут родные. А младший брат – просто – Зинка-резинка.

– Я вас буду мысленно называть Зиночкой, – сболтнул юнкер.

– Не смейте. Я вам это не позволяю, – сказала она, непринужденно смеясь.

– Но кто же может знать и контролировать мысли? – возразил Александров, слегка наклоняясь к ней.

Она воскликнула с увлечением:

– Вы сами. Мало быть честным перед другими, надо быть честным перед самим

²²⁶ Двуконный – запрягаемый парой лошадей. Дышло – в парной запряжке: толстая оглобля, прикрепляемая к середине передней оси повозки.

собою. Ну вот, например: лежит на тарелке пирожное. Оно – чужое, но вам его захотелось съесть, и вы съели. Допустим, что никто в мире не узнал и никогда не узнает об этом. Так что же? Правы вы перед самим собою? Или нет?

Юнкер поклонился головою.

– Сдаюсь. Мудрость глаголет вашими устами. Позвольте спросить: вы, должно быть, много читали?

И тут девочка рассказала ему кое-что о себе. Она дочь профессора, который читает лекции в университете, но, кроме того, дает в Екатерининском институте²²⁷ уроки естественной истории и имеет в нем казенную квартиру. Поэтому ее положение в институте особое. Живет она дома, а в институте только учится. Оттого она гораздо свободнее во времени, в чтении и в развлечениях, чем ее подруги...

– А теперь пойдемте еще потанцуем, – сказала она, вставая. – Только не в два па. Я теперь пригляделась и нахожу, что это только вертушка и притом очень некрасивая, и, пожалуйста, подальше от этого лицеиста. Он так неуклюж.

И она опять слегка покраснела.

Глава XXII

Ссора

Они танцуют третью кадрили. Их визави Жданов с прехорошенькой воспитанницей. Эта маленькая девушка, по виду почти девочка, кажется Александрову похожей на ожившую новую фарфоровую куклу. У нее пушистые волосы цвета кокосовых волокон, голубые глаза, блестящие, как эмаль; круглые румянцы на щеках, точно искусственно наведенные, и крошечный алый ротик – вишенка. Обо всех ее прелестях нельзя иначе говорить и думать, как в уменьшительном виде. Она постоянно улыбается, сверкая беленькими остренькими зубками. Она веселится от всей души: вертится, оглядывается, трясет головою и светлыми кудряшками, ее ручки и ножки в беспрестанном нетерпеливом движении.

– Не правда ли, как мила? – вполголоса спрашивает Зиночка.

Александров наклоняется к ней.

– Просто прелесть, – говорит он. – Она, наверно, получила бы первый приз на выставке.

Зиночка смотрит на него с легким недоверием.

– На какой выставке? Я вас не поняла.

– На кукольном базаре. Знаете, это меня всегда удивляло: как только люди хотят сказать высшую похвалу красивой барышне, они непременно скажут: ну, точь-в-точь куколка. Я не поклонник такой красоты.

Зиночка сердится и как будто неприятно:

– Я не предполагала, что вы такой злой. Нина Забелло – это моя лучшая подруга, и у нас все ее любят. Она самая умная, самая добрая, самая веселая. А вы – Зоил.

«Зоил... вот так название. Кажется, откуда-то из хрестоматии? – Александрову давно знакомо это слово, но точный смысл его пропал. – Зола и ил... Что-то не особенно лестное. Не философ ли какой-нибудь греческий, со скверною репутацией женоненавистника?» Юнкер чувствует себя неловко.

– Тогда прошу простить, – смиренно говорит он. – Как приятно иметь такого верного друга, как вы. Я пошутил и, признаюсь, неловко. Теперь я вижу, что мадемуазель Забелло очаровательна.

Зиночка опускает длинные темные ресницы, прикрывая чуть заметную лукавую

²²⁷ Московский Екатерининский институт благородных девиц, основан в 1802 г. для обучения девушек первоначально из небогатых дворянских семей, а затем и представительниц других сословий.

улыбку глаз.

– Вы правы, – говорит она с кротким вздохом. – Я бы очень хотела быть такой, как она.

Юнкер чувствует, что теперь наступил самый подходящий момент для комплимента, но он потерялся. Сказать бы: «О нет, вы гораздо красивее!» Выходит коротко и как-то плоско. «Ваша красота ни с чем и ни с кем не сравнима». Нехорошо, похоже на математику. «Вы прелестнее всех на свете». Это, конечно, будет правда, но как-то пахнет штабным писарем. Да уж теперь и поздно. Удобная секунда промелькнула и не вернется. «Ах, как досадно. Какой я тюлень!»

Но оркестр играет вторую ригурнель. Мотив ее давно знаком юнкеру. Это кадрили – попури из русских песен. Он знает наивные и смешные слова:

Нет, нет, нет,
Она меня не любит.
Нет, нет, нет,
Она меня погубит.

Замешательство Александра все растет. С незапамятных лет установилось неизбежное правило: во время кадрили и особенно в промежутках между фигурами кавалеру полагается во что бы то ни стало занимать свою даму быстрой, непрерывной, неиссякающей болтовней на всевозможные темы. Но Александр с удивлением и с тоскою замечает, что все его кадрилиные слова приклеились у него где-то в глубине гортани и никак не отклеиваются. Он уже во второй раз спросил Зиночку: «Нравится ли вам сегодняшний бал?» – и, спросив, покраснел от стыда, поперхнулся и совсем некстати перескочил на другой вопрос: «Любите ли вы кататься на коньках?» Зиночка вовсе не помогала ему, отвечая (нарочно сухо, как показалось юнкеру): да и нет.

Ах, как мучительно завидовал он в эти тяжелые минуты беззаботному и неутомимому, точно заводному, Жданову. Разговор у него бежал, как водопад, сверкал, как фейерверк, не останавливаясь ни на миг. Пошлет же судьба человеку такой замечательный талант! Прodelывая без увлечения, по давнишней привычке, разные шассе, круазе, шен и баянсе, Александров все время ловил поневоле случайные отрывки из той чепухи, которую уверенной, громкой скороговоркой нес Жданов: о фатализме²²⁸, о звездах, духах и духах, о Царь-пушке²²⁹, о цыганке-гадалке, о липком пластыре, о канарейках, об антоновских яблоках, о лунатиках, о Наполеоне, о значении цветов и красок, о пострижении в монахи, об ангорских кошках, о переселении душ и так далее без начала, без конца и без всякой связи. Его дама, маленькая Ниночка Забелло, радостно хохотала, закидывая назад свою светло-серебристую кукольную головку и жмуря глаза. Александров окончательно падает духом. Ни одно легкое слово не идет на язык. Оркестр как нарочно поддразнивает его в пятой фигуре:

Нет, нет, нет,
Она меня не любит... —

и бедный юнкер с каждой минутой чувствует себя все более тяжелым, неуклюжим, некрасивым и робким. Классная дама, в темно-синем платье, со множеством перламутровых пуговиц на груди и с рыбьим холодным лицом, давно уже

²²⁸ Фатализм – вера в предопределенность судьбы человека.

²²⁹ Царь-пушка – средневековое артиллерийское орудие (бомбарда), памятник русской артиллерии и литейного искусства, отлитое из бронзы в 1586 году русским мастером Андреем Чоховым на Пушечном дворе. В настоящее время находится на территории московского Кремля.

глядит на него издали тупым, ненавидящим взором мутных глаз. «Вот тоже: приехал на бал, а не умеет ни танцевать, ни занимать свою даму. А еще из славного Александровского училища. Постыдились бы, молодой человек!» Ужасно много времени длится эта злополучная кадрили. Наконец она кончена.

– Гран-рон!²³⁰ – кричит адъютант, весело раскатываясь на пр...

Зиночка Бельшева от гран-рон отказывается.

– Я не люблю этой тесноты и толкотни, – говорит она.

Но Александрову и без лишних слов совершенно ясно, что вовсе не этот путаный, затейливый танец, а именно его, юнкера Александра, не любит Зиночка.

Зиночка садится на стуле в галерее, за колоннами. Юнкер только что собирается со страхом и надеждой в душе присесть возле нее, как она тотчас же подымается.

– Простите. Меня зовет подруга.

И быстро мелькая черными туфельками и белыми чулочками, свободно и грациозно лавируя между танцующими, она торопливо перебегает на другую сторону зала.

«Все кончено», – говорит густым трагическим басом кто-то внутри Александра.

Однако Зиночка побежала совсем не к подруге. Александров следил за нею. Она остановилась перед синей дамой с рыбьим лицом, выслушала, наклонив прелестную каштановую головку, несколько сказанных дамою слов и чинно села рядом с нею. «При чем же здесь подруга? – подумал огорченный юнкер. – Просто ей хочется отделаться от меня...»

Но нет. Вот она бросила на юнкера через всю залу быстрый, вовсе, казалось, не враждебный взгляд и тотчас же, точно испугавшись, отвела его и еще строже выпрямилась на стуле, чуть-чуть осторожно косясь на синюю классную даму. «Неужели это все – только коварная игра?»

Мрачный, ероша свою прическу бобриком, нервно пощипывая чуть пробивающийся пушок на верхней губе, дожидается Александров конца затянувшегося гран-рон и наконец дождался. Распорядитель объявляет польку-мазурку²³¹. «Еще попытка! Самая последняя, а там будь что будет. Ах, жаль, что нельзя, бросив бал, уехать прямо домой, на Пресню. Необходимо явиться в училище и там ночевать. А все этот упрямый Дрозд».

Под резвые, скачущие, лихие звуки польки-мазурки Александров поспешно пробирается к тому месту, где сидит Зиночка. Он уже близко от нее. Всего десять, пятнадцать шагов. Но откуда ни возьмись появляется перед нею, спиной к Александрову, усталый, пресыщенный паж. С какой небрежностью он наклонился, как снисходительно, нехотя, обнял ее грациозную тонкую талию. И он совсем нарочно не хочет делать па танца. Он лишь равнодушно и даже отчасти безразлично шагает в такт. «Ого! Осмелился ли бы он так, спустя рукава, танцевать во дворце или в знатном петербургском доме? Для него здесь только Москва, жалкая провинция, а он, блестящий паж ее величества или высочества, будет потом с презрительной улыбкой говорить о московских смешных кузинах. Да. Охотно повстречался бы я с этим белокрысым, прилизанным фазаном где-нибудь с глазу на глаз, без посторонних свидетелей!» – думает Александров, изо всей силы напрягая мускулы крепкого тела.

Паж сделал круг и посадил Зиночку на ее место, чуть-чуть мотнув головой. Александров торопливо подбежал и старательно поклонился:

– Можно просить вас?

– Ах! Только не теперь... Я ужасно устала.

²³⁰ Большой круг! (от фр. *grand rond*).

²³¹ Полька-мазурка – бальный танец XIX века, сочетающий в себе движения мазурки и шаги польки.

Александров медленно отступает к галерее. Там темнее и пусто. Оборачивается, и что же он видит? Тот самый катковский лицеист, который танцевал вальс, высунув вперед руку, подобно дышлу, стоит, согнувшись в полупоклоне, перед Зиночкой, а та встает и кладет ему на плечо свою руку, медленно склоняя в то же время прекрасную головку на стройной гибкой шее.

Больше Александров не хочет и не может смотреть. Теперь он уверенно знает, что им совершена какая-то грубая, непростимая ошибка, какая-то нелепая и смешная неловкость, которую загладить уже нет ни времени, ни возможности... Пойти объясниться? Просить прощения? Нет, это значило бы громоздить глупость на глупость... Ни раздражения, ни упрека нет у него в душе против Зиночки. Распускалось, расцветало какое-то легкое, чудесное, сверкающее счастье и вдруг померкло, исчезло. Весь мир теперь для юнкера вдруг окрасился желтым тоном, тусклым и скучным, точно он надел желтые очки.

Звуки резвой музыки кажутся унылыми. Печально колеблются огни оплывших огарков в люстрах и шандалах, лица, которые он видит, – все стали некрасивы, несимметричны и бледны.

Тоска!

Он вышел из зала и спустился по лестнице в швейцарскую. Великолепный пурпурно-золотой Порфирий принял его как радушный хозяин.

– Во вторую дверцу-с и направо, – показал он рукой. – Не нужно? Тогда не угодно ли будет вам, господин юнкер, освежиться холодной водицей? Одеколон есть, брокеровский. Ах, вам покурить, господин юнкер? Замаялись, танцевавши?

– Нет... так как-то...

Хотелось было юнкеру сказать: «Мне бы стакан водки!» Читал он много русских романов, и в них очень часто отвергнутый герой нарезывался с горя водкою до потери сознания. Но большое усатое лицо швейцара было так просто, так весело и добродушно, что он почувствовал стыд за свою случайную дурацкую мысль.

Но Порфирий, точно каким-то волшебным чутьем угадав и эту мысль и настроение юнкера, вдруг сказал:

– А что я позволю себе предложить вам, господин юнкер? Я от роду человек не питуший²³², и вся наша фамилия люди трезвые. Но есть у меня вишневая наливочка, знатная. Спирту в ней нет ни капельки, сахар да сок вишневый, да я бы вам и не осмелился... а только очень уже сладко и от нервов может помогать. Жена моя всегда ее употребляет рюмочку, если в расстройстве. Я сейчас, мигом.

– Да не надо, Порфирий. Спасибо тебе. Не стоит.

– Я сейчас...

Он скрылся в своей швейцарской норке, позвонил слегка посудой и вышел с рюмкой на подносе. Это была старинная граненая рюмка красного богемского, или, как говорят в Москве, «бемсаго» хрусталя, с гравированными гранями. Густая темная жидкость колыхалась в ней, отсвечивая зеленым блеском.

– Кушайте на доброе здоровье, батюшка, – ласково промолвил Порфирий. – Так-то вот оно и хорошо будет. Не повторите ли?

– Нет, что ты, Порфирий. Превосходная наливка, – говорил юнкер, вытирая губы платком. – Очень тебе благодарен.

– Э, нет, нет, этого уж, пожалуйста, не надо, – заторопился Порфирий, заметив, что юнкер опускает руку в карман за деньгами. – Это я за честь считаю угостить александровского юнкера, а не так, чтобы с корыстью.

Наливка – и правда – была совсем не приправлена спиртом, но от сахара и ягод в

²³² Любящий выпить.

ней, должно быть, произошло свое винное брожение. У юнкера слегка, но приятно захватило дыхание и зашипало гланды.

И не так наливка, как милое, сердечное, совсем московское обращение Порфирия и его славное, доброе лицо сделало то, что желтый скучный газ, только что облекавший все мироздание, начал понемногу свертываться, таять, исчезать. И, должно быть, огорчение Александрова было не из тех, от которых люди запивают, сходят с ума или стреляются. Об этом минутном горе Александров вспомнит когда-нибудь с нежной признательностью, обвешанной поэзией. До зловещих часов настоящего, лютого, проклятого отчаяния лежат впереди еще многие добрые годы.

Проходя верхним рекреационным коридором, Александров заметил, что одна из дверей, с матовым стеклом и номером класса, полуоткрыта и за нею слышится какая-то веселая возня, шепот, легкие, звонкие восклицания, восторженный писк, радостный смех. Оркестр в большом зале играет в это время польку. Внимательное, розовое, плутовское детское личико выглядывает зорко из двери в коридор.

– Вам можно, – говорит девочка лет двенадцати-тринадцати в зеленом платье. – Только, чур, никому не говорите.

Александров открывает дверь.

Здесь в небольшом пространстве классной комнаты, из которой вынесены парты, усердно танцуют дружка с дружкой под звуки «взрослой» музыки десятка два самых младших воспитанниц, в зеленых юбочках, совсем еще детей, «малявок», как их свысока называют старшие. Но у них настоящее буйное, легкокрылое веселье, которого, пожалуй, нет и в чинном двухсветном зале. И так милы все они, полудетски наивно длинноруки, длинноноги и трогательно неуклюжи!.. Александров с улыбкой вспоминает словцо своего веселого дяди Кости об этом возрасте: «Щенок о пяти ног».

Александров оживляется. Отличная, проказливая мысль приходит ему в голову. Он подходит к первой от входа девочке, у которой волосы, туго перетянутые снизу ленточкой, торчат вверх, точно хохол у какой-то редкостной птицы, делает ей глубочайший церемонный поклон и просит витиевато:

– Мадемуазель, не угодно ли будет вам сделать мне величайшую честь и отменное удовольствие протанцевать со мною, вашим покорным слугою, один тур польки?

Девочка робко, неловко, вся покраснев, кладет ему худенькую, тоненькую прелестную ручонку не на плечо, до которого ей не достать, а на рукав. Остальные от неожиданности и изумления перестали танцевать и, точно самим себе не веря, молча смотрят на юнкера, широко раскрыв глаза и рты.

Протанцевав со своею дамой, он с такой же утонченной вычурностью приглашает другую, потом третью, четвертую, пятую, всех подряд. Ну, что за прелесть эти крошечные девчонки! Александров ясно слышит, что у каждой из них волосы пахнут одной и той же помадой «Резеда», должно быть, купленной самой отчаянной контрабандой. Да и сам этот сказочный балок под сурдинку не был ли браконьерством?

И как аккуратно, как ревностно они делают танцевальные па своими маленькими ножками, высоко поднятыми на цыпочки. От старательности, точно на строгом экзамене, они прикусывают нижнюю губку, подпирают изнутри щеку языком и даже высовывают язычок между зубами.

Когда же Александров подходит к очередной даме, то другие тесно его облепляют:

– Пожалуйста, и со мною тоже.

– И со мной, и со мной, и со мной.

– Милый юнкер, а когда же со мной?

И, наконец, тоненький комариный голосок, в котором дрожит обида:

– Да-а! Со всеми танцуют, а со мной не танцуют.

Александров справедлив. Он сам понимает. Какая редкая радость и какая гордость для девочек танцевать с настоящим взрослым кавалером, да притом еще с юнкером Александровского училища, самого блестящего и любимого в Москве. Он ни одну не оставит без тура польки.

Но он не успевает. На двух воспитанниц не хватает польки, потому что оркестр перестает играть. Увидев две миленькие, готовые заплакать мордочки, с уже вытянутыми в трубочку губами, Александров быстро находится:

– Медам. Это ничего не значит. Мы сами себе музыка.

И, подхватив очередную девочку, уже почти пустившую слезу, он бурно начинает польку, громко подыгрывая голосом: «Тра, ля, ля, ля – тра, ля, ля».

Остальные с увлечением следуют за ним, отбивая такт ладошками, и в общем получается замечательный оркестр.

Дотанцевав, он откланивается и хочет уйти. Но маленькие цепкие лапочки хватают его за мундир.

– Не уходите, юнкер, душка, милочка, не уходите от нас.

Он обещает забежать к ним во время следующего танца и с трудом освобождается.

Только что входит Александров в большой зал, поднимаясь по ступенькам галереи, как распорядитель торжественно объявляет:

– Последний танец! Вальс!

Через всю залу, по диагонали, Александров сразу находит глазами Зиночку. Она сидит на том же месте, где и раньше, и быстрыми движениями веера обмахивает лицо. Она тревожно и пристально обегает взором всю залу, очевидно, кого-то разыскивая в ней. Но вот ее глаза встречаются с глазами Александрова, и он видит, как радость заливает ее лицо. Нет. Она не улыбается, но юнкеру показалось, что весь воздух вокруг нее посветлел и заблестел смехом, точно сияние окружило ее красивую голову. Ее глаза звали его.

Он видел, подходя к ней, как она от нетерпения встала и резким движением сложила веер, а когда он был в двух шагах от нее и только собирался поклониться, она уже приподымала машинально, сама этого не замечая, левую руку, чтобы опустить ее на его плечо.

– Что же вы совсем убежали от меня? Как вам не стыдно? – сказала она, и эти простые, ничего не значащие слова вдруг теплым бархатом задрожали в груди Александрова.

– Я... я... собственно... – начал было он.

Но она перебила его:

– Да, вы, вы, вы. Не нужно ни о чем говорить. Теперь будем только танцевать вальс. Раз-два-три, – подсчитывала она под темп музыки, и они закружились опять в блаженном воздушном потоке.

И тут Зиночка, щекоча невольно его висок своими тонкими волосами, дыша на него порою своим чистым, свежим дыханием, в двух словах развеяла причину их странной молчаливой ссоры издали.

На балах начальство строго следило, чтобы воспитанницы не танцевали с одним и тем же кавалером несколько раз подряд. Это уж было бы похоже на предпочтение, на какое-то избранничество, наконец просто на кидаящееся в глаза взаимное ухаживание. Синяя дама с рыбьей головой сделала Зиночке замечание, что она слишком много уделяет внимания юнкеру Александрову, что это слишком кидается в глаза и, наконец, становится совсем неприличным.

– Во время третьей кадрили она так и пронизывала меня глазищами, и теперь вы

понимаете, что я чувствовала себя как связанная.

– Она и на меня так же глядела, – сказал Александров. – Мне даже пришло в голову, что если бы между мной и ею был стеклянный экран, то ее взгляд сделал бы в стекле круглую дырочку, как делает пуля. Ах, зачем же вы мне сразу не сказали?

– У нас уж такая этика. Мы можем наших классных дам всячески изводить, но жаловаться посторонним – это не принято. Но теперь мне все равно. J'ai jete le bonnet par dessus les moulins²³³. Завтра она пожалуется папе.

– А папа?

– Папа будет от души смеяться. Ах, папочка мой такая прелесть, такой душенька. Но довольно об этом. Вы больше не дуетесь, и я очень рада. Еще один тур. Вы не устали?

Глава XXIV

Дружки

Кончился студень январь, прошел густоснежный февраль, наворотивший круглые белые сугробы на все московские улицы. Медленно тянется март, и уже висят по утрам на карнизах, на желобах и на железных картузах зданий остроконечные сосульки, сверкающие на солнце, как стразы горного хрусталя, радужными огоньками.

По улицам «ледяные» мужики развозят с Москвы-реки по домам, на санях, правильно вырубленные плиты льда полуаршинной толщины. Еще холодно, но откуда-то издали издали в воздухе порою пахнет масленицей.

У юнкеров старшего курса шла отчаянная зубрежка. Пройдут всего два месяца, и после храмового праздника училища, после дня святых великомучеников Георгия и царицы Александры²³⁴, их же память празднуется двадцать третьего апреля, начнутся тяжелые страшные экзамены, которые решат будущую судьбу каждого «обер-офицера». В конце лета, перед производством в первый офицерский чин, будут посланы в училище списки двухсот с лишком вакансий, имеющих в различных полках, и право последовательного выбора будет зависеть от величины среднего балла по всем предметам, пройденным в течение всех двух курсов. Конечно, лучшим ученикам – фельдфебелям и портупей-юнкерам²³⁵ – предстоят выборы самых шикарных, видных и удобных полков. Во-первых, лейб-гвардия²³⁶ в Петербурге. Но там дорого служить, нужна хорошая поддержка из дома, на подпоручичье жалованье – сорок три рубля двадцать семь с половиной копеек в месяц – совсем невозможно прожить. Потом – суконная гвардия в царстве Польском. Очень хорошая форма, но тоже немного дороговато. Затем – артиллерия. Дальше следуют стоянки в столицах или больших губернских городах, преимущественно в гренадерских частях. Дальше лестница выборов быстро сбегала вниз, спускаясь до каких-то ни разу не упоминавшихся на уроках географии городишек и гарнизонных батальонов, заброшенных в глубины провинции.

Александров учился всегда с середиными успехами. Недалекое производство представлялось его воображению каким-то диковинным белым чудом, не имеющим ни

²³³ Я пустилась во все тяжкие (фр.).

²³⁴ Георгий Победоносец – христианский святой, великомученик, наиболее почитаемый святой этого имени. Пострадал во время правления императора Диоклетиана, после восьмидневных тяжких мучений в 303 (304) году был обезглавлен. Вместе с Георгием приняла мученическую смерть царица Александра Римская, названная в житии супругой императора Диоклетиана. Георгий считается покровителем воинов.

²³⁵ Портупей-юнкер – звание, которым удостоивались лучшие из юнкеров за отличное исполнение служебных обязанностей, при примерном поведении и успехах в учебе.

²³⁶ Лейб-гвардия – отборная привилегированная часть войск Российской Империи.

формы, ни цвета, ни вкуса, ни запаха. Одной его заботой было окончить с круглым девятью, что давало права первого разряда и старшинство в чине. О последнем преимуществе Александров ровно ничего не понимал, и воспользоваться им ему ни разу в военной жизни так и не пришлось.

Однако всеобщая зубрежка захватила и его. Но все-таки работал он без особенного старания, рассеянно и небрежно. И причиной этой нерадивой работы была, сама того не зная, милая, прекрасная, прелестная Зиночка Бельшева. Вот уже около трех месяцев, почти четверть года, прошло с того дня, когда она прислала ему свой портрет, и больше от нее – ни звука, ни послушания, как говорила когда-то нянька Дарья Фоминишна. А написать ей вторично зашифрованное письмо он боялся и стыдился.

Много, много раз, таясь от товарищей и особенно от соседней по кровати, становился Александров на колени у своего деревянного шкафчика, осторожно доставал из него дорогую фотографию, освобождал ее от тонкого футляра и папиросной бумаги и, оставаясь в такой неудобной позе, подолгу любовался волшебным милым лицом. Нет, она не красавица, подобная тем блестящим, роскошным женщинам, изображения которых Александров видел на олеографиях Маковского²³⁷ в приложениях к «Ниве» и на картинках в киосках Аванцо и Дациаро на Кузнецком мосту. Но почему каждый раз, когда Александров подолгу глядел на ее портрет, то дыхание его становилось томным, сохли губы и голова слегка кружилась сладко-сладко? Какая тайна обаяния скрывалась в этих тихих глазах под длинными, чуть выгнутыми вверх ресницами, в едва заметном игривом наклоне головы, в губах, так мило сложившихся не то для улыбки, не то для поцелуя?

Рассматривая напряженно фотографию, Александров все ближе и ближе подносил ее к глазам, и по мере этого все увеличивалось изображение, становясь как бы более выпуклым и точно оживая, точно теплея.

Когда же, наконец, его губы и нос почти прикоснулись к Зининому лицу, выросшему теперь до натуральной величины, то, испытывая сладостный туман во всем теле, Александров жадно хотел поцеловать Зинины губы и не решался, усилием воли не позволял себе.

– Так нельзя делать, – уговаривал он самого себя. – Это – стыдно, это тайное воровство и злой самообман. Так мужчине не надлежит поступать. Ведь она же не может тебе ответить!

И со вздохом усталости прятал карточку в шкаф.

Об этих своих странных мучениях он никому не признавался. Только раз – Венсану. И тот сказал, махнув рукой:

– Брось! Ерунда. Просто в тебе молодая кровь волнуется. «Смирять ее молитвой и постом»²³⁸. Пойдем-ка, дружище, в гимнастический зал, пофехтуем на рапирах на два пирожных. Ты мне дашь пять ударов вперед из двадцати... Пойдем-ка.

Дружба Александрова с Венсаном с каждым днем становилась крепче. Хотя они вышли из разных корпусов и Венсан был старше на год.

Вероятно, выгибы и угибы их характеров были так расположены, что в союзе приходились друг к другу ладно, не болтаясь и не нажимая.

На лекциях они всегда сидели рядом и помогали один другому. Александров чертил для Венсана профили пушек и укреплений. Венсан же, хорошо знавший иностранные языки, вставал и отвечал за Александрова, когда немец или француз вызывали его фамилию.

Если лекция бывала непомерно скучна, то друзья развлекались чтением, игрой в

²³⁷ Маковский Константин Егорович (1839–1915) – русский художник.

²³⁸ Цитата из трагедии А.С.Пушкина «Борис Годунов» (1825).

крестики, сочинением вздорных стихов. Но любимой их игрой была игра в мечту об усах.

В Венсане не напрасно половина крови была французская: он старательно носил в боковом кармане маленькую щеточку и крошечное зеркальце.

Пусть учитель русской словесности, семинар Декапольский, монотонно бубнил о том, что противоречие идеала автора с действительностью было причиной и поводом всех написанных русскими писателями стихов, романов, повестей, сатир и комедий... Это противоречие надоело всем хуже горькой редьки.

Декапольского никто не слушал.

Венсан вынимал свое зеркальце, внимательно рассматривал, щурясь и вертя голову справа налево, свои юные, едва начавшие пробиваться усы.

– Ну, что? – спрашивал он серьезно. – Как будто опять подросли немного?

– Да, немного побольше стали. А ну-ка, дай-ка теперь мне поглядеть. Ты ведь счастливец. Ты брונет, и они у тебя черные, а у меня – светло-каштановые, у меня не так они выделяются. Ну а все-таки как? виднее, чем прежде?

– Несомненно. Даже издали видно. Очаровательные усы со временем будут. Позволь, я еще раз на себя погляжу, еще раз...

Потом, не доверяя зеркальному отражению, они прибегали к графическому методу. Остро очиненным карандашом, на глаз или при помощи медной чертежной линейки с транспортиром, они старательно вымеряли длину усов друг друга и вычерчивали ее на бумаге. Чтобы было повиднее, Александров обводил свою карандашную линию чернилами. За такими занятиями мирно и незаметно протекала лекция, и молодым людям никакого не было дела до идеала автора.

Эти двое юнкеров охотно приглашали друг друга на вечера, любительские спектакли и маленькие балы, какие всю зиму устраивались в их знакомых семействах. Тогда вся Москва плясала круглый год и каждый день. Александров представлял Венсана семьям – Синельниковых, Скрипицыных и Владимировых; Венсан водил своего друга все в один и тот же дом, к Шелкевичам. Глава этого семейства, еврей Шелкевич, считался в Москве в числе трех наиболее богатых банкиров. Его ежемесячные домашние балы славились по всему городу: лучший струнный оркестр, самые красивые женщины Москвы, ужины с фазанами, устрицами, выписанной стерлядью и лучшими марками шампанского, роскошные цветы от Ноева, свежие ананасы и прелестные безделушки для котильонов²³⁹, которые охотно сохранялись на память даже людьми солидными и уже давно не танцующими.

Венсан был влюблен в младшую дочку, в Марию Самуиловну, странное семнадцатилетнее существо, капризное, своевольное, затейливое и оболбительное. Она свободно владела пятью языками и каждую неделю меняла свои уменьшительные имена: Маня, Машенька, Мура, Муся, Маруся, Мэри и Мари. Она была гибка и быстра в движениях, как ящерица, часто страдала головной болью. Понимала многое в литературе, музыке, театре, живописи и зодчестве и во время заграничных путешествий перезнакомилась со множеством настоящих мэтров.

И лицо у нее было удивительное, совсем, ни на иоту не похожее на все прочие женские лица. Взгляд ее светло-серых глаз был всегда как будто бы слегка затуманен тончайшей голубоватой дымкой. Рот был большой, алчный и красный, но необычайно красивого рисунка, а руки несравненного изящества. И странное выражение было в этом удивительном живом лице: надменность, насмешка и нежная ласка. Она часто танцевала с Александровым и говорила ему нередко, что лучше, ритмичнее и упоительнее его никто не танцует вальса. А его неизменно приводила в смущение ее

²³⁹ Котильон – бальный танец французского происхождения.

свободная манера прижиматься к кавалеру всем стройным тонким телом и маленькими, точно гуттаперчевыми грудями. «А вдруг ее родители заметят? и рассердятся? Куда тогда мне от стыда деваться?»

Он избегал с нею разговаривать, боясь ее остроцепкого, безжалостного языка и не находя никаких тем для разговора.

Впрочем, и она оставляла его в покое, довольствуясь им как отличным танцором. И, пожалуй, Александров не без проникательности думал иногда, что она считает его за дурачка. Он не обижался. Он отлично знал, что дома, в общении с товарищами и в болтовне с хорошо знакомыми барышнями у него являются и находчивость, и ловкая поворотливость слова, и легкий незатейливый юмор.

Но что мог поделать бедный Александров со своей проклятой застенчивостью, которую он никак не мог преодолеть, находясь в большом и малознакомом обществе?

Он не завидовал Венсану. Он только удивлялся его уверенности и спокойствию, его натуральной способности быстро схватывать узел разговора, продолжать его и снова завязывать, никогда не позволяя ему иссякнуть. А его шутовское состязание с Марией Самуиловной в остротах и шпильках казалось ему блестящим поединком двух первоклассных мастеров фехтования. Уезжал он от Шелкевичей всегда усталым и с тяжелой головой.

В училище весь день у юнкеров был сплошь туго загроможден учением и воинскими обязанностями. Свободными для души и для тела оставались лишь два часа в сутки: от обеда до вечерних занятий, в течение которых юнкер мог передвигаться, куда хочет, и делать, что хочет во внутренних пределах большого белого дома на Знаменской.

В эти предвечерние часы любо бывало юнкерам петь хором, декламировать, ставить самодельные краткие пьесы, показывать фокусы, слушать рассказы о былом и о прочитанном. В эти часы удобно и уютно было друзьям разговаривать о вещах сердечных, требующих деликатного секрета, особенно о первой любви, которая эпидемически расцветала во всех молодых и здоровых сердцах, переполняя их, искала выхода хоть в словах.

Венсан и Александров каждый вечер ходили в гости друг к другу; сегодня у одного на кровати, завтра – у другого. О чем же им было говорить с тихим волнением, как не о своих неугомонных любовях, которыми оба были сладко заражены: о Зиночке и о Машеньке, об их словах, об их улыбках, об их кокетстве.

И тут сказывалась разность двух душ, двух темпераментов, двух кровей. Александров любил с такою же наивной простотой и радостью, с какою растут травы и распускаются почки. Он не думал и даже не умел еще думать о том, в какие формы выльется в будущем его любовь. Он только, вспоминая о Зиночке, чувствовал порою горячую резь в глазах и потребность заплакать от радостного умиления.

Венсан был влюблен страстнее и определеннее, со всей сознательностью молодого человека, вступившего в полосу половой зрелости. Но он не скрывал ни от себя, ни от Александрова своих практических дальних планов.

– Машенька – прелесть и чудо, – говорил он, – но она еще и умна и образованна. Такая жена всегда будет хорошей вывеской для мужа. А кроме того (зачем же мне притворяться и ломаться перед тобою), – кроме того, она богата и за ней будет хорошее приданое. У нас уже условлено: в день производства я прошу ее руки. Выйду я в Перновский гренадерский полк, на сослужение с братом. Все-таки Москва... Когда мне исполнится двадцать три года, я женюсь на ней, а затем непременно, во что бы то ни стало, поступаю в Академию генерального штаба. Вот уже моя карьера и на виду. Эх, дружище: плохая вещь любовь в шалаше, с собственной стиркой белья и личным

кормлением младенцев из рожка.

– Ты циник, – говорил Александров.

Венсан смеялся.

– Совсем нет. Я только соединяю любовь с рассудком. Но ты этого никогда не поймешь. Ты – писатель, и твое одно удовольствие – это парить в облаках...

Глава XXV Rendez-Vous²⁴⁰

Утренняя переключка – самый важный и серьезный момент в дневной жизни роты. После оклика всех юнкеров поочередно фельдфебель читает приказы по полку. Он же назначает на сутки одного дежурного из старшего курса и двух дневальных из младшего, которые чередуются через каждые четыре часа, он же объявляет о взысканиях, налагаемых начальством.

Наконец, по окончании переключки, выдавались юнкерам полученные на их имя письма. Последнее обыкновенно делал сам Дрозд, и не без некоторой значительности. По уставу он мог бы всякую корреспонденцию юнкеров предварительно просматривать, но он их передавал в нетронутом виде. Он, вероятно, инстинктом понял великую аксиому власти: «Взаимное доверие сильнее связывает начальника с подчиненным, чем подозрение и репрессии». К тому же он понимал, что письмо с воли в закрытое заведение всегда дает радость и тепло, а тронутое чужими руками как-то вянет и охладевает.

В конце февраля Александров получил из рук Дрозда такое трогательное малюсенькое письмо, что его марка, казалось, покрывала весь конверт.

– Гм, – сказал Дрозд, – какая воробьиная переписка!

В строю решительно немислимо заниматься чем-нибудь иным, как строим: это первейший военный завет. Маленькое письмецо жгло карман Александрова до тех пор, пока в столовой, за чашкой чая с калачом, он его не распечатал. Оно было больше чем лаконично, и от него чуть-чуть пахло теми прелестными прежними рождественскими духами!..

«На второй день Масленицы, в два часа пополудни, приходите на каток Чистых прудов. Я буду с подругой. Ваша З. Б.»

Ваша! О, господи! Ваша! Это словечко точно горячей водою облило юнкера и на минуту сладко закружило его голову.

В этот день первой лекцией для юнкеров старшего курса четвертой роты была лекция по богословию. Читал ее доктор наук богословских, отец Иванцов-Платонов, настоятель церкви Александровского училища, знаменитый по всей Европе знаток истории церкви.

Будучи на первом курсе, Александров с жадным вниманием слушал его поразительные лекции о римских папах эпохи Возрождения и о Савонаролле²⁴¹. Но теперь он читал о разрыве церквей²⁴², об исхождении святого духа²⁴³, о причастии под одним или под двумя видами, о непогрешимости пап²⁴⁴ и о соборах²⁴⁵. Эта тема была

²⁴⁰ Свидание (фр.)

²⁴¹ Савонаролла Джироламо (1452–1498) – итальянский доминиканский священник и глава Флоренции

²⁴² Разрыв (раскол) церквей – церковный раскол 1054 г., после которого окончательно произошло разделение Церкви на Римско-католическую церковь на Западе с центром в Риме и Православную — на Востоке с центром в Константинополе.

²⁴³ Исхождение Святого Духа – одно из важнейших положений христианского вероучения, расхождения в его толковании стали одной из главных причин раскола христианства.

²⁴⁴ Непогрешимость папы – догмат Римско-католической церкви, утверждающий, что, когда Папа

суха, схоластична, трудно понимаема.

Александров и вместе с ним другие усердные слушатели отца Иванцова-Платонова очень скоро отошли от него и перестали им интересоваться. Старый мудрый протоиерей не обратил никакого внимания на это охлаждение. Он в этом отношении был похож на одного древнего философа, который сказал как-то: «Я не говорю для толпы. Я говорю для немногих. Мне достаточно даже одного слушателя. Если же и одного нет – я говорю для самого себя».

У Иванцова-Платонова было много занятий в Троице-Сергиевской духовной академии, в разных богословских обществах, и, кроме того, ему едва хватало времени для издания и корректур его многих и замечательных книг. Он отлично знал, что в училище богословие считается предметом почти необязательным, экзамена по нему не полагалось. И он со спокойным равнодушием ставил всем юнкерам по двенадцати баллов. Также ему было все равно, чем занимаются юнкера на его лекциях. Он даже не глядел на них, произнося свои веские мудрые ученые слова... А юнкера в это время подзубривали военные науки для близкой репетиции, чертили профили и фасы, заданные профессорами артиллерии и фортификации, упражнялись в топографическом искусстве, читали книжки Дюма-отца или попросту срисовывали лысую, почти голую мощную голову прославленного пастыря. Требовалась только условная минимальная тишина, ибо Иванцов-Платонов готовился к ближайшей лекции в более серьезном месте.

Александров, как и всегда, сел рядом с Венсаном и протянул ему полученное письмецо. Венсан неторопливо с серьезным видом рассмотрел и отдал назад.

– Ну что же, Александров, ты – счастливец, – сказал он с дружеской улыбкой. (У них уже давно вошло в обычай говорить друг другу «вы» по делам училищным и «ты» – по делам дружбы, тонких чувств и любви.)

– Вчера, только вчера ты не осмеливался прикоснуться губами к ее фотографическому портрету, а, смотри, сегодня она тебе назначила randevu на катке, где ты поцелуешь не кусок картона, а, может быть, живую теплую душистую перчатку на маленькой ручке. Ох, уж вы мне, скрипучие пессимисты!

– А погляди, погляди, – волновался Александров, – погляди, как она, мое божество, подписалась. «Ваша». Это значит – моя, моя, моя, моя. Моя.

Суровый реалист Венсан не согласился.

– Ваша – это не значит – твоя. Ваша или ваш – это только условное и не очень почтительное сокращение обычного окончания письма. Занятые люди нередко, вместо того чтобы написать: «теперь, милостивый государь мой, разрешите мне великую честь покорнейше просить Вас увериться в совершенной преданности, глубоком почтении и неизменной готовности к услугам Вашим покорнейшего слуги Вашего...» Вместо всей этой белиберды канцелярской умный и деловитый человек просто пишет: «Ваш Х.», и все тут.

Александров сделал кислое лицо.

– Ну вот, ты всегда такой практик. Все ты через серые очки видишь. А ты обратил внимание на подругу?

– Как же, обратил. Это, наверное, будет дуэнья, барышня постарше и понекрасивее, строгого характера, и потому я заранее отказываюсь от удовольствия сопровождать тебя на чистопрудный каток и занимать на морозе апатичную,

определяет учение церкви, касающееся веры или нравственности, провозглашая его, он обладает непогрешимостью (безошибочностью) и огражден от самой возможности заблуждаться.

²⁴⁵ Собор – здесь: собрание представителей церкви для разрешения вопросов и дел вероучения, религиозной нравственной жизни, устройства, управления и дисциплины вероисповедания христианского общества.

неразговорчивую дурнушку.

– Ах, Венсан!

– Нет, голубчик, – смягчился дружок. – У меня на второй день Масленой недели тоже – приглашение и – тоже на каток, но только на Патриаршем пруду, от Машеньки Шелкевич, от моей прекрасной еврейки.

– Эх, пропало мое дело, – уныло сказал Александров и причмокнул языком.

– Почему пропало? Я хоть и реалист и практический человек, но зато верный и умный друг. Посмотри-ка на письмо Машеньки: она будет ждать меня к четырем часам вечера, и тоже с подругой, но та превеселая, и ты от нее будешь в восторге. Итак, ровно в два часа мы оба уже на Чистых прудах, а в четыре без четверти берем порядочного извозчика и катим на Патриаршие. Идет?

– Ах, дорогой мой, как ты хорошо распорядился! А у меня уж было печенки заболели. Ты добр и великодушен, бледнолицый брат мой.

– То-то.

В субботу юнкеров отпустили в отпуск на всю неделю масленицы. Семь дней перерыва и отдыха посреди самого тяжелого и напряженного зубрения, семь дней полной и веселой свободы в стихийно разгулявшейся Москве, которая перед строгим Великим постом вновь возвращается к незапамятным языческим временам и вновь впадает в широкое идолопоклонство на яростной тризне по уходящей зиме, в восторженном плясе в честь весны, подходящей большими шагами.

Вчера еще Москва ела жаворонков: булки, выпеченные в виде аляповатых птичек, с крылышками, с острыми носиками, с изюминками-глазами. Жаворонок – символ выси, неба, тепла. А сегодня настоящий царь, витязь и богатырь Москвы – тысячелетний блин, внук Дажбога²⁴⁶. Блин кругл, как настоящее щедрое солнце. Блин красен и горяч, как горячее всесогревающее солнце, блин полит растопленным маслом, – это воспоминание о жертвах, приносимых могущественным каменным идолам. Блин – символ солнца, красных дней, хороших урожаев, ладных браков и здоровых детей.

О, языческое удельное княжество Москва! Она ест блины горячими, как огонь, ест с маслом, со сметаной, с икрой зернистой, с паюсной, с салфеточной, с ачуевской, с кетовой, с сомовой, с селедками всех сортов, с кильками, шпротами, сардинами, с семушкой и с сижком, с балычком осетровым и с белорыбьим, с тешечкой, и с осетровыми молоками, и с копченой стерлядкою, и со знаменитым снетком из Бела озера. Едят и с простой закладкой и с затейливо комбинированной.

А для легкости прохода в нутро каждый блин поливается разнообразными водками сорока сортов и сорока настоев. Тут и классическая, на смородинных почках, благоухающая садом, и тминная, и полынная, и анисовая, и немецкий допелькюммель, и всеисцеляющий зверобой, и зубровка, настойка на березовых почках, и на тополевых, и лимонная, и перцовка, и... всех не перечислишь.

А сколько блинов съедается за масленую неделю в Москве – этого никто никогда не мог пересчитать, ибо цифры тут астрономические. Счет приходилось бы начинать пудами, переходить на берковцы²⁴⁷, потом на тонны и вслед за тем уже на грузовые шестимачтовые корабли.

Ели во славу, по-язычески, не ведая отказа. Древние старожилы говорили с прискорбием:

– Эх! Не тот, не тот ныне народ пошел. Жидковаты стали люди, не емкие. Посудите сами: на блинах у Петросеева Оганчиков-купец держал пари с бакалейщиком Трясиловым – кто больше съест блинов. И что же вы думаете? На тридцать втором блине, не сходя с места, богу душу отдал! Да-с, измельчали люди. А в мое молодое

²⁴⁶ Дажбог – в славяно-русской мифологии бог солнца и огня.

²⁴⁷ Берковец – старорусская мера веса, равная приблизительно 163,8 кг.

время, давно уже этому, купец Коровин с Балчуга свободно по пятидесяти блинов съедал в присест, а запивал непременно лимонной настойкой с рижским бальзамом.

Но Александров блинного объедения не понимает и к блинам особой страсти не чувствует. Съел парочку у мамы, парочку у сестры Сони и стал усиленно готовиться ко вторичной встрече. Его стальные коньки, лежавшие без употребления более года в чулане, оказывается, кое-где успели заржаветь и в чем-то перепачкались; пришлось над ними порядочно повозиться, смазывая их керосином, обтирая теплым деревянным маслом и, наконец, полируя наждаком особенно неподатливые ржавчинки.

Когда же коньки были приведены в полный порядок, Александров вспомнил о том, что он уже давно, уже более года не занимался благородным спортом бегания на коньках. Надо было немедленно заняться необходимой тренировкой. Правда, девушки в конькобежном искусстве всегда стоят гораздо ниже молодых людей, однако Александрову приходилось дважды в своей жизни видеть совершенно обратные примеры, оба на большом катке Зоологического сада. Один раз это была датчанка, другой – суровая норвежская девица. В быстроте и выносливости их не мог победить ни один из московских профессионалов-мужчин. Но в фигурном заезде выше их по очкам оказывался каждый раз преподаватель гимнастики в Александровском училище – Постников, знаменитый московский спортсмен.

«Ну, конечно, Зиночка Бельшева не датчанка, не норвежка, но, судя по тому, как она ходит, и как танцует, и как она чутка к ритму и гибка и ловка в движениях, можно предположить, что она, пожалуй, очень искусна в работе на коньках. А вдруг я окажусь не только слегка слабее ее, а гораздо ниже. Нет! Этого унижения я не могу допустить, да и она меня начнет немного презирать. Иду сейчас же упражняться».

Самый близкий каток от Кудрина был как раз на Патриарших прудах, но за вход на его заботливо содержимое ледяное поле и за музыку полагалось со своими коньками десять копеек... И отсюда-то и начались лютые горести и моральные муки для бедного вновь влюбленного юнкера в звании обер-офицера, Алексея Александрова.

Смета его предполагаемых расходов была колоссально велика, даже считая в обрез: суббота, воскресенье, понедельник – три дня, каждый день по два упражнения на Патриарших, итого шесть раз – шестьдесят копеек. Вход на Чистые пруды – гривенник, итого семьдесят копеек. Угостить чем-нибудь Зиночку. Довезти ее домой на извозчике. Заплатить за нее услужнице.

А у Александрова не было ни единой копейки. О свинская, о подлая бедность! Неужели придется отказаться? не прийти? сказать через Венсана, что заболел мгновенно дифтеритом или сломал ногу?

Прости-прощай навсегда, светлый, милый, нежный облик Зиночки, ласковой волшебницы, такой прелестной душеньки, с которой не сравниются никакие знаменитые красавицы. Прощай, любовь моя! И все это из-за жалких копеек!

Он мог бы обратиться к матери и попросить ее, но он давно знал, как она непоколебима в своих убеждениях, внушенных ей чужим злобным и глупым авторитетом.

Была у мамы такая давняя, необычайно почитаемая старшая подруга, Мария Ефимовна Слепцова – самая важная, самая либеральная и самая неоспоримо умная особа в Вышнем Волочке. Она в год раза четыре приезжала в Москву по делам, навещала маму и всегда-то всех учила, делала замечания, прорицала, предостерегала и тому подобное.

Мать, в силу многолетнего, еще с девичества ненарушимого преклонения, внимала ей, как гласу ангельскому с небес, и, сама очень свободолюбивая по натуре, считала ее индюшечью болтовню непререкаемым кладезем мудрости и опыта.

Однажды, перед вечером, когда Александров, в то время кадет четвертого класса,

надел казенное пальто, собираясь идти из отпуска в корпус, мать дала ему пять копеек на конку до Земляного вала, Марья Ефимовна зашипела и, принявшись теревить на обширной своей груди старинные кружева, заговорила с тяжелой самоуверенностью:

– Я тебя не понимаю, Люба, – разве это педагогично давать детям или, скажем, юношам деньги на руки? К чему они ему? (Александров-то знал – к чему: на пару тирольских пирожных у корпусного разносчика Егорки.) Он, слава богу, обут, одет и учится в хорошем, теплом и хорошо освещенном помещении. Куда же ему девать деньги? На конку? Но для мальчика его возраста пройти пешком от Кудрина до Лефортова одно только удовольствие! А мы не раз видали, и слышали, и читали, к каким плачевным, роковым результатам приводит молодежь раннее знакомство с деньгами и с тем, что можно получить за деньги.

– Вы правы, Марья Ефимовна, вы совершенно правы, – говорила покорно Алешина мать. – Я приму ваши золотые слова к самому сердцу. Как вы добры и мудры!

Вышневолоцкая пифия²⁴⁸ совсем рассиропилась и продолжала томным голосом:

– В особенности я об этом говорю потому, что знаю, Любочка, твое совсем не богатое положение. Но я надеюсь, что ты позволишь мне на основании нашей старой дружбы подарить твоему милому мальчику вот этот рубль, который ты будешь расходовать на его маленькие невинные забавы.

Александров быстро надел фуражку и пошел к двери.

– Алеша, поблагодари! Алеша, прости с Марьей Ефимовной! – тревожно кричала мать.

– Не стоит, – ответил дрожащим голосом кадет и хлопнул дверью.

Александров молчал, предаваясь унылым думам. Мать тоже молча вышивала гарусом по канве, и часто слышался роговой тихий стук ее спиц.

«Нет, у мамы стыдно и бесполезно просить. Ведь она для себя никогда не жила. Все для нас. Выезжать надо было сестрам – продала две родовые деревнюшки Зубово и Щербатовку с землей. Приданое понадобилось – отдала пополам бабушкино наследство. Пошли дети у сестер – она и бабкой и нянькой, – сама из рожка кормила. И всегда она нас в детстве вывозила летом на дачу из пыльной пламенной Москвы и там бывала нам и кухаркой и горничной. А мне, балбесу, лентяю и грубияну, не могшему одолеть первых начал алгебры, разве не нанимала она репетиторов, или, как она сама называла, „погонялок“».

Ах! К ней никак невозможно и, стало быть, – пропал счастливый второй день масленицы. Жестокая моя жизнь!»

Но есть в мире удивительное явление: мать с ее ребенком еще задолго до родов соединены пуповиной. При родах эту пуповину перерезают и куда-то выбрасывают. Но духовная пуповина всегда остается живой между матерью и сыном, соединяя их мыслями и чувствами до смерти и даже после нее.

– Ты что же, Алеша, надулся, как мышь на крупу? – сказала тихонько мать. – Иди-ка ко мне. Иди, иди скорее! Ну, положи мне голову на плечо, вот так.

– Да я, мамочка... так...

– Ну говори, рассказывай. Я уж давно чувствую, что ты какой-то весь смутный и о чем-то не переставая думаешь. Скажи, мой светик, скажи откровенно, от матери ведь ничто не скроется. Чувствую, гложет тебя какая-то забота, дай бог, чтобы не очень большая. Говори, Алешенька, говори – вдвоем-то мы лучше разберем.

Милый, с колыбели родной голос, нежные, давно привычные слова растопили угрюмость юнкера. Мать гладила его волосы, а он рассказывал все по порядку:

²⁴⁸ Пифия – жрица-прорицательница в храме Аполлона в Дельфах, восседавшая над расщелиной скалы, откуда поднимались одурманивающие испарения, и произносившая под их влиянием бессвязные слова, которые истолковывались жрецами как прорицания, пророчества.

блестящий рождественский бал в Екатерининском институте, куда его почти насильно отправил Дрозд. Танцы. Знакомство с Зиной Бельшевой. Летучая ссора, наивное примирение. Первая любовь, настоящая, пылкая и на веки вечные (прежние дачные любвишки не в счет. Так – баловство, обезьянство, подражание прочитанным романам). Рассказал также Александров о том, как написал обожаемой девушке шифрованное письмо, лимонными чернилами с акrostихом выдуманной тетки, и как Зиночка прислала ему очаровательный фотографический портрет, и как он терзался, томясь долгой разлукой и невозможностью свидания.

– Ведь ты же, мама, понимаешь меня? Ты же была в свое время влюблена, прежде чем выйти замуж?

– Нет, нет, Алешенька, мой милый, – тихо засмеялась мать. – В мое время таких влюблений у нас не бывало. Пришли ко мне твои дедушка и бабушка и сказали: «Любушка, к тебе сватается председатель мирового съезда Николай Федорович Александров; человек он добрый, образованный и даже играет на скрипке. Фамилия его хорошая, дворянская. Место почтенное. Ну, как ты скажешь? Пойдешь? Не пойдешь?» – «Как вы, папенька, маменька, скажете». Так я и вышла замуж неполных шестнадцати лет; даже после венчания все куклы свои в мужнин дом перевезла. А ты говоришь влюбление.

– Ах, мамочка, то было – когда, а теперь – теперь совсем другое.

– Да, ладно, хорошо. Верю тебе, что нынче иное. А ты дальше говори.

– А дальше то, что Зиночка прислала мне в училище вот это коротенькое письмецо, и я теперь не знаю, что делать...

Мать, не торопясь, надела на нос большие в металлической оправе очки и внимательно прочитала записочку. А потом вздела очки на лоб и сказала:

– Быстрая барышня, деловитая и живая. Она из каких же Бельшевых? Не профессора ли Дмитрия Петровича дочка?

– Да, мамочка. Она самая – Зинаида Дмитриевна.

– Ну, что же? Не мое право его укорять, что он дочку на такой широкой развязке держит... Однако он человек весьма достойный и по всей Москве завоевал себе почет и уважение. Впрочем – это не мое дело. Ты лучше прямо мне скажи, что тебе так до смерти нужно? Денег, наверное? Так?

– Так, мамочка. Только мне очень, очень стыдно у тебя просить.

– Ну, стыд не велик. Я еще твоя должница. В прошлом году ты мне шевровые²⁴⁹ башмаки подарил. Но к чему мне шевро? Я не модница. Стара стала. Я пошла в этот магазин, где ты покупал, и там хорошие прюнелевые²⁵⁰ ботинки присмотрела и разницу себе взяла. Ну, что же, пяти целковых²⁵¹ тебе довольно? Хватит?

Александров прильнул губами к ее морщинистой шее и, горячо целуя ее, растроганно забормотал:

– Этого довольно, совсем довольно. Ах, какая ты у меня восторгательная, мамочка. Какая ты золотая, брильянтовая! Ты подумай только, мама, что бы теперь сказала Мария Ефимовна Слепцова, если бы увидела твою непомерную расточительность!

Мать улыбнулась той милой, славной, стародавней улыбкой, которую так знал и любил Алексей и в которой так наивно скользило беззлобное лукавство.

– Ах, Алешенька! Здесь нас только двое. Никто чужой не услышит. Не в укор и не в осуждение, скажу тебе, что моя Марья Ефимовна при всех своих прекрасных чертах –

²⁴⁹ Шевро – мягкая кожа хромового дубления, выделанная из шкур коз.

²⁵⁰ Прюнель – легкая и плотная шерстяная или шелковая ткань, идущая на изготовление верха обуви.

²⁵¹ Целковый – серебряная монета достоинством в один рубль.

порядочная-таки дурища, дай ей бог всякого счастья и здоровья. Она еще и в Пензе этим качеством отличалась. Но, однако, при всей своей глупой гордости и при вечном всезнайстве она чрезвычайно добра и всегда готова оказать помощь. Но и тебе, мой Алеша, я должна сказать: научись ты, ради бога, обуздывать свой неумный татарский нрав. Много ты несчастий через него в жизни перетерпишь. Кровь у тебя уж чересчур вспыльчивая.

Глава XXVI Чистые Пруды

В ту же субботу, ранним вечером, успел Александров сбежать с коньками на небольшой, но уютный и близкий от дома каток Патриарших прудов. Там нынче не было музыки, но зато беговое ледяное поле, находившееся под присмотром ревностных членов конькобежного клуба, отличалось замечательной чистотой и зеркальной гладкостью. Над деревянной кабинкой, где спортсмены надевали на ноги коньки, пили лимонад и отогревались в морозные дни, – висел печатный плакат: «Просят гг. посетителей катка без надобности не царапать лед вензелями и не делать резких остановок, бороздящих паркет».

Александров сначала опасался, что почти шестимесячная отвычка от «патинажа»²⁵² даст себя знать тяжестью, неловкостью и неумелостью движений. Но когда он быстрым полубегом-полускоком обогнул четыре раза гладкую поверхность катка и поплыл большими круглыми, перемежающимися размахами, то сразу радостно почувствовал, что ноги его по-прежнему работают ловко, послушно и весело и отлично помнят конькобежный темп.

Какой-то пожилой толстый спортсмен, с крошечной круглой шапочкой на голове, воскликнул, сбегая на коньках с деревянной лестницы:

– Bravo, господин юнкер! Bravo, bravo, молодцом.

Александров с широкой улыбкой приложил правую руку к своей барашковой орленой шапке и подумал не без гордости: «Это еще пустяки. А вот ты лучше погляди на меня в следующий вторник, на Чистых прудах, где я буду без шинели, без этого нелепого штыка, в одном парадном мундире, рука об руку с ней, с Зиной Бельшевой, самой прекрасной и грациозной барышней в мире...»

Так он проминал и упражнял свое тело до глубоких сумерек. Когда уже стало ничего не видно вокруг, тогда, приятно усталый и блаженно расслабленный, он с трудом дошел до дома.

Но на другой день, с самого раннего утра, стали давать знать себя последствия неумеренной тренировки, затеянной через большой промежуток пустого времени. Он проснулся с таким чувством, будто его руки, ноги, спина и все тело избиты до синяков. Каждый мускул болел и ныл и не позволял до себя дотрагиваться. Чтобы встать с постели, Александрову пришлось держаться за стул и кряхтеть совсем по-старчески. Он подумал, что заболел, катаясь вчера на коньках, и, чтобы не тревожить мать, попросил принести ему утренний чай в постель, чего раньше никогда не делал, считая еду в лежачем положении ужасным свинством.

Но мать сама принесла ему чай и калач с маслом. Она сразу увидела, как ее сын мается от ломоты и через силу, с трудом передвигает свои члены, и участливо спросила:

– Что, Алешенька? Никак перекатался вчера?

– Да, немножко, мамочка. Но сам не понимаю, почему меня всего так и тянет, так

²⁵² Патитаж (устар.) – катание (фигурное) на коньках.

и разбирает, точно у меня лихорадка. Не хватало еще такой глупости, чтобы захворать на масленной неделе.

Мать поцеловала его в лоб (так она всегда измеряла температуру у своих детей) и сказала:

– Слава богу, никакой болезни нет. А твое недомогание – вещь простая и легко объяснимая: просто маленькое растяжение мускулов. Бывает оно у всех людей, которые занимаются напряженной физической работой, а потом ее оставляют на долгое время и снова начинают. Эти боли знакомы очень многим: всадникам, гребцам, грузчикам и особенно циркачам. Цирковые люди называют ее корруптурой или даже колупотурой.

– А как же от нее лечатся? – спросил Александров, вспомнив о недалеком вторнике.

– Да просто никак, Алешенька. Здесь ни массажи, ни втирания, ни внутренние средства не помогают. Поможет только время. А самое лучшее, что я тебе посоветую, Алеша, это – иди сейчас же на каток и начни снова упражняться по-вчерашнему.

– Батюшки, да у меня все тело, сверху донизу, точно расплзается на части. Мне даже шевелиться больно.

– А все-таки возьми да и пошевелись. Клин клином надо вышибать. Это старая народная мудрость. Ногам больно – встань на ноги да пойди. И пойди прямо на каток. Преодолей сам себя и перетерпи всякую боль. А там – как рукой снимет. Ты уж верь мне. Я сколько раз это лечение употребляла. Дядюшка твой, а мой брат, совсем не почтенный Аркадий Алексеевич, был самый отчаянный татарин и самый страстный лошадиник во всей Пензенской и Тамбовской губерниях. О боже, сколько он надурил в течение своей жизни. Так, например, он уверял всех, а в особенности меня, тогда девчонку лет тринадцати, что во мне зарыт великий талант дикой, неподражаемой и несравненной наездницы, который надо только развить и отшлифовать, и – тогда мне будут свободны все дороги по лошадиной части: в цирк так в цирк, на роль грандиозной наездницы Эльфриды. А то на скачки: женщина-жокей, первая в мире и никем не победимая. Если захочу – в Аравию, тамошних первоклассных лошадей объезжать, или поступлю к английской королеве, шефом ее личной конюшни... Всегда врал князь Аркадий, как непутевый, однако, по правде сказать, был у меня какой-то прирожденный, потомственный дар к лошадям. Я их всегда любила, и они меня любили и слушались. Так что же ты думаешь, этот братец мой Аркаша, сорвиголова, для моего обучения придумал. (Тогда уже он, с такими же любезными братцами – татарскими князьями, – успел наш прекрасный прапрадедовский конный завод разорить дотла своими кутежами всякими и фокусами.) Поедет он, бывало, далеко в киргизские степи и пригонит оттуда большой косяк тамошних лошадей-неуков. А лошади эти были замечательные, и любители их очень ценили. Отличались они, при сравнительно небольшом росте, необыкновенно широкой грудью, четырьмя продушинами в ноздрях и таким долгим духом в скачке, какого у других пород не существует. И свободно ходили иноходью. Но, кроме всех подобных качеств, эти косматые киргизы, как на подбор, были злы, упрямы и непослушны до крайности. Они постоянно и между собой грызлись, и с чужими лошадьми, и человека всегда норовили искушать или копытом ударить. И когда злились, то визжали и скрежетали зубами, как, прости господи, озверелые черти. Вот их-то и объезжал возлюбленный мой братец Аркаша, а потом продавал помещикам-любителям. На них он и начал развивать мой замечательный лошадиный дар. Сначала сажал меня верхом, по-мужски, без седла, на потнике. Посадит, даст мне хлыст в руку, да как огреет степняка арапником. Да еще мне кричит вдогонку: ты его пори, пори все время. Уж и что же со мной эти киргизы выделывали. Теперь и вспомнить страшно. Вся я ходила в синяках, в рубцах, во

шпрамах, в шишках. А все-таки старшим не жаловалась. Моя мама, а твоя бабушка, Елизавета Григорьевна, была святой человек, и никто ее не боялся и не слушался, а огорчать ее жалобой было как-то стыдно. А уж признаться по правде, должна сказать, что эти Аркашины лошадиные зверства были для меня приятнее всякой книжки и слаще всех конфет. Случалось иногда со мною, как вот и с тобою нынче, что полгода, год не приходилось мне верхом на лошадь сесть, а потом сразу наезжусь до отвала, и пойдут у меня эти прострелы да ломоты, что еле хожу и все стенаю от боли. Тут непременно является Аркадий со своей ветеринарной помощью:

«Эй, непревосходимая всадница. Люмбагой изволите страдать. Пожалуйте на конюшню. Да не шагом, когда вам берейтор²⁵³ приказывает, а полегалопом. Ну-с!» – и сам арапником²⁵⁴ щелкает оглушительно. Поневоле побежишь. Он даже сам на седло посадит и коня сзади воодушевит посылом, и марш, марш в широкое поле. Конечно, больно сначала всем суставам. А вернешься домой – и, глядишь, все твои недуги как рукой сняло, без всяких бобковых мазей и перувианских бальзамов. Вот я и тебе, Алешенька, советую, прибегни ты к этому стародавнему героическому средству.

Александров послушался мудрого материнского совета и пошел на Патриаршие пруды, охая, морщась и потирая ноющие места. Прикреплять коньки к каблукам ему казалось невероятно трудным, но еще труднее, неловчее и больнее давались ему разгоны по льду. Так он долго с наморщенным лицом и со срывающимся кряхтением тщетно пытался восстановить давно знакомые ему круги и повороты, и потом он сам не мог понять, как это наступил момент, когда он сам себя спросил: «Позвольте, а где же моя боль? Куда девалась моя досадливая боль?» Медвежье пензенское средство оказалось превосходным.

В этот день (в воскресенье) Александров еще избегал утруждать себя сложными номерами, боясь возвращения боли. Но в понедельник он почти целый день не сходил с Патриаршего катка, чувствуя с юношеской радостью, что к нему снова вернулись гибкость, упругость и сила мускулов.

Во вторник Венсан и Александров встретились, как между ними было уговорено, у церкви Большого Вознесения, что на стыке обеих Никитских улиц – Большой и Малой. По истинно дружеской деликатности они оба поспешили и пришли на место свидания минутами двадцатью раньше условленного срока.

– Давайте, – сказал Венсан, – пойдём, благо времени у нас много, по Большой Никитской, а там мимо Иверской по Красной площади, по Ильинке и затем по Маросейке прямо на Чистые пруды. Крюк совсем малый, а мы полюбуемся, как Москва веселится.

Они пошли рядышком, по привычке в ногу, держась подтянуто, как на ученье, и с механической красивой точностью отдавая честь господам офицерам.

Белые барашки доверчиво и неподвижно лежали на тонком голубом небе. Мороз был умеренный и не щипал за щеки, и откуда-то, очень издалека, доносился по воздуху томный и волнующий запах близкой весны и первого таяния.

Москва была вся откровенно пьяная и весело добродушная. Попадались уже в толпе густо-сизые и пламенно-багровые носы, заплетающиеся ноги и слышались меткие острые московские словечки, тут же вычеканенные и тут же, для сохранности, посыпанные крепкой солью.

– Не мешайте Москве, – сказал глубокомысленно Венсан, – творить свое искусство слова.

Красная площадь вся была переполнена, и по ней приходилось пробираться с

²⁵³ Берейтор – специалист по обучению лошадей и верховой езде; учитель, обучающий верховой езде.

²⁵⁴ Арапник – длинный кнут.

трудом. Гроздь бесчисленных воздушных шаров, цветов красной и белой смородины висели высоко в воздухе и точно порывались ввысь. Стаи здешних прирученных голубей беспорядочно кружились над толпой, и часто отдельные растерявшиеся голуби чертили крылами по головам людей. Истоптанный снег и плитки халвы казались одного цвета. Белые лоханки с мочеными яблоками, пересыпанными красной клюквой, стояли длинными рядами, и московский студент, купив холодное яблоко, демонстративно ел его, громко чавкая от молодечества и от озноба во рту. Есть моченые яблоки на Масленой – это старый обряд московских студентов. И везде блины, блины, блины. Блины ходячие, блины стоячие, блины в обжорном ряду, блины с конопляным маслицем, и везде горячий сбитень²⁵⁵, сбитень, сбитень, паром подымающийся в воздухе. Живые американские чертики²⁵⁶ в узких, длинных скляночках. Солдатики оловянные в берестяных коробочках, солдатики деревянные раздвижные, работы балбешников²⁵⁷ из Троице-Сергиевой лавры²⁵⁸, их же медведи с мужиками, и множество всяких живых предсказателей будущего, которые вытаскивают билетки из пачки на счастье: чижи, клесты, овсянки, снегири, скворцы.

– Идем, пора, – говорит Венсан.

– Сию минуту, голубчик, – отвечает Александров, – я только свое счастье вытащу.

Он подходит к ларьку, за которым в клетке беспрестанно прыгает и кувыркается белка.

– Сколько?

– Две копеечки-с.

– Давай.

Белка вынимает ему предсказательный билетик, и он спешит присоединиться к товарищу. Они идут поспешным шагом. По дороге Александров развертывает свой билетик и читает его: «Ту особу, о коей давно мечтает сердце ваше, вы скоро улицезреете²⁵⁹ и с восторгом убедитесь, что чувства ваши совпадают и что лишь злостные препоны мешали вашему свиданию. Месяц ваш Януарий, созвездие же Козерог. Успех в торговых предприятиях и благолепие в браке».

– Можно поглядеть? – спрашивает Венсан.

– Нет, все это пустяки, – отвечает Александров, скомкивая бумажку и пряча ее в карман. Предсказание кажется ему удивительно прозорливым.

Юнкера приходят на Чистые пруды почти в два часа, всего без трех, четырех минут.

– Не беспокойся, – говорит Венсан волнуемому Александрову. – Четверть часа – это минимум их опоздания, а максимум – они вовсе не приходят. Пойдем ко входу с Мясницкой, тут прямо путь от Екатерининского бульвара.

Александров согласен. Но в эту секунду молчавший до сих пор военный оркестр Невского полка вдруг начинает играть бодрый, прелестный, зажигающий марш Шуберта. Зеленые большие ворота широко раскрываются, и в их свободном просвете вдруг появляются и тотчас же останавливаются две стройные девичьи фигуры.

– Странно, – говорит Венсан с одобрительной улыбкой, – не то оркестр их ждал, не то они дожидались оркестра.

²⁵⁵ Сбитень – старинный восточно-славянский напиток из воды, мёда и пряностей, в число которых нередко входили лечебные травяные сборы.

²⁵⁶ Американский чертик (чертик в пробирке, американский житель и т.п.) – скачущая под нажимом пальца фигурка в банке, одна из любимых забав.

²⁵⁷ Балбешник – прозвище мастеров-кустарей, изготавливавших изделия с помощью т.н. балбешек.

²⁵⁸ Троице-Сергиева Лавра (Свято-Троицкая Сергиева Лавра) – крупнейший православный мужской монастырь России, расположенный в центре города Сергиев Посад Московской области. Датой основания монастыря принято считать поселение Сергия Радонежского в 1337 году.

²⁵⁹ Увидите.

А Александров, сразу узнавший Зиночку, подумал с чувством гордости: «Она точно вышла из звуков музыки, как некогда гомеровская богиня из морской пены²⁶⁰», и тут же сообразил, что это пышное сравнение не для ушей прелестной девушки.

Юнкера быстро пошли навстречу приехавшим дамам. Подруга Зиночки Бельшевой оказалась стройной, высокой – как раз ростом с Венсана – барышней. Таких ярко-рыжих, медно-красных волос, как у нее, Александров еще никогда не видывал, как не видывал и такой ослепительно белой кожи, усеянной веснушками.

А между тем эта девушка была поразительно красива, и ее высоко поднятая голова придавала ей вид гордый и самостоятельный.

– Это моя милая подруга Дэлли, – сказала Зиночка. – Она ирландка и ровно ничего не понимает по-русски, но по-французски она говорит отлично.

В эту минуту Александров представил Зиночке своего товарища:

– Венсан, мой лучший друг.

Она светло улыбнулась и сказала:

– Надеюсь, и мне вы будете хорошим другом.

Венсан свободно и недурно владел французским языком и потому был очень удобным кавалером для рыжей мисс Дэлли. Впрочем, и по виду они представляли такую крупную, ладно подобранную пару, что на них охотно заглядывалась публика катка.

– Ведите меня в ту будку, где можно надеть коньки, – сказала Зиночка, нежно опуская левую руку на обшлаг серой шинели Александра. – Боже, в какую жесткую шерсть вас одевают. Это верблюжья шерсть?

Теперь Александров мог свободно наглядеться на свою возлюбленную. Она очень изменилась за время, протекшее от декабря до марта, но в чем состояла перемена, трудно было угадать. Как будто бы в ней отошел, выветрился прежний легкий налет невинного и беспечного детства. Как будто про нее уже можно было сказать: «Да. Она бесспорно красива. Но в ней есть нечто более ценное, более редкое и упоительное, чем красота. Она мила. Мила тем необъяснимым, сладостным притяжением, о котором простонародье так чутко говорит: „Не по хорошу мил, а по милу хорош“. И не есть ли эта загадочная, всепобеждающая „милость“, видимая глазами, только слабый отголосок, только невинный залог расцветающих прелестей ума, души и тела?»

Александров привел Зиночку в деревянный барак, где публика вешала свои пальто на крючки, где продавались бутерброды, чай и ланинские шипучие воды и где давали коньки напрокат.

У Зиночки и Александра были коньки собственные. Александров опустил на одно колено и сказал:

– Будьте, Зинаида Дмитриевна, пожалуйста, со мною совсем без церемонии. Поставьте вашу ногу на мое колено. Я в один миг надену вам коньки и закреплю их крепко-накрепко.

– Отчего же? – улыбнулась дружески Зиночка. – Я вам буду очень благодарна.

Она проворно сняла свою легкую шубку из шеншеля²⁶¹ и повесила ее на крючок. Потом сбросила калоши и поставила ножку на согнутое колено Александра.

– Вот вам мои коньки. Возьмите. А я немного помогу вам. – Она ловко склонилась и слегка приподняла суконную юбочку. Перед глазами юнкера на мгновение показалась изящная ножка с высоким подъемом. Это вдруг умилило Александра чуть не до слез: «Господи, какая она прелесть и душенька. И как я люблю ее. Пусть вся ее жизнь будет радостна и светла».

²⁶⁰ Богиня, вышедшая из пены морской – древнегреческая богиня любви и красоты, согласно мифам, возникла из морской пены.

²⁶¹ ...из шеншеля – из меха шиншиллы.

– Вам ловко? Вам не больно? Вам удобно? – спрашивает он с нежной заботливостью. Но Зиночка чувствует себя превосходно. Коньки сегодня точно веселят ноги, и какой день чудесный выдался. Она сходит по ступенькам на лед, гроыхая сталью по дереву и с очаровательной неуклюжестью поддерживая равновесие. На льду она делает широкий, красивый круг и, остановившись у лестницы, возбужденно кричит Александрову:

– Сходите скорее на лед. Побежим вместе, да живо, живо.

Александров сбрасывает с себя шинель и шумно сбегает вниз. Они берутся за руки и плывут по длинному катку, одновременно набирая инерцию короткими и сильными толчками. Александров с восторгом чувствует в ней отличную конькобежицу.

– Снимите перчатки, – предлагает она, – теперь не холодно, а без перчаток удобнее и приятнее.

«Ах, в миллион раз приятнее!» – восторженно думает Александров, осторожно и крепко держа в своей грубой ладони ее доверчивую, ласковую, нежную ручку. Они переплетают свои руки наискось и так летят, близко, близко касаясь друг друга, и, как тогда, в вальсе, Александров слышит порою чистый аромат ее дыхания. Потом они садятся на скамейку отдохнуть.

– Помните наш вальс в институте? – спрашивает Зиночка.

– Как же, – отвечает юнкер, – до конца моих дней не забуду. – И спрашивает в свою очередь: – А помните, как нас чуть не опрокинул этот долговязый катковский лицеист?

Он ловит в ее многоцветных зрачках какие-то задорные искры и молчит. Она же отвечает с едва-едва сдерживаемым смехом, но и с легкой краской стыда:

– Представьте, не помню. Вероятно, забыла. Помню только, что танцевать с вами было так приятно, так удобно и так ловко, как ни с кем.

Этот случай с лицеистом повлек за собою новые воспоминания из их коротенького прошлого, освещенного сиянием люстр, насыщенного звуками прекрасного бального оркестра, обвеянного тихим ароматом первой, наивной влюбленности.

– А вы помните, как мы поссорились? – спрашивает Зиночка.

– И как мило помирились, – отвечает Александров. – Боже, как я был тогда глуп и мнителен. Как бесился, ревновал, завидовал и ненавидел. Вы одним взглядом издали внесли в мою несчастную душу сладостный мир. И подумать только, что всю эту бурю страстей вызвала противная, замаринованная классная дама, похожая на какую-то снулую рыбу – не то на севрюгу, не то на белугу...

Зиночка осторожно положила пальцы на его горячую руку.

– Оставьте, оставьте, не надо. Нехорошо так говорить. Что может быть хуже заочного, безответственного глумления. Нащекина умная, добрая и достойная особа. Не виновата же она в том, что ей приходится строго исполнять все параграфы нашего институтского, полумонастырского устава. И мне тем более хочется заступиться за нее, что над ней так жестоко смеется... – она замолкает на минуту, точно в нерешительности, и вдруг говорит: – смеется мой рыцарь без страха и упрека.

Александров потрясен. Он еще не перерос того юношеского козлиного возраста, когда умный совет и благожелательное замечание так легко принимается за оскорбление и вызывает бурный протест. Но кроткая и милая нотация из уст, так прекрасно вырезанных в форме натянутого лука, заливает все его существо теплом, благодарностью и преданной любовью. Он встает со скамейки, снимает барашковую шапку и в низком поклоне опускает ее до ледяной поверхности.

– Прошу простить мне мою дурацкую выходку, – говорит он с неподдельным

раскаянием, – также примите мои глубокие извинения перед madame Нащекиной.

– Наденьте скорее шапку, – говорит Зиночка. – Вы простудитесь. Ах! Наденьте же, наденьте.

И они опять сидят на скамейке, слушая музыку. Теперь они прямо глядят друг другу в глаза, не отрываясь ни на мгновение. Люди редко глядят так пристально один на другого. Во взгляде человеческого есть какая-то мощная сила, какие-то неведомые, но живые излучающие флюиды, для которых не существует ни пространства, ни препятствия. Этого волшебного излучения никогда не могут переносить люди обыкновенные и обыкновенно настроенные; им становится тяжело, и они невольно отводят глаза, отворачивают головы в первые же моменты взгляда. Люди порочные, преступные и слабовольные совсем избегают человеческого взгляда, как и большинство животных. Но обмен ясными, чистыми взорами есть первое истинное блаженство для скромных влюбленных.

«Любишь?» – спрашивают искристые глаза Зиночки, и белки чуть-чуть розовеют.

«Люблю, люблю, – отвечают глаза Александрова, сияющие выступившей на них прозрачной влагой. – А ты меня любишь?» – «Люблю». – «Любишь». – «Люблю». – «Любишь». – «Люблю». – «Любишь». – «Люблю»...

Самого скромного, самого застенчивого признания не смогли бы произнести их уста, но эти волнующие, безмолвные возгласы: «Любишь. – Люблю» – они посылают друг другу тысячу раз в секунду, и нет у них ни стыда, ни совести, ни приличия, ни осторожности, ни пресыщения. Зиночка первая стряхивает с себя магическое сладостное влияние флюидов. «Люблю, но ведь мы на катке», – благоразумно говорят ее глаза, а вслух она приглашает Александрова:

– Пойдемте еще покатаемся. Попробуем теперь голландскими шагами. Или как надо говорить – гигантскими?

Они опять берутся за руки, но теперь по требованию фигурного номера держатся на большом расстоянии, идут параллельно. Они одновременно вычерчивают правыми ногами огромный полукруг, склоняясь всем телом на правую сторону, и, окончив его, тотчас же переходят на другой большой полукруг, делая его левыми ногами и наклоняясь круто влево. Чем шире круг и чем ниже наклоны, тем красивее и чище считается фигура. Но голландские шаги не очень легкое упражнение. Чтобы вычертить особенно правильный и особенно широкий круг, надо сделать толчок по льду с наивозможнейшей силой, и эти старания скоро утомляют. Опять Зиночка сидит с Александровым, и опять их глаза поют чудесную многовековую песню: «Любишь – люблю. – Любишь – люблю...» – простую, но самую великую в мире песню.

Но к ним, на сильном разбеге, подлетают мисс Дэлли с Венсаном.

– Ну, я вам скажу, и барышня, – говорит восхищенно Венсан. – Ах, какая артистка на коньках. Я в сравнении с ней в полотерные мальчики не гожусь. Неужели все ирландские красавицы такие искусницы?.. Кстати, не хотите ли вы поглядеть образцы высшего фигурного патинажа? Сейчас только что приехал на каток знаменитый конькобежец Постников. Он, между прочим, заведует гимнастическими упражнениями в нашем Александровском училище. Пойдемте, пока не навалила публика. Потом не протолпишься.

Они пошли к судейской площадке. На ней стоял в белой фуфайке и белом берете давно знакомый юнкерам Постников, стройный и казавшийся худощавым, бритый по-английски, еще молодой человек, любимец всей спортивной Москвы, впрочем, не только спортивной. Вся Москва от мала до велика ревностно гордилась своими достопримечательными людьми: знаменитыми кулачными бойцами, огромными, как горы, протодиаконами, которые заставляли страшными голосами своими дрожать все стекла и люстры Успенского собора, а женщин падать в обмороки, знаменитых

клоунов, братьев Дуровых, антрепренера²⁶² оперетки и скандалиста Лентовского, репортера и силача Гиляровского (дядю Гиляя)²⁶³, московского генерал-губернатора, князя Долгорукова, чьей вотчиной и удельным княжеством почти считала себя самостоятельная первопрестольная столица, Сергея Шмелева, устроителя народных гуляний, ледяных гор и фейерверков, и так без конца, удивительных пловцов, голубиных любителей, сверхъестественных обжор, прославленных юродивых²⁶⁴ и прорицателей будущего, чудодейственных, всегда пьяных подпольных адвокатов, свои несравненные театры и цирки и только под конец спортсменов. И все это в пику чиновному Петербургу: «У вас в Питере так-то, а у нас, в Москве, в сто раз хлеще. Куда вам, сопливым».

Постников издали узнал юнкеров и, снявши с головы берет, высоко помахал им:

– Здравствуйте, господа юнкера александровцы.

Юнкера ответили со смехом:

– Здравия желаем, господин учитель.

И тогда Постников, очевидно, давно знавший вес и силу публичной рекламы, громко сказал кому-то, стоявшему с ним рядом на площадке:

– Самые лучшие мои ученики. Прекрасные гимнасты Александровского военного училища.

В толпе, теперь уже довольно большой, послышались густые, прерывистые звуки, точно холеные лошади зареготали на принесенный овес. Москва в число своих фаворитов неизменно включала и училище в белом доме на Знаменке, с его молодцеватостью и вежливостью, с его оркестром Крейнбринга и с превосходным строевым порядком на больших парадах и маневрах.

– Нет, это вам не жидкий, золотушный Петербург, а московские богатыри, кровь с молоком.

Венсан и мисс Дэлли успели пробраться в первые ряды зрителей. Зиночка с Александровым очутились (вероятно, случайно) на другом конце, где впереди их был высокий забор, а позади чьи-то спины. Впереди громко зааплодировали. Александров обернулся к своей даме, и она в ту же минуту посмотрела на него, и опять их глаза слились, утонули в сладостном разговоре: «Любишь – люблю, люблю». «Всегда будешь любить?» – «Всегда, всегда». И вот Александров решается сказать не излучающимися флюидами, а грубыми, неподатливыми словами то, что давно уже собиралось и кипело у него в голове. Ему стало страшно. Подбородок задрожал.

– Зинаида Дмитриевна, – начал он глухим голосом. – Я хочу сказать вам нечто очень важное, такое, что переменяет судьбы людей. Позвольте ли вы мне говорить?

Лицо ее побледнело, но глаза сказали: «Говори. Люблю».

– Я вас слушаю, Алексей Николаевич.

– Я – вот что... Я... Я давно уже полюбил вас... полюбил с первого взгляда там... там, еще на вашем балу. И больше... больше любить никого не стану и не могу. Прошу, не сердитесь на меня, дайте мне... дайте высказаться. Я в этом году, через три, три с половиною месяца, стану офицером. Я знаю, я отлично знаю, что мне не достанется блестящая вакансия, и я не стыжусь признаться, что наша семья очень бедна и помощи мне никакой не может давать. Я также отлично знаю тяжелое положение молодых офицеров. Подпоручик получает в месяц сорок три рубля с копейками. Поручик – а это уже три года службы – сорок пять рублей. На такое жалование едва-едва может

²⁶² Антрепренер – менеджер или предприниматель в некоторых видах искусства.

²⁶³ Гиляровский Владимир Алексеевич (1855–1935) – русский писатель, журналист, бытописатель Москвы.

²⁶⁴ Юродивый – человек, который намеренно старается казаться глупым, безумным. В православии юродивые – святые особого рода.

прожить один человек, а заводить семью совсем бессмысленно, хотя бы и был реверс. Но я думаю о другом. Рая в шалаше я не понимаю, не хочу и даже, пожалуй, презираю его, как эгоистическую глупость. Но я, как только приеду в полк, тотчас же начну подготавливаться к экзамену в Академию генерального штаба. На это уйдет ровно два года, которые я и без того должен был бы прослужить за обучение в Александровском училище. Что я экзамен выдержу, в этом я ни на капелюк не сомневаюсь, ибо путеводной звездой будете вы мне, Зиночка.

Он смутился нечаянно сказанным уменьшительным словом и замолк было.

– Продолжайте, Алеша, – тихо сказала Зиночка, и от ее ласки буйно забилося сердце юнкера.

– Я сейчас кончу. Итак, через два года с небольшим – я слушатель Академии. Уже в первое полугодие выяснится передо мною, перед моими профессорами и моими сверстниками, чего я стою и насколько значителен мой удельный вес, настолько ли, чтобы я осмелился вплести в свою жизнь – жизнь другого человека, бесконечно мною обожаемого. Если окажется мое начало счастливым – я блаженнее царя и богаче миллиардера. Путь мой обеспечен – впереди нас ждет блестящая карьера, высокое положение в обществе и необходимый комфорт в жизни. И вот тогда, Зиночка, позвольте ли вы мне прийти к Дмитрию Петровичу, к вашему глубокочтимому папе, и просить у него, как величайшей награды, вашу руку и ваше сердце, позвольте ли?

– Да, – еле слышно пролепетала Зиночка.

Александров поцеловал ее руку и продолжал:

– Я по материнской линии происхожу от татарских князей. Вы знаете, что по-татарски значит «калым»? Это – выкуп, даваемый за девушку. Но я знаю и больше. В губерниях Симбирской, Калужской и отчасти в Рязанской есть такой же обычай у русских крестьян. Он просто называется выкупом и идет семье невесты. Но он незначителен, он берется только в силу старого обряда. Главное в том – оправдал ли себя парень перед женитьбой. То есть имеется ли у него свой дом, своя корова, своя лошадь, свои бараны и своя птица и, кроме того, почет в артели, если он на отхожих промыслах. Вот так и я хочу себя оправдать перед вами и перед папой. Не могу ни видеть, ни слышать о жалких тлях, гонящихся за приданым. Это – не мужчины. Конечно, до того времени, пока я не совью свою собственную лачугу, вы абсолютно свободный человек. Делайте и поступайте всячески, как хотите. Ни на паутинку не связываю я вашей свободы. Подумайте только: вам дожидаться меня придется около трех лет. Может быть, и с лишним. Ужасно длинный срок. Чересчур большое испытание. Могу ли я и смею ли я ставить здесь какие-либо условия или брать какие-либо обещания? Я скажу только одно: истинная любовь, она, как золото, никогда не ржавеет и не окисляется... Она... – и тут он замолк. Маленькая нежная ручка Зиночки вдруг обвилась вокруг его шеи, и губы ее коснулись его губ теплым, быстрым поцелуем.

– Я подожду, я подожду, – шептала еле слышно Зиночка. – Я подожду. – Горячие слезы закапали на подбородок Александра, и он с умиленным удивлением впервые узнал, что слезы возлюбленной женщины имеют соленый вкус.

– О чем вы плачете, Зина?

– От счастья, Алеша.

Но к ним уже подходили, пробираясь сквозь толпу, Венсан с огненно-рыжей ирландкой, мисс Дэлли.

Часть III

Глава XXVII

Топография

Июнь переваливает за вторую половину. Лагерная жизнь начинает становиться тяжелой для юнкеров. Стоят неподвижные, удручающе жаркие дни. По ночам непрерывные зарницы молчаливыми голубыми молниями бегают по черным небесам над Ходынским полем. Нет покоя ни днем, ни ночью от тоскливой истомы. Души и тела жаждут грозы с проливным дождем.

Последние лагерные работы идут к концу. Младший курс еще занят глазомерными съемками. Труд не тяжелый: приблизительный, свободный и даже веселый. Это совсем не то, что топографические точные съемки с кипрегелем²⁶⁵-дальномером, над которыми каждый день корпят и потеют юнкера старшего курса, готовые на днях чудесным образом превратиться в настоящих взаправдашных господ офицеров.

– Это тебе не фунт изюма съесть, а инструментальная съемка, – озверело говорит, направляя визирную трубку²⁶⁶ на вежу, загоревший, черный, как цыган, уставший Жданов, работающий в одной партии с Александровым, – и это тоже тебе не мутовку²⁶⁷ облизать. Так-то, друзья мои.

Жутко приходится и Александрову. Для него вопрос о балле, который он получит за топографию, есть вопрос того: выйдет он из училища по первому или по второму разряду. А это – великая разница. Во-первых: при будущем разборе вакансий, чем выше общий средний балл у юнкера, тем разнообразнее и богаче предстоит ему выбор места службы. А во-вторых – старшинство в чине. Каждый подпоручик, явившийся в свой полк со свидетельством первого разряда, становится в списках выше всех других подпоручиков, произведенных в этом году. И высокий чин поручика будет следовать ему в первую очередь, года через три или четыре. Это ли не поводы великой важности и глубочайшей серьезности?

Но вся задача – в том суровом условии, что для первого разряда надо во что бы то ни стало иметь в среднем счете по всем предметам никак не менее круглых девяти баллов; жестокий и суровый минимум!

Вот тут-то у Александрова и гнездится досадная, проклятая нехватка. Все у него ладно, во всех научных дисциплинах хорошие отметки: по тактике, военной администрации, артиллерии, химии, военной истории, высшей математике, теоретической топографии, по военному правоведению, по французскому и немецкому языкам, по знанию военных уставов и по гимнастике. Но горе с одним лишь предметом: с военной фортификацией. По ней всего-навсего шесть баллов, последняя удовлетворительная отметка. Ох, уж этот полковник, военный инженер Колосов, холодный человек, ни разу не улыбнувшийся на лекциях, ни разу не сказавший ни одного простого человеческого слова, молчаливый тиран, лепивший безмолвно, с каменным лицом, губительные двойки, единицы и даже уничтожающие нули! Из-за его чертовской шестерки средний балл у Александрова чуть-чуть не дотягивает до девяти, не хватает всего каких-то трех девяток. Мозговатый в арифметике товарищ Бутынский вычислил точно:

²⁶⁵ Кипрегель – прибор, применяемый при топографической съемке для нанесения на план рельефа, контуров и местных предметов.

²⁶⁶ Визирная трубка – прибор, используемый для измерений на местности.

²⁶⁷ Мутовка – *здесь*: лопаточка, палочка с кружком или спиралью на конце, служащая для взбалтывания или взбивания (жидкостей, муки с водою или молоком и т. п.).

– Если ты, Александров, умудишься получить за топографическую съемку десять баллов, то первый разряд будет у тебя как в кармане. Ну-ка, напрягись, молодой обер-офицер.

Съемки происходят вокруг огромного села Всехсвятского, на его крестьянских полях, выгонах, дорогах, оврагах и рощицах. Каждое утро, часов в пять, старшие юнкера наспех пьют чай с булкой; захвативши завтрак в полевые сумки, идут партиями на места своих работ, которые будут длиться часов до семи вечера, до той поры, когда уставшие глаза начинают уже не так четко различать издали показательные приметы. Тогда время возвращаться в лагери, чтобы до обеда успеть вымыться или выкупаться. Внизу, за лагерной линией, в крутом овраге, выстроена для юнкеров просторная и глубокая купальня, всегда доверху полная живой, бегучей ключевой водой, в которой температура никогда не подымалась выше восьми градусов. А над купальней возвышалось кирпичное здание бани, топившейся дважды в неделю. Бывало для иных юнкеров острым и жгучим наслаждением напариться в бане на полке до отказа, до красного каления, до полного изнеможения и потом лететь со всех ног из бани, чтобы с разбегу бухнуться в студеную воду купальни, сделавши сальто-мортале или нырнувши вертикально, головой вниз. Сначала являлось впечатление ожога, перерыва дыхания и мгновенного ужаса, вместе с замиранием сердца. Но вскоре тело обвыкало в холоде, и когда купальщики возвращались бегом в баню, то их охватывало чувство невыразимой легкости, почти невесомости во всем их существе, было такое ощущение, точно каждый мускул, каждая пора насквозь проникнута блаженной радостью, сладкой и бодрой.

Уже вечерело, когда горнист трубил сигнал к обеду:

У папеньки, у маменьки

Просил солдат говядинки.

Дай, дай, дай.

Проголодавшиеся юнкера ели обильно и всегда вкусно. В больших тяжелых оловянных ендовах²⁶⁸ служители разносили ядреный хлебный квас, который шибал в нос. После обеда полчаса свободного отдыха. Играл знаменитый училищный оркестр. Юнкера пили свой собственный чай и покупали сладости у какого-то приبلудившегося к Александровскому училищу маркитанта²⁶⁹, который открыл в лагере лавочку и даже охотно давал в кредит до производства. Кормили конфетами (это была очередная мода) хорошенького белокурого мальчика-барабанщика, внука знаменитого барабанщика Индурского. А затем по сигналу все четыре роты выстраивались в две шеренги вдоль линейки, и начиналась переключка.

– Такой-то! – вызывал фельдфебель.

– Я! – коротко отвечал спрошенный.

– Такой-то!

– Я!

«Как это мило и как это странно придумано господом Богом, – размышлял часто во время переключки мечтательный юнкер Александров, – что ни у одного человека в мире нет тембра голоса, похожего на другой. Неужели и все на свете так же разнообразно и бесконечно неповторимо? Отчего природа не хочет знать ни прямых линий, ни геометрических фигур, ни абсолютно схожих экземпляров? Что это? Бесконечность ли творчества или урок человечеству?»

Но с особенным напряжением дожидался Александров того момента, когда в

²⁶⁸ Ендова – большая медная открытая посуда.

²⁶⁹ Маркитанты – мелкие торговцы продовольственными товарами и предметами солдатского обихода, сопровождавшие войска в походах, на учениях, маневрах и т. п.

перекличке наступит очередь любимца Дрозда, портупей-юнкера Попова, обладателя чудесного низкого баритона, которым любовалось все училище.

– Портупей-юнкер Попов, – монотонно и сухо выкликает фельдфебель.

«Вот сейчас, сейчас», – бьется сердце Александра.

– Я!

О, как этот звук безупречно полон и красиво кругл! Он нежно густ и ароматен, как сотовый мед. Его чистая и гибкая красота похожа на средний тон виолончели, взятый влюбленным смычком. Он – как дорогое старое красное вино.

И, как всегда, Александров переводит глаза вверх на темное синее небо. А там, в мировой глубине, повисла и, тихо переливаясь, дрожит теплая серебряная звездочка, от взора на которую становится радостно и щекотно в груди. Совершенно дикая мысль осеняет голову Александра: «А что, если этот очаровательный звук и эта звездочка, похожая на непроливающуюся девичью слезу, и далекий, далекий отсюда только что повеявший, ласковый и скромный запах резеды, и все простые радости мира суть только видоизменения одной и той же божественной и бессмертной силы?»

– На молитву! Шапки долой! – командуют фельдфебеля. Четыреста молодых глоток поют «Отче наш». Какая большая и сдержанная сила в их голосах. Какое здоровье и вера в себя и в судьбу. Вспоминается Александрову тот бледный, изношенный студент, который девятого сентября, во время студенческого бунта, так злобно кричал из-за железной ограды университета на проходивших мимо юнкеров:

– Сволочь! Рабы! Профессиональные убийцы, пушечное мясо! Душителю свободы! Позор вам! Позор!

«Нет, не прав был этот студентик, – думает сейчас Александров, допевая последние слова молитвы господней. – Он или глуп, или раздражен обидой, или болен, или несчастен, или просто науськан чьей-то злобной и лживой волей. А вот настанет война, и я с готовностью пойду защищать от неприятеля: и этого студента, и его жену с малыми детьми, и престарелых его папочку с мамочкой. Умереть за отечество. Какие великие, простые и трогательные слова! А смерть? Что же такое смерть, как не одно из превращений этой бесконечно непонимаемой нами силы, которая вся состоит из радости. И умереть ведь тоже будет такой радостью, как сладко без снов заснуть после трудового дня».

После молитвы юнкера расходятся. Вечер темнеет. На небо выкатился блестящий, как осколок зеркала, серп молодого месяца. Выкатился и потащил на невидимом буксире звездочку. В бараках первого (младшего) курса еще слышатся разговоры, смех, согласное пение. Но господа офицеры (старший курс) истомились за день. Руки и ноги у них точно изломаны. Александров с трудом снимает левый сапог, но правый, полуснятый, так и остается на ноге, когда усталый юнкер сразу погружается в глубокий сон без сновидений, в это подобие неизбежной и все-таки радостной смерти.

На следующий день опять вставание в пять часов утра и длинный путь до места съемки. В каждой партии пять человек, выбранных по соображениям курсового офицера, ведущего курс уже без малого два года. Курсовой четвертой роты поручик Новоселов Николай Васильевич, он же по юнкерскому прозвищу Уставчик, назначил в своих партиях лишь самых надежных юнкеров за старших, а дальнейшие роли в съемках предоставил распределить самим юнкерам. Таким образом, к великому удовольствию Александра, на него выпала добровольная обязанность таскать на место съемки и обратно довольно тяжелый кипрегель-дальномер с треногой и стальную круглую рулетку для промеров на ровных плоскостях.

К своим обязанностям он относится с похвальным усердием и даже часто бывал полезен партии отличной зоркостью своих глаз, наблюдательностью, находчивостью и легкостью на ходу. Не очень сложную работу с кипрегелем он совершенно ясно понял

в первый же день съемки. Но что упорно ему не давалось, так это вычерчивание на бумаге штрихами всех подъемов и спусков местности, всех ее оврагов и горбушек. Чем ровнее шла земля, тем тоньше и тем дальше друг от друга должны были наноситься изображающие ее штрихи. И наоборот: как только она начинала показывать уклон, штрихи теснились ближе, и карандаш вычерчивал их гуще. Здесь все дело было не в искусстве и не в таланте, а только в терпении, внимании и аккуратности. На картон старшего в партии юнкера, носившего фамилию Патер, худенького, опрятного, сухого юноши, просто любо было бы поглядеть даже человеку, ничего не понимающему в топографии. Стоило только немного прищурить глаза, и весь рельеф местности выступал с такой выпуклостью, точно он был вылеплен из гипса.

Не только этого чуда, но и отдаленного его подобия никак не мог сделать Александров. Он совсем недурно рисовал карандашом и углем, свободно писал акварелью и немножко маслом, ловко делал портреты и карикатуры, умел мило набросать пейзаж и натюрморт. Но проклятое «штрихоблудие» (как называли юнкера это занятие) окончательно не давалось ему. Просить помощи у одного из товарищей, искусных в штрихоблудии, не позволяла своеобразная этика, установленная в училище еще с давних годов, со времен генерала Шванебаха, когда училище переживало свой золотой век. Правда, оставалась у него далекая, почти фантастическая тень надежды. В прошлом году, помнилось ему смутно, господа офицеры, уже близкие к выпуску и потому как-то по-товарищески подобранные к старым фараонам, упоминали хорошими словами о строгом и придиричвом Уставчике. Говорили, что кое-когда Уставчик в случаях, подобных случаю Александрова, тайком перештриховывал поданный ему картон с плохой съемкой. «Был он, – говорили обер-офицеры, – искусным штрихоблудом и, вопреки своей крикливости, добрейшим человеком».

«Да. Хорошо было моим предшественникам, – уныло размышлял Александров, кусая ногти. – Все они небось были трынчики²⁷⁰, строевики, послушные ловкачи, знавшие все военные уставы назубок, не хуже чем «Отче наш». Но за мною – о господи! – за мною-то столько грехов и прорех! И сколько раз этот самый Николай Васильевич Новоселов сажал меня под арест, наряжал на лишнее дневальство и наказывал без отпуска?»

И какой неугомонный черт дергал меня на возражения курсовому офицеру? Ведь известно же всему миру еще с библейских времен, что всякое начальство именно возражений не терпит, не любит, не понимает и не переносит». Правда, порою от возражения никак нельзя удержаться. Ну вот, например, экзамен по гимнастике. Прыжки с трамплина. Препятствие всего с пол-аршина высоты. Но изволь его брать согласно уставу, где написано о приуготовительных к прыжку упражнениях. Требуется для этого сделать небольшой строевой разбег, оттолкнуться правой ногой от трамплина и лететь в воздухе, имея левую ногу и обе руки вытянутыми прямо и параллельно земле. А после прыжка, достигнув земли, надо опуститься на нее на носках, каблуками вместе, коленями врозь, а руками подбоченившись в бедра.

– Господин поручик! – восклицает с негодованием Александров. – Да это же черепаший жеманный прыжок. Позвольте мне прыгнуть свободно, без всяких правил, и я легко возьму препятствие в полтора моих роста. Сажень без малого.

Но в ответ сухая и суровая отповедь:

– Прошу без всяких возражений. Исполняйте, как показано в уставе. Устав для вас закон. Устав для вас, как заповедь. И, кроме того, дневальство без очереди за возражение начальству. Фельдфебель! Запишите.

«Нет, не выйти мне по первому разряду, – мрачно решает Александров. – Никогда

²⁷⁰ Трынчик – узкий ремешок. Здесь: в значении: подтянутый.

мне не простит моих дурацких выходов Уставчик и никогда не засияет милосердием его черствая душа. Ну и что ж? Ничего. Выйду в самый захолустный, в самый закатальский полк или в гарнизонный безымянный батальон. Но ведь я еще молод. Приналягу и выдержу экзамен в Академию генерального штаба. А то начнется война. Долго ли храброму отличиться? Получу Георгия, двух Георгиев, золотое оружие и, чин за чином, вернусь с войны полковником – так этот самый Уставчик будет мне козырять и тянуться передо мною в струнку. А я ему:

– Капитан! Темляк²⁷¹ при шашке у вас криво подвязан. Делаю вам замечание, о чем извольте доложить вашему непосредственному начальству. Можете идти...»

Какая сладкая месть!

Это жаркое, томительное лето, последнее лето в казенных учебных заведениях, было совсем неудачно для Александрова. Какая-то роковая полоса невезенья и неприятностей. Недаром же сумма цифр, входящих в этот год, составляла число двадцать шесть, то есть два раза по тринадцати. А тут еще новое несчастье...

Съемка уже близилась к окончанию. Работы на всехсвятских полях оставалось не больше чем дня на три, на четыре.

В одну из суббот партия Александрова, как и всегда, зашабашила несколько раньше, чем обыкновенно, и, собрав инструменты, направилась обратно в лагеря. Но посередине пути Александров вдруг забеспокоился и стал тревожно хлопать себя по всем карманам.

– Вы что? – спросил Патер.

– Да вот не знаю, куда девал измерительную рулетку. Ищу и не могу найти.

– А может, вы оставили ее на месте съемки?

– Пожалуй, что и так. Ну-ка, господа офицеры, возьмите у меня кипрегель с треногой. А я мигом смотаюсь туда и назад.

Он быстро пустился по пройденной дороге, меняя для отдыха резвый бег частым широким шагом.

Вдруг женский грудной голос окликнул его из ржи, стоявшей золотой стеной за дрожкой:

– Эй, юнкарь, юнкарь! погоди, сделай милость!

Он остановился, часто дыша, и обернулся. С лица его струились капли пота.

На меже, посреди буйной ржи, окруженная связанными снопами, сидела крестьянская девушка из Всехсвятского, синеглазая, с повитой вокруг головы светлорусой, точно серебряной косой.

– Ты это меня, что ли, красавица?

– Тебя, тебя, красавец. Ты не потерял ли чего-нибудь?

– И то – потерял. Сумочку такую, круглую. А в ней железная лента, чтобы мерять землю.

– Ну вот, счастье твое, что я подняла. Ты ее вон где обронил, на самой дороге. А народ у нас, знаешь сам, какой вороватый: что нужно, что не нужно – все норуют в карман запихать. Да ты присядь-ка на минуточку, передохни. Ишь как зарьялся²⁷², бежавши. Вещица-то небось казенная?

– То-то и есть что казенная, душенька.

– Ишь ты! Словечко какое подобрал: душенька! А меня и впрямь Дуняшей зовут. Душкой. Да ты сядь, юнкарь, сядь. В ногах правды нет. А я тебя квасом угощу, нашим домашним, суровым.

Она ласковой, но сильной рукой неожиданно дернула Александрова за край его

²⁷¹ Темляк – согнутая пополам тесьма с кистью на конце, носимая на рукоятке (эфесе) меча, шпаги, сабли, шашки.

²⁷² Зарьяться – запыхаться.

белой каламянковой рубахи. Юнкер, внезапно потеряв равновесие, невольно упал на девушку, схватив ее одной рукой за грудь, а другой за твердую гладкую ляжку. Она громко засмеялась, оскалив большие прекрасные зубы.

– Нет, юнкарь, ты играть – играй, а чего не надо – не трогай. Молод еще.

– Да я, ей-богу, нечаянно!

– Хорошо, хорошо! Знаем мы вас, солдат, как вы нечаянно к девкам под подол лазаете.

– Да я, право же...

– А кругом, куда ни погляди, – все народишко бегаёт. Неровен час, увидят и пойдут напраслину плести. Долго ли девку ославить и осрамить? Вон, погляди-ко, какой-то мужик с коробом сюда тащится. Ты уж, милый, лучше вылезай-ко!

Александров обернулся через плечо и увидел шагах в ста от себя приближающегося Апостола. Так сыздавна называли юнкера тех разносчиков, которые летом бродили вокруг всех лагерей, продавая конфеты, пирожные, фрукты, колбасы, сыр, бутерброды, лимонад, боярский квас, а тайком, из-под полы, контрабандою, также пиво и водчонку. Быстро выскочив на дорогу, юнкер стал делать Апостолу призывные знаки. Тот увидел и с привычной поспешностью ускорил шаг.

– Ну и к чему ты позвал его? – с упреком сказала Дуняша, укрываясь в густой ржи. – Очень он нам нужен!

– Подожди минутку. Сейчас увидишь. Да ты не бойся, он не из ваших, он – чужой.

– Чужой-то – чужой, – пропела девушка, показывая из золотых снопов смеющийся синий глаз. – А все-таки...

Апостол подошел и стал со щеголеватой ловкостью торгового москвича разбирать свою походную лавочку.

– Чем могу служить господину обер-офицеру?

– А вот дай-ка нам два стаканчика, да бутылочку лимонада, да пару бутербродов с ветчиной и еще... – Александров слегка замялся.

– Червячка изволите заморить? Сей минут-с! Готово-с.

– Вот именно. Два шкалика²⁷³.

Всехсвятская красавица сначала пожеманилась: да не надо, да зачем мне, да кушайте сами. Но, однако, после того как она убедилась, что ланинский шипучий лимонад куда вкуснее и забористее ее квасца-суровца, простой воды, настоянной на ржаных корках, то уговорить ее пригубить расейской водочки было уж не так трудно и мешкотно. Она пила ее, как пьют все русские крестьянки: мелкими глотками, гримасничая, как будто после принятия отвратительной горечи. Но последний глоток она опрокинула в рот совсем молодцом. Утерла губы рукавом и сказала жалобно:

– Ну и крепка же она, матушка! Как ее бедные солдаты пьют?

Пережевывая своими белыми блестящими зубами ветчину на помасленном белом хлебе, она охотно и весело разговорилась:

– Вот ты – хороший юнкарь, дай Бог тебе доброго здоровья и спасибо на хлебе, на соли, – кланялась она головой, – а то ведь есть и из вашей братии, из юнкарей, такие охальники, что не приведи господи. Вот в прошлом-то годе какую они с нами издевку сделали; по сию пору вспомнить совестно. Стояли они здесь, неподалечку, со своей стрелябией и все что-то меряли, все что-то в книжки записывали. А мы, девки да бабы, все на их смотрели и дивовались. А один-то из юнкарей возьми да и крикни: «Идите к нам сюда, девочки да бабочки! Посмотрите-ка в нашу подозрительную трубку». Ужаси, как занятно. Ну мы, конечно, бабы глупые, вроде как индюшки: так одна за

²⁷³ Шкалик – старая мера объема вина, водки, равная 1/200 ведра (0,06 л).

другой и потянулись. В трубке-то стеклышко малое; так, значит, в это стеклышко надо одним глазом глядеть. И что ты думаешь! Чудо-то какое! Видать очень хорошо, даже, можно сказать, отлично. Но только все, милый ты мой, показывается не прямо, а вверх ногами, вниз головой. Вот так штука! Смотрели мы на нашу сельскую церковь во имя всех святых, и – поверишь ли? – видим: стоит она кумполом вниз, папертью кверху. На выставку поглядели – опять вверх тормашками. Потом юнкарь стекляшку на наше стадо навел, дал мне глядеть, и что ж ты думаешь?.. Все коровы кверху ногами идут, и даже видно, как наш общественный бык Афанасий, ярославской породы, ногами перебирает, а головой-то вниз идет. Тут тетка Авдотья Бильдина, тезка моя, баба уже в годах, закричала: «Побежим, девоньки, домой! Долго ли тут до греха?» Ну, мы и прыснули утекать. А юнкаря вослед нам рыгочат, как жеребцы стоялые. Орут: «Бабочки, девочки, берегитесь! Все вы, как одна, вверх ногами идете, и подолы у вас задранные...» И уж так мы тогда всполошились, что и сказать нельзя! Кто юбками давай завешиваться, кто на землю сел, все давай визжать со стыда. А юнкаря со смеха помирают... Навеки в памяти у нас остались их стекляшки проклятые.

Слушая Дуняшу, Александров с некоторой тревогой смотрел на Апостола, который, спешно укладывая свой короб, все чаще и беспокойнее озирался назад, через плечо, а потом, не сказав ни слова, вдруг пустился большими шагами уходить в сторону. Юнкер обернулся назад и на минуту остался с разинутым ртом. Невдалеке, взрывая дорожную коричневую пыль, легким галопом скакал на своей белой арабской кобыле Кабардинке батальонный командир училища, полковник Артабалевский, по прозвищу Берди-Паша. Вскоре Александров услышал его окрик:

– Юнкер, ко мне! Сюда, юнкер!

Александров поспешной рысью побежал ему навстречу и остановился как раз в ту минуту, когда Берди-Паша, легко соскочив со вспененной лошади, брал ее под уздцы.

– Эт-то что за безобразия? – завопил Артабалевский пронзительно. – Это у вас называется топографией? Это, по-вашему, военная служба? Так ли подобает вести себя юнкеру Третьего Александровского училища? Тьфу! Валяться с девками (он понюхал воздух), пить водку! Какая грязь! Идите же немедленно явитесь вашему ротному командиру и доложите ему, что за самовольную отлучку и все прочее я подвергаю вас пяти суткам ареста, а за пьянство лишаю вас отпусков вплоть до самого дня производства в офицеры. Марш!

– Слушаю, ваше высокоблагородие! – лихо ответил Александров, скрывая горечь и досаду.

Глава XXVIII

Последние дни

Неудобно, невесело и досадно влеклись эти пять дней сидения под арестом в карцерном бараке, в ветхом, заброшенном деревянном узком здании, обросшем снаружи высокой, выше человеческого роста, крапивой и гигантскими лопухами. Зеленоватый дрожащий свет скудно и мутно падал сюда сквозь потолочные окна, забранные железными ржавыми решетками. Особенно неприятно было то, что сидение под арестом сопровождалось исполнением служебных обязанностей. Три-четыре раза в день нужно было выходить из карцера: на топографические работы, на ротные учения, на стрельбу, на чистку оружия, на разборку и сборку всех многочисленных частей скорострельной пехотной винтовки системы Бердана, со скользящим затвором номер второй, на долбление военных уставов – и потом возвращаться обратно под замок. Эта беготня точно умножала тягость заключения.

До прибытия Александрова в карцер там уже сидело двое господ обер-офицеров,

два юнкера из роты «жеребцов» его величества: Бауман и Брюнелли, признанные давно всем училищем как первые красавцы. Бауман – рыжеволосый, белолицый, голубоглазый, потомок тевтонов; Брюнелли – полуитальянец, полурусский, полукавказец, со смугловатым, правильным, строгим и гордым лицом. Оба они были высоки и стройны. Когда их видели стоящими рядом, то они действительно производили впечатление сильного, эффектного контраста. Кстати – они были очень дружны друг с другом.

Известно давно, что у всех арестантов в мире и во все века бывало два непобедимых влечения. Первое: войти во что бы то ни стало в сношение с соседями, друзьями по несчастью; и второе – оставить на стенах тюрьмы память о своем заключении. И Александров, послушный общему закону, тщательно вырезал перочинным ножиком на деревянной стене: «26 июня 1889 г. здесь сидел обер-офицер Александров, по злой воле дикого Берди-Паши, чья глупость – достояние истории».

Арестованные занимали отдельные камеры, которые днем не запирались и не мешали юнкерам ходить друг к другу в гости. Соседи первые рассказали Александрову о своих злоключениях, приведших их в карцер.

В прошлое воскресенье, взяв отпуск, пошли они в город к своим портным, примерить заказанную офицерскую обмундировку. Но черт их дернул идти обратно в лагери не кратчайшим привычным путем, а через Петровский парк, самое шикарное дачное место Москвы!

У них, говорили они, не было никаких преступных, заранее обдуманных намерений. Была только мысль – во что бы то ни стало успеть прийти в лагери к восьми с половиною часам вечера и в срок явиться дежурному офицеру. Но разве виноваты они были в том, что на балконе чудесной новой дачи, построенной в пышном псевдорусском стиле, вдруг показались две очаровательные женщины, по-летнему, легко и сквозно одетые. Одна из них, знаменитая в Москве кафешантанная певица, крикнула:

– Бауман, Бауман! Иди к нам скорее. И своего товарища тащи. Да ты не бойся: всего на две минуты. А потом мы вас на лошадях отвезем. Будьте спокойны. Только один флакон раздавим, и конец.

Юнкера вошли. Обширная дача была полна гостями и шумом: сумские драгуны, актеры, газетные издатели и хроникеры, трое владельцев скаковых конюшен, только что окончившие курс катковские лицеисты, цыгане и цыганки с гитарами, известный профессор Московского университета, знаменитый врач по женским болезням, обожаемый всею купеческою Москвою, удачливый театральный антрепренер, в шикарной, якобы мужицкой поддевке, и множество другого народа. Шла великая московская пьянственная неразбериха. Давно уже перешли на шампанское вино, которым были залиты все скатерти. Сумцы выпили за александровцев, александровцы – за катковский лицей. Потом поднимались тосты за всех военных и штатских, за великую Россию, за победоносную армию, за русское искусство и художество.

Вскоре густой веселый туман обволокло души, сознание и члены юнкеров. Они еще помнили кое-как мерное, упругое и усыпляющее качание парных колясок на резиновых шинах. Остальное уплыло из памяти. Как сквозь сон, им мерещился приезд прямо на батальонную линию и сухой голос Хухрика:

– Конечно, милостивые государыни, патриотизм вещь всегда ценная и возвышенная, и ваши чувства, барыни, достойны всякого почтения. Но извините: закон есть закон, и устав есть устав. И потому прошу вас удалиться с лагерной линейки.

Рассказал и Александров свое маленькое приключение с апостольским вином и со всехвятской Дуняшей. Красавцы выслушали его рассказ без особой внимательности, добродушно.

– Какой фатум, – сказал Брюнелли. – Все мы пали жертвами и Вакха и Венеры²⁷⁴.

Но потом и разговаривать стало не о чем. Приглядывался к ним обоим Александров, часто думал:

«Ничего между нами нет общего. Ну, скажем, они выше меня ростом, даже красивее. Может быть, у них знатная или богатая родня?.. Но путь их жизней я вижу, точно на ладони, и неизменно. Бауман будет в своем полку сначала батальонным, потом полковым адъютантом. Затем он удачно или выгодно женится на красивой остзейской барышне и поступит в жандармы или в пограничную стражу. Что же касается Брюнелли – такого серьезного, – то жизненный путь его еще яснее. Академия генерального штаба или юридическая. Длинный, упорный и верный путь к почетной, независимой и обеспеченной будущности. И нет никаких сомнений в том, что в маститые годы они обое станут генералами с красными широкими лампасами и с красными подкладками пальто. Вот и вся их жизнь. И больше нет ничего. И дай им бог этого счастья».

Нет! Жизнь Александрова пройдет ярче, красивее, богаче, разнообразнее и пестрее. Он будет великим военным героем России. А может быть, он будет знаменитым живописцем, любимым современным писателем, идолом молодежи, исследователем Памира, восходящим на вершины Гималайских недоступных гор. Или первоклассным актером! Имя его будет у всех на устах. Его портреты украсят все журналы. «Кто этот загорелый суровый человек, которому все кланяются?» – «Ах, это известный Александров. Не правда ли – какое мужественное лицо?»

Добрые отношения между Александровым и его братьями по заключению тихо, беззлбно потухали с каждым днем, пока незаметно не исчезли совсем.

В ночь с четвертого на пятый день ареста тяжелая, знойная, напряженная погода наконец разрядилась. Весь день был точно угарный. Губы ежеминутно сохли от недостатка свежего воздуха. Небо стало грузным, темным, неподвижным и угрожающе сонным. Дышать становилось все труднее. Изнуряющий липкий пот выступал на шее, на лице, на всем теле. Только вечером, когда небо, воздух и земля так густо почернели, что их нельзя стало различать глазом, заворчали первые глухие отдаленные рычащие громы. А потом, как это всегда бывает в сильные грозы, – наступила тяжелая, глубокая тишина; в камере сухо запахло так, как пахнут два кремня, столкнувшиеся при сильном ударе, и вдруг ярко-голубая ослепительная молния, вместе со страшным раскатом грома, ворвалась в карцер сквозь железные решетки, и тотчас же зазвенели и задребезжали разбитые карцерные окна, падая на глиняный пол. Начиналась такая дьявольская гроза, подобной которой никогда, ни раньше, ни потом, не видывал Александров: необычайной силы гроза, оставшаяся на долго лет в памяти коренных москвичей, потому что она снесла наголо Анненгофскую Лефортовскую рощу и разрушила вдребезги более сотни московских деревянных домишек. Она не прекращалась до той поры, пока не забрезжил ранний сереющий рассвет.

Ветхий потолок и дырявые стены карцера в обилии пропускали дождевую воду. Александров лег спать, закутавшись в байковое одеяло, а проснулся при первых золотых лучах солнца весь мокрый и дрожащий от холода, но все-таки здоровый, бодрый и веселый. Отогрелся он окончательно лишь после того, как сторожевой солдат принес ему в медном чайнике горячего и сладкого чая с булкой, после которых еще сильнее засияло прекрасное, чистое, точно вымытое небо и еще сладоостнее стало греть горячее восхитительное солнце.

А час спустя он услышал шлепанье сапог по лужам и милый, знакомый голос,

²⁷⁴ Вакх (Бахус) – бог вина. *Пали жертвами Вакха и Венеры*, т.е. жертвами вина и любви.

призывавший его снизу.

– Александров! Александров! – кричал под окном верный дружок Венсан. – Высуньте, насколько можно, руку из решетки. Я сижу на дереве. И, кстати, сердечно вас поздравляю.

– С чем? С окончанием ареста?

– Нет. Сейчас вы увидите сами. Но каким молодцом оказался наш Уставчик! Однако живее! Здесь где-то поблизости слоняется зловецкий Берди-Паша. Ну, тяните скорее руку! Так!

Венсан, прыгнув, густо шлепнулся в грязь. В руке Александрова остался напечатанный на множителе сверток казенной бумаги, очевидно купленный или украденный из походной батальонной канцелярии. В нем, в нисходящем порядке, были оттиснуты все имена выпускных юнкеров, от фельдфебелей и портупей-юнкеров до простых рядовых, с приложением их средних баллов по военной науке. Со странным двойным чувством гордой радости и унижения увидел Александров свой номер, ровно сотый, и как раз последний; последняя девятка, дающая право на первый разряд. Ниже шло еще сто номеров для злосчастных юнкеров второго разряда.

«Но ведь это все же только подачка, только жалкая милостыня, брошенная мне Уставчиком», – горестно подумал Александров и покрутил головой.

Через дней пять-шесть пришли из петербургского главного штаба списки имеющихся в разных полках офицерских вакансий. Они тотчас же были переписаны в канцелярии и розданы на руки юнкерам. Всего только три дня было дано господам обер-офицерам на ознакомление с этими листами и на размышления о выборе полка. И нельзя сказать, чтобы этот выбор был очень легким. С ним связывалось много условий: как необыкновенно важных, так и вздорных, совсем пустяковых, и разобраться в них было мудрено. Какое главное? Какое третьестепенное?

Хотелось бы выйти в полк, стоящий поблизости к родному дому. Теплый уют и все прелести домашнего гнезда еще сильно говорили в сердцах этих юных двадцатилетних воинов.

Хорошо было бы выбрать полк, стоящий в губернском городе или, по крайней мере, в большом и богатом уездном, где хорошее общество, красивые женщины, знакомства, балы, охота и мало ли чего еще из земных благ.

Пленяла воображение и относительная близость к одной из столиц: особенно москвичей удручала мысль расстаться надолго с великим княжеством Московским, с его семью холмами, с сорока сороками церквей, с Кремлем и Москва-рекою. Со всем крепко устоявшимся свободным, милым и густым московским бытом.

Но такие счастливые вакансии бывали редкостью. В гвардейские и гренадерские части попадали лишь избранные, и во всяком случае до номера сотого должны были дойти, конечно, славные боевые полки – но далеко не блестящие, хорошо еще, что не резервные батальоны, у которых даже нет своих почетных наименований, а только цифры: 38-й пехотный резервный батальон, 53-й, 74-й, 99-й... 113-й и так далее.

Но были и другие соблазны, другие просторы для фантазии молодых душ, всегда готовых мечтать об экзотической жизни, о неведомых окраинах огромной империи, о новых людях и народах, о необычайных приключениях на долгих и трудных путях... Тянул к себе юг: служба на Кавказе, в Самарканде, в Туркестане, на границах с Персией, Афганистаном и Бухарой, на подступах к великой, загадочной, пышной, сказочной Азии. Нельзя сказать, чтобы выпускные юнкера особенно хорошо знали географию. Ведение ее остановилось на шестом классе кадетского корпуса и с этой поры не подновлялось. Однако по смутным воспоминаниям соображали они, что Крым – это земной рай, где растет виноград и зреют превкусные крымские яблоки; что

красоты Кавказа живописны, величественны и никем не описуемы, кроме Лермонтова; что Подольская губерния лежит на одной широте с Парижем, и оттого в ней редко выпадает снег, и летом произрастают персики и абрикосы; что Полесье славится своими зубрами, а его обитатели колтунами, и так далее в этом же роде. Большое значение имела краткая военная история полка, его бывшие доблести и заслуженные им отличия и награды. Не малую роль играли в выборе полка его петлицы – красные, синие, белые или черные: кому что шло к лицу. Случалось, – говорили прежние господа обер-офицеры, – что глубокий второразрядник сокрушенно махал рукой и заявлял: «Мне все равно. Пишите меня в ту часть, где красные петлицы».

Почти в таком же настроении был и Александров. С недавнего времени он вообще стал склонен к философии. Он размышлял: «Сто полков будут мне даны на выбор, и из них я должен буду остановиться на одном. Разве это не самый азартный вид лотереи, где я играю на всю собственную жизнь? Одному только богу ведомо, что ждет меня в первом, во втором, в тридцатом, в семьдесят четвертом или в девяносто девятом и сотом полку. Совершенно неизвестно, где меня поджидает спокойная карьера исполнительного офицера пехотной армии, где бурная и нелепая жизнь пьяницы и скандалиста, где удачный экзамен в Академию и большая судьба. Где богатая женитьба на любимой прекрасной девушке, где холостая, прокуренная жизнь одинокого армейца, где несчастливая дуэль, где принудительный выход из полка по решению офицерского суда чести, где великие героические подвиги на театре военных действий. Все покрыто непроницаемой тьмой, и все-таки тяни свой жребий».

И кто же возьмет на себя дерзость разрешать, какой полк хорош и какой плох, который лучше и который хуже? И невольно приходит на память Александрову любимая октава из пушкинского «Домика в Коломне»:

У нас война! Красавцы молодые,
Вы, хрипуны (но хрип ваш приумолк),
Сломали ль вы походы боевые,
Видали ль в Персии Ширванский полк?
Уж люди! Мелочь, старички кривые,
А в деле всяк из них, что в стаде волк.
Все с ревом так и лезут в бой кровавый,
Ширванский полк могу сравнить с октавой.

Да, конечно же, нет в русской армии ни одного порочного полка. Есть, может быть, бедные, загнанные в непроходимую глушь, забытые высшим начальством, огрубевшие полки. Но все они не ниже прославленной гвардии. Да, наконец... и тут перед Александровым встает давно где-то вычитанный древний греческий анекдот: «Желая посрамить одного из знаменитых мудрецов, хозяева на званом обеде посадили его на самое отдаленное и неудобное место. Но мудрец сказал с кроткой улыбкой: „Вот средство сделать последнее место первым“».

Настал наконец и торжественный день выбора вакансий.

В один из четвергов, после завтрака, дежурные юнкера побежали по своим баракам, выкрикивая словесное приказание батальонного командира:

– Всем юнкерам второго курса собраться немедленно на обеденной площадке! Форма одежды обыкновенная. (Всем людям военного дела известно, что обыкновенная форма одежды всегда сопутствует случаям необыкновенным.) Взять с собою листки с вакансиями! Живо, живо, господа обер-офицеры!

Служители уже расставляли на площадке обеденные столы и табуретки. Никогда еще юнкера так охотно и быстро не собирались на призыв начальства, как в этот раз.

Через три минуты они уже стояли навтыжку у своих столов, и все двести голов были с нетерпением устремлены в ту сторону, с которой должен был показаться полковник Артабалевский.

Он скоро показался в сопровождении ротных командиров и курсовых офицеров.

– Садитесь! – приказал он как будто угрожающим голосом и стал перебирать списки. Потом откашлялся и продолжал: – Вот тут перед вами лежат двести десять вакансий на двести юнкеров. Буду вызывать вас поочередно, по мере оказанных вами успехов в продолжение двухлетнего обучения в училище. Рекомендую избранную часть называть громко и разборчиво, без всяких замедлений и переспросов. Времени у вас было вполне достаточно для обдумывания. Итак, номер первый: фельдфебель первой роты, юнкер Куманин!

Ловко и непринужденно встал высокий красавец Куманин.

– Имени светлейшего князя Суворова гренадерский Фанагорийский полк.

Артабалевский громко повторил название части и что-то занес пером на большом листе. Александров тихо рассмеялся. «Вероятно, никто не догадывался, что Берди-Паша умеет писать», – подумал он.

– Фельдфебель четвертой роты, юнкер Тарбеев!

– В лейб-гвардии Московский полк.

– Фельдфебель второй роты, юнкер Пожидаев!

– В двенадцатую артиллерийскую бригаду на сослужение с отцом.

– Портупей-юнкер, князь Вачнадзе!

– На сослужение с братом в Эриванский гренадерский полк.

Так прошли перед выпускными юнкерами все фельдфебели, портупей-юнкера и юнкера с высокими отметками. Соблазнительные полки с хорошими стоянками быстро разбирались. Для второразрядных оставались только далекие места в провинциальных уездных городах, имена которых юнкера слышали первый раз в своей жизни.

Внимание Александрова давно устало и рассеялось. Он машинально зачеркивал выходящие полки и в то же время вел своеобразную детскую игру: каждый раз, как вставал и называл свой полк юнкер, он по его лицу, по его голосу, по названию полка старался представить себе – какая судьба, какие перемены и приключения ждут в будущем этого юнкера? И когда Александров услышал свою фамилию, громко названную Берди-Пашой, то он вздрогнул и совсем растерялся. Беспомощно водя глазами по листу, исчерченному синим и красным карандашом, он никак не мог остановиться на одном из намеченных полков.

Артабалевский крикнул своим металлическим «первым»:

– Чего молчать! Чего мечтать? Проснитесь, юнкер!

Тогда Александров ткнул наудачу пальцем в лист. Вышел полк совсем ему неведомый и маленький городишко, никогда им не слыханный. И, откашлявшись, он громко крикнул:

– Ундомский пехотный полк!

Город Великие грязи. И опять подумал про себя: «Вот средство сделать последнее место – первым».

Раздача вакансий окончилась. Берди-Паша сказал поучительное слово:

– Однако не воображайте, что вы уже в самом деле – господа офицеры. Этого воображать отнюдь не следует. Вы суть только юнкера. Пока выбранные вами вакансии дойдут до Санкт-Петербурга, и пока великому государю нашему, его императорскому величеству императору Александру Третьему не благоугодно будет собственноручно их утвердить, и пока, наконец, высочайшее его соизволение не дойдет до Москвы – вы будете нести военную службу со всеми ее строжайшими обязанностями неукоснительно и в двойном размере. Ибо многому вы еще не доучились и ко многому

не привыкли. Итак, сейчас же построиться на передней линейке для батальонного учения!

О! Злобный азиат!

Глава XXIX

Травля

Двести вакансий в разные полки разобраны.

Военные портные уже уведомлены, какого цвета надо пришивать петлички к заказанным мундирам и какого цвета кантики: белого, красного, синего или черного.

Фамилии будущих господ офицеров и названия выбранных ими частей уже летят, летят теперь по почте в Петербург, в самое главное отделение генерального штаба, заведующее офицерскими производствами. В этом могущественном и таинственном отделении теперь постепенно стекаются все взятые вакансии во всех российских военных училищах, из которых иные находятся страшно далеко от Питера, на самом краю необъемной Российской империи.

И вот наконец все вакансии собраны и проверены. Тогда их поручают десяти искуснейшим во всей России писарям, из которых каждый состоит в капитанском чине, и они на ватманской слоновой бумаге золотыми перьями составляют список юнкеров, имеющих быть произведенными в первый офицерский чин и зачисленными на доблестное служение в одном из славных победоносных полков великой русской армии.

А теперь уже выступает на сцену не кто иной, как военный министр. В день, заранее ему назначенный, он с этим драгоценным списком едет во дворец к государю императору, который уже дожидается его.

Конечно, русскому царю, повелевавшему шестой частью земного шара и непрестанно пекущемуся о благе пятисот миллионов подданных, просто физически невозможно было бы подписывать производство каждому из многих тысяч офицеров. Нет, он только внимательно и быстро проглядывает бесконечно длинный ряд имен. Уста его улыбаются светло и печально.

– Какая молодежь, – беззвучно шепчет он, – какая чудесная, чистая, славная русская молодежь! И каждый из этих мальчиков готов с радостью пролить всю свою кровь за наше отечество и за меня!

Он со вздохом подписывает свое имя и говорит министру:

– Передайте им всем мои поздравления с производством и мою уверенность в их беспорочной будущей службе.

Очень долги пути государственных бумаг!

Старшие юнкера изводятся от нетерпения – они уже перестали называть себя господами обер-офицерами, иначе рядом с выдуманым званием не так будет сладко сознавать себя настоящим подпоручиком, его благородием и, по праву, господином обер-офицером.

Теперь все они кажутся совсем взрослыми, даже как будто пожилыми. Они стали осторожнее в движениях и умереннее в жестах. У них такой вид, точно каждый боится расплескать чашу, до краев полную драгоценной влагой. Они как-то любовно, по-братски присматривают друг за другом. Стоит самая африканская жарыща. Клокочущее нетерпение не знает, во что вылиться. Нервы натянуты до предела. Не дай бог, кто-нибудь под этими давлениями взорвется и сделает такой непозволительный грубый и глупый поступок, который повлечет за собою лишение офицерского чина. Что тогда делать? Скрыть невозможно и нельзя. Отдать в солдаты? Выгнать из училища? Но как же быть, если события так повернутся, что наказанного в Москве государь только что

произвел в офицеры в Петербурге? Телеграфировать на высочайшее имя для осведомления императора? Но какое огорчение нанесет это обожаемому монарху! Какое несмываемое пятно для славного, любимого, дорогого Александровского училища! Ротным командирам и курсовым офицерам известно это волнение молодых сердец, и они начинают чуть-чуть ослаблять суровые требования воинской дисциплины и тяжкие, в жару просто непереносимые трудности строевых учений. Выпускные юнкера в свою очередь чувствуют эти поблажки и впадают в легкую фамильярность с начальством, в ленцу и в небрежность.

На полевом учении, в рассыпном строю, поручик Новоселов (он же Уставчик) командует:

– Перестать стрелять, встать – направление на мельницу. Бегом!

А кто-нибудь из выпускных лениво говорит:

– Зачем бегать, Николай Васильевич? Жара адова. Полежимте-ка лучше.

Уставчик топчет ногами и слабо кричит:

– Вставать-с, в карцер посажу-с!

Выпускной смягчается:

– Да уж, пожалуй, пойдем, Николай Васильевич. Ведь мы вас так любим, вы такой добрый.

– Молчать-с! Перебежка частями!

Или иногда говорили Дрозду, томно разомлевшему от зноя:

– Господин капитан, позвольте рассыпать цепью по направлению на вон ту девчонку в красном платке.

– Э-кобели! – ворчал Дрозд и вдруг властно вскакивал. – Встать! Бежать на третью роту! Да бежать не как рязанские бабы бегают, а по-юнкерски! Эй, ходу, а то до вечера проманежу!

Этот странный Дрозд, то мгновенно вспльчивый, то вдруг умно и великодушно заботливый, однажды чрезвычайно удивил и умилил Александрова. Проходя вдоль лагеря, он увидел его лежащим, распластав широко ноги и руки, в тени большой березы и остановился над ним. Александров с привычной ловкостью и быстротой вскочил, встряхнул шапку и сделал под козырек.

– Опустите руку, – сказал Дрозд. Поглядел долгим ироническим взглядом на юнкера и ни с того ни с сего спросил: – А ведь небось ужасно хочется хоть на минутку поехать в город, к портному, и примерить офицерскую форму?

– Так точно, господин капитан, – с глубоким вздохом сознался Александров. – Ужасно, невероятно хочется. Да ведь я наказан, без отпуска до самого производства.

– Да, плохое твое дело. Командир батальона ничего не прощает и никогда не забывает. Он воин серьезный.

– Так точно, господин капитан. Серьезнее на свете нет.

– Н-да, плохое ваше дело: и хочется, и колется, и маменька не велит. Вполне понимаю ваше горе...

– Покорно благодарю, господин капитан.

– А главное, – продолжал Дрозд с лицемерным сожалением, – главное, что есть же на свете такие отчаянные сорванцы, неслухи и негодяи, которые в вашем положении, никого не спрашивая и не предупреждая, убегают из лагеря самовольно, пробудут у портного полчаса-час и опрометью бегут назад, в лагерь. Конечно, умные, примерные дети таких противозаконных вещей не делают. Сами подумайте: самовольная отлучка – это же пахнет дисциплинарным преступлением, за это по головке в армии не гладят.

– Так точно, господин капитан.

Оба собеседника замолкают и молчат минуты три-четыре. Вдруг Дрозд загадочно

фыркает и презрительно восклицает:

– Ну и бревно же!

– Какое бревно? – с недоумением спрашивает Александров.

– А такое, – равнодушно отвечает Дрозд и медленно отходит от юнкера.

Александров растерян. Кажется ему, что какой-то темный намек сквозил в небрежном разговоре Дрозда, но как его понять? Он идет в барак, отыскивает в нем Жданова, замечательного разгадчика всех начальственных каверз и закавык, и передает ему всю свою странную болтовню с Дроздом. Жданов саркастически улыбается:

– Бревно – это, конечно, ты, мой красавец. Разве ты сразу не мог понять, что сострадательный Дрозд окольным путем тебе советует сделать алегро удирато? То есть убежать самоволкой в город? Конечно, он яснее высказаться не мог и не смел, ибо он все-таки твой прямой начальник. Но, ей-богу, он все-таки отменный парень. А тебе остается только одно – завтра отпуск, и ты без всяких размышлений наденешь на себя мундир и скорым шагом отправишься к своему портному; старайся не терять времени понапрасну. Уходи в толпе и приходи в толпе, чтобы не быть ни для кого заметным. Если хочешь, я пойду впереди тебя наблюдательным дозором.

Так Александров на другой день и сделал: ловко втиснулся в густую массу отпускных юнкеров и благополучно выбрался на Ходынское поле. Там он уже был на свободе и крылатым шагом дошел до Тверской-Ямской, до того дома, где красовалась золотая вывеска: «Сур. Военный портной». И правда, риск самовольного побега был ничтожен в сравнении с наслаждениями, ожидавшими Александрова. Старый портной елозил вокруг него, обтягивая материю и пестря ее портновским мелком. В трех зеркалах бесчисленно отражалась его новая для самого себя фигура, и все ему хотелось петь на мотив из «Фауста»²⁷⁵: «Александров! Это не ты! Отвечай, отвечай, отвечай мне поскорее!»

Он примерил массу вещей: мундир, сюртук, домашнюю тужурку, два кителя из чертовой кожи, брюки бальные и брюки походные. Он с удовольствием созерцал себя, многократного, в погонах и эполетах, а старик портной не уставал вслух восхищаться стройностью его фигуры и мужественностью осанки.

На обратном пути он хотел было сделать маленький крюк, чтобы забежать в Екатерининский институт и справиться у Порфирия о том, как поживает Зиночка Бельшева, но вдруг почувствовал, что у него не хватит духа. В лагерь он пришел, когда уже начинало темнеть. Быстрым катышком свалился он в глубь оврага, где протекала холодная быстрая речонка, спешно переделся в заранее спрятанную каламянковую рубашку и вышел наверх. Первый, кого он увидел, был Дрозд, прогуливавшийся по плацу над купальней, заложивши руки за спину.

– Как поживаете, господин обер-офицер? – спросил Дрозд лениво.

– Покорно благодарю, господин капитан, очень хорошо! – воскликнул Александров, блестя глазами.

Так успели за двухлетнее знакомство и за лагерную страду опроститься и очеловечиться отношения между юнкерами и офицерами.

Только три человека из всего начальственного состава не только не допускали таких невинных послаблений, но злились сильнее с каждым днем, подобно тому как мухи становятся свирепее с приближением осени. Эти три гонителя были: Хухрик, Пуп и Берди-Паша, по-настоящему – командир батальона, полковник Артабалеvский.

Первые двое были, пожалуй, уж не так зловредны и безжалостно строги, чтобы питать к ним лютую вражду, ненависть и кровавую месть. Но они умели держать молодежь в постоянном состоянии раздражения ежеминутными нервными

²⁷⁵ «Фауст» – трагедия немецкого писателя Й. В. Гете; здесь имеется в виду опера «Фауст», музыка Шарля Гуно.

замечаниями, мелкими придирками, тупыми повторениями одних и тех же скучных, до смерти надоевших слов и указаний, вечной недоверчивостью и подозрительностью и, наконец, долгими, вязкими, удручающими нотациями.

Берди-Паша не был выпечен из такого пресного теста. Его, должно быть, отлили из железа на заводе и потом долго били стальными молотками, пока он не принял приблизительную, грубую форму человека. Снабдить же его душою мастер позабыл.

И правда: Берди-Паша кажется лишенным если не всех, то очень многих свойственных обыкновенному человеку достоинств и недостатков, страстей и слабостей. Он не знает ни честолюбия, ни жалости, ни любви, ни привязанности. Ему чужды страх и стыд. Он никогда не хвалит и не делает выговоров. Он только спокойно и холодно, как машина, наказывает, без сожаления и без гнева, прилагая максимум своей власти. У него сильный стальной голос, слышимый из конца в конец огромнейшего Ходынского поля, на котором летом свободно располагаются лагеря и производят учение все войска Московского военного округа. Но ни разу он не закричал на юнкера, так же как никогда не показал ему сострадания.

Все в училище, не исключая и офицеров, глубоко убеждены в том, что Берди-Паша просто глуп. Его редкие изречения тщательно запоминаются второкурсниками и передаются из поколения в поколение, обрастая, конечно, добавками, как корабль в далеком пути обрастает ракушками и моллюсками.

Берди-Пашу юнкера нельзя сказать чтобы любили, но они ценили его за примитивную татарскую справедливость, за голос, за представительность и в особенности за неподражаемую красоту и лихость, с которыми он гарцевал перед батальоном на своей собственной чистокровной белой арабской кобыле Кабардинке, которую сам Паша, со свойственной ему упрямостью, называл Кабардиновкой.

Но теперь юнкера, а в особенности выпускные, были обижены тем, что немедленно по окончании торжественного разбора вакансий Берди-Паша бесцеремонно погнал батальон на строевые занятия, как будто наплевав на великую важность происшедшего события.

Всякий порядочный командир батальона дал бы своей части в подобном случае хоть час-два блаженного отдыха после только что пережитых, столь сильных впечатлений.

Это с его стороны невежество, умышленное свинство, пренебрежительный вызов, требующий немедленного воздаяния.

И вот тогда, точно по телеграфу, работающему без проводов, разнесся, начиная с первой роты, самой долговязой, самой шикарной и самой авторитетной, и кончая предприимчивой четвертой – невидимый приказ: «Травить всех по-прежнему, умеренно. Хухру и Пупа – с натиском. А нераскаянного Берди-Пашу не только сугубо, но двугубо и даже многогубо».

Это предложение было принято повсюду с величайшей готовностью. К тому же, надо сказать, всему училищу было известно, что в этом году производство начнется с большим, против всегдашнего, промедлением. По каким-то важным политическим причинам государь опоздает приехать в Петербург. Лишнее промедление обрекало всех юнкеров на длительную скуку. Сугубая травля обещала некоторые развлечения, и она вышла действительно неслыханно разнообразной и блестящей.

Она началась непосредственно после вечерней переклички, «Зори» и пения господней молитвы, когда время до сна считалось свободным. Как только раздавалась команда «разойтись», тотчас же чей-нибудь тонкий гнусавый голос жалобно зывал: «Ху-у-ух-рик!» И другой подхватывал, точно хрюкая поросенком: «Хухра, Хухра, Хухра». И целый многоголосый хор животных начинал усердно воспевать это знаменитое прозвание, имитируя кошек, собак, ослов, филинов, козлов, быков и так

далее.

Затем начинался фейерверк в честь и славу Пупа. Не без гордости взял на себя Александров должность одного из самых главных пиротехников. Недаром же он еще в корпусе, вместе с товарищем Тучабским, вышедшим год назад в офицеры, изучал искусство потешных огней. Он даже не знал, откуда ему приносили серу и селитру, кремортартар и другое. Он сам толлок в мелкий порошок древесный уголь и сахар. Порох он получал из патронов, оставшихся у многих юнкеров от учебной стрельбы. Необходимые же трубки и трубочки он скатывал на шомполах и на других цилиндрических предметах. Таким образом он, хоть и грубо, но все-таки достаточно для простой цели, изготовлял шутихи, бенгальские огни, римские свечи и главным образом ракеты.

Когда травление Хухрика начинало немного приедаться, Александров пускал цветной сигнал для привлечения внимания и сейчас же, держа двумя пальцами трубку ракеты, поджигал ее. Ракета, оставляя звездчатый золотой хвост, весело шла вверх. Вибрирующее шипение шло за нею. Это продолжалось недолго, секунд десять-двенадцать, но времени хватало, чтобы прокричать мадригал Дудышкину. Множество голосов наперебой восклицало:

«Я Пуп, но не так уж глуп. Когда я умру, похороните меня в моей табакерке. Робкие девушки, не бойтесь меня, я великодушен. Я Пуп, но это презрительная фора моим врагам. Я и Наполеон, мы оба толсты, но малы» – и так далее, но тут, достигая предела, ракета громко лопалась, и сотни голосов кричали изо всех сил: «Пуп!«

Травля Берди-Паши была сложнее, разнообразнее и художественнее. Сначала из архивов памяти, еще от преданий предков, выкапывались поразительные, незабвенные изречения Паши. Вот некоторые из них:

Юнкер стоит, облокотившись на раму, и смотрит сквозь окно на училищный плац. Подходит Берди-Паша и упирается взглядом ему в спину. Оба молчат очень долго, минут десять, пятнадцать... Вдруг Паша нарушает тишину:

– Стоить и думать, и думать, что думать, и сам не знает, что ничего не думать. А не хотите ли в карцер, юнкер?

И еще:

Оркестр Крейнбринга, училищный знаменитый оркестр, играет в училищной столовой. Один из музыкантов держит под мышкой свою валторну. Берди-Паша подходит к капельмейстеру и спрашивает:

– А этот почему стоит без дела?

– Он паузу держит.

– Почему же он ее за пазухой держать? почему не играть?

И опять о Крейнбринге:

Наблюдая за оркестром, Паша замечает, что старый артист на бейном басы во все время концерта ни разу не прикоснулся к своему инструменту. Он подходит к Крейнбрингу:

– Ну а этот почему не играть? Тоже паузу держать? Лентяй!

– Нет, он амбушюр²⁷⁶ потерял.

– Вот сволочь! Казенную вещь терять? Взгрейте-ка его хорошенько, а стоимость вычтите из его жалования. Я их научу, как казенные вещи терять!

Потом на голову бедного полковника Артабалева вешаются все бесчисленные анекдоты о русских генералах, то слишком недогадливых, то чересчур ревностных, то ужасно откровенных, то неловких поклонников дамской красоты, то любителей загадок, и так без конца.

²⁷⁶ Амбушюр – мундштук для духовых инструментов.

Анекдоты эти рассказываются обыкновенно в таких местах, где сам Берди-Паша их отлично может расслышать. Начинает рассказчик так:

– Ну а вот послушайте новый анекдот еще об одном генерале... – Все, конечно, понимают, что речь идет о Берди-Паше, тем более что среди рассказчиков многие – настоящие имитаторы и с карикатурным совершенством подражают металлическому голосу полковника, его обрывистой, с краткими фразами речи и со странной манерой употреблять ерь²⁷⁷ на конце глаголов.

Берди-Паша понимает, изводится, вращает глазами, прикусывает губу, но сделать ничего не может – боится попасть в смешное или неприятное положение. Но татарская кровь горяча и злопамятна. Берди-Паша молча готовит месть.

Однажды в самый жаркий и душный день лета он назначает батальонное учение. Батальон выходит на него в шинелях через плечо, с тринадцатифунтовыми винтовками Бердана, с шанцевым инструментом за поясом. Он выводит батальон на Ходынское поле в двухвзводной колонне, а сам едет сбоку на белой, как снег, Кабардинке, офицеры при своих ротах и взводах.

Надо сказать, что Берди-Паша, вероятно, один из самых совершеннейших и тончайших мастеров и знатоков батальонного учения во всем корпусе русских офицеров.

Он не давал батальону роздыха (это оттого, что сам он сидит на Кабардиновке, сердито думали юнкера) и только изредка, сделав десять, пятнадцать построений, командовал:

– Вольно. Оправиться. С мест не сходить, – чтобы через две минуты снова крикнуть: – Батальон, в ружье. (Такие частые, но малые остановки, как известно, гораздо больше утомляют пехотинцев, чем сплошной ровный ход.) Он управлял батальоном, точно играл на гармонии: сжимал батальон так тесно в сближение четырех рот, что он казался маленьким и страшно тяжелым, и разжимал во взводную колонну так, что он казался длинным-предлинным червяком. Он заставлял «заходить», то есть вращаться, как по циркулю, целые роты. Он водил батальон прямым, широким, упругим маршем и облическим, правильно косым движением, и вдруг резкой командой «на руку» заставлял все четыреста ружей оцетиниться на ходу штыками, мгновенно взятыми наперевес.

Берди-Паша был в эти минуты похож на знаменитого балетмейстера, управляющего отлично слаженным кордебалетом, на директора цирка, заставляющего массу нарядных лошадей однообразно делать сложные вольты, лансады и пируэты, на большого мальчишку, играющего своими раздвижными деревянными солдатиками, заставляя всю их сомкнутую группу разом сдвигаться и раздвигаться то сверху вниз, то слева направо.

Команды Берди-Паши были отчетливы, а приемы юнкеров абсолютно правильны. Но сегодня Артабалевский точно объелся белены и взбесился. Через каждые десять шагов он командовал:

– Стой!

И батальон, как один человек, останавливался в два темпа, а в три других темпа, сняв ружье с плеча, ставил его прикладом на землю. И тотчас уже опять:

– Батальон, шагом марш, стой, шагом марш, стой, шагом марш, стой.

И на каждой краткой остановке молниеносный, пламенно бешеный разнос:

– Почему приклады стучать? Почему стучать приклады? Сказано, опускать приклады на землю беззвучно. Беззвучно опускать вам приказано.

И снова:

²⁷⁷ Ерь – буква русского алфавита, современный мягкий знак.

– Шагом марш. Стой. Зачем, зачем шлепают прикладами? Заморю на учении, а заставлю, чтоб никакого звука не было слышно.

Так Берди-Паша каждый раз неистовствовал и крупным галопом носился вокруг батальона, истязая шпорами красавицу Кабардинку, которая вся была в мыле и роняла со своей прелестной морды охлопья белой пены, но добиться идеального беззвучия он не мог, как ни выходил из себя.

Юнкера знали, в чем здесь дело. Берди не был виноват в том, что заставлял юнкеров исполнять неисполнимое. Виноват был тот чрезвычайно высокопоставленный генерал, может быть, даже принадлежавший к членам императорской фамилии, которого на смотре в казармах усердные солдаты, да к тому же настроенные начальством на громкую лихость ружейных приемов, так оглушили и одурманили битьем деревянными прикладами о деревянный пол, что он мог только сказать с унынием:

– Да, все это очень хорошо, но хотелось бы, чтобы было потише. Согласитесь, что такими мощными ударами можно потрясти берданку²⁷⁸ и значительно испортить ее тонкие, весьма чувствительные внутренние части.

Замечание это было разослано для принятия ко вниманию во все округа, корпуса, дивизии и полки. Военная служба – строгая служба. В ней нет места ни своеволию, ни отказу, ни возражению. Приказано и – делать. И притом не рассуждать. Но беспрестанные «марш» и «стой» в сопровождении татарских наскоков Берди-Паши извели и утомили юнкеров, а главное, наскучили до смерти. Сначала один, двое, трое юнкеров, по усталости и небрежности и отчасти по случайности, слишком громко поставили приклады. Соседи поддерживали их из проказливости, показала свою власть и липкая подражательность. По батальону побежал магнетический слух: «Берди-Пашу травят! Травите Берди-Пашу».

И тогда уже весь батальон, четыреста человек, стали при каждой команде «стой» изо всех сил бить прикладами по сухой земле.

Батальонный не растерялся. Он озверел: пята свою Кабардинку задом на строй первой роты, позеленевший от злобы, он кричал обрывающимся голосом:

– Не хотите? Не жалаете? Разнежничались? А, вот я вас всех сейчас до выставки погоню, туда и обратно.

Чей-то неведомый голос вдруг возразил из середины строя:

– Ан не погонишь!

– Не погоню? – взревел Паша изо всей силы своего голоса, и лицо его пошло красными пятнами. – Не прогоню? Два раза прогоню: туда и обратно и еще раз – туда и обратно... Батальон на плечо. Шагом марш!

Ошарашенный этой грозной вспышкой, батальон двинулся послушно и бодро, точно окрик послужил ему хлыстом. Имя юнкера-протестанта так и осталось неизвестным, вероятно, он сам сначала опешил от своей бессознательно вырвавшейся дерзости, а потому ему стало неловко и как-то стыдно сознаться, тем более что об этом никто уже больше не спрашивал. Спроси Паша сразу на месте – кто осмелился возразить ему из строя, виновник немедленно назвал бы свою фамилию: таков был строгий устный адат училища.

Не важно, какому бы тягчайшему наказанию подверг Берди-Паша дерзилу. Гораздо опаснее было бы, если бы весь батальон, раздраженный Пашой до крайности и от души сочувствовавший смельчаку, вступился в его защиту. Вот тут как раз и висели на волоске события, которые грозили бы многим юнкерам потерю карьеры за несколько дней до выпуска, а славному дорогому училищу темным пятном.

²⁷⁸ Винтовка, на вооружении российской армии с 1860-х гг.

Вовсе не от такта, или политики, или жалости ограничился Паша длинным маршем, в котором невольно приняли участие ротные командиры и курсовые офицеры. Нет, Берди-Паша поступил так, влекомый природной глупостью и ослепившим его гневом. Но четырех концов ему все-таки не удалось сделать. В конце третьего у штабс-капитана Белова, курсового офицера четвертой роты, от жары и усталости хлынула кровь из носа в таком обилии, что ученье пришлось прекратить. Батальон повели обратно, в лагери. У Берди-Паши, еще не перестававшего шпорить Кабардинку, был вид тигра, у которого изо рта насильно вырвали добычу.

Глава XXX Производство

Упорствуют, не идут, нарочно не хотят идти из Петербурга волшебные бумаги, имеющие магическое свойство одним своим появлением мгновенно превратить сотни исхудалых, загоревших дочерна, изнывших от ожидания юношей в блистательных молодых офицеров, в стройных вояк, в храбрых защитников отечества, в кумиров барышень и в украшение армии.

Но Петербург все безмолвствует. Доходят до лагерей смутные слухи, что по каким-то очень важным государственным делам император задержался за границей и производства можно ожидать только в середине второй половины июля месяца.

Училищных офицеров тоже беспокоит и волнует это замедление. После производства в офицеры бывшие ученики и прямые подчиненные становятся отрезанным ломтем, больше о них нет ни забот, ни хлопот, ни ответственности, ни даже воспоминаний.

Будущие второкурсники (господа обер-офицеры) обыкновенно дня за три до производства отпускаются в отпуск до начала августа, когда они в один и тот же день и час должны будут прибыть в училищную приемную и, лихо откозыряв дежурному офицеру, громко отрапортовать ему:

– Ваше благородие, является из отпуска юнкер второго курса, такой-то роты и фамилия.

Но от дня производства до явки отпускных у начальства остается почти месяц свободного от занятий времени, которым каждый пользуется по средствам и воображению.

Потому-то весь состав училища становится в эти дни напряженного ожидания нетерпеливее и распушеннее, чем обыкновенно. Занятий почти нет. Ружья на неделю отобраны от юнкеров и отправлены в оружейную мастерскую училища. Там старые, постоянные мастера уже успели на глаз, на ощупь и через специальное маленькое зеркальце осмотреть все раковинки, ржавчинки и царапинки и другие повреждения, которые принесли ружьям плохая чистка и небрежное обращение. Старшему курсу уже был прислан отчет о том, какая сумма будет вычтена при производстве с каждого юнкера за порчу казенных вещей (Александрову насчитали ужасно много: тринадцать рублей сорок восемь копеек), второй курс заплатит свою пеню в будущем году.

Занимаются подзубриванием уставов, перечислением лиц императорской фамилии, караулом при знамени и перед пороховым погребом, немного гимнастикой, немного маршировкой.

Юнкеров, взявших вакансии в артиллерию, училищный берейтор²⁷⁹ Плакса каждый день тренирует в верховой езде. Больше всего увлекаются купаньем – погода

²⁷⁹ Берейтор – специалист по обучению лошадей и верховой езде; учитель, обучающий верховой езде, «объездчик» верховых лошадей, объезжающий лошадей, помощник дрессировщика лошадей в цирке.

стоит пламенная.

Даже травля надоела. Попробовал Александров однажды вечером запустить последнюю оставшуюся у него ракету – как раз она и вылетела шикарно и разорвалась эффектно. Но никто не послал ей вслед острого словца, только на взрыв какой-то юнкер ответил: «Пуп» – и так уныло у него вышло, как будто он собирался крикнуть: «А производства-то все нет...»

Третья рота устроила перед своими бараками пышное представление под заглавием «Высокое награждение султаном ниневийским храброго джигита и абрека Берди-Пашу». Постановка была очень недурна, принимая во внимание, что декорации и костюмы были сделаны из простынь, подушек, шинелей, цветной бумаги и древесных веток. Юнкер Павлов, изображавший Пашу, обмотал лоб громаднейшим тюрбаном, посол султана был в белом остроконечном картонном колпаке, усеянном звездами. Собственная музыка сыграла при входе посла ниневийского марш; инструментами музыкантам служили: головные гребешки, бумажные трубы, самодельные барабаны и свой собственный свист.

Сцена роскошно освещалась четырьмя стеариновыми свечами. Посол низко поклонился Берди-Паше, а Берди-Паша послу. Затем посол приказал своей свите: «Приведите присланных одалисок».

Свита ушла и через минуту вернулась назад, поддерживая с нежностью двух смазливых юнкеров, одетых в роскошные женские одежды из простынь.

– О прелестные одалиски, упоите зрение знаменитого воина Берди-Паши вашими грациозными танцами.

Оркестр грянул «Турецкий патруль», и под него одалиски протанцевали изумительный танец, виляя бедрами и боками, вращая животами, оглядывая публику сладострастными восточными взорами.

– Теперь довольно, – сказал посол и поклонился Паше. Паша сделал то же самое. – О великий батырь²⁸⁰ Буздыхан и Кисмет, – сказал посол, – мой владыко, сын солнца, брат луны, повелитель царей, жалует тебе орден великого Клизапомпа и дает тебе новый важный титул. Отныне ты будешь называться не просто Берди-Паша, а торжественно: Халда, Балда, Берди-Паша. И знай, что четырехстворчатое имя считается самым высшим титулом в Ниневии. В знак же твоего величия дарую тебе два драгоценных камня: желчный и мочевоый.

Новоиспеченный Халда, Балда, Берди-Паша глубоко поклонился послу, посол сделал то же и потом сказал:

– Мой повелитель дарит тебе этих прекрасных ниневиятинок.

– Ни, ни! – закачал Паша головою. – Что я с ними буду делать? мне они незачем. А вот место евнуха в султановом гареме²⁸¹, да еще с порядочным жалованием, от этого я бы не отказался... – Будь им с нынешнего числа, – сказал посол. – Я вовсе не посол, а сам султан. Ты нравишься мне, Берди. Идем-ка вместе в трактир. Пьеса окончена. Что? Хорошо я играл, господа почтенные зрители?

Эта пьеса-церемония была придумана за час до представления и, по совести, никуда не годилась. Она не имела никакого успеха. К тому же у юнкеров еще не вышло из памяти недавнее тяжелое столкновение с Артабалевским, где обе стороны были не правы. Юнкерская даже больше.

Но зато первая рота, государева, в скором времени ответила третьей – знаменной, поистине великолепным зрелищем, которое называлось «Похороны штыка» и, кажется,

²⁸⁰ Батырь – (храбрец, богатырь, силач, от древнетюркского багатур – храбрый воин), звание, которое давалось у тюркских народов и монголов отдельным лицам за военные заслуги.

²⁸¹ Гарем – закрытая и охраняемая жилая часть дворца или дома, в которой жили жены высокопоставленного восточного государственного деятеля. Евнух – слуга, наблюдающий за гаремом.

было наследственным, преемственным. «Жеребцы» не пожалели ни времени, ни хлопот и набрали, бывая по воскресеньям в отпуску, множество бутафорского материала.

Начали они, когда слегка потемнело. Для начала была пущена ракета. Куда до нее было кривым, маленьким и непослушным ракетишкам Александра – эта работала и шипела, как паровоз, уходя вверх, не на жалкие какие-нибудь сто, двести сажен, а на целых две версты, лопнувши так, что показалось, земля вздрогнула и рассыпала вокруг себя массу разноцветных шаров, которые долго плавали, погасая в густо-голубом, почти лиловом небе. По этому знаку вышло шествие.

Впереди шли скрипка, окарина²⁸² и низкая гитара. Они довольно ладно играли похоронный марш Шопена. За музыкой шел важными и медленными шагами печальный тамбур, держа в руках высокую палку с траурными лентами.

Затем шествовал гроб такой величины, что в нем свободно умещался берданочный штык, размером не более полуаршина. Гроб был покрыт чем-то похожим на парчу и завален весь через верх грудю полевых цветов. Он стоял на крошечных носилках, четыре угла которых поддерживали четыре траурных кавалера, освещаемые с обеих сторон смоляными факелами. Дальше медленно и почтительно двигались провожающие. Шествие началось у купального водоема, а окончилось за первым флангом расположения первой роты. Там гробик был опущен в приготовленную для него яму и засыпан землей. Каждый юнкер бросил горсточку. Потом могильный холмик был осыпан цветами, водружена была дощечка со скромной надписью:

ШТЫК

1889.

И вся церемония окончилась в той же строгой серьезности, как и началась.

– Желаящие могут произнести речи, – предложил высокий юнкер первой роты, лицо которого нельзя было разглядеть из-за спустившихся сумерек. Кто-то приблизился к могиле и стал говорить:

– Прощай, штык. Два года носили мы тебя на левом бедре. Спрашивается: зачем? Как символ воинского звания? Но вид у тебя был совсем не воинственный, а скорее жалкий. Воткнутый в свое кожаное узкое влагалище, ты походил на длинную болтающуюся селедку. Для возможной обороны? Но ты только тогда и силен, когда подкреплён огромным весом ружья. Для украшения? Но без тебя воинский чин только выигрывал в красоте. У нас были в обмундировании золотые орлы на барашковых шапках, пылающие бомбы на медных застежках поясов, золотые галуны и прекрасный наш вензель. Куда же ты сунулся, о несчастный, в какое благородное общество? Я помню наш прежний тяжеловесный тесак, с которым наши славные предки делали такие могучие атаки и который был отнят у нас за чужую проказу. Он величествен и грозен, как настоящее оружие войны. И он был универсален: в случае надобности на войне им можно было нарубить дров, наколоть лучин, расколотить лед, вырыть окоп и так далее... Прощай же, штык. Ржавей и разрушайся в земле. Мы не помним на тебя зла. Это не ты пришел непрошенный в наше общество. Нет. Тебя нам навязали насильно, и в конце концов в моей краткой речи я нарушил старый обычай: «О мертвых либо хорошо, либо ничего». Поэтому, воздавая тебе справедливость, скажу почтительно, что в минувшую войну с турками ты немало продырявил и пропорол вражеских животов. Прощай же, наш невольный боевой товарищ. Через день, два тебя заменит нам благородная, быстрая, страшная шашка, благородная дочь знаменитой исторической сабли. Аминь.

– Аминь, – повторяют участники похорон. Печальный обряд окончен, и все

²⁸² Окарина – древний духовой музыкальный инструмент, глиняная свистковая флейта. Представляет собой небольшую камеру в форме яйца с отверстиями для пальцев в количестве от четырех до тринадцати.

расходятся по своим баракам.

Теплая ночь, и на небе пропасть больших шевелящихся звезд...

Но наступает время, когда и травля начальства и спектакли на открытом воздухе теряют всякий интерес и привлекательность. Первый курс уже отправляется в отпуск. Юнкера старшего курса, которым осталось день, два или три до производства, крепко жмут руки своим младшим товарищам, бывшим фараонам, и горячо поздравляют их со вступлением в училищное звание господ обер-офицеров.

– Блюдите внутреннюю дисциплину, – говорят они уходящим младшим товарищам. – Не распускайте фараонов, глядите на них свысока, следите за их молодеватым видом и за благородством души, остерегайтесь позволять им хоть тень фамильярности, жучьте их, подтягивайте, ставьте на место, окрикивайте, когда надо. Но завещаем вам: берегитесь цукать их нелепой гоньбой²⁸³ и глупыми, оскорбительными приставами. Помните, что Александровское военное училище есть первейшее из всех российских училищ и в нем дисциплина живет не за страх, а за совесть и за добровольное взаимное доверие. Прощайте, друзья, прощайте, и дай Бог нам встретиться соратниками на поле брани.

А другие говорили уходящим:

– Никогда и никому не позволяйте унижать звание пехотинца и гордитесь им. Пехота – самый универсальный род оружия. Она передвигается подобно кавалерии, стреляет подобно артиллерии, роет окопы подобно инженерным войскам и, подобно им, строит мосты и понтоны, и решает участь боя главным образом мужество и стойкость пехоты. Прощайте!

Господа обер-офицеры ушли, и как раз на другой день рано утром прибыл из Москвы в хамовнические лагеря в полном составе чудесный оркестр училища.

– Это – подарок начальника училища, – объяснил Дрозд, – лето было уж очень жаркое и лагеря тяжелые.

– Сегодня производство? – спросил нервно один из юнкеров.

– Не знаю. Ровно ничего не знаю, – ответил Дрозд уклончиво.

В семь часов сделали переключку. Батальонный командир отдал приказание надеть юнкерам парадную форму. В восемь часов юнкеров напоили чаем с булками и сыром, после чего Артабалеvский приказал батальону построиться в двухвзводную колонну, оркестр – впереди знаменной роты и скомандовал:

– Шагом марш.

Утро было не жаркое и не пыльное. Быстрый крупный дождь, пролившийся перед зарею, прибил землю: идти будет ловко и нетрудно. Как красиво, резво и вызывающе понеслись кверху звуки знакомого марша «Под двуглавым орлом», радостно было под эту гордую музыку выступать широким, упругим шагом, крепко припечатывая ступни. Милым показалось вдруг огромное Ходынское поле, обильно политое за лагерное время юнкерским потом. Перед беговым ипподромом батальон сделал пятиминутный привал – пройденная верста была как бы той проминкой, которую делают рысаки перед заездом. Все оправались и туже подтянули ремни, расправили складки, выровняли груди и опять – шагом марш – вступили в первую улицу Москвы под мужественное ликование ярко-медных труб, веселых флейт, меланхолических кларнетов, задумчивых тягучих гобоев, лукавых женственных валторн, задорных маленьких барабанов и глухой могучий темп больших турецких барабанов, оживленных веселыми медными тарелками.

Свернутое знамя высится над колонной своим золотым острием, и, черт побери, нельзя решить, кто теперь красивее из двух: прелестная ли арабская кобыла

²⁸³ Гоньба – действие от глаг. *гнать* и *гнаться*, *гонять* и *гоняться*.

Кабардинка, вся собранная, вся взволнованная музыкой, играющая каждым нервом, или медный ее всадник, полковник Артабалеvский, прирожденный кавалерист, неукротимый и бесстрашный татарин, потомок абреков, отсекавших одним ударом шашки человеческие головы.

Улицы и слева и справа полным-полны москвичами.

– Наши идут. Александровцы. Знаменские.

Изо всех окон свесились вниз милые девичьи головы, женские фигуры в летних ярких ситцевых одеждах. Мальчишки шныряют вокруг оркестра, чуть не влезая замурзанными²⁸⁴ мордочками в оглушительно рявкающий огромный геликон и разевающие рты перед ухающим барабаном. Все военные, попадающие на пути, становятся во фронт и делают честь знамени. Старый, седой отставной генерал, с георгиевскими петлицами, стоя, провожает батальон глазами. В его лице ласковое умиление, и по щекам текут слезы.

Все двести юнкеров, как один человек, одновременно легко и мощно печатают свои шаги с математической точностью и безупречной правильностью. В этом почти выше чем человеческом движении есть страшная сила и суровое самоотречение.

Какая-то пожилая высокая женщина вдруг всплескивает руками и громко восклицает:

– Вот так-то они, красавцы наши, и умирать за нас пойдут...

Святые, чистые, великие слова. Сколько народной глубокой мудрости в них. Вот забрили лоб рекруту. Ведут его под присягу. Бабы плачут, девки плачут, старики кричат на завалинках. А забритый пьян, распьян, куражится, задается, шумит, выражается. «Желаю, говорит, пролить кровь за отечество, Марфа. Тащи еще четверть водки». А вот он уже и в солдатах. Обреченный человек, казенный человек, ответчик за весь мир православный, слуга царю и родине. Первое время-то какое тяжелое! С непривычки все домой да домой тянет и учение плохо дается. Ну а там, гляди, обратался, отпрукался, освоился, стал настоящим исправным солдатом, даже ефлетером и младшим ундером. Приехал домой на кратковременный отпуск – узнать нельзя: стройный, ловкий, уверенный, прежнего вахлака²⁸⁵ и в помине нет. Спрашивают: «Ученьем вас небось много мучают?» А он этак по-солдатски, с кондачка: «Нам ученье чижало, между прочим ничаго. А убоина у нас каждый день во щах и каша тоже, и мясная порция на спичке выдается, двадцать пять золотников ежедневно. А в государевы дни и в полковой праздник водку нам подносят по целой манерке²⁸⁶». Нет, жить в солдатах можно хорошо, надо только быть расторопным, понимающим, усердным и веселым и, главное, правдивым.

А потом, спаси Господи, война начнется. Идет солдат на войну, верный присяге. Шинелью из кислой шерсти навкось опоясан, ранец на нем и вещевой мешок со всем его имуществом, ружье на плече, патроны в подсумках.

Идет полк с музыкой – земля под ним дрожит и трясется, идет и бьет повсюду врагов отечества: турок, немцев, поляков, шведов, венгерцев и других инородцев. И все может понять и сделать русский солдат: укрепление соорудить, мост построить, мельницу возвести, пекарню или баню смастерить.

Он же, солдат, и на верную смерть охотником вызваться готов, и ротного своим телом от пули загородить, и товарища раненого на плечах из боя вынести, и офицеру своему под огнем обед притащить, и пленного ратника накормить и обласкать – все ему сподручно.

²⁸⁴ Замурзанный – запачканный, грязный.

²⁸⁵ Вахлак – неповоротливый, неуклюжий и невоспитанный человек.

²⁸⁶ Манерка – походная металлическая фляжка с завинчивающейся крышкой в виде стакана; количество жидкости, вмещающееся в такую фляжку.

А забравши под Российское государство великое множество городов и взявши без числа пленных, возвращается солдат домой, простреленный, иногда без руки, иногда без ноги, но с орденом на груди святого великомученика Георгия.

И тут уже солдат весь входит в любимую легенду, в трогательную сказку. Ни в одном другом царстве не окружают личность военного кавалера таким наивным и милым уважением, как в России. Солдат из топора щи мясные варит, Петра Великого на чердаке от разбойников спасает, черта в карты обыгрывает, выгоняет привидения из домов, все улаживает, всех примиряет и везде является желанным и полезным гостем, кумом на родинах, сватом на свадьбах.

«Странно, – думает Александров, – вот мы учились уставам, тактике, фортификации, законоведению, топографии, химии, механике, иностранным языкам. А, между прочим, нам ни одного слова не сказали о том, чему мы будем учить солдат, кроме ружейных приемов и строя. Каким языком я буду говорить с молодым солдатом. И как я буду обращаться с каждым из них по отдельности. Разве я знаю хоть что-нибудь об этом неведомом, непонятном существе. Что мне делать, чтобы приобрести его уважение, любовь, доверие? Через месяц я приеду в свой полк, в такую-то роту, и меня сразу определяют командовать такой-то полуротой или таким-то взводом на правах и обязанностях ближайшего прямого начальника. Но что я знаю о солдате, господи боже, я о нем решительно ничего не знаю. Он бесконечно темен для меня.

В училище меня учили, как командовать солдатом, но совсем не показали, как с ним разговаривать. Ну, я понимаю – атака. Враг впереди и близко. «Ребята, вся Россия на нас смотрит, победим или умрем». Выхватываю шашку из ножен, потрясаю ею в воздухе. «За мной, богатыри. Урррраааа...»

Да, это просто. Это героизм. Это даже вот сейчас захватывает дыхание и холодом вдохновения бежит по телу. О, это я сумею сделать великолепно. Но ежедневные будни. Ежедневное воспитание, воспитание дикого неуча, часто не умеющего ни читать, ни писать. Как я к этому важному делу подойду, когда специально военных знаний у меня только на чуточку больше, чем у моего однолетки, молодого солдата, которых у него совсем нет, и, однако, он взрослый человек в сравнении со мною, тепличным дитятей. Он умеет делать все: пахать, боронить, сеять, косить, жать, ухаживать за лошадью, рубить дрова и так без конца... Неужели я осмелюсь отдать все его воспитание в руки дядек, унтер-офицеров и фельдфебелей, которые с ним все-таки родня и свой человек?

Нет, если бы я был правительством, или военным министром, или начальником генерального штаба, я бы распорядился: кончил юноша кадетский корпус – марш в полк рядовым. Носи портянки, ешь грубую солдатскую пищу, спи на нарах, вставай в шесть утра, мой полы и окна в казармах, учи солдат и учись от солдат, пройди весь стаж от рядового до дядьки, до взводного, до ефрейтора, до унтер-офицера, до артельщика, до каптенармуса, до помощника фельдфебеля, попотей, потрудись, белоручка, подравняйся с мужиком, а через год иди в военное училище, пройди двухгодичный курс и иди в тот же полк обер-офицером.

Не хочешь? – не нужно – иди в чиновники или в писаря. Пусть те, у кого кишка слаба и нервы чувствительны, уходят к черту – останется крепкая военная среда».

Александров вздрагивает и приходит в себя от мечтаний. Жданов толкает его локтем в бок и бурчит:

– Не разравнивай рядов.

Батальон уже прошел Никитским бульваром и идет Арбатской площадью. До Знаменки два шага. Оркестр восторженно играет марш Буланже²⁸⁷. Батальон

²⁸⁷ Буланже Жорж Эрнест (1837–1891) – французский генерал, политический деятель.

торжественно входит на училищный плац и выстраивается поротно в две шеренги.

– Смирно, – командует Артабалевский, соскакивая с лошади. – Под знамя. Слушай на караул.

Ладно брякают ружья. Знамя, в сопровождении знаменщика и адъютанта, уносится на квартиру начальника училища. Генерал Анчутин выходит перед батальоном.

– Здравствуйте, юнкера, – беззвучно, но понятно шепчут его губы.

– Здравия желаем, ваше превосходительство, – радостно и громко отвечает черная молодежь.

Начальник училища передает быстро подошедшему Артабалевскому большой белый, блестящий картон. Берди-Паша отдает честь и начинает громко читать среди гулкой тишины:

– «Его императорское величество государь и самодержец всея России высочайше соизволил начертать следующие милостивые слова».

Юнкера вытягиваются и расширяют ноздри.

– «Поздравляю моих славных юнкеров с производством в первый обер-офицерский чин. Желаю счастья. Уверен в вашей будущей достойной и безупречной службе престолу и отечеству.

На подлинном начертано – Александр».

Могучим голосом восклицает Артабалевский:

– Ура его императорскому величеству. Ура!

– Ура! – оглушительно кричат юнкера.

– Ура! – отчаянно кричит Александров и растроганно думает: «А ведь что ни говори, а Берди-Паша все-таки молодчина».

Все бегут в гимнастическую залу, где уже дожидается юнкеров офицерское обмундирование.

Там же ротные командиры объявляют, что спустя трое суток господа офицеры должны явиться в канцелярию училища на предмет получения прогонных денег²⁸⁸. В конце же августа каждый из них обязан прибыть в свою часть. Станным кажется Александрову, что ни у одного из юных подпоручиков нет желания проститься со своими бывшими командирами и курсовыми офицерами, зато и у тех как будто нет такого намерения. Удивленный этим, Александров идет через весь плац и звонится на квартиру, занимаемую Дроздом, и спрашивает долговязого денщика, полуотворившего дверь:

– Можно ли видеть господина капитана?

– Никак нет, ваше благородие, – равнодушно отвечает тот, – только что выехали за город.

Александров пожимает плечами.

²⁸⁸ Прогонные деньги – выдавались на проезд по служебным делам в зависимости от чина.

Лиханов Альберт Анатольевич (род. 1935) – детский и юношеский писатель, президент Международной ассоциации детских фондов, председатель Российского детского фонда, директор Научно-исследовательского института детства. Его перу принадлежат такие произведения, как роман «Лабиринт», повести «Чистые камушки», «Обман», «Солнечное затмение» и другие. Тема становления подрастающего поколения является основной в его творчестве.

Альберт Лиханов

Обман

Часть первая

Оранжевый самолет

Глава 1

Оркестр заиграл туш, духовики из музыкального кружка весело раздували розовые щеки. Кто-то ткнул Сережку в бок, кто-то шлепнул по плечу – он покрылся испариной, только кончик носа почему-то мерз, – вскочил, отбросил со лба светлую челку и побежал к сцене.

Сережка бежал вдоль рядов, и на него все смотрели. И от музыки, играющей в честь его, и от аплодисментов, и от яркого сияния многоярусной люстры он как бы потерял себя, не чувствуя ни рук, ни ног, ни тела. Он словно летел туда, к сцене, и полет этот был бесконечным, медленным, тягучим...

Потом он оказался в слепящем свете рамп. Растерянно топтался на виду у всех. Со страхом, как в пропасть, смотрел в зал, шевелящийся и возбужденный. Оборачивался на президиум, в котором о чем-то шептались.

– Главный приз, – наконец сказал конопатый судья, – вручается Сергею Воробьеву, установившему абсолютный рекорд. Его модель самолета с бензиновым моторчиком, подхваченная воздушными потоками, пролетела сто девятнадцать километров! Приз и ценный подарок – именные часы вручает Герой Советского Союза, пилот первого класса Юрий Петрович Доронин.

Аплодисменты загрохотали, как канонада, высокий, толстоносый Доронин протянул Сереже широкую и грубую ладонь, сказал в шуме: «Поздравляю» – и начал давать ему одну за одной кучу грамот – за первое место среди юношей, среди взрослых, от комсомола, за абсолютный рекорд и еще, еще какие-то, и с каждой грамотой в зале нарастал добродушный смехок, а когда Герой положил прямо в блестящий кубок коробочку с часами, потому что руки у Сережи уже были заняты многими наградами, зал захохотал.

Доронин поднял руку, и стало тихо.

Так тихо, что Сережа слышал тоненький звон висюлек в многоярусной, похожей на пирожное люстре.

– Ребята! – сказал летчик. – Это знаменитый самолет! – Он поднял вверх оранжевую модель с перебитым крылом, Сережину победу, абсолютный рекорд. – Его нашли колхозники в лесу за много километров от старта. – Он повернулся к Сереже. – Мне сказали, что Сергей Воробьев мечтает стать летчиком. Я уверен, он станет им, потому что во всяком стремлении должны быть вера и воля. Сегодня мы празднуем первую Сережину победу. Придет время, и у него и у вас будут победы поважнее. Стремитесь же к ним!

Сережа бежал обратно, и снова грохали аплодисменты, отмечая самый радостный день в его жизни.

Глава 2

Голова немножко кружилась.

Слава! Фу ты, он ее и не ждал. И не готовился вовсе – она обрушилась, как шквал, как ураган, как ливень.

Впрочем, какая это слава? Случайность! Выигрыш по лотерее! Ведь любую модель могли подхватить эти невидимые, стремительные восходящие потоки, прилепить потом, как марку к открытке, к густому, кудреватому облаку с золотистыми краями! И привет горячий! Не страшно, что кончится горячее, что остановится мотор... В общем, просто выигрыш – слава бывает не такой, слава – это же когда ты сам, сам что-то делаешь... Вот если бы быть там, в модели, если бы управлять ею хотя бы с земли, по радио, тогда другой разговор. А тут... Крутанули колесо, развернули билетик – вам, гражданин, часы, и кубок, и стопка грамот.

– По-моему, ты уже зазнался, – говорит Галка Васина, Васька попросту, – уже рисуешься!

Она идет в метре от Сережи – он ее всю разглядеть может; черная коса на плече лежит, а когда Васька поворачивается, глаза ее – два черных выстрела.

– Слово самурая! – смеется Сережа. – Знаешь, на каждую модель мы наклеиваем табличку: при нахождении просим вернуть туда-то и туда-то, но, клянусь, никто не думает, что наклейка пригодится.

– А все-таки приклеиваете? – не верит она.

– По правилам так положено! – говорит Сережа.

Он разглядывает удивленно свой оранжевый самолет, отмочивший такой номер, и сам себе не верит.

Когда модель ушла под облако, как водится, стартовал спортивный самолет. Он должен был преследовать ее и преследовал, пока, делая какой-то маневр, не потерял из виду. Сережа жутко расстроился – ведь он выбыл из соревнований, но через неделю оранжевую модель привез шофер грузовушки. Он сказал, что модель ему дали в сельсовете, и назвал село. Сто девятнадцать километров!

И вот теперь Сережа нес свою птицу с переломанным крылом, разглядывал ее удивленно.

– Вот Доронин! – говорит Сережа восхищенно. – Это да! Человек! Вражеский самолет таранил.

– И все-таки у твоего Доронина, – спорит Васька, – славы меньше, чем у той же Дорониной²⁸⁹, у артистки. – Она улыбается. – Ты прямо смешной! Времена другие!

Другие, соглашается про себя Сережа. Ведь этот герой Доронин теперь на «кукурузнике»²⁹⁰ летает, на четырехкрылой этажерке. А когда-то немцев таранил! Но с Васькой он спорит:

– Допустим! Все, допустим, относительно! Но тогда нельзя так спорить! Ведь в ответ я скажу, что твою Доронину не сравнить с Гагариным.

– К старости, – Галины глаза рассматривают Сережу, – ты, наверное, станешь жутким сухарем, – она машет ладонью, – и уж, конечно, будешь технарем!

– Буду, – смеется Сережа, – для авиации гуманитарного образования маловато.

Он кивает Ваське и бежит к дому.

²⁸⁹ Доронина Татьяна Васильевна (род. 1933) – советская и российская актриса театра и кино, театральная режиссер. Художественный руководитель МХАТ им. М. Горького с 1987 года. Народная артистка СССР (1981).

²⁹⁰ «Кукурузник» – разговорное название советских самолетов сельскохозяйственной авиации: У-2, Ан-2.

Глава 3

Сережа вшагивает в комнату, и его сразу оглушает самодельная музыка:

– Труу-ру-ру-ру-ру! Ру-ру-ру-ру! Труу-руу-у-у-у!

Мама трубит в свернутый журнал. Олег Андреевич играет на расческе, тетя Нина стучит ложками по блюду.

Сережу слепит крахмальная скатерть, золотистая пробка на толстой бутылки.

– Итак, – говорит Олег Андреевич, – торжественный банкет считаю открытым!

Он в милицейском мундире, на погонах – майорские звезды.

Сережа кладет на пол свою замечательную модель, гости разглядывают грамоты, часы, кубок.

– За удачу, – говорит Олег Андреевич. – За чемпиона!

Пробка жахает в потолок, шампанское гибкой струей выливается из горлышка.

Сереже наливают тоже – самую капельку на дне. Сережа смакует сладкую шипящую водицу, похожую на компот, крутит завод у первых своих часов, надевает на руку, сверяет время у Олега Андреевича, радио включает – пора.

Все никак не может наудивляться Сережа этим чудесам.

Вот мама возле него сидит, с тетей Ниной разговаривает, улыбается, папироску размягчает, в пальцах вертит – и в эту же минуту по радио говорит. Про колхозы, как там хлеб сеют и кто впереди; про заводы, какие у кого дела; или рассказ какой-нибудь под музыку.

Сереже больше всего нравятся рассказы или стихи. Их мама читает как-то особенно. Неторопливо, плавно так. Словно артистка.

Лично он, Сережа, разницы между мамой и артисткой совершенно не видит. Артистка только на сцене выступает, а мама – по радио. Но чем диктор хуже артистки? Ничем. Вон летом, когда мама в отпуск уходит, вместо нее артистки разные работают. Подзарабатывают, мама говорит. Так у них в сто раз хуже получается. Про картошку, например, говорят и уж так декламируют, будто из самодеятельности только что выскочили. И голоса-то скрипучие, угловатые, немягкие какие-то.

То ли дело у мамы. Вот разговаривают они тут, дома, с тетей Ниной, и голос у нее хрипловатый, даже грубый. А по радио совсем иначе звучит. Красиво, сильно. Тетя Нина говорит – контрастно.

Тетя Нина вообще про маму хорошо говорит. Что она настоящий талант. Что ничем она не хуже московских дикторов. Что, живи бы мама в Москве, она бы там давно заслуженной артисткой стала. Дают же дикторам такие звания.

Мама на тетю Нину машет рукой.

– С такой-то харей! – говорит.

Мама вообще говорит грубо. Грубые словечки выбирает зачем-то. Это ей не идет, она совсем другая. Она, когда с Сережей одна остается, совсем другие слова выбирает. Добрые и ласковые.

– При чем тут лицо?! – возмущается тетя Нина. – Знаешь поговорку: по одежке встречают, по уму провожают?

– Какой у меня ум?! – не соглашается мама.

– У тебя поважней красоты и ума. У тебя талантливый голос. Такое на дороге не валяется.

Сережа вскакивает, тянется к динамику, вкручивает его на полную громкость. Мельком видит себя в зеркале, видит, как блестят, как светятся радостью глаза: он тетю Нину хочет поддержать, хочет показать, какая талантливая мама.

Он улыбается гостям и говорит:

– Давайте послушаем, мама читает.

Сереза ждет, что мама скажет что-нибудь грубо, как-нибудь нехорошо про себя пошутит, но она молчит, только недоверчиво ухмыляется. А по радио говорит про колхозников, про то, как они убирают картошку. Из-за маминого голоса выплывает музыка. Сначала гармошка играет тихо, потом громко и опять потише. В динамике что-то щелкает. Улыбаясь, Сереза смотрит на Олега Андреевича и на тетю Нину. Сейчас они будут хвалить маму. Но они молчат.

– А ты говоришь – талант! – смеется мама. – Все мы тут таланты. – И вдруг взрывается, вскакивает даже. – Да разве можно эту мазню талантливо прочитать? Что там сделаешь? Ну ответь, ты же понимаешь!

Мама кричит на тетю Нину, словно в чем-то ее обвиняет, а Сереза растерянно хлопает глазами – ведь он хотел как лучше.

– Но, Аня, – рассудительно отвечает тетя Нина, – ты знаешь лучше меня: талантливую вещь прочесть талантливому диктору легко – разве не правда? И ведь куда сложнее талантливо прочесть бездарную писанину! Халтуру какую-нибудь! Обязаловку!

Глава 4

Мама курит папиросу, думает о чем-то сосредоточенно, потом говорит:

– Ладно, выпьем!

Она разливает вино по рюмкам, поднимает свою, говорит Олегу Андреевичу:

– Можно, я тост скажу?

– Можно! – смеется Олег Андреевич.

– Тост у меня только свой будет, бабий, не обижайся, – говорит мама, – но он и вас, мужиков, касается, потому что куда мы без вас-то, одни...

Она молчит минутку, Сереза смотрит на маму с удивлением и улыбкой: что она скажет, интересно? Про себя? Про талант? Про тетю Нину?

– Ну так вот, – говорит мама, глядя на тетю Нину. – Выпить нам надо с тобой не за талант, не за красоту, не за ум. А за бабье счастье, понимаешь? За тебя, Нинка, потому что счастье это у тебя есть. И за меня, потому что у меня его нет... Но будет!

Сереза понимает, что мама немного опьянела, он принимается пристально глядеть на нее – чтобы она заметила его взгляд, чтобы поняла, сдержалась... Мама всегда его понимала без слов. Но теперь она не замечает Серезу.

– Ничего нам не надо, Нина, кроме дома, кроме мужа и детей.

В глазах у мамы блестят слезы, Сереза не выдерживает, подходит к ней, обнимает сзади за плечи.

Мама вздрагивает, смахивает слезы, берет Серезу за руку, притягивает к себе, заглядывает ему в глаза.

– Открою я тебе секрет, Сергунька, – говорит мама и просит вдруг: – Пойми, если сможешь.

– Ну что ты, мам, что ты, – бунчит Сереза, думая, что это из-за вина она прийти в себя не может.

– Не говорила долго, боялась сказать, да и еще не сказала, может быть, но вот Нина здесь, Олег Андреевич, не так страшно... – И вдруг словно ударила: – Замуж я выйду скоро, Сергунька.

– За кого? – спрашивает он машинально.

– За Никодима, – говорит мама и поправляется: – За Никодима Михайловича. Приезжает он.

– Закончил курсы? – спрашивает тетя Нина.

– Закончил, – говорит мама. – На днях приезжает.

Будто торопясь, Олег Андреевич наливает вино в рюмки, поднимает свою.

– Ну, так за вас, Анна Петровна, – говорит он.

– За тебя, Аннушка. – Тетя Нина вскакивает со стула, подходит к маме, обнимает ее, и обе они плачут.

Скрипит дверь, в щель сперва вкатывается голубой грузовичок, потом просовывается красная сандалия, а затем появляется весь Котька, тети Нинин сын.

– Папа, – говорит он Олегу Андреевичу без всяких предисловий, – а кораблям очень опасно северное море, там снайперы.

– Что, что? – смеется Олег Андреевич.

– Такие ледяные горы.

– Айсберги?

– Ну да, снайберги.

Все смеются.

Сережа улыбается тоже.

Потом берет чайник и выходит на кухню.

Из кухни дверь ведет на улицу.

На двери с тугой пружиной висит объявление, намертво приклеенное соседкой. Сережа знает его на память:

«Прозьба ко всем гражданам когда ходите двери задерживайте не хропайте а то у меня голова разламывается и мозги вылетят».

Он идет по двору, не замечая ничего вокруг, и в такт шагам повторяет про себя объявление – со всеми ошибками:

«Прозь-ба ко всем граж-да-нам... а то у ме-ня го-лова раз-ла-мы-ва-ет-ся... моз-ги вы-ле-тят».

Слова тупыми ударами отдаются в висках...

Глава 5

Когда не знаешь, куда идти, ноги сами тебя принесут.

Неподалеку от дома гастроном, а во дворе его высятся штабеля фанерных ящиков. Сережа приходил сюда однажды, искал материал для моделей: планки от ящиков очень ему подходили.

Ящики поставлены друг на друга в высокие стены, и кое-где между ними есть узкие коридоры. Взрослый не проберется, а мальчишка пройдет.

Сережка протискивается боком по коридору, отыскивает место пошире, усаживается неудобно на узенький край ящика. Откидывает голову, вверх смотрит.

Над щелью среди ящиков небо виднеется. Густая синева. По нему облака тянутся – легкие, как дымок. Перистые. По географии проходили.

Сережа глядит на небо, думает про облака. Но размышляет про облака будто и не он вовсе, а кто-то другой. Тоже Сережа, но другой Сережа. Настоящий же молчит. Настоящий словно замер и ни о чем думать не хочет, хотя думать надо, надо.

Один Сережа вверх глядит, в щель среди ящиков, на небо. Другой Сережа в землю взглядом уперся, и все в нем болит. Все частички его.

Никодим! Зря поправилась мама: не Никодим Михайлович он, Никодим просто. По отчеству ведь человека зовут, когда уважают его. А Никодима Сережа так и зовет – по имени только. Про себя, конечно. Но главное ведь, как про себя человека зовешь.

Может быть, зря Сережа к нему так относится. Может быть, он вовсе не плохой человек – Сережа его один раз только видел, разве скажешь что-нибудь серьезное о человеке с первого взгляда, да еще о взрослом. И может, неплохо отнесся бы к нему Сережа, если бы не мама.

Она после той встречи, после того раза, когда Никодим к ним в гости приходил и с Сережей познакомился, его фотокарточку в уголок зеркала вставила.

Тогда Сережа все понял. Тогда он сказал маме:

– Зачем нам этот Никодим?

Мама поглядела на Сережу виновато, подошла к нему, взяла за плечи, взглянула в глаза и ответила, как взрослому:

– Должен же у тебя быть отец!

– Ты что! – крикнул тогда Сережа оторопело. – С ума сошла! У меня есть отец!

Отец! Вот был бы он жив!

Отец Сереже часто снится. То в гермошлеме и высотном летчицком костюме с гофрированными рукавами, похожий на космонавта, – картинку, где нарисованы такие летчики, Сережа из «Огонька»²⁹¹ вырезал и над своей раскладушкой повесил. То просто за столом, в белой рубашке, улыбается во весь рот, как Чкалов. Такой портрет тоже над кроватью у Сережи есть. А то будто Юрий Гагарин – люди его на руках подбрасывают, и отец в летчицком кителе с майорскими погонами фуражку с кокардой одной рукой придерживает, чтобы не упала.

Отец улыбается, что-то говорит беззвучно или просто молчит, и Сережа заметил: если отец приснился, значит, ему повезет. В школе или в кружке. Или просто будет хорошее настроение.

Одно только странно – отец ему всегда разный снится. С разными лицами. Но и к этому Сережа привык. Он просто знает: если снится летчик, значит, это отец. И неважно, какое у него лицо. Это объясняется просто. Сережа своего отца никогда не видел. Отец его погиб, когда Сережа еще не родился.

Он был летчиком-испытателем. Они жили в маленьком городке тогда. В поселке даже. Поселок был от авиазавода. И отец обкатывал военные истребители.

Однажды он ушел на работу, поцеловал маму на прощанье, помахал ей рукой, как всегда. И мама, как всегда, села у окна смотреть на летающие самолеты. Ей казалось, что на всех самолетах летит отец. В тот день летали три самолета. Они были похожи на треугольники с маленькими хвостами. Летающая геометрия. Или что-то вроде морских скатов. Мама смотрела, как треугольники измеряют небо. Потом один из них пошел на снижение. Как-то очень резко пошел. И упал на землю. Мама говорила, что небо вдруг стало красным. Кровавым.

Она уехала, в чем была, не собрав даже чемодана, – села на станции в проходящий поезд. После поезда мама ехала на лошадях в бабушкину деревню, и едва добралась до порога, как родился он, Сережа.

Сережа родился раньше срока на целых два месяца, он должен был умереть вслед за отцом. Но мама и бабушка спасли его.

Сережу всегда смешил этот мамин рассказ. Как они спасали его. Забавно очень спасали. В русской печке. Подтапливали ее слегка и клали Сережу в нее. Так он в печке и жил два месяца.

А отца он не видел. И отец не видел его. Сережина жизнь началась после того, как кончилась жизнь отца.

Вот почему снился ему отец с разными лицами...

Сережа смотрит вверх. Он не раз замечал: солнце ушло за горизонт, на улице уже сумерки, а небо еще совсем дневное, и облака на нем горят дневным сиянием. Небо и облака темнеют позже земли.

Земля загородила собой солнце, но не навсегда.

Завтра придет утро, и снова станет светло.

²⁹¹ «Огонек» – популярный журнал,

Сережа вдыхает в себя прохладный воздух. Обида угасает, как вечер.
Он берет чайник и встает.

Надо идти. Домой, к маме. Он представил, как мама бежит по улице, спрашивая знакомых мальчишек, не видели ли они Сережу, и по спине между лопаток заструился холодок. Он представил себе ее курносое, почти безбровое лицо, будто выгоревшее на солнце, – представил, как округлились от испуга ее глаза. Если бы кто знал, как любила его мама. И как любил ее он. Вот без отца он живет – это возможно, хотя и горько, но без мамы представить себя нельзя. Без мамы он жить не мог бы!

Сережа бросается назад, по узкому проходу среди штабелей фанерных ящиков, и вдруг ощущает боль. Острый гвоздик, торчащий из ящика, рассек кожу на запястье, и боль вернула его к настоящему.

Никодим!

Никодим будто напомнил о себе этим гвоздиком.

Глава 6

Мама дома, моет посуду в тазу, наклонив слегка голову и прищурив один глаз, чтоб не щипал дым от папироски.

Когда Сережа входит, она глядит на него широко раскрытыми глазами, молчит, потом медленно произносит:

– Я думала, ты поймешь...

Сережа не отвечает.

Он раздевается, ложится на свою раскладушку у стены, лижет кровь из ранки, смотрит на карточку Никодима.

Бывают же такие лица – сказать нечего. Глазки маленькие, серые, волосы какие-то сивые, жидкие, зачесаны назад. Уши торчком – два лопуха. И чего только мама нашла в нем?!

Сережа отворачивается от зеркала, разглядывает вырезки на своей стене.

Летчики в высотных костюмах, Гагарин, Чкалов. Все вместе – для Сережи отец.

Обида распирает грудь. «Как же так? – думает он. – Всю жизнь мама говорила про отца, всю жизнь повторяет, как он погиб, и Сережа эту картину представляет теперь словно живую, словно это он там был, – и вдруг Никодим! Эх, мама!»

Сережа смотрит на картинки. Это же мама на него всегда влияла! Это же из-за нее он картинки эти на стену наклеил и твердо решил летчиком стать. Как отец. И в авиамодельный кружок тоже из-за мамы записался. Вот освоит он сперва там все премудрости, потом в школу планеристов пойдет, без отрыва от учебы, конечно, а там и на летчика выучится. После – в летное училище поступит. Или в авиационный институт. Тут еще подумать надо, потому что летать и без училища научиться можно, в школе ДОСААФ²⁹², а конструирование его очень увлекает.

Сидишь в кружке – тишина. Бамбуковую основу над спиртовкой гнешь или крылья тончайшей бумагой обклеиваешь. Запах казеинового клея совсем особенный, на другие непохожий: этот клей авиацией пахнет.

Сережа поглядывает на оранжевый самолет, который лежит на полу – изуродованный, но героический, усмехается, говорит ему про себя: «Ну, брат, не ожидал от тебя, не ожидал». А сам думает про новую модель, тоже с бензинкой, но другой конструкции – посложней. Он решил его с Робертом сделать – старостой кружка: одному будет трудно.

Хлопает дверь.

– Не спишь? – спрашивает мама, подсаживаясь к нему на раскладушку.

Он подвигается не отвечая. Мама тоже молчит. Смотрит на Сережу, о чем-то думает про себя сосредоточенно, потом поднимается, снимает с гвоздика гитару, садится опять.

Сережа разглядывает внимательно мамину кровать с блестящими шариками на спинке,

²⁹² ДОСААФ (Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту) – добровольное самоуправляемое общественно-государственное объединение, цель которого – с одействие укреплению обороноспособности страны и национальной безопасности.

обшарпанный шкаф, который протяжно скрипит, когда его открываешь, стол возле стенки – одна ножка хромеет, бумагу под нее скручивают, когда редкие гости приходят. А без гостей и так хорошо.

Бабушка, когда приезжала, ворчала на маму:

– У тебя все не как у людей!

– А как у людей? – поддразнивала ее мама.

– Чистота, порядок, уют! – шумела бабушка. – Квартиры получают, обстановку покупают. Ну да ладно, квартиры нет, так хоть бы эту-то комнатушку подкрасила, побелила. Живешь, как по течению плывешь. – Бабушка махала рукой, уходила в кухню.

– Это точно, – кивала мама, – как по течению...

Потом, после бабушкиного отъезда, бралась за тряпку, за веник, мыла, скребла, прибирала, приносила даже мелу, чтобы побелить потолок, кисть с длинной ручкой, но вдруг садилась на кровать, закуривала папироску, молча глядела перед собой, потом собирала все приготовленное для ремонта, отдавала соседям.

– Ты что, мам? – удивлялся Сережа. – Раздумала?

– Плевать на все, – говорила она, улыбаясь. – До потолка боюсь не дотянуться.

– Так давай маляров позовем! – удивлялся Сережа. – Тоже нашла причину.

– Позовем, позовем, – говорила мама. Но так никого и не звала.

Потолок в комнате был серый от папиросной копоти, и все оставалось по-прежнему у них: хоть и неудобно, но привычно...

Мама трогает тихонько струны, поет негромко:

Гори, гори, моя звезда...

Голос у нее глуховатый, но сильный. «Профессиональный», – говорит тетя Нина.

Звезда любви приветная...

Больше всего любит Сережа, когда мама поет. Не в компании – шумно и весело, а вот так, тихо, как для себя. А значит, и для него, Сережи...

Ты у меня одна заветная,
Другой не будет никогда.

Мама кладет руку на струны, спрашивает улыбаясь:

– А ты знаешь, кто эта звезда заветная?

Сережа мотает головой.

– Ты. – Он смеется. – Ты, ты, не смейся. Каждый, кто поет, думает про свою звезду, конечно. У каждого она есть. А я вот про тебя думаю.

– Почему не про папу?

Мама удивленно глядит на него, смущается отчего-то, потом твердо повторяет:

– Нет, про тебя.

– Ну а я тогда про тебя, – говорит Сережа. – Ты тоже моя звезда заветная. – Он садится в раскладушке.

– Ладно, ладно, – грустно говорит она, – пока заветная, и то хорошо. А вырастешь, будет у тебя другая звезда. Про меня и не вспомнишь.

– Эх ты! – возмущается Сережа, отстраняясь. – Так про меня подумала! Я же твой сын, как я про тебя забуду? – Он умолкает, вспомнив Никодима, и прибавляет обиженно: – Не то что ты!

Мама резко вскакивает, вешает гитару на гвоздик. Не поворачиваясь к Сереже, чиркает спичкой, сильно затягивается, говорит:

– Не беспокойся, я уже решила. Будет все, как было. И Никодим тут ни при чем.

Сережа приподнимается на раскладушке, молчит от растерянности, потом спрашивает жалобно, надеясь и не веря:

– Правда, мама?

Она оборачивается к Сереже, комкает пальцами папироску, подходит к зеркалу.

Сережа притихает. Мама смотрит не в зеркало, а на Никодима.

Потом берет карточку в руки, трогает ее, словно гладит Никодима, и вдруг рвет в мелкие клочки.

У Сережи перехватывает дыхание.

– Зачем? – удивляется он, приподнявшись на локте. Теперь-то Никодим не страшен ему. Нисколько. И может еще сто лет сидеть там, в углу зеркала.

– Да что уж тут, – отвечает мама, подходит к выключателю и щелкает им.

Сережа, приподнявшись, вглядывается в темноту, стараясь рассмотреть маму. В отраженном свете улицы он видит ее лицо, и ему кажется, что она лежит с открытыми глазами. Он зовет ее шепотом, но она не отвечает, и тогда Сережа решает, что это, верно, от усталости и от вина ее так скосило.

Глава 7

Та-та-та-та...

Та-та-та-та...

Сереже снится война. Будто он летит на своем оранжевом самолете и строчит по невидимому врагу. Трассирующие пули идут впереди самолета широким белым веером, вспарывают землю внизу, Сережа летит на бреющем, одно крыло чуть вниз, потом штурвал к себе, и оранжевый самолет круто взмывает вверх. Сережа видит, как оттуда, из-под облака с золотой каймой, падает на него черный крест – вражеский самолет.

Он нажимает гашетку.

Та-та-та-та...

Но трассирующий веер не рассыпается впереди него.

Та-та-та-та...

Значит, кончились патроны. Кто же тогда стреляет? Черный крест? Черный крест...

Сережа видит, как смертельный веер тянется к нему, словно белые длинные пальцы. К его заметному оранжевому самолету.

Сережа вскакивает. Ощущает, как капельки пота ползут по лбу. Фу, душно в комнате.

Он вздрагивает.

Та-та-та-та...

Черный крест опять строчит. Хотя нет, это стук. Кто-то стучится в дверь. На улице уже светает.

– Мама, – шепчет Сережа, – мама!

Она поднимает голову, говорит испуганно:

– Что случилось?

– Стучат.

– А-а, – говорит мама, позевывая и сразу успокаиваясь. – Ну открой.

После душного сна Сережа приходит в себя. Никакого креста нет, слава богу. Все нормально. Дом, мама. Он вздыхает и идет к двери...

Та-та-та-та...

– Сейчас, сейчас, – ворчит он, вовсе успокаиваясь, сбрасывает цепочку, вертит кругляш английского замка, распахивает дверь и отступает назад.

Сердце у него обрывается. Будто он снова уснул. Будто продолжается страшное видение, только теперь другое. Вторая серия.

В дверном проеме стоит Никодим.

Он улыбается, глядит приветливо на Сережу, потом шагает вперед, молча протягивает ему руку, и Сережа, как загипнотизированный, дает свою.

Сначала, пока никого не видно из-за открытой двери, мама удивленно моргает глазами, но, когда Никодим входит в комнату, она вскакивает, прикрывая себя одеялом, потом, отвернувшись, натягивает халат, поворачивается и смотрит на Никодима, растерянная и взлохмаченная.

А Никодим, ничего не замечая, подходит к столу, грохает на него тяжелую авоську,

рядом приставляет фибровый чемодан.

– Не ждали! – говорит он, усмехаясь. – Помните, картина такая есть. Кого-то из передвижников, кажется. Так и называется: «Не ждали»²⁹³.

Сережа помнит. В какой-то книге видел. Комната большая, не такая, как у них, и все в ней замерли, потому что на пороге стоит человек, коротко стриженный, усталый. Вернулся, наверное, из тюрьмы. Или с каторги. Революционер.

Там понятно, там революционер. А Никодим тут при чем? Ну да, не ждали... Вообще не ждали, правильно. Хотя почему же? Ждали. Даже приготовились.

Сережа видит, как трудно маме. Он вглядывается в ее лицо, и она чувствует его взгляд. Но не может решиться. Не может шагнуть к Никодиму и сказать ему сразу. Она оборачивается к зеркалу, торопливо причесывается, а Сережа стоит один на один с Никодимом.

Гость развязывает авоську. Старательно развязывает.

– Аня, – говорит он, не отрываясь от авоськи, – вы извините, что я так рано... Хотел было другим поездом, но не утерпел, взял билет на самый первый, приехал ночью, еле утра дождался – и бегом к вам... Так что извините, разбудил все же.

– Ничего, – глухо отзывается мама, не отворачиваясь от зеркала.

– Хотел попозже прийти, – говорит Никодим, – но думаю, Сережу надо застать, пока в школу не ушел, может, думаю, порадую... – Он зубами развязывает свой проклятый узел, но говорить не перестает. – Аня, – мычит, – а ты Сереже-то, м-м, черт, вот замотал... Ты Сереже-то все сказала?... Ничего... Надо же... Ничего не скрыла?

Мама молчит.

– Ну вот, – балабонит Никодим, – размотал все же. – Он хрустит бумагой, разворачивает сверток, оборачивается к Сереже, протягивает ему сперва ласты, потом трубку для ныряния, потом маску.

Сережа растерянно топчется на холодном полу, держит охапку подарков и чувствует себя одураченным. Не знает, как быть. С Никодимом он разделался еще вчера. Вечером, когда мама порвала его карточку. И вот он пришел. И дарит подарки. И заговаривает зубы. А мама причесывается у зеркала и молчит. И будто ничего не видит.

Не видит! Все она видит! Только трусит.

Сережа решается. Он больше не даст себя одурачить. Жалко, конечно, возвращать все это добро. Ласты вон какие зеленые, прекрасные, лягушачьи! И трубка! И маска! Но разве можно на это поддаваться? Он не карась какой-нибудь глупый. Он на красивые приманки не клюнет.

Сережа шагает вперед, складывает подарки на стол, говорит хриплым голосом:

– Спасибо, мне не надо. – И добавляет невпопад: – Мне в школу надо.

Никодим останавливается, смотрит внимательно на Сережу, но Сережа торопливо одевается и не глядит по сторонам. Только чувствует на себе тяжелый этот взгляд.

Никодим переступает с ноги на ногу, спрашивает маму:

– Что же, Аня, получается, а?... Или ты передумала?

– Передумала, – отвечает мама, все причесываясь.

– Да повернись ты! – вдруг командует Никодим.

Сережа возмущенно вскидывает голову, хочет сказать, чтобы потише он тут себя вел, не командовал, но видит, как покорно поворачивается от зеркала мама, как смотрит она на Никодима испуганными, округлившимися глазами, в которых дрожат слезы, и вдруг его озаряет: мама слушается Никодима! Значит!..

– Извини, Никодим! – говорит мама и что-то теребит в руках. Сережа видит, что она перебирает обрывки фотографии. Той, вчерашней. – Извини! – повторяет она. – Я не все учла... И я передумала.

– Но как же так? – разводит руками Никодим. – Мы же переписывались! Два года!.. Мы договорились!.. Я приезжал!..

Он восклицает, лицо его покраснело от натуги, уши топориком тоже порозовели, и Сереже становится жаль его.

Но жалость тут же исчезает.

²⁹³ «Не ждали» – картина русского художника Ильи Ефимовича Репина (1844–1930), написанная в 1884–1888 годах.

Никодим говорит маме:

– И вообще, Аня! Ты так настаивала, так хотела, чтобы мы жили вместе. В конце концов, ты знаешь, я иду против воли матери!

Сережа хлопает глазами. Он думает, мама сейчас взорвется. Прогонит Никодима прочь. Но мама жалко улыбается, говорит, нисколько не обижаясь:

– Да, да, Никодим, ты прав, все так и есть, но я не могу... Решила.

Никодим оборачивается к Сереже, подхватывает свой чемодан и шагает к двери.

Он больше не смотрит на маму. Он разглядывает Сережу. С интересом разглядывает, и Сережа замечает, что губы у Никодима вздрагивают, как от сильной обиды.

– А это? – говорит ему Сережа, показывая на подарки, но Никодим не слышит. Он останавливается в распахнутых дверях, пристально смотрит на Сережу и сипло произносит:

– За что ты меня ненавидишь?

Сережа чувствует, как сердце в груди начинает метаться зайчиком. Почему он так говорит? Разве Сережа его ненавидит? Вовсе нет... Совсем нет... Он не ненавидит его...

Сережа вскакивает. Он открывает рот, чтобы объяснить, чтобы как-то ответить этому чужому человеку, но вместо слов из него вырывается странный хрип.

Дверь захлопывается.

Никодимовы шаги грохочут по кухне. Взрывается дверь на сильной пружине, и у соседки, наверное, вылетают мозги.

Все стихает.

А Сережа стоит, открыв рот, захлебываясь от подкатившей к горлу обиды.

Глава 8

Май, а на улице дождь, нудный, будто осенью. Тучи над самыми крышами носятся рваные, клочковатые, злые. Тягостно на душе. И от погоды, и от утреннего разговора.

Сережа смотрит за окно, в плотный дождь, который стусевывает силуэты домов, и будто перед Никодимом оправдывается.

Что же, в самом деле он Никодима ненавидит?

Ну ненавидит, допустим. От обратного пойдём. Как в теореме. А за что он его любить должен? За то, что к ним прийти хочет?

Сережа раздумывает. Вспоминает маму.

Он тогда сразу за Никодимом выскочил. Схватил портфель и убежал. Мама у комода осталась. Глаза широко открыты. В пустоту смотрят. Глаза большие, а лицо постарело мгновенно...

Сережа судорожно оглянулся, приходя в себя, как бы возвращаясь в действительность. Класс. Зеленые стены. Учительница возле доски ходит. Вероника Макаровна, по прозвищу Литература.

Лет Веронике Макаровне много, но она всегда на высоких каблуках ходит. А ноги тонкие и, наверное, слабые, поэтому на каблуках она пошатывается. Как на коньках, если плохо катаешься. Чулки при высоких каблуках Литература носит простые, ученические, в резинку, но они всегда перекручены.

– Ну, кто ответит? – спрашивает Вероника Макаровна и подслеповато щурится: она близорукая, так что тем, кто на задних партах, может повезти – издали лиц не разглядит, а фамилию – кто там сидит – не сразу вспомнит. И вообще она странная. Вот и теперь остановилась у окна и словно забылась. Забыла, что у нее класс, что она спрашивать должна. Смотрит на улицу, где дождь ерошит лужи. Класс притих. Если вот так тихо сидеть, Вероника Макаровна может долго за окно глядеть. Минут пять. А то и больше. Наконец она оборачивается.

– Ну, кто ответит? – повторяет Вероника Макаровна. Сережа видит, как Понтя, сосед его, руку тянет.

Вероника Макаровна смотрит на Понтю, потом в журнале ручкой ставит напротив Понтиной фамилии точку и торжественно объявляет:

– Пантелеймон Карпов.

Имя, конечно, у Понти забавное. Пантелеймон! Да сейчас таких имен никому и не дают.

Но Понтя как раз этим гордится. Его так в честь деда называли. А дед у Понти – Герой Советского Союза. Генерал в отставке. Деда у Понти никто не видел, он в Москве живет, но карточку Карп приносил. Очень он на генерала своего похож.

– Отвечай! – говорит Понте Вероника Макаровна.

– В повести Пушкина «Капитанская дочка», – говорит Сережин сосед, – есть два типичных представителя своих обществ.

– Гринев – от «Динамо», Пугачев – от ЦСКА, – ворчит кто-то в классе, по партам прокатывается смешок.

Вероника Макаровна стучит ручкой по столу.

– Гринев – представитель дворянского общества, – декламирует Пантелеймон, – и, хотя он является врагом крестьян, он вынужден обратиться к Пугачеву за помощью по личным вопросам.

– Выбери выражения, – говорит Литература, – думай, как говоришь.

– Да я в том смысле, – горячо объясняет Понтя, – что ведь ему же никто, кроме Пугачева, не помог. Пугачев был добрый человек. Пугачев возглавил восстание крестьян против царизма. Зря он только себя за царя выдавал. Пушкин подчеркивает его обреченность, потому что в то время еще не назрела революционная ситуация.

– Когда назрела революционная ситуация? – спрашивает Вероника Макаровна.

– Седьмого ноября семнадцатого года, – отвечает ей кто-то с места.

– В начале, – поправляет она, – семнадцатого года. А когда происходили события, описываемые в «Капитанской дочке»?

– В восемнадцатом веке, – отвечает Понтя.

– Вот именно! – подтверждает Литература, поднимаясь со стула и давая Понте сигнал садиться. – События, описываемые в «Капитанской дочке», – говорит она, – относятся к тысяча семьсот семьдесят четвертому году и отражают события восстания крестьян под предводительством Емельяна Пугачева...

Вероника Макаровна говорит что-то про Пугачева и Гринева, а Сережа думает о Марии Ивановне, из-за которой и случились у Гринева все эти происшествия с Пугачевым, вспоминает сцену перед сражением: как стискивал Гринев рукоять шпаги, как горело его сердце, как воображал он себя рыцарем Марии Ивановны и желал защитить ее от врага.

Сережа растерянно оглядывает класс и видит Галину косу. «Вот с кем надо поговорить», – думает он а принимается внимательно смотреть на Галю. Она беспокойно начинает шевелиться, потом поворачивается, глядит вопросительно на него.

– Воробьев! – слышит он голос Литературы и поднимается, мучительно думая, что же спросила сейчас Вероника Макаровна. Но она говорит ему: – Ты чего такой рассеянный?

Сережа пожимает плечами, глядит внимательно на учительницу.

– Бывает, – говорит он виновато.

И Вероника Макаровна неожиданно кивает:

– Бывает.

В глазах ее Сережа видит растерянность.

Глава 9

Дождь встал глухой белой стеной – в двух шагах, словно лес, скрывает человека. Девчонки и ребята бросаются с крыльца как в омут и тут же пропадают. Краешком глаза Сережа следит за Васькой и мчит за ней, боясь отстать, потерять из виду. Длинноногую девчонку догнать непросто. Сережа хочет уже позвать ее, крикнуть, чтобы подождала, но неожиданно Галя ныряет в чужой подъезд. Сережа заскакивает следом.

– Тебе чего? – настороженно спрашивает запыхавшаяся Галя.

Он переступает с ноги на ногу, мнется, не знает, как начать, как вообще надо спросить про то, что нужно.

– Галь! – заикаясь, говорит Сережа и повторяет: – Галь! – Наконец бухает: – А у меня мама жениться хочет.

– Замуж выйти, а не жениться, – поправляет его Васька. И переспрашивает: – Хочет?

Васька смотрит на него внимательно, приблизив к Сережиному лицу свое лицо.

– Не знаю, что делать, – вздыхает Сережа.
– Он нехороший? – спрашивает Галя. – Пьяница?
– Нет, – растерянно отвечает Сережа. – Не пьяница. – Потом, разозлясь, объясняет: – На фиг он мне нужен: у меня отец есть.

Васька задумывается, отворачивается к дождю. Говорит неуверенно:

– Но ведь замуж не ты выходишь... Мама...

– А зачем ей замуж? – удивляется Сережа. Никак он не может этого в толк взять: действительно, зачем? Разве плохо жили они до сих пор? Разве скучно им было друг с другом? Ну разве же это неясно – придет третий, лишний, и никогда уж не будет Сереже так хорошо с мамой и маме с ним, потому что Никодим будет мешать. Что ему, про отметки рассказывать прикажете? Про авиамодельный кружок? Про то, что Сережа хочет на отца походить и будет, как он, летчиком?

– Ты странный человек, – говорит Галя, строго глядя на Сережу. – Зачем маме замуж? Для счастья. Разве не ясно? Ведь человек рожден для счастья, как птица для полета, слышал? Она еще не старая. У нее еще должен быть муж. Защита и опора.

– Рассуждаешь, как старуха, – недовольно бурчит Сережа, но что-то словно успокаивает его. – Защита и опора, – хмыкает он. – А я?

Галя улыбается.

– Ты, конечно, защита, – говорит она, – но не опора. Пока что, конечно. Вырастешь, будешь и опорой.

– Высоковольтной? – смеется Сережа.

На душе полегчало, будто и в самом деле Галя – старая старуха, которая все объясняет и успокаивает. Подъезд, куда они забежали, недалеко от Сережиного дома. От Васькиного еще ближе. Но он вдруг предлагает:

– Идем в кино!

В конце квартала – «Колизей». Сквозь дождевую дымку горят огни не вовремя сверкающей рекламы.

Васька кивает, и они мчатся. Бежать с Васькой приятно, Сережа сдерживает себя, чтобы не обгонять ее, чтобы она бежала чуток впереди, самую малость. Лужи хлопают под ботинками, расплескивая в стороны брызги. У Сережи есть рубль – им хватает на билеты и на кофе. И даже на два песочника. Он прихлебывает невкусный, но горячий кофе и снова вспоминает последние Васькины слова. И чем больше думает над их смыслом, тем ему хуже. Действительно. Замуж хочет мама, а решает он. Как глупо.

– И потом, – вдруг говорит Васька, – отца не вернешь, ведь правда? Что же делать?

Гаснет свет, на экране мельтешат кадры.

Сережа смотрит кино, но в голове его совсем другое.

Как все запутано, в самом деле... Как все горько.

Мама часто говорит: «В жизни все бывает не так, как в кино. Я сама убедилась». Когда говорят другие, этих слов не слышно. Пропускаешь мимо ушей. Но когда касается самого...

Сережа смотрит на Ваську, на грустную ее косичку, и она, не поворачиваясь, стучает его по руке:

– Смотри на экран.

– Смотрю, – покорно отвечает Сережа.

Глава 10

Дождь прошел.

Сережа стоит перед высоким серым зданием. Вверху, под крышей, блестят шагающие серебряные буквы: «Почта – телеграф». И часы в полстены.

Все в городе знают, где почта, но очень немногим известно, что здесь без всяких вывесок – и вход со двора – на верхнем этаже находится радиостудия – важный объект. Государственный. И его охраняют.

Сережа гордится: мама его как бы на важном заводе работает. Туда только по пропускам вход. Поэтому Сережа к вахтеру подходит, просит:

– Позовите, пожалуйста, Воробьеву.

– Анну Петровну? – спрашивает женщина с пистолетом. Сережа ей улыбается. Это тетя Дуся. Она на вахте, чтобы не скучно, любит вязать.

Сережа ждет маму, прогуливается вдоль здания и вдруг замечает, что возле лужи на корточках сидит тети Нинин Котька.

Сережа к нему подходит, говорит:

– Здорово, Котька.

– Сергуня наш привет, – отвечает важно Котька. Ничуть не удивляется его появлению.

– Сергуня, – спрашивает он без перехода, морща маленький, кнопочкой, нос, будто только и ждал, когда Сережа придет, – а тебе страшно?

– Чего страшно? – не понимает Сережа.

– Посмотри в лужу, – говорит Котька. – Видишь, какая глубина. Видишь, вон то большое дерево в этой луже умещается.

Сережа смотрит в лужу. Вот какой глазастый этот маленький Котька. Действительно, если взглянуть в лужу – глубина страшная. И дерево в ней, и кусочек почтамта, и даже тучи. Сережа закрывает глаза. Открывает их снова.

– Нет, не страшно! – отвечает Котьке.

– Это сейчас не страшно, – говорит Котька, – потому что ты большой. А когда ты маленький был, тебе тоже было страшно.

Сережа берет Котьку за ляжку коротких его штанов, поворачивает к себе. Котька доверчиво обнимает Сережу за шею, щекочет его за ухом. Сереже не хочется его огорчать.

– Страшно! – говорит он. – Еще как страшно. Мне и сейчас страшно бывает.

– А чего ты боишься? – спрашивает Котька, но ответить не дает. Лоб его сморщен. Он все время что-то соображает. – Я, например, боюсь тигров, леопардов и змей. Змеи шипят. Но я их не видел. Только в кино.

– А леопардов и тигров? – смеется Сережа.

– Тоже в кино, – ничуть не смущается Котька.

В Котьке накопилось много мыслей, ему их надо обсудить, и он без передышки говорит Сереже:

– Хочешь, научу, как надо сорок ловить? Берешь бумажку от шоколадной медальки, привязываешь к ней длинную нитку, бросаешь медальку под дерево, где сорока сидит, и начинаешь к себе тянуть. Сорока бумажку увидит, подлетит, а ты веревочку к себе тяни. Она подойдет, ты снова – к себе. Вот сорока за блестинкой совсем близко подойдет, тут ты иловишь.

Котька облегченно вздыхает. Он, наверное, боялся, что не успеет рассказать все подробности и Сережа уйдет. Но Сережа не ушел, и теперь можно вздохнуть. И даже вытереть под носом.

– Котька, – спрашивает Сережа, – а ты тут с кем?

Но Котька не успевает ответить.

– Сережа! – кричит от проходной тетя Нина. – Иди сюда! Я тебя проведу!

Наверху, где радиостудия, люди ходят тихо. Разговаривают вполголоса. На специальном табло, как у входа в рентгеновский кабинет, горят строгие красные буквы: «Тихо! Идет передача!»

Тетя Нина вводит Сережу в аппаратную. Тут стоят магнитофоны, огромные, вполроста. Это если взрослому. Сереже так до груди будет. Медленно вращаются огромные бобины с магнитной пленкой.

Вот интересно! Когда фотографируешься, все понятно. Фотопленка, светочувствительный слой, проявитель, фотобумага... В фотографии свет записывает твоё лицо – это ясно. Происходят химические изменения. А здесь? Пленка крутится с одной бобины на другую. И никак не изменяется. А записывает-то посложней изображения! Записывает звук!

Тетя Нина держит Сережу за плечо, чтобы не отходил, кивает на большое окно в стене.

За стеклом, как в аквариуме, сидит мама. Она шевелит губами – что-то говорит, но что – не слышно. И это выглядит очень забавно.

Сережа разглядывает мамин аквариум. В комнате, где она сидит, все стены обиты материей, чтобы не было резонанса. Перед мамой на гнутых ножках, будто склонившиеся цветы, штук пять микрофонов. Один, побольше, похожий на черный блин, свисает прямо с

потолка.

Мама читает старательно, изредка отрывается от бумаг, но в окно не смотрит – глядит на потолок или в сторону. Иногда она жестикулирует. Морщит лоб. Прикрывает глаза. Качает рукой в такт словам. Может быть, читает стихи.

Мама ведет себя так, будто совсем одна. А на нее глядят человек десять. Пристально смотрят. Другой бы не выдержал, смутился, но маме до людей по эту сторону окна дела нет. Она своим занята.

Мама кончила читать, откинулась на стул, устало бросила вниз руки.

У главного магнитофона стоит дядька – седой и лохматый. Волосы у него – будто дым из трубы валит, торчком стоят. Щетина на бороде. Но глаза веселые, так и бегают.

– Молодец, Анька! – кричит он маме, щелкнув чем-то.

И вдруг мамин голос, измененный динамиком, Сережу оглушает.

– Черта с два! – говорит мама грубо. – Переписываем!

– В последний раз, – испуганно кричит взлохмаченный дядька. – А то на тебя не угодишь.

Просидишь с тобой до ночи! И передача скоро!

– Не ори! – спокойно советует ему по радио мама.

Сережа думает, дядька рассердится, но он только смеется, нажимает кнопку в магнитофоне. Лента с маминым голосом несется назад, как курьерский поезд.

Глава 11

Лужи походят на осколки темных стекол. Огни, загоревшиеся в окнах, отражаются в воде желтым бисером. После дождя потеплело. Небо расчистилось от туч. Над крышами повис яркий лунный зрачок.

Они идут медленно, мама вдыхает воздух, в котором словно растворилась тополиная листва, и тихо повторяет:

– Как хорошо... Хорошо...

Тетя Нина так и не дождалась, когда мама освободится. Пожала Сереже плечо, сказала, что ей пора кормить Котьку, и убежала. Сережа стоял в аппаратной до конца. Сидел в коридоре, когда шла передача. Мама курила папиросы, сыпала пепел, вздыхала от вынужденного безделья, потом передача кончилась, и вот они уже подходят к дому, а Сережа все не знает, как начать. Как сказать маме про Никодима.

Просто так сказать: «Я согласен» – глупо. Нехорошо. Надо сказать так, чтобы мама поняла. Чтобы ее не обидеть.

Сережа весь вечер думает про людей. Про то, от чего счастье зависит.

Ему кажется: из всех его взрослых знакомых тетя Нина – самая счастливая. Отчего? Ну, во-первых, она красивая. Сережа даже в нее немножко влюблен. Он от этого с тетей Ниной долго говорить стесняется. Если один на один. При других, пожалуйста, потому что при других только с ним тетя Нина говорить не станет. Обязательно отвлечется. С ней ведь все поговорить хотят. Ниночка да Ниночка: всякий, кто мимо нее пройдет, – знакомый, конечно, – непременно остановится. Что-нибудь скажет. Или спросит. Тетя Нина не только красивая. Она обаятельная. Так мама говорит. Это правда. Если все к ней тянутся, значит, обаятельная.

Глаза у тети Нины всегда блестящие. А голос на мамин похож. Грудной.

Она, как и мама, стихи очень любит. Мама ее хвалит за стихи. А тетя Нина маму хвалит.

Мама ее обрывает, говорит:

– Кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку!

Они смеются обе. Действительно, что поделать? Они подруги, и не просто подруги, а товарищи по работе. У них одна профессия – дикторы. Только одна – радиодиктор, другая – теледиктор.

Но разница между ними все-таки есть.

Про эту разницу мама любит тете Нине рассказывать.

– Возраст – раз. Два – вывеска. – Это мама лицо вывеской называет. – Три – характер. А на трех китах, как известно, держится мир.

Характеры у них действительно разные. Мама курит много. А это не просто привычка. Иногда так закурится, задень ее, она как камень раскаленный. Плесни воды – взорвется.

Да что там говорить... Счастливая – несчастливая. Это же не только от удачи зависит, от выигрыша какого-то. Это ведь не лотерея.

Счастливым человек счастлив потому, что он такой, а не другой. Был бы другим, стал бы несчастливым. Была бы тетя Нина как мама, тоже, наверное, несчастливой оказалась.

Но тетя Нина красивая, веселая, легкая, добрая. Сережа задумывается. А мама, что же, не добрая? Еще какая добрая!

Сережа припоминает утренний разговор. Явление Никодима. И вчерашний.

Вон она какая добрая, мама. Решила, что Сереже с Никодимом хуже будет, и отказалась от того, что решила. Для него, Сережки.

Выходит, несчастным и от доброты тоже стать можно.

Сереже делается жалко маму. Он берет ее под руку, заглядывает ей в глаза.

– Ну что, Сергуня, – говорит мама, – вот и добрались мы домой.

– Добрались, мама, – отвечает Сережа. Сердце у него щемит от жалости. Он хочет сказать что-нибудь хорошее, выбрать какое-то необыкновенное слово – светлое и прозрачное, – чтобы маме сделалось хорошо, чтобы она не когда-нибудь, а вот теперь, тотчас, почувствовала себя счастливой, но придумать ничего не может.

– Мам! – говорит он грубо, как она, и хочет поправиться, сказать мягче. Но ничего у него не выходит. – Мама, – повторяет Сережа непослушным голосом. – Понимаешь, только не обижайся, пожалуйста, я хочу сказать тебе про Никодима. – Он молчит, потом поправляется: – ...Никодима Михайловича. – И опять молчит. – Я не против, – выговаривает он наконец, – пусть женится на тебе.

Мама останавливается, смотрит на Сережу испуганными глазами.

– Пусть он на тебе женится, – начинает торопиться Сережа, – пусть. В тесноте, да не в обиде, ты не беспокойся, мою раскладушку можно от окна отодвинуть к шкафу, тогда войдет еще одна кровать. – И кончает неожиданно. – Ведь папы нет...

Он говорит, захлебываясь от слов, и мама смотрит на него спокойнее, без испуга. Потом берет Сережу обеими руками за голову, притягивает к себе. Он тыкается носом в холодный, влажный плащ.

– Не думай об этом, Сергунька, – говорит мама. – Я ведь решила.

Он отшагивает от нее.

– Это ты из-за меня, – говорит он громко.

Мама молчит, качает головой.

– Да он теперь не придет, – говорит мама.

– Придет! – уверенно смеется Сережа. – Еще как придет! Бегом прибежит! Ведь к тебе же, к тебе!

– Глупенький, – улыбается мама, – не все так просто. Он не придет. И я к нему не пойду.

– Значит, я пойду, – не задумываясь, отвечает Сережа, и мама хмыкает. Он молчит и хмыкает тоже. Брякнул, называется. Он? Пойдет к Никодиму? И что скажет?

Глава 12

Утром по дороге в школу Сережа видит Веронику Макаровну. Узнать ее можно за сто верст.

Она идет не одна. С каким-то мужчиной. Литература о чем-то спорит с ним, но и мужчина не соглашается. Они размахивают руками и, похоже, ссорятся, потому что возле школы расстаются, даже не кивнув друг другу.

Сережа глядит, как Литература ковыляет, покачиваясь, на каблуках, будто на коньках, потом оборачивается на мужчину и обмирает.

Через дорогу, посматривая на машины, переходит Никодим.

Сережа мгновение стоит в нерешительности. Потом кидается вслед.

Догнать его очень просто. Десять секунд быстрого бега.

Сережа обгоняет Никодима и останавливается перед ним.

– Здравствуйте, Никодим Михайлович, – говорит он, переводя дыхание. Никодим останавливается. Удивленно разглядывает его.

– Ну, привет! – отвечает недоверчиво.

– Это я виноват, Никодим Михайлович, – говорит Сережа. Неожиданность помогает ему говорить решительно, не выбирая слов. – И вас я не ненавижу. Вы ошибаетесь. – Сережино наступление обескураживает Никодима. – Если я вас обидел, извините меня, – продолжает Сережа. – Вы должны к нам прийти.

– Никому ничего я не должен, – мрачно говорит Никодим, но тут же спрашивает: – Это ты сам? Или мама тебя послала?

– Эх, вы! – задыхается от возмущения Сережа. – Можно ведь догадаться, кажется! Если бы мама, я вас дома нашел. А я случайно вас увидел. С училкой нашей. С Литературой.

Никодим растерянно кивает, огибает Сережу, потом оборачивается:

– С Литературой, говоришь?

И вдруг смеется.

Сережа не понимает, чего он. Потом догадывается – ему смешно, что учительницу так зовут. Нет, не такой уж он, оказывается, противный, этот Никодим.

Вовсе не противный.

– С Литературой, – кивает Сережа и смеется тоже. – А вы с ней, оказывается, знакомые!

– Знакомые! – говорит Никодим.

Они стоят друг против друга и улыбаются – тревожно, недоверчиво, не зная, что будет дальше.

Часть вторая

Свадебное путешествие

Глава 1

Свадебное путешествие...

Никодим сказал:

– Едем в свадебное путешествие.

– Счастливого пути, – дрогнув, ответил Сережа.

– И ты с нами, – сказал Никодим.

Сережа посмотрел на него подозрительно.

– Куда? – спросил он.

– Секрет фирмы, – засмеялся Никодим.

– А когда?

– Когда кончишь учиться.

Сережа где-то читал, что раньше в свадебные путешествия ездили за границу. На каком-нибудь пароходе с парусами. На какие-нибудь Азорские острова. Вот житуха была! Качайся себе на волнах, разгуливай в белых штанах, кури сигару. Любишься морями и пальмами.

Ясно, что на Азорские острова они не поедут. Но куда? В Москву? Это было бы здорово! В Ленинград? Никогда Сережа в Ленинграде не бывал. Нигде он не был, кроме пионерского лагеря в тридцати километрах от города.

Но Москва и Ленинград и даже Азорские острова померкли, затуманились, когда Никодим открыл тайну.

Утром проснулся Сережа, а на столе три рюкзака: большой, поменьше и маленький. А у дверей – подумать только! – три велосипеда. Он даже не поверил вначале. Поморгал, глаза кулаками потер – нет, стоят. Поблескивают никелированными частями.

Сережа у мамы давно велик просит. Мама не покупает. Ей не жалко, она боится, что он под машину угодит. А тут три сразу! Да откуда?

Дверь открывается, входит Никодим с авоськой. В ней хлеб, сахар, чай.

– Последние подробности, – говорит он. И велит: – Вставай скорее!

Они быстро завтракают, выводят во двор своих коней, Никодим рассказывает, как весь вечер чистил в сарае от смазки купленный вчера велик для Сережи, как брал напрокат остальные.

И вот они едут, и Сережа думает, что все произошло словно по волшебству. Раз – и они в

свадебном путешествии. Едут втроем не в душном вагоне в незнакомый город, а по полевой дороге, среди зеленых колосьев и васильков в деревню к бабушке.

У Сережи дорожный ЗИЛ – он его пощупать даже как следует не успел. Ход мягкий, бесшумный. На бугорочках сиденье пружинит – не скрипнет! Шины по гладкой тропе шуршат, словно у новенького автомобиля: «Чш-ш-ш!» Тормоз действует безотказно. Только нажми на педаль, и велик как вкопанный на месте стоит.

Сережа разгоняет по дороге, тормозит, поворачивает, поднимаясь в рост, с силой давит на педали. Велосипед фурчит, мчится навстречу маме и Никодиму. Сережа тормозит опять, взрыхляя пыль, объезжает их аккуратно, слушает, о чем они говорят.

– Если гнать, – говорит Никодим, – то можно и за сутки доехать. Восемьдесят километров не так уж много. Но к чему? За три дня не спеша и доедем. Покупаемся где-нибудь. Позагораем. Цветов нарвем! Заночуем у костерка.

Мама согласно кивает Никодиму, Сережа смотрит на него с интересом.

«Как все-таки я не прав был, – думает. – На Никодима зверем глядел. Карточку его ненавидел».

Осторожно, чтобы Никодим не заметил, Сережа разглядывает его. Вглядывается.

Нет, на карточку свою он похож, конечно. Волосы сивые, гладко назад зачесаны. Вообще-то их можно светлыми назвать. Русыми. Но не чисто. С каким-то серым отливом. И уши торчат, тоже правда. Но, если рассудить спокойно, не такой уж это грех. У кого торчат, у кого, напротив, прижатые. Также нехорошо. А в общем-то для мужчины такие недостатки значения не имеют. Девчонке, женщине – да. Уши торчком – нехорошо. Но и то их, наверное, волосами можно прижать. Волосы подлиннее отрастить, на затылке узлом завязать – вот уши и прижмутся.

От Никодима Сережа к Ваське переходит почему-то. О ней думает. Хорошо, думает он, у Васьки вот уши не торчком. У нее вообще все как надо. Косичка сзади толстая. Глаза... Он вспоминает Васькины глаза. Как два выстрела...

Сережа смущенно хмыкает. Что это он о Ваське думает? Уж не того ли... Не влюбился?

Раньше бы за такую идею Сережа сам на себя разозлился. А сейчас, странно, ему даже приятно это слово повторять. Влюбился... Хм... Влюбился.

Ничего такого Сережа не чувствует. Никакой любви. Просто думает об этом, но как-то со стороны словно бы. Вон Понтя зимой влюблялся, так на уроках ничего не слышал. Всю промокашку сердечками со стрелой изрисовал. Сереже ничего такого рисовать не хочется. Но он смотрит на себя в велосипедное зеркальце. Разглядывает свой профиль. Не античный, конечно, но ничего. Нос у него, пожалуй, широковат. Мама раньше говорила, отцовский нос. Она его вообще на две части делила. «Нос, – говорила, – отцовский, а глаза мои. Ресницы тоже мои, я когда девчонкой была, они такие же пушистые были. Даже смотреть мешали». Сережа жмурит один глаз, другим на себя в зеркало смотрит. «Да, пожалуй, ему тоже ресницы мешают...»

Эта мысль ему уже на земле приходит. Как очутился внизу, не помнит. Загляделся в зеркало. Вот черт, локоть саднит.

Сережа смущенно поднимает свой ЗИЛ, оглядывает технику. К нему бежит мама, ее велосипед прямо на дороге лежит. Никодим отводит его в кювет, кладет рядом со своим, подходит к ним тоже.

– Как это тебя угораздило? – смеется он.

Сережа пожимает плечами. Не признаваться же, в самом деле, что в зеркало загляделся!

– Тебе шутки, – недовольно одергивает Никодима мама. – А у него кровь, видишь. Локоть разбил.

– Сейчас обеспечим, – говорит Никодим и приносит свой рюкзак.

Из фляжки он обмывает ссадину, смазывает ее йодом из дорожной аптечки. Сереже больно, он попискивает, но терпит. Перед мамой одной и пореветь еще можно было бы. А в глазах Никодима срамиться нельзя.

– Перебинтуем? – смеется Никодим, но Сережа качает головой. Опять ему нравится Никодим. Без маминых сентиментальностей. Раз-раз – и готово. По-солдатски.

Они едут дальше. Проселочная дорога пуста, и они катятся рядышком. Никодим и мама. А с краю Сережа.

– Со мной однажды случай был, – говорит Никодим. – В армии я служил, назначили меня в наряд. Зимой было дело. Стою я у склада, карабин на плече...

– Заряженный? – спрашивает Сережа.

– Конечно, заряженный, – отвечает Никодим. – Ведь на посту! Ну стою я, валенками притоптываю, чтобы не околеть. А погода как назло: ветер, снег лицо сечет. Ночь. Одна лампочка у входа болтается.

Хожу я, значит, как положено, вдоль склада. У двери чуть топчусь. А служить я только начинал еще. Устав хорошо помнил. Если опасность – три раза предупредить, а потом и огонь открывать можно. И вдруг гляжу – под колючую проволоку, которой склад обнесен, кто-то пролезть пытается. Я притаился, не дышу, вглядываюсь. Так и есть. Кто-то в черной одежде перебирается. Уже на этой стороне. Ну, я карабин с плеча, кричу, как положено: «Стой! Кто идет?» Не отвечает. Вроде притаился. Снова кричу, гляжу – полез. В третий раз окликаю – шевелится. Ну, я в воздух – шар-рах!

– Выстрелил? – ужасается Сережа.

– Выстрелил. Потом целюсь в нарушителя. Нажимаю спуск. И вдруг грохот. Взрыв! Видно, попал не то что в диверсанта, а прямо в его мину. Или что там еще он волок.

– Ну? – нетерпеливо торопит Сережа.

– Ну прибежало начальство. Стали разбираться. Оказывается, у проволоки баллон оставили. Со сжатым газом. А снег и ветер его в моих глазах шевелили. Оптический эффект. Казалось мне, что он шевелится.

Сережа хохочет, мама не отстает.

– Не смейтесь, – говорит Никодим, – надо мной без вас весь полк потешался. Кличку дали Бдительный.

Мама и Сережа покатываются над Никодимом. Над его незадачливостью. Никодим и сам беззаботно смеется. Это хорошо, думает Сережа. Мама ему говорила, что если человек над собой посмеиваться не боится, значит, он над другими смеяться не станет. Такому человеку можно смело доверять.

Никодим все больше симпатичен Сереже.

– А на войне вы были? – спрашивает он Никодима.

– У Никодима Михайловича имя-отчество есть, – строго глядит на Сережу мама.

– Вот пустяки! – обижается Никодим. И говорит серьезно: – Ты это, Аня, брось! Как Сереже захочется, так пусть и зовет.

Сережа нажимает педали, мчится вперед.

Ветер бьет ему в глаза. Он жмурится. И злится на маму. Что она, не может одна это сказать? Без Никодима?

– Сережа! – кричит сзади мама. – Подожди!

Сережа не тормозит, но и не крутит больше педали. Велосипед замедляет ход. Мама и Никодим догоняют Сережу.

– На войне я не был, – говорит ему Никодим, – хотя прорваться туда хотел. Даже сделал попытку. Мне, когда война началась, десять лет было... Но я об этом потом расскажу. Сейчас у меня предложение есть. Давай вот этот отрезок – до леса – наперегонки пройдем. Кто кого.

Сережа, улыбаясь, кивает.

– Но вы же не на равных, – говорит мама.

– А мы устроим гандикап²⁹⁴, – говорит Никодим. – То есть уравнием силы с помощью форы. Сережа, отъезжай вперед, к тому кусту... Вот теперь на равных.

Мама слезает с велосипеда, снимает с головы косынку.

– Приготовились! – кричит она. – Внимание! Марш!

Сережа привстает с седла, всем весом наваливается на педали – даже цепь трещит – и мчится вперед, к невидимому финишу.

Он не оборачивается. На соревнованиях не глядят назад.

Сережа летит вперед, нависая над рулем.

Ветер звенит в ушах. Запах сладкого клевера врывается в ноздри.

²⁹⁴ Гандикап – в спорте способ отражения лидерства на предыдущих этапах в более раннем выпуске на старт в последующих, синоним слова фора.

Сережа мчится к лесу, косо освещенному падающим солнцем, и слышит шепот шин, взбивающих пыль...

Глава 2

Сережа бросает в огонь еловые ветки, смотрит, как они дымят вначале, как валит от них густой седой дым – испаряются соки из хвои, – потом ветка вспыхивает, и хвоинки изгибаются алой, раскаленной стружкой. Звенящее комарье, как только ветки начинают дымиться, исчезает. Но потом появляется вновь, въедливо кружится за спиной, в тени, и Сережа опять бросает ветки.

Он слушает, о чем говорят мама и Никодим, а сам не может оторваться от костра, от огня, вглядывается в трепещущие его языки, и пламя кажется ему живым: оно прихотливо меняется – то опадая, то взлетая, и показывает Сереже странные чудеса – то красную, в прожилках, скрюченную руку, то косматый, ощерившийся лик, то крылья птицы. И все это мгновенно: секунда – и крылья исчезли, вместо них – рыжая борода.

Сережа замер, он рад бы повернуться к маме и Никодиму, но глаза его словно привязаны, словно утонули в огне.

– Мне, когда война началась, – говорит Никодим негромко, – было десять лет, а в сорок третьем я решил уйти на фронт. Насушил немного сухарей, упер у матери две свечи – на всякий случай, спичек взял, чаю. Рассовал по карманам, чтоб без мешка ехать, – для конспирации, влез как-то чудом в поезд, который на Москву шел. – Никодим выхватывает из огня тлеющий сучок, протягивает маме, чтобы прикурила, сам он некурящий. – Ну а правил тогдашних, – продолжает, – не знал. Доехал до Владимира, там проверка пропусков – в Москву по пропускам только въехать можно. Ну, меня прихватили. В изолятор. Вместе с жульем всяким.

– А мы в войну, – перебивает его мама, – в деревню из города перебрались. К родственникам. В городе совсем с голодухи помирали. Летом еще ничего, летом крапиву собирали, щи из нее варили, а зимой совсем голодно. Отец без вести пропал, у матери специальность – домохозяйка. Устроилась на завод грузчицей, а там железо таскать надо, надсела, совсем уже подышали, да хорошо, мать решила. В деревне хоть тяжело, но все же еды хватало. Даже на тряпки потом меняли...

– Ну а вы-то, – спрашивает Сережа Никодима и осекается. Ждет, что мама снова ему внушение сделает. Но мама молчит, а Сережа поправляется: – Как там дальше с ворами было?

– Никак. Доставили меня назад, – отвечает Никодим. – В тюремном вагоне, с решетками. Потом в милицию передали. Мать прибежала, не разбираясь, хлесть, хлесть меня по щекам. Думала, я с ворами связался, что-нибудь украл... Потом разобралась. Еще сильнее дома побила.

Сережа смеется. Не отрывая взгляда от огня, говорит Никодиму:

– Что она у вас такая драчунья! – И добавляет: – А кто она?

Спросил Сережа просто так, механически, без интереса, потому что смотрел загнипнотизированно в пламя, разглядывал огненные фигуры, и вовсе не обратил внимания, что Никодим замолчал и ответил лишь спустя минуту:

– Да так... Женщина...

Потом они пили чай, сваренный в котелке. Сверху в кружках плавали кусочки сторевших хвоинок, тонкие полоски пепла, и Сережа отдувал их к краю кружки, обжигался вкусной, ароматной жидкостью. Никогда в жизни не пил он такого вкусного чая!

Мама прилегла, голову Никодиму на колени примостила. Никодим ее волосы тихонечко гладит. Сережа на них поглядывает, улыбается. Он теперь не вздрагивает, когда Никодим прикасается к маме. Маме это нравится, тихая улыбка на ее лице бродит. Она о чем-то думает. Мечтает.

Никодим гладит маму по голове, играючи щекочет ей ухо травинкой. Мама, задумавшись, отряхивает с уха букашку, а она ее снова щекочет. Никодим подмигивает Сереже, он улыбается в ответ, мама ловит букашку, не догадывается, что ее разыгрывают. Они не выдерживают, оба фыркают.

Мама смеется, а Никодим начинает петь. Поет он нехорошо, неумело, сразу видно, что

медведь ему на ухо наступил, но мама подхватывает песню, и получается уже стройнее. Никодим под маму подстраивается.

Что стоишь, качаясь,
Тонкая рябина,
Головой склоняясь
До самого тына.

А через дорогу,
За рекой широкой,
Так же одиноко
Дуб стоит высокий.

Песня грустная, но Сереже вовсе не печально, ему хорошо, ему хочется прыгать, бежать куда-нибудь. Веселье его переполняет, и он подтягивает, вернее, выкрикивает смешливо:

Как бы мне, рябине!
К дубу! Перебраться!
Я б тогда не стала
Гнуться и качаться!

Мама грозит ему пальцем, Сережа умолкает, но веселье так и распирает его. Хочется ему взрослых развеселить, сказать какую-нибудь шутку. Он вспоминает: когда они Пушкина проходили, Понтя весь класс смешил. Мама и Никодим кончают петь, и он им шутку повторяет:

Там царь Кашей по рынку бродит
И спекуляцию наводит.
Он банки тама продает
И по полтиннику дерет...

Шутка, конечно, не для семиклассника – он все же в седьмой перешел, но ему дурить хочется, а взрослые его понимают: мама шутливо головой качает, Никодим улыбается. Сережа видит: они довольны, и вскакивает с земли. Кричит по-дикарски: ладонью к губам и быстро ею машет. Звук получается пронзительный, непривычный, и эхо подхватывает его.

– Ого-го! – кричит Сережа.
– Ого-го! – кричит мама.
– Ого-го! – кричит Никодим.

Эхо объединяет их крики, отвечает по очереди Сережиным, маминым, Никодимовым голосом:

– Ого-го-го!
Потом они спали. В стогу!

Никодим раскопал подножье стога, уложил туда маму и Сережу и присыпал их сверху. Комары сюда не добирались, но Сережа все равно долго не мог уснуть: сено бесконечно шуршало, тут шла какая-то своя жизнь, может быть, без букашек, без живых существ, но ведь жизнь может быть и у предметов неодушевленных. Жизнь могла быть и у скошенной травы, у этих миллионов и миллиардов пахучих, душно-приторных травинок.

Сквозь щелочки в сене Сережа разглядывал небо – громадное, бархатно-синее, со звездными россыпями. На небе, казалось, нет ни одного, даже крохотного, кусочка, где не было бы мельчайшей звезды, и он подумал, что в мире всегда есть сравнимые предметы. Вот, например, огромное небо можно сравнить с этим стогом, совсем, в сущности, небольшим. И все-таки в стогу, наверное, не меньше травинок, чем на небе звезд. Траву эту скосили с целого поля, а для муравьев, к примеру, которые ходят внизу, эта трава казалась бесконечным,

необозримым лесом. Сережа улыбнулся. Конечно, муравьи не смотрят на небо. Не видят миллиардов звездных россыпей. Они слишком малы, чтобы видеть высокое небо. К тому же по ночам они спят. Муравьи видят траву, ежи, может быть, – лес, а Сережа, как всякий человек, видит небо. У каждого существа свои измерения, свой мир. Они не думают про Никодима, про маму, они, может, и матерей-то своих не знают, не привыкли знать. Но ведь радуются же и они чему-нибудь. И огорчаться, наверное, умеют. И бояться. И страдать.

Сережа закрывает глаза. Травинки шуршат, пахнут чем-то необъяснимо легким и удивительным.

Сережа засыпает и, кажется, тут же просыпается.

Как быстро прошла ночь! Уже утро.

Перебивая друг друга, поют, трещат, заливаются неизвестные птицы в лесу. Над травой, рядом со стогом, кисеей тянется туман.

Мама уже встала и собирает с Никодимом цветы.

Сережа видит, как они наклоняются и будто ныряют в теплое молоко: наполовину исчезают за белой кисеей.

Солнце, похожее на медный блин, выбирается из-за тумана. Словно оно окунулось в него и теперь, умытое, выходит на работу.

Они едут дальше.

Спицы сливаются в серебристые круги.

Шесть сверкающих на солнце кругов катятся по дороге, взбивая легкую пыль, выбирают на большак, пропускают мимо себя урчащие самосвалы и стремительные легковушки, потом съезжают на тропку и неслышно серебрятся посреди ромашек, голубых колокольчиков, шелестящих пик иван-чая.

«Что такое счастье? – думает Сережа и сам себе отвечает: – Счастье – это как сейчас!»

Глава 3

Бабушка их не ждет.

Когда три велосипедиста подъезжают к ее дому, она копается в огороде и долго издали не понимает, кто приехал. Не может себе поверить.

Потом подходит, взглядываясь, осторожно подает ладошку Никодиму, маме, Сереже. Уже тогда говорит испуганно:

– Господи!

Бабушка отходит медленно, постепенно понимает, что произошло, и чем лучше понимает, тем чаще повторяет:

– Господи! Господи!

Сережа смеется. И над бабушкой. И над Котькой. Тот однажды с тетей Ниной к ним в гости пришел и во дворе гулял. Сережа его проведать вышел, смотрит, Котька с девчонками стоит.

Одна лопочет:

– Господи, господи!

Вторая спрашивает ее:

– Что это?

– Это тетя такая, – отвечает первая.

– Эх вы, – важно объясняет Котька, – это говорят, когда гостей не ждут, а они пришли.

Сережа тогда расхохотался. И сейчас смеется. Прав был, оказывается, маленький Котька.

Бабушка ведет их в избу, тут же выводит обратно, крутит колодезную ручку, достает, расплескивая, воду в ведре, подает умываться.

Никодим скинул рубашку, голый до пояса, – смеется, крикает зычно, по-своему: «Хо! Хо! Хо!» Сережа ему подражает – вода ледяная, и он орет, дурачится, растирается длинным полотенцем с красными петухами по краям.

Замечательно все-таки кругом!

И бабушка совсем не злая. Улыбается – пришла в себя! – толстые губы растягивает, показывает ровные, будто у девушки, зубы, и морщинки по ее лицу плывут-расплываются.

Они сидят за длинным деревянным столом, потемневшим от времени, пьют холодное

молоко, заедают медом и большими ломтями хлеба, похожими на кирпичи. Потом отдыхают.

– Это так, в перекусу, – говорит бабушка, волнуясь, и Сереже кажется, что ей вовсе не об этом хочется сказать. – Это так, с дорожки, – разъясняет она. – Сейчас курицу зарежу, будем обедать.

Мама, улыбаясь, гладит ей руку, говорит:

– Никодим – мой муж. Вот мы к тебе показаться приехали.

Бабушка кивает головой, хочет улыбнуться, но отчего-то плачет, подходит к Никодиму, тянется к нему – тот к ней наклоняется, целует ее.

– Здравствуй, зятюшко, – говорит она, – здравствуй, золотой!

Мама отворачивается, хлюпает носом, закуривает, смеется.

– Ну что? – спрашивает. – Довольна? Дождалась?

– Дождалась! – говорит бабушка и при Никодиме маму спрашивает: – А он какой? Не пьет? Не блудничает?

Мама смеется, качает головой, бабушка строгость меняет на улыбку и крестит издали Никодима.

Днем они едят наваристый куриный суп, соленые грибы, огурчики, капусту. В большом чугушке парит свежая картошка.

После обеда мама гладит платье, Никодиму брюки, Сереже рубаху, и вчетвером, вместе с бабушкой, все идут вдоль деревни.

На лавочках, на бревнышках возле своих домов люди сидят. Семечки щелкают, транзисторы слушают. На бабушку с гостями глядят.

Одни просто кланяются. Другие встают, подходят за ручку подержаться. Сперва с Никодимом, потом с мамой и с Сережей. С бабушкой за ручку здороваться необязательно – она своя, тутошняя, а гости всем интересны. Сережа заметил: лица у деревенских как бы бронзовые. Загорелые. Только морщинки на лбах, когда люди смеются, распрямляются и белеют.

Сережа себя на этой прогулке неловко чувствует. Словно зверь в зоопарке. Все на него смотрят. Разглядывают. Маму и Никодима разглядывают больше, и Сережа видит – им тоже неловко, но терпят.

– Э-э! – подходит лысый, но с косматыми бровями старик. – Анька голоногая приехала.

– Она самая, – отвечает мама, деда обнимает, а Никодиму объясняет: – Меня голоногой прозвали за то, что, бывало, без чулок зимой в школу бегала. Нечего надеть.

– Вот-вот, – говорит старик. – Бедовали крепко. Теперь, гляжу, оправились. Вон Евгения-то распухла, – кивает он на толстую бабушку. – Эх, кадушка!

Бабушка старика шутя кулачком по лысине колотит, толкает, сама же смеется.

– Это он, старый лешак, забыть мне не может, что за него не пошла, вдовой осталась!

– Ага! – кивает старик. – А теперь пойдешь?

Все смеются.

– Идем! – шутит бабушка, берет старика под ручку, и они впереди шагают. Старик балагурит, берег у мамы папироску, курит. Колечки пускать пытается.

– А ты кто же по специальности-то будешь? – допытывается дед у Никодима.

– Экономист, – отвечает тот.

– Экономист! Хо! Бухгалтер, што ли?

– Нет, – смеется Никодим, – похоже, но не то. Как бы вам объяснить... Главное, что ли...

– Главное! – понимает старик. – Начальник, значит.

– Не поняли вы меня, – опять смеется Никодим, – дело это как бы главнее бухгалтерского. Сложнее.

– Экономию, наводишь? – уточняет дед.

– Вроде того! – кивает Никодим.

– Ну с этим ясно, – волнуется дед. – А вот что про Америку слышать? Войны не предвидится?

Дед, как репейник, приставучий. Все ему что-то от Никодима надо. Проводил их до конца деревни. Обратно вернулся.

А деревня Сереже понравилась. Тополями заросла. На плетнях глиняные горшки сушатся. Подсолнухи из огородов головами машут.

Когда домой возвращались, колесный трактор навстречу попался. Тракторист, весь черный от копоти, возле них затормозил, кепку снял.

– Ань! – говорит бабушка. – Не узнаешь? Двоюродный брательник.

Мама охнула, трактористу руку подала, рассмеялась, на ладошку поглядев: вся черная.

– Валь! – кричит трактористу. – Приходи с гармошкой!

Под вечер полная изба народу собралась.

Валентин с гармошкой пришел, наяривает. Бабушка с тем стариком пляшет, половицы трещат. Табачный дым не успевает в окошко вылазить. Мама частушки поет:

Я не знаю, как сказать,
Чтоб судьбу с твоей связать.
Чтобы путать – не распутать,
Чтобы рвать – не разорвать.

Гармонист на минуту остановится, рюмку опрокинет, пот со лба вытрет да снова играет.

Сережа и не думал, что у него столько родственников. Двоюродные тетки и дядя. Дети их. Троюродные Сережины братья и сестры, значит.

Один родственник Сереже приглянулся. Парень постарше его. Стриженный под нулевку. На лавочке скромно сидит, скользкий огурец вилкой в тарелке поймать не может.

Надоело родственнику огурец ловить, встал, тихонечко вышел во двор. Сережа подождал для приличия, тоже вышел.

Стриженный парень столбик у крыльца подпирал. Сережу увидел, не удивился. Сунул руку в карман, протянул сигареты.

– Не-е! – испугался Сережа и оправдываться стал: – У меня мать смолит ужас как. Я поэтому табака не выношу.

Парень кивнул, солидно объяснил:

– Меня Колькой звать. – И спросил без перехода: – Ваша техника?

Велосипеды посверкивали в глубине двора.

– Наша, – ответил Сережа.

– Сразу три велика? – удивился Колька.

– Сразу три, – подтвердил Сережа, не вдаваясь в подробности. Предложил: – Хочешь попробовать?

Стриженный Колька закатал правую штанину, вывел Сережин велосипед на улицу, сел как следует, повиляв, едва не навернулся, но все-таки поехал и скрылся в темноте. Вернулся он не скоро, минут через десять, и по тому, как торопливо слез, а потом стал многословно нахваливать велосипед, Сережа понял: все-таки навернулся.

«Ну и пусть, – подумал Сережа, – не жалко, все же родственник».

Родственник поставил велосипед в ограду, вышел на улицу, потоптался немного и вдруг сказал:

– Хочешь на тракторе прокатиться?

– А ты умеешь? – не поверил Сережа.

– Айда, – ответил Колька и, не оглядываясь, побежал.

Трактор оказался тот самый, колесный, на котором ехал Валентин, и тут выяснилось, что Колька – сын Валентина, а трактор водить научился в школе, у них есть уроки механизации, да и отец недаром тракторист.

Колька уселся на сиденье, пристроил рядом Сережу, включил фары. Трактор затарахтел, застрелял, рванулся с места.

– А вдруг отец услышит? – крикнул, тревожась, Сережа.

– Не, – мотнул головой Колька, – он на гармошке себе все звуки заглушает.

Трактор вырвался за околицу, помчался по пыльной, мягкой дороге.

– Как легковушка шпарит! – крикнул, щурясь, Колька. И вдруг свистнул – протяжно, по-ухарски. Сережа засмеялся, приставил ко рту два пальца. Теперь они свистели вдвоем, и звук, смешанный с тракторным треском, получился ужасный.

Похожий на вой доисторического животного.

– Колька! – крикнул Сережа симпатичному родственнику. – Давай в город приезжай!

– Я был! – ответил Колька.

– Нет, ко мне приезжай. Я тебе все покажу! В киношки ходим! В зоопарк!

– Договорились! – крикнул Колька и повернулся к Сереже. Стриженная голова его в отраженном свете фар походила на круглого ежика.

Сережа рассмеялся. Ему захотелось сделать что-нибудь хорошее этому Кольке. Что-нибудь подарить, к примеру, щедро. Какое-нибудь сказать словечко, чтобы Колька понял его расположение, сердечность и дружбу.

Все ему нравилось в этот миг: и добрый родственник, который так лихо водит трактор, и пыльная дорога впереди, и мелькающие сбоку березы.

– Ну так приедешь? – воскликнул Сережа.

– Железно! – ответил Колька.

Как приятно, думал Сережа, узнавать новых людей. Вот вчера еще не знал он Кольку, даже не подозревал, что у него родственник есть. А сегодня у него прибавился еще один друг.

– По рукам? – крикнул, веселясь, Сережа.

– По рукам! – ответил Колька. И, повернувшись, протянул Сереже свою ладошку.

Пожать ее Сережа не успел.

Раздался треск, и он как бы очутился во сне: под ним не было земли, он летел куда-то.

Глава 4

Теперь Сережа – «самолет».

Левая рука торчит на отлете. От нее к плечам тянутся металлические мачты, обтянутые марлей. Рука гипсом укутана. Посмотришь со стороны – в самом деле одно крыло.

В палате, где он лежит, два «самолета» – он и молодой парень, «пушкарь» – серый дядька с мешками у глаз. Он сломал ногу и лежит на деревянной доске, а нога, как пушка, торчит вверх, прицепленная через колесики к тяжелому противовесу. Есть «рыцарь». Шутейный мужик, балагур, дядя Ваня. «Рыцарем» он стал потому, что сел на подоконник, спиной к улице, покачнулся, вылетел вниз с третьего этажа. Ладно, повезло, упал на клумбу – сломал только шею. Теперь лежит, закованный в броню от затылка до пояса.

Невеселая компания, что и говорить.

Времени много, а девать его некуда. Придет врач с утра, постучит по гипсам, похмыкает, уйдет, ничего не сказав, а что тут скажешь, теперь время нужно, пока переломанные кости под гипсом в покое срастутся.

Сережа читает «Графа Монте-Кристо»²⁹⁵, толстенный том – мама достала. Кино он смотрел, но книги вот не читал, а в ней, оказывается, поинтереснее. Потом товарищам своим новым пересказывает. Они внимательно слушают. Довольны, что Сережа время убить помогает. «Укокошить», – балагур говорит.

Он слово берет, когда всем все надоест и уж невоготу станет. Когда уж и «Граф Монте-Кристо» не помогает.

– Кхе, кхе, – начинает, – однако, вот выпишусь, в космонавты пойду. А что? – сам себе удивляется. – Там мягкая посадка, а я и твердую испытал, возьмут...

²⁹⁵ «Граф Монте-Кристо» – приключенческий роман Александра Дюма, классика французской литературы, написанный в 1844–45 годах.

От тоски да скуки больным любая шутка мила. Самая малая.

– Хотя нет, – говорит дядя Ваня. – Надо еще себя испытать. Этажа с десятого бы жажнуть.

– Ты хоть испугаться-то успел? – спрашивает его «пушкарь».

– Зачем пугаться? – отвечает «рыцарь». – Я, может, к этому прыжку всю жизнь готовился.

Сережа покатывается.

У дяди Вани трое пацанов. И жена – худенькая, замотанная. Они приходят в конце дня: жена с работы забегает в магазин, потом за ребятами, и все вместе они приходят к отцу. Жена перед ним отчитывается долго, подробно: чего купила, куда ходила, кто из соседей чего сказал, как ведут себя дети – каждый в отдельности. Дядя Ваня делается серьезным, все строго слушает, потом внушительно разговаривает с пацанами – наказывает, кто как вести себя должен, но под конец не удерживается.

– А то брякнетесь, – говорит, – как ваш папка, с третьего этажа. Да коли не на клумбу!

Сережа прыскает, жена балагура уходит, рассерженная, но на другой день они снова все вместе являются с тощенькими гостинцами: яблоком или банкой компота.

Дядя Ваня работает на асфальтовом катке, делает дороги. Каток все-таки напоминает трактор, и Сережа рассказывает ему, как катался он ночью с дальним родственником, стриженным Колькой, как врезались в березу и Сережа пролетел вперед метров на семь, пока не приземлился, потеряв память.

– Тоже, значит, летун, – роднит его с собой дядя Ваня. А про память объясняет коротко: – Замыкание! У меня тоже было.

Серый «пушкарь» хоть и смеется дяди Ваниным шуткам, но осуждает его, когда тот из палаты по нужде выйдет.

– Балабол! – говорит он.

– Откуда вы знаете? – возмущается Сережа.

– Хе, – машет рукой унылый «пушкарь», – да по специальности видать! На катках бабы работают.

Это Сережу не убеждает. Ему дядя Ваня нравится. Если бы не он, совсем они тут посохли.

Два раза в день – утром и вечером – к Сереже приходит мама. И оттого, что видит он ее с перерывами, а не подряд, изменения в маме Сереже лучше заметны.

Главное изменение в том, что она красивее стала. Лицо глаже – чуточку пополнела. Платья у мамы новые появились – цветастые, яркие, они ей идут, молодят. Туфли на высоких каблуках носит – выше ростом стала, приподнялась. А главное – улыбается все время.

– Ох ты, горюшко мое, – говорит Сереже, а сама улыбается. Видно, что горюшка нет, хоть он и в больнице оказался.

Тогда, после тракторной катастрофы, Сережу в районную больницу повезли. На большаке машину остановили и помчались. Пока до райцентра ехали, мама у шофера узнала, что он в город едет. Ну, вместо райцентра его сразу сюда доставили.

Так что быстро свадебное путешествие закончилось. И велосипеды у бабушки остались. Но не это Сережу волнует. Интересно, как у Кольки дела? Он маму спрашивал, она ответила уклончиво – ничего. Трактор не сильно побился, только большая вмятина в радиаторе и фары – вдребезги.

– Попало ему? – спрашивает Сережа. Мама плечами пожимает, улыбается неопределенно.

– Наверное, – говорит, – немножко...

Сереже жаль Кольку. Он же знает – тот его катал от чистого сердца, в

благодарность за велосипед.

Сережа просит, чтобы мама принесла листок бумаги, ручку, она приносит, и он пишет письмо:

«Колька, не унывай, я поправлюсь, ничего особенного, просто перелом, только чешется шкура под гипсом, но уговор дорожке денег, приезжай в город, как обещал. Привет!»

Мама придерживает листок, чтобы удобнее писать, потом читает послание.

– Ты не забыл? Ведь завтра день рождения! – спрашивает она.

В середине июля у Сережи день рождения. В этот раз – четырнадцать лет. Но ведь как не повезло с рукой! День рождения – в больнице.

– Может, выпустят? – жалобно говорит Сережа. Ему хочется, чтобы день рождения дома был, чтобы позвать Понтю, Роберта из кружка. Может, позвать Ваську.

– Не унывай, – отвечает мама и снова смеется. – Что-нибудь придумаем.

Вечером Сережа засыпает не сразу. Долго возится на правом боку. Надоело ему на правом боку спать, до смерти хочется левую руку на затылок забросить, повернуться. Но левая рука вверх торчит.

Сережа ерзает, пытит, искомкал простыню. Наконец притихает. Думает: что же завтра мама изобретет?

Но мама ничего не изобретает. Ее просто нет.

Всегда два раза в день – утром и вечером – приходит, а сегодня, в такой день, ее нет.

Сережа ест утреннюю больничную кашу, и обида хмурит его лицо. Ему тоскливо, тяжело, не хочется никого видеть, даже балагура дядю Ваню.

А тот, как назло, старается. Мелет какую-то ерунду. «Пушкарь» и второй «самолет» ржут. Дядя Ваня умолкает, подходит к Сереже, садится рядом. Молчит. Протягивает яблоко.

Сережа смотрит на дядю Ваню, на «рыцаря» в гипсовой броне, разглядывает его внимательно, словно видит в первый раз, потом говорит негромко:

– Спасибо, дядя Ваня.

Тот хмурится. Черные брови съезжаются на переносице, соединяются в одну черную полосу.

– Между прочим, я тебя за умного мужика считал, – говорит. – А ты скис. Думаешь, мама тебя забыла? Дурак! Она потому и не идет, что помнит. Вот увидишь.

Настроение у Сережи поднимается. Он не отрывает взгляда от двери. Конечно! Что за сомнения! Мама придет, и не одна – с Никодимом, он просто уверен в этом.

Когда терпение начинает иссякать, дверь действительно открывается. На пороге стоит Понтя во взрослом халате. Халат полощется по полу, рукава на Понте, как на пугале, свисают вниз.

Понтя делает шаг в палату, и на пороге возникает Васька.

Сережа приподнимается, пораженный и смущенный.

Он чувствует, как начинают гореть щеки. Галя изменилась, пока он ее не видел. Глаза, кажется, стали еще больше и вообще... Какая-то совсем взрослая. Ее теперь и Васькой-то не назовешь.

Сережа смотрит на Галю, но та тоже делает шаг вперед и уступает место Никодиму. Сережа приветливо машет ему здоровой рукой, ждет, когда появится теперь мама, но вместо мамы в палату входит Котька, за ним тетя Нина и Олег Андреевич в своей форме. Вот это да: столько гостей сразу! Сережа теряется, ему нужна помощь, и помощь приходит. Это мама. Она стоит на пороге нарядная, с новой прической,

ароматная, благоухающая.

Все поздравляют Сережу, жмут ему руку, балагур и второй «самолет» норовят выйти, смущенные таким обилием гостей, но мама их не выпускает, они сдвигают табуретки, застилают газетами, потом чистой скатертью – мама принесла ее с собой, и из авосек выгружается еда. Жареная курица, помидоры, огурцы, большая миска со смородиной, пышный узорчатый торт.

– По всем правилам! – кричит Понтя, втыкает в торт четырнадцать тонких свечек, какие на новогодних елках бывают, и зажигает их.

Все замолкают на мгновение. И вдруг Сережа видит, что Котька сложил ладоши лодочкой, прикрыл глаза и шевелит губами. Он хочет засмеяться, но тетя Нина перегоняет его.

– Ты что, Константин? – спрашивает Котьку строго.

– Я, мама, молюсь, – отвечает Котька серьезно.

– Как молишься? – удивляется Олег Андреевич.

– Вот так! – говорит Котька. – О бог, святыня браголодная, сделай так, чтобы Сережа скорее поправился.

Балагур дядя Ваня даже подпрыгивает на кровати.

– Ой! – кричит он. – Помогите! Не могу!

Все хохочут, покатываясь, утирая слезы, а Понтя даже икая.

Открывается дверь, и заглядывает нянечка. Смотрит, что все смеются, моргает глазами и, не зная, что к чему, сама смеется.

Глава 5

Через неделю после дня рождения выписали второго «самолета», а дяде Ване сделали новую операцию. Что-то у него не так рассталось.

– Это надо же, – говорит он, покрываясь липким потом, серея, но все-таки улыбаясь. – Второй раз шею сломали и снова составили.

От боли он курит, пуская дым под одеяло, кривит губы.

Тогда, в день рождения, когда ушли гости, дядя Ваня спросил Сережу:

– Который отец-то? Милиционер?

– Нет, другой, – ответил он автоматически и осекся.

Выходит, назвал Никодима отцом?

Сережа задумался. Выходит...

Ему стало грустно. Как он быстро от отца отказался... Давно ли Никодим к ним пришел? Третий месяц... Три месяца назад Сережа его ненавидел, а теперь относится хорошо, привык. Может, даже любит?

Сережа думает о Никодиме, вспоминает про свадебное путешествие, как они в стогу ночевали, как на заре Никодим собирал с мамой цветы, а еще прежде, у костра, гладил ее голову, щекотал ухо травинкой.

Раз мама любит Никодима, значит, и он любит ее. Выходит, так? И выходит еще, что Сережа должен любить его. Должен считать отцом?

Сережа думает про измену, про страшную измену, которую он совершил. Вот он согласился, что Никодим – его отец. И этим как бы предал отца настоящего.

Отец у Сережи – летчик, он этим всегда гордился. Хотел быть похожим на него. Модели клеил. А теперь... Теперь что же выходит?

Он прикрывает глаза, пытается вызвать из памяти неизвестное лицо отца – то похожее на Чкалова²⁹⁶, то с улыбкой Гагарина, то на тех, в высотных костюмах. От

²⁹⁶ Чкалов Валерий Павлович (1904–1938) – советский летчик-испытатель, Герой Советского Союза. Командир экипажа самолета, совершившего в 1937 году первый беспосадочный перелёт через Северный

усилия Сережа даже сжимает веки. Но не выходит... Это ужасно – не выходит. Он клянет себя последними словами, щиплет за ногу, но у него ничего не получается. Три месяца, всего три месяца назад отец снился ему ночами – пусть с разными лицами, но снился, а теперь он видит во сне что угодно, всякую чепуху, но отца нет. Нигде нет. Ни во сне, ни в памяти.

Мамины улыбки начинают раздражать его. Ему противны ее яркие платья, прическа, каблук. Он смотрит исподлобья, когда она приходит, и хмурится. Мама спрашивает, что с ним случилось, шутит, пробует расшевелить, но Сережа от этого только больше раздражается. Потом говорит негромко, чтобы не слышали соседи:

– Ты все забыла?

– Что забыла? – удивляется мама.

– Про меня. Забыла, да?

Мама трясет головой, не понимает никак.

– Кем я буду, – говорит он и видит, как мама грустнеет.

– Нет, – отвечает она. – Помню. Я звонила в кружок. У них скоро соревнования.

– Когда? – приподнимается Сережа.

– Могу уточнить, – обещает мама.

Сережа припоминает новый самолет, управляемый по радио, который они вместе с Робертом начинали, припоминает запах казеинового клея и тишину, которая бывала в кружке.

Что ж делать, отца нет, и нет его карточки, чтобы знать и помнить лицо. Но есть его дело. Есть авиация. И авиамодельный кружок!

Сережа ловит пристальный мамин взгляд. Она разглядывает его строго, как взрослого, который сказал серьезную вещь. Глаза ее не улыбаются – смотрят широко, удивленно, как тогда.

– Я все помню, – говорит она ласково. Неожиданно добавляет: – Но и ты помни про меня.

Сережа не понимает этих слов. Что она хочет сказать? Что он не помнит про нее? Очень даже хорошо помнит. Разве забудешь? Он улыбается. Отходит. Разве забудешь хотя бы день рождения?

А потом у него снова праздник.

Спустя несколько дней утром вместо мамы приходит Никодим. Он достает из авоськи сверток. Сережа смотрит с любопытством – что там вкусенького? Но Никодим достает не еду, а Сережины брюки.

– Одевайся скорей, – улыбается он, – едем!

Сережа знает – выписать его не могут, пока не снят гипс, волнуясь, надевает брюки, не спрашивая ничего, оттягивая узнавание, потому что узнавание, судя по Никодиму, будет приятным.

И все-таки не выдерживает:

– Куда?

– На аэродром, – отвечает Никодим.

– Зачем? – удивляется Сережа.

– Твои соревнования! Едва врача уговорили – только на два часа.

Сережа подпрыгивает от счастья! Никодим помогает натянуть брюки, набрасывает на плечи спортивную курточку. Они идут вниз. Там урчит такси.

– Заедем за Котькой? – смеется Никодим. – Тетя Нина просила.

И вот они вместе с Котькой и Никодимом летят по асфальту за город, и вот уже из-за кустов видно аэродромную мачту с полосатой колбасой, по которой определяются

направление и сила ветра, а потом появляются ангары с полукруглыми крышами, двери у них открыты, и в ангарах темнеют похожие на этажерки АНы.

Еще из машины Сережа видит красный стол судейской коллегии и выстроившихся в шеренгу ребят. Перед каждым на траве стоит модель. Модели разноцветные, и оттого кажется, что на зеленой траве переливается радуга.

Сережа выбирается из машины. Его гипсовый «самолет» привлекает внимание шеренги, ребята разглядывают его, он видит, как кто-то машет рукой. Роберт! Это он!

– Привет рекордсмену! – кричит Роберт.

Сережа сигналил Роберту, кивает знакомым ребятам. Он чувствует за спиной дыхание Никодима, и он счастлив! Пусть Никодим увидит его самолеты! Пусть он узнает, кем будет Сережа!

Сережа думает об этом без иронии, без превосходства. Просто Никодим должен знать это, вот и все.

– Что ли, ты летчиком будешь? – спрашивает Котька, увлеченно ковыряя в носу.

– Может, летчиком, – отвечает Сережа, – а может, конструктором. – И предлагает Котьке в порыве счастья: – Давай и ты!

– Даваю, – соглашается Котька. – Но я еще не решил, кем буду. Может, диктором, может, сыщиком.

Они отходят в сторонку. Садятся в траву. Стрекогут кузнечики. Всплескивают крылышками красные и белые бабочки. Зеленое поле спортивного аэродрома только кажется зеленым. Оно цветное. Оно алеет, голубеет, желтеет, и Сереже после больницы, после духоты и противного запаха лекарств дышится освобожденно, легко.

Он улыбается Котьке и валит его здоровой рукой на землю, борется с ним, благодарно смотрит на Никодима.

– Никодим Михайлович, – спрашивает Сережа, – а вы, что же, с работы отпросились?

– Отпросился, – говорит Никодим, – у мамы срочная запись, она не могла, и я договорился.

Сережа вновь вглядывается в него, в который раз за немногие эти месяцы. Да нет, Никодим – замечательный! Он добрый человек, а добрые люди всегда замечательные. И глаза у них добрые, открытые, и лицо прямое, светлое. У Никодима все такое. И уши тут ни при чем. Уши у людей могут быть всякие. Даже должны!

Сережа садится рядом с Никодимом, прижимает к себе Котьку. Потом, подумав, тихонько прислоняется к Никодиму спиной.

Никодим обнимает его за плечо. Сережа прислоняется к нему посильней.

Ему хорошо.

Просто великолепно!

В поле урчат бензиновые моторчики. Ревут, форсируя обороты. Одна за другой модели взлетают в вышину, чтобы сесть потом в поле. У кого дольше летает, у того, значит, лучше модель. Надежный фюзеляж, легче крылья. У того вернее глаз и умнее расчет. Ведь в каждом лишнем метре, который пролетят модели, целая зима работы. Сережа знает, почему фунт модельного лиха. Строишь самолет долго, а он в последнюю минуту не летит. Отказывает мотор. Или плохо отцентрирован корпус. Сколько горя потом, обиды. Хочется бросить все, растоптать ногами самим же сделанную птицу.

Модели взлетают, а Сережа переживает за каждую. Вот ровно идет, набрала высоту, значит, все в порядке. Моторчик стрекочет в тишине, потом замолкает. Кончился бензин. Но модель не падает. Она летит и летит плавными виражами. Это воздух. Восходящие потоки. Невидимые струи воздуха не дают упасть модели.

Сережа осторожно трогает руку Никодима. И вдруг слышит шепот:

– Сергей! – шепчет ему, наклонясь, Никодим. – Сережа! Хочешь быть моим

сыном?

Сереза резко оборачивается к нему.

– Как это? – говорит он. – Как?

– Я тебя усыновлю. Ты будешь мой сын...

Сергей смотрит на Никодима широко раскрытыми глазами.

Мысли несутся в нем ураганом. В этих мыслях есть все – испуг, смятение, сомнение, радость, подозрение.

Но им владеет то, что вокруг, то, что сейчас.

Аэродром, бабочки, Никодим, модели, летающие в синеве, солнечное тепло, Котька.

Им владеет реальное счастье – необходимое, как воздух, и он не может думать о плохом в эту минуту.

– Хочу! – говорит он Никодиму. И повторяет жарко, словно в омут бросается: – Хочу! Хочу! Хочу!

Глава 6

Август. Духота. На листьях тополей и акаций толстый слой пыли: давно не было дождей.

Серезе сняли гипс. Рука срослась замечательно. Только малость похудела, и надо ее разрабатывать.

Каждый день Сереза ходит в кабинет лечебной гимнастики. Шевелит пальцами, сгибает и разгибает руку, крутит ею. А остальное время – на речке.

Вместе с Понтей они ныряют в маске и с трубкой, бурлят воду ластами. Выныривают, отплеываясь, засекают на счет, кто дольше под водой пробудет, кто дальше пронырнет не дыша.

За лесом, над спортивным аэродромом, прыгают парашютисты. Сереза видит, как медленно, старательно урча мотором, АН-2 поднимается над верхушками сосен и от него отрывается черная точка. Вспыхивает парашют, другой, третий, лес проглатывает их, а самолетик снова ползет в небо и опять бросает парашютистов.

Сереза стоит по пояс в воде, смотрит, как мелькают в прозрачной воде Понтины ноги, и опять думает об этом, опять, опять...

Это было все тогда же, в тот замечательный день во время авиамodelных соревнований. Сереза был счастлив, бесконечно счастлив, и еще Никодим сказал свои слова... Сереза согласился. Не было никаких сомнений, впрочем, что говорить – он и теперь согласен, но дело не в том.

Тогда, на авиамodelных соревнованиях, произошло еще одно событие. И Серезе стало стыдно за Никодима.

Все случилось словно бы нарочно. Модели взлетали одна за другой, наконец настала заветная минута: на старт вышел Роберт с новым самолетом.

Сначала все шло нормально. Роберт крутанул пропеллер, мотор заверещал пронзительно и отчаянно. Самолет пошел плавно в высоту.

– Видите! – кричал Сереза Котьке и Никодиму. – Видите!

Красный самолет смело разрезал воздух, потом неожиданно пошел резко вверх, почти вертикально пошел, видно, заело элероны, звук мотора сделался надрывным, дребезжащим, самолет нехотя вывернул набок и вдруг пошел вниз. Прямо на них.

Сереза глядел на красный самолет, толкая рукой Котьку, но Котька не уходил – им кричали что-то, и тут Сереза почувствовал, что теряет опору. Он повалился. Рядом раздался треск, и все стихло.

Сереза увидел красный самолет, воткнувшийся в траву, бегущего к нему Роберта.

А потом – Никодима.

Он стоял метрах в двадцати позади Сережи и Котьки, растерянно оглядывался и чертыхался. Сережу словно ударило: Никодим убежал! А их оставил! Сережа сидел, навалившись на Никодима, а потом потерял опору...

Они скоро уехали в больницу – пришла пора возвращаться, – и чем дальше отъезжали от аэродрома в подвернувшемся «газике»²⁹⁷, тем больше Сережа стыдился: ведь Никодим бросил их, испугавшись за себя!

Времени прошло уйма – целый месяц. Сережа из больницы выписался, плавает вот с Понтей, но как напомним ему что-нибудь про аэродром – модель или парашютисты вот эти, – так он сразу вспоминает испуганное, растерянное лицо Никодима.

Конечно, если подумать, можно ли винить Никодима? Что мог он сделать тогда? Прикрыть их собой? Как прикроешь? Ляжешь, что ли, на них? Вторую руку Сереже сломал бы. А потом психологически объяснить можно: им же кричали. Сережа не опомнился, и Котька не сообразил, а Никодим среагировал. Вскочил и убежал. «Бдительный».

Сережа вспоминает смешной Никодимов рассказ про то, как он баллон расстрелял. И как солдаты его прозвали.

Сережа старается забыть странный случай. Тем более Никодим ему сказал такие слова... Но не забывается. Слово заноза в голову попала.

Нанырившись досыта, Сережа и Понтя идут домой и рассуждают о подводном плавании.

– Мой отец, – говорит Понтя, – может минуточку под водой просидеть.

– А дед, наверное, все пять, – ехидничает Сережа. Ему ужасно надоело, что Понтя каждую минуту то на деда, то на отца ссылается: «Мой дед!», «Мой отец!»

Понтя дуется. Молчит. Молчит и Сережа. Ему неловко. Вот сказал, а вышло будто по злобе. Ему тоже хочется сказать: «Мой отец!» Но он не может.

Чтобы загладить свое глупое ехидство, Сережа хочет сказать Понте про Никодима. Про то, что тот его усыновить хочет. Он уже совсем решает рассказать это Понте, но что-то удерживает его в последнюю секунду. Какое-то суеверие.

Усыновит, тогда скажу, решает он, хлопает Понтю по плечу, и ему радостно оттого, что промолчал, сдержался. Что оказался сильным сам перед собой. Сдержаться вообще труднее, чем сболтнуть.

С Понтей Сережа прощается у дома. Прыгает по скрипящим деревянным ступенькам, осторожно придерживает дверь, чтобы у соседки мозги не вылетели, входит в комнату, оглядывается, глазам своим не верит.

У стола сидят Никодим, мама и – господи! – Литература.

Сережа застывает на пороге, ничего не может сообразить.

– Здравствуйте, – первой здоровается Вероника Макаровна.

– Знакомься! – говорит Сереже Никодим. – Это моя мама.

Мама! Сережа неловко роняет на пол ласты, нагибается, чтобы поднять, лихорадочно соображает: значит, Литература – его мать? Он вспоминает приезд Никодима. На другой ведь день Никодим шел с Литературой по улице. Но Сережа тогда не задумался почему, знакомые, и все, мало ли! И вот, оказывается, Литература – Никодимова мать и его, Сережина, родственница.

Он поднимает ласты, выходит на кухню, долго мылит там руки и все не может прийти в себя.

За столом ему неловко, он смотрит в стакан, потеет и думает о том, что пришел

²⁹⁷ «Газик» (ГАЗ-69) – советский легковой автомобиль повышенной проходимости. Производился с 1952 по 1972 год.

домой рано, надо было еще погулять.

Взрослым, похоже, тоже неловко, они молчат, бренчат ложечками в стаканах с чаем.

– А ваш голос, – нарушает молчание Литература, – я часто слышу. Приятный голосок...

– Ничего, – сдержанно отвечает мама. – Специалисты хвалят. – Слово «специалисты» она произносит с ударением. Сережа посматривает на нее. Лицо у мамы вежливое, но не доброе. Он приглядывается и замечает, что мама сидит напряженно, неестественно прямо. И голову подняла гордо. Сережа переводит взгляд на Никодима. Тот растерянно глядится в никелированный чайник.

«Зачем уж она так», – думает он про маму и размышляет о Литературе. Что бы мог он сказать про свою учительницу? Вообще-то мнения о взрослых у ребят не спрашивают, к тому же об учителях. Но мнение имеется. Одних учителей любят, других – нет, а Вероника Макаровна – никакая. Вернее, обыкновенная. Только ругается часто, что ребята ее предмет не любят. Русский, мол, понятно, там правил много, а литературу – за что? Как интересно: Пушкин, Гоголь, Лермонтов. Действительно, за что? Но не любит, это верно. И неизвестно за что. А вообще Литература обыкновенная. Вот только из-за каблуков и чулок выглядит чудачкой. И не вредина она, не злая – зря мама с ней так говорит.

Снова слышен звон ложечек в стаканах, опять молчат взрослые. Вероника Макаровна снова первой заговаривает, будто маму приступом, как крепость, берет.

– Вы должны меня понять, – говорит она вкрадчиво, – наши судьбы очень похожи, я потеряла мужа в войну, Никодим рос тяжело...

Сережа видит, как напряглась учительница, как волнуется она и как неприступна мама. «Нехорошо это, – думает он, – негостеприимно. – И пугается по-своему. – Будет теперь Литература двойки из-за этого ставить!»

– Не женился он долго, мне хотелось, чтобы все у него было хорошо, понимаете? Как следует!

– Понимаю! – говорит мама злым голосом. – А вышло не как следует! – И вдруг наклоняется к Веронике Макаровне, спрашивает ее мягко и ехидно: – Кто вот только меня поймет?

Вероника Макаровна заливается краской. Сережа не очень понимает, о чем это они так странно говорят, но чувствует, что разговор всем неприятен. Ему хочется, чтобы взрослые перестали так говорить, хочется перебить их, отвлечь чем-нибудь. Растерянность у него уже прошла, и, хотя радоваться не приходится, что учительница оказалась еще и родственницей, ничего ужасного пока не произошло. Сережа ерзает, придумывает, что бы ему сказать подходящее к моменту, и вдруг для себя неожиданно бухает невпопад:

– А Никодим Михайлович рассказывал, как вы его ремнем лупили.

Сережа краснеет, понимая, что ничего он не улучшил, наоборот, только испортил и Вероника Макаровна сейчас встанет и уйдет, он хочет добавить какие-нибудь слова, объяснить подробнее свою мысль, но только теряется от этого и подавленно молчит.

Вероника Макаровна испуганно глядит на Сережу, не понимая, в чем ее обвиняют, и вдруг улыбается:

– Это когда он на войну убежал? – спрашивает она. Никодим оживляется, перестает глядеть в чайник, благодарно смотрит на Сережу, а Вероника Макаровна объясняет: – А я в тот момент ничего другого придумать не могла. Била, а сама боялась: вдруг снова воевать удерет?

Сережа улыбается: слава богу, что Вероника Макаровна его поняла, и еще хорошо, что мама сидит не напряженно и злое выражение сошло с ее лица. Теперь

разговор идет обыкновенный, простой. Никодим рассказывает, что маме обещают дать к Октябрьским²⁹⁸ квартиру в новом доме. Вероника Макаровна участливо кивает головой, близоруко, как в классе, щурится, оглядывая комнату и соглашаясь с тем, что новая квартира, несомненно, нужна. А мама смотрит в стакан, и лицо ее измученно, устало, расстроено. Наверное, ругает себя за свои же слова. Такая уж она, мама.

Глава 7

К Октябрьским квартиру не дали.

Но это ничего не значит. К Новому году непременно дадут.

По вечерам, после работы, мама водит Сережу и Никодима к их дому. Дом уже есть. Он построен. В нем даже горят огни. Правда, пока огни освещают мутные окна, измазанные белилами. Рабочие белят потолок, красят полы.

Мама притопывает сапожками, смеется весело, валит Никодима в сугроб.

– Скоро, – кричит, – скоро в ванне будем мыться, под душем плескаться! Хватит в баню ходить! Надоело!

Никодим барахтается в снегу, Сережа толкает к сугробу маму, хочет ее тоже посадить в сугроб, но Никодим голосит:

– Осторожно! Осторожно!

Сережа оставляет маму в покое.

Сначала он никак не мог понять, в чем дело. Почему мама с ним все о Котьке заговаривает?

– Как тебе Костик тети Нинин, нравится?

– Мировой мужик, – отвечал Сережа. – Мыслитель! А что?

– Ничего, – соглашалась мама. И восхищалась: – Такой проказник! К ним ремонт пришли делать. Маляры принесли бочку с золотой краской – цветы на штукатурку наносить. Так он в этой краске вывозился, приходит и хвастается: «Я золотой!»

Сережа смеялся. Известное дело, Котька. Что-нибудь да выдумает. И мамины слова буквально принимал. Нравится ей Котька, и только.

Это еще летом было. Но потом, к осени, мама что-то поправляться стала. И уже в открытую разговаривать принялась: кого бы Сережа больше хотел – братика или сестренку? Сережа сперва чуть не заплакал от обиды. Без него решили! А теперь спрашивают!

Он себя почувствовал одиноким, бездомным, ненужным. Мамино такое решение ему казалось предательством, жестоким эгоизмом. Он дулся, не разговаривал. Мама Сережу разглядывала с любопытством. Потом подвела итог:

– Это потому, что ты один всю жизнь рос. – И прибавила, подумав: – Подумай только, будет у тебя братишка. Такой же забавный, как Котька.

Сережа подумал. Ну, если как Котька – куда ни шло. А через несколько дней сам над собой смеялся. Ну если даже не как Котька, чего особенного? Или если девчонка, то что?

– Ну ладно, – сказал он маме, – рожай кого тебе хочется. На твое усмотрение.

Мама расхохоталась. Потом сказала:

– Девочку хочу! И мальчика!

Теперь уж Сережка смеялся:

– Жадная!

– Жадная, – кивнула мама, – жадная, Сергунька! Хочу, чтобы много детей у меня было. Ведь дети – это для женщины счастье! Это ее продолжение, понимаешь? Дети –

²⁹⁸ Октябрьские (праздники) – годовщина Октябрьской революции, отмечаемая в СССР 7 и 8 ноября.

продолжение человеческое. Вот будут и у тебя дети, а у твоих детей еще дети, твои внуки, а у тех еще – правнуки твои, и так вечно!

Мама вообще очень переменялась. Грубо не говорит. Курить совсем бросила.

– Это им вредно, – говорит мама и кивает на себя. Шутит: – А то еще родятся да вместо соски запросят папироски.

Они хохочут. Стихи получают! Вместо соски запросят папироски!

Вообще смеются они часто. Вот и теперь. Вытащила мама с Сережей Никодима из сугроба, вытерла слезы от смеха и говорит:

– Не к добру это! После смеха – всегда слезы!

– Типун тебе на язык! – говорит Никодим. – Заладила!

Дом, в котором дадут маме квартиру, стоит перед ними важно, осанисто. Сережа даже немного робеет перед ним, представляет, какая будет у них квартира, какую купят они мебель.

Он вспоминает, как бабушка, приезжая, укоряла маму, что живет она не как люди, что нет у нее квартиру, приличной обстановки, и вообще... Мама отвечала ей: «Значит, не задалась твоя дочка». А потом гоняла по комнате табачный дым.

Как изменилось все, думает Сережа. Будет теперь и у них хорошая квартира. Но и это не главное. Мама – счастливая, вот что важно. Ничем не отличишь ее теперь от тети Нины.

«Дурак! – тут же клянет он себя. – Какой я дурак был! Ведь если бы Никодим к нам не пришел, ничего же не изменилось, так бы и осталось все, как было».

Он обзывает себя дураком, хвалит Ваську за то, что уму-разуму научила, думает о новом годе, каким он будет.

Еще счастливее?

Конечно, счастливее!

Так и выходит, как Сережа думает.

Ключи от квартиры им дают в три часа. Тридцать первого! А в двенадцать – Новый год.

Мама примчалась домой на такси, ворвалась румяная, хохочущая. В руке железный ключик высоко держит.словно волшебный, золотой. Никодим за спиной посмеивается.

– Собирайся! – кричит мама Сереже. – Летим!

Они летят в такси, их на каждом шагу норовят остановить – все торопятся, времени мало, но машина мчится, круто руля, норовя носом врезаться в сугроб!

– Потихе! – кричит, смеясь, мама шоферу. – Мы в новую квартиру еще не въехали! Да и вообще! На тот свет не торопимся! У нас на этом еще дела есть!

Шофер улыбается, разглядывает маму – в пушистом зеленом берете, с помпошкой, – говорит неожиданно:

– Что-то, извините, мне ваш голос знаком.

– Знаком! – важно надуваясь, отвечает мама. – Каждое утро слушаете, какую я вам погоду объявлю.

– Нет, правда? – удивляется шофер. – Вы, что ли, и есть Воробьева?

– Ветер умеренный, до сильного, – говорит, чуть меняя голос, мама. – Температура в области пятнадцать, в южных районах – минус двенадцать. В городе ожидается малооблачная погода. – Она смеется, не выдерживает.

Шофер мотает головой.

– Как это у вас получается? – говорит он. – Учились где?

– Самоуком! – смеется мама.

Потом они бегут по лестнице на пятый этаж. Дом пятиэтажный, без лифта.

– Тяжело ходить будет! – говорит Никодим.

– Ни чер-рта! – бушует мама.
– Тебе же нельзя, – кричит ей вслед Никодим. Она обогнала их на целый марш. – Да осторожнее! – сердится он. – Сумасшедшая! Куда летишь?!

– К небу! – шутит мама. – Выше, к небу!

Дрожащей рукой поворачивает мама ключ в двери, распахивает ее, скинув сапожки, бежит в одну комнату, потом в другую. Возвращается молча, едва дыша, и бросается на шею Никодиму.

Он ее подхватывает осторожно, кружит на месте. И вдруг мама плачет.

Никодим отпускает ее. Мама садится на пол, слезы градом льются из глаз.

– Боже мой! – говорит мама. – Подумать только! И все это мое! – Она показывает на Сережу. – И ты! – Смотрит на Никодима. – И ты! – Разводит руками, обхватывает квартиру. – И это!

Она плачет горько, безутешно, и тут же смеется, и вытирает лицо пуховым беретом, размазывая краску с ресниц.

И Сережа неожиданно замечает: лицо мамы, еще только что радостное, вдруг делается усталым. словно мама долго-долго шла по какой-то дороге и вот пришла, села. Все в ней опустилось, оборвалось.

Она пришла к цели.

Глава 8

Вечером они сидят на матрасах, разложенных по полу, а посередине большой лист ватмана. Это стол. На нем вина и закуски. Кроме матрасов, ничего перевезти не сумели, да не беда! Не беда, что на окнах занавесок нет, что маленькая лампочка, голая, без абажура, едва освещает комнату, главное – есть новый дом. И есть елка.

Ее Олег Андреевич принес.

– Коткина инициатива, – сказал серьезно. – Это он предложил свою елку вам отдать. И игрушки притащил.

У Сережи игрушки есть, но они остались в старой комнате, про них забыли в суете и хлопотах, а Котька молодец. Пыхтит, тащит большую картонку. Они развешивают игрушки и гирлянды с цветными лампочками, включают ее, и в доме сразу настает праздник.

– Ур-ра! – кричат гости.

До Нового года еще полчаса, и мама вдруг предлагает:

– Хотите прочту стихи?

Все хлопают ей.

– Их записали на пленку, – объясняет она. – Скоро передадут. Но динамика нет, я вам сама прочитаю.

Наступает тишина.

Мама стоит коленками на матрасе. Лицо ее светлеет. Она говорит:

– «Как выпить солнце»! Владимир Солоухин²⁹⁹...

Немного молчит.

Профаны,
Прежде чем съесть гранат,
Режут его ножом.
Гранатовый сок по ножу течет,
На тарелке – красная лужица.

²⁹⁹ Солоухин Владимир Алексеевич (1924–1997) – русский советский писатель.

Мы
Гранатовый сок бережем.

Сережа разглядывает гостей. Тетя Нина смотрит на маму во все глаза, будто впервые видит. Олег Андреевич – напротив, уперся взглядом в пол и думает тяжело о чем-то. Еще Виктор Петрович, звукооператор – дядька с маминой работы, – волосы у него столбом, похожи на серый дым. Он пришел с женой, румяной и толстой, – у нее щеки как две булки. Хорошо, что все на матрасах сидят – ей бы и двух стульев не хватило. Улыбается, внимательно слушает маму.

Обтянутый желтой кожурой,
Огромный,
Похожий на солнце плод,
В ладонях медленно кружится.
Обсмотришь его со всех сторон:
Везде ль кожура цела.
А пальцы уж слышат сквозь кожуру
Зерна –
Нежные, крупные,
Нажмешь легонько
(Багряна мгла!),
Кровью брызнули три зерна.
(Впрочем, брызгаться тесно там –
Глухо и сочно хрупнули.)

У Сережи слюнки текут от кислого гранатового сока. Граната нет, а слюнки текут, так мама вкусно читает.

Теперь осторожно мы мнем и мнем
Зерна за рядом ряд.
Струи толкуются под кожурой,
Ходят, переливаются.

– Сергуня, – зовет его Котька и тянет за рукав.
– Чего тебе! – ворчит недовольно Сережа.

Стал упругим.
Стал мягким жесткий гранат.
Все тише, все чутче ладони рук:
Надо следить, чтоб не лопнул вдруг –
Это с гранатом случается...

– Я хочу, – дергает его Котька.

Сережа недовольно встает, ведет Котьку в туалет. Так и не дослушал он, что там с гранатом надо делать.

Любопытно, рассуждает Сережа. Мама ему покупала раньше гранаты на рынке у грузин, он тоже резал их ножом, обсасывая косточки, и мама резала, но, оказывается, они профаны... Впрочем, разве в этом дело?.. Гости дружно хлопают. Сережа возвращается с Котькой в комнату. Жалко, не дослушал мамины стихи, вот что.

Стреляет пробка. Врезается в потолок. Рикошетит по Котьке.

– Вот чудеса, – говорит он задумчиво, – вино пьют взрослые, а достается мне.

Ну, Котька, ну мыслитель! Все хохочут над ним, потом чокаются шампанским.

– Ур-р-ра! – надрывается Сережа. – Ур-р-ра! – Он торопливо зажигает бенгальские огни, передает их гостям, гасит свет. Мерцают на елке разноцветные огоньки, брызжут сверкающие цветы, мама ползет на коленках к гостям и всех целует: тетю Нину, Олега Андреевича, седого звукооператора, его жену. Мама роняет рюмки, хохочет, повизгивает, а Никодим говорит ей:

– Аня! Аня! Осторожней!

– Ну как же! – кричит ему мама. – Как же не выпить, не порадоваться?! Такой день, – и машет ему пальцем: – Смотри не забудь. Тридцать первое декабря.

...Тридцать первое декабря. Потом первое января. Сошлись два года в одну ночь. Забавно все-таки. Еще минуту назад старый год был. А через минуту – новый. Никакой паузы, никакой остановки. Одна секунда нового года, пять секунд – и пошло, поехало... Целый час прошел. Потом незаметно – день.

Январь для любого школьника счастливо начинается – ведь каникулы. Сережа ходит в кружок, теперь он новую модель делает. Самостоятельно. Роберт его только консультирует.

После кружка Сережа катается на лыжах. На троллейбусе едет до конца маршрута. Там горы. По субботам он с собой Котьку берет. Когда едут с катанья, Котька от усталости засыпает, привалившись к Сереже. Сережа обнимает его, старается не шевелиться и представляет, что это он едет с братом. Котькина мохнатая шапка усыпана снегом, в троллейбусе снег превращается в капельки, а сверху Котька похож на мокрого, жалкого щенка. Нежность к нему разливается в Сереже. Он знает – это нежность к будущему брату. Или сестре...

После Нового года мама вся в хлопотах. Она заняла денег у тети Нины и Олега Андреевича, носится по магазинам.

Сережа приходит домой, а в квартире новый шкаф блестит лакированными дверцами. Потом появляется диван. Стол со стульями. В маленькой комнате две деревянные кровати.

Дом обрастает вещами, и Сереже нравится каждый вечер помогать Никодиму и маме. Мама дает указания – ей на стул, к примеру, теперь не забраться. Да и ни к чему – на стуле стоит Никодим, он цепляет к потолку новую люстру, присоединяет провод, вкручивает лампочки. Мама щелкает выключателем, лампочки сияют в матовой оправе люстры, тихо бренчат стеклянные висюльки... Потом они вбивают гвозди.

Мама расстраивается из-за холодильника, ей обещали его достать, но вот не выходит, расстраивается из-за каких-то покрывал, и он удивляется – какая она стала! Всегда была равнодушна к вещам, а теперь даже расстраивается.

– Ты это зря, – объясняет он маме. – Тебе волноваться нельзя.

– Верно, – соглашается мама.

Она уютно усаживается в уголке дивана, вооружается иглой и начинает возиться с распашонками, простынками, чепчиками. Сережу удивляет, что все это имущество такое крохотное, простынки, к примеру, чуть больше носового платка.

Мама тихонько бубнит под нос песенки, улыбка блуждает у нее на лице. Вдруг она негромко охает. Сережа испуганно спрашивает:

– Что с тобой?

– Ничего, – загадочно говорит мама, радостно смотрит на Сережу и зовет: – Хочешь малышку послушать?

Ничего не понимая, Сережа подходит к ней, мама прижимает к себе его голову.

Сережа внимательно слушает. Тихо. Только гулко, как колокол, бьется мамино сердце. И вдруг кто-то ворохается там. Кто-то тукает.

Мама вздрагивает и смеется.

Часть третья Родственные чувства

Глава 1

И вот настает пора.

Никодим бежит на улицу ловить такси. Сережа подает маме шубу. В мохнатенькой старой шубке мама как колобок.

Потом они заезжают за тетей Ниной. Оказывается, и Олег Андреевич с Котькой тоже дома. Машина набивается битком, водитель ворчит, но все же везет.

В больнице, в приемном покое, когда они входят, становится тесно и весело. Мама шутит, смеется, целует всех по очереди.

– Ни пуха ни пера, Аннушка, – говорит ей тетя Нина.

– К черту, – смеется мама, ненадолго уходит, потом появляется новая: в больничном халате с широченными рукавами. Она отдает узел с одеждой. Опять смеется:

– Платье-то принесите поуже!

Тетя Нина смотрит на нее зачарованно.

– Не боишься? – говорит она.

– Нет! – беспечно отвечает мама.

Она чмокает всех в последний раз, идет к двери, распахивает ее, машет оттуда рукой. Потом манит к себе Сережу. Он послушно идет, и вдруг мама обнимает его крепко.

– Ну что ты, мам, – отбивается Сережа, – ну, что ты!

Он с силой освобождается из ее объятий, делает шаг назад, улыбается.

– Возвращайся скорей! – говорит он приветливо. – Рожай, кого хочешь, и поскорей обратно!

Мама кивает, губы у нее дрожат, но она встряхивает головой, закрывает за собой дверь.

Открывает ее снова. Выражение у нее деловитое.

– Никодим, – говорит она, – маму не забудьте вызвать. И кроватьку купи.

Компания вываливает на улицу, топчется на снегу. Наконец все видят маму в окне на третьем этаже. Она показывает четыре пальца и шевелит губами.

Четвертая палата, ясно. Они машут ей, Котька даже обеими руками. Потом медленно идут, оглядываясь.

На углу все оборачиваются в последний раз, опять сигналият маме, потом больницу скрывают другие дома.

Сережа вздыхает облегченно. Ну что ж, это на несколько дней. Скоро мама вернется с братиком или сестрой, надо вот только купить кроватьку.

Взрослые вместе с Котькой идут впереди. Сережа замедляет шаг. В нем возникает странное желание: быстро добежать до угла и посмотреть, стоит ли мама возле окна.

Он оборачивается, мчится назад. Возле угла, скрывающего больницу, замедляет шаги, высовывается осторожно. Выходит весь.

Мама смотрит на Сережу, не узнавая, потом понимает, что это он, и машет, машет рукой – быстро, отчаянно, будто стоит на пароходе, который отплывает.

Сережа прикладывает ладонь к губам, целует ее, поворачивает ладонь к маме и дует. Воздушный поцелуй. Так учила мама в детстве.

Мама отвечает ему. Сереже становится легче. Он машет рукой в последний раз и бежит обратно, догонять остальных.

Взрослые говорят о кровати, обсуждают, где ее купить, оказывается, это непросто, тетя Нина предлагает зайти в «Детский мир»³⁰⁰, кроваток там, конечно, нет, но тетю Нину узнает продавец – все-таки теледиктор, – выясняет, что и почему, просит минуточку подождать, куда-то исчезает.

– Слушай, – смущенно говорит Олег Андреевич, – мы с Котькой отойдем, пожалуй. Неудобно.

Тетя Нина смеется, отвечает ему шутливо:

– Эх ты, угрозыск! А кровать сыскать не можешь! То, что не способен сделать страх, делает любовь!

Олег Андреевич машет рукой, отходит, продавец выволакивает деревянную, закутанную бумагой кровать, Никодим бежит платить в кассу, на продавца набрасываются какие-то люди, ругаются, почему одним можно, другим нельзя, но продавец отвечает:

– По заказу, граждане, не шумите. Диктора Воробьеву знаете? По радио говорит. Так это ей. Сегодня родила.

Никого мама еще не родила, и вообще как-то все выходит неудобно, но в глубине души Сережа доволен. Во-первых, кровать все-таки есть, а во-вторых, никто же не начал кричать: знать не знаем никакого диктора. Значит, знают. И тетю Нину сразу рассмотрели. Больше даже не ворчали, значит, все в порядке.

Тетя Нина спешит на передачу, а Сережа и Никодим домой. Олега Андреевича и Котьку они не отпускают. Пьют чай. Смотрят по телевизору на тетю Нину.

– Хорошо, что у меня мама в телевизоре работает, – говорит глубокомысленно Котька. – Сама на работе, а все равно дома.

Они смеются.

– Сегодня у нас мужская компания, – говорит Олег Андреевич. – Прямо клуб джентльменов. Интересно, укрепит наш клуб Аня? Или поможет женской фракции?

– Пусть женской, – говорит Сережа. – Не жалко. Нас и так вон сколько! – Но выражение «Клуб джентльменов» ему нравится. Действительно, одни мужчины. Вообще не все мужчины бывают джентльменами, это известно. Но у них-то? У них – все. Котька вот, к примеру, настоящий джентльмен. Честный человек, к тому же философ! Олег Андреевич – угрозыск. Кому джентльменом быть, как не ему? Никодим? Подумав, Сережа присоединяет и Никодима к джентльменам. Конечно, как же еще! И поздно вечером вспоминает об этом.

Когда, проводив Олега Андреевича с Котькой и подав телеграмму бабушке, они вернулись домой, Никодим сказал смущаясь:

– Помнишь, Сережа, я тебе на аэродроме сказал? – Сережа молчит. Что за вопрос? Конечно, помнит. – Давай так договоримся. Когда мы маленького зарегистрировать понесем, и с тобой все устроим.

Сережа кивает. Он согласен, что ж. Одно только кажется ему странным – почему так долго Никодим не говорил ничего? Аэродром был в августе, теперь март. И мама ни разу не сказала. Ведь она должна была сказать?

«Может, Никодим маме не говорил?» – думает Сережа. Потом догадывается: конечно, не говорил. Он маме приятный сюрприз готовит.

Сережа кивает Никодиму, улыбается ему. Настоящий джентльмен, думает он.

Он представляет, как будет звать Никодима.

Папа? Отец?

³⁰⁰ «Детский мир» – сеть магазинов детских товаров в СССР.

Представить это Сереже трудно, никогда никого не называл он отцом. Его отец был в памяти, вернее, в воображении – любой летчик в воображении был отцом. Тут же надо было назвать этим именем Никодима.

Погасив свет, Сережа долго не может уснуть. Он представляет, как вернется мама – это будет, наверное, через неделю, как закутают они маленького в теплое голубое одеяло с кружевным пододеяльником из приданого, которое приготовила ему мама, как они поедут в загс, где все про людей записывают, как вернутся оттуда уже совсем новые.

Все – новые. И мама – у нее теперь два ребенка, и Никодим – он станет отцом двоих детей, и Сережа, потому что у него будет отец. И, естественно, маленький – кто там появится, все равно, мальчик или девочка. Он тоже новый. Самый новый. Потому что недавно родился на свет.

Утром Сережа просыпается в темноте. За окном свищет пурга.

Он одевается. Март. Мартовские метели. Но ничего! Скоро опять каникулы. Весна!

В школу Сережа приходит с красным лицом – оно иссечено ветром и снегом. Но настроение у него прекрасное. Бодрость и легкость в голове. Ему хочется всем рассказывать про себя, про свой дом, про Никодима, про маму.

Он встречает в коридоре Ваську.

– Галь, – шепчет он восторженно, – вчера маму рожать отвезли.

– Поздравляю! – говорит Галя. – Кого загадал?

– Все равно, – отвечает, смеясь, Сережа, – кто будет!

Начинается урок, а Сережа все никак успокоиться не может. Шепчется с Понтей. Сосед тычет его локтем. Хвалит:

– Молоток!

Будто Сережа отличился, а не мама.

Уроки идут, сменяя друг друга, тягуче тянется время. Сереже хочется, чтобы скорее прозвенел последний звонок. Он сразу побежит в больницу. Может, он узнает новость. Хочется первому ее узнать...

Последний урок литературы, и Сережа поглядывает на Веронику Макаровну с хитрой улыбкой: знает она или нет? А если не знает, будет ей сюрприз. Ведь этот Сережин братец для Литературы – не чужой, внук.

Он задумчиво глядит на улицу, по которой, взвывая снег, носится ветер, и слышит стук.

Стучат в классную дверь. Класс с любопытством настораживается. Кто-то хихикает. Вероника Макаровна, ковыляя на каблуках, открывает дверь.

– В чем дело? – говорит она строго и отступает.

В класс входит тетя Нина. Ее все узнают, шушукаются.

Тетя Нина входит в класс, ищет глазами Сережу и говорит:

– Идем! Скорее идем!

Сережа хватается за портфель, думает радостно: кто все-таки? Мальчик? Девочка?

И вдруг он видит, что лицо у тети Нины белое. И белые губы.

– Сережа! – говорит она, и слезы катятся у нее по щекам. В классе повисает тишина. Все поражены. Еще бы! Вдруг приходит известный диктор и плачет.

– Сережа! – говорит тетя Нина. – Мама умерла!

Глава 2

Он бежит по улице.

Он бежит без шапки и без пальто.

Ветер рвется ему навстречу, швыряет в лицо пригоршни колючего снега. Ветер старается остановить его, но он бежит, напрягая все силы.

В голове гулко тукает кровь. Он устал. В глазах мелькают розовые кружочки. Со лба катится липкий пот. Сережа не видит перед собой ничего – прохожие уступают ему дорогу.

Неподалеку от больницы его настигает чья-то рука. Какой-то мужчина втаскивает его в машину. Сергей не может ничего понять. В машине оказывается тетя Нина, она силой натягивает на него пальто и шапку. Сережа видит перед собой милицейскую шинель. Человек, который втаскивал его в машину, милиционер, Олег Андреевич.

Сережа с хрипом хватается за воздух. Он ни о чем не думает. Ничего не понимает. Ему кажется, что машина идет тихо, он пробует растворить дверцу и выпрыгнуть на ходу. Тетя Нина повисает на нем.

Он сдается.

Машина тормозит.

Сережа вываливается в снег, вскакивает и, ничего не понимая, бежит к окну.

К тому, где вчера стояла мама.

Он с надеждой смотрит на окно. Потом кричит изо всех сил:

– Мама! Мама! Мама! Мама!

Он кричит отчаянно, словно тонет, и от этого крика в глазах появляются слезы. Он не плакал до сих пор. Крик помог ему заплакать.

Он плачет и кричит, кричит и плачет. Слезы – это ничего, мелькает в голове, главное, чтоб мама... Чтоб она показалась.

У окна, где вчера она стояла, собираются женщины в таких же халатах, как мама. Сережа вглядывается в лица. Мамы среди них нет. Потом появляется человек в белом. Шевелит губами. Женщины мгновенно исчезают.

Сережу тянут куда-то.

Он оборачивается.

Олег Андреевич ведет его за собой.

Они обходят больницу, толкают маленькую дверь, ведущую в подвал.

На них смотрят какие-то люди.

Они одеты в белое, Сережа понимает только это.

Олег Андреевич шагает дальше, открывает какую-то дверцу.

Сережа видит Никодима, тетю Нину.

Они расступаются. Сережа не понимает...

Сережа смотрит перед собой и не понимает. Мама лежит, сложив на груди руки.

Он смеется. Ерундовину тут все говорят. Она уснула. Сейчас проснется.

– Мама, – зовет он, падает на колени, хватается за руку, чтобы очнулась, и вдруг чувствует, как независимо от него, из самого нутра, оттуда, что он еще никогда не чувствовал и не ощущал, поднимается хриплый вой.

Его берут под руки, ему дают что-то попить, но он ничего не видит, кроме мамино пожелтевшего лица.

Он рвется к ней.

Его отпускают.

Сережа разглядывает маму. Она похудела, щеки слегка провалились, а морщинки на лбу разгладились.

Осторожно, боясь сделать ей больно, Сережа гладит мамино лицо.

Он смотрит на нее бесконечно долго. В ушах нарастает тонкий звон...

У больницы толпятся люди.

Его трогают за руки, за плечи, что-то говорят. Сережа отмечает знакомые лица – Гали, Литературы, Понти, но тут же забывает о них.

Потом он видит бабушку. Она стоит одна. Руки ее повисли.

Сережа приближается к ней.

Они глядят друг на друга равнодушно и пусто.

Бабушка качает головой и говорит:

– Вот вы меня к чему вызвали... Вот к какому празднику...

Сережа идет мимо нее. Его сажают в машину, везут домой.

В квартире полно каких-то людей. Бабушка открывает шкаф, перебирает мамину одежду. Ей молча помогает тетя Нина. Сережа не понимает, чего они хотят, его возмущает, что они копаются в чужих вещах, он отодвигает тетю Нину, пробует закрыть шкаф, но Олег Андреевич сильно сжимает плечо, уводит в сторону.

Сережа стоит. Потом сидит. Потом ходит. Передает какой-то узел. Возвращается обратно. Снова стоит. Ходит. Сидит.

Перед ним ставят тарелку с едой. Он с удивлением разглядывает ее. Ковыряет еду вилкой, встает.

Постепенно в квартире становится тише. Уходят незнакомые люди. Уходит тетя Нина.

Олег Андреевич еще сидит. Он сидит рядом с Никодимом, перед ними пустые бутылки. Бабушка приносит еще одну. Олег Андреевич встает из-за стола. Ему тоже надо идти.

Теперь они втроем.

Никодим, бабушка, Сережа.

Бабушка велит Сереже спать, он качает головой, но глаза слипаются. Он проваливается в черноту.

Он проваливается с готовностью, с облегчением.

Он тоже хочет умереть...

Дни похожи на мелькающие вагоны.словно Сережа стоит на платформе, а перед ним мчится поезд. Вагоны сливаются в сплошную полосу. Сережа пробует схватить взглядом какое-нибудь окно, видит в нем чье-то лицо, поворачивает быстро голову, чтобы запечатлеть, запомнить его, но вагон уже уносится, и в памяти остается только слабый силуэт... А вагоны мчатся, мчатся. Пронесются чьи-то летящие лица, и от этого мелькания, от этого стремительного бега голова идет кругом. Сережа чувствует, как слабость наливается в коленях, ноги подкашиваются...

Он сидит... Возле гроба – ряд стульев. Бабушка. Никодим. Тетя Нина. Он.

Мимо мамы проходят люди. Вереница людей. Они идут, идут, идут. Иногда Сережа смотрит на них. Сколько людей знало маму, думает он. Люди идут – это похоронная процессия. Теперь по улицам за гробом не ходят. Все, кто хочет проводить, сядут в автобус и молча уедут. Процессия – здесь. Возле гроба.

Вереница лиц в окнах летящего поезда...

В зал входят люди с трубами.

Играет музыка: чухают медные тарелки в такт с барабаном, стонет труба. Каждый удар медных тарелок – как электрическое замыкание: сотрясает все тело.

Мама лежит в гробу торжественная, нарядная. И чужая. Это уже не мама. Это только копия мамы. Неживое подобие.

Сережин мозг выхватывает силуэты.

Какая-то старуха, пройдя мимо мамы, останавливается, низко, в пояс кланяется гробу...

Женщина с трясущимися губами кусает платок. Это тетя Дуся, узнает он, вахтерша...

Олег Андреевич, кладущий в ноги красные-красные, как кровь, тюльпаны...

Сосредоточенное, вспотевшее лицо музыканта с трубой. Щеки у него раздуты,

словно шары...

Круглые, непонимающие Котькины глаза.

Никодим...

У Никодима потерянное лицо. Он ищет кого-то взглядом, глаза его мечутся, неловко вытирает слезы кулаком... Сзади него стоит Литература. Она гладит Никодима по плечам...

Улица. Распахнутые настежь двери. Еловые венки с черно-красными лентами. Автобус с траурной полосой. Еще автобус. Машины.

Пурга кончилась. В окно между тучами выглянуло солнце. Рыхлый снег на кладбище слепит глаза. Сережа идет по нему, проваливаясь по колено.

Какой-то человек говорит речь. Его покорно слушают. Только позади, за толпой, глухо разговаривают могильщики, курят и сдержанно посмеиваются о чем-то своем. Привыкли...

И вдруг Сережа видит Никодима. Он спрятался за мать, снял один ботинок и, припрыгивая, вытряхивает из него снег. Вытряхивает снег...

– Пойдем! – говорит бабушка Сереже, но он не понимает – куда пойдем.

Бабушка берет его за плечи, подводит к гробу. Бросается на маму, обхватывает гроб.

Сережа смотрит на бабушку тупым взором, жалеет ее. Что ты плачешь, старая, думает он. Это же не мама, все равно. Бабушку поднимают с земли, настает Сережина очередь.

Он становится на колени, целует маму в лоб. Задумчиво разглядывает ее. Целует руки.

– В последний раз! В последний раз! – шепчет за спиной кто-то. Сережа оглядывается. Тетя Нина. И тут он понимает, в последний раз! Он больше не увидит маму! Никогда!

Сережа смотрит на маму. Хочет запомнить навсегда. И не может, нет. Он видит исстрадавшееся это лицо, а представляет другое – смеющееся. На голове – зеленый мохнатый берет с помпошечкой. Мама как медвежонок в старой своей шубке. Круглая вся. Вот озабоченно говорит: «Вызови маму! И купите кроватку!» Вот стоит у окна в больничном халате и посылает Сереже воздушный поцелуй.

Чем лучше представляет Сережа маму живую, тем неестественнее кажется она мертвая! Их нельзя соединить! Невозможно!

Но соединить нужно. Все заставляют его сделать это.

Сережа содрогается.

Нет! Этого не может быть! Не может быть, что мама смеющаяся и лежащая тут – одна и та же.

Он безудержно плачет. Его трясет.

Гремит оркестр, жутко чухая медными тарелками.

Кладбище отодвигается, подпрыгивает в заднем оконце автобуса. Скрывается за поворотом.

Потом какая-то столовая.

Какие-то люди, говорящие о маме.

Потом дом.

Лица родственников из деревни, опоздавших приехать на похороны.

Лицо тракториста Валентина.

Лицо Кольки. Вот и приехал.

Люди что-то говорят, какие-то слова. Колька ведет Сережу на улицу. Они разговаривают. Скоро возвращаются. Дома – табачный дым, окурки. На столе тарелки, от которых мутит.

Испуганные глаза Вероники Макаровны. Растерянный Никодим.

Никодим! Он разглядывает Никодима, разглядывает его красные уши, похожие на лопухи, его невзрачное серое лицо, и новая мысль обжигает Сережу. Конечно! Во всем виноват Никодим!

Если бы не он, мама не вышла бы замуж. Не собралась рожать.

Если бы не он, мама бы жила.

Шаг за шагом, день за днем Сережа припомнил все, как было.

Приезд Никодима. Мамино решение. Разговор с Васькой. Свадебное путешествие. День рождения. Аэродром.

Да пропади все пропадом! Провались в тартарары!

Пусть бы мама смолила папиросы, говорила грубо! Пусть бы жили они в старой комнате. Пусть была бы она несчастливая, только жила! Жила, а не умирала!

И Сережа с ненавистью глядит в сторону Никодима.

Глава 3

Наутро бабушка куда-то собирается. Зовет с собой Сережу.

– Младенца-то проведать надо, – говорит она.

Младенца? Только теперь доходит до него это. Мама родила мальчика. Она умерла, когда его рожала.

Сережа мотает головой. На что ему этот младенец? Пропади он пропадом. Из-за него мамы нет.

Но тут же встает, одевается. Идет скорбно рядом с бабушкой.

При чем тут младенец? Он даже не соображает ничего, такой малюсенький.

Сережа вспоминает, как мечтал о брате, когда возвращался с Котькой в троллейбусе. Как увлекла его мама разговорами про брата или сестру. Как хотела она еще ребенка.

В больнице бабушка теряется, суется в разные двери, но все не в те.

– Как про ребеночка бы узнать? – ловит она санитарку.

Санитарка останавливается, расспрашивает подробнее, потом исчезает, выводит врача. Врач – женщина. Полная, веснушчатая, добрая, с толстыми руками.

– Ребеночек живой, – говорит она, рассказывает подробности про вес, про рост.

– Дак как кормите? – пригорюнившись, спрашивает бабушка. – Без матери-то.

– Кормим, – говорит врач, – у нас возможности есть. Но без матери плохо.

– Уж куда там, – вздыхает бабушка.

Врач спрашивает про Никодима, узнает, что Сережа – старший мамин сын, что бабушка – мамина мама и никого ближе больше у покойницы не было.

– Может, еще повезет вам, – говорит она, поднимаясь, – может, ребеночек не выживет.

– Хорошо бы, – отвечает ей бабушка и плачет.

– Как хорошо? – не понимает Сережа, когда они обратно домой идут, и возмущается: – Что говоришь, думаешь?

– Думаю, – отвечает бабушка, – хватит одного тебя, сиротинки. Да ты – большой, сознательный. Младенца-то ведь выкормить сперва надо, выходить, потом воспитать. Кому это делать? Никодиму? Да разве ж сподручно ему, нестарому мужчине, с младенцем? Я одной ногой в могиле...

Бабушка плачет, сморкается, приговаривает:

– Разве ж это дело, чтоб дети раньше родителей помирали?

– Я его выращу, – говорит Сережа о брате. – А что, устройсь на завод, заработаю...

– И-и-эх, милый! – говорит бабушка и машет рукой. – Дай бог тебе самому без мамки ладом дорасти!

Сережа молчит, не согласен.

На другой день он едет в больницу, вызывает толстую врачиху, справляется про брата.

– Живой, – говорит она и спрашивает неожиданно: – А где же отец?

Сережа молчит, не знает, как ответить. Потом говорит:

– Он болеет.

– Понятно, – вздыхает врачиха, смотрит на туфли. – Передай, что пока живой.

Вечером он говорит про маленького Никодиму.

Тот глядит на Сережу бесцветными глазами и ничего не понимает. Он как бы одеревенел после маминой смерти. Словно задумался о чем-то и от этой мысли оторваться не может – загипнотизировала она его. Он то и дело плачет. Вдруг прокатится по щеке слеза, сомкнутся губы в некрасивую гримасу. Сережа смотрит на него безразлично, говорит про маленького его сына, но Никодим ничего не может придумать.

– Не знаю, – хрипло говорит он, – не знаю... Надо кормилицу искать. Или что?

Сережа не знает, какую кормилицу. Бабушка крестится в угол и молчит. От Никодима больше ничего не добьешься. Он окаменело сидит в углу, бессмысленно уперев взгляд в пол. Замер. Ни действовать, ни думать не способен.

А Сережа ходит каждый день в больницу. Каждый день вызывает врачиху. Каждый раз узнает, что брат жив.

Надо ведь, соображает Сережа, придумывать ему имя. Время идет...

Заботы о брате постепенно занимают Сережу. Это единственное, что хоть как-то заполняет в нем безмерную пустоту.

Ожидая в больнице веснушчатую врачиху, Сережа тупо разглядывает картинки на стенах. Слушая разговоры женщин, сидящих в вестибюле, он стал смотреть на картинки. Потом прочитал их все, и не по одному разу.

В таблицах давались пояснения, как обращаться с новорожденными – как купать, чем кормить, как закаливать младенцев. Сережа выучил наставления едва ли не наизусть, узнал из женских разговоров, что в городе есть несколько детских консультаций и при них молочные кухни, где новорожденным дают питание.

В школе – с того зловещего, вьюжного дня – он не появлялся. Сначала никто его и не посылал, а потом сам не мог. Он уходил из дому с портфелем, заходил в больницу, потом сидел где-нибудь в кино, едва понимая, что на экране. После кино слонялся по городу, наматывал километров по пятнадцать, не меньше. Это выручало: он приходил домой, ел и сидя засыпал от усталости. Когда узнал про консультации и кухни, стал обходить улицу за улицей, читая вывески. Можно было бы просто спросить, но он, ничего не спрашивая, разыскал нужные ему места, выбирал про себя то, что поближе.

Вероника Макаровна бывает у них иногда. Но чаще Никодим у нее. Всякий раз, когда учительница видит Сережу, она вкрадчиво говорит ему про школу.

– Горю не поможешь, – негромко внушает она. – Ты должен быть сильным. Пора закончить это самоистязание.

Сережа ей не отвечает, молчит. И что ответить – не может он в школу идти, и все, хотя правильно говорит, наверное, Вероника Макаровна, слишком правильно. Особенно про малыша.

– Я тоже была там, – рассказывает она. – Но чем я могу помочь ему, чем? И чем ты ему можешь помочь? Его мама спасти могла бы, только одна она...

«Это верно, – думает Сережа, – ничем он не может помочь брату, но все равно, все равно...»

Утром встал – в больницу: «Жив?» – «Жив!» Потом по городу версты наматывать, потом домой, чтобы кулем свалиться на диван.

Да, две недели полных прошло, как Сережа из школы, не помня себя, выбежал.

Две недели. Галя каждый вечер приходит. Веронику Макаровну повторяет – в школу зовет. Но он не может. Не может, и все тут.

Сережа обрывает листок в календарике. Одевается.

– Ну? – испуганно спрашивает бабушка. – Пошел? С богом! Ты хоть там, – где там, не знает, голос ее растерянным становится, – бутерброд съешь. В портфель положила.

Сережа кивает.

– Готовь лучше приданое, – говорит он. – Скоро братана забирать будем. – Идет к порогу, потом, озабоченный, возвращается. – Ванночка есть? – спрашивает и спохватывается: – Сегодня поглядеть надо, где ванночки продают.

Он идет проторенной дорогой в больницу. Думает о том, что после ванночки придется покупать коляску. Еще погремушки. Это купит сам. Выберет, которые поярче. Заботы о брате вызывают тихую улыбку. Сережа улыбается и сам не понимает, что улыбается первый раз за две недели...

В больнице ждать приходится долго. Веснушчатая врачиха на обходе, смотрит, наверное, этих голопузиков, и он опять сидит.

Наконец она приходит. Садится рядом с Сережей. Разглядывает его внимательно.

– Какой же ты хороший человек, – говорит она серьезно, – так заботишься о ребенке.

– Он болеет, – снова объясняет Сережа и кивает в сторону головой, – он в себя прийти никак не может, бабушка старая, да ей уезжать пора, а мне все равно делать нечего.

– Вот как, – говорит врачиха, разглядывая ноги. – Скажи все же отцу, чтобы пришел.

– Не может он, – упорствует Сережа, – совсем потерялся. Как маленький. Плачет. Боюсь, как бы чего не случилось.

– Ты правду мне говоришь? – недоверчиво спрашивает врачиха. Сережа усердно кивает. – Ну вот... – мнется она, – тогда пока ему не рассказывай. Бабушке скажи... Скажи, маленький умер.

Сережа медленно оборачивается к ней.

– Как? – не понимает он. – Почему умер?

– Мама твоя... Одним словом, он слабеньким был... Да еще без нее остался...

Сережа разглядывает веснушчатое лицо врачихи и говорит невпопад:

– А мы кровать достали...

Врачиха берет его за руку, гладит по голове, он шагает к выходу, забыв попрощаться.

Брат умер...

И брат умер...

Он его никогда не видел и не может сказать поэтому, любит его или нет. Но это маленькое незнакомое существо имело отношение к нему. У них была одна мама. Мамы нет, ее не стало, но существо, рожденное ею, осталось и было его братом. Было, может, последним, что связывало с мамой.

И вот его нет. Можно считать, что и не было. И выходит, мама умерла зря.

Сережа идет с трудом – мешают слезы. Он заходит в какой-то подъезд, прячется за дверь, в угол, и плачет, плачет навзрыд.

Сзади раздаются шаги.

– Эй ты! – произносит старческий голос. – Чего тут делаешь? Ну-ка иди... –

Сереза выскакивает из подъезда.

Он идет быстро. Он спешит. Он не был там целую вечность. И сейчас идет не для того, чтобы заняться моделью.

В кружке на него глядят вопросительно. Работает новая группа, и его не знают. Сереза идет в столярку. Просит материал, объясняет. Руководитель у столяров – старик усач, Сереза знает его, и он знает Серезу – материалы дает.

Испарина выступает на лбу. Сереза старательно строгает доски. Сколачивает ящик. Выходит слегка неуклюже, но что делать. Потом красит ящик марганцовкой, взятой в фотокружке. Несет под мышкой в больницу. Ящик небольшой, но руки оттягивает – не очень сухой материал.

Веснушчатая докторша смотрит на Серезу, ничего не понимая.

– Вот, сколотил, – говорит он подавленно, – сам, поскорей.

– Гроб? – догадывается врачиха, и Сереза кивает. – Мальчик! – говорит она. – Мальчик! Это же очень большой, – но спохватывается. – Ты зря, зря, – говорит она, – мы хороним сами таких маленьких. Понимаешь, сами. Ничего не нужно, пусть только потом придет отец. Когда поправится...

Сереза выходит из больницы с ящиком. Приходит с ним домой.

– Что за чемодан? – спрашивает бабушка.

– Младенец помер, – деловито отвечает Сереза и смотрит на бабушку взрослыми глазами.

Глава 4

Перед бабушкиным отъездом Сереза возвращается в школу. Ребята смотрят на него как на новенького. Да ведь так оно и есть, если подумать. Он теперь совсем иной, чем прежде.

В классе Сереза сидит тихо, не шелохнется. Но мало что слышит. Отвечает вяло, честно говоря, просто плохо. Но учителя его жалеют, ставят тройки. Кроме Литературы. Вероника Макаровна вызывает его часто, задает легкие вопросы, самые легчайшие, не дает до конца ответить, кивает одобрительно, ставит пятерки и четверки.

«Хочет подбодрить, – думает Сереза, – нашла способ!..» Ему эти отметки безразличны, как безразлично все. Почти все.

Он смотрит на Ваську. Ждет, когда обернется. Грустно улыбается ей, ни на кого не обращая внимания.

Сереза ведь и на Галю теперь по-новому смотрит. По-другому видит ее.

Ему кажется, во всем классе ребята как ребята, кроме них с Галей. Остальные – школьники семиклассники, пацанва, а Галя и он – взрослые люди. Им бы не в школе сидеть, на заводе работать, быть вместе с большими, потому что с ребятами им уже неинтересно. Но делать нечего – приходится учиться.

В школу Сереза вернулся из-за Гали. Только из-за нее. Она пришла к ним вечером, после смерти братишки, и вызвала Серезу на лестницу.

Васькины зрачки были расширены, от этого глаза ее казались черными, гипнотизирующими, решительными. Но смотрела она не на Серезу, а куда-то в сторону. И синяя жилка вздрагивала на шее.

– Сереза, – неожиданно сказала она, – поцелуй меня.

– Зачем? – ошарашенно спросил Сереза.

– Поцелуй, – снова велела Галя.

Он наклонился к ней, прикоснулся пересохшими губами к щеке.

– Не так! – сказала Галя. – Как взрослые...

Брякнула дверь, по лестнице кто-то шел. Они отпрянули друг от друга,

отвернувшись к перилам. Пока, насвистывая, прохожий шагал сзади них, сердце у Сережи раскачалось, как маятник.

– Ну, – обернулась Галя, когда шаги стихли.

– Чего ты придумала? – спросил он дрогнувшим голосом.

Сережа разглядывал Галю – ее застывшие от напряжения лицо и влажный лоб.

– Молчи! – сказала Галя, с силой зажмурила глаза и придвинулась к Сереже.

Он прикоснулся губами к ее губам, это вышло неуклюже, странно. Галя оттолкнула его и побежала вниз. Сережа кинулся домой, схватил пальто, помчался за ней и едва догнал задыхаясь.

Они пошли рядом.

– Ты что? – спросил он, потрясенный.

– Не думай, – сказала Галя, глядя в сторону, – я тоже знаю. «Не отдавай поцелуя без любви!» – Она остановилась, сказала горячо: – Но тебя надо встряхнуть, понимаешь! Тебя надо оживить, а то ты тоже умер...

Он заморгал часто-часто и ничего не сказал ей. А наутро пришел в школу.

– Кто тебя научил? – спросил он ее потом.

– Никто, – ответила Галя. – Сама.

Он разглядывал ее посреди уроков, смотрел удивленно потом, когда шли они вместе из школы, и поражался: как сумела она это придумать?

Сережа разглядывал себя как бы со стороны. Жизнь казалась ему тоскливой и серой, и только Галя в этой жизни была исключением.

Он в самом деле оживал... Когда серое, дождливое небо разрезает голубая чистая полоска, человек смотрит именно на нее – уж так он устроен. И тучи расходятся. Так должно быть, потому что этого ждешь. Не вечно же лить дождю...

После майских, когда отметили сорок дней с маминой смерти, бабушка уехала в деревню. На каникулы Сережа должен был приехать к ней, а дальше...

Загадывать надолго никто не хотел, и что будет дальше – об этом не говорили. Бабушка считала – неудобно, надо подождать малость, пока Никодим отойдет. Никодим же молчал.

Никодим вообще вел себя странно.

То он замирал на целый вечер, уставясь в телевизор, и словно не замечал Сережу. То вдруг приносил охапку подарков – книги, сласти, пакеты с коллекционными марками – и весь вечер тараторил без умолку, говоря всякую пустяковину и ерунду. То исчезал дня на два, на три, говорил, пряча глаза, что ночует у матери, и Сережа хозяйничал в доме один: жарил себе яичницу, кипятил чай, мыл потом посуду.

К нему часто приходила тетя Нина, всегда с какой-нибудь едой – то покупала шашлыки в кулинарии или блинчики или приносила торт. Приходила и толстуха с звукооператором Виктором Петровичем, приходили еще какие-то люди, знавшие маму. После них всегда оставались кульки, свертки – Сережа не отказывался от подарков. Он понимал – иначе они обидятся, они знали маму, и эти подарки как бы для нее.

Однажды вечером, когда Никодим а не было, в дверь позвонили. Сережа открыл. Вошли какие-то незнакомые люди, он решил, что опять мамины знакомые, пригласил пройти.

Люди – их было трое, две женщины и старик – внимательно оглядели квартиру: прошли по комнатам, заглянули в кухню. Потом в ванную, в туалет.

Сережа разглядывал их удивленно, мамины знакомые так себя не вели.

– А взрослые когда будут? – спросил старик.

Сережа пожал плечами.

– Ну а у нас, – сказала одна женщина, – однокомнатная и комната. Площадь примерно равная.

Сережа глядел на них непонимающе, никак не мог в толк взять, о чем они.

Старик заметил это.

– Мы по объявлению, – сказал он и назвал адрес. – Эта квартира?

– Эта, – не понял Сережа. – По какому объявлению?

– Объявление на столбе висит: меняют двухкомнатную квартиру на однокомнатную и комнату.

– Это какая-то ошибка, – рассмеялся Сережа. – Мы ничего не меняем. Кто-нибудь пошутил.

– Хороши шутки! – ворчал старик, притворяя за собой дверь.

«Кому в голову такая глупость пришла?» – подумал Сережа и, когда появился Никодим, рассказал ему о странных посетителях.

– Уже приходили? – рассеянно спросил Никодим.

Сережа обмер. Не может быть! Так, значит, это Никодим? Никодим...

Он не верит этому, не верит, что Никодим способен вот так, вдруг...

Ему кажется, миллион лет прошло с тех пор, как мама карточку Никодима порвала. Миллион лет назад он ненавидел его, не хотел, ни за что не хотел, чтобы вдруг стал этот чужой человек маминым мужем. Но потом все как бы переменялось. И это свадебное путешествие. И вся эта жизнь вместе. Он хорошо относился к Никодиму, тот нравился ему...

Но что же случилось? Он думал, так и останется навсегда? Даже после маминой смерти?

Сережу пробирает озноб.

– Поговорим? – предлагает Никодим и усаживается на стул. Глаза у него бегают. От страха? От стыда?

Чего же стыдиться? Кто теперь Никодим Сереже? Никто. Мама их связывала, разве не ясно? Теперь мамы нет. Вот и все. Очень просто.

– Поговорим, – отвечает Сережа с трудом. А сам смотрит мимо Никодима, в зеркало. Разглядывает сам себя.

Обтянутые кожей скулы, прямой и широкий нос, мамины глаза. И вдруг плечи вздрагивают.

Будто стоял он на краю обрыва, подошел к нему кто-то сзади незаметно и толкнул. И вот он летит с обрыва. Летит и не знает, что с ним будет. Не знает, как жить, что делать...

– Понимаешь, Сергей, – говорит Никодим с трудом, – теперь уж ничего не выйдет. – О чем он? – Помнишь, я про загс говорил? – Лицо его покрывается пятнами.

– Помню, – говорит Сережа спокойно. – Но вы не краснейте. Это я понимаю.

– Ты меня никогда не простишь, я знаю, – он потухает, опускает плечи. – Я не простил бы тоже на твоём месте. Но жизнь сильнее нас.

Сережа кивает задумчиво. Да, жизнь сильнее нас. А особенно смерть. Она все меняет. Хороших делает подлецами. Впрочем, хороших ли? Может, они всегда подлецами оставались, только рядом с хорошими это было незаметно.

– Когда ты вырастешь, – говорил Никодим, – и к тебе придет житейская мудрость, ты поймешь... Нам надо разъехаться сейчас. Разделить квартиру. Я ведь еще не старый, хочу устроить свою жизнь.

– Только в следующий раз, – горько говорит ему Сережа, – выбирайте жену помоложе. И чтоб ребенка у нее не было.

Он видит, как замирает взгляд Никодима.

– Я буду тебе помогать, – говорит Никодим. – Мы будем часто встречаться... Ходить в кино... В кафе-мороженое...

В Сереже будто работает странный выключатель. Он то верит в происходящее,

думает, что Никодима нельзя осуждать, – размышляет, как равнодушный старик, – то не верит. Не может поверить, что это все Никодим говорит. Что это он такое придумал. «Щелк-щелк», – работает выключатель, и глаза Сережины то расширяются от непонимания и обиды, то смотрят равнодушно и пусто.

Никодим встает. Торопливо, суетясь, накидывает плащ, объясняет:

– Бабушке я уже написал, она согласна и скоро приедет. За мебель тете Нине деньги отдам я, тоже не волнуйся. Но мебель ты можешь взять любую, хоть всю, понимаешь меня?

– Вот бы, – произносит медленно Сережа, – вот бы мама на вас теперь посмотрела.

Руки у него трясутся, чуть дрожат.

– И еще, Сережа, – говорит Никодим, пряча глаза. – Еще вот что... Понимаешь... как бы сказать. – Он мямлит, топчется, чего-то хочет пояснить, но чего? чего еще объяснять? – Вот что, Сережа, – говорит он, – моя мать, ну, Вероника Макаровна, она тут ни при чем, она меня даже осуждает, но я не хочу, понимаешь, чтобы ее имя... В общем, не говори в школе, ведь мы должны остаться друзьями, верно?

– Конечно, друзьями, – отвечает сдавленно Сережа. – А как же иначе, только друзьями.

Никодим нерешительно топчется в прихожей, словно хочет что-то сказать, пятится к двери, приоткрывает узкую щель, подобострастно улыбаясь Сереже, пролезает в нее. Сережа тупо разглядывает Никодима, не в силах понять его поступков, и вдруг видит за его плечом, на лестничной площадке, знакомое лицо. Вероника Макаровна! «Чего она-то пришла? – думает Сережа. – Сыночка поддержать?» И неожиданно понимает, что Вероника Макаровна не пришла. А стоит тут давно. Что Никодим зашел к Сереже для этого объяснения, а Вероника Макаровна стояла за дверью и ждала, чем все кончится.

Глаза у Вероники Макаровны все время дергаются, смотрят нетвердо, она немного смущена, что Сережа ее увидел. Но что-то ей еще надо. Никодим уже на лестнице, уже отвернулся, готов бежать, готов скатиться колом по лестнице, а Вероника Макаровна все еще стоит перед Сережей, переминается с ноги на ногу.

Потом говорит робко:

– Вон там, в книжном шкафу, два денежных перевода на мамино имя. Ты их получи. Это от твоего отца.

Никодим словно только и ждет этих слов. Срывается вниз по лестнице. Готов скатиться кубарем – куда-то спешит. Литература идет за ним, осторожно переступая со ступеньки на ступеньку.

Все!

Сережа закрывает дверь на запор и прислоняет голову к прохладному косяку.

Было ли это или не было?

Было ли?

Было!

Сережа вспоминает аэродром. Красный, как молния, самолет, падающий на них. И лицо Никодима.

Это было давно, тогда, в дни Сережиного счастья. От того времени ничего не осталось теперь. Рожки да ножки. Да слова. О какой-то еще дружбе. О мебели. О деньгах.

Медленно выплывают из памяти слова Никодима. И еще какая-то фраза.

Деньги от отца. Деньги. Еще какие-то деньги.

Он нехотя роется в книжном шкафу, находит извещения о денежных переводах. Два извещения по сорок рублей. От кого – непонятно, просто адрес и мамина имя.

Сереза мучительно соображает, как быть. Потом одевается, идет на почту – может, там известно.

Он идет неторопливо, обходит лужи. Раньше бы он прыгал через них, а теперь это кажется ему забавой для малолеток.

Высокое здание почты видно издали – Сереза разглядывает шагающие золотистые буквы и смотрит в окна верхнего этажа. Немногие знают, что там радиостудия.

Он вспоминает прошлую весну и день, когда он пришел к маме. Где-то там стеклянное окно во всю стену, «аквариум», обшитый изнутри материей, чтобы не было резонанса. Но у микрофонов, нагнувшись, как цветы, теперь сидит не мама, а кто-то другой, наверное, артистка из театра. Впрочем, может, читают и не они, может, маме нашли хорошую замену, это все равно. Сереза не слушает радио. Проводка в новой квартире есть, есть и динамик, но его Сереза убрал, спрятал на антресоли, в дальний угол...

Почтамт велик, Сереза не сразу разбирается, где тут выдают переводы, стоит в очереди, потом сует голову в окошко... Вот неожиданность: ему улыбается толстуха, жена звукооператора Виктора Петровича. Она скороговоркой выпрашивает Серезу про жизнь, про здоровье, про новости, сует ему конфетку, он отвечает ей односложно – разве расскажешь все! – потом протягивает талончики.

– Это маме прислали, – говорит он.

– Маме? – удивляется толстуха, разглядывая извещение. – Значит, кто-то не знает...

Она исчезает, потом появляется, говорит радостно:

– Договорились! Деньги выдадим тебе! – Но Серезе деньги не нужны, ему надо выяснить, кто послал.

На обороте корешка он читает округлые разборчивые буквы: «Деньги за апрель», «Деньги за май». В конце слов – неразборчивая закорючка, зато обратный адрес выведен ясно: улица, дом, квартира, номер... Авдеев Семен Протасович.

Сереза не понимает, в чем дело, зачем эти деньги, почему? Но слова Никодима жгут его... Врет он все, сивый лопух. Назад отработал, вот и оправдывается... А сердце обрывается... Если допустить только, если представить...

Сереза идет по адресу, указанному в корешке. Быстро находит улицу, дом. У дома много подъездов, вот в этом живет Авдеев. Он медлит. На лавочке сидят пацаны. Сереза справляется о Семене Протасовиче.

– Да вон он идет, – говорит один мальчишка, и Сереза видит рыхлого, полного человека в очках с тонкой, поблескивающей золотом оправой. В одной руке у него толстый портфель, в другой – авоська с молоком и сырками.

– Вас разыскивают, – говорят мальчишки Авдееву.

Он внимательно разглядывает Серезу.

– Что угодно, молодой человек? – Взгляд его цепок, быстр.

– Это вы, – спрашивает Сереза, – посылали деньги Воробьевой? Анне Петровне?
– Он протягивает корешки.

Мгновенье Авдеев стоит застыв. Очки его поблескивают, и за ними не видно выражения глаз.

– Д-да, посылал, – говорит он медленно, потом быстро идет в глубь двора, подальше от мальчишек, то и дело оглядываясь, кивая Серезе и приговаривая: – Иди, иди, мальчик!

Странное поведение мужчины удивляет Серезу, но он идет следом. У детских качелей человек останавливается и спрашивает резко:

– Тебя как звать?

– Не имеет значения, – грубо говорит Сережа, – я только хочу знать, вы ли посылали эти деньги. И зачем?

– Допустим, я, – отвечает мужчина, снимая очки и протирая их. Без очков он выглядит беспомощным, жалким. – Допустим, я, допустим, возвратил Анне Петровне долг. Что дальше?

– Тогда почему здесь написано: «Деньги за апрель», «Деньги за май»?

– Я знаю, тебя зовут Сережа, – говорит Авдеев, надевая очки обратно. Лицо его становится жестким и властным. – Но почему... – Сережа не дает ему договорить:

– Это правда, что вы мой отец?

– Я знал, как это кончится, – жалуется кому-то Авдеев. – Я предупреждал!

– Отец? – Сережа трясется от волнения.

– Ну раз ты догадался...

– Эти деньги вы посылали для меня?

Авдеев кивает.

– Давно?

– всю жизнь... – Он разглядывает Сережу, едва улыбаясь. – Тебе был год, когда я видел тебя в последний раз.

«Какое мне дело, – думает Сережа, – какое дело, когда вы видели меня!..»

Его качает, его даже поташнивает. Отец... Нет, тут что-то не так. Ведь его отец летчик. Он разбился. Испытывал новый самолет, потом небо стало красным, как кровь, потом был взрыв... А тут стоит рыхлый человек с волосатыми руками и мясистым круглым лицом. Отец...

– Впрочем, – говорит Авдеев, – это сентиментальности. Наши с твоей мамой дороги давно разошлись, ты уже взрослый и сможешь понять. К тому же сейчас все проще. Я видел ее с полгода, издалека... Она, кажется, хотела подарить тебе брата, это так?

– Так, – потрясенно отвечает Сережа. – А деньги вы возьмите. – Он протягивает десятки, полученные на почте.

– Понимаю, – говорит, улыбаясь, Авдеев, – времена меняются. Ну что ж, это к лучшему. Но деньги ты отдай маме. Это мое обязательство. У нас ведь и уговор такой был, что я тебя не увижу, этого требовала Аня, ничего не попишешь.

У Сережи кружится голова. Ужасно просто кружится.

– Берите, – говорит он, сует Авдееву деньги и поворачивается.

Он идет со двора и на полдороге останавливается. Нет, все-таки этого не может быть. Он возвращается к Авдееву.

– А вы не летчик? – говорит он с надеждой.

– Нет, инженер, – отвечает Авдеев, – на самолетах и в отпуск не летаю, боюсь!

Сережа поворачивается. Это все. Это конец.

Он идет к воротам.

– Передай привет маме! – говорит вслед Авдеев.

– Ее нет, – отвечает Сережа и резко оборачивается. Он видит толстое лицо Авдеева, губы, расплывшиеся в улыбке, стальные, цепкие, неулыбающиеся глаза. – Она умерла...

Сережа не думает, что говорит, это для него не новость. Для него новость этот отец. Как грохот пушки над самым ухом. Отец! Отец! Его отец, и Сережа не знает, как ему быть, куда ему деваться с этим отцом.

Лицо Авдеева разглаживается, от носа к краешкам губ прорезаются глубокие морщины. Потом Авдеев говорит. Что-то там говорит. До Сережи не сразу доходит смысл слов. Он кивал согласно. Но память возвращает гладкие слова, зацепившиеся за что-то. Как он сказал? Жива ли бабушка, мамина мама? Да, да, жива. Сережа понимает

смысл этих слов, теперь понимает.

– Не страдайте, – говорит он. – К вам не прибегу.

– Сережа! – восклицает Авдеев. – Как ты можешь! Я всегда буду помогать тебе, давай пойдем к вам, теперь же, немедленно, я сделаю все, что надо, обстоятельства переменились, но жизнь сложна, Сережа, судить людей нетрудно, важно их понять...

– Слушайте! – обрывает его Сережа. – Слушайте! – Он молчит, и в паузе складываются слова, последнее решение в этом обмане. – Чего вы разоряетесь? Вас же нет! Вы умерли, понимаете? Разбились на самолете.

Сережа шагает по двору, и тяжелые, будто пудовые, руки тянут вниз. Ему хочется упасть на землю, закрыть руками глаза и ничего, ничего не видеть. Все в нем вывернуто. Будто поднял его кто-то за ноги и встряхнул так, что все внутри оборвал.

В его памяти был отец. Теперь его не стало.

Умерла мама, и исчез отец.

Незрячими глазами выбирает он дорогу к Галиному дому, зовет ее во двор, заводит в какой-то закуток и просит, содрогаясь от страшного, тяжелого плача:

– Васька! Галя! Поцелуй меня! Я жить не могу!..

Глава 5

День рождения...

Год прошел, и опять у Сережи день рождения. Пятнадцать... Совсем взрослый.

Сережа разглядывает Понтю и Ваську и думает, что в сравнении с ними он старик: столько всякого в эти месяцы было.

В комнатке, где живет Сережа с бабушкой после размена, тесно. Он никого не знал, но все пришли сами. Понтю и Галя – просто так, а тетя Нина нанесла гостинцев и даже вина – легкого, красного, похожего на густой морс, и Олег Андреевич наливает на доньшко чашек всем, пропуская лишь Котьку.

– Что ж, Сережа, – говорят он негромко, серьезно, – рано кончилось твое детство, рано началась взрослая жизнь. Но ты должен держаться, должен жить, должен своего добиваться – помнишь, ты же летчиком мечтал стать. Выпьем, друзья, за летчика Сергея Воробьева!

Сережа кривится. Должен, должен! Ничего он не должен. И летчиком он не будет никогда, это все обман, ложь, розовые детские туманы.

Сережа пьет вино – сладкая водичка. Она не оглушает, не отвлекает мысли.

«Что рассуждать? – думает он. – Времена меняются, как сказал его папаша Авдеев. Взгляды меняются. Мнения».

Он раньше все хорошие слова, сказанные людьми, глотал, не прожеывая, словно голодный малек. Переел, видать. Теперь от добрых слов его мутит. Даже если их Олег Андреевич говорит.

Стучат. Бабушка суетливо шаркает к двери, отворяет ее перед Литературой и Никодимом.

Сережа со стуком ставит на стол чашку. Глаза его замирают. Литература тараторит поздравления, обходит стол, хочет поцеловать Сережу в лоб, но он демонстративно уклоняется – что за фокусы! – и она целует его в затылок.

– Вот тебе подарки! – говорит Вероника Макаровна, достает из авоськи мяч, альбом для марок, боксерские перчатки.

Боже, думает Сережа, сколько истратила денег, и мысль о деньгах обжигает его.

– Мне ничего не нужно! – резко говорит он учительнице, но она даже не слышит его, усаживается на табурет, угодливо подставленный бабушкой, приветливо улыбается Гале, Понте, кланяется персонально тете Нине и Олегу Андреевичу, сюсюкает что-то

Котьке.

Никодим отошел, стал круглее, глаже, лицо то и дело ползет в улыбке. Но улыбаться открыто он как бы опасается, словно чего-то стыдится. Сережа нагло разглядывает Никодима, его ухоженный вид, изучает новый светлый костюм – раньше не было! – цветастый галстук – прежде он ненавидел галстуки, ходил вечно с расстегнутым воротом. Сережа замечает, что Никодим смущается, губы у него прыгают, брови шевелятся. Он без нужды причесывает волосы, прокашливается, что-то говорит Олегу Андреевичу.

Сереже делается стыдно.

Кое в чем он разбирается теперь. Немного успокоился и разбирается. В общем-то, Никодим человек не дурной, не злобный, не хитрый, не подлец, и маму он, видно, любил. Но бывают же вот такие люди – они, как амебы, простейшие существа: легко меняют форму. Даже если их разрезать – половинки будут нормально существовать и не догадываться, что они лишь части целого. В природе вообще много всяких чудес. Есть животные, которые меняют цвет в зависимости от окружающей обстановки, температуру тела, могут перестать есть, даже дышать, если нужно. И все для чего? Лишь бы жить. Жить любой ценой, несмотря ни на что.

Никодим такой же. Он встретил маму, и все было прекрасно – разве забудешь то поле возле стога, туман, похожий на молоко, Никодима и маму, собирающих цветы?

Он даже сильным стал: ведь когда Сережа его с Литературой в первый раз увидел, они спорили. Конечно, о маме; о чем же еще? Спорили, и Никодим пришел к ним, и Вероники Макаровны не послушался. Она же хотела, чтоб ему было лучше – сама говорила, – а лучше, значит, не с мамой!

Сильный! Конечно, он сильный. Слабый бы так не поступил – совесть замучила. Впрочем, может, и Никодима мучает, но он сделал свое – и все. Точка.

Чего, в самом деле! Он еще не старый. Ему жить надо. «Горю не поможешь», – внушала Сереже Вероника Макаровна. И сыну своему это же внушила.

«Про деньги это тоже она», – думает Сережа. И при воспоминаниях о деньгах ему хочется вскочить, перевернуть стол, послать всех к чертовой матери. Он проклинает себя, проклинает бабушку за эту слабость – но что, что может поделать? Ведь он, если подумать, продал себя. Продал маму. Она бы на такое никогда не согласилась, у нее хватало и гордости и злости. А он, выходит, пошел. И какое имеет значение, что узнал все после, когда денег уже не стало, и что решила это бабушка одна, не спросив даже его...

Дело было так. Когда они меняли квартиру, тетя Нина очень возмущалась. Она говорила, что Никодим не имеет на нее никаких прав, что квартиру давали маме от работы и она принадлежит только Сереже.

Сереже эти слова не нравились, он осуждал тетю Нину, а Олег Андреевич все время повторял: «Пойми ты, у Никодима есть юридические права».

Двухкомнатную квартиру разменяли на однокомнатную и комнату, Никодим сказал бабушке: выбирайте, что нравится больше. При разговоре была Вероника Макаровна. Она добавила:

– Разъезд, конечно, неравноценный, но если вы выберете комнату, мы компенсируем... Дадим вам триста рублей.

Бабушка оправдывалась потом:

– Ведь у меня же пенсия – всего двадцать четыре рубля, да твоя, за маму, – сорок. Разве проживешь на это? Порешай-ка арифметику: питание, квартира, одежда – ты ведь так и лезешь из нее.

Сережа свирепел, слушая бабушкины объяснения. Но последним доводом она его убедила.

– А за мебель, которую себе взяли, надо с тетей Ниной рассчитаться? Или хочешь, чтобы Никодим платил? Он предлагает, нате...

Сережа помнит, он действительно предлагал.

– Чем эту подачку брать, – возмущается бабушка, – я уж лучше законную разницу за жилплощадь получу.

Много раз они говорили об этом. Обсуждали со всех сторон. И выходит, Никодим тут ни при чем. Они как бы сами продали однокомнатную квартиру.

Сережа разглядывает своих бывших родственников. Едва они вошли, в комнате стало как-то напряженно. Все говорят, улыбаются, как и раньше, но неестественно, скованно. Вероника Макаровна, кажется, чувствует это, но старается не замечать. Воркует о чем-то с бабушкой, та вздыхает, кивает головой, с ней согласная. В общем, по всему выходит, учительница тут ни при чем. Так ей хочется, вот что. Это дела Никодима, она же – Сережина учительница, и только. Мало ли что! Не она ведь въехала в эту однокомнатную квартиру. У нее своя жилплощадь имеется.

Наконец Литература встает, раскланивается со всеми, расточая улыбки и добрые слова, Никодим повторяет все ее движения, они уходят.

– Зря ты переживаешь, – говорит Сереже тетя Нина, – надо было только не триста, а пятьсот взять, квартира все-таки мамина была.

– Знаете что, – неожиданно отвечает Сережа, – больше я в школу не пойду. Устроюсь работать. – Он усмехается. – В конце концов, надо на что-то жить.

В комнате становится тихо. Потом плачет бабушка.

– Разве же затем, – всхлипывает она, – я в деревне дом заколотила, к тебе приехала? Тебе учиться осталось три года.

– В школе три года, да потом пять лет, – вздохнув, говорит Сережа, – нет, не выйдет, долго ждать.

Чего ждать? Он знает чего. Того дня, когда будут у него эти проклятые триста рублей. Нет, не понимает тетя Нина его. Не нужны им эти сотни. И папашины деньги не нужны. Разве же не ясно – этими деньгами они откупаются от него. Хотят благородными быть. Пусть подавятся благородством своим.

Сережа смеется.словно с него спал какой-то груз.

– Олег Андреевич! – говорит он. – Тетя Нина! Помогите устроиться! Чтоб рублей сто получать.

– Сто – это много, – улыбается Олег Андреевич. – Чтоб сто получить, надо специальность иметь. Да и куда тебе столько...

– Нужно! – мрачно отвечает Сережа.

– А что, может, и в самом деле! – Олег Андреевич обнимает тетю Нину за плечи. – Может, пусть поработает. А учиться можно и вечером.

– Что бы сказала Аня? – задумчиво отвечает тетя Нина, вздыхает и с жалостью смотрит на Сережу.

– Вот вопрос – куда? – Олег Андреевич чешет лоб.

– Никакого вопроса, – отвечает спокойно тетя Нина. – К нам, на студию. Будет под моим присмотром. И Аню там знают...

Глава 6

Сережа дежурит через день.

Должность у него – осветитель, платят семьдесят рублей, вполне прилично, он же еще несовершеннолетний, то есть не совсем полноценный работник.

Сереже на телевидении все нравится! Тут всегда праздник!

Вечером перед передачей вспыхивают гирлянды мощных ламп, тетя Нина,

непохожая на себя, подгримированная какой-то яичной пудрой, усаживается за низенький столик, в последний раз листает текст – бумаги с напечатанными на машинке сообщениями, звукооператор подкатывает к ней «журавля» – микрофон, подвешенный к специальной металлической мачте с колесиками, операторы двигают, наваясь всем телом, как докеры, свои тяжелые камеры, фиолетово сверкают объективы, прицеленные в тетю Нину.

Вдоль всей студийной стены, под потолком, звуконепроницаемое стекло, как на радиостудии, но только больше, и за ним, у пульта с десятками рычажков, контрольных экранов, кнопочек и лампочек, сидят режиссер и его ассистент. Помощник режиссера носится в это время по студии с наушниками, на голове, выполняет неслышимые команды начальства.

Потом шелкает табло, мерцает слово – краткое, как приказ: «Передача!» – и тут же на какой-нибудь камере вспыхивает красный глазок.

– Добрый вечер, товарищи! – улыбается тетя Нина. – Начинаем нашу вечернюю программу!

В студию врывается музыка, помощник режиссера двигает заставку-картинку, нарисованную на картоне, – там цветы, или пейзаж, или название передачи, операторы крутят ручки своих камер, и камеры нехотя поднимаются на высоту, наклоняют их – выбирают ракурсы...

Сережина работа проста. Под руководством Андрона, старшего осветителя, он наводит свет на выступающих, если надо, выставляет отражатели, добивается, чтобы не было ненужных теней, чтобы, к примеру, носы не бросали тени на щеки, словом, стремится к качественному освещению лиц, фона, если надо – всей студии.

К тем, кого надо «высвечивать», как говорит Андрон, относится и тетя Нина. Сережа делает это с улыбкой и удовольствием, тайком разглядывая, как она «собирается» перед передачей, выбирает позу, как шевелит губами, «разрабатывая» их. Глаза у тети Нины светятся, и он думает, что она удивительно походит на маму. Не внешне, нет, а вот всем этим ежевечерним волнением перед эфиром, маленькими приготовлениями, которые на первый взгляд ничего не значат, но в самом деле означают многое.

Установив свет, Сережа шепчет шутливо тете Нине начало скороговорки, такого специального упражнения для дикции:

– В шалаше шуршит шелками!

Она кивает ему, понимает, что Сережа волнуется за нее, продолжает строчку:

– Желтый дервиш³⁰¹ из Алжира!

– И, жонглируя ножами, – смеется Сережа.

– Штуку кушает инжира!

– Тихо, тихо, – кричит по радио режиссер. – Разбаловались, детки! Трехминутная готовность!

Сережа отходит на цыпочках в отведенный ему уголок, садится и молчит как мышь. Он тут просто осветитель – и все. И не должен путаться под ногами.

Часто после традиционных «Новостей» всем, кто в студии, делать нечего до самого конца – когда диктор прощается со зрителями. Гаснут лампы, выключаются камеры. Режиссер на пульте курит, скинув пиджак, или даже дремлет. Остальные смотрят фильм по монитору или телевизорам, установленным в фойе, а Сережа любит поговорить с тетей Ниной.

Они сидят в дикторской перед большими зеркалами, отражаются в них многократно, и тетя Нина рассказывает случаи из практики Олега Андреевича, или про

³⁰¹ Дервиш – нищенствующий монах у мусульман.

Котьку, или про маму – каким хорошим она была радиодиктором, таких в стране немного, а в провинции не сыщешь днем с огнем. Сережа любит слушать рассказы про маму, а тетя Нина объясняет, что у каждого диктора должно быть свое лицо – творческое лицо, – своя манера, свой голос, непохожий на другие, так чтобы тебя узнавали сразу, без объявлений, и у мамы все это было.

– Ведь в том, что я диктором стала, – говорит тетя Нина, – твоя мама виновата. Я заканчивала институт, участвовала в самодеятельности – стихи читала, и вот нас пригласили записаться на радио. Твоя мама долго разглядывала меня сквозь окошко в радиостудии – я вела студенческий концерт, а потом ухватила меня за рукав, все про меня выспросила, наговорила кучу слов про мой талант и сюда привела. Вот я и не инженер, а диктор. – Тетя Нина улыбается тихо, наверное, вспоминает маму. – Так что Аня – моя крестная мать.

– А не жалеете, – спрашивает Сережа, – что не инженер?

– Нет! – уверенно говорит тетя Нина. – Твоя мама влюбила меня в эту профессию.

Сережа внимательно разглядывает тетю Нину. Не верит он теперь красивым словам, но тетя Нина говорит искренне и про себя, отчего же ей не верить?

Они молчат. Сережа думает про маму, про непонятный ее обман, вспоминать о котором нет сил. Но надо, приходится.

– Тетя Нина! – говорит Сережа задумчиво. – А вы знали? Про отца?

– Нет, – отвечает тетя Нина, – не знала. Только накануне, как в больницу лечь, Аня мне рассказала. Словно предчувствовала... – Тетя Нина молчит, словно колеблется. – Этот Авдеев, – говорит она, – может, и неплохой человек. Он ушел к другой женщине, и мама вычеркнула его из своей жизни. Но она считала, что ты не можешь быть без отца. Пусть выдуманного.

– Почему же она лгала? – не понимает все-таки Сережа.

– Не лгала! – останавливает его тетя Нина. – Ты считай, не лгала! – Тетя Нина смотрит на Сережу серьезно, требовательно. – Считай, что отец твой летчик, что он погиб, испытывая самолет. Ты подумай только: так мама хотела!

Сережа думает. Мучительно думает.

Что ж, думает Сережа, пусть так и остается? Этот мамин обман? Пусть отец его считается погибшим летчиком? Но где его могила? Где его фотографии? Не зря же их нет, ведь невозможно же потерять сразу все, абсолютно все существующие фотографии... Так и жить, представляя вместо отца то Гагарина, то Чкалова, то неизвестных летчиков в высотных костюмах? Нет, это невозможно. Нельзя всю жизнь врать – себе, своим товарищам, потом, когда станет взрослым, детям своим. Мама говорила: у каждого человека есть продолжение, будет оно у Сережи, но что ж, тогда и у лжи продолжение будет? Ведь не смогут же внуки неизвестного летчика думать о нем так, как думал Сережа...

Мысли у Сережи совсем не мальчишечьи. И разве их передашь? Разве расскажешь все тете Нине?

Он напряженно молчит. Если бы взрослые лучше детей видели! Внимательнее на них смотрели! Не просто, как взрослые на детей, а как взрослые на маленьких взрослых. Как равные на равных, как мужчины на будущих мужчин и как женщины на будущих женщин...

Сережа разглядывает тетю Нину. Она красивая, счастливая, и сердце у нее доброе. Вот она и Сережу утешает, говорит, пусть так и будет, как мама выдумала.

Тетя Нина говорит это, потому что старается Сережу утешить. Потому что считает – он еще ребенок. Хочет не хочет, а смотрит на него как взрослая – сверху вниз...

Дети все-таки друг друга лучше видят. Вот Сережа Котьку, например.

Тетя Нина же Сережу не понимает. Видит, слышит и не понимает, потому что любит маму, любит Сережу и хочет все пригладить, успокоить, утешить.

Дети лучше понимают друг друга, думает Сережа и задумывается перед следующим вопросом, просто спотыкается о него: а вот взрослые понимают ли друг друга, как дети?

Глава 7

– Ты мужик али дите? – дурачась, спрашивает Андрон.

Сережа держит деньги, свою первую получку, и рот у него до ушей. Надо отложить немного, думает он, для тех трех сотен, остальное отдать бабушке, пусть больше не ворчит и не плачет.

Вечно у них из-за денег руготня. А недавно настоящая битва вышла.

Сережа собрался в магазин, полез к бабушке в кофту за деньгами, а вытащил квиток от денежного перевода. Его аж пот прошиб – опять от этого папаши! И нате вам – на бабушкино имя!

Он устроил допрос с пристрастием, сперва бабушка округляла глаза, делала невинный вид, потом разревелась и все рассказала. По порядку.

Знала она, единственная из всех, чей Сережа сын. Знала фамилию его, имя, отчество, поэтому, когда переводы приходиться перестали, испугалась – мол, услышал про маму и затих, выяснила адрес и явилась.

То ли просила его бабушка, а верней всего, сам предложил – этого уж Сережа добиться не мог, но Авдеев опять прислал перевод.

– Ты отвечай за себя! – кричал Сережа бабушке. – А за меня нечего! Я работаю, поняла, мне его подачки не нужны.

Он велел ей дать сорок рублей, пошел на почту и отправил деньги обратно. Заполняя бланк, Сережа подумал и написал там, где оставлено место для письма:

«В ваших деньгах не нуждаюсь, буду всегда возвращать». В конце он хотел расписаться, поставить, как Авдеев, неразборчивую каракулю. Но раздумал. Вывел ясную букву С...

А вот сегодня у С, у Сережи, свои, не зависимые ни от кого деньги.

– Ну как, мужик али дите? – повторяет Андрон. – Давай скинемся – обмыть же надо трудовое начало!

Сережа выкладывает не раздумывая, трешку, остальные прячет в карман.

– Ну идем! – велит старший осветитель и сокрушается: – Вот беда – послать бы тебя, да не дадут – ведь несовершеннолетний.

Сережа ждет его в парке возле студии. Андрон исчезает и быстро возвращается с двумя бутылками и пирожками.

– Гляди не подведи, – предупреждает он, – а то узнают, что с несовершеннолетним пил, еще выгонят.

Лицо у Андрона маленькое, с кулачок, какое-то иссохшее, в глубоких бороздах морщин и местами шелушится. Сколько ему лет – не поймешь: не молодой, не старый. Бородка тощая, рыжая, клинышком. Он разливает портвейн по бумажным стаканчикам – себе полный, Сереже – половину, лицо его благостно разглаживается, еще немного, и он замурлычет от удовольствия.

– За начало трудового пути! – предлагает Андрон. – И пусть в этом пути будет побольше передышек!

Они пьют, заедают пирожками – вино сразу ударяет Сереже в голову, ему становится тепло, он разглядывает Андрона с любовью и уважением, кивает, соглашаясь с его словами.

– Работа, она как гора! – философствует Андрон. – На нее сразу не вбежишь. Да и к чему? Впереди у тебя много лет, силы экономь, пригодятся. Сделал рывочек – передохни, сходи в отпуск, возьми бюллетенчик, пораньше с работы отпросись, пока несовершеннолетний.

Он расплескивает еще.

– И не рвись! – поучает. – Не рвись ввысь! А то что за жизнь, сам подумай! Работать да еще учиться! Потом опять учиться! Да снова учиться! Кончишь вуз, заработал корочки, а уж устал, помереть охота. Но это только начало, выясняется. Дальше стараться надо! Перед кем-то выпендриваться, других оттеснять, выдвигаться! Тьфу на все это! Плюнуть и растереть.

Андрон плюет, но плевков свой не растирает. Разливает еще.

Кусты, за которыми они сидят, шевелятся, Андрон суетливо прячет бутылку за пазуху – перед ними стоит дружинник. Сережа разглядывает его внимательно: у дружинника скрючена шея.

– Э! – вскакивает Сережа. Он узнал дядю Ваню, балагура из больницы, соседа по палате.

– Ничего, ничего! – говорит дядя Ваня кому-то за кустом. – Тут свои! Наши! – Он присаживается к Сереже, отнимает у него бумажный стаканчик, подставляет его Андруну. – Дай-ка лучше мне!

Андрон успокаивается, жмет руку дяде Ване, объясняет:

– Первую получку обмываем!

– А ты че? – говорит дядя Ваня. – Работаешь? А нашто?

– Мама у меня померла, – спокойно отвечает Сережа. Он вспоминает, как соврал тогда дяде Ване, что Никодим его отец, и хладнокровно восстанавливает истину: – А тот-то, помните? Он не отец...

– Отчим? – спрашивает дядя Ваня.

– Нет... Просто так... Никто...

Теперь Сережа лежит в траве, разглядывает осотовые шишечки и края лопухов, которые обрамляют небо. Ему хорошо. Чуть-чуть клонит в дрему, но он не спит, слушает, как философствует Андрон.

– Мы тут про жизнь, – объясняет тот дяде Ване. – Значит, на чем я остановился? Ну да! Плюнуть и растереть! Жить надо неспешно, куда торопиться, себя надирать – на тот свет? Поспеется. А на том свете все меж собою равны. И достигшие. И недостижшие. Недостижшим-то еще и лучше, поди-ка. Хоть вспомнить есть что: жил, мол, удовольствия ради, а не бежал наперегонки с другими. Ты вот кто? – обращается Андрон к дяде Ване. – Асфальтировщик? На катке? Прально! Прально! Мудро, я бы сказал! Я вот тоже всего-навсего осветитель. Лампочками освещаю людей. Не бог весть, слышь? И не надо! Я не гордый. Я и так проживу, пусть другие ломаются: призвания, мечтания, тьфу – растереть и плюнуть!

«Ха, летчиком я хотел стать, – думает Сережа, – а вот и не буду. Буду осветителем, как Андрон, – просто и тихо. И не надо ломать голову, биться, выпендриваться, все верно он говорит».

Андрон молчит, допивает свой портвейн, а дядя Ваня говорит задумчиво:

– Заберу, однако, я тебя.

– За что? – поражается Андрон. – Вместе же пили!

– Вместе, – грустно соглашается дядя Ваня, – но я тебя не за это заберу. А за слова твои, понял? За твою философию. – Он берет Андруна за грудки, притягивает к себе. – Житуха-то ему и так не больно сверкает, понял? Так ее веселить надо, понял, а не паскудить, как ты! Масло в огонь не подливать, да еще мальчонке! – Он поднимает Андруна на ноги. – А ну давай, Лев Толстой! Пошли к богу!

Сережа хохочет. Ну просто заливается. У Андрона на лице страх – того и гляди в штаны напустит. Он же не знает, какой дядя Ваня балагур.

– Кончай! – говорит он дяде Ване. – Не тронь. Он мой шеф!

– Шеф! – восклицает дядя Ваня. – Такой же шеф, как я японский император.

Сережа представляет дядю Ваню в японском кимоно и опять хохочет. Балагур плюет в досаде, поворачивается, исчезает за кустами, но тут же возвращается.

– Тогда я тебя заберу! – говорит он Сереже. – Вставай. Пошли отсюда!

Андрон разводит руками.

Вот он похож на японского императора. Сидит под кустом, ноги калачиком, руки развел, перед ним, в траве, пустая бутылка, как священный светильник.

Глава 8

– Поди-ка, не емши? – спрашивает его дядя Ваня.

Сережа мотает головой. Все кружится перед ним, но ему весело. Дядя Ваня держит его под руку, куда-то ведет, и вдруг они оказываются в маленькой комнате, за столом, перед ними дымится вареная картошка, а рядом сидят три лупоглазых пацана мал мала меньше и невысокая тетенька. Сережа узнал дяди Ванину жену, пацанов, которые приходили все вместе в больницу, тыкает вилкой в картошку, но все время отчего-то промахивается.

– Ишь развезло, – говорит жалеючи дяди Ванина жена.

Сереже неловко.

– Я сегодня зарплату обмывал, – говорит он.

– Слышь-ка, – стучит дядя Ваня пальцем по краю столешницы. Палец у него твердый, как бы закаменелый, и стук от этого получается громкий. – Слышь-ка, – говорит он, – ты этому черту с бородкой не поддавайся. Не возжайся с ним, хоть он начальник твой. Обернуться не успеешь, голову закрутит, пустомел. Разве ж можно с такими идеями жить? В гроб только ложиться да помирать. А человек жить обязан.

– Че ты, че ты! – тараторит Сережа, изо всех сил держа глаза открытыми. – Он все прально. Без болтологии. Как в жизни, как на самом деле...

– Не как в жизни, – качает головой дядя Ваня. – Слабый он просто, понимаешь? Не повезло ему когда-нибудь, вот он и скис, придумал слова разные, чтоб оправдываться... Он ведь эти слова-то даже не тебе говорит, а самому себе. Себе внушает, что он правый, а остальные дураки.

Сережа молчит. Думает.

– Если несчастье случилось или не повезло, надо, наоборот, сильнее быть, злей даже. Повезло не повезло! Жизнь ведь не сани, никуда не везет, надо самому жизнь двигать!

Они выходят на улицу.

– Продышаться тебе надо, – говорит дядя Ваня.

Сережа втягивает в себя прохладный вечерний воздух, голова свежеет, и в сон уже не тянет.

– Промежду прочим, – говорит дядя Ваня, – люди пьют с радости или с горя. Ну, понятно, получка – праздник, отметить можно, хотя скажу прямо: если бы мой пришел так нагостевавшись, выдрал бы как сивого мерина!

Дядя Ваня кипятится, а вовсе не балагурит. Что-то всерьез все принимает.

– Конечно! – говорит Сережа. – По-твоему, мы чаем с пирожными отмечать свои праздники должны? Сами пьете, а мы что – хуже вас? – Он задирает дядю Ваню. – Сам-то шею как сломал? А?

Дядя Ваня молчит, сжимает и разжимает кулаки, нервничает.

– Ишь въедливый какой! – сердится он. – Дети должны быть лучше родителей. Такое даже выражение есть, черт бы тебя побрал!

– Вот-вот, – отвечает Сережа, – дети – должны. А взрослые – не должны.

Дядя Ваня не согласен с Сережей, но ему не хватает слов, что ли. Доказательств.

– Пойми ты! – восклицает он. – У взрослых жизнь труднее, вот, например, я...

Он умолкает. Сережа приготовился смеяться – раз про себя, значит, смешное. Ему кажется, у дяди Вани вся жизнь очень забавная, одни нелепые происшествия, как тогда – из окна в клумбу свалился.

– Ну слушай, раз так, – говорит дядя Ваня, а морщины на его лице делаются глубже. – Никому не говорил, даже жена не знает, поэтому молчи, будь мужиком. Вот эта жена, которую ты знаешь – говорит дядя Ваня, – у меня вторая. На первой, на Нюре, женился я до войны, молодым, совсем мальчонкой. И было двое детей у нас – две дочки. Вот. А потом война началась. Мы в Орле жили. Я ушел на фронт, сразу же попал в окружение, когда вышел, написал домой. Ответа нет. Пишу соседям, мало ли, думаю, эвакуировались куда, а назад получаю известие. – Дядя Ваня закуривает, и Сережа видит, как мелко вздрагивают у него руки. Дядя Ванина тревога незаметно передается и ему, он уже не смеется, не ждет забавного, а слушает внимательно, напряженно. – Получаю известие, – повторяет дядя Ваня, и голос его хрипнет, – что бомба, в общем – прямое попадание в щель, где они прятались. Детей сразу, на месте, жена умерла в больнице. Незадолго, пишут, перед тем получила обо мне извещение – пропал без вести.

Дядя Ваня вздыхает, долго молчит. Пускает через нос дым, окутывается табачным облаком.

– Ну вот, – говорит, затапывая папиросу. – Вышел я из войны, помотался по белу свету. Долго плутал, никак своего найти не мог. Потом вот Асю встретил, поженились, детишек родили, все вроде как заросло – не то еще зарастает. А в прошлом году весной поехал я на юг, в санаторий, по профсоюзной путевочке. Иду как-то утречком по берегу, любуюсь прибором и вдруг, представляешь, вижу – идет навстречу мне Нюра. Седая, правда, старая, как я, но Нюра... Остановились мы друг против друга, потом навстречу бросились! – Дядя Ваня вздыхает, трет лоб, не знает, куда руки деть, пальцы сгибает и разгибает. – Вишь, как выходит. И радоваться вроде надо. А вроде и плакать. Нюра в госпитале тогда не померла, хотя плоха была, – ее эвакуировали. Ожила, после войны замуж вышла: считала меня погибшим. Тоже дети есть, семья... Вот и посоветуй, – оборачивается к Сереже дядя Ваня, – как быть? И любим-то мы с ней друг дружку по-старому. Может, и крепче еще. И семьи наши новые ломать права не имеем.

– Почему? – спрашивает Сережа. – Ведь встретили же! Все слава богу!

– Почему? – переспрашивает дядя Ваня и горько усмехается. – А потому. Из-за детей.

Из-за детей! Сережа сжимает шершавый дяди Ванин кулак, благодарность теплой волной захлестывает его. Благодарность и горе.

– Оттого и пил я, – говорит дядя Ваня. – Через это и с подоконника упал, черт бы меня побрал.

Теперь этот случай не кажется больше смешным. Сережа разглядывает в темноте дяди Ванино лицо.

– А вот мой, – говорит Сережа, кусая губы, – обо мне не думал.

– Живой он у тебя, настоящий-то? – спрашивает дядя Ваня.

– Живой, – отвечает Сережа.

– Эх, дела! – говорит дядя Ваня. – Но ты, того, не хнычь, не распускайся. Волю свою держи. Бывает, что надо переступить себя.

– Переступить! – восклицает Сережа и повторяет задумавшись: – Переступить...

Дядя Ваня переступил для детей, это ясно, для своих детей. Сережа, коли надо, десять раз себя переступит. Ну а сейчас-то? Через что переступить? Почему? Зачем?

Сережа шагает домой и думает о дяде Ване. Тот сказал ему на прощанье несколько слов, и эти слова только теперь доходят до Сережи. Он сказал, что у той Нюры, первой своей жены, не спросил даже адреса. И новой фамилии. Чтобы не было никакого пути назад.

– Пусть будет, как было, – сказал он ей, и она согласилась.

Сережа вздрагивает. Это кажется невероятным! Живые люди считают себя мертвыми!

Он вспоминает ребят дяди Вани: а ведь правда, они не виноваты! Но и это еще не все. Можно невиноватых виноватыми сделать. Важно – думать, важно – беречь, важно себя для других не жалеть, вот что.

Сережа невольно думает про Авдеева. Это не имеет значения, что случилось у них с мамой. Почему он бросил их. Важно – бросил. Не захотел подумать, уберечь, важно, что себя пожалел.

А может, не так? Может, все по-другому?

Может, это мама бросила его?

Но это все равно. Мама бы не ушла просто так. Просто так ничего не бывает. И теперь вот он, Сережа, должен думать о нем.

Зачем? Зачем он взялся из этой маминой тайны? Зачем он убил того, Сережиного отца, – пусть с разными лицами, но хорошего, доброго, несчастливое?

Сережу знобит от бескрайней обиды. Он с ненавистью сжимает зубы. И вдруг бежит.

Он бежит не домой – к Авдееву.

Сережина тень то обгоняет его, то на мгновение отстает. Фонари бросают блики на его вспотевшее, влажное лицо. Голова кружится.

Уже темно, в окнах гаснет свет.

Сережа врывается во двор, где живет папаша, и орет во все горло:

– Авдеев! Авдеев!

Вспыхивает свет в окнах на третьем этаже. Кто-то в майке выходит на балкон.

– Кто там? – хрипло говорит человек.

– Зачем ты явился? Кто тебя просил? – кричит Сережа.

– Не делай глупостей, Сережа! – отвечает тень на балконе.

Сережа стремительно наклоняется, подхватывает с земли камень и швыряет в авдеевское окно.

Раздается грохот.

– Есть! – шепчет себе Сережа и поднимает еще камень.

Снова звенит стекло.

– На! – кричит Сережа. – На, гад! Получай!

В соседних окнах загораются огни. На балконы выбегают люди, словно поглядеть на пожар, что-то кричат, но Сереже все равно – что...

Часть четвертая

Побег

Глава 1

Бабушка стоит посреди комнаты босиком, в длинной белой рубахе – настоящее привидение. Косички дрожат у нее на плечах – она плачет, но в руке держит ремень.

– По ночам шляешься! – говорит бабушка, стараясь быть грозной.

Сережа обнимает ее, целует, поднатужившись, отрывает от пола.

– Господи! – плачет бабушка. – И пьяный! – Но Сережа лезет в карман, поднимает над головой несколько цветных бумажек – свою зарплату.

Слезы у бабушки просыхают.

– Не знаю, об чем и думать, – говорит она. – Куда бежать – то ли в морг, то ли в милицию?

Она накидывает халатик, приносит Сереже молоко, хлеб, колбасу.

Сережа жадно ест. Потом ложится на раскладушку, разглядывает цветочки на дешевеньких обоях, которыми бабушка оклеила комнатку. Как у Пушкина, думает он: «Воротился старик, – глядь – стоит прежняя избушка, на пороге сидит его старуха, перед ней разбитое корыто...» Много захотел очень, издевается он над собой, проваливаясь в сон. Сыном стать... Брата или сестру...

Он просыпается от толчков. Ничего не понимая, открывает глаза. Бабушка трясет его за плечо.

– За тобой пришли! – плачет она. – Что наделал-то?

Он встает, подходит в трусах к столу.

Возле двери – молоденький милиционер. За ним – Авдеев и какая-то женщина.

– А! – говорит Сережа, не удивляясь. – Здрасьте-пожалте, гости добрые!

– Он еще и острит! – говорит милиционер. Во все щеки у него румянец. Будто отлежал. Но слова говорит серьезные: – Давай-ка одевайся!

Сережа натягивает штаны, причесывается, целует бабушку в щеку и говорит ей:

– Ты не волнуйся! Спи! Я просто папаше окна выставил!

– Окна ты выставил не папаше, – говорит милиционер, присаживаясь, – а совсем другим людям.

Другим людям! В Сереже что-то обрывается. Какая глупость! Почему – другим?

Сережа молчит, растерянно глядит на бабушку и клянет себя. Ведь это из-за него растянула она толстые губы, как девчонка, плачет без удержу, надевает при всех платье. Он прикрывает ее собой, говорит посторонним:

– Отвернитесь, чего уставились? – А сам думает: «Дурак проклятый, чего натворил!»

– Товарищ сержант, – говорит Авдеев, – но мы же уже договорились с Клавдией Петровной, – он глядит на кивающую женщину, – полюбовно, так сказать, миром, я все оплачу, и к мальчику у нас больше нет претензий...

– У вас к нему нет, а у меня есть, – отвечает милиционер, – я, если хотите знать, о вашем же сыне беспокоюсь, хоть вы и порознь живете. Сегодня вам окно высадит, а завтра кем он станет?

Милиционер постукивает карандашиком.

– Мы фиксируем, – втолковывает он Авдееву, – все факты хулиганства подростков и, если вот бабуся с ним не справляется, путевочку в колонию выпишем.

Сережа разглядывает милиционера и никак не может простить себе оплошку. И вдруг поражается: но за что же он хотел выбить окно Авдееву? Кто ему этот человек? Сам же говорил: его нет, не существует!

На душе муторно, как-то липко.

– Знаете, – говорит он, – вы меня простите, это вышло как-то случайно, я выпил.

– Ну вот! – хлопает белесыми ресницами милиционер. – Как говорится в худфильме – признание прокурора президенту республики³⁰².

Он распахивает блокнот, начинает что-то быстро строчить, зернышко карандаша громко шуршит под сильным нажимом.

³⁰² «Признание комиссара полиции прокурору республики» – популярный в СССР итальянский художественный фильм (1971) о борьбе с мафией.

– Товарищ милиционер! – взывает к нему Авдеев.
– Мы же договорились, – неуверенно просит пострадавшая Клавдия Петровна. Бабушка снова плачет, но сержант их не слышит.
– Значит, вы с ними не живете, – говорит он как бы сам себе, но обращаясь к Авдееву. – С мальчиком одна бабушка. Как фамилия? – Он мельком вскидывает на нее глаза. – Подросток хулиганит в пьяном виде, и уследить за ним некому.
– погоди! – говорит бабушка. В глазах у нее решимость.
Милиционер перестает писать, снимает наконец фуражку, сурово оглядывает бабушку, не в силах понять, по какой такой причине она сбивает его мысль.
– погоди! – повторяет бабушка. – Есть еще кому за него заступиться, у него еще отчим имеется.
– Где же он? – удивляется милиционер.
Бабушка суетится, бормочет под нос:
– Сей минут, сей минут! – Потом бросается к выходу, кричит: – Я ему позвоню!
Сережа досадует на бабушку, клянет себя за дурость, за непростительную свою ошибку и объясняет:
– Она же зря пошла, понимаете, отчим со мной не живет, он ушел после мамы, и вообще ведь виноват я...
Милиционер разглядывает Сережу – слушает и не слушает. Потом спрашивает:
– Что пил-то? И с кем?
– Портвейн, – отвечает Сережа, а дальше врет: – На именинах у одного мальчика...
– На именинах, – вздыхает милиционер, в голосе его Сережа не слышит прежней решимости. – В первый раз?
– В первый, – говорит Сережа.
– Если штраф надо, товарищ сержант, – перебивает его Авдеев, – вы сразу скажите, я готов хоть сейчас, все-таки Сережа – мой сын, я обязан.
Гнев душит Сережу: «Все-таки сын»!
– Товарищ Авдеев! – дрожащим голосом произносит Сережа, и отец его испуганно сверкает очками. – Товарищ Авдеев! – зло повторяет он. – Что вы тут меня защищаете! Что вы все откупаетесь! Я не нищий, я работаю и без ваших забот обойдусь!
Милиционер поднимается, прохаживается по комнате, пуская за собой папиросный дым. Сережу колотит. Он не верит Авдееву. Он точно знает, что Авдееву надо все пригладить. Чтоб никто ничего не подумал...
Щелкает замок. На пороге стоит бабушка. Косички снова развязались и болтаются на плечах.
– Не пошел, – произносит она растерянно. – Я, говорит, сплю и все равно с вами не живу. Не отвечаю.
Милиционер останавливается, задумчиво глядит на бабушку, дымит папиросой. Потом подходит к столу, сует в карман свой блокнот и молча выходит. За ним исчезает женщина. Авдеев на пороге оборачивается.
– Эх ты! – говорит он и шевелит желваками. Потом плотно прикрывает дверь.
Сережа облегченно вздыхает.
– Глупенькая ты моя, – говорит он бабушке и, как маленькую, гладит ее по голове.
А бабушка опять плачет.
Потихоньку бабушка затихает, и чем тише всхлипывает она, тем больше саднит Сереже душу, колет досада на самого себя, жжет собственная несправедливость.

Глава 2

Сережа просыпается рано, еще нет шести. Медленно обходит квартиру. Собирает в авоську Никодимовы подарки. Альбом с марками. Книги. Боксерские перчатки. Ласты, трубку, маску. Футбольный мяч. Выводит из угла велосипед.

Он стирает ладошкой пыль с зеркала, глядится в него. Год только... Целый год...

Сережа вспоминает, как свалился, заглядевшись на себя в это зеркальце... Глупый был, совсем пацан.

Из всех Никодимовых подарков Сереже жаль только велик. Да и то не потому, что он ему нужен. На велосипеде он катался в прошлом году – нынче ни разу не сел даже. Просто потому... В общем, ясно.

Велики привезли тогда Валентин и Колька. Ехали на похороны, а про них не забыли – вот такая деревенская привычка. Поставили тихо в чуланчике у дворника на старой квартире. И вот Сережин здесь.

Да какой он Сережин? Никодимов. Все это добро Никодимово, ему вроде как взятки давались. Теперь-то он понимает, прекрасно все понимает.

Сережа представляет, как вчера ночью стоял сонный Никодим у телефона в одних трусах, с измятыми щеками, как слушал бабушкины слова, как бегали у него глаза, как сказал он бабушке свое решение. Ясное дело, это Сережи он стеснялся, пацана, потому что говорил ему когда-то совсем другое, а перед старухой стыдиться не приходилось – чтобы раз и навсегда все было понятно. Испугался... Может, и не испугался, а не захотел. Твердо сказал, что отношения не имеет...

Бабушка не смотрит на него, пригорюнься, но молчит, не возражает. Еще бы! Это ведь ей вчера досталось. Эх, бабушка, деревенская твоя душа...

Сережа вешает авоську на руль, выкатывает велосипед на улицу. Сначала он ведет его просто. Потом садится.

В последний раз!

Педали радостно поскрипывают, – наконец-то они крутятся, потренькивает звонок, когда колеса попадают в выбоины, мягко шуршат шины. Вот так... Все это было, теперь не будет. Это – прошлое.

Сережа не торопится. Делает круг по городу. От их с бабушкой комнатки к дому, где было счастье. Потом к другому, старому, где они с мамой много-много лет прожили, где было хорошо и покойно. Интересно, думает Сережа, висит ли то объявление на двери: «...а то мозги вылетят!» И живет ли та сварливая соседка? Потом Сережа мимо школы проезжает, словно прощается со всем этим миром, миром детства – горестного и счастливого. У Галиного дома Сережа притормаживает, вглядывается, виляя рулем, в пустые окна. Наверное, еще спит.

Велосипед идет медленно, нехотя, будто знает – следующий этап – Никодим. Однокомнатная его квартира, где он теперь живет.

Сережа решительно крутит педали, резко тормозит, втаскивает велосипед на четвертый этаж. Перед тем, как позвонить, снова гладит зеркальце.

Прощай, велик! Передавай привет!.. Кому?

Прошлому лету!

Он нажимает на кнопку. Слышит шаги за дверью. Гремит цепочка, на пороге – заспанный Никодим.

– Получите ваше имущество, – говорит спокойно Сережа.

Никодим что-то там лопочет, но Сережа уже шагает вниз.

Он идет по городу.

Хотя еще утро, солнце печет, будто близкая печка, слепит глаза, выбивает пот.

Август, а как в июле.

Время есть, Сережа шагает просто так, без цели и вдруг носом к носу сталкивается с Литературой.

В руках учительница держит бидончик и авоську, полную всякой снеди: помидоры, огурцы, но главное – арбуз. Арбуз оттягивает ей тонкие руки.

– Сереженька! – обрадованно восклицает Литература. И вдруг просит: – Ну-ка помоги!

После вчерашнего? Как у нее язык поворачивается просить помочь после вчерашнего? Сережа сердито разглядывает бывшую родственницу, он готов отказаться, но вид у Литературы жалкий, усталый, волосы совсем закрывают глаза, а она не может даже откинуть их – заняты руки. Да ведь и не было ее вчера, наверное, у Никодима? Не знает она ничего? Он молча берет за авоську.

– Сейчас к Никодиму зайдем, – болтает учительница. – Отрежу тебе арбузика. На рынке открывала – уж такой яркий, такой сахаристый.

«Как же, – думает Сережа, – непременно зайду!» А про себя отмечает: значит, не знает еще ничего. Но что ему за дело? Пусть знает! Донесет вот авоську до подъезда, а там пусть катится...

Сережа шагает, глядя себе под ноги, перехватывает авоську из руки в руку, молчит, но Литература и не требует от него ответов. Ей носильщик нужен, вот и все.

Она перебирает всякую безделицу – сколько народу на рынке, как все дорого, и вдруг произносит:

– Сережа, Никодим у вас помазок для бритвы оставил, две майки и тренировочные брюки, хлопчатобумажные, в суете разъезжались, понимаешь... Посмотри...

Сережа останавливается. Голова у него начинает кружиться. Все быстрее, быстрее.

– Что? – переспрашивает он. – Помазок и брюки?

– Да, да, – улыбается доброжелательно Вероника Макаровна. – И две майки.

Сереже хочется вдруг спросить ее. Задать один вопрос.

– Я ночью разбил окна людям, – говорит он торопясь, – и бабушка позвонила Никодиму, чтобы он заступился, понимаете? А он сказал: я ничего не знаю, я с вами теперь не живу.

Сережа видит, как вытягивается лицо Вероники Макаровны. Она переступает с ноги на ногу, мучительно думает, что ей сказать: что-то борется в ней, какие-то слова. Наконец успокаивается. Смотрит на Сережу уверенно.

– А что же, – говорит, – он должен был сказать?

«Ну вот и все! – облегченно вздыхает Сережа. – Пожаловался».

Он кладет авоську на землю, кивает учительнице, поворачивается и бежит.

– Принесем, – кричит, обернувшись, – и помазок, и все прочее!

Сережа бежит по серому асфальту, и его колотит жаркая ненависть.

Он вспоминает тот летний вечер, когда Литература пришла к ним в гости. И маму – напряженную, злую. Да, да, да! Мама была права! Тысячу, миллион раз! Нельзя было верить. Ни на минуточку. Все представлялась эта Вероника Макаровна. Даже тогда, когда говорила: у нас похожая судьба. Может, и похожая была, да мама никогда бы так не сказала. Не стала бы выгораживать своего сыночка перед своим же учеником.

Сережу душит обида, слезы наворачиваются на глаза.

– Эх вы! – шепчет он. – Благородные люди!

Глава 3

В студии записывают «Трех мушкетеров». Еще вчера Сережа думал об этом с любопытством, сегодня все кажется ему глупым, бездарным обманом. Эти жирные, старые мушкетеры, с которых градам катится пот, их неумелое брэнчанье шпагами, громогласные фальшивые слова.

В разгар записи совсем не по пьесе с грохотом, одна за другой, взрываются две лампы. Света недостаточно, и режиссер на пульте кричит по радио:

– Осветители! Андрон!

Андрона в студии, как назло, нет, он выскочил куда-то, и режиссер набросился на Сережу:

– Немедленно менять лампы! Никакого порядка! Набрали сопляков!

На глаза наворачиваются слезы.

– Я эти лампы не делал! – кричит Сережа режиссеру и бежит на склад, но теперь куда-то исчез кладовщик, Сережа обегает коридоры, заглядывает во все комнаты, наконец находит его в самом неподходящем месте.

– Что! – орет разъяренный кладовщик. И это нельзя! Будто Сережа последний тиран и мерзавец.

– При чем же тут я? – объясняет Сережа. – Ведь запись, простой!

– А при чем я? – орет взвинченный кладовщик. – Ну эта занюханная контора! Никогда никакого порядка! Уйду!

Назло Сереже и всему свету он копается, пишет через копирку какую-то бумагу, дает Сереже расписаться. Наконец выдает две лампы. Сережа мчится по коридору к студии. Лампы большие, он держит их широко растопыренными пальцами. И вдруг распахивается дверь из какой-то комнаты, Сережа шарахается к противоположной стене, одна лампа вылетает из его вспотевших пальцев и с торжественным звоном разлетается в мельчайшие осколки. Сережа готов завить от обиды, от неудачи, но в дверях, которые распахнулись так неожиданно, стоит Андрон. Он все понимает, кивком головы велит Сереже бежать в студию, а сам мчится к кладовщику.

Режиссер на пульте совсем сходит с ума.

– Скорей, скорей, скорей! – орет он голосом, усиленным динамиком. – Кончается время!

Сережа вкручивает свою лампу, в студии появляется Андрон с озабоченным лицом и еще одной лампой. Вид у него такой, что режиссер молчит – вообще с Андроном лучше не связываться... Лампы вспыхивают, в студии солнечно и ярко, «Трех мушкетеров» начинают записывать снова, пожилые толстяки опять начинают брэнчать шпагами.

Сережа сидит в своем углу, сжав голову руками, почти в отчаянии.

К нему на цыпочках подходит Андрон.

Сережа закрывает глаза. Ни о чем не хочется говорить.

После записи они сидят в буфете. Глотают безвкусные сосиски. Пьют лимонад.

– Поскорей жуйте! – шумит на них буфетчица, пожилая тетка с плоским, как у якутки, лицом. – Пора уходить! Вас ведь тут никогда не накормишь, идут и идут, идут и идут!

Сережа видит, как, мусоля пальцы, буфетчица считает стопку денег. Целую кучу.

Денег... Много денег... Его осеняет: «А нужно только триста! Прийти и отдать. Вместе с помазком и этими хлопчатобумажными брюками. Ничего не говорить, отдать только. Или сказать: вот вам ваши игрушки... Как в детстве... Подачки мне не требуются!»

– Андрон, – говорит Сережа, – одолжи три сотни.

Тот крутит пальцем у виска.

– Тебе куда столько?

Сережа говорит ему про размен. Про Никодима и его мамашу. Про триста рублей, которыми бабушка соблазнилась и которые дают и унижают его. Про вчерашнее. Про Литературу – как колебалась она, что ответить.

Андрон чертыхается.

– Все в мире разделено на две половины, – говорит он. – В цвете – черное и белое. В морали – высокое и низкое. В характерах – хитрость и простота... Вот ты – пацан еще, поэтому простой, неопытный. А твои эти... родственники... Ей же своя рубашка ближе к телу. А справедливость – как бог на душу положит...

Сережа кивает головой. Точно. Правильно рассуждает Андрон.

– Но не все так просто, – продолжает Андрон. – Ты трактат Чернышевского³⁰³ читал? Об отношении искусства к действительности?

Сережа мотает головой.

Что-то плохо он понимает.

– Слушай сюда! – восклицает Андрон. – Сейчас поймешь!.. Вот в болоте! Лягуш на лягушку глядит, и нет для него никого прекраснее. А меня, может, от вида этой лягушки тошнит. Это теория, понимаешь?

– Вы кончите, нет, пустобрехи? – взрывается буфетчица. – И молотят, и молотят, вот язык-то без костей.

– Зато у тебя, – говорит Андрон, – язык с костями. Я имею в виду говяжий язык и рыбы кости, – все в одной тарелке!

– Чистоплуну нашелся! – орет буфетчица. – А ну давай отсюда.

Она кладет деньги в ящик, вделанный в прилавок, щелкает замком, машет руками:

– Все! Закрыто!

Андрон и Сережа идут на улицу. До передачи полчаса. Они забираются за кусты в парке, ложатся на траву.

– Итак, исходя из Чернышевского, – продолжает Андрон, – на вещи можно смотреть по-разному. Сейчас ты на родственников этих глядишь как слабый на сильных. Но вот ты достаешь триста рублей, швыряешь им и уже – что? – смотришь на них как сильный на слабых.

– Это верно! – говорит яростно Сережа. – Очень верно! Но где взять триста рублей?

– Вот это интересный вопрос, – объясняет Андрон. – Уже по Достоевскому. Помнишь – в болоте все прекрасны. А я давно говорю, что вся наша жизнь – болото. Чем меньше в него влезаешь, тем лучше. Но это другое дело. Итак, теорема: ты в болоте. В болоте? – спрашивает он Сережу.

– В болоте, – соглашается тот. – Да еще в каком!

– Значит, напрашивается вывод – не бойся запачкаться. Все равно в болоте. Ведь, запачкавшись, ты как бы сразу очистишься: отдашь эти три сотни, швырнешь им в лицо!

– Украсть, что ли? – не понимает Сережа.

– Во брякнул! – поражается Андрон. – Это уж слишком уголовная мера... Ну продай что-нибудь... Займи до завтра, а сам не отдай... Что-нибудь такое мирное. Аморальное, но не совсем. – Он потягивается в зеленой траве. – Я бы тебе дал, – говорит он, – даже аморально, до завтра, но с обманом. Да ведь нету! – Андрон зевает и декламирует: – Птичка божия не знает ни заботы, ни труда...

– Слушай, Андрон, – спрашивает вдруг Сережа, – а ты кто?

³⁰³ Чернышевский Николай Гаврилович (1828–1889) – русский революционер-демократ, литературный критик, публицист и писатель.

- Как кто? Старший осветитель.
- А еще? – добивается Сережа. – Кто ты в самом деле?
- Пьяница, – отвечает Андрон добродушно, – а оттого и натуралист.
- Как, как? – не понимает Сережа.
- Ну, на жизнь смотрю натурально. Без всяких прикрас.

Глава 4

Это верно, размышляет Сережа на передаче, жизнь надо рассматривать без всяких прикрас. Чем дольше он живет, тем больше в этом убеждается. На жизнь надо глядеть трезво, взросло, серьезно. Никто к тебе не придет и не скажет: Сережа, вот тебе деньги. Пойди швырни их Литературе. Вместе с их барахлом. Дядя Ваня прав. Жизнь надо самому двигать, а не ждать, пока повезет. Это не сани какие-нибудь, правильно.

Деньги! Деньги! Чем больше думает о них Сережа, тем больше уверенности: обязательно! Обязательно надо отдать. И ошибается тетя Нина, которая не считает эти деньги оскорбительными. Очень здорово ошибается! Больше ничего не должно их связывать. Ничего. Ни помазок, ни та подачка.

Сережа не дожидается, когда закончатся «Новости». После этого станут крутить детектив, подряд две серии – это два часа, не меньше, и, может быть, если тетя Нина согласится, они успеют к ней сбегать... Делать нечего, он решил занять у нее. Надо только не говорить для чего.

«Новости» заканчиваются. Сережа поворачивает рубильник, лампы гаснут. Он идет в дикторскую. Тетя Нина сидит спиной к двери, держит в руках гитару.

– Садись, Сереженька, – говорит она ласково и тихо трогает струны. – Как дела? Все хорошо у тебя? С Андроном ладишь? Он забавный дядька, не правда ли? Этаким философ!

– Все хорошо, – отвечает Сережа, – с Андроном нормально...

Тетя Нина начинает играть, и Сережа вздрагивает. Мама! Это мама!

Гори, гори, моя звезда,
Звезда любви приветная,
Ты у меня одна заветная,
Другой не будет никогда...

– А кто, – словно в полусне, спрашивает Сережа, – кто у вас эта звезда?

– Котька! – отвечает тетя Нина.

– А Олег Андреевич? – спрашивает он.

– И Олег Андреевич, – улыбается тетя Нина.

Сережа проглатывает комок, подступивший к горлу. Все как было. И даже ответы такие. Только мама тогда головой мотнула, когда он про отца спросил. «Нет, – ответила она, – только ты». Сереже ясно теперь, почему она головой мотнула, почему так ответила.

Воспоминания наваливаются на него, сгибают плечи. Что бы, интересно, сейчас сказала мама, думает он, что посоветовала? Ясно – рассчитаться с Никодимом и Литературой. Но как?

– Тетя Нина, – говорит Сережа, – одолжите триста рублей?

– У меня нет, – говорит она и удивляется: – Зачем тебе столько?

«И так неудобно, – думает он, – что делать – спрашивал наудачу, на всякий случай».

– Один долг надо вернуть обязательно, – говорит Сережа.

– Я бы дала, – говорит тетя Нина, – без всяких разговоров, но сейчас нет. Может, терпит месяц? Или давай я перезайму.

Ну нет! Что он, маленький! Сережа отнекивается, объясняет, что это вовсе не обязательно, что найдет сам.

Он выходит из дикторской. Остается одно. Понтя. К нему приехал дед генерал. Дед, наверное, богатый.

Сережа предупреждает Андрона, садится в троллейбус. Понтя дома, но генерала нет, только какой-то старик в шлепанцах на босу ногу и полосатой пижаме смотрит телевизор.

– Пантелеймоша! – говорит Сережа умоляющим голосом. – Попроси у своего генерала триста рублей. Во как нужно!

Понтя рассеянно оглядывается, потом шепчет:

– Зачем?

– Только не спрашивай, – говорит громко Сережа, – узнаешь потом! Ну попроси у генерала!

– Ты что думаешь! – вмешивается вдруг старик у телевизора. – Раз генерал, значит, миллионер?

– Нет, – объясняет горячо Сережа, – не миллионер, у нас они не водятся, но все же!

Старик качает головой. И тут только до Сережи доходит, что этот старик и есть генерал. У него в самом деле усы. И когда он покачал головой, усами нос погладил – точно так, как Понтя губой шевелил.

– Это вы и есть? – говорит рассеянно Сережа. Он пятится к двери, краснеет. – Тогда извините! – лопочет он.

Старик вскакивает с кресла, глаза его смеются, он забавно, как тараканище, шевелит усами.

– Ну а если, – говорит он, – я триста рублей найду, когда вернешь? Через неделю?

Сережа вспоминает Андрона. «Что-нибудь такое, – говорил он, – аморальное, но не совсем». Вот оно – не совсем аморальное, кивнуть, дать слово, а потом не вернуть.

– Ну через две, – говорит генерал, и Сережа видит Понтино лицо сбоку. Понтя радуется, подмигивает, мол, бери. Но через неделю Сережа не вернет. И даже через две. Может, через полгода.

– Нет, – говорит он, – спасибо. Через две – тоже.

– А мне к тому времени уезжать надо, – объясняет старик, – я ведь, знаешь, хоть и генерал, а пенсионер, – деньги на билет потребуются. На дорогу. Кое на какие покупки.

Сережа разглядывает доброго старика. Нет, он не может его подвести. И себя не может. Никак.

Сережа прощается с генералом и Понтей. Они жмут ему руку. Сережа выходит на улицу. Облегченно вздыхает.

Он улыбается. Ему нужны триста рублей, просто позарез нужны, но как здорово, что он не взял их у генерала. Ведь даже в зеркало сам на себя он не смог бы тогда глядеть.

Сережа едет домой. Бабушки нет. Куда-то ушла.

Он открывает шкаф, где хранится одежда, перебирает плечики с мамиными платьями.

Сердце обрывается.

Вот в этом платье мама приходила в больницу, когда Сереже исполнилось четырнадцать. В этом ходила, когда ждала маленького.

Продать мамины платья? Только не это! Даже лучше украсть.

Сережа припоминает: плосколицая злая буфетчица кладет деньги в ящичек,

вделанный в прилавок.

Эти деньги, эта кипа мелькает снова и снова.

«Сколько там? – думает он. – Рублей пятьсот. А то и тысяча!»

Он отталкивает наваждение, перебирает плечики в шкафу, сдергивает с них свое: недорогой костюмчик, купленный еще мамой, демисезонное пальто, рубашки. Это, конечно, негусто, думает он, связывая вещи в узел, но все-таки. Может, рублей сто?

В комиссионном магазине уже висит табличка «Закррито», но Сережа подныривает под нее, видит покрашенную тетку.

– Неграмотный? – кричит она. – Уже восемь!

– Тетенька, – умоляюще просит Сережа, – примите вещи, мне деньги очень нужны.

– Всем нужны! – успокаивается тетка. – Но приемщица уже ушла, это раз. А главное – от детей мы не принимаем.

– Я не ребенок! – говорит Сережа.

– Паспорт есть? – обрезает его тетка. – Ну видишь, значит, ребенок.

Он выныривает из-под таблички на улицу, бежит домой. Пора! Скоро кончится детектив!

Бабушки все нет. Сережа бросает узел на стол. Кидается к двери. И вдруг останавливается.

Он шагает к шкафу, отыскивает на полке свои перчатки, сует их в карман.

Сердце бьется, словно молот.

Он бежит на студию, спокойный и уверенный. Он знает, что надо сделать. Андрон говорил – не совсем аморальное. Он ошибался. Чтобы размотать этот клубок, нужно время. А времени нет. Значит, надо взять топор и узел разрубить. Выходит, надо сделать совсем аморальное. Украсть.

В студии вспыхивают лампы. Тетя Нина усаживается за столик... Операторы двигают камеры...

Сережа сидит в углу и ничего не видит. Его лихорадит мысль о предстоящем.

Украсть! Решено!

В конце концов буфетчица не пострадает. Ведь это будет кража. Ее не заставят вносить украденные деньги. Потом, когда он заработает эти проклятые триста, он ей вышлет. Так же, как украдет, – без слов. Уедет на окраину, в почтовое отделение, где его никто не знает, и отправит перевод без обратного адреса. Впрочем, адрес можно выдумать. И наконец, если там не триста, а больше, он остальное не возьмет. Оставит.

Операторы снимают наушники, в студии гаснет свет. Сережа прячется в декорационном складе, который рядом со студией и никогда не запирается. Все торопятся домой. Шаги стихают.

Сережа берет шпагу, которыми сражались толстые мушкетеры, пересекает темную студию, поднимается к буфету, тихо, как кошка, перепрыгивает через прилавок.

Вот он, этот ящик. Внутренний замок. Сережа достает из кармана перчатки, натягивает их, просовывает шпагу в щель, наваливается всем телом.

Острые шпаги с грохотом отламывается.

Сережу прошибает ледящий озноб. Он падает, вжимаясь от страха в пол. У вахтера внизу играет радио. Сережа поднимается. Снова просовывает в щель шпагу. Опять наваливается всем телом. Сжимаясь, дерево под металлом издает странный, едва шипящий звук.

Он отдыхает. Просовывает шпагу подальше. Щель между ящиком становится шире, шире. Он наваливается снова. Квадратик металлического запора свободен. Планка с отверстием, врезанная в прилавок, больше не держит его.

Удерживая шпагой прилавок, другой рукой он выдвигает ящик.

Сердце останавливается.

Ящик пуст...

Нет, деньги там есть. Но не те, что он видел днем. Здесь нет кучи, а тонкая пачечка рублевых и мелочь. Мелочи много – ею усыпано все дно, встречаются и металлические рубли, но той, той пачки нет.

Раздумывать нельзя.

Сережа хватает деньги, сыплет в карман мелочь. Потом задвигает ящик обратно, достает сломанную шпагу. Прилавок опять накрывает запор. Следы от шпаги видны ясно, но замок закрыт.

Сережа нагибается, подхватывает обломок шпаги, на цыпочках идет вниз, пробирается в студию, затем в декорационный склад. Забрасывает шпагу за теснину фанерных щитов. Обломок кладет в карман.

Потом идет к выходу.

На вахте сидит тетя Дуся. Дежурит она по очереди – то на радио, то здесь. Вахтерша разглядывает его приветливо.

– Задержался? – спрашивает она.

– Сегодня две лампы лопнули, – говорит он. – Такой грохот! Менял...

Глава 5

Сережа переставляет ватные ноги, в голове ухает колокол. Он чувствует себя голым на каком-то церковном шествии. Вокруг много-много людей, но он их не видит. Он только знает, что они разглядывают его и в такт шагам колотят в колокол.

Он приходит в парк возле студии. Бессознательно находит кусты, за которыми пил вино с Андроном. Ложится в траву.

Он лежит ничком. Сухие былинки колют щеки и лоб. Мимо, за кустами, проходят люди. О чем-то говорят. Смеются. Сережа слышит обрывки фраз, и ему кажется, что все рассказывают о нем.

– Я ему говорю, ну идишь?.. Подожди, отвечает, надо сообразить... – смеется женский голос.

– Ну смотри, ну смотри, если так дело пойдет... – резко говорит мужчина.

– Ты мне лучше ответь, кто виноват?.. – скрипит старуха.

– Бежим скорее, а то догонят... – шепчет мальчишка.

Сережа поворачивается на спину, в кармане перекачивается мелочь. Он вскакивает. Расстилает платок. Достает деньги. Считает их.

Руки трясутся. Он то и дело поглядывает на кусты и от этого сбивается. Снова считает.

Заканчивает в полном изнеможении. Двадцать девять рублей шестьдесят копеек.

Он заворачивает деньги в платок. Получается небольшой узелок. Кладет его рядом. Опять лежит. Вечерний воздух холодит грудь, земля – спину.

Глаза у него открыты, но он как бы в забытии. То слышит и ощущает окружающее его. То оказывается впотьмах.

Потом его встряхивает кто-то.

Сережа садится, озирается, но никого нет.

– Украл! – шепчет он. И повторяет с ужасом: – Украл!

То, что встряхнуло его, наполняет тело холодом, обрывает сердце, швыряет вниз, в бездонную глубину. Сережа вскакивает и бежит.

– Украл! – повторяет он. – Украл, украл, украл! Двадцать девять рублей шестьдесят копеек!

Может, если бы он украл триста, пятьсот, тысячу – сколько там было вначале, – его бы теперь сотрясало от страха, от ужаса. К страху он готовился. Он знал, на что идет. Но он украл не триста, не пятьсот, не тысячу. Двадцать девять рублей шестьдесят копеек. Мелочью! И в этих ничтожных рублях, да еще железом, заключалось большее, чем страх. Низость! Мерзость! Подлость!

Его сотрясает от унижения. Он хотел украсть, но ведь и собирался отдать эти занятые таким способом деньги. Деньги были ему нужны – и хотя это, конечно, преступление, но преступление объяснимое, вынужденное.

А как он объяснит эти двадцать девять рублей шестьдесят копеек? Даже себе – как?

Сережа то бежит по улице, то вдруг останавливается, прижимается к столбу, то идет скорым шагом – куда, зачем, к кому?

Вор! Хорош вор! Мелкий паскудник! Двадцать девять рублей шестьдесят копеек!

Малость суммы подчеркивала низость поступка, поступок от этой малости лучше не становился. Он украл! Он вор! Только в кино гангстеры хладнокровны и великолепны, в самом же деле это мерзко, гадко, дерьмово... Зачем он все это сделал?

Он вспоминает зачем. Вернуть три сотни Никодиму с мамашей. Чужие должны быть чужими. И навсегда забыть об этих родственниках. Забыть о прошлом. Но что же вышло?

Сережа больше не думает о сумме. Двадцать девять, триста, тысяча – не все ли равно. Он украл. Замарался. Он стал лягушей, как объяснял Андрон, но вот в чем дело – вокруг люди, и для них лягуша – это лягуша. Гадкая, скользкая тварь, и смотрят они на нее не как лягуши, а как люди.

Аморально – не совсем аморально.

Сережа думает о маме. Боже! Ведь он это делал, помня о ней. Как бы мстя за нее.

Мама бы швырнула три сотни Литературе, сомнения нет. Но она не стала бы красть для этого. Нашла другой способ достать их.

Взрослым легче, оправдывается перед собой Сережа, им проще найти триста рублей. А кто даст пацану деньги? Добрый Понтин генерал? И то на две недели, не больше, деньги не трава, на лугу не растут, они ведь всем, даже генералам, нужны.

«Оправдываешься! – презирал себя Сережа. – Но разве можно оправдываться?»

Пусть посадят в тюрьму, и дело с концом. Но мама! Все знали тут маму. Сережа сам по себе никто – к нему еще никак не относятся: хорошо относятся к маме, к ее памяти, и он, Сережа, для людей не мальчик, а мамина тень, которую уважают.

Сережа поворачивается, бежит к студии. Он стучится в дверь, из-за нее выглядывает незнакомый старик. Ночной сторож. Тетя Дуся ушла!

Все кончено, думает он, теперь уже ничего не поправишь, деньги на место не вернутся.

Что делать? Что делать!

Он лихорадочно ходит по улицам. Потом бежит к Гале.

Поздно. Она спит. Сережа вызывает ее во двор. Открывает рот, чтобы сказать, – и не может. Он молчит, глядит удивленно на Галю, словно не в силах понять, зачем она тут.

Нет, он не может ей признаться. Галя поймет, это ясно, ни словом не упрекнет его, но он не может. Стыдно! Стыдно!

Он смотрит на Галю, поворачивается, бежит, не видя ее удивленного взгляда.

К Олегу Андреевичу, думает он, скорее, скорее! Ведь он угрозыск, самый главный начальник в городе по ловле преступников. Вот он к нему и придет. Признается. Ведь можно же, можно что-то исправить.

Сережа бежит к тете Нине и опять останавливается.

К тете Нине нельзя. Нельзя к Олегу Андреевичу именно потому, что там тетя Нина. Ведь она привела его на работу. Она просила принять, хотя он несовершеннолетний, и добилась своего. Она говорила с ним каждый вечер, когда их дежурства совпадали, и даже пела, как мама: «Гори, гори, моя звезда!»

Что скажет он тете Нине? Вот я украл? Признаюсь? Ведь на тетю Нину и так будут все пальцем показывать. Она, мол, его опекала. Худо опекала, значит, раз ограбил буфет.

Ограбил!

Какое слово!

Сережа стоит как вкопанный. Потом бежит опять. К реке. К мосту.

Вот здесь, кажется, глубокое место.

Сережа смотрит вниз, в глухую черноту. Потом достает узелок с деньгами.

Двадцать девять рублей шестьдесят копеек – немного бумажек, остальные железом – булькают в темноте. Камнем идут на дно.

Он вытирает руки о штаны.

Словно бросил какую-то грязь...

Глава 6

Он чувствует себя выжатым, изнуренным. Но облегчения нет, напротив. Ему кажется, что сделал еще одну подлость: избавился от доказательства, струсил совсем.

Сережа идет пошатываясь, голова словно распухла, а в вены, у висков, забиты тугие пробки: кровь в них остановилась. Еще немного, и голова лопнет, как пузырь. Пусть лопнет, думает он. Теперь все равно. Хорошо бы умереть. Вернуться на мост, к тому самому месту, откуда бросил он платок с деньгами, кинуться вниз, в смоляную черноту... Пусть думают что хотят...

Он поворачивается, пересекает дорогу, чтобы вернуться к мосту... В мозг острым скальпелем врезается странный визг, что-то с силой толкает его в бок, он падает, переворачивается на земле, ощущает боль в ноге...

Сережа отплевывается, на зубах скрипит пыль, он чувствует приторный вкус крови, но это не пугает его. Как во сне, он поднимается на ноги, равнодушно разглядывает рваные брюки... К нему бежит человек – большая, темная тень. Наверное, надо удирать, но Сережа стоит. Ему все равно.

Запыхавшийся человек хватает его за плечо, молча оглядывает. Сережа видит – это летчик, «аэрофлот». Форменная фуражка, голубая рубаха с крылышками на груди.

– Разбился? – испуганно спрашивает летчик. Голос у него трубный, низкий. Наверное, таким голосом можно свободно с самолета на землю кричать. Услышат.

Сережа молчит.

– Что же ты так, а, милый! – громыхает авиатор. – Ведь я же тебя растоптать мог – крутой поворот, красный свет для пешеходов, и вдруг ты под колеса.

Он радуется, что Сережа жив, тащит его к машине, впихивает в вишневого цвета «Жигули». Рвет с места.

– Сейчас, сейчас! – говорит он. – Ранки промоем, брюки зашьем, все в ажуре будет. Не плачь!

Но Сережу колотит. Ему не хватает воздуха, грудь разрывается, плечи трясутся.

– Потерпи, милый! – умоляет летчик и спрашивает: – Очень больно?

– Нет! – отвечает Сережа.

– Что же так плачешь? – спрашивает он озадаченно.

– Мама! – вырывается из Сережи крик. – Мама умерла! Понимаете?

Летчик молчит, «Жигули» летят по пыльному асфальту, а Сережа плачет навзрыд,

плачет тяжело, без слез. Все, все, все, что было... Никодим, размен, эти три сотни, Литература, кража – все, что было, все, что видел он и от чего страдал, – это же не отдельные происшествия. Не случайные факты! Всему этому есть общее имя. Вот оно: мамина смерть.

Смерть! Мамина!.. Мама умерла – вот что произошло. И только поэтому случается все остальное!

Машина тормозит, летчик ведет Сережу по ступеням какого-то дома, нервно звонит, им открывает женщина в стеганом халате, охает, провожает в кухню, тащит таз с теплой водой, промывает Сереже ранку на колене, смазывает йодом...

Ранку нестерпимо щиплет, это приводит Сережу в себя. Он больше не плачет. Его не колотит. Опять наваливается равнодушие.

Летчик приклеивает к коленке большой лист пластыря, объясняя, что пластырь не простой, а особенный, бактерицидный, он уничтожит всех микробов в ранке, не даст ей загноиваться. Сереже безразлично – даст или не даст. Он идет, прихрамывая, умываться, послушно снимает штаны. Пока жена летчика зашивает их в комнате, Сережа разглядывает огромного мужчину, занимающего почти всю кухню. У него толстый нос, большие толстые губы, брови растут кустами. Боже мой, поражается Сережа, да ведь это тот герой – тогда давным-давно он вручал ему грамоты, и кубок, и часы. Доронин!

– Ну что же, – говорит летчик, – раз так, давай знакомиться. Меня зовут Юрий Петрович.

– А я вас знаю, – говорит Сережа. – Вы герой. Вы мне давали награды во Дворце пионеров.

– Я тоже тебя помню, – отвечает Доронин. – Ты хотел стать летчиком. – Он хмурится. – А мама правда умерла?

– Правдивее правды нет, – отвечает Сережа. – Это она все хотела, чтоб я летчиком стал, говорила, отец мой – летчик, а он, оказывается, никакой не летчик... Я пойду, – говорит, волнуясь, Сережа. Мысль о краже подавляет его – он больше ни о чем не может думать.

– Без штанов? – удивился Доронин. – Сядь. Это быстро.

Властный, рокочущий голос останавливает Сережу.

– Вы на «кукурузнике» летаете? – спрашивает он, лишь бы спросить.

– На Ан-2, – отвечает Доронин.

– Раньше немцев сбивали, а теперь на «кукурузнике» летаете, – говорит с упреком Сережа.

Летчик опускает голову, теревит толстый нос, потом неожиданно говорит:

– Значит, мама хотела, чтобы ты стал летчиком?..

– Все равно, кем быть, – отвечает Сережа, – чем меньше горка, тем легче с нее падать. И вообще, – он вспоминает Андрона, – все эти мечтания, кому они нужны?

– В каком классе? – строго прерывает его Доронин.

– Работаю, – отвечает Сережа. Уточняет: – Осветителем на телевидении.

– Вот так работа! – удивляется летчик. – Лампочки включать да выключать!

Летчик исподлобья разглядывает Сережу.

Женщина в стеганом халате приносит зашитые Сережины брюки, он одевается, идет с летчиком вниз, опять садится в «Жигули», слушает вкрадчивый рокот мотора, показывает дорогу.

– Вот что, парень, – говорит вдруг Доронин. – А кто в тебя все это напихал?

– Разве не правда? – усмехается Сережа.

– Ересь! – громогласно рыкает летчик. – Слышал такое слово? Ересь это все! С такой философией в гроб ложиться да помирать!

– Я бы хотел, – задумчиво говорит Сережа.
– Между прочим, – зло говорит Доронин, – у меня тоже нет ни отца, ни матери. Даже бабушки нет, я детдомовец. А так, как ты, никогда не ныл, не распускался.

– Вам легче, – говорит Сережа, – вы Герой.

Летчик молчит, опустив голову.

– А летать бы хотел? – неожиданно спрашивает он.

– Нет, – усмехается Сережа. – И вообще! Надоела мне вся эта болтовня.

Прощайте!

Он выскакивает из машины, бежит к дому.

– Какая квартира? – кричит ему вслед Доронин.

– Ну четвертая, – врет Сережа. – А вам зачем?

– Будь здоров! – кричит летчик и срывает с места свой автомобиль, будто хочет взлететь.

Сережа идет домой, молча ест ужин. Бабушка что-то шьет, не глядит на него. Потом он умывается, ложится спать, закрывает глаза.

И вскакивает.

Как же? Он забыл? А кража! Ведь надо что-то делать. Что-то соображать. До утра осталось немного – плосколицая буфетчица придет на работу, увидит следы от шпаги, не найдет денег, и... начнется!

Бабушка поглядывает на Сережу поверх очков, смешно опуская нос.

– Что? – говорит она. – Забыл чего? Или примлилось?

– Примлилось, бабушка! – говорит он. – Такое примлилось, и не выговоришь.

Он глядит на нее, разглядывает свою добрую бабушку, не думающую, не ведающую ни о чем, смотрит на мамину маму и думает, что, кроме нее, признаться ему некому.

Некому, да что там говорить... Он глядит на бабушку глазами, полными слез, и произносит:

– Бабушка! Я деньги украл!

Она хихикает, покачивая головой, не отрываясь от шитья, потом испуганно вздергивает очки.

Глава 7

Сначала бабушка не верит, и Сереже приходится ей рассказывать все по порядку, шаг за шагом. Каждую мелочь.

Как велела Литература разыскать помазок, майки и хлопчатобумажные штаны. Как он мотался по городу, бегал к генералу и в комиссионку. Как сунул в карман перчатки и шпагой открывал ящик...

Бабушка наконец верит. Закрывает руками уши, кричит:

– Молчи! Молчи!

Сережа молчит.

– Надо вернуть! – говорит бабушка, бросается к шкафу, достает вчерашнюю Сережину зарплату.

– Где она живет, эта буфетчица? Пойду, брякнусь в ноги! Подол стану целовать! Неужели не простит! – Обессиленно опускает руки. Спрашивает сама себя: – А ежели не простит? Под суд? – Она мотает головой. – Нет! Не отдам тебя! Аню отдала, тебя не отдам! Сама виновата, дура жадная, погналась за деньгами – трудно жить, трудно жить. Прожили бы, зато в отдельной квартирке. – Бабушка плачет, качает головой, вспоминает Олега Андреевича, вскакивает, чтобы бежать к нему, к тете Нине за защитой и помощью, но сама себя судит: – Нельзя их сюда впутывать, не по-

христиански, сколько они и так для нас сделали.

Глаза у нее то вспыхивают, то туманятся.

– Может, не найдут еще? – спрашивает она у Сережи с надеждой, будто он ответ какой дать может. – Ты ведь в перчатках, как по кино, следов-то не осталось.

Следов не осталось. Он уверен, что и шпагу не найдут за штабелями декораций. Но ведь видела его вахтерша, тетя Дуся эта. Он последний выходил. Можно, конечно, отпереться, но очень неловко соврал ей про лампы. Все знают, что лампы еще днем меняли.

– Не выйдет ничего! – вздыхает Сережа, говорит про вахтершу.

– Бежать! – всплескивает руками бабушка. – Уехать тебе надо. Немедленно! Завтра.

Сережа разглядывает бабушку, как ненормальную: бежать, эх брякнула! Он не Дубровский – по лесам скрываться. Но потом кивает. Не так уж она стара и несообразительна. Варит, да еще как!

– Двадцать девять шестьдесят! – ершится она. – Разве это деньги, чтоб за них мальчонке жизнь ломать! Ничего! Не разорятся! Не такие деньги, чтоб долго искать, не найдут и успокоятся, замки покрепче навесят.

Говоря это, бабушка то смеется, то плачет.

– В случае чего, все на себя приму, только ты уезжай, слышишь! – плачет она. – Пусть меня садят, если им приспичит, за тридцатку!

Бабушке жалко себя, свою старость за эти несчастные двадцать девять шестьдесят, но еще больше жалко Сережу, бестолкового сироту, она заливается, и, как всегда, на плечах у нее вздрагивают седые косички, словно не старуха, а старая девчонка в чем-то провинилась и горько плачет.

Они не спят всю ночь, обо всем договариваются, как два заговорщика – обо всех мелочах. И Сереже порой кажется, что все это не жизнь, а тот самый детектив, который он пропустил, бегая к Понте и в комиссионку³⁰⁴. Что бабушка и он – главные действующие лица, которым и самим неизвестно, что произойдет через сутки, но они полны решимости бороться до конца, не сдаваться и не отступать, что бы ни случилось.

– Значит, так, – повторяет бабушка еще раз, чтоб и самой не забыть, и Сереже напомнить. – Первое дело – Дуся, платок она мне вязала при Ане еще, радио охраняла – я-то ее помню, вот она бы помнила... Это главное, – говорит она. – Потом увольнение, затем вокзал. Давай-ка записывай адрес.

Сережа послушно пишет, бабушка укладывает в рюкзачок вещи, кладет деньги во внутренний карман курточки, прищипливает его булавкой, наставляет Сереже, чтоб берегся жуликов – он невесело ухмыляется.

– Чего мне бояться, я сам жулик!

Бабушка опять плачет, в который уж раз за эту длинную ночь. Сережа угрюмо молчит: и страх и волнение как бы выболели в нем.

Утро вползает серое, пасмурное.

Сережа и бабушка завтракают быстро, сосредоточенно. Он пишет заявление. Кладет его в карман. Все решено, приготовлено, теперь надо действовать. Но они тянут. Минутная стрелка ползет медленно, лениво. Порой кажется, она стоит.

– Бабушка, – вдруг спрашивает Сережа, – вот тогда, давно, при маме, ты почему-то не любила меня... И всегда ворчала на маму.

Бабушка смотрит в окно, глаза ее от серого утра на улице кажутся светлыми, словно выцветшими.

– Все мне казалось плохо, все не так, – отвечает она тихо, – ты вроде как

³⁰⁴ Комиссионка – комиссионный магазин, т.е. магазин, принимающий от населения на комиссию вещи и торгующий ими.

безотцовщина при живом-то отце, а Аня... мама плохо жила, ничего не хотела, вроде как и живет и нет. – Бабушка поворачивается к Сереже. – Нам, старым, – говорит она, – все кажется, что счастье в семье, в доме, в родне. У ребенка отец должен иметься, у жены – муж... – Она молчит, перебирая поясок. – Да вишь как выходит...

Сережа смотрит за окно, на низкие, набухшие дождем облака и думает, что они с бабушкой хоть и по-разному рассуждают, но про одно, про маму, про то, как было и как могло быть, про счастье и его обманчивость... Кажется, такая поговорка есть: где найдешь, там и потеряешь...

В девятом часу они выходят из дому и у подъезда сталкиваются с Галей. У нее испуганные глаза.

– Что случилось, – спрашивает она, – ты вчера какой-то странный был... Не в себе!

– В себе, – вздрагивает Сережа. Они с бабушкой договорились врать. Целый день врать сегодня. Но Гале?... Бабушка глядит на Сережу пристально, ждет, видно: хватит ли у него силенок на уговор? Хватит, бабушка, не бойся! – Да вот, – весело продолжает он, – сегодня уезжаю в другой город, поступлю в очень хорошее училище, готовят механиков широкого профиля. Там у меня братан троюродный.

– Хочешь уехать? – растерянно говорит Галя. – Не сказав? Вдруг?

Сережа прячет глаза. Ну что ей ответить?

– Ты заглядывай, – приглашает Галя бабушка, отгесняя Сережу, – заходи, не стесняйся. Письма от Сережи будем читать. Чай пить.

– Зайду! – вежливо говорит Галя, а сама ошалело смотрит им вслед.

Бабушка держит Сережу за руку, словно маленького, крепко вцепилась. Потом отпускает. Охает.

– Ну, началось!

Началось!

В отделе кадров бабушка говорит за Сережу, не дает ему рта раскрыть – чтобы не врал.

– Я сама говорить буду, – приказывала бабушка по дороге. – Мне, старой, греха не страшно. Ты только головой кивай да молчи.

Сережа кивает головой, ему подписывают какие-то бумаги, приходится ходить в разные комнаты, и всюду, как тень, с ним идет бабушка.

Тетю Нину! Только бы не встретить тетю Нину, думает Сережа и трусливо оглядывается.

Подписей требуется немного, все удивляются, что Сережа работал так мало, но, вежливо выслушав бабушкины объяснения, кивают головой, соглашаются: да, учиться надо, по крайней мере, осветитель не профессия, действительно, а Сережа еще молодой, только начинает.

Ему жмут руку. Желают успехов. От этих пожеланий у Сережи кружится голова, ему душно, стыдно, но он молчит. Хорошо, хоть отдел кадров в комитете один, для радио и для телевидения, и не надо идти на студию, где можно встретить Андрона, режиссеров, ассистентов, помощников, операторов, которые все уже знают Сережу и неплохо к нему относятся.

Где можно встретить буфетчицу с плоским и злым лицом...

Глава 8

Сережа стоит у окна, в узком проходе. Больно тычут его углы чемоданов, трут железными застежками рюкзаки. Но он ничего не чувствует. Он смотрит вниз, на бабушку, прижавшую ко рту ладонь.

Они глядят неотрывно друг на друга, потом окно движется в сторону – поезд трогается плавно, почти незаметно, и бабушка бежит вслед за окном, а когда бежать сил не хватает, останавливается и крестит издали Сережу.

Серый вокзал, станционные склады с грязно-коричневыми крышами и черными заборами быстро убегают назад, зато все, что вдали – старое кладбище, заросшее березами, дымящиеся трубы ТЭЦ, коробки новых домов, – стремительно торопится вперед. Земля кружится перед ним, и Сережа думает, что она походит на огромную, невероятных размеров музыкальную пластинку, только записаны в ней не звуки, а жизнь...

Электровоз тянет вагоны сильно и ровно. Сережа забивается в уголок, поворачивается спиной к пассажирам и неожиданно засыпает.

Странное дело – он видит не сон. События минувших суток так подавили его, что и во сне он не выключается из этого бесконечного происшествия, а только повторяет, повторяет события с неумолимой, беспощадной точностью.

Вот ему выдают свидетельство об окончании семи классов, трудовую книжку. Вот бабушка заводит невинный разговор о вахтерше, которая – молодец какая! – вяжет шерстяные вещи, ненароком как бы выведывает, где живет вязальщица, и они идут, почти бегут к дому вахтерши тети Дуся – ведь она может уйти, времени – одиннадцатый час, надо торопиться!

Тетя Дуся дома, моет пол, задрал подол, смущается, увидев чужих людей, долго не может разобрать, кто они, наконец узнает Сережу, здоровается с бабушкой, уверяя, что хорошо ее помнит, хотя по глазам видно – не помнит.

– Дусенька, – плачет бабушка, – ты Анечку мою знала?

– Знала, как же, очень хорошо, – кивает растерявшаяся, ничего не понимающая тетя Дуся, – и на похоронах была. – Она сморкается.

Бабушка падает на колени – подбородок беззвучно трясется, губы дрожат, слезы светлым градом катятся по щекам.

– Дуся! – говорит она. – Христом-богом молю! Обещай, что поможешь, что не скажешь! Не для себя прошу! Ради Ани сделай! Ради ее памяти!

Бабушка горько плачет, вахтерша поднимает ее с колен, но не может – бабушка толстая и тяжелая, и тогда тетя Дуся сама начинает плакать.

– Чувствую, что беда какая, – говорит она. – А разве же можно в беде не помогать?

Бабушка поднимается, говорит Дусе про маму, про Никодима, про младенца. Они снова плачут в два голоса, а Сережа сидит на стуле совсем вытряхнутый – ему и не стыдно даже.

Бабушка рассказывает про Никодима и Литературу, про размен, про эти злополучные триста рублей, про помазок и хлопчатобумажные штаны, которые наказала принести учительница, и вахтерша охает, качает головой, ужасается, опять плачет.

– Это надо же, – говорит она, – какие люди, какие люди!

– Еще не все, – горестно вздыхает бабушка. – Теперь самое главное.

Тетя Дуся глядит на бабушку расширившимися глазами, переводит взгляд на Сережу, берет ее руками за виски.

– Милый ты мой, – говорит она Сереже, – и что ж ты удумал! Да разве можно, такой грех! Сказал бы, кому можешь. По десятке да двадцатке наскоблили бы эти сотни. Народ же вокруг...

– Дело сделано, – задумчиво произносит бабушка и просит: – Дуся, матушка, век не забуду – прими грех. Скажи, что ушел он со всеми...

– Приму, – успокаивает ее вахтерша, – что я, не баба, жалости у меня нет? Не

томись, бабушка, вот тебе крест. – Тетя Дуся истово крестится, плачет, обняв бабушку, потом добавляет: – Да и буфетчица эта, Тонька, такая зараза, что не жалко. Обсчитывает да обмеривает, веришь ли – и никто не видит, интеллигенция кругом!

Они опять плачут, теперь уже успокоенно, облегченно, и бабушка говорит вахтерше про свой план, про Сережин побег, то есть отъезд.

– Верно это, – подумав, соглашается тетя Дуся. И спрашивает бабушку: – Чему он тут научится, при лампочках-то?..

Лампочки вспыхивают, гаснут и снова вспыхивают. Сережа открывает глаза. За окнами – гроза. Небо до самого края занавешено лохматыми тучами, с которых срываются корявые молнии. Дождь порывами плещет в стекло...

Сережа озирается, видит вагон, дремлющие лица напротив. Он откидывает голову, разглядывает круглый рычажок в стене, машинально его задевает.

И вдруг...

Вдруг все молнии из всех туч сразу, в одно мгновение, падают вниз. Окно озаряется слепящим синим светом, потом гаснет и вспыхивает вновь. Сережа сжимается. Ему кажется, это какой-то бред, галлюцинация, он слышит голос мамы:

Теперь осторожно мы мнем и мнем
Зерна за рядом ряд...

Радио! Да это радио, спохватывается он. Тот самый черный рычажок. И мамин голос. Сережа захлебывается от спазм – он и плачет, и смеется сразу. Стихотворение про гранат! Тогда! Котька утащил его в туалет, и он не дослушал. Это мама! Ну конечно! Радио! Запись на пленку.

Сережа стискивает руками горло, напрягается, чтобы не прослушать, не упустить ни одного слова. А мама говорит, и в голосе ее скрытое волнение, и тайная радость, и сила, и счастье.

Струи толкутся под кожей,
Ходят, переливаются.
Стал упругим,
Стал мягким жесткий гранат.
Все тише, все чутче ладони рук:
Надо следить, чтоб не лопнул вдруг –
Это с гранатом случается.

Сережа почти не дышит, взгляд его провалился сквозь стенку вагона, сквозь дождь и тучи, в неизвестное, где ничего нет. Он кивает в такт маминым словам, соглашаясь с ними, любя каждое придыханье, каждый звук этого голоса.

Терпенье и нежность – прежде всего!
Верхние зерна – что?!
Надо зерна
Суметь
Достать в глубине,
В середине размять их здорово...
И прокусить кожуру,
И ртом,
Глотками сосущими пить потом,
В небо подняв драгоценный плод

И

Запрокинув голову!

Голос умолкает так же неожиданно, как он возник, и это потрясает Сережу не меньше. Он лихорадочно крутит рычажок динамика. Но там слышен лишь сухой треск. Мужской голос передает последние известия.

Сережа обессиленно откидывается назад. Слезы стоят в глазах. Он вздрагивает всем телом.

Сережа озирается. А может, ему почудилось? Все дремлют, никто не слышал... Никому нет дела до каких-то стихов... Хотя нет. Вон седая женщина внимательно смотрит на Сережу. Он улыбается ей.

– Это моя мама читала! Вы слышали?

Женщина улыбается, кивает головой.

– Артистка? – спрашивает она.

– Лучше! – отвечает Сережа. – Диктор.

Он отворачивается к окну, смотрит, как молнии врезаются в землю. И вдруг замирает.

Но разве же можно, думает он, пить сок из граната, и смеяться, и просто жить, зная, что ты украл? Что обманул, убежав?

Он вопросительно смотрит на динамик. Но мама молчит. Чей-то другой голос бубнит про уборку урожая.

Мама! Она бы сказала.

Сережа опять вспоминает тот день.

Они сидят на матрасах в новой квартире, пьют вино, и мама смеется все время. А перед этим плачет. «Неужели, – говорит она, – это все мое? И ты, и ты, и этот дом?» Она не верит! Она удивляется! Она счастлива, как никогда в жизни!

Сережа много думал об этом счастье. О том, какое оно в самом деле. Про счастье удачливой и красивой тети Нины. Про мамино счастье, такое горькое. Он тогда размышлял еще: счастье – это человек. Какой человек, такая и жизнь у него. Если он такой – то счастливый, а если другой – то несчастный. Все в нем самом! И мама это ему доказала. Всем сумела доказать, что это так действительно.

Что несчастливый человек тот, кто не стремится к счастью. А счастливый тот, кто хочет его.

Значит, мое несчастье – это я, думает он напряженно.

Глава 9

Поезд приходит рано утром.

Незнакомый большой город вползает в вагон долго, как бы нехотя. Потом оглушает. Грохотом трамваев. Большой цветастой толпой. Глянцевыми огромными лужами на маслянистом асфальте. Дружно взлетающими стаями голубей.

Сережа подходит к милиционеру, протягивает ему бумажку с адресом и, пока тот объясняет, как добраться, с любопытством, будто впервые, разглядывает форменную фуражку, синий мундир, золотистые пуговицы.

Вот человек, который собою означает справедливость. Даже тут, в другом, большом городе, можно сказать ему сейчас – я такой-то, ограбил буфет за много километров отсюда, – и он изменится в лице и ответит куда следует, потому что справедливость – везде справедливость, в любом городе она одинакова.

Эта мысль Сережу гнетет. Он отходит от милиционера, садится в трамвай, едет, а сам думает, что все это – бабушкина наивная выдумка. Может, она и права, история эта

заглохнет, забудется, про него, живущего в другом городе, не вспомнят – и все будет хорошо, о'кэй!

Хорошо? И он забудет? И никогда в жизни не вспомнит?..

Трамвай весело мчится по широкому проспекту, окаймленному высокими домами, ныряет между ними, катится мимо старых деревянных домиков, потом опять едет по новой улице.

Сережино училище как раз напротив остановки, но он туда не идет, а выпрашивает про общежитие. У Кольки при его появлении глаза лезут на лоб, потом он бешено рогочет, узнает, что Сережа приехал к нему – и жить и учиться, тащит его к директору, но Сережа упирается.

– погоди, – говорит он, – сперва расскажи про свою «ремеслуху».

– Никакая это не «ремеслуха», – обижается Колька. Он все еще ошарашен, но и безмерно доволен. К этому прибавляется некоторое пижонство оттого, что живет он в большом городе, и гордость за училище. – ПТУ³⁰⁵, – объясняет он. – Мы не «ремесленники»³⁰⁶, мы «пэтэушники». Гляди, у нас какие классы... А мастерские... А спортзал...

Он водит Сережу по коридорам, блистающим, как больничные, тычет пальцем в алые вымпелы, висящие на стенах, в кубки, матово сверкающие в глубине застекленных шкафов.

– У нас знаешь! – торжествует Колька. – Как в суворовском училище³⁰⁷! Дисциплина – раз! Самообслуживание – два! Три – самоуправление! А главное – кодекс чести, слышал? В какой школе есть? А у нас – кодекс! Если кто-нибудь что утащит – хоть ложку! – судим и выгоняем, понял?

– Как судим? – холодеет Сережа.

– А так! Общее собрание – это наш суд.

Суд! И тут суд! Везде кара, везде наказание, глупости все это, никуда не сбежишь!

Сережа представляет огромный зал, полный народу. Незнакомые, чужие парни размахивают кулаками, кричат хором: «Выгнать! По-зор!»

Позор! Конечно, позор! И никуда от него не деться. Вот пойдут они с Васькой к директору. Тот спросит: «Работал?» – «Работал!» – ответит Сережа. «Давай трудовую книжку. Характеристика где?» Трудовая книжка – вот она. А характеристики нет.

Обещали позже прислать, если понадобится. Долго было писать, а бабушка торопила: надо уезжать, там конкурс, редкое училище, и узнали только что...

Бабушка говорила: молчи. Врать я сама буду, старая грешница. Но вот и ему пора настала врать. По уговору он должен отдать только свидетельство из школы. Будто лето просто гулял, как всякий школьник. Сейчас поступает.

Врать. Надо врать.

А вообще-то в чем дело? Почему там, дома, врала бабушка, а не он? Почему она его спасала, а он стоял как истукан? Ведь виноват он, а не бабушка. Буфет взламывал он, а не она...

Сережа потеет, покрывается пятнами, Колька тащит его в столовую, ругает себя:

³⁰⁵ ПТУ – профессионально-техническое училище, учебное заведение, в котором на базе 8 классов или среднего образования можно было получить специальность.

³⁰⁶ «Ремесленники» – учащиеся ремесленного училища., в СССР в 1940–1950-е годы учебные заведения начального профессионального образования по подготовке квалифицированных рабочих для промышленности, транспорта, связи, сельского хозяйства и др. В 1959 году были преобразованы в профессионально-технические училища.

³⁰⁷ Суворовские училища – специализированное военное учебное заведение для молодежи школьного возраста.

– Я, дурак, гляжу – ты зеленеешь, давай рубай, а то без жратвы-то куда?

Сережа вяло тыкает вилкой в котлету, есть ему не хочется. Он Кольку разглядывает, не узнает его. Как он переменялся! Тогда – год с лишним уже! – был деревенский парнишка, курил солидно и держал себя с показным достоинством. Перед Сережей, наверное, рисовался... А теперь блестит белыми зубами, говорит просто, без важности. Хорошо бы с ним подружиться – тогда не получилось, авария, потом, зимой, не до этого. Может, теперь...

– Здорово, – спрашивает Сережа, – влетело тебе за трактор?

– Еще как, – вздыхает Колька, – отец драл да драл, драл да драл! Его самого-то чуть прав не лишили...

– Как это вы про велики не забыли? – удивляется, задумчиво улыбаясь, Сережа и рассказывает про мамин голос в поезде.

– Мы твою маманю всегда слушали, – говорит Колька. – По ее голосу утром в школу бежишь. Когда мороз, слушаешь, какую температуру объявит, и думаешь, тетя Ань, ну давай, накинь по-родственному градусов пять!

Сережа смеется. Про маму ему думать всегда хорошо. Только вот... Зачем она обманула? Разве можно обмануть для пользы дела? Для справедливости? Вот он лжет сейчас, весь изоврался, обманывает, так ведь это для того, чтобы скрыть подлое... Благородного обмана не бывает.

Спать они ложатся вдвоем в большой комнате. Конец августа, многие еще не приехали, у некоторых практика – Колька же практикуется здесь, в городе, на большом заводе.

Они тушат свет, но уснуть Сережа не может, возится на новом месте, скрипит пружинами.

– Ты не врешь? – спрашивает неожиданно Колька. – Не врешь, что учиться приехал? Ты же на летчика хотел?

Сережа молчит.

– Хотел, да расхотел, – отвечает тяжело. И вдруг спрашивает Кольку: – А ты про отца моего знал?

– Слышал, – отвечает Колька, – он же разбился...

– Кто говорит? – напряженно спрашивает Сережа.

– Да все в деревне. И отец.

Сережа облегченно вздыхает. Он распутывал свои мысли, как узел.

Отца нет, думает он, вернее, есть только Авдеев, но про него – про того, придуманного – хорошо говорят и помнят по-хорошему. Значит, выдуманный мамой, несуществующий человек все-таки существует? И пусть Сережа уничтожил в себе эту легенду, рассыпал как песочный домик, – отец-летчик живет собственной жизнью в других людях независимо от Сережи... Придуманный мамой отец продолжает быть, и, чтобы его уничтожить, надо ходить от человека к человеку и всем объяснять: это неправда, летчика-героя нет, а есть просто Авдеев...

Сережа вздыхает, ворочается, не может уснуть, хотя Колька уже храпит, как тот трактор «Беларусь», который он хряпнул о березу.

Значит, все-таки может быть благородный обман? И может быть подлый?

Между прочим, думает он, бабушка обманывает сейчас для него. Ведь если бы с ней самой такое случилось, небось давно призналась.

Сережа вспоминает тетю Нину, Олега Андреевича. Представляет: вот известно про буфет. Неужели же не догадаются, что есть тут тайная связь? Ограбили буфет, и он стремительно уехал. Нашел неповторимое училище. Конечно, они идут к бабушке. Допытываются, в чем дело.

Бабушка не скажет. Будет плакать, будет врать, будет мучиться, но не скажет,

потому что Сережа ее внук.

Но почему же тогда он не думает, что она его бабушка? Что не должна она врать за него, его выгораживать, принимать на себя всю эту тяжесть лжи, вранья, обмана.

Сереже душно, он сбрасывает скомканное одеяло, переворачивает подушку, но все равно жарко. Он весь извелся, и чем больше думает, тем становится тяжелее.

Он вспоминает Доронина. Тогда ему показалось обидным – летчик прикрикнул на него, пристыдил, сказал: разве можно так распускаться?

И действительно: разве можно?

Разве можно прятаться за плечи взрослых, надевав бог знает что? Разве можно подставлять под удар бабушку, скрывшись в кусты? Разве можно лгать?

Сережа садится. За окном светает.

Мамин обман простителен. Он стал жестоким только после ее смерти. Если бы она была жива, обман этот существовал всегда. И он не мог бы осудить его, не зная о нем.

Сережин обман другой. Его нельзя таить. Этот обман не может существовать всегда. Потому что, обманув раз, можно обмануть и два. Можно сделать всю жизнь сплошным обманом.

Врать про отца, выдуманного героя. Врать про себя, про свою порядочность и честность.

Сережа встает, натягивает брюки, вытаскивает из-под кровати рюкзак.

Пишет тупым карандашом на куске желтой бумаги:

«Колька! Прощай! Я должен вернуться!»

Глава 10

Поезд тянется еле-еле. Стоит у каждого столба. И часы! Часы у всех остановились. Через каждые десять минут Сережа спрашивает:

– Скажите, пожалуйста, а сколько сейчас?

– Мальчик! – возмущаются пассажиры. – Ты уже надоел!

Надоел! Он и сам себе надоел.

Черный забор, грязно-коричневые крыши складов, серый вокзал раскручивается в обратную сторону, а дальние дымы ТЭЦ, коробки домов, старое кладбище едут вперед. Обратно крутится невероятная пластинка, на которой вместо музыки записана жизнь. Но пластинку назад крутиться не заставишь. Жизнь – можно, если очень захотеть.

Если решиться.

Первым он выпрыгивает из вагона. Несется на привокзальную площадь, к троллейбусной остановке.

Он влезает в троллейбус, радостно поглядывает на знакомые улицы. Он едет к Олегу Андреевичу. Пусть бабушка узнает потом. Пусть не волнуется понапрасну.

В милиции он находит нужную дверь, открывает ее. Олег Андреевич поднимает брови, удивляясь, улыбается, говорит:

– Ну и шутница твоя бабушка. Говорит, уехал.

– Не шутница, – отвечает Сережа, – я уже приехал. – И добавляет: – Олег Андреевич, буфет я ограбил. – Сережа рассказывает подробно, как было дело, молчит только про Литературу – здесь, в милиции, это значения не имеет, и Олег Андреевич тускнеет, задумывается, смотрит в окно, стучит ручкой по столу.

– Тогда все понятно, – произносит он наконец, – и отъезд вы с бабушкой придумали, чтобы подальше быть?

Что скрывать – Сережа кивает.

– Дела-а, – задумчиво говорит Олег Андреевич и вдруг спрашивает: – Зачем же ты

вернулся? Зачем рассказываешь мне? Ведь если бы ты не рассказал! У тебя полное алиби! Кража произошла вчера... Хотя постой-ка... Вчера тебя действительно не было. Каким поездом ты уехал? Билет сохранился? А сколько ты денег взял?.. Ну дела! – поражается Олег Андреевич, берет телефонную трубку, крутит диск, говорит:

– Семенов! Срочно!

Приходит пожилой милиционер, толстый и растрепанный, с печальными глазами, поглядывает подозрительно на Сережу, а Олег Андреевич ему объясняет:

– Вот грабитель явился. С повинной. Но он утверждает, что взял двадцать девять шестьдесят. А не шестьсот...

Сережа даже подпрыгивает:

– Какие шестьсот!

– Вот такие, – отвечает Олег Андреевич. – Буфетчица заявила, что ограбление было вчера и что взяли шестьсот.

Олег Андреевич и пожилой дядька окутываются черным дымом, Сережа чувствует, что он погиб, причем погиб каким-то странным, невероятным образом, о котором не думал, не предполагал.

– Зачем тебе столько? – спрашивает пожилой милиционер. – Мотоцикл хотел купить?

– Что вы, издеваетесь! – кричит Сережа. – Мне надо было триста. Чтобы отдать им, поняли! Чтоб не унижаться! Вместе с помазком! Со штанами!

Сережу колотит, ему не хватает воздуха! «Боже мой, – думает он, – зачем я бросил в реку эти деньги? Я бы им показал сейчас, сколько там было. Впрочем...» Он неожиданно снижает. Ведь он хотел взять триста. Кому какое дело, что там оказалось мало. Он же все равно украл. Много или мало, какая разница!

– Ладно! – говорит он устало. – Пусть шестьсот!

– Ничего не понимаю, – пожимает плечами растрепанный толстяк. – То отпирается, то признается.

– погоди, Семенов, – останавливает его Олег Андреевич и велит Сереже: – Ну-ка давай билеты.

Сережа послушно вынимает их.

– Так! – довольно говорит Олег Андреевич. – Пункт первый – не сходится. Приехал сегодня, уехал не вчера, а позавчера.

– Билеты можно достать, – уныло говорит Семенов.

– Верно, – улыбается Олег Андреевич, – достать можно. Кто тебя видел там, в другом городе?

– Колька! – вяло отвечает Сережа.

– Вот это дело, – ухмыляется Семенов, – фамилия, имя, адрес?

Сережа понуро объясняет. Стыдища-то какая. Теперь Кольку станут таскать. Комендантшу в его общежитии – у нее они спрашивались ночевать. Каких-то людей в чужом училище, которым Колька Сережу показывал, как брата представлял...

– Ну а деньги-то? – спрашивает Олег Андреевич. – Те, что взял, – истратил?

Сережа мотает головой. Рассказывает про платок. Про мост. Снова клянет себя, зачем выбросил.

– Тебе везет, – говорит Семенов и предлагает Олегу Андреевичу: – Иду, ладно? Звоню в ОСВОД³⁰⁸. – Потом поворачивается к Сереже: – Место покажешь?

Они едут втроем в милицейском «газике», и Олег Андреевич подробно расспрашивает про Литературу, про размен, про доплату, на которую соблазнилась

³⁰⁸ ОСВОД (аббревиатура от «Общество спасания на водах») – советская добровольная массовая общественная организация, ставившая целью охрану жизни и здоровья людей на водоёмах.

бабушка.

Сережа рассказывает про то утро, про прощание с великом, про ласты и боксерские перчатки, про авоську с тяжелым арбузом...

– Успокойся! – велит ему Олег Андреевич.

– Ничего, парень! – оборачивается растрепанный толстяк. – Ты вот зря скис! Зря на такой шаг пошел озлобясь. Я понимаю, ненависть тебя захлестнула, но ты не маленький, должен знать: не все люди добрые. Да и не должны быть все! Добро ведь только рядом со злом разглядеть можно. И отчаиваться нельзя. Тебе жить да жить... Привыкай к тому, что встретишься с дрянью не раз. От дряни не киснуть надо, не отчаиваться – воевать с ней!

Олег Андреевич треплет Сережу за шею, улыбается ему.

– Слышишь, – говорит он, – что следователь Семенов тебе говорит. А он на этом деле зубы съел.

На мосту они выходят, Сережа ведет к тому месту, где бросил платок. Внизу тархтит катер с аквалангистом.

Семенов указывает место, куда надо нырять, кричит, сложив ладони рупором:

– Белый платок, узелком. Песком занести не могло. Позавчера брошен. Отсюда – и вниз по течению!

Аквалангист кивает головой, осторожно спускается в воду. Пузыри вспениваются над ним.

– Холодна водичка, – говорит, вздрагивая, Семенов и спрашивает: – Что будем делать, если не найдут?

– Хитер же ты, бестия! – смеется Олег Андреевич. – Спрашиваешь, а сам лучше меня на сто ходов вперед все уже разложил, коли Сереже поверил. – И спрашивает: – Поверил?

Семенов подходит к Сереже поближе, заглядывает ему в лицо, говорит неожиданно:

– Ответь, пожалуйста, милый друг, мне на один вопрос. Как ты из училища уехал? Тебя кто надоумил или сам?

– Надоумил, – отвечает Сережа. – Мама. Я ее голос услышал! – говорит Сережа. Глаза у него наполняются слезами. – Помните, – спрашивает он Олега Андреевича, – она стихи читала? Про гранат? Они записаны на пленку. И пленку вдруг включили...

Они молчат.

– Эх, милый! – говорит Семенов негромко.

Вода вскипает от пузырьков, из глубины появляется аквалангист, его подхватывают с катера.

«Не нашел!» – обрывается у Сережи сердце.

Аквалангист снимает маску, достает изо рта дыхательный шланг и поднимает над головой маленький комочек.

– Один – ноль, – говорит Семенов и вновь разглядывает Сережу. – Крепись, милый, раз выбрал честность, – произносит он. – Не так это легко и просто. Придется тебе и потерпеть и пострадать...

Глава 11

И вот суд.

Маленькая нечистая комната. Унылые зеленые стены. Ряды стульев, сколоченных вместе, как в кино.

У задней стены – длинный, как для президиума, стол, покрытый зеленой материей с чернильными пятнами. За столом женщина с усталым лицом и короткими волосами.

Это судья. Еще две женщины рядом – заседатели. Четвертая, у краешка стола, приготовила бумаги: будет писать, секретарь.

Сережа сидит вместе со всеми. Хотя он подсудимый, а для подсудимого есть особое место за деревянной огородкой, судья его туда не зовет.

Хриплым голосом она читает бумагу, где записано все, как было, потом просит Сережу встать, подойти поближе, спрашивает, верно ли она прочитала.

Сережа кивает.

– Сергей Воробьев, – говорит она заседателям, – сам сообщил о краже. Необходимо отметить, что благодаря заявлению буфетчицы Селезневой, сделанному ею в корыстных целях, на Воробьева вообще не падало подозрения. Однако он глубоко прочувствовал свой проступок и явился с повинной в органы милиции. Что же касается Селезневой, на нее заведено особое дело.

Женщины кивают, соглашаясь с судьей. Сереже разрешают сесть, он отворачивается от зеленого стола и видит сосредоточенные, напряженные лица.

Истрадавшуюся бабушку, Галю с округлившимися глазами. Тетю Нину, которая в волнении тербит платок. Олега Андреевича в строгом парадном мундире. Растрепанного Семенова...

Странно, в нем нет стыда. Не осталось ни капельки. Только волнение.

Будто перед ним река, большая река – широкая, с быстрым течением. Он вошел в эту реку, плывет через нее, и все знают, что ее проплывают только взрослые. Но он плывет, ему нужно ее переплыть. А эти люди стоят на берегу, мучаются, страдают, переживают. Каждый хотел бы ему помочь, но это запрещается правилами. Он плывет сам. И остальные могут только смотреть...

Сережа садится.

– Слово защитнику, – говорит судья.

– Защитником в этом деле, – говорит, поднимаясь, Олег Андреевич, – стал сам Сережа Воробьев.

Олег Андреевич проходит на середину комнаты, смотрит на крайние стулья, где сидят Литература и Никодим. Пришли. Могли бы не приходиться, но пришли, похлопали Сережу по плечу, сказали пустые слова, отсели в сторонку, чувствуя неприязнь остальных. Свидетели. Подтвердили, что доплатили триста рублей. Расписались под бумагами, а теперь вот сидят, наблюдают.

– Я не могу защищать Сережу, – говорит Олег Андреевич. – Он украл, сделал это преднамеренно, и, по собственному его признанию, только случайность спасла его от большего преступления: в кассе осталось двадцать девять рублей шестьдесят копеек. Но остановимся на точной сумме, которая была ему нужна. Почему именно триста рублей? Почему остальные деньги, если в кассе будет больше, он хотел тотчас вернуть буфетчице, как собирался вернуть позже и нужные ему триста. Каков умысел и какова личность виновного – вот главные вопросы этого дела.

Олег Андреевич говорит сдержанно, кратко, строго. Он рассказывает про маму, про Сережу, про недолгое счастье, про размен и злополучную доплату...

Олег Андреевич садится.

– У мальчика нет родителей, – негромко говорит судья. – В таких случаях мы предлагаем помощь, выясняем, способен ли опекун обеспечить правильное воспитание и может ли обеспечить материально.

– Не отдам! – вдруг кричит бабушка. – Не отпущу!

Судья поднимает руку, успокаивая ее.

– Но я хорошо изучила дело, – продолжает она медленно, – и, хотя это противоречит моим обязанностям, предлагаю такой вопрос не ставить. – Она молчит, чуть хмурясь. – Однако мой долг, – строго говорит судья, – заставляет сказать и

несколько неприятных слов. Олег Андреевич защищал Сережу Воробьева. Разобрав это дело, я понимаю, что мальчик оказался во власти обстоятельств, подняться выше которых у него не было ни сил, ни житейского опыта. Но разве это прощает Сережу? Мои слова обращены к тебе, Сережа. Ты совершил преступление. Маленькое или большое – это неважно. И ты не совершил бы его, если бы верил друзьям. Друзья у тебя есть. Они сидят здесь...

Судья собирает бумаги и выходит, следом за ней идут заседатели и секретарь.

Тихо. Все молчат.

И вдруг открывается дверь. На пороге Андрон. Его глаза растерянно бегают, он кого-то ищет. Находит – идет к Сереже, съездившись, опустив плечи.

– Сергуня, – говорит он. – Ты вот деньги тогда искал. Трех-то сот у меня нету, возьми хоть полста.

Он протягивает красные бумажки. Сережа улыбается ему одними глазами: эх, Андрон, путаный человек, спасибо тебе, а вслух говорит:

– Теперь уж не надо. Теперь я сам должен.

Краешком глаза Сережа видит, как встает с крайних стульев Вероника Макаровна, как крадется на цыпочках к двери, хотя сейчас ведь перерыв и можно ходить смело. За ней выходит Никодим. Сережа смотрит им вслед с усмешкой, оба они кажутся ему какими-то неудачниками, что ли. Ему даже жалко их – учительницу, ковыляющую на тонких каблуках, и серого, невзрачного Никодима.

Судья и ее помощницы возвращаются.

Все встают.

– Именем Российской Советской Федеративной Социалистической Республики, – торжественно произносит судья, – суд приговорил Воробьева Сергея Петровича, одна тысяча девятьсот пятьдесят седьмого года рождения, к одному году лишения свободы.

В Сереже словно лопается какая-то струна. Он даже слышит этот странный, звенящий звук...

– Решил... на основании статьи... Уголовного кодекса наказание считать условным с испытательным сроком...

– Неправильно! – растерянно говорит Андрон. – Дайте лучше мне, старому дураку!

Сережа думает, судья сейчас возмутится, обругает Андрона, но она разводит руками.

Вот и все, думает Сережа, вот и все.

Кончился обман...

Глава 12

Обман кончился... Что теперь?

В тишине всхлипывает бабушка.

– Чего дальше-то! – говорит она. – Может, обратно в училище? Там все же Колька...

– Или в школу? – предлагает Галя.

Сережа сидит, повесив голову. Он чувствует, что-то произошло. И с ним, и с ними. Словно он после приговора судьи внезапно заразился проказой – есть такая неизлечимая болезнь. И его жалеют. Выдумывают срочно глупые лекарства. А он-то, дурак, думал, все будет наоборот. Он сразу поправится. Вылечится от обмана. Засмеется освобожденно, вздохнет легко, побежит бездумно по улице, как когда-то, как прежде...

– Не знаю, – говорит Олег Андреевич и улыбается смущенно, – что и делать. То

ли сочувствовать, то ли поздравлять.

Он смотрит на них. Странно все-таки устроены люди. Вот только что друзья ему речку переплыть помогли. И знали, к чему он плывет. А когда доплыл – смущенно молчат. Видно, уж так всегда. Какая бы правда ни была, если за нее осудят, не обрадуешься.

Он поднимается.

– Раз меня осудили условно – это значит поставили условия. Словно в задаче, – задумчиво размышляет Сережа, – даны условия, надо найти ответ. Вот я и не хочу, – он оглядывает всех внимательно, – не хочу, чтобы этот ответ нашли вы. Хочу сам.

Он медленно поворачивается, идет к выходу. Плотнo притворяет за собой дверь. Выходит на улицу.

Воздух врывается в него, заполняет легкие, обдувает лицо.

Вместе с ветром летят капли мелкого дождя.

Сережа не отворачивается от него.

Он закрывает глаза и чувствует, как постепенно лицо становится мокрым.

«Вот и все, – думает он. – Теперь надо жить дальше...» В сущности, он только повторяет то, что, всхлипывая, сказала бабушка, но тогда это говорила бабушка. Теперь думает он.

Он думает сам и не хочет, чтобы кто-нибудь думал за него.

Сережа глубоко вздыхает и чувствует на плече тяжелую руку.

Глава 13

Он открывает глаза.

Перед ним стоит летчик в синем плаще и форменной фуражке. Герой Доронин! Однофамилец артистки.

– Что же обманул? – спрашивает он строго. – Сказал, четвертая квартира...

Сережа опускает голову.

– Зачем вам? – говорит он.

– Ну ладно, – говорит летчик, трогая большой нос, – хватит хныкать! – В голосе его едва слышимая ирония. – Своего добился, и правильно. Перестань оборачиваться. Смотри вперед. – Он хлопает Сережу по плечу, идет к машине, которая стоит в стороне.

И вдруг у Сережи начинает бешено колотиться сердце. Он срывается с места и бежит к «Жигулям».

Это как в школе. Отвечаешь урок, который отлично выучил, и сердце бьется от уверенности, от предчувствия. Вот закончишь сейчас, и тебе поставят пятерку. Уверен в этом. От этой уверенности все тело становится легким и солнечно на душе.

Сережа бежит к машине, распахивает дверцу и говорит:

– А вы? Зачем приезжали?

Ведь не может же Доронин просто так его искать.

Летчик улыбается. Толстое лицо его становится добрым от морщин, бегущих к вискам. Он теребит свой нос, растягивает толстые губы, включает двигатель.

Сердце колотится, а летчик молчит.

Он сейчас что-то скажет. Хорошее. Просто замечательное. То, что ждет Сережа.

Но резко сжимается сердце.

– Подождите, – говорит Сережа, меняясь в лице, – я вначале вам должен... Мне дали год условно!

– Не имеет значения, – отвечает летчик, разглядывая Сережу и по-прежнему улыбаясь. В глазах его бегают искорки.

Сейчас, сейчас... Сейчас он скажет...

Сейчас он скажет что-то такое, что изменит всю Сережину жизнь...

Всю жизнь!

Жизнь эта не будет без облаков, как не бывает без облаков небо.

Но – помните? – ведь это к облакам струятся от земли невидимые воздушные потоки.

Они поднимают в высоту модели, планеры и людей.

«Сотри случайные черты...»

В. В. Брюсов

Юноша бледный со взором горящим,
Ныне даю я тебе три завета:
Первый прими: не живи настоящим,
Только грядущее – область поэта.

Помни второй: никому не сочувствуй,
Сам же себя полюби беспредельно.
Третий храни: поклоняйся искусству,
Только ему, безраздумно, бесцельно.

Юноша бледный со взором смущенным!
Если ты примешь моих три завета,
Молча паду я бойцом побежденным,
Зная, что в мире оставлю поэта.

В. В. Маяковский

Вот так я сделался собакой

Ну, это совершенно невыносимо!
Весь как есть искусан злобой.
Злюсь не так, как могли бы вы:
как собака лицо луны гололобой –
взял бы
и все обвыл.

Нервы, должно быть...
Выйду,
погуляю.
И на улице не успокоился ни на ком я.
Какая – то прокричала про добрый вечер.
Надо ответить:
она – знакомая.
Хочу.
Чувствую –
не могу по – человечьи.

Что это за безобразие!
Сплю я, что ли?
Ощупал себя:
такой же, как был,
лицо такое же, к какому привык.
Тронул губу,
а у меня из – под губы –
клык.

Скорее закрыл лицо, как будто сморкаюсь.
Бросился к дому, шаги удвоив.
Бережно огибаю полицейский пост,
вдруг оглушительное:
«Городовой!
Хвост!»

Провел рукой и – остолбенел!
Этого – то,
всяких клыков почище,
я и не заметил в бешеном скачке:
у меня из – под пиджака
развеерился хвостике
и вьется сзади,
большой, собачий.

Что теперь?
Один заорал, толпу растя.

Второму прибавился третий, четвертый.
Смяли старушонку.
Она, крестясь, что – то кричала про черта.

И когда, оцетинив в лицо усища – веники,
толпа навалилась,
огромная,
злая,
я, стал на четвереньки
и залаял:
Гав! гав! гав!

1915

Человек среди людей

Август Кицберг

Оборотень

Действие первое

Черная закоптелая жилия рига. В печи пылает огонь, бросая на стены красноватый отблеск. К передней стенке печи вплотную примыкает сделанная из глины завалинка, над очагом на цепи подвешен котел. Возле печи скамья, лесенка и кровать бабушки. На другой стороне, в противоположном углу чурбан – подставка для ступки, деревянная хлебная лопата, помело и прочая домашняя утварь. В стене избы задвижная дверь на пазу, вместо ручки палочка, внизу лазейка для кошки. Над дверью закрываемый дощечкой дымволок-окошко, возле двери кровать батрака. В задней стене маленькая дверь на деревянных петлях, вместо ручки торчит обрывок веревки. Перед очагом скамеечка, перед скамеечкой прялка. Около завалинки светец с горящей лучиной. Поздний зимний вечер, на дворе бушует вьюга, время от времени слышен вой волков.

Хозяйка – 40-летняя женщина с изможденным лицом, подстриженными волосами, на голове белый платок Халлисте³⁰⁹, три конца которого спадают на спину; на ней овчинная душегрейка, черная со сборками юбка, полотняный передник; на ногах онучи и постолы³¹⁰. Сидит перед печкой и прядет.

Маннь (Мари) – 8-летняя белокурая девочка; ее короткие белые как лен волосы перевязаны цветной шерстяной пряжей; на ней посконная³¹¹ рубашка, высоко перехваченная пестрым поясом; ворот рубашки застегнут маленькой медной пряжкой – презз³¹²; сидит на короточках у печи на завалинке, подобрал голые ноги под рубашку, и читает по складам большой старинный молитвенник.

Маргус – 14-летний светловолосый мальчик в посконной рубахе, ворот которой застегнут пряжкой презз, в узких холщовых штанах Халлисте, босой. Ему не сидится на месте – на его обязанности поправлять лучину и следить за тем, чтобы она горела исправно.

Маннь (читает по складам). Н-а-ш х-р-и хри, с-т-и сти, а-н ан, с-к-и-й, ский, – хрестьянский...

Хозяйка (поправляет). Христианский!

Маннь. Христианский! С-и-м сим в-о-л вол, – семвол...

Маргус (поправляет). Символ веры!

Маннь. Так ты на память знаешь!

Маргус. Конечно, знаю, и тебе знать надо... Вот, увидишь, придет Мярт Кукесе с приказом: «Таммару Маннь – к пастору заповеди отвечать!» – а ты не умеешь!

Маннь (подумавав, бойко). А я не пойду!

Маргус. Никуда не денешься, – пойдешь!

Маннь (решительно). А вот и не пойду!

Хозяйка. Учись, дитятко, учись, чего там спорить! Маргус, поправь-ка лучину!

Маннь (читает по слогам). П-я-т пять, г-л-а-в глав, пять глав. (Повторяет с начала

³⁰⁹ Халлисте – местность в юго-западной Эстонии (прим. перев.)

³¹⁰ Постолы – сандалии из сыромятной кожи.

³¹¹ Посконь – волокно из конопли; посконная – изготовленная из поскони.

³¹² Презз – вид пряжки для застежки (прим. перев.).

по слогам). Наш хри-сти-ан-ский сим-вол ве-ры. Пять глав. (Задумывается, поднимает голову). Мам, а мам, что такое пять глав?

Маргус Ну и глупая же ты!

Маннь (резко). А я не тебя спрашиваю! Матушка сама мне скажет. Мам, что это такое – пять глав?

Хозяйка (останавливает прялку, смотрит в раздумье на девочку). Пять глав это... это – пять глав. Их надо знать на память, так нужно. Если не будешь знать, тебя не допустят к причастию.

Маннь (в раздумье). Да, но...

Хозяйка. Ах, дитяtko, больно много ты спрашиваешь!

Принимается снова за прялку. Маргус за это время успел прикрепить к колесу прялки тлеющий уголек, при вращении колеса образуется огненный круг.

Маннь (вскрикивая, соскакивая с завалинки). Ах, как красиво! Мам, посмотри, как красиво!

Хозяйка (сердито). Ах ты, баловник, совсем от рук отбился. Дождешься ты у меня, вот отец вернется.

Бабушка (60–70-летняя подслеповатая старуха, в потертой овчинной шубе, двигается ощупью, – она выходит из задней каморки, прислушивается). Кого это ты ругаешь?

Хозяйка. Да Маргуса! Горячий уголек к колесу прялки приладил!

Бабушка. Не делай этого, сынок: уголек отскочит далеко, красного петухапустишь! (Пробирается к своей кровати). И чего ты даже в воскресный вечер с прялкой возишься!

Хозяйка. Воскресенье прошло; на небе уже звезды зажглись! Да и душа болит: ведь наши-то еще не вернулись. Собьются, чего доброго, с дороги в такую метель, заблудятся в лесу...

Бабушка. Ктот их знает, где они пропадают, время-то уже позднее.

Молчание. Не слышно ничего, кроме завывания ветра и жужжания прялки.

Маннь (залезла опять на завалинку, взяла книгу и читает по складам). П-е-р пер, в-а-я ва, я – первая, г-л-а гла, в-а ва, глава, – первая глава.

Вдруг со двора доносится вой волков. Все вздрагивают.

Маннь (в ужасе). Волк, мам, волк!

Бабушка. Не поминай его, дитяtko, не называй по имени! Озлится пес лесной!

Маргус отодвигает дощечку с дымволока; в комнату врывается холодный пар и снег, вой волков постепенно удаляется и наконец замирает.

Хозяйка (в смятении). Спаси и помилуй! Ишь, как обнаглели с тех пор, как нашего Султана уволокли. Прямо во двор лезут. Не натворили бы чего!

Бабушка. Ежели двери у хлева крепко подперты, тогда ничего.

Хозяйка. И чего это Яан и Яанус долго не едут!

Маргус (ободряюще). У отца на дровнях под соломой ружье.

Хозяйка (озабоченно). Ружье-то дома! Да и какой в нем толк: в такую метель кремень искры не даст.! От снега все отсыреет.

Маннь (после некоторой паузы). Ух! Как холодно! И чего это отец в такую вьюгу

в церковь поехал?

Маргус. А раз приказали!

Хозяйка. Ну да, раз приказали: с каждого двора идти мужику и бабе глядеть, как ведьму и оборотня будут казнить! Я побоялась, вот хозяин с батраком и поехал. Приказа ведь послушаться нельзя.

Маннь. Мам, а мам, что такое ведьма?

Хозяйка. Подрастешь – узнаешь.

Манн. Да-а... а... что такое оборотень? Я ведь не знаю.

Хозяйка. Что ты все спрашиваешь, чего тебе знать не нужно! Оборотень – это, злой человек, он может обернуться волком. Захочет – обернется волком, захочет – снова станет человеком.

Маннь (прижимаясь к матери). Мам, я боюсь!

Хозяйка. Чего же ты тогда про это спрашиваешь! Возьми-ка книгу, садись на место и учи!

Девочка неохотно берется за книгу.

Ну, иди, иди!

Маннь берет книгу, забирается на завалинку, но не читает, а глядит в пустоту широко раскрытыми глазами.

Бабушка (сидя на краю кровати, тихонько вздыхает, словно в каком-то недоумении). Да-а!

Маргус. Ты что-то сказала, бабушка?

Бабушка (вздыхая). Нет, ничего! Просто подумала, что... на свете много такого, до чего умом-разумом не дойти. Смотришь и смотришь, а все-таки ничего не видишь! Старая вера, она делала разницу между добром и злом: были колдуны, были и мудрые люди, которые больше других знали. Новая вера никакой разницы не делает – все одинаково ведьмы. Все же есть и добро и зло, скрытые от нас, как родниковая вода под землей. Добро и зло, чего разум не берет!

Подавленное настроение, слышится только завывание ветра на дворе да жужжание прялки.

Дверь распаивается, из темноты в избу врывается холодный пар.

Хозяин – 50-летний крепкий мужик, с сильной проседью в волосах и бороде; **батрак Яанус** – 35-ти лет. Оба в теплой зимней одежде: на них овичные полушубки под армяками³¹³, шапки-ушанки; под полушубком у хозяина серый, у батрака черный короткий камзол³¹⁴, на обоих белые узкие штаны, длинные черные чулки и постолы.

Хозяин (входит с батраком, переступая порог). Добрый вечер! Вот и мы!

Хозяйка (облегченно, с радостью). Ну, слава Богу, наконец-то! Скорей, скорей, а то холоду напустите и отогреться негде будет.

Маргус (торопливо одеваясь). Пойду распрягу лошадь.

³¹³ Армяк – верхняя одежда, преимущественно мужская, надевалась поверх кафтана, шубы, полушубка, тулупа в любое время года при плохой погоде и в дорогу. Изготавливался из сукна верблюжьей или овечьей шерсти, иногда полушерстяной ткани домашней выделки чёрного, серого, коричневого, реже синего цвета.

³¹⁴ Камзол – мужская одежда, сшитая в талию, длиной до колен, иногда без рукавов надевавшаяся под кафтан.

Хозяин. Будь молодцом! Накрой ее дерюгой и привяжи.

Маргус. Ладно, сделаю! (Уходит во двор).

Хозяйка. Добрались-таки живыми до дому, не загрызли вас волки!

Хозяин. Ничего с нами не случилось. Даже не видели их.

Янус. Зато слышали, как они с воем помчались от Пянипалу к Соонийду. Тут уж и мерин наш, на что старый, и то пустился во всю прыть.

Хозяйка. А к нам так прямо в избу лезли!

Хозяин. Да, в такую погоду они голодные.

Бабушка (многозначительно). Они злятся, что у церкви сестру их засекли!

Хозяин (вешая верхнюю одежду, подавленно). Да, страшное дело, и еще в такой мороз! Я не пошел смотреть, ну а другие все же пошли!

Янус. Железной петлей прихватили за шею к столбу, другой – за пояс. И тогда палач начал стегать...

Маннь (держась за мать). Мам, я боюсь!

Хозяйка. Да, бойся, дитяtko, бойся греха!

Янус. И били ее до тех пор, пока не обмерла: голова повисла и затихла. Сняли тогда петли – да что тут: она уже мертвая.

Тягостное молчание. Маргус вернулся в избу.

Хозяйка. И откуда такая родом была?

Хозяин. Да кто ее знает! В нашей церкви она, говорят, не была записана. Жила будто в том конце прихода, где-то в лесу, почитай, что в пещере. Сказывают, издалека к ней приходили за помощью. Помогала. Один старик сам рассказывал, как его ужалила змея, и опухоль уже до сердца поднялась... Да рассказывали про нее и хорошее, и плохое, и то и другое. Откуда она пришла, как сюда попала, этого никто толком не знал.

Янус (после некоторой паузы). Ребенок у нее. И его притащили, чтоб видел, как мать будут бить. И где они только его словили? Девчонка вся оборванная, в лохмотьях, голодная, зачоченевшая. Должно быть, бродила без приюта с тех пор, как взяли мать. Да и кто пустит к своему очагу дочь колдуньи!.. Как только палач ударил, девочка с криком кинулась в лес. Погнались тут за ней, конечно, но где там поймаешь!

Тягостное молчание. Хозяин хотел было взяться за трубку, но вдруг начинает прислушиваться: сквозь завывание бури все ясней и ясней доносится вой приближающихся волков.

Хозяйка (поднимая голову). Слышишь, опять идут!

Никто не отвечает, все застыли на месте. Вдруг слышно, как кто-то скребется за дверь. Общий испуг, все вскакивают. Маннь взбирается на завалинку.

Хозяйка. Господи Иисусе, в избу рвутся!..

Бабушка (бормочет молитву, сначала невнятно, потом можно разобрать слова).

О Господи, нас защити

своею кровью от беды!

Пеэтер, наш святой заступник,

загони зверей в ловушку,

окружи ты хищных псами,

когти крепко им свяжи!..

Хозяин (вскакивает, берет ружье и открывает дверь. Ветер и снег врываются в избу, вбегает девочка, на вид такая, как описывал Янус убежавшую в лес дочь ведьмы; ее преследует яростный вой волков). Это еще что? (Как бы нехотя захлопывает за девочкой дверь).

Вой волков удаляется и затихает.

Маннь (с криком убегает в заднюю каморку). Волк! Волк!

Все с ужасом, не отрываясь, смотрят на вбежавшую девочку; та тоже испугана, ослеплена светом; остановилась посредине комнаты.

Янус (первый приходит в себя). Это ее дочка!

Хозяйка. Боже милосердный! Тоже ведь человек! И у нее душа имеется!

Все подходят к девочке; она переводит широко раскрытые глаза с одного на другого. Маннь робко выглядывает в приоткрытую дверь. Бабушка приближается ощупью.

Хозяин (отложив ружье в сторону, подходит к девочке). На тебя, верно, волки напали, и ты еле спаслась от них?

Девочка смотрит на него, но ничего не отвечает.

Хозяйка. Как тебя звать?

Девочка переводит глаза на хозяйку, потом снова на хозяина, но не отвечает.

Бабушка (наклоняется, чтобы разглядеть девочку). Она ведь напугалась и не может опомниться от страха. С перепугу язык к горлу присох. Может, с ней еще никто по-человечески и не разговаривал?

Хозяин (тихонько подталкивает ребенка к очагу). Поди, поди погрейся! Ведь заоченела вся. После расскажешь, как ты к нам попала!

Девочка по-прежнему переводит глаза с одного на другого. Под действием тепла она забывает обо всем, протягивает руки к огню и греется.

Хозяйка (с состраданием склонившись над девочкой). Проголодалась, небось?

Хозяин. Чего там спрашивать! Коли есть что, накорми ее!

Хозяйка. Там у меня для вас похлебка теплая в котле.

Хозяин. Нам ничего не надо! Мы заезжали к свояку, там наугощались.

Хозяйка (снимает котел с крючка, приносит хлеб, наливает похлебку в мисочку и ставит все на скамейку у печки). Иди-ка сюда, гостюшка!

Девочка смотрит на нее благодарными глазами, хватая кусок хлеба, берет ложку и жадно принимается за еду, время от времени озираясь сияющими глазами.

Хозяин. Гляди, как ест!

Хозяйка. Кто знает, может, у ней давно и крошки во рту не было!

Небольшая пауза. Все радостно смотрят, как ребенок жадно ест.

Маргус (стоит, расставив ноги, и смотрит на отца). Что ж, она у нас теперь

останется?

Хозяйка (как бы возражая). Вот уж сразу и у нас!

Хозяин (улыбаясь, Маргусу). Можно и оставить, если... возьмешь ее себе в жены.

Маргус (смеется). В жены? Я? Вот эту!

Все смеются. Девочка, взглянув на Маргуса, продолжает есть.

Хозяин (по-прежнему). А ты не зарекайся! Вот сведем в баньку да вымоем, – тогда увидишь.

Мань (боязливо). Мам, вот эта и есть оборотень?

Хозяйка. Глупенькая! Это человеческое дитя, такое же, как и ты.

Девочка съела похлебку и, отложив ложку, на мгновение молитвенно сложила руки. Потом благодарно смотрит на окружающих.

Хозяйка (подтолкнув хозяина). Видел, что она умеет делать?

Хозяин. Видел! (Подходит к ребенку, ласково). Ну как, сыта?

Девочка смотрит на него, но не отвечает.

Хозяин. Ничего, завтра заговорим! А теперь полезай на печь, там тебе будет тепло спать.

Девочка по-прежнему ничего не отвечает, залезает по лесенке на печь и там затихает.

Хозяин. Ну, Мань и Маргус, пора и вам на боковую!

Мань. Я боюсь.

Хозяйка. Глупенькая! Маргус тоже пойдет спать, да и мы придем.

Дети уходят в заднюю каморку. Янус раздевается, собираясь лечь спать; бабушка тоже собирается спать.

Хозяин (открывает на минутку дверь и выглядывает на улицу). Метель улеглась, снег перестал, в небе звезды засияли...

Бабушка. Это потому, что сиротка нашла приют.

Хозяин и хозяйка задумались, украдкой поглядывают друг на друга.

Хозяйка (озабоченно). Ян, как же нам теперь быть?

Хозяин (смотрит в сторону). Да, как нам быть! А я разве знаю! И как ее выгонишь в метель и стужу!

Хозяйка (после некоторой паузы). Если бы у нас хоть хлеба было вдоволь! Едоков и так хватает!

Хозяин. Да, хватает! Вот ежели бы весной раскорчевать да разделать под пашню кусок пустоши...

Хозяйка. Неплохо бы, да не знаешь ведь, что на мызе скажут!

Хозяин. Мызе что! Одна крепостная душа прибавится. Об этом еще подумаем – утро вечера мудренее. Может быть, весной пошлем ее вместе с Мань коров пасти? А Маргус мог бы уже ходить за бороной и помогать мне в поле, где полегче.

Хозяйка (вздыхая). Как мы будем растить дитя колдуньи вместе с нашими детьми!

Хозяин. Колдуньи или не колдуньи! Кто нам скажет, была она колдунья или нет! Она-то уж ничего не скажет! Не погибать же девочке за грехи матери!

Янус (сидя на краю кровати). Да ее мать в мертвецкой... Я видел, как ее туда снесли на носилках. У них ведь гроба и ничего другого наготове не было. Бросили туда и все!

Хозяйка. К ночи такой разговор затеял. Этак и не заснешь.

Янус (мрачно). Да, сон не идет!

Молчание. Хозяин и хозяйка направляются к двери задней каморки.

Девочка (приподнимается на печке и начинает рыдать. Из ее уст вырывается первое слово – душераздирающий вопль). Мама!

Мертвая тишина. Хозяин и хозяйка стоят в оцепенении.

Занавес.

Действие третье

Канун Иванова дня. Полянка на опушке леса. Костер. На переднем плане воткнут шест со смоляным бочонком, бочонок не виден. Мальчишки подносят хворост для костра, а парони совещаются под смоляным бочонком. Оживленное движение, гул голосов и взрывы смеха, народ все время прибывает.

Мальчики.

1-й: Устроим иванов огонь что надо!

2-й: Какого раньше не бывало!

3-й: Чтоб был виден на три волости!

Яссь (дурачок, постоянно путается в ногах и вмешивается в разговоры). Сегодня устроим иванов огонь, да! Чтоб виден был на три волости, да!

1-й мальчишка. Яссь, принеси хворосту!

Яссь. Я тоже принесу хворосту, да! (Не двигается, однако, с места).

Смех. Издали доносится песня приближающихся девушек.

Группа девушек (подходя).

– Здорово!

– Добрый вечер ребята!

– Здравствуйте!

Приветствия и шутки.

2-й мальчик (другим мальчишкам). Юку, Яан и все остальные! Принесите можжевельника, да посуше!

Мальчики (бегут в лес с возгласами). Пошли, ребята! Принесем сухого можжевельника!

Старая дева Эпп (шатает шест со смоляным бочонком). А шест выдержит?

Парни (со смехом).

– Почему не выдержит?

– И как еще выдержит!

– Даже Эпп не сможет его выдернуть!

Дурачок. Я, я-я притащил целое дерево!

Девушки.

– Как-то запылает наш иванов огонь?

– Подложили бересты?

– Смолы туда побольше!

Парни.

– Смола у нас, что мед!

– Бересты и смолы – всего навалили!

– Нашли старое колесо, разрубили ступицу³¹⁵ и щепками набили бочку – вспыхнет, как солома!

Эпп. А кто туда ползет огонь зажигать?

1-й парень. Эпп сама наверх ползет!

Мальчик. Я залезу, я подпалю!

2-й парень. А портки выдержат?

Смех: у мальчика на коленках штаны разорваны.

3-й парень. Подадим огонь жердиной!

Девушки.

– Ну чего вы ждете, зажигайте огонь!

– Да, да, пора начинать!

Парни.

– Рано!

– Подождем, еще светло!

– Еще не все собрались!

1-я девушка (девушкам, стоящим впереди). С хутора Таммару еще никто не пришел?

2-я девушка. Ты что, Маргуса ждешь?

3-я девушка. Маргуса ждать нечего, у него уже своя есть.

Яссь. А что, Тийна тоже придет?

1-й парень. Отчего ж ей не прийти?

Яссь. Будто сам не знаешь!

Эпп (Яссю). Чего болтаешь? Смотри, не попало бы!

Вокруг них собирается народ, все прислушиваются.

2-й парень. О таких страшных вещах и говорить-то боязно! Кто бы мог поверить!

3-й парень. Кто его знает, верно ли это?

1-й парень. Что верно? То, что случилось с жеребенком Карла Кивеста?

Старая женщина. Еще бы не верно: Мари Таммару собственными глазами видала.

1-я девушка. Ой, даже страшно делается!

Мальчик (старой женщине). Тетя, а тетя! Каков он, оборотень, из себя?

Старая женщина. Разве я его видала! Волк как волк, когда захочет крови и загрызть кого-нибудь. Только передние ноги у него, говорят, покороче задних. Ведь у человека руки тоже короче, чем ноги.

Слушающих собирается все больше и больше.

³¹⁵ Ступица – центральная часть колеса, маховика и других подобных деталей, имеющая в себе специальное отверстие для оси или вала.

Мужчина средних лет. Все это вздор!

1-й парень. Конечно, вздор! И как это может быть, что человек то волком обернется, то снова станет человеком?

Старая женщина. Вовсе не вздор! Вот взять Рягу Рейна из Пярнакюла. Пальцем пошевелить лень, поля не паханы, голод стучится в окна и двери, скотина отошала, весной на ногах не стоит – люди из хлева выносят. А сам Рейн? Красный и толстый, как бык, лицо кровью налилось. Все люди знают, что он оборотень, овец задирает, с того, с их теплой крови, и вся его сила.

Мужчина средних лет. Брехня!

Старая женщина (так же). Ах, по-твоему, брехня! А кто и батрака оборотнем сделал? Старому Рейну барщина не под силу, вот мыза и поставила к нему батраком старого Ааста Матса, чтобы тот отработал за Рейна. А какой из него работник, коли хозяин и куска хлеба дать не может? Скоро только и Матс стал поправляться, растолстел, раскраснелся и барщину отработал и все, да еще хвалится, что у такого хорошего хозяина, как Рейн, ему еще служить не приходилось. Только вот однажды запомнил Матс то слово и не мог обратно человеком обернуться. Хоть и на четвереньках вокруг камня пятился, а слова вспомнить никак не мог. Так волком и прибежал домой да забился в мякинник: глаза во лбу горят, кровавый язык торчит из пасти. Тут старый Рейн вернулся домой, сам его вокруг камня поводил и снова обратил в человека.

Мужчина средних лет. Пусть верят, кому охота!

Пожилой человек. Неужто поинтересней разговоров нет – мелют всякий вздор!

Старая женщина. Это не вздор!

3-й парень. Кто его знает. Не зря, поди, люди говорят.

Старая женщина. Нет дыма без огня.

Эпп. Да будет вам, поговорили бы о чем-нибудь другом!

Яссь. Это и есть самый новый слух! Да!

3-й парень. Ну и пойдут теперь трезвонить по всему приходу!

Мужчина средних лет. Слышал я, будто Маргус хочет жениться на Тийне. Вот и пошли всякие вздорные слухи!

Яссь (спрятавшись в лесу, кричит оттуда). Ых-хый, ых-хый, серый, серый оборотень! Глаза во лбу горят, как угли!

Все пугаются, настораживаются, дети сбиваются в кучу у места под смоляным бочонком.

Эпп. Что за глупая болтовня и брехня! Только веселье портят! Ничего лучшего не нашли в канун Иванова дня! Ребята, зажигайте-ка огонь! Девушки, подходите, давайте в куклу играть! Пора уже начинать! Пошли!

Пожилой человек. Да, веселье портят!

Девушки.

– Давайте начнем!

– Давайте в куклу играть! Какое нам дело до других! Идемте!

– Эпп, выходи вперед!

Эпп (жеманясь). Ну вот еще, почему же я!

Парни.

– Конечно, Эпп!

– Эпп, Эпп!

– У Эпп голос хороший!

– Эпп мастерица игры заводить!

Эпп. Ну что ж, коли Эпп, так Эпп! Давайте начнем! (Запевает громко:)
Станем куклу наряжати,
обувати злату кукушку!..

Пожилые люди становятся по обе стороны играющих, девушки образуют круг, берутся за руки, двух девушек выталкивают на середину круга и накрывают их головы белым платком, остальные девушки ведут вкруг них хоровод и поют. Группа парней отходит вправо и выбирает двоих, которые должны ловить девушек-кукол. Слева волынщик, мужики и бабы постарше. Общее веселье. Игра в «куклу» должна проходить быстрым темпом. Во время игры в «куклу» парни, подняв огонь на длинном шесте, поджигают смоляную бочку; огонь бросает на сцену красноватый отблеск.

Игра первая

Станем куклу наряжати,
Обувать злату кукушку!..
Куколка, ты наряжайся,
чтоб затмить других красою,
возьми перышко от утки,
пух от птички легкокрылой!

Девушки-куклы в круге делают такие движения, как поется в песне.

Грудь свою укрась звездой,
чтоб сравнилась ты с луною;
белый жемчуг вокруг шеи –
будто облака на небе;
волосы венком широким,
словно радугой покроешь.

Кукла наша молодая,
ты для бега приготовься,
скинь платочек на ольшанник,
покрывало – на березку.

Девушки-куклы сбрасывают платок и выбегают из круга. Парни бегут за ними, стараясь их поймать. Участники хоровода, отойдя назад, образуют полукруг.

Куколка, беги скорее
в землю польскую по полю,
в землю русскую сторонкой,
в землю нарвскую беги ты!

Куколку домой уж кличут,
и обратно призывают:
кукла, ты беги скорее,
ты беги, признай милого!
Матс ведь твой, держи его ты,
Яан твой суженый навеки!

Парни поймали девушек-кукол и возвращаются с ними. Общий говор и оживление.

Пастушки (прыгают вокруг иванова огня и поют).

Яанике, святой пречистый,
береги моих коровок
по пути домой иль в стаде,
иль в лесу от злой напасти!
Научи их за кустами
мягкую щипать мураву!

Кричат: «Яанике! Яанике!». Разбегаются.

Пожилой мужчина (берет что-то с земли, бросает в огонь). Бурьян – в огонь,
полевицу – на луга, лен – на мое поле!

За сценой звук рожка – знакомая мелодия.

1-я девушка. Это Маргус!

2-я девушка. Да, Маргус. Это он играет!

Некоторые идут навстречу, другие кружатся в танце под звуки рожка. Появляется Маргус, Мари, Тийна, хозяин и хозяйка Таммару. Хозяин и хозяйка останавливаются возле группы пожилых людей. приветствия, оживление; однако тут же некоторые, наклонившись друг к другу, перешептываются. Девушки несколько сторонятся Тийны, но это пока не бросается в глаза. Чувствуется, как мрачное настроение овладевает всеми.

Эпп (видя это, старается развеселить присутствующих). Ну что же вы бросили играть? Идите в хоровод! Ведь не каждый вечер бывает канун Иванова дня. Когда мы этак каждой из вас подберем под пару!

Девушки. Да-да, давайте опять играть! (Собираются в круг).

Эпп. А кого же в круг?

1-й парень. Пусть Эпп идет в круг.

Смех.

Эпп (весело). Ах вот как, Эпп – в круг? А Яссю, верно, ловить? Этого хотите?

Смех.

Нет, в круг пойдут Мари и Тийна, а Маргус и Мярт Меэлимяэ будут ловить!

Хозяин и хозяйка Таммару насторожились, хозяйка что-то взволнованно говорит, хозяин недовольно разводит руками.

Голоса. Да-да! Мари и Тийна – в круг! Маргус и Мярт – ловить!

Несколько девушек подбегают к Мари; Тийна остается одна.

Хозяйка Таммару (подходит к Мари, будто хочет ее увести). Мари, ты сейчас не ходи!

Девушки (окружили Мари). Нет, нет, она должна пойти, мы не отстанем!

Эпп (подходит к Тийне). Ну, Тийна, пойдём!

Тийна (нерешительно). Возьмите лучше другую!

Маргус (Тийне). Иди, иди!

Эпп приводит Тийну в круг и ставит ее рядом с Мари. Снова перешептывание. Ясно слышны слова: «Поглядим, кого выберет Маргус!».

Игра вторая

Эпп запекает, девушки подхватывают, парни аккомпанируют на каннеле.³¹⁶

Наша кукла-сиротинка,
что без гнездышка касатка;
матки нет, кто приголубит,
нет отца, кто приласкает!
Плачь же, куколка-сиротка,
припади к земле, родная,
словно ты и не живая.

Кукла, встань и встрепенися,
вот отец твой, вот и мать тут!
Прыгни, кукла, прыгни, кукла,
убегай скорее, кукла,
крылышками ты встряхнися,
распуши свои ты перья!
Куколка ты молодая,
думу про леса оставь ты:
злой напасти лес ведь полон,
хищных там зверей немало!

Куколка, домой вернися,
дома дел не оберешься:
на станке сукно начато –
его надо выткать славно,
и скорей за холст приняться!
Кукла, ты беги скорее,
ты беги, признай милого!
Мярт твой суженый навеки,
Маргус твой, его держи ты!

Тийна и Мари выбегают из круга. Участники хоровода отходят и образуют полукруг. Мари увертывается от Мярта и не дает себя поймать.

1-й парень. Маргус, валяй напрямик, отбей Мари у Мярта.

2-й парень. Не сдавайся, Мярт!

1-й парень. Маргус, хватай Мари!

3-й парень. Будто Мари нужна Маргусу! Мари достанется Мярту!

Мари несколько раз бежит наперерез Маргусу, чтобы он ее поймал, но Маргус видит только Тийну и мчится за ней, однако Тийна не сдается.

³¹⁶ Каннель – эстонский народный музыкальный инструмент, напоминающий гусли (прим. перев.)

Яссь. Чего ты, Мари, все навязываешься Маргусу, Маргус ведь не хочет тебя! Да!

1-й парень. Вот дурной, он и впрямь не хочет! А Мари была бы рада!

2-й парень. Маргусу все нипочем!

3-й парень. Маргус знает, что делает; что ему до Мари!

Хозяин и хозяйка Таммару на переднем плане, видимо, сильно взволнованы. Когда Маргус пробегает мимо них, хозяйка хватается за рукав.

Хозяйка (сердито). Что ты делаешь?

Маргус, не обращая на нее внимания, вырывается, бежит за Тийной.

1-й парень. Мари, не унывай! Мярт тоже хороший парень!

2-й парень. Будь довольна Мяртом! сама видишь – у Маргуса с Тийной дело на мази!

Старая женщина. Маргус не в своем уме! Попутала его нечистая сила, теперь не вырвется, ему сейчас наплевать на все!

Присутствующие снова взволнованно перешептываются. Все напряженно следят за бегущими, которые возвращаются на передний план сцены. Мари идет с Мяртом, ее лицо пылает, она тщетно пытается скрыть свой гнев; Тийна – с Маргусом, с покорными, но сияющими глазами. Обеи пары встречаются посередине сцены.

Мари (не в силах сдержаться, обернувшись к Тийне, шипит ей прямо в лицо – правда, так, чтобы слышала только Тийна, но голос ее слышен всем). Оборотень!

Тийна в оцепенении. Маргус ошеломлен. Злорадные лица и шепот окружающих: «Что она сказала?», «Ты слышала, что она сказала!» Вскоре тут и там раздается: «Оборотень!» На мгновение воцаряется неловкое молчание. Огонь наверху меркнет и начинает гаснуть. Вдруг в темноте раздается насмешливый куплет.

Серый хищник, страшный хищник,
господин лесной чащобы,
иди по болоту хлюпать,
по лесам дремучим рыскать,
по камням пробираться.

Одни злорадно хихикают, у других серьезные лица. Снова, теперь уже с другой стороны, раздаются слова насмешки.

Хитрый хищник, страх дубравы,
пес лесной со страшной пастью,
волк с огромной головою!
Ты бычка оставь в покое,
близко к стаду не ходи ты,
жеребеночка не трогай!

Маргус взволнован и растерян, он хочет поймать кого-нибудь из обидчиков, но не находит их. Оцепенение Тийны переходит в неудержимые рыдания. Она стоит одна посередине сцены, и красный отблеск гаснущего огня падает только на нее.

Маргус. Тийна! Тийна! Не плачь! Это на них нашло... они и сами этому не верят... а завтра, увидишь, все опять забудется. Ну, не плачь же! (Сердито в сторону)

собранных). Что вы делаете? Постыдились бы! Кто-то наговорил, а вы повторяете глупую брехню, издеваетесь над человеком, обижаете его. Не плачь, Тийна!

Хозяин Таммару (сердито Маргусу). Ты чего это? Разве тебя кто задел?

Маргус (огрызаясь). Разве ты не видишь, что обижают человека?

Брошенный откуда-то из темноты к ногам Тийны падает старый лапоть, снова слышатся насмешки.

Серый, вот тебе заплатка!
Этим глаз свой закрывай ты,
к нашему как выйдешь стаду.
Серый, вот тебе заплатка!

Тийна (ее плач переходит в пламенный гнев). Чего вы хотите от меня! Вы считаете себя людьми, а сами страшнее хищных зверей!оборотнем меня называете! – Да, я оборотень, – ведь вы этого хотите! В тысячу раз легче жить волком среди волков в лесу, чем среди таких людей, как вы! Волк нападает только тогда, когда он голоден, и волк – не тронет волка, а вы!.. И думаете, что вы лучше меня! Вот перед вами волк, в нем есть гордость, он не даст себя позорить! А вы!.. Вашей рабской кровью омоченные прутья валяются под каждым забором, их лизут там псы! Волк же свободен – он делает, что хочет: захочет – придет, захочет – уйдет, любит и ненавидит, кого хочет! И он уходит от вас, потому что презирает вас! (Гордо направляется к лесу).

Никто ей не пренепятствует, все в оцепенении.

То тут, то там в лесу в темноте мелькают призрачные огоньки, подобные глазам волков; огоньки быстро исчезают. Тишина прерывается голосами.

Пожилой человек. Господи Иисусе! Иванов огонь потух! Не к добру это!

Старая женщина. Лес такой темный и страшный. Здесь жутко оставаться!..

Страх овладевает всеми: девушки и женщины жмутся друг к другу, сбиваясь в кучу, дети цепляются за одежду матерей. Слышны голоса, причитания. Народ начинает расходиться, сцена постепенно пустеет. У тлеющего костра остается один Маргус. Его взволнованный вид говорит о том, что его одолевают тяжелые мысли. Неподалеку стоят хозяин и хозяйка Таммару; они тоже взволнованны и возбужденно переговариваются; мало-помалу их слова начинают доноситься до слуха.

Хозяин (разводя руками). Ну подумай! Что поделаешь с таким дураком!

Хозяйка. Давно бы нужно было спровадить девку с глаз долой!

Хозяин. Спровадить! Как ее, ни с того ни с сего прогонишь? А, пожалуй, придется! Ну кто бы мог подумать, что она (разводит руками) своих благодетелей не будет почитать и этого дурня приворожит.

Хозяйка. Волк, он и есть волк! А людям-то что сказала!

Хозяин (с угрозой). Пусть только вернется!

Хозяйка (подходя к Маргусу). Пойдешь с нами?

Маргус (жалобно). Как же я пойду, ведь видел... что она убежала в лес, не знаю, что с собой сделает!

Хозяйка (безжалостно). Ничего она не сделает!

Хозяин (с насмешкой). Может, и ты за ней в лес побежишь?

Маргус (озабоченно). Не знаю, где ее искать!

Хозяин. Пойдешь ты с нами или нет?

Маргус (угрюмо). Да уж приду!

Хозяин (хозяйке). Пускай себе тут киснет! Пойдем!

Хозяин и хозяйка уходят. Маргус остается один, опустив голову, разгребает ногой золу от костра.

Из темноты к нему подходит Мари и с волнением следит за ним.

Мари (нежно). Маргус!

Маргус (сурово). Ну, чего тебе еще нужно?

Мари (покорно). Чего мне нужно, Маргус? Мне ничего не нужно!

Маргус. Тогда уходи!

Мари (озабоченно). Как я тебя здесь оставлю... совсем одного!.. Ведь все ушли...

Маргус. Опять мы загнали ее в лес! Бог знает, вернется ли она?

Мари (после небольшой паузы). Вернется. Не раз она уходила и всегда возвращалась.

Маргус (огрызаясь). Не раз! Уходила – когда вы ее обижали. Она не такая, как вы, она не переносит обиды... У нее кровь другая, она горячая, чуткая, она... Да разве ты можешь понять...

Мари. Маргус, я не могу этого понять, как ты так сильно привязался к ней!

Маргус. Тебе, конечно, этого не понять! Уходи! Видеть тебя не могу! Свой дурной сон выдаешь за правду!

Мари (плача). Поверь, Маргус, это не сон!

Маргус. Тогда ты сама все выдумала. Я Тийну не брошу! И будь она хоть десять раз оборотень – она для меня в тысячу раз милей и лучше, чем ты! (Уходит).

Мари (вслед ему). Маргус! (Заливается горькими слезами, ломает руки). Маргус! Душу свою я разостлала бы на твоем пути, чтобы тебе было мягче ступать! Я готова отдать за тебя жизнь, но уступить тебя оборотню – я не могу. Нет, не могу!

Занавес

И. А. Бунин

Братья

Взгляни на братьев, избивающих друг друга.
Я хочу говорить о печали.

*Сутта Нипата*³¹⁷.

Дорога из Коломбо вдоль океана идет в кокосовых лесах. Слева, в их тенистой дали, испещренной солнечным светом, под высоким навесом перистых метелок-верхушек, разбросаны сингалезские хижины, такие низенькие по сравнению с окружающим их тропическим лесом. Справа, среди высоких и тонких, в разные стороны и причудливо изогнутых темно-кольчатых стволов, стелются глубокие шелковистые пески, блещет золотое, жаркое зеркало водной глади и стоят на ней грубые паруса первобытных пирог, утлых сигароподобных дубков. На песках, в райской наготе, валяются кофейные тела черноволосых подростков. Много этих тел плещется со смехом, криком и в теплой прозрачной воде каменистого побережья... Казалось бы, зачем им, этим лесным людям, прямым наследникам земли прародителей, как и теперь еще называют Цейлон, зачем им города, центы, рупии³¹⁸? Разве не всё дают им лес, океан, солнце? Однако, входя в лета, одни из них торгуют, другие работают на рисовых и чайных плантациях, третьи – на севере острова – ловят жемчуг, спускаясь на дно океана и поднимаясь оттуда с кровавыми глазами, четвертые заменяют лошадей, – возят европейцев по городам и окрестностям их, по темно-красным тропинкам, осененным громадными сводами лесной зелени, по тому «кабуку», из которого и был создан Адам: лошади плохо переносят цейлонский зной, всякий богатый резидент, который держит лошадь, отправляет ее на лето в горы, в Кэнди, в Нурилью.

На левую руку рикши³¹⁹, между плечом и локтем, англичане, нынешние хозяева острова, надевают бляху с номером. Есть простые номера, есть особенные. Старику-сингалезу³²⁰, рикше, жившему в одной из лесных хижин под Коломбо, достался особенный, седьмой номер. «Зачем, – сказал бы Возвышенный, – зачем, монахи, захотел этот старый человек умножить свои земные горести? Затем, Возвышенный, захотел этот старый человек умножить свои земные горести, что был он движим земной любовью, тем, что от века призывает все существа к существованию». Он имел жену, сына и много маленьких детей, не боясь того, что «кто имеет их, тот имеет и заботу о них». Он был черен, очень худ и невзрачен, похож и на подростка и на женщину; посерели его длинные волосы, в пучок собранные на затылке и смазанные кокосовым маслом, сморщилась кожа по всему телу, или, лучше сказать, по костям; на бегу пот ручьями лил с его носа, подбородка и тряпки, повязанной вокруг жидкого таза, узкая грудь дышала со свистом и хрипом; но, подкрепляя себя дурманом бетеля³²¹,

³¹⁷ Сутта Нипата (в пер. «Корзина речей») – древний буддийский текст.

³¹⁸ Рупия – денежная единица Индии.

³¹⁹ Рикша – на Востоке человек, который, впрягшись в легкую двуколку, перевозит сидящих на ней пассажиров.

³²⁰ Сингалезы (или сингалцы) – представители народа, составляющего основное население острова Шри-Ланка (до 1972 г. – острова Цейлон).

³²¹ Бетель – вечнозеленое многолетнее растение рода перец. Листья имеют лекарственные свойства и используются как специи.

нажевывая и сплевывая кровавую пену, пачкая усы и губы, бегал он быстро.

Движимый любовью, он не для себя, а для семьи, для сына хотел счастья, того, что не суждено было, не далось ему самому. Но по-английски знал плохо, названия мест, куда надо было бежать, разбирал не сразу и часто бежал наугад. Колясочка рикши очень мала; она с откидным верхом, колеса ее тонки, оглобли не толще хорошей трости. И вот влезает в нее большой белоглазый человек, весь в белом, в белом шлеме, в грубой, но дорогой обуви, усаживается плотно, кладет нога на ногу и сдержанно-повелительно, в горло себе, каркает. Подхватив оглобли, старик припадает к земле и летит вперед, едва касаясь земли легкими ступнями. Человек в шлеме, держа палку в конопатых руках, задумался о делах, загляделся – и вдруг он злобно выкатывает глаза: да он мчится совсем не туда, куда надо! Короче сказать, немало палок влетало старику в спину, в черные лопаточки, вечно сдвинутые в чайнии удара, но немало и лишних центов сорвал он с англичан: осадив себя на всем бегу у подъезда какого-нибудь отеля или конторы и бросив оглобли, он так жалостно морщился, так поспешно выкидывал вперед длинные, тонкие руки, сложив ковшиком мокрые обезьяньи ладони, что нельзя было не прибавить.

Раз прибежал он домой совсем не в урочное время: в самый жар полдня, когда золотыми стрелами снуют в лесах те лимонные птички, что называются солнечными, когда так весело и резко вскрикивают зеленые попугаи, срываясь с деревьев и радугой сверкая в пестроте лесов, в их тени и лаковом блеске, когда так сладко и тяжело пахнут в оградах старых буддийских вихар³²², крытых черепицей, сливочные цветы безлиственного жертвенного дерева, похожие на маленькие туберозы, такими яркими самоцветами переливаются толстогорлые хамелеоны, мелькая и по гладким и по кольчатым, как хобот слона, стволам деревьев, так много реет и замирает на солнце огромных пышных бабочек и агатовым зерном кишат, текут горячие бурые холмики муравьев. Все в лесах пело и славилو бога жизни-смерти Мару, бога «жажды существования», все гонялось друг за другом, радовалось краткой радостью, истребляя друг друга, а старый рикша, уже ничего не жаждавший, кроме прекращения своих мучений, лег в душном сумраке своей мазанки, под ее пересохшей лиственной крышей, шуршащей красными змейками, и к вечеру умер – от ледяных судорог и водяного поноса. Жизнь его угасла вместе с солнцем, закатившимся за сиреневой гладью великих водных пространств, уходящих к западу, в пурпур, пепел и золото великолепнейших в мире облаков, – и настала ночь, когда в лесах под Коломбо остался от рикши только маленький скорченный труп, потерявший свой номер, свое имя, как теряет свое название река Келани, достигнув океана. Солнце, заходя, переходит в ветер; а во что переходит умерший? Ночь быстро гасила сказочно – нежные, розовые и зеленые краски минутных сумерек, летучие лисицы бесшумно пронеслись под ветвями, ища ночлега, и черной жаркой тьмой наполнялись леса, загораясь мириадами светящихся мух и таинственно, знойно звеня цветами, в которых живут мелкие древесные лягушки. В далекой лесной кумирне³²³, перед лампадой, чуть мерцавшей на черном жертвеннике, облитом кокосовым маслом, усыпанном рисом и увядшими цветочными лепестками, на правом боку, кротко подложив ручку под голову, покоился Возвышенный, гигант из сандалового дерева, с широким позолоченным лицом и длинными косыми глазами из сапфира, с улыбкой мирной грусти на тонких губах. На спине лежал в темной хижине рикша, и смертная мука искажала его жалкие черты, ибо не дошел до него голос Возвышенного, призывавший к отречению от земной любви, ибо за могилой ждала его новая скорбная жизнь, след неправой прежней. Зубастая

³²² Вихара – любое место, где живут буддийские жрецы или аскеты; буддийский храм, обычно скальный храм или пещера; монастырь, как мужской, так и женский.

³²³ Кумирня – святилище, вместе с территорией вокруг.

старуха, сидевшая у порога хижины, у костра под котелком, плакала в эту ночь, скорбь свою питая все той же неразумной любовью и жалостью. Возвышенный уподобил бы ее чувства медной серьге в ее правом ухе, имевшей вид бочонка: серьга была велика и тяжела, она так оттянула разрез мочки, что образовалась порядочная дыра. Резко белела ее короткая кофточка из бумажной материи, надетая прямо на голое кофейное тело. Голые дети, как чертенята, играли, визжали, гонялись друг за другом возле. А сын, легконогий юноша, стоял в полутьме за огнем. Он вечером видел свою невесту, круглолицую тринадцатилетнюю девочку из соседнего селенья. Он испугался и удивился, услышав о смерти отца, – он думал, что это будет еще не скоро. Но, верно, был он слишком взволнован другою любовью, которая сильнее любви к отцам. «Не забывай, – сказал Возвышенный, – не забывай, юноша, жаждущий возжечь жизнь от жизни, как возжигается огонь от огня, что все страдания этого мира, где каждый либо убийца, либо убиваемый, все скорби и жалобы его – от любви». Но уже без остатка, как скорпион в свое гнездо, вошла любовь в юношу. Он стоял и смотрел на огонь. Как у всех диких, ноги его были не в меру тонки. Но и Шива³²⁴ позавидовал бы красоте его торса цвета темной корицы. Блестели при огне его черно-синие конские волосы, длинные, стянутые и закрученные на макушке, блестели глаза из-под длинных ресниц, и блеск их был подобен блеску кокса против огня.

На другой день соседи отнесли мертвого старичка в глубину леса, положили в яму, головой на запад, к океану, торопливо, но стараясь не шуметь, забросали землей, листьями и торопливо пошли омываться. Старичок отбегался; с его тонкой, посеревшей и сморщившейся руки сняли медную бляху – и, любуясь ею, раздувая тонкие ноздри, юноша надел ее на свою, круглую и теплую. Сперва он только гонялся за опытными рикшами, прислушиваясь, куда посылают их седоки, запоминал названия улиц и английские слова; потом и сам стал возить, сам стал зарабатывать, готовясь к своей семье, к своей любви, желание которой есть желание сыновей, равно как желание сыновей есть желание имущества, а желание имущества – желание благополучия. Но однажды, прибежав домой, он наткнулся на другую страшную весть: невеста его исчезла – пошла на Невольничий Остров, в лавку, и не вернулась. Отец невесты, хорошо знавший Колombo, часто ходивший туда, дня три разыскивал ее и, должно быть, что-нибудь узнал, потому что вернулся успокоенный. Он вздыхал и опускал глаза, выражая покорность судьбе; но это был большой притворщик, старик лукавый, как все, у кого есть достаток, кто торгует в городе. Он был полон, с женскими грудями, с матовой сединой, украшенной дорогим черепаховым гребнем; ходил он босиком, но под зонтом, бедра обертывал куском хорошей пестрой материи; кофта на нем была пикейная. От него нельзя было добиться правды, а женщины, девушки на нее слабы, как все реки извилисты, и молодой рикша понимал это. В столбняке просидев двое суток дома, не притрагиваясь к пище, только жуя бетель, он наконец очнулся и опять убежал в Колombo. О невесте он, казалось, совсем забыл. Он бегал, жадно копил деньги – и нельзя было понять, во что больше он влюблен: в свою беготню или в те серебряные кружочки, что собирал за нее. Один русский моряк снялся с ним в фотографии и подарил ему карточку. Долго после того молодой рикша радостно дивился на свое изображение: он стоял в оглоблях, повернув лицо к воображаемым зрителям, и всякий сразу мог узнать его, – вышла даже бляха на руке. Благополучно, с виду даже счастливо проработал он так с полгода.

И вот сидел он как-то утром, вместе с другими рикшами, под многоствольным банианом на той длинной улице, что идет от Невольничьего Острова к Парку Виктории. Горячее солнце только что показалось из-за деревьев со стороны Мараданы.

³²⁴ Шива – бог, олицетворяющий разрушительное начало.

Но высоко разросся баниан, и уже не было тени у его корней, осыпанных сожженной листвой. Колясочки накалялись от зноя, тонкие оглобли их лежали на темно-красной разогретой земле, пахнувшей и нефтью, и так, как пахнет теплый от размола кофе. С этим запахом мешались густые сладкие запахи вечноцветущих окрестных садов, камфары, мускуса и того, что ели рикши; а ели они бананы, маленькие, теплые, нежно-розовые, в золотистой коже, и болтали, сидя на земле, до подбородка подняв острыми углами колени, положив на них руки, а на руки – свои женские головы. Вдруг вдалеке, возле белых оград бунгалов, испещренных светотенью, показался человек в белом. Он шел посредине улицы той упрямой и твердой походкой, которой ходят только европейцы. И, молнией вскочив с земли, вперегонки кинулась к нему вся стая этих голых длинноногих людей. Они налетели на него со всех сторон, и он грозно крикнул, взмахнув тростью. Робкие и обидчивые, они со всего разбега осадили себя вокруг него. Он взглянул на них, – и седьмой номер с его смоляными волосами показался ему сильнее прочих. На седьмой номер и пал его выбор.

Он был невысок и крепок, в золотых очках, с черными сросшимися бровями, в черных коротких усах, с оливковым цветом лица, на котором тропическое солнце и болезнь печени уже оставили свой смуглый след. Шлем на нем был серый, глаза как-то странно, будто ничего не видя, глядели из угольной тьмы бровей и ресницу сквозь блестящие стекла. Он сел умело – сразу нашел в колясочке ту точку, при которой рикше свободнее бежать, и, взглянув на татуированную кисть левой руки, короткой и сильной, на маленькие часики в кожаной лунке, назвал Йорк-Стрит. Деревянный голос его был тверд и спокоен, но взгляд странен. И рикша подхватил оглобли и понесся вперед, поминутно пощелкивая звонком, прикрепленным на конце оглобли, и тасуясь с пешеходами, арбами и другими рикшами, бегущими взад и вперед.

Был конец марта, самое знойное время. Не прошло и трех часов с восхода солнца, а уж казалось, что близок полдень, – так жарко, светло было всюду и так многолюдно возле лавок в конце улицы. Земля, сады, вся та высокая, раскидистая растительность, что зеленела и цвела над бунгалов, над их меловыми крышами и над старыми черными лавками, пресытили воздух теплом и благовонием, – лишь дождевые деревья туго свернули свои листья-чашечки. Ряды лавок, вернее, навесов, крытых черной черепицей, увешанных огромными связками бананов, сушеной рыбой, вяленой акулой, были полны покупателями и продавцами, одинаково похожими на темнокожих банщиков. Рикша, подавшись вперед, мелькая длинными ногами, бежал быстро, и еще ни одной капли пота не было на его лоснящейся кокосовым маслом спине, на его округлых плечах, среди которых тонкий ствол девичьей шеи грациозно держал смоляную голову, накаляемую солнцем. В самом конце улицы он вдруг остановился. Чуть повернув лицо, он быстро проговорил что-то по-своему. Англичанин, его седок, увидал концы изогнутых ресниц, уловил слово «бетель» и поднял брови. Как? Такой молодой, крепкий, пробежал каких-нибудь двести шагов – и уже бетель? Не ответив, он ударил рикшу тростью по лопаткам. Но тот, – трусливый, как все сингалезы, но и настойчивый, – только дернул плечом и стрелой полетел вкось по улице, к лавкам.

– Бетель! – повторил он, поворачивая к англичанину гневные глаза и по-собачьи оскалившись.

Но англичанин уже забыл о нем. И через минуту рикша выскочил из лавочки, держа на узкой ладони лист перечного дерева, намазывая его известью и завертывая в него кусочек арекового плода, похожий на кусочек кремня. Не убивай, не воруй, не прелюбодействуй, не лги и ничем не опьяняйся, заповедовал Возвышенный. Да, но что знал о нем рикша? Смутно звучало в его сердце то, что было смутно воспринято несметными сердцами его предков. В дождливое время года он ходил с отцом к священным шалашам и там, среди женщин и нищих, слушал жрецов, читавших на

древнем, всеми забытом языке, и ничего не понимал только подхватывал общее радостное восклицание при имени Возвышенного. Не раз случалось, что молился при нем отец на пороге кумирни; он преклонялся перед лежачей деревянной статуей, бормоча ее заповеди, поднимая соединенные ладони ко лбу, а потом клал на жертвенник самую мелкую и старую из своих тяжело заработанных монет. Но бормотал он равнодушно, – он ведь только боялся картин на стенах кумирни, изображений муки грешников; он преклонялся и перед другими богами, перед ужасными индусскими статуями, он и в них верил, как верил в силу демонов, змей, звезд, мрака...

Сунув бетель в рот, рикша, в чувствах своих резко изменчивый, дружелюбно улыбнулся англичанину глазами, схватил оглобли и, оттолкнувшись левой ногой, опять побежал. Солнце слепило, сверкало в золоте и стеклах очков, когда англичанин поднимал голову. Солнце жгло его руки и колени, земля горячо дышала, было даже видно, что над ней, как над жаровней, дрожит воздух, но он сидел неподвижно, не дотронулся до верха колясочки. Две дороги вели в город, или, как называют его резиденты, в Форт: одна вправо, мимо малайского капища, по дамбе между лагунами, другая влево, к океану. Англичанину хотелось последней. Но рикша обернулся на бегу, показывая свои окровавленные губы, и сделал вид, что не понимает, чего хотят от него. И англичанин опять уступил, – он рассеянно смотрел вокруг себя. Зеленая лагуна, блестящая, теплая, полная черепах и гнили, окаймленная вдали кокосовой рощей, лежала справа. По дамбе шли, ехали, бежали, щелкая звонками. Стали попадаться рикши в белых кителях и коротких белых панталонах. Европейцы, сидевшие в колясочках, были бледны после томительной ночи, высоко задирали свои белые башмаки, положив колено на колено. Прокатила двуколка, запряженная серым горбатым бычком, – под ее навесом, в легкой жаркой тени, сидел парс³²⁵, желтолицый старик, похожий на евнуха, в халате и бархатном черепеннике³²⁶, шитом золотом. Великан-афганец в белых шароварах, в мягких сапогах с загнутыми носками, в белом казакине и огромном розовом тюрбане, неподвижно стоял над лагуной, глядя на черепах, в теплую жидкую воду. Без конца тянулись влекомые волами длинные крытые арбы. Под их узкими соломенными сводами навалены были тюки товаров, а порою целая куча коричневых тел, молодых рабочих. Тощие, сожженные зноем старики, с красными от красной пыли ногами, шагали у колес, точно мумии старух. Шли каменщики, дюжие черные томилы... «Пагода», – разумея чайный дом, сказал англичанин под теми патриархальными деревьями, что растут при въезде в Форт, под необъятными навесами зелени, светлой от солнца, ее проникающего.

Возле старого голландского здания с аркадами в нижнем этаже остановились. Англичанин посмотрел на часы и ушел пить чай и курить сигару. А рикша сделал полукруг по широкой тенистой улице, по красно-лиловой мостовой, усыпанной желтыми и алыми лепестками кетмий³²⁷, и, бросив оглобли у древесных корней, с разбегу сел. Он поднял колени и положил на них локти, жарко дыша банным благовонным теплом полдня и бессмысленно поводя глазами за проходящими сингалезами и европейцами, вынул из-за передника к тряпку, вытер ею окровавленные бетелем губы, лицо, выпуклости на гладкой груди и, сложив ее бинтом, приложил ко лбу, повязал голову: это было совсем некрасиво, придавало ему вид больного, но ведь многие рикши делают так. Он сидел и, может быть, думал... «Тела наши, господин, различны, но сердце, конечно, одно», – сказал Ананда Возвышенному, и, значит, можно представить себе, что должен думать или чувствовать юноша, выросший в райских лесах под Коломбо и уже вкусивший самой сильной отравы – любви к

³²⁵ Парс – житель одноименной провинции Ирана.

³²⁶ Черепенник – шляпа в виде конуса.

³²⁷ Кетмия – растение семейства пальмовых.

женщине, уже вмешавшейся в жизнь, быстро бегущую за радостями или убегающую от печалей. Мара уже ранил его, но ведь Мара и залечивает раны. Мара вырывает из рук человека то, что схватил человек, но ведь Мара и разжигает человека вновь схватить отнятое или другое что – нибудь, подобное отнятому... Напившись чаю, англичанин бродил по улице, заходил в магазины, рассматривал в витринах драгоценные камни, слонов и будд из эбенового дерева, всякие пестрые ткани, золотые в черных крапинах шкуры пантер. А рикша, что-то думая или только чувствуя, ярко переглядывался с другими рикшами и ходил позади англичанина, возя за собой колясочку. Ровно в полдень англичанин дал ему рупию, чтобы он купил себе поесть, а сам ушел в контору большого европейского пароходства. Рикша купил дешевых папирос, стал курить, сильно затягиваясь, глядя на папиросу, как делают это женщины, и выкурил подряд целых пять штук. Сладко одурманенный, сидел он в сквозной топи против трехэтажного дома, где была контора, и вдруг, подняв глаза, увидел, что на балконе под белой маркизой появился его седок и еще человек пять европейцев. Все они смотрели в бинокли на гавань – и вот за крышами пристани показались одна за другой и медленно поплыли три высокие, тонкие мачты, слегка отклоненные назад. С балкона замахали платками, а из-за крыш мрачно, могуче и величаво отзываясь по рейду и в городе, заревела труба: пароход из далекой Европы, которого ожидал седок рикши номер седьмой, прибыл. С точностью вошел он после двенадцатидневного плавания в Коломбо – и то, чего совсем не ожидал рикша, полный надежд и желаний, этот роковой для него обед в доме на лагуне был решен.

Но до обеда, до вечера оставалось еще много времени. И опять вышел на улицу этот ничего не видящий человек в очках. Он простился с теми двумя, что вышли с ним и направились к белой статуе Виктории, к крытой пристани, и опять побрел по улице рикша – на этот раз к отелю, где в ту пору, в полутемной зале, знойную духоту которой развевали, мешали с запахом кушаний вертевшиеся под потолком весла, ело и пило много богатых резидентов и туристов. И опять, как собака, сел рикша на мостовую, на лепестки кетмий. Сквозная тень соединяющихся светло-зелеными вершинами деревьев осеняла улицу, и шли мимо него в этой тени женоподобные сингалезы, навязывая европейцам цветные открытки, черепаховые гребни, драгоценные камни, – один даже таскал за собой на шнурке и продавал зверька в шубке из длинных колючек, – и всё бежали, бежали по этой богатой европейской улице полудикие рикши... Вдали, среди открытой площади, горела белизной большая мраморная женщина, гордая, с двойным подбородком, в порфире и короне, восседавшая на высоком мраморном пьедестале. И оттуда толпой шли только что прибывшие из Европы. На подъезд отеля выскакивали сизые и черные слуги, кланяясь, выхватывая из рук у них трости, мелкие вещи, и поклонами, сдержанными, изысканными, встречал их на пороге человек, блестящий напомаженным пробором, глазами, зубами, запонками, крахмальным бельем, пикейным смокингом, пикейными панталонами и белой обувью. «Люди постоянно идут на пиршества, на прогулки, на забавы, – сказал Возвышенный, некогда посетивший этот райский приют первых людей, познавших желания. – Вид, звуки, вкус, запахи опьяняют их, – сказал он, – желание обвивает их, как ползучее растение, зеленое, красивое и смертоносное, обвивает дерево Шала³²⁸». Следы усталости, истомы от зноя, морской качки и болезни были на серых лицах шедших к отелю. У всех вид был полумертвый, все говорили, не двигая губами, но все шли и один за другим скрывались в сумраке вестибюля, чтобы разойтись по своим комнатам, вымыться, ободриться, а потом, до красноты лица опьянив себя едой, питьем, сигарами и кофе, покатыть па рикшах на берег океана, в Сады Корицы, к индусским храмам и

³²⁸ Дерево шала, или сальвовое дерево – вечнозеленое дерево, которое произрастает в Индии в муссонных лесах.

буддийским вихарам. У каждого, у каждого в душе было то, что заставляет человека жить и желать сладкого обмана жизни! А рикше, рожденному на земле первых людей, разве не вдвойне был сладок этот обман? Мимо него шли женщины, пожилые, некрасивые, такие же длиннозубые, как его черная мать, сидевшая в далекой лесной хижине, но порою проходили и девушки, миловидные, в белых нарядах, в небольших шлемах, опутанных легкими вуалями, и, возбуждая в нем вожделие, пристально глядели на его поднятые великолепные ресницы, на тряпку вокруг его смоляной головы и на окровавленный рот. А разве она, та, что пропала в этом городе, была хуже их? Тепло тропического солнца взрастило ее. От белой, в голубых цветочках, короткой кофты и такой же юбки, надетых па голое, чуть полное, но крепкое, небольшое тело, она казалась чернее. У нее была круглая головка, выпуклый лобик, круглые сияющие глаза, в которых детская робость уже смешивалась с радостным любопытством к жизни, с затаенной женственностью, нежной и страстной; было коралловое ожерелье на круглой шее, маленькие руки и ноги в серебряных браслетах... Вскочив с места, рикша побежал в один из ближних переулков, где в старом одноэтажном доме под черепицей, с толстыми деревянными колоннами, был простонародный бар. Там он положил на прилавок двадцать пять центов и за это вытянул целый стакан виски. Смешав этот огонь с бетелем, он обеспечил себя блаженным возбуждением до самого вечера, до той поры, когда леса под Коломбо, наполняясь черной жаркой тьмой, таинственно зазвонят журчанием древесных лягушек, когда чащи бамбука затрепещут мириадами огненных искр.

Пьян был и англичанин, выйдя с сигарой из отеля, – глаза его были сонны, порозовевшее лицо стало как будто полнее. Поглядывая на часы и что-то думая, видимо, не зная, как убить время, он в нерешительности постоял возле отеля, потом приказал везти себя сперва на почту, где опустил в ящик три открытки, а от почты – к саду Гордона, куда даже не зашел, – только посмотрел в ворота на монумент и на аллеи, – а от сада Гордона – куда глаза глядят: к Черному Городу, к рынку в Черном Городе, к реке Келани... И пошел, пошел мотать его пьяный и с головы до ног мокрый рикша, возбужденный еще и надеждой получить целую кучу центов. В самый истомный час послеполуденного тепла и света когда, посидев две минуты на скамье под деревом, оставляешь на ней темный круг пота, он в угоду англичанину не знавшему, как дотянуть до обеда, пробежал весь Черный Город, старый, многолюдный, пряно-пахучий, – и много видел полусонный англичанин голых цветных тел и разноцветных тканей на бедрах, много парсов, индусов, желтолицых малайцев, вонючих китайских лавок, черепичных и тростниковых крыш, храмов, мечетей и капищ, праздных матросов из Европы и буддийских монахов – бритых, худых, с безумными глазами, в канареечных тогах, с обнаженным правым плечом и опухшими из листвы священной пальмы. Рикша и его седок неслись среди этой тесноты и грязи Древнего Востока быстро, быстро, точно спасались от кого-то, вплоть до самой реки Келани, узкой, густой и глубокой, перегретой солнцем, полуприкрытой непролазными зелеными зарослями, низко склонившимися с ее берегов, любимой крокодилами, все дальше, однако, уходящими в глубь девственных лесов от барж с соломенными сводами, нагруженных тюками чая, рисом, корицей, еще не обработанными драгоценными камнями и особенно медлительно плывущих в густом блеске предвечернего солнца... Потом англичанин приказал вернуться в Форт, уже опустевший, закрывший все свои конторы, агентства и банки, побрился в циркульне и неприятно помолодел, покупал сигары, заходил в аптеку... Рикша, мокрый, похудевший, смотрел на него уже неприязненно, глазами собаки, чувствующей приступы бешенства... В шестом часу, пробежав мимо маяка в конце Квинс-Стрит, пробежав тихие и чистые военные кварталы, он выскочил на берег океана, вольно

глянувшего ему в глаза своим простором и зелено-золотистым глянецом от низкого солнца, и побежал к Невольничьему Острову.

Все отели в Форте было полны, англичанин жил в простом, за Невольничьим Островом, – и тут еще раз пробежал рикша мимо баниана, под который сел он нынче утром в жажде заработка от этих беспощадных и загадочных белых людей, в упрямой надежде на счастье. Пошли сплошные сады, каменные ограды и голландские крыши бунгалов, низких, приземистых. Вскочив во двор одного такого бунгалов, рикша с полчаса отдыхал возле широкой террасы, пока англичанин переодевался к обеду. Сердце у него колотилось, как у отравленного, губы побелели, черты темно-коричневого лица обострились, прекрасные глаза еще больше почернели и расширились. Запах его разгоряченного тела стал неприятен – это был запах теплого чая, смешанного с кокосовым маслом и еще с чем-то, как если взять и растереть в руках кучку муравьев.

Солнце меж тем закатилось. Пожилая девушка полулежала под навесом террасы в качалке, читая при последнем свете дня молитвенник. Увидя ее с улицы, во двор бесшумно вошел немой индус из Мадур³²⁹, высокий черный старик с седыми кудрями на груди и на животе, худой, как скелет, в нищенском тюрбане³³⁰, в длинном переднике из ткани, бывшей когда-то красной, в желтых поперечных полосках. На руке у старика была закрытая корзина из пальмового лыка. Подойдя к террасе, он подобострастно поклонился, приложив руку ко лбу, и присел на землю, поднимая крышку корзины. Не глядя на него, лежавшая в качалке махнула рукой. Но он уже вынимал из-за пояса тростниковую дудку. И рикша вдруг вскочил на ноги и в непонятной ярости громко крикнул на него. Вскочил и старик, захлопнул корзину и, оборачиваясь, побежал к воротам. Но у рикши еще долго были круглые глаза, – совсем как у той, страшной, которую он представил себе – медленно, тугим жгутом выползающую из корзины и с шипением раздувающую свое голубым отблеском мерцающее горло. Быстро падала темнота – уже в темноте вышел на террасу размытый, в белом смокинге англичанин. И рикша покорно кинулся к оглоблям. Была уже ночь, особенно жаркая, как всегда перед наступлением дождей, еще более пахучая, чем день. Еще гуще стал теплый и приторный аромат мускуса, смешанный с запахом теплой земли, тучной от цветочного перегноя. Так было черно среди садов, где бежал рикша, что только по тяжелому дыханию и по скудному фонарику на оглобле можно было понять, что несется впереди встречный. Потом слабо замерцала под черными навесами деревьев гнилая лагуна, заскрипели огни, длинно отражавшиеся в ней. Большой двухэтажный дом насквозь светился в этой тропической черноте прорезами окон. Во дворе было темно. Много рикш, сливавшихся с темнотой своими телами и слабо белевших передниками, набежало в этот двор с гостями. А большой, открытый на лагуну балкон сиял свечами в стеклянных колпаках, осыпанных несметной мошкаррой, блестел скатертью длинного стола, уставленного посудой, бутылками и вазами со льдом, и белел смокингами сидевших, которые немолчно, хотя и сдержанно, бормотали себе в горло, меж тем как босоногие полные слуги, похожие на нянек, шуршали голыми подошвами, прислуживая им, а громадная китайская циновка, ребром привешенная над ними к потолку, все махалась и махалась, приводимая в движение малайцами, сидевшими за стеной, не доходящей до потолка, и все веяла, веяла ветром на обедающих, на их холодные, мокрые лбы. Рикша номер седьмой подлетел к балкону. Сидевшие за столом приветствовали запоздалого гостя радостным ропотом. Гость выскочил из колясочки и вбежал на балкон. А рикша понесся вокруг дома, чтобы опять попасть к воротам, во двор, к другим рикшам, и, обегая дом, вдруг так шарахнулся назад, точно его ударили в

³²⁹ Мадур – остров в Малайском архипелаге в составе Индонезии.

³³⁰ Тюрбан – мужской и женский головной убор в виде куска ткани, обмотанного вокруг головы.

лицо палкой: стоя возле открытого и освещенного окна второго этажа, – в японском халатике красного шелка, в тройном ожерелье из рубинов, в золотых широких браслетах на обнаженных руках, – на него глядела круглыми сияющими глазами его невеста, та самая девочка-женщина, с которой он уже уговорился полгода тому назад обменяться шариками из риса! Его, внизу, в темноте, она не могла видеть. Но он сразу узнал ее – и, отшатнувшись, застыл на месте.

Он не упал, сердце его не разорвалось, оно было слишком молодо и сильно. Постояв с минуту, он присел на землю, под вековой смоковницей, вся вершина которой, как райское дерево, горела и трепетала россыпью огненно-зеленых искр. Он долго смотрел на черную круглую головку, на красный шелк, свободно обнимавший маленькое тело, и на поднятые, поправлявшие прическу руки той, что стояла в раме окна. Он сидел на корточках до тех пор, пока она не повернулась и не прошла в глубину комнаты. А когда она скрылась, он мгновенно вскочил на ноги, поймал на земле оглобли и, птицей пролетев через двор за ворота, опять, опять пустился бежать – на этот раз уже твердо зная, куда и зачем он бежит, и уже сам управляя своей сразу освободившейся волей.

– Проснись, проснись! – кричали в нем тысячи беззвучных голосов его печальных, стократ истлевших в этой райской земле предков. – Стряхни с себя оболщения Мары³³¹, сон этой краткой жизни! Тебе ли спать, отравленному ядом, пронзенному стрелой? Стократно страдает имеющий стократно милое, все скорби, все жалобы – от любви, от привязанностей сердца – убей же их! Недолгий срок пребудешь ты в покое отдыха, снова и снова, в тысяче воплощений, исторгнет тебя твоя эдемская земля, приют первых людей, познавших желание, но он, этот краткий отдых, все же настанет для тебя, слишком рано выбежавшего на дорогу жизни, страстно погнавшегося за счастьем и раненного самой острой стрелой – жадной любви и новых зачатий для этого древнего мира, где от века победитель крепкой пятой стоит на горле побежденного!

Показались под черными навесами сросшихся вершинами деревьев огни в открытых лавочках Невольничьего Острова. Рикша жадно съел в одной из них чашечку теплого вареного риса, пересыщенного перцем, и кинулся дальше. Он знал, где живет старик из Мадур, час тому назад приходивший во двор отеля: он жил вместе с своим племянником, при его большой фруктовой лавке, в низком доме с толстыми деревянными колоннами. Племянник, в грязной европейской одежде из полотна, с громадным колтуном черной вьющейся шерсти на голове, перетаскивал корзины с плодами в глубину лавки, морщась от дыма папиросы, прилепленной к его нижней губе. Он не обратил внимания на бешеный вид мокрого, горячего рикши. И рикша молча вскочил под навес среди столбов, ногой толкнул в глубине под ним дверку, за которой надеялся найти немого старика. В потной руке он крепко держал заветный золотой, который он еще на бегу достал из-за передника, из кожаного гамана³³², привешенного к поясу. И золотой быстро сделал свое дело: назад рикша выскочил с большой коробкой от сигар, перевязанной шнурком. Он заплатил за нее большую цену, зато она была не пустая: то, что в ней лежало, билось, извивалось, стучало в крышку тугими кольцами и шуршало.

Зачем он захватил с собой колясочку? А он таки захватил ее – и ровным, сильным махом полетел на берег океана, на плац Голь-Фэса. Плац был пуст, далеко темнел в звездном свете. За ним были рассыпаны редкие огоньки Форты, и в небе медленно вращалась мутно-зеркальная вышка маяка, кидавшая дымные полосы белого света только в сторону рейда. Слабый прохладный ветер тянул с океана, ровный, сонный

³³¹ Мара – в буддизме демон, воплощающий безыскусность, гибель духовной жизни.

³³² Гаман – к ожанный мешочек для денег, табака, гребенки, стягиваемый наверху узким ремешком.

шум которого был чуть слышен. Добежав до побережья, до середины дороги, рикша в последний раз бросил тонкие оглобли, в которые рано, но ненадолго впрягла его жизнь, и сел уже не на землю, а на скамью, сел смело, как резидент.

Он, отдавая индусу целый фунт, требовал самую маленькую и самую сильную, самую смертоносную. И она была, – помимо того, что сказочно-красива, вся в черных кольцах с зелеными каемками, с голубой головой, с изумрудной полосой на затылке и траурным хвостом, – она была, при всей своей малости, необыкновенно сильна и злобна, а теперь, после того, как ее помотали в деревянной пахучей коробке, особенно. Она, вероятно, как стальная, пружинила, извивалась, шуршала и стучала в крышку. И он быстро развязал, распутал шнурок... Впрочем, кто узнает, как именно сделал он свое страшное дело? Известно лишь то, что укус ее огненно жгуч и с головы до ног пронзает все тело человека несказанной болью, такой, что после него даже обезьяны раздражаются рыданиями. И нет сомнения, что, ощутив этот огненный удар, рикша колесом перевернулся на скамье, и коробка полетела от него в сторону. А затем тотчас же распахнулась под ним бездонная тьма, и все понеслось перед его глазами куда-то вкось, вверх: и океан, и звезды, и огни города.

Шум океана хлынул ему в голову – и сразу оборвался: глубокий обморок бывает всегда после этого удара. Но вслед за обмороком человек всегда быстро приходит в себя, как будто только затем, чтобы его тяжело, с кровью стошнило – и опять повергло в небытие. Их, этих обмираний, бывает несколько, и каждое из них, ломая человека, перехватывая ему дыхание, частями уносит человеческую жизнь, человеческие способности: мысль, память, зрение, слух, боль, горе, радость, ненависть – и то последнее, всеобъемлющее, что называется любовью, жаждой вместить в свое сердце весь зримый и незримый мир и вновь отдать его кому-то.

* * *

Дней через десять, в темные, жаркие сумерки перед грозой, к большому русскому пароходу, готовому отплыть в Суэц³³³, две пары гребцов гнали в гавани Коломбо шлюпку, в которой полулежал седок рикши номер седьмой. Пароход уже гудел от грохота якорной цепи, когда, выскочив возле громадной железной стены пароходного бока, взбежал он по длинному трапу на палубу. Капитан сперва наотрез отказался принять его: пароход грузовой, заявил он, агент уже уехал, – это невозможно. «Но я чрезвычайно, чрезвычайно прошу вас!» – возразил англичанин. Капитан с удивлением взглянул на него: на вид крепок, энергичен, но на лице налет нездорового загара, а глаза за блестящими очками стоячие, как будто ничего не видящие и беспокойные. «Подождите до послезавтра, – сказал капитан, – послезавтра будет немецкий почтовый пароход». – «Да, но провести еще две ночи в Коломбо мне очень трудно, – ответил англичанин. – Этот климат изнуряет меня, я болен. Я измучен этими цейлонскими ночами, бессонницей и всем тем, что чувствует всякий нервный человек перед заходящими грозами. А взгляните на эту тьму, на тучи, заступившие все горизонты: ночь опять будет ужасная, период дождей, собственно, уже начался». И, пожав плечами, подумав, капитан уступил. И через минуту тонкие, как ужи, сингалезы уже тащили по трапу сундук в черной лакированной коже, весь испещренный разноцветными этикетками отелей и помеченный красными инициалами.

Свободная докторская каюта, которую предложили англичанину, была очень тесна и душна. Но англичанин нашел ее прекрасной. На скорую руку разложивши в ней вещи, он вышел через столовую на верхнюю палубу. Все быстро тонуло в темноте. Пароход уже снялся и поворачивал к открытому морю. Справа как бы плыли на него

³³³ Суэц – город и крупный порт на северо-востоке Египта, расположен на северной оконечности Суэцкого залива Красного моря, у южного входа в Суэцкий канал.

другие пароходы, огни на мачтах, огни Форта. Слева, из-под высокого борта, зыбко неслась к низменному берегу, к складам угля и к черной гуще тонкоствольных кокосовых лесов гладь темной воды, еще отражавшей тьму и печаль туч, и своим зыбким стремлением кружила голову. Все меняя направление, все туже дул откуда-то влажный, тошнотворно-благовоный, мягкий ветер. Внезапно молчаливые тучи распахнулись такой бездной бледно-голубого света, что в самой глубине лесов мелькнули озаренные им стволы пальм, бананов и хижины под ними. Англичанин испуганно моргнул, оглянулся на плывущий уже слева от него бледный мол с красным огоньком на конце, на свинцовую даль океана за молотом – и быстро пошел назад, в каюту.

Старик-лакей, человек злой от усталости, без нужды подозрительный и наблюдательный, несколько раз заглядывал перед обедом за ее занавеску. Англичанин сидел в складном холщовом кресле, держа на коленях толстую тетрадь в кожаном переплете, писал в ней золотым пером, и выражение его лица, когда он поднимал его, блестя очками, было и тупо и вместе с тем удивленно. Потом, спрятав перо, он задумался, как бы слушая шум и шорох волн, тяжело несущихся за стеной каюты. Лакей прошел мимо, мотая громко звенящим колокольчиком. Англичанин встал и догола разделся. С ног до головы обтершись губкой, насыщенной водой с одеколоном, он выбрился, подровнял короткие толстые усы, причесал щечками свои черные волосы на косой ряд, надел свежее белье, смокинг и пошел к обеду с обычным своим решительным, солдатским видом.

Моряки, уже давно сидевшие за столом и бранившие его за опоздание, встретили его преувеличенно любезно, друг перед другом щеголяя знанием английского языка. Он ответил им сдержанной, но не меньшей любезностью и поспешил сказать, что ему очень нравится русский стол, что он был в России, в Сибири... что он вообще много путешествовал и всегда прекрасно переносил путешествия, чего, однако, нельзя сказать о его последнем пребывании в Индии, на Яве и на Цейлоне: тут он захворал печенью, расстроил себе нервы, дошел даже до странностей – вот вроде той, которую он проявил час тому назад, так неожиданно явившись на пароход... За кофе он угощал моряков коньяком и ликерами, принес коробку толстых египетских папирос и поставил ее на стол открытой, для общего пользования. Капитан, человек с умными и твердыми глазами, во всем старающийся быть европейцем, завел речь о колониальных задачах Европы, о японцах, о будущем Дальнего Востока. Внимательно слушая, англичанин возражал, соглашался. Говорил он складно и не просто, а так, точно читал хорошо написанную статью. И порою внезапно смолкал, еще внимательнее прислушиваясь к шороху волн за открытыми дверями. От грозы ушли. Давно потонула в черном бархате долго переливавшая алмазами цепь огней Коломбо. Теперь пароход был в безграничной тьме, в пустоте океана и ночи. Столовая помещалась на палубе, под капитанским мостиком. И тьма резко чернела в открытых дверях и окнах, стояла и глядела в ярко освещенную столовую. Влажно дуло из этой тьмы – влажным, свободным дыханием чего-то от века свободного – и свежесть, доходя до сидящих за столом, давала им чувствовать запах табачного дыма, горячего кофе и ликеров. Но порою свет электричества вдруг падал – двери, окна мелькали бледно-синими квадратами: беззвучно и несказанно широко распахивалась вокруг парохода голубая бездна бездн, блистала текучая зыбь водных пространств, угольной чернотой заливало горизонты – и оттуда, как тяжкий ропот самого творца, еще погруженного в довременный хаос, доходил глухой, мрачный и торжественный, все до основания потрясающий гул грома. И тогда англичанин как бы каменел на минуту.

– В сущности, это страшно! – сказал он своим мертвенным, но твердым голосом после одного особенно ослепительного сполоха. И, встав с места, подошел к двери,

зиявшей темнотой. – Очень страшно, – сказал он, как бы разговаривая сам с собой. – И страшнее всего то, что мы не думаем, не чувствуем и не можем, разучились чувствовать, как это страшно.

– Что именно? – спросил капитан.

– А вот хотя бы то, – ответил англичанин, – что под нами и вокруг нас бездонная глубина, та зыбкая хлябь, о которой так ужасно говорит Библия... О, – строго сказал он, вглядываясь в темноту, – и вблизи и вдали, всюду загораются борозды зеленой огненной пены, и чернота вокруг этой пены черно-лиловая, цвета воронова крыла... Это очень жутко – быть капитаном? – серьезно спросил он.

– Нет, почему же, – ответил капитан с притворной небрежностью. – Дело ответственное, но... Все зависит от привычки...

– Скажите лучше – от нашей тупости, – сказал англичанин. – Стоять вон там, на вашем мостике, по бокам которого мутно глядят сквозь толстое стекло два этих больших глаза, зеленый и красный, и идти куда – то в тьму ночи и воды, простирающейся на тысячи миль вокруг, – это безумие! Но, впрочем, не лучше, – прибавил он, опять заглядывая в двери, – не лучше и лежать внизу, в каюте, за тончайшей стеной которой, возле самой твоей головы, всю ночь шумит, кипит эта бездонная хлябь... Да, да, разум наш так же слаб, как разум крота, или, пожалуй, еще слабей, потому что у крота, у зверя, у дикаря хоть инстинкт сохранился, а у нас, у европейцев, он выродился, вырождается!

– Однако кроты не плавают по всему земному шару, – усмехаясь, ответил капитан. – Кроты не пользуются паром, электричеством, беспроводным телеграфом... Вот хотите – я буду сейчас говорить с Аденом? А ведь до него десять дней ходу.

– И это страшно, – сказал англичанин и строго взглянул сквозь очки на засмеявшегося механика. – Да, и это очень страшно. А мы, в сущности, ничего не боимся. Мы даже смерти не боимся по-настоящему, ни жизни, ни тайн, ни бездн, нас окружающих, ни смерти – ни своей собственной, ни чужой! Я участник бурской войны, я, приказывая стрелять из пушек, убивал людей сотнями – и вот не только не страдаю, не схожу с ума, что я убийца, но даже не думаю о них никогда.

– А звери, дикари – думают? – спросил капитан.

– Дикари верят, что так надо, а мы нет, – сказал англичанин и замолчал, пошел ходить по столовой, стараясь ступать тверже.

Сполохи, уже розовые, мелькавшие по звездам, слабели. Ветер дул в окна и двери сильнее и прохладнее, черная тьма за дверями шумела тяжелее. Большая раковина, пепельница, ползала по столу. Чувствовалось под неприятно слабеющими ногами, как снизу что-то нарастает, приподнимает потом валит на бок, расступается – и пол все глубже уходит из-под ног. Моряки, допив кофе, накурившись, сдерживая зевоту и поглядывая на своего странного пассажира, посидели, помолчали еще несколько минут, потом, желая ему покойной ночи, стали братья за фуражки. Остался один капитан. Он курил и водил за англичанином глазами. Англичанин, с сигарой, качаясь, ходил от двери к двери, раздражая своей серьезностью, соединенной с рассеянностью, старика – лакея, убиравшего со стола.

– Да, да, – сказал он, – нам страшно только то, что мы разучились чувствовать страх! Бога, религии в Европе давно уже нет, мы при всей своей деловитости и жадности, как лед холодны и к жизни и к смерти: если и боимся ее, то рассудком или же только остатками животного инстинкта. Иногда мы даже стараемся внушать себе эту болезнь, увеличить ее – и все же не воспринимаем, не чувствуем в должной мере... вот, как не чувствую и я того, что сам же называл страшным, – сказал он, показывая на открытую дверь, за которой шумела черная темнота, уже высоко поднимавшая с носа и валившая скрипящий переборками пароход то на один, то на другой бок.

– Это на вас Цейлон так подействовал, – заметил капитан.

– О, несомненно, несомненно! – согласился англичанин. – Мы все, – коммерсанты, техники, военные, политики, колонизаторы, – мы все, спасаясь от собственной тупости и пустоты, бродим по всему миру и силимся восхищаться то горами и озерами Швейцарии, то нищетой Италии, ее картинами и обломками статуй или колонн, то бродим по скользким камням, уцелевшим от каких-то амфитеатров в Сицилии, то глядим с притворным восторгом на желтые груды Акрополя³³⁴, то присутствуем, как при балаганном зрелище, при раздаче священного огня в Иерусалиме, платим бешеные деньги за то, чтобы терпеть мучения от проводников и блох в могильниках и глиняных капищах Египта, плывем в Индию, в Китай, в Японию – и вот только здесь, на земле древнейшего человечества, в этом потерянном нами эдеме, который мы называем нашими колониями и жадно ограбляем, среди грязи, чумы, холеры, лихорадок и цветных людей, обращенных нами в скотов, только здесь чувствуем в некоторой мере жизнь, смерть, божество. Здесь, оставшись равнодушным ко всем этим Озирисам³³⁵, Зевсам, Аполлонам, к Христу, к Магомету, я не раз чувствовал, что мог Оы поклоняться разве только им, этим страшным богам нашей прародины, – сторукому Бrame, Шиве, Дьяволу, Будде, слово которого раздавалось поистине как глагол самого Мафусаила, вбивающего гвозди в гробовую крышку мира... Да, только благодаря Востоку и болезням, полученным мной на Востоке, благодаря тому, что в Африке я убивал людей, в Индии, ограбляемой Англией, а значит, отчасти и мною, видел тысячи умирающих с голоду, в Японии покупал девочек в месячные жены, в Китае бил палкой по голове беззащитных обезьяноподобных стариков, на Яве и на Цейлоне до предсмертного хрипа загонял рикш, в Анарадхапуре получил в свое время жесточайшую лихорадку, а на Малабарском берегу³³⁶ болезнь печени, – только благодаря всему этому я еще кое-что чувствую и думаю. Те страны, тех несметных людей, что еще живут или младенчески-непосредственной жизнью, всем существом своим ощущая, и бытие, и смерть, и божественное величие Вселенной, или уже прошли долгий и трудный путь, исторический, религиозный и философский, и устали на этом пути, мы, люди нового железного века, стремимся поработить, поделить между собою, и называем это нашими колониальными задачами. И когда этот дележ придет к концу, тогда в мире опять воцарится власть какого-нибудь нового Тира³³⁷, Сидона³³⁸, нового Рима, английского или немецкого, повторится, непременно повторится и то, что предрекли Сидону, возомнившему себя, по слову Библии, богом, иудейские пророки, Риму – Апокалипсис³³⁹, а Индии, арийским племенам, поработившим ее, – Будда, говоривший: «О, вы, князья, властвующие, богатые сокровищами, обращающие друг против друга жадность свою, ненасытно потворствующие своим похотям!» Будда понял, что значит жизнь Личности в этом «мире бывания», в этой Вселенной, которой мы не постигаем, – и ужаснулся священным ужасом. Мы же возносим нашу Личность превыше небес, мы хотим сосредоточить в ней весь мир, что бы там ни говорили о

³³⁴ Акрополь – городская крепость стран Древнего мира. В Древней Греции – находящаяся на возвышенном месте укрепленная часть города, которая служила защитой во время опасности. На акрополе возводили храмы богам, покровителям города, хранили казну и вооружение города. Известны древнейшие акрополи в Микенах, Тиринфе. Самым же знаменитым является Афинский Акрополь.

³³⁵ Озирис (Осирис) – бог возрождения, царь загробного мира в древнеегипетской мифологии.

³³⁶ Малабарский берег – длинное и узкое побережье на юго-западе полуострова Индостан, расположенное к югу от Гоа.

³³⁷ Тир – знаменитый финикийский город, один из древнейших крупных торговых центров.

³³⁸ Сидон – один из древнейших городов Финикии. Крупнейший торговый центр древнего мира в X–IX веках до н. э.

³³⁹ Апокалипсис – Откровение Святого Иоанна Богослова, в котором рассказывается о грядущем конце света.

грядущем всемирном братстве и равенстве, – и вот только в океане, под новыми и чуждыми нам звездами, среди величия тропических гроз, или в Индии, на Цейлоне, где в черные знойные ночи, в горячем мраке, чувствуешь, как тает, растворяется человек в этой черноте, в звуках, запахах, в этом страшном Всеедином, – только гам понимаем в слабой мере, что значит эта наша Личность... Знаете ли вы, – сказал он, останавливаясь и блестя очками на капитана, – буддийскую легенду?

– Какую? – спросил капитан, уже тайком зевнувший и посмотревший на часы.

– А вот какую: ворон кинулся за слонем, бежавшим с лесистой горы к океану; все сокрушая на пути, ломая заросли, слон обрушился в волны – и ворон, томимый «желанием», пал за ним и, выждав, пока он захлебнулся и вынырнул из волн, опустился на его ушастую тушу; туша плыла, разлагаясь, а ворон жадно клевал ее; когда же очнулся, то увидел, что отнесло его на этой туше далеко, туда, откуда даже на крыльях чайки нет возврата, – и закричал жалким голосом, тем, которого так чутко ждет Смерть... Ужасная легенда!

– Да, это ужасно, – сказал капитан.

Англичанин замолчал и опять пошел от двери к двери. Из шумящей темноты слабо донеслись отрывистые, печальные звуки второй склянки. Капитан, посидев из приличия еще пять минут, поднялся, пожал руку англичанину и пошел в свою большую покойную каюту. Англичанин, что-то думая, продолжал ходить. Лакей, протомившись в буфете еще с полчаса, вошел и с сердитым лицом стал тушить электричество, оставил только один рожок. Англичанин, когда лакей скрылся, подошел к стене, потушил и этот рожок. Сразу пал мрак, шум волн сразу стал как будто слышнее, и сразу раскрылись в окнах звездное небо, мачты, реи. Пароход скрипел и лез с одной водяной горы на другую. Он размахивался все шире, подымаясь и опускаясь, – и в снастях широко носились, летая то в бездну кверху, то в бездну книзу, Канопус, Ворон, Южный Крест, по которым еще мелькали розовые сполохи.

В. В. Набоков

Облако, озеро, башня³⁴⁰

Один из моих представителей, скромный, кроткий холостяк, прекрасный работник, как-то на благотворительном балу, устроенном эмигрантами из России, выиграл увеселительную поездку. Хотя берлинское лето находилось в полном разливе (вторую неделю было сыро, холодно, обидно за все зеленевшее зря, и только воробьи не унывали), ехать ему никуда не хотелось, но когда в конторе общества увеспоездок он попробовал билет свой продать, ему ответили, что для этого необходимо особое разрешение от министерства путей сообщения; когда же он и туда сунулся, то оказалось, что сначала нужно составить сложное прошение у нотариуса на гербовой бумаге³⁴¹, да кроме того раздобыть в полиции так называемое «свидетельство о невыезде из города на летнее время», причем выяснилось, что издержки составят треть стоимости билета, т. е. как раз ту сумму, которую, по истечении нескольких месяцев, он мог надеяться получить. Тогда, повздыхав, он решил ехать. Взял у знакомых алюминиевую фляжку, подновил подошвы, купил пояс и фланелевую рубашку вольного фасона, – одну из тех, которые с таким нетерпением ждут стирки, чтобы сесть. Она, впрочем, была велика этому милому, коротковатому человеку, всегда аккуратно подстриженному, с умными и добрыми глазами. Я сейчас не могу вспомнить его имя и отчество. Кажется, Василий Иванович.

Он плохо спал накануне отбытия. Почему? Не только потому, что утром надо вставать непривычно рано и таким образом брать с собой в сон личико часов, тикающих рядом на столике, а потому что в ту ночь ни с того, ни с сего ему начало мниться, что эта поездка, навязанная ему случайной судьбой в открытом платье, поездка, на которую он решился так неохотно, принесет ему вдруг чудное, дрожащее счастье, чем-то схожее и с его детством, и с волнением, возбуждаемым в нем лучшими произведениями русской поэзии, и с каким-то когда-то виденным во сне вечерним горизонтом, и с тою чужою женой, которую он восьмой год безвыходно любил (но еще полнее и значительнее всего этого). И кроме того он думал о том, что всякая настоящая хорошая жизнь должна быть обращением к чему-то, к кому-то.

Утро поднялось пасмурное, но теплое, парное, с внутренним солнцем, и было совсем приятно трястись в трамвае на далекий вокзал, где был сборный пункт: в экскурсии, увы, участвовало несколько персон. Кто они будут, эти сонные – как все еще нам незнакомые – спутники? У кассы номер шесть, в семь утра, как было указано в примечании к билету, он и увидел их (его уже ждали: минуты на три он все-таки опоздал). Сразу выделился долговязый блондин в тирольском костюме³⁴², загорелый до цвета петушиного гребня, с огромными, золотисто-оранжевыми, волосатыми коленями и лакированным носом. Это был снаряженный обществом вожак, и как только новоприбывший присоединился к группе (состоявшей из четырех женщин и стольких же мужчин), он ее повел к запрятанному за поездами поезду, с устрашающей легкостью

³⁴⁰ Из комментария к произведению: «... рассказ этот достоверно воспроизводит атмосферу фашистских пикников, проводившихся под девизом “Сила через радость”».

³⁴¹ Гербовая бумага – специальная бумага с изображением государственного герба, продаваемая правительством, на которой писались всевозможные договоры и оформлялись сделки между частными лицами и организациями.

³⁴² Тирольский костюм – традиционная мужская одежда жителей Тироля, часто отождествляется с национальным костюмом Австрии: белая рубаха с отложным воротником, жилет, куртка, шляпа с пером; короткие кожаные штаны, чулки, туфли.

неся на спине свой чудовищный рюкзак и крепко цокая подкованными башмаками. Разместились в пустом вагончике сугубо третьего класса, и Василий Иванович, сев в сторонке и положив в рот мятку, тотчас раскрыл томик Тютчева, которого давно собирался перечесть («Мы слизь. Реченная есть ложь»³⁴³, – и дивное о румянном восклицании); но его попросили отложить книжку и присоединиться ко всей группе. Пожилой почтовый чиновник в очках, со щетинисто сизыми черепом, подбородком и верхней губой, словно он сбрил ради этой поездки какую-то необыкновенно обильную растительность, тотчас сообщил, что бывал в России и знает немножко по-русски, например, «пацлуй», да так подмигнул, вспоминая проказы в Царицыне, что его толстая жена набросала в воздухе начало оплеухи наотмашь. Вообще становилось шумно. Перекидывались пудовыми шутками четверо, связанные тем, что служили в одной и той же строительной фирме, – мужчина постарше, Шульц, мужчина помоложе, Шульц тоже, и две девицы с огромными ртами, задастые и непоседливые. Рыжая, несколько фарсового типа вдова в спортивной юбке тоже кое-что знала о России (Рижское взморье). Еще был темный, с глазами без блеска, молодой человек, по фамилии Шрам, с чем-то неопределенным, бархатно-гнусным, в облике и манерах, все время переводивший разговор на те или другие выгодные стороны экскурсии и дававший первый знак к восхищению: это был, как узналось впоследствии, специальный подогреватель от общества увеспоездов.

Паровоз, шибко-шибко работая локтями, бежал сосновым лесом, затем – облегченно – полями, и понимая еще только смутно всю чушь и ужас своего положения, и, пожалуй, пытаясь уговорить себя, что все очень мило, Василий Иванович ухитрялся наслаждаться мимолетными дарами дороги. И действительно: как это все увлекательно, какую прелесть приобретает мир, когда заведен и движется каруселью! Какие выясняются вещи! Жгучее солнце пробиралось к углу окошка и вдруг обливало желтую лавку. Безумно быстро неслась плохо выглаженная тень вагона по травяному скату, где цветы сливались в цветные строки. Шлагбаум: ждет велосипедист, опираясь одной ногой на землю. Деревья появлялись партиями и отдельно, поворачивались равнодушно и плавно, показывая новые моды. Синяя сырость оврага. Воспоминание любви, переодетое лугом. Перистые облака, вроде небесных борзых. Нас с ним всегда поражала эта страшная для души анонимность всех частей пейзажа, невозможность никогда узнать, куда ведет вон та тропинка, – а ведь какая соблазнительная глушь! Бывало, на дальнем склоне или в лесном просвете появится и как бы замрет на мгновение, как задержанный в груди воздух, место до того очаровательное, – полянка, терраса, – такое полное выражение нежной, благожелательной красоты, – что, кажется, вот бы остановить поезд и – туда, навсегда, к тебе, моя любовь... но уже бешено заскакали, вертясь в солнечном кипятке, тысячи буковых стволов, и опять прозевал счастье. А на остановках Василий Иванович смотрел иногда на сочетание каких-нибудь совсем ничтожных предметов – пятно на платформе, вишневая косточка, окурок, – и говорил себе, что никогда-никогда не запомнит и не вспомнит более вот этих трех штучек в таком-то их взаимном расположении, этого узора, который однако сейчас он видит до бессмертности ясно; или еще, глядя на кучку детей, ожидающих поезда, он изо всех сил старался высмотреть хоть одну замечательную судьбу – в форме скрипки или короны, пропеллера или лиры, – и досматривался до того, что вся эта компания деревенских школьников являлась ему как на старом снимке, воспроизведенном теперь с белым крестиком над лицом крайнего мальчика: детство героя.

Но глядеть в окно можно было только урывками. Всем были розданы нотные

³⁴³ У Тютчева: «Мысль изреченная есть ложь...»

листки со стихами от общества:

Распротись с пустой тревогой,
Палку толстую возьми
И шагай большой дорогой
Вместе с добрыми людьми.

По холмам страны родимой
Вместе с добрыми людьми,
Без тревоги нелюдимой,
Без сомнений, черт возьми.

Километр за километром
Ми-ре-до и до-ре-ми,
Вместе с солнцем, вместе с ветром,
Вместе с добрыми людьми.

Это надо было петь хором. Василий Иванович, который не то что петь, а даже плохо мог произносить немецкие слова, воспользовался неразборчивым ревом слившихся голосов, чтобы только приоткрывать рот и слегка покачиваться, будто в самом деле пел, – но предводитель по знаку вкрадчивого Шрама вдруг резко приостановил общее пение и, подозрительно шурясь в сторону Василия Ивановича, потребовал, чтоб он пропел соло. Василий Иванович прочистил горло, застенчиво начал и после минуты одиночного мучения подхватили все, но он уже не смел выпасть.

У него было с собой: любимый огурец из русской лавки, булка и три яйца. Когда наступил вечер и низкое алое солнце целиком вошло в замызганный, закачанный, собственным грохотом оглушенный вагон, было всем предложено выдать свою провизию, дабы разделить ее поровну, – это тем более было легко, что у всех кроме Василия Ивановича было одно и то же. Огурец всех рассмешил, был признан несъедобным и выброшен в окошко. Ввиду недостаточности пая, Василий Иванович получил меньшую порцию колбасы.

Его заставляли играть в скат³⁴⁴, тормошили, расспрашивали, проверяли, может ли он показать на карте маршрут предпринятого путешествия, – словом, все занимались им, сперва добродушно, потом с угрозой, растущей по мере приближения ночи. Обеих девиц звали Гретами, рыжая вдова была чем-то похожа на самого петуха-предводителя; Шрам, Шульц и Другой Шульц, почтовый чиновник и его жена, все они сливались постепенно, срастаясь, образуя одно сборное, мягкое, многорукое существо, от которого некуда было деваться. Оно налезало на него со всех сторон. Но вдруг на какой-то станции все повылезли, и это было уже в темноте, хотя на западе еще стояло длиннейшее, розовейшее облако, и, пронзая душу, подальше на пути, горел дрожащей звездой фонарь сквозь медленный дым паровоза, и во мраке цыкали сверчки, и откуда-то пахло жасмином и сеном, моя любовь.

Ночевали в кривой харчевне. Матерой клоп ужасен, но есть известная грация в движении шелковистой лепизмы³⁴⁵. Почтового чиновника отделили от жены, помещенной с рыжей, и подарили на ночь Василию Ивановичу. Кровати занимали всю комнату. Сверху перина, снизу горшок. Чиновник сказал, что спать ему что-то не

³⁴⁴ Скат – популярная карточная игра в Германии.

³⁴⁵ Лепизма – маленькое насекомое (чешуйница), удлиненное тело, длиной примерно 10 мм., покрытое металлически-блестящими чешуйками.

хочется, и стал рассказывать о своих русских впечатлениях, несколько подробнее, чем в поезде. Это было упрямое и обстоятельное чудовище в арестантских подштанниках, с перламутровыми когтями на грязных ногах и медвежьим мехом между толстыми грудями. Ночная бабочка металась по потолку, чокаясь со своей тенью.

– В Царицыне, – говорил чиновник, – теперь имеются три школы: немецкая, чешская и китайская. Так, по крайней мере, уверяет мой зять, ездивший туда строить тракторы.

На другой день с раннего утра и до пяти пополудни пылили по шоссе, лениво переходившему с холма на холм, а затем пошли зеленой дорогой через густой бор. Василию Ивановичу, как наименее нагруженному, дали нести под мышкой огромный круглый хлеб. До чего я тебя ненавижу, насущный! И все-таки его драгоценные, опытные глаза примечали что нужно. На фоне еловой черноты вертикально висит сухая иголка на невидимой паутинке.

Опять ввалились в поезд, и опять было пусто в маленьком, без перегородок, вагоне. Другой Шульц стал учить Василия Ивановича играть на мандолине. Было много смеху. Когда это надоело, затеяли славную забаву, которой руководил Шрам; она состояла вот в чем: женщины ложились на выбранные лавки, а под лавками уже спрятаны были мужчины, и вот, когда из-под той или другой вылезала красная голова с ушами или большая, с подъябочным направлением пальцев, рука (вызывавшая визг), то и выяснялось, кто с кем попал в пару. Трижды Василию Ивановичу ложился в мерзкую тьму, и трижды никого не указывалось на скамейке, когда он из-под неё выползал. Его признали проигравшим и заставили съесть окурочек.

Ночь провели на соломенных тюфяках в каком-то сарае и спозаранку отправились снова пешком. Елки, обрывы, пенистые речки. От жары, от песен, которые надо было беспрестанно горланить, Василий Иванович так изнемог, что на полднем привале немедленно уснул и только тогда проснулся, когда на нем стали шлепать мнимых оводов. А еще через час ходьбы вдруг и открылось ему то самое счастье, о котором он как-то вполгреззы подумал.

Это было чистое, синее озеро с необыкновенным выражением воды. Посередине отражалось полностью большое облако. На той стороне, на холме, густо облепленном древесной зеленью (которая тем поэтичнее, чем темнее), высилась прямо из дактиля в дактиль старинная черная башня. Таких, разумеется, видов в средней Европе сколько угодно, но именно, именно этот, по невыразимой и неповторимой согласованности его трех главных частей, по улыбке его, по какой-то таинственной невинности, – любовь моя! послушная моя! – был чем-то таким единственным, и родным и давно обещанным, так понимал созерцателя, что Василий Иванович даже прижал руку к сердцу, словно смотрел тут ли оно, чтоб его отдать.

Поодаль Шрам, тыкая в воздух альпенштоком³⁴⁶ предводителя, обращал Бог весть на что внимание экскурсантов, расположившихся кругом на траве в любительских позах, а предводитель сидел на пне, задом к озеру, и закусывал. Потихоньку, прячась за собственную спину, Василий Иванович пошел берегом и вышел к постоялому двору, где, прижимаясь к земле, смеясь, истово бия хвостом, его приветствовала молодая еще собака. Он вошел с нею в дом, пегий, двухэтажный, с прищуренным окном под выпуклым черепичным веком и нашел хозяина, рослого старика, смутно инвалидной внешности, столь плохо и мягко изъяснявшегося по-немецки, что Василий Иванович перешел на русскую речь; но тот понимал как сквозь сон и продолжал на языке своего быта, своей семьи. Наверху была комната для приезжих. – Знаете, я сниму ее на всю жизнь, – будто бы сказал Василий Иванович, как только в нее вошел. В ней ничего не

³⁴⁶ Альпеншток – палка длиной около полутора метров (или более), имеющая острый стальной наконечник, используется при передвижении в горах.

было особенного, – напротив, это была самая дюжинная комнатка, с красным полом, с ромашками, намалеванными на белых стенах, и небольшим зеркалом, наполовину полным ромашкового настоя, – но из окошка было ясно видно озеро с облаком и башней, в неподвижном и совершенном сочетании счастья. Не рассуждая, не вникая ни во что, лишь беспрекословно отдаваясь влечению, правда которого заключалась в его же силе, никогда еще не испытанной, Василий Иванович в одну солнечную секунду понял, что здесь, в этой комнатке с прелестным до слез видом в окне, наконец-то так пойдет жизнь, как он всегда этого желал. Как именно пойдет, что именно здесь случится, он этого не знал, конечно, но все кругом было помощью, обещанием и отрадой, так что не могло быть никакого сомнения в том, что он должен тут поселиться. Мигом он сообразил, как это исполнить, как сделать, чтобы в Берлин не возвращаться более, как выписать сюда свое небольшое имущество – книги, синий костюм, ее фотографию. Всё выходило так просто! У меня он зарабатывал достаточно на малую русскую жизнь.

– Друзья мои, – крикнул он, прибежав снова вниз на прибрежную полянку. – Друзья мои, прощайте! Навсегда остаюсь вон в том доме. Нам с вами больше не по пути. Я дальше не еду. Никуда не еду. Прощайте!

– То есть как это? – странным голосом проговорил предводитель, выдержав небольшую паузу, в течение которой медленно линяла улыбка на губах у Василия Ивановича, между тем как сидевшие на траве привстали и каменными глазами смотрели на него.

– А что? – пролепетал он. – Я здесь решил...

– Молчать! – вдруг со страшной силой заорал почтовый чиновник. – Опомнись, пьяная свинья!

– Постойте, господа, – сказал предводитель, – одну минуточку, – и, облизнувшись, он обратился к Василию Ивановичу:

– Вы должно быть, действительно, подвыпили, – сказал он спокойно. – Или сошли с ума. Вы совершаете с нами увеселительную поездку. Завтра по указанному маршруту – посмотрите у себя на билете – мы все возвращаемся в Берлин. Речи не может быть о том, чтобы кто-либо из нас – в данном случае вы – отказался продолжать совместный путь. Мы сегодня пели одну песню, – вспомните, что там было сказано. Теперь довольно! Собирайтесь, дети, мы идем дальше.

– Нас ждет пиво в Эвальде³⁴⁷, – ласково сказал Шрам. – Пять часов поездом. Прогулки. Охотничий павильон. Угольные копи. Масса интересного.

– Я буду жаловаться, – завопил Василий Иванович. – Отдайте мне мой мешок. Я вправе остаться где желаю. Да ведь это какое-то приглашение на казнь, – будто добавил он, когда его подхватили под руки.

– Если нужно, мы вас понесем, – сказал предводитель, – но это вряд ли будет вам приятно. Я отвечаю за каждого из вас и каждого из вас доставлю назад живым или мертвым.

Увлекаемый, как в дикой сказке по лесной дороге, зажатый, скрученный, Василий Иванович не мог даже обернуться и только чувствовал, как сияние за спиной удаляется, дробимое деревьями, и вот уже нет его, и кругом чернеет бездейственно ропщущая чаша. Как только сели в вагон и поезд двинулся, его начали избивать, – били долго и довольно изошренно. Придумали, между прочим, буравить ему штопором ладонь, потом ступню. Почтовый чиновник, побывавший в России, соорудил из палки и ремня кнут, которым стал действовать, как черт, ловко. Молодчина! Остальные мужчины больше полагались на свои железные каблуки, а женщины пробавлялись щипками да

³⁴⁷ Эвальд – городок в Германии.

пощечинами. Было превесело.

По возвращении в Берлин он побывал у меня. Очень изменился. Тихо сел, положив на колени руки. Рассказывал. Повторял без конца, что принужден отказаться от должности, умолял отпустить, говорил, что больше не может, что сил больше нет быть человеком. Я его отпустил, разумеется.

Мариенбад, 1937